

В. ПОМЕРАНЦЕВ
ЗРЕЛОСТЬ ПРИШЛА





В. ПОМЕРАНЦЕВ

**ЗРЕЛОСТЬ
ПРИШЛА**



*Повести, рассказы,
роман*

**Советский писатель
Москва 1976**

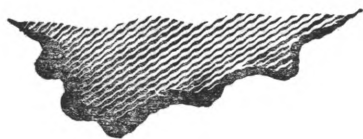
В книгу В. Померанцева „Зрелость пришла“ входят наиболее значительные произведения писателя: роман „Дочь букиниста“ (о послевоенной Германии, о людях, еще только вступающих на новый путь мира и демократии), повесть „Зрелость пришла“ (о деятельности районной прокуратуры), рассказы „Сложный больной“, „Мишкин возраст“ и др.

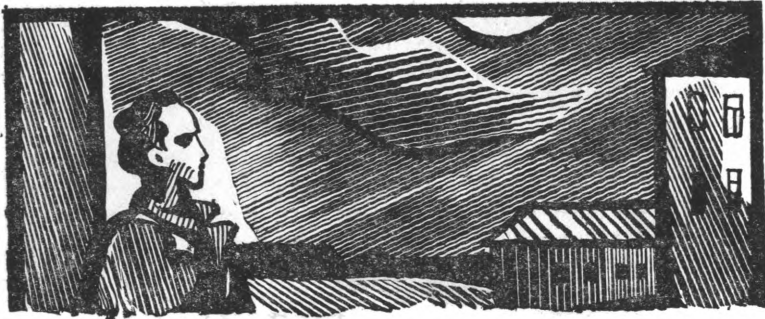
Произведения, включенные в сборник, отличаются остротой сюжета, разнообразием тематики, глубиной разрабатываемых писателем нравственных проблем.

Составитель А. В. Белявский



НОВЕСТИ





ЗРЕЛОСТЬ ПРИШЛА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НА НОВОМ МЕСТЕ

Я не знаю, о ком эта повесть, — то ли о молодом человеке, о первом годе его самостоятельной жизни, то ли о пожилом человеке, встретившемся на пути молодого. Я записал кусочек действительности со всеми ее зауряд-происшествиями, и оба моих героя были в ней одинаково главными.

Встретились они в глухом сельском районе, куда молодой человек, которого мы назовем Алексеем, приехал на должность помощника прокурора.

В глазах Алексея это была высокая должность. Из сокурсников, кончавших институт вместе с ним, на посты прокуроров и судей рекомендованы были только немногие. Их поздравляли, их называли счастливыми, им открыто завидовали.

Среди выпускников было много огорченных. Одних не устраивало место назначения, других — слишком скромное место в юстиции. Некоторые обрекались работать нотариусами и приняли назначение как приговор. Иметь от роду двадцать два года и изо дня в день заверять подлинность подписей — это было в самом деле убийственно. Недовольные говорили, что комиссия подходила к отбору формально, смотрела только характеристики, анкеты, оценки, не заглядывала в души людей.

Это были честные души. Это были горячие, подвижные умы. У них не были промотаны годы, и в них бились свежие силы. Хорошие должности нужны были им для входа не в сытую, а в широкую жизнь. Они хотели направлять ее, делать ее. Они при-

выкли к скудному кругу вещей и к большому кругу идей. Идеи их поглощали. Они спорили о границах познания, о свободе воли, о силе законов, о войнах и революциях, о любви, о зле и добре. Прокурорами они хотели стать потому, что молодость стремится быть везде впереди.

Алексей чувствовал себя совершенно счастливым. Его радости не могло затенить даже предстоящее расставание с Шурой, хотя она и была самым дорогим для него человеком. Я не стремлюсь к занимательной интриге рассказа, забегаю вперед и сразу скажу, что впоследствии Шура стала женой Алексея. Первая рукопись обычно не издается и первая любовь редко венчается браком, но Алеша и то и другое довел до конца. Давно уже став ее мужем, обретя необходимую трезвость суждения, он может теперь беспристрастно представить читателю одного из второстепенных персонажей рассказа. Шура второстепенна здесь не по роли в душевной жизни Алеши, а лишь потому, что не жила еще с ним во время всех передрыг... Это была хорошенькая золотоволосая девушка, учившаяся в педагогическом техникуме, далекая от волновавших Алешу проблем, но простая, добрая и привязанная к нему всем сердцем.

Обычно в молодости то и дело влюбляешься — и в девушек, проходящих по улицам, и в героинь, проходящих по страницам романов. Старику встречаются большей частью дурнушки, а молодой не устает оборачиваться. Поэтому оценкам юноши нельзя доверять. Но Алексею можно теперь поверить на слово, что Шура была впрямь хороша. Он любил подолгу смотреть в ее светло-серые, большие глаза, с ресницами, каких не было ни у одной другой девушки мира, любил ее маленький носик, который она морщила, обижаясь или сердясь, ее певучий голосок, ее наивную речь, отчаяние от всякой трудной фразы в учебнике, старенькие, но всегда свежие блузки, дешевый берет, незатейливую мебель комнатки. Он любил ее раскрасневшейся в беге по льду, боязливой перед экзаменами, по-ребячьи счастливой после их сдачи.

Шура не разбиралась в науках, которые изучались Алешей, они представлялись ей неодолимо мудреными, она мало интересовалась политикой, жила только сердцем, но терпеливо выслушивала, когда он что-нибудь объяснял, и любое его слово принимала за истину. Она всюду бывала только с Алешей и на все смотрела глазами Алеши. Шура не заметила, как за полтора года знакомства с ним она утратила свои привычки и вкусы. Но это хорошо замечали мать, отец и подруги. Это уязвляло их, и они упрекали Шуру в том, что ради своего «прокурора» — так прозвали Алешу в Шурином доме еще до того, как он стал прокурором, — она всех позабыла и ни с кем не считается.

Мысль о том, что Алеша уезжает и она должна провести без него целый год, была Шуре несносна. Сама она только что перешла на последний курс техникума, не могла бросить его, но и не

могла вообразить себе, как это они окажутся врозь... Ей страшно было представить себе пустоту, которая образуется вокруг нее без Алеши. Год рисовался ей целой эпохой. Она недоумевающе смотрела на Алексея, понимала, что он счастлив своим назначением, но не понимала, что же теперь будет, как же она... Не для кого станет ей прибирать свою комнатку, стирать ночью блузки, помогать матери печь пирожки. Некуда будет торопиться, некого ждать... Ведь все делалось до сих пор для него, и она это только теперь поняла.

Шура старалась внушать себе, что будет по-прежнему слушать лекции, завтракать, обедать и ужинать, заниматься с подругами и бывать с ними в кино, что ничего не изменится. Но сколько Шура ни уговаривала себя, это не помогло, и она понимала, что изменится все.

Зато ничуть не печалился Алешиным отъездом Шурин отец. Он был довольно известным среди свердловских строителей каменщиком, большеруким, костистым, иногда деспотичным. В дом он входил молчаливым и, заставая Алексея, очень холодно здоровался с ним, но после первой стопки и первых ложек борща заведывал разговор, вернее — начинал рассуждения. Рассуждения требовали дальнейшей «заправки», а она в свою очередь вела к рассуждениям. Говорил отец, как и выпивал, обстоятельно, не торопясь, а круг его тем был ограниченным, и они подбирались с плохо скрываемым умыслом.

— Ну, молодой человек, — обращался он к Алексею, что заранее обещало большой разговор, — скоро, выходит, кончатся ваши занятия? Распрощаетесь, значит, с книжками, с общежитием, со всеми знакомствами. Начнется, так сказать, другая пора... Сколько вам еще остается по Свердловску гулять?

Алексей отлично понимал, что о прекращении знакомств каменщик говорил лишь для того, чтобы уязвить свою дочь, и отвечал с деланной веселостью:

— Еще целых два месяца, Павел Максимович.

— Два месяца? Большой срок, конечно. За такое времечко можно и стену сложить и дров наломать. Ну, гуляйте, гуляйте! Привыкайте, так сказать, к своей постоянной профессии.

— Какой профессии? — недоумевал Алексей.

— К прокурорской, к начальнической. Ведь начальники полжизни в кабинетах проводят, как снимут — ходят без дела.

И отец начинал говорить о том, как непрочно Алешино будущее. Он доказывал, что быть председателем, прокурором, директором — дело неверное. По его словам выходило, что достаточно начальнику не выполнить план, не так сказать речь или наложить не ту резолюцию, чтобы лишиться начальствования. Павел Максимович уверял, что начальников все ругают, что их треплют обкомы, райкомы, газеты, комиссии, что Алешино образование — это «глино-солома», а для жизни надо иметь рабочий разряд.

— Со строителем,— говорил он,— никогда ничего приключиться не может, и если только он не свалится пьяным с подмостей, то всех своих начальников переживет. Каменщик и первый метр стены кладет, и последний, а управляющий до последнего этажа иногда не дотягивает. А заведующих, директоров, председателей сколько в районе меняется! Каменщик кладет себе кирпичи, знает, сколько ему надо раствора, когда подтесать, где коротким ребром брать, где длинным, и у него все решения правильные. Он выложит стену, смерит ее, и раз соответствует рейке — значит, соответствует и линии партии. Вот и весь разговор. И сам себе рабочий человек головы не ломает, и другие ему не открывают ее.

Когда Алеша был в Шурином доме еще новичком, он рьяно спорил с Павлом Максимовичем, ни во что не ставившим гуманитарные знания и административную деятельность. Алеша, горячась, доказывал каменщику, что людям нужен аппарат управления, нужны суды, защита прав и порядка. Спорил Алеша ретиво и в то же время красиво. Шурины подруги слушали его обычно раскрыв рты, Шурина мать тихо дивилась, какую уйму вещей знает ее будущий зять, и подкладывала ему куски на тарелку, а сама Шура каждым Алешиним словом гордилась. Когда он спорил с отцом, она ликующе всех оглядывала, как бы спрашивая: «Ну, что вы скажете? Может ли еще быть человек с таким умом и талантом!» Шура не понимала, что язык и пафос Алеши были чуточкой книжными, а в видимом торжестве его над Павлом Максимовичем немалую роль играл задорный молодой баритон...

Споры с Павлом Максимовичем и победы над ним Алеша поначалу даже любил, и лишь время показало ему их бесполезность. А главное — Алеша почувствовал, что дело тут не только в рабочей или нерабочей профессии. Павлу Максимовичу тяжела была самая мысль, что, выйдя замуж, Шура уедет из дома.

Она осталась единственной дочерью в поредевшей семье. Был сын, но он школьником убежал в ополчение и погиб в первые же недели войны. Второй сын умер от какой-то пустяковой болезни в голодные военные годы. Третий уехал в военно-морское училище. У родителей осталась теперь только Шура. Только она переехала с ними в квартиру, полученную Павлом Максимовичем после долгой жизни в хибарках, после того как им были выстроены тысячи квартир для других людей. В новый дом семья въехала недавно, незадолго до того, как у Шуры разболтались коньки и она беспомощно сидела в раздевалке катка, пока какой-то молодой человек не помог ей прикрепить к каблукам маленькие стальные «норвеги». Эта встреча грозила сделать новую квартиру Павла Максимовича пустой и холодной. Он рад был бы зятю, который работал бы на местном заводе, никуда не увозил Шуру из дома, а, наоборот, населил его молодой, новой жизнью. Отлетного же зятя он не желал. Павел Максимович ра-

довался любви Алеши и Шуры, обещавшей им дружную жизнь, но и не хотел этой любви, заранее страшился бесцельно большой и неуютной квартиры... Не столь уж привязанный к детям в дни своего молодого отцовства, Павел Максимович теперь любил Шуру глубоко и болезненно, с ревностью и с каким-то над-ривом. Этот суровый на вид человек всерьез обижался, когда дочь, идя спать, забывала чмокнуть его или уходила на вечер из дому до того, как он возвращался с работы. Он тоже перестал быть с ней нежен, чувствуя, что отцовские нежности ей ни к чему. Эти внутренние разлады делали Павла Максимовича злей, чем он был. Его так и подмывало заводить неприятные для молодых разговоры, он часто запрещал Шуре уходить с Алексеем в кино, заставлял их быть у него на виду.

«Разве при отце с матерью нельзя разговаривать!» — раздражался он постоянно.

Когда же дочь и Алеша послушно переходили из маленькой комнатки в общую, Павел Максимович снова начинал донимать их.

— А знаете вы, молодой человек, что значит докладную записку писать? — спрашивал он ни с того ни с сего. — Будете писать, париться, замозагате всю свою канцелярию, себя уморите, подчиненных своих загоняете, а потом, глядишь, вдруг приказ: «Отозвать в распоряжение, сдать дела по причине несправления с должностью». Может быть, ты слово поставил не то или цифры у тебя были худые, а только езжай, хочешь не хочешь, в это самое в распоряжение.

— Откуда вы это берете? — пожимал плечами Алеша. — Чего вы выдумываете?

— Выдумываю? — обижался Павел Максимович. — Нет, мне, молодой человек, деньги платят не за придумки, мне их за работу дают. И если я что говорю, так это уж факт. В книжках, конечно, про это не рассказывают, там все больше по части теории.

И рассказывал о разных случаях смены начальников.

На Алешу это не действовало. Тогда Павел Максимович подходил с другого конца.

— Ну, конечно, — говорил он, — не всегда снимают начальника. Он и пять лет и десять может неснятым сидеть. А что в его жизни хорошего-то? Я вот не понимаю людей, которые на чистые должности зарятся. У меня забутовщик один недавно учиться пошел, тоже хочет в начальники вымахать, с подмостей в кабинет перейти. А чего он этим достигнет? От глины и раствора он, конечно, сбежит, но к чему, спросите его, прибежит? К одному только тереблению нервов. Пойдут у него целую жизнь доклады, совещания, планы, бюро, обсуждения. Магнетизм с чепухой и чепуха с магнетизмом!

Алеша молчал, рассчитывая, что и Павел Максимович откажется наконец от своей назойливой темы. Но тот продолжал развивать ее.

— На начальника, — уверял он, — целую жизнь со всех концов прут-напирают. Или он сам всегда кого-то обследует, или его то и дело обследуют. Секретарша докладывает ему двадцать пять заявлений, а в приемной его ожидают двадцать пять человек. И все надо прочитать, разобрать, разрешить. А душа столько бумажек не может принять. Вот он и начинает отпихивать их. И тогда печатается о нем в газете статья. Крестят его бюрократором, формалистом, чиновником, пишут про равнодушие, недооценку, недостаток внимания. А какой, спрашивается, может быть ватерпас для недооценки или переоценки, когда и ценника-то нет в этих делах? Вот они и озираются один на другого. Сидят и гадают: «Как разрешить мне этот вопрос, чтобы обо мне не был поставлен вопрос?..» Ездит-то начальник в машине, а на плечах у него поддон кирпича. А рабочий человек ходит пешочком, да зато никакие комиссии его не волнуют. Он свои восемь часов отработал — и хозяин себе. А что насчет денег касается, так при хорошем разряде и правильной сдельщине рабочего человека никто не догонит — ни инспекторы, ни инструкторы, ни как они там еще называются... Рабочий человек сделал деталь — вынь ему за нее да положь, стену выложил — плати не задерживай.

Все это отец говорил для того, чтобы дочь не считала Алешу находкой. Он хотел принизить в ее глазах жениха, доказать ей, что образованность меньшая ценность, чем умелые руки, что книжками да языком не проживешь и быть женой прокурора вовсе не так уже сладко. И с этой целью он вообще бесславил всякую административную деятельность, начинал говорить чепуху, в которую не верил и сам, делая это тем злей и упорнее, чем ясней становилось, что решение дочери никогда не изменится.

Что Алеша жених, не могло быть сомнения. Это слово еще не было названо, но чего уж тут говорить... И отцу оставалось радоваться только тому, что Шура не уезжает сразу вместе с Алешей, что она себя не объявила невестой.

Но перед отъездом Алеши все было сказано.

— Шура, — спохватился Алексей, — а вдруг тебя... не отправят ко мне? У тебя же нет справки, что мы... должны ехать в Сердеевск. Надо сейчас же идти регистрироваться.

Шуре такое соображение не приходило на ум. Дико было и думать, что ее могут оставить в Свердловске одну или что она может очутиться не там, где Алеша. Теперь она испугалась.

— Да, да, надо сейчас же пойти... Выйди из комнаты, я быстро оденусь...

Увидев, что дочь сменила халатик на платье, напудрила нос и стала вдруг озабоченной, мать удивилась:

— Куда это вы собрались на ночь глядя?

Шура покраснела. Алеша тоже смутился, стал объяснять.

Отец нахмурился и, всплыв, резко сказал Алексею:

— Да вы очумели, что ли? Спать надо Шурке ложиться, а не в загсы бежать. И какая такая еще регистрация? Люди записываются — свадьбы играют, а у вас в загс — да на поезд. Не позволю такого! Когда съедетесь, тогда и запишетесь.

И обратился к жене:

— Видишь, мать, какие женихи нынче пошли! Напоследок в загс ночью вздумал бежать, будто колбасы на дорогу купить...

Наступила долгая и тяжелая пауза.

И вдруг мать заплакала.

— Что с тобой, мамочка? — подбежала к ней Шура.

— Ничего, ничего...

Оттого ли она заплакала, что дочь отдавала? Оттого ли, что еще не выдавала? Или просто подступил к горлу комок?

В лице старика что-то дрогнуло. Он резко встал, подошел к окну и стал вглядываться в ночь за стеклом.

Потом повернулся, подошел к Алексею и положил руку ему на плечо.

— Поезд твой послезавтра утром уходит? — спросил он сильным, переменявшимся голосом. — А завтра выходной, воскресенье. Иди сейчас в свое общежитие, выпишься, а утречком попрощайся с товарищами, забирай свои вещи и приходи. А то ведь, — с печальной усмешкой кивнул он в сторону Шуры, — нам целый год тосковать, почтальона ловить. Так уж завтра прямо с утра приходи... Пообедаем, выпьем как полагается... Переночуешь у нас, и на вокзал отвезем...

И глухо добавил:

— А там будет видно... Я ей поперек дороги не встану.

На следующий день отец много пил, был то мрачен, то весел. Он говорил, что всю жизнь строил квартиры для других людей, а когда получил наконец для себя, так станет в ней со старухой в жмурки играть. Говорил, что мечтал отдать для дочери с зятем столовую, а самому с женой перейти в Шурину комнатку. Говорил, что хотел бы дожить до времени, когда семья сможет жить общим домом и никто не будет стариковать без детей. Потом, стараясь развеять грусть собственных слов, пошутил:

— Ну, а на карточки снялись вы, а? Будет чем любоваться, жених? А мою карточку дать? Может, возьмешь? Тесть ведь, родня! А насчет невесты какие распоряжения дашь? Пускать ее в кино или нет?

Отец Шуры не встретится больше в этом рассказе. Но впоследствии, в тяжелые для Алеши часы, он не раз вспоминал слова каменщика, и ему представлялось, что не все в них было так уж неверно. На трудных зигзагах пути Алексею впрямь моментами думалось, что лучше бы иметь умелые руки, чем горячую голову, и что надо создавать себе собственный угол, собственный во всех превратностях жизни. Потом эти сомнения уходили вместе с событиями, которые их порождали. Деятельная жизнь брала верх.

...Ранним утром на свердловском вокзале Шура расставалась и не могла расстаться с Алешей. Он целовывал с Шуриных глаз ее слезы, и они год оставались у него на губах...

В Сердеевке приняли его хорошо. Районный прокурор, уже польсевший, грузноватый, с одышкой, заговорил с Алешей сразу на «ты»:

— Ух ты, какой молодой! Да у меня обе дочери старше тебя. Не поймешь, кого и прислали! Ну, смотри, держи тут ухо востро! Личное дело твое я читал, знаю, что отличник, общественник и всякое прочее. По бумажкам судить — парень ты крепкий. Буду на тебя полагаться. Коли ты с законченным высшим, так это обязывает... Ну, в общем, разговоров с тобой мы еще много будем вести, а сейчас бери из своего чемодана белье и в баню иди. Как раз в банный день угодил. Она по субботам и вторникам топится. Выйдешь на улицу — тебе всякий покажет. А мочалка-то есть у тебя?.. Как же это ты без мочалки приехал? Ну, скажешь тогда Андрианычу — это инвалид там при бане, — что Иван Никанорович рогожки просил принести. Дашь старику папиросок — он тебе и спину потрет. Или не куришь?.. Вот это ты молодец. Я тридцать лет не выпускал изо рта, а теперь даже следователю не разрешаю при мне задымить. «Выходи, говорю, откурись, а потом и докладывай». Так вот, Алексей, вымоешься и возвращайся сюда. Вместе обедать пойдем. Как телеграмму вчера получил, так велел моей Марье Игнатьевне утку по этому случаю резать. Небось в вашем Свердловске тебя таким блюдом не баловали?

Алеша не ожидал подобных забот. Разговор о мочалке поверг его в изумление, а сытный обед и простецкий язык прокурора помогли сразу держаться свободно.

Потом жена начальника отвела Алешу к хозяйке, у которой снята была для него комнатуха. Старушка уже несколько дней нетерпеливо ждала молодого жильца. Он должен был наполнить ее жизнь делами и хлопотами, внести содержание в ее серые, одинаковые, тоскливые дни.

Обе дочери Анны Сергеевны жили в Москве, сами давно имели детей и никогда не приезжали в Сердеевск. Они переводили матери деньги, но писали ей редко. Около старушки не было родного лица. Однажды старшая дочь попыталась взять мать в Москву, но Анна Сергеевна не ужилась там. И зять оказался ей слишком хмурым, и комната очень уж тесной, и автомобили шальными, и очереди всюду такими, что без рук, без ног остаешься... А главное — она оскорблена была внуком. Старушка мечтала ходить за ним, а он пропадал то в школе, то у товарищей, не обращал на бабушку внимания и больше огрызался на нее, чем разговаривал с ней. Старушка почувствовала, что в Москве она в тягость, и уехала обратно в Сердеевск. Здесь она

жила совершенно одна в своем запущенном домике, отводя душу только с соседками да с колхозницами, приезжавшими в Сердейск на базар. Но соседки кого-то провожали утрами и встречали по вечерам, а Анне Сергеевне не на кого было источать свою ласку. Летом одиночество еще не так угнетало ее, потому что она дотемна сидела на улице, перехватывая знакомых для разговора, но зимой не знала, куда себя деть. Ни одного голоса рядом с ней не звучало, и она часами слушала, как шебаршат тараканы и как рассыхается дом... Когда жена прокурора пришла предложить ей жильца, Анна Сергеевна вместо ответа осенила себя крестным знаменем. Жильца ей бог посылал за тоску!.. Она ожила, принялась начищать медный большой самовар, стелить половики, перетаскивать вещи, мыть, скрести, суетиться.

Старушка и слышать не захотела о том, чтобы Алеша обедал в районной столовой.

— Да что ты, что ты, Алексей Николаевич! И думать такого не думай! Разве мало ты жижу по столовкам хлебал! А в нашей тем более мужчина заведует. Разве он тебя накормит как следует быть! Это только приезжие в столовую ходят, у кого ни женщины, ни печки нету, а которые здесь постоянно живут, те живут по домашности... Нет, нет, ты и не говори мне про это, не обижай меня!

Она стала горячо убеждать его, что у нее он будет питаться и ненакладно, и вкусно, да еще вскоре велосипед заведет.

— У нас же продукты на базаре дешевые. Это ведь тебе не Свердловск. Тут молоко или за рубль отдавай, или на землю сливай. Умные люди еще на мотоциклеты с полочки придерживают. Видел, сколько их по улице фыркает! А если в базарный день да пораньше, так сметаны и творогу хоть завались. А у меня погреб со льдом. Я знаешь какая запасливая! Всегда летом со льдом, а зимою с дровами. Ты соседей спроси, какая я есть. А не поверишь соседям — узнай в исполкоме. Они ко мне в прошлом году на квартиру приезжего ставили, неделю прожил у меня. Человек бывалый, фронт весь прошел, два раза раненный, по заграницам катался, а уезжал от меня и признался: «Где, мамаша, я ни едал, а нигде, как у вас...» Нет, нет, Алексей Николаевич, ты и не заикайся мне об столовках! А если тебе выпить захочется, так я и брагу сварить могу. Я такую сделать умею, что и веселый станешь и разум свой сохранишь. А когда жену потом привезешь, мы знаешь какое хозяйство тут заведем! Только знай сахару готовь на варенье!

И устроилась Алешина жизнь сама собой, без всяких стараний, как редко бывает с молодыми людьми, приезжающими на новое место. Впрочем, он и не стал беспокоиться о житейских делах. Он рвался к делам прокурорским, хотел скорей узнать жизнь района и определить в ней свое место. Это был тот благодатный период, когда работа нова, все интересно и все хочется делать. Кулинарные изделия Анны Сергеевны Алеша погло-

щал с удовольствием, но торопливо, рассеянно, что очень огорчало старушку. Он не делал между кусками никакой передышки, опрокидывал в себя залпом кисель, вскакивал, забывая похвалить искусство хозяйки и ограничиваясь быстрым «спасибо».

Алеша с первого дня полюбил эту сухонькую хлопотливую женщину, совсем не похожую на знакомых свердловских старух. Те были сварливы и черствы. Теснота в домах и толкотня в магазинах сделали их неуживчивыми. А Анна Сергеевна была бескорыстна и добродушна сверх меры. Впоследствии Алеша узнал, что до его приезда она неделями не топила русской печи и не каждый день варила себе горячее на таганке. А теперь она все время орудовала то ухватом, то сковородником, и в доме стояло такое тепло, что Алеша, прибегая обедать, сейчас же растягивал ворот.

Старушке было досадно, что жилец так невнимательно ел, а Алексей жалел и те полчаса, что тратились им в ее кухне. Зато он превосходно чувствовал себя в своем кабинетике. Тот был совсем крохотным, меньше Алешиной комнаты у Анны Сергеевны, — в нем помещались только письменный стол и два стула, но Алексею было очень хорошо в этой клетушке. Занятия в районных учреждениях начинались в восемь часов, а Алеша, просыпаясь чуть свет и наскоро позавтракав оладьями с медом, нетерпеливо глядел на часы. В прокуратуру он приходил всегда первым, иногда даже раньше уборщицы, а уходил одним из последних и еще уносил с собою в портфеле на дом дела. Анна Сергеевна то и дело вздыхала: «И зачем он себя так изводит?»

Районная прокуратура занимала одноэтажный просторный каменный дом из пяти чистеньких комнат. Самая большая разгорожена была невысоким барьером, по одну сторону которого была канцелярия, по другую — приемная. Из приемной шли двери в кабинеты прокурора и помощника, расположенные один против другого. В четвертой комнате сидел следователь, пятая отведена была под архив. Ключи от шкафов с архивными папками хранились у секретарши Людмилы Ивановны, но помещение архива отвел себе конюх — он тут держал овес и сиживал сам.

Алеше понравились и люди и обстановка. Были приятны и милы веселая масляная краска на стенах, услужливая Людмила Ивановна, малоразговорчивый конюх и даже висевшая в канцелярии карта Азиатской части страны. Лишь позже, со временем, Алексей разглядел и немилое. Тогда обнаружилось, что прокуратура находится слишком далеко от базара и это для людей неудобно. Неладной была также раздельная жизнь прокуратуры и нарсуда. Ключ от шкафа с архивами оказался утерянным, и секретарша под любыми предложениями отказывала посетителям в справках. Услужливость ее превратилась в назойливость. А конюх постоянно топтался без дела, так как лошадей нельзя было пользоваться, она была не ездовой, а битюгом и

запрягалась в телегу. Попробуй прокурор прибыть в колхоз этим транспортом, его засмеяли бы. Но на первых порах неладное не замечалось, быт прокуратуры казался разумно устроенным, а кабинетик помощника — верхом уюта. Уютно же Алеше казалось тут потому, что до сих пор он вообще никогда не имел своего рабочего места.

Алешин стол сразу завалили делами, причем старыми, путанными, лежавшими до него без движения. Секретарша снесла к нему все не имевшие назначения папки. Это были дела, которые нельзя было по разным причинам ни в суд отправить, ни сбить с рук в архив. Они загромаждали канцелярию и отягощали ей жизнь. Нужно было решиться поступить с каждой из папок так или этак, а в молодом прокуроре секретарша почуяла и усидчивость, и избыток решимости. Она видела, с каким интересом он окунулся в эти дела, да еще, чудак, беспокоился, чтобы ему без задержек передавали текущие.

Приезжий горожанин, очевидно, не знал, куда девать себя в деревенских условиях, и занялся оборудованием своей служебной каморки. Сам приволок откуда-то доски, сделал с помощью конюха полки, водрузил их над головой и заставил привезенными книжками. Он перетащил к себе связки журналов, которых никто до него не читал, сборники разных инструкций, отчеты прокуратуры за несколько лет, в общем построил у себя все, что лежало раньше навалом на шкафах и в углах.

Стояли последние теплые дни, с полей несло пряные запахи, городской сад был по вечерам полон народу, а новичок до ночи копался в бумагах, и все они казались ему нужными, важными. Секретарша видела, что молодой прокурор не знает, куда раньше бросаться, за что приниматься, хочет все быстро узнать, постигнуть, направить. Людмила Ивановна не могла взять себе в толк, зачем ему это надо и чего он домогается. Она с любопытством присматривалась к начальнику, который «сам себе мутит голову». И быстро определила, что возле него не было женщины, которая давала бы ему познавать, в чем настоящие ценности жизни.

Не сразу понял Алешу и прокурор.

— Иван Никанорович, — взволнованно входил к нему новый помощник с какой-нибудь папкой, — в Крутихе трагедия. Женщина выколола любовнице мужа глаза. Это же страшное дело, ужасное варварство! Нет ли смысла показательный процесс провести?.. Но, может быть, это только единственный случай. Скажите, много ли сейчас дел об убийствах и увечьях из ревности?

— Гм... — отвечал Алеше начальник. — Раз мужиков в деревне убавилось, то и драчек за них, понятно, прибавилось. Но глаза соседке не каждая баба, конечно, вывинчивает. Иначе половина бы их ходила безглазыми... А ты чего ревностью интересуешься? Хочешь знать, опасные ли бабы у нас?

Через полчаса Алеша шел к нему с другой папкой.

— Иван Никанорович, как быть с этим случаем? Председатель колхоза отдал за взятку исполу сено косить. Семь скирд в этом колхозе украдено... Почему вообще с сеном связано так много дел?

— Потому что сено — это молоко, а молоко — это денежки, — отвечал прокурор. — А зачем к тебе эта папка попала? Ведь тут область должна свое слово сказать. Ты знаешь, что мы без нее председателей колхозов не судим. Так чего ж ты зазря дело смотрел? Или их тебе мало?

На престол в одной деревне два парня друг друга порезали. Помощник прокурора начал доискиваться, отчего они подрались и часто ли еще драки бывают.

— Чудак человек! — пожал плечами Иван Никанорович. — Ты близнят когда-нибудь видел? Не видал, как они за сиську дерутся? Младенцы и те уж пинаются, а ты хочешь, чтобы пьяные никогда не дрались! И чего ты, не пойму я тебя, от всякого дела допытываешься?

Алеша и сам этого не понимал. Ему не хватало материалов по каждому делу, по всем делам вообще. Он хотел ясности, какой не было и быть не могло. Хотел знать, в чем корни преступности, как ее можно изжить, что может он, Алексей, предпринять. Он пытался поймать все концы и начала, найти, где они спрятаны.

Однажды начальник, открыв дверь его комнаты, не смог шагнуть за порог — на полу были разложены бумаги и карточки, а помощник по-турецки сидел среди них.

— Что ты здесь чудесишь? — изумленно спросил прокурор.

Помощник объяснил, что хочет узнать, какие преступления исчезают из жизни и какие нет. Иван Никанорович ничего не ответил, постоял, пожевал губами, притворил дверь и ушел.

У Шуры сохранилось письмо, написанное Алешей об этом эпизоде. Из письма видно, чем жил он первые недели в Сердейске, чего искал, что находил и чего не мог доискаться. Письмо не очень вразумительное, с оценками, которые он впоследствии не повторил бы, но из письма, как из песни, слова не выкинешь.

«Прошлую неделю, Шурик, я потому написал только открыточку, что у меня заняты были все вечера. Я проводил их за статистикой. Копался в таблицах и папках с отчетами. На столе, на полу, на подоконнике у меня навалены были целые штабеля карточек, и я рылся в них, пока не дурела голова и не затекали конечности. Все раскладывал, проверял и сосчитывал».

Дальше Алеша описывал итоги своих изысканий. Он сообщил, что в сердейской деревне сильно изменился характер преступности. Здесь совершенно прекратились поджоги, потому что нет больше распрей из-за межей. Исчезло конокрадство, так как лошадьми уже не торговали на рынке. За советские годы вдвое уменьшились убийства из корысти — не стало вражды из-за на-

следства, аренды и продажи земли. Почти не было уже и детоубийства, потому что внебрачный ребенок перестал быть позором. Редко происходили избиения женщин, положение которых в семье и во всей жизни деревни стало совершенно другим. Но не изживалось еще хулиганство, велико воровство. Алеша писал, что подробно исследовал способы и виды хищений, составив о них доклад в райком партии.

«Раньше, — говорилось в письме, — прокуратура призывала колхозы бороться с хищениями, но не подсказывала им, как это делать. Мой начальник умница, у него много лет практики, разговаривает он похлестче Павла Максимовича и часто одной фразой сводит на нет все мое красноречие, но исследовательской жилки у него, к сожалению, нет. Он великолепно улавливает суть каждого дела, моментально соображая, «что к чему», но не склонен улавливать связь между сотнею дел, и эти связи оставались здесь нераскрытыми. У него нет школы, метода, привычки группировать материал. Зато ему требуются только минуты на заключения, которые у меня отнимают часы. Вообще же это прямой и добрый человек, которого ты обязательно полюбишь, когда познакомишься с ним. Он часто ворчит на меня, но на это и обижаться нельзя. За три недели я уже так привык к нему, словно мы всегда были вместе.

Я, конечно, очень рад, что смог подсказать полезные вещи о борьбе с воровством. Но что я подсказал? Как выписывать счета, как дотягивать до амбара зерно, где надо вешать замки... Но я ничего не подсказал в самом важном — как делать, чтобы можно было жить без замков».

Конец письма обнаруживал разбросанность мыслей Алеши. Таблицы дел о хулиганстве перенесли его на свердловские улицы, и ему рисовалось, как Шура возвращается одна от подруг поздним вечером, как тускло горят фонари, как прислушиваются к стуку ее каблучков пьяные парни на перекрестке, ждущие, чтобы она поравнялась с ними... «Ты не смеешь, Шурик, заниматься у подруг до двенадцати ночи. Твои письма меня возмущают. Если я не могу теперь за тобой заходить, значит, нужно изменить расписание. Ты должна завести твердый порядок и жить по режиму. И почему вы занимаетесь у Наташи, а не у тебя, когда у тебя отдельная комната?»

Через месяц после приезда Алеши — кандидата партии, только что вставшего здесь на учет, — бюро районного комитета партии приняло по его материалам большое решение о мерах охраны хлеба и сена на полях и в амбарах. Хотя доклад на бюро делал райпрокурор, а помощник давал только короткие справки — к новичку здесь приглядывались, — Иван Никанорович передал потом Алексею, что он понравился районным начальникам.

— Парень, кажется, дельный, — сказал секретарь. — Правильно начал... А как он устроен у нас? Комната есть у него? Костюм на нем уж очень старенький. Неудобно немножко для

прокурора... Дайте понять ему. Скажите в райпо, чтобы они подобрали.

Алешин начальник, в прошлом деятельный трибунальский работник, а теперь уже человек с лендой, большим сердцем, с валидомом в кармане, не позавидовал успеху помощника. Инициатива Алеша не кольнула его самолюбия. Он тщательно исправил, — а по мнению Алеша испортил, — доклад, велел перепечатать его на хорошей бумаге и отправил облпрокурору.

— Пусть видит, что мы не зря стулья просиживаем, — удовлетворенно потер он свои мясистые, красные руки и спросил: — Ну, так что ты скажешь о приказе начальства одеть тебя? Ты, наверное, в полосочку хочешь, по-городскому? Но сюда эта мода еще за десять лет не дошла, здесь высшим классом считается бостон.

Разговор о костюме вогнал помощника в краску.

Перед отъездом из Свердловска Алексей получил стипендию за два месяца, но разошлась она за два дня. Он купил себе несколько смен белья, бритву — в комнате общежития были две бритвы на семь человек, — желтые туфли и книги, которые могли понадобиться ему для работы. А остальные истратил на шелковую материю Шуре. Чтобы не стать жертвой Шуриной ярости, он уговорил ее мать спрятать материю и вручить ее после того, как уедет. Шуре осталось отругать его за подарок лишь письменно. А приличного костюма прокурор не завел себе. На это нужно было бы много стипендий.

Когда-то Алеше помогал старший брат — инженер, работавший на заводе в Челябинске. Каждый месяц он присылал двести рублей. Стипендия уходила на столовую, а переводы — на все остальное. Но в прошлом году у брата родился ребенок, и Алеша отказался от денежной помощи. Он героически возвратил два перевода, и они прекратились. Когда по дороге в Сердеевск Алеша приезжал в Челябинск, брат виделся с ним на вокзале и упросил принять «последний раз в жизни» подарок. Это были часы и пятьдесят рублей. Алеша взяла часы, но ни за что не хотел брать денег. Брат в конце концов рассердился:

— Пойми, что я зарабатываю вдвое больше, чем прокурор! У меня каждый квартал прогрессивка. И у нас уже налажена жизнь, а тебе придется начинать с табуретки. Ну вот, ты сейчас остановишься в Доме колхозника. По-твоему, тебя даром пустят туда?

Алеша мысленно решил, что этих денег он не станет расходовать, а будет копить на костюм. Решил и... тут же в поезде проиграл их в преферанс. Как это случилось, он и сам не мог понять. В преферанс когда-то играли в одной из комнат общежития, Алеша научился, но относился к игре равнодушно. Он не знал, хорошо или плохо играет. Развлечение это было дешевое — проигрыш и выигрыш не превышали пятерки. А тут его пригласили играть в свой вагон искавшие партнера военные, лю-

ди с деньгами, с большими подъемными и с привычками к крупному счету. Они установили большую ставку игры, Алеша эту ставку не понял и, чтобы сделать игру веселее, дурачился, покупал втемную на первой руке, объявлял мизеры и набирал на них взятки, беспечно смеясь своим неудачам. Когда подсчитали потом его проигрыш, Алеша был ошарашен. Он расплатился и молча ушел в свой вагон. Полковники поняли, что их партнер был не ведавшим счета юнцом, проигравшим, быть может, все свои капиталы, и на следующей станции один из них пришел к Алеше с деньгами.

— Это была шутка, — пробовал он уверять.

Алеша побагровел. Ему снисходительно дарили проигранное!

— Как... как вы это... себе позволяете?!

И партнер, испугавшись этой вспышки, исчез.

История была глупо-досадной, но она была лишь дорожным эпизодом, не более. Сердце в тот вечер покусывало, а утром проигрыш забылся. Что он значил для богача, имевшего Шуру и должность помощника райпрокурора!

Разглядев однажды Алешин костюм, Анна Сергеевна загнала жильца в постель раньше обычного, забрала обе части его туалета и полночи починяла, чистила, гладила. Обновленный костюм казался Алеше довольно приличным. Правда, Анна Сергеевна зря постирала подкладку — она от этого села, сжимала пиджак, и он теперь морщился, но зато не были уже обтерты борта и обшарпаны петли. Во всяком случае, в этом костюме еще можно было ходить. Ведь до приезда Шуры Алеша не собирался бывать в городском саду или Доме культуры — местах, куда надо бы принаряжаться. Но наблюдательность секретаря райкома заставила и прокурора быть излишне настойчивым — Иван Никанорович потащил Алексея в мастерскую райпромкомбината и сидел при ней до тех пор, пока при нем не снята была мерка.

Так на Алеше оказался новый костюм, и — что скрывать! — в нем приятнее было принимать посетителей.

Их было много. В базарные дни, когда приходили колхозники, в приемной всегда толпился народ. Одна женщина просила управы на мужа, уехавшего два года назад в Кустанай и переставшего платить на детей алименты. Другая хотела, чтобы прокурор разобрался, правильно ли с нее берут молоко по поставкам. Третья рассказывала, что постное масло отпускается в сельпо только с заднего хода.

Алеша так близко принимал к сердцу все жалобы и так рьяно расследовал их, что однажды начальник на него накричал:

— Ты чего кипишь больше, чем сами бабы? Хочешь всех милиционеров загнать и все телефоны сломать?!

По телефону Алеша действительно говорил очень много. Ему не понравилась карточная система учета жалоб, которую вела Людмила Ивановна, показались слишком длинными положенные

сроки расследования; он завел собственную тетрадку учета и стал постоянно звонить в учреждения и в конторы колхозов, требуя немедленных действий. Бывало, что он по нескольку раз в день звонил по разным заявлениям в один и тот же колхоз; бывало и так, что об одном деле он звонил в несколько мест. А сроки для проверок и ответов он назначал такие прижимные, что председатель одного колхоза иронически отрапортовал: «Есть, товарищ прокурор! Сейчас прекратим пахать зябь и переклочимся на выполнение вашего требования». Был случай, когда его нетерпение заметила и телефонистка. Девушка часто от нечего делать слушала его разговоры и, когда Алеша попросил соединить его с одним учреждением, кокетливо ответила: «Зачем, товарищ прокурор! Вы им по делу Смирновой дали сроку два дня, а это было только вчера».

Но чем настойчивее Алеша расследовал жалобы, тем больше стало их поступать. Иван Никанорович качал головой, а Алеша писал Шуре, что засыпан бумагами.

«Не рассказывай этого Павлу Максимовичу,— предупреждал он ее,— а то он объявит себя пророком, а меня чернильной душой, но папок у меня сейчас и вправду не меньше, чем у него кирпичей. Тоже мог бы из них стенку сложить... И все дела надо делать без соблюдения очереди. Мой начальник ругается, говорит, что это я привадил народ».

Алеша действительно сам искал жалобщиков. Это подсказал ему судья Иванов, о котором будет много речи в этом рассказе.

— Не бойтесь количества дел, Алексей Николаевич,— посоветовал как-то судья.— Чем больше вы запишете жалоб, тем меньше их останется в избах.

Алеша оценил эти слова.

Однажды он ездил в колхоз расследовать заявление, возвратился оттуда взволнованный и, не застав уже начальника в его кабинете, отправился к нему на квартиру.

Иван Никанорович сидел в нижней рубашке и играл с женой в дурака. Его лицо было нездоровым и красным. На столе были остатки ужина и остатки в бутылке. Иван Никанорович не удивился ни приходу, ни возбужденному виду помощника. А тот стал торопливо передавать рассказы колхозниц о произволе, который чинит бригадир, приписывая трудодни своим родственникам, не начисляя их тем, кто ему не угоден, и освобождая за угощение от колхозных работ.

— Нам надо собирать жалобы, ходить за ними, вытягивать их! — горячо убеждал Алексей.— У нас должен быть ежедневный прием. День — вы, день — я. Мы должны узнать, что где творится. Я решил взять все заявления, которые к нам поступили за год, и изучить, на что люди жаловались. Тогда станет ясно, как надо действовать. Мы этим такое нужное дело сделаем! Вы представляете?

Начальник ответил не сразу.

— Да, представляю,— сказал он тихо и грустно. — Всегда представлял. Только руки не доходили.

Он почесал волосатую грудь.

— Что ж, действуй. Только идею твою все равно не удасться повернуть. Ведь надо и в суде выступать, и за милицией постоянно смотреть, и в сельсоветы наведываться... То одно нужно проверять, то другое... Ты вот увлечешься изучением жалоб, а всю остальную работу сорвешь. По головке нас не погладят за это.

— Справимся, Иван Никанорович, уверяю вас, справимся,— возразил убежденно Алеша.— На месяц-два запряжемся, зато ведь сколько устраним недовольства! И у нас же обязательно уменьшится потом количество дел!

— Знаю, все знаю. Это ты вот не хочешь действительность знать. Переналаживать все норовишь, сразу тысячу дел переделывать. Забываешь, что чем выше на гору лезть, тем скорей скывырнешься. На равнинке и то бы не споткнуться, гляди. Но я не возражаю. Берись за эти жалобы, если подымеешь.

— Подниму, Иван Никанорович.

— Ну что ж, дело не худое, конечно.

Он псмолчал.

— Хочешь, Алеша, рюмочку, а? — спросил Иван Никанорович гостя, но тут же поправился: — Нет, впрочем, не надо тебе. Спать иди.

Вскоре, однако, начальнику перестало нравиться, что помощник затеял возню с посетителями и стал принимать их во всякое время.

— Ни к чему это вовсе! — ворчал Иван Никанорович.— Если у человека дело есть, так он всегда выкроит время, чтобы попасть к тебе в положенный час. А кто на всякий случай заходит, тот только голову морочить идет. Не чувствуешь разве, сколько старух стало к тебе от безделья таскаться! Одной, видишь ли, сын перестал письма писать, а другую невестка к печке не подпускает... Прослышали про тебя и шатаются теперь, как к мирскому печальнику. А нам надо отчет составлять. Квартал-то бежит ведь. И не заметишь, как сроки пропустишь.

Он прав был, когда говорил, что прокурора посещали и люди, которым следовало бы обращаться в другие места. Но Алеша заметил, что Иван Никанорович оказался вообще суховат ко всему, что не входило в квартальный отчет.

Хотя помощника не приходилось ни к чему понукать, начальник бывал недоволен, когда он куда-нибудь уходил. Если дело заставляло Алешу на час или два покидать помещение, а тем более съездить на день в колхоз, Иван Никанорович ворчал, как бранчивый папаша. Он хотел, чтобы Алексей всегда был у него под рукой и не увлекался разнообразием жизни вне помещения. Алеше стало даже казаться, что этого разнообразия начальник немножко побаивался. Он, например, очень неопределенно вы-

сказывался о печалях и радостях, возникавших у Алексея после разговоров с людьми.

К радостным фактам он относился вообще недоверчиво.

Однажды Алеша сказал ему, что был в нотариальной конторе и узнал, что за последние годы заверяется меньше долговых обязательств.

— Не означает ли это, — спросил он, — что люди стали больше верить друг другу на слово?

— Гм... — уклонился от ответа Иван Никанорович. — А чего ты ходил туда? Он, слава богу, не наш подчиненный, нотариус, и в указаниях никаких не нуждается. Ты, Алексей, честностью брось заниматься, нам с тобой нечестных хватает.

Особенно сердился Иван Никанорович, когда Алеша много времени проводил в народном суде.

— Чего ты торчишь там? — говорил прокурор, давая понять, что выступать в суде прокурору, конечно, приходится, но не чаще, чем этого требует область. — Зачем нам себе лоб расшибать!

А Алешу влекла к себе эта трибуна. Он рад был аудитории. И он нашел общий язык с судьей Ивановым, хотя и были они людьми разных возрастов и разных натур.

Иванову уже перевалило за шестьдесят. В противоположность Алеше, он не был поспешен, внимательно слушал, интересовался чужой точкой зрения, не был неуступчив во мнениях. Это вообще был учтивый человек, не способный на бранное слово. Его манера говорить отличалась от Алешиной, — один утверждал, а другой проверял себя. Интонация его фраз часто была вопросительной и сложилась, быть может, от профессиональной привычки задавать вопросы свидетелям. Но смысл вопросов показывал, что Иванов уже сам продумал ответы и только слушает их с ответами своего собеседника.

Мягкая речь не вязалась с волевыми чертами лица Иванова, его резкими морщинами и седым жестким ежиком. В этом лице было что-то непреклонное, слишком серьезное. Но со временем Алеша понял, что эта серьезность была пылкостью в поисках выводов и непреклонен судья становился лишь после того, как выводы были им найдены. Иногда же суровость с лица Иванова вообще исчезала, сменяясь какой-то беспомощной грустью.

Иванов часто проводил в совещательной комнате по многу часов, утомляя зал ожиданием, но зато в приговорах, которые он выносил, содержались ответы на все «за» и все «против».

— Ну, вы сегодня помаяли публику! — полушутя сказал ему раз Алексей, когда Иванов особенно долго пробыл в совещательной.

— Вы находите? — отвечал Иванов. — Что ж делать! Мне надо было сначала самому убедиться, потом так написать, чтобы других убедить.

Иногда суд оглашал оправдательный приговор или отправлял доследовать дело. Каждый такой случай ущемлял самолюбие

следователей, но доводы, которые судья приводил, заставляли и Алешу колебаться в его прежней решимости, открывали другой угол зрения.

Алексею запомнилось первое дело, по которому он столкнулся с судьей и отступил перед ним, смущенный большей справедливостью, чем его собственная.

Однажды во время аварии старый и опытный монтер бросился устранять неисправность, не надев изоляционной одежды. Его ударило током, и он лишился левого глаза. Выйдя из больницы, монтер обратился в суд, прося выплачивать ему за увечье, полученное на производстве. Помощник прокурора возражал против иска. Алексей исходил из закона, который указывал, что предприятие отвечает за ущерб, причиненный здоровью работника не по его личной вине.

— В данном же случае,— говорил Алексей,— виноват сам потерпевший.

Суд не посчитался с мнением прокурора и удовлетворил иск рабочего.

— Видите ли, Алексей Николаевич,— объяснил потом Иванов, будь мы в Свердловске или в Челябинске, я согласился бы с вами. Там много заводов, много рабочих, и им следует знать, что государство не может быть в ответе за все, что с ними случится. Но не кажется ли вам, что в Сердейске такая правда была бы неправдой? Тут это первый случай увечья. Человек тридцать два года работает, монтировал нашу станцию, непрерывно находясь на ней. Можно ли, чтобы он ушел безглазым и... просто так?.. Сам виноват, говорите? Да, это так. Но стоит ли нам к его вине добавлять еще и свою?

— Но не может же для Сердейска существовать особый закон! — возразил Алексей, хотя сердцем сразу согласился с судьей.

— Худший не может, а лучший может,— ответил судья.

Алеша смолчал, хотя против такого утверждения можно было поспорить.

Решения суда редко отменялись областной кассационной инстанцией, хотя и бывали иногда непривычны для спокойных служивых умов. В переполненном зале никого не приходилось призывать к тишине и порядку... Приговоры, часто поневоле разбиравшие жизни семейств, встречались в строгом молчании. А когда иной раз в зале рыдала чья-нибудь жена или мать, люди осуждающе смотрели не на судью, а на скамью подсудимых. Они понимали, что судья исчерпал все свое милосердие... На улице встречные почтительно кланялись ему, а подростки прекращали сражаться в орлянку и жестку — увлечение этими играми здесь было повальным,— и почти хором кричали: «Здравствуйте, Василий Викентьевич!»

Будучи студентом на практике, Алеша видел самых разных судей. Некоторые черпали все доводы для решений только из

прокурорских речей или предварительно справлялись с желаниями местных властей. Эти судьи на себя не полагались. А в Сердейске, наоборот, местные власти вполне полагались на старого и чуть ли не самого уважаемого человека в районе, знали, что правосудие находится в верных руках.

О законах и правде Иванов говорил постоянно. Он умел увидеть за фактом проблему, за поступком — хозяйственный или моральный вопрос. Никогда еще ни один собеседник Алеши не употреблял так часто слов «право» и «справедливость», как Иванов. В других устах эти слова казались бы намеренным пафосом, слишком громким для разговора один на один, — от этого обычно неловко. А у Иванова они звучали естественно и были просто необходимыми элементами речи. Это происходило потому, что категории морали и права были для судьи ощутимой реальностью. Он этими категориями мыслил, они вжились в него, он вжился в них.

За короткое время знакомства с судьей Алеша услышал от него много определений, каких не встречал в учебниках и не слышал от судей, к которым ездил студентом на практику. Иванов говорил, что задача суда — «что-то улучшить или исправлять в человеческих жизнях», что «никогда не следует упускать возможность осуществить нужную правду», что в прокуратуре и суде «должно быть много сил на добро». Эти фразы, необычные в деловом разговоре, не казались, однако, красивостью и вытекали из всего строя мыслей судьи. Его речь никогда не была отрешенной от дел, но выводила собеседника из их узкого круга, расширяла его понимание.

Общение с Ивановым и самое пребывание такого человека в Сердейске Алеша сразу глубоко оценил. Оценил возможность вести разговоры на свердловские темы — правовые и философские. В кабинетике судьи воскресала для Алеши умственная атмосфера, царившая на семинарах и в научных кружках института. Но в кружках мысли брались из книг, а здесь их поставлял зал суда. Часто после приговора по какому-нибудь сложному делу Алеша с судьей еще долго продолжали о нем говорить.

Ивану Никаноровичу все это очень не нравилось. Прокурор и судья были людьми совершенно разного склада, не чувствовали друг к другу симпатии, и Иван Никанорович ревниво относился к задержкам Алексея в суде. Он не хотел, чтобы помощник выходил из-под его прямого влияния и подпадал под чужое. Но Иванов никогда не заговаривал с Алешей о прокуратуре, а если Алексей сам заводил о нем речь, судья отвечал каким-нибудь сдержанным, скучным замечанием.

Так, когда судья поздравил помощника прокурора с обновкой и Алексей рассказал историю костюма, связанную с хлопотами Ивана Никаноровича, заметив, что он вообще человек очень добрый, судья ничего не ответил и не подтвердил этого вывода каким-нибудь ходячим одобрительным словом, бросае-

мым обычно в таких случаях. Наступила неловкость, и тогда Алеша добавил, что доброта прокурора сказалась во многом: он нашел ему комнату, ископотал для него изрядный аванс...

— А не кажется ли вам, Алексей Николаевич,— заметил на это судья,— что день вашего приезда и день заказа костюма не подходящи для определений и выводов? Не были ли вы тогда сами настроены немного... чувствительно? Не правильнее ли оценивать людей, поступки при ровном состоянии сердца?

В другой раз разговор зашел о выступлениях представителей прокуратуры в суде. Судья находил, что их маловато. Помощник прокурора сказал, что его начальник сильно устает после рабочего дня, а сам он завален делами. Судья промолчал. Алеша стал объяснять, что начальник действует тут бескорыстно, что у него много времени уходит на заседания в райкоме, райисполкоме...

— А не кажется ли вам,— заметил судья,— что уклонение от решения дел есть тоже корысть?

Алеша ничего не ответил, и судья не возвращался уже к разговору о прокуроре.

А Иван Никанорович подозревал, что Иванов выпытывает о нем у помощника, что-то наговаривает на него, и предостерегал Алешу против судьи:

— Головной человек. Спина как-то. Кто его знает, что у него на уме... Нет, не люблю я таких, у которых волос ежом. Он и колышет при случае не хуже ежа. Гляди, брат, душу ему не вытряхивай!

И у Ивана Никаноровича озабоченно хмурился лоб, сдвигались густые белесые брови. Это означало, что он беспокоится, сердится. Но недовольство начальника не меняло отношения Алеши к судье и не ухудшало его настроения.

Вообще настроение у него первые месяцы жизни в Сердейске было очень хорошим. Алеша и сам не заметил, как он стал быстро известен в районе, но эта известность пришла. Ее создали и речи в суде, и молва о том, как хорош молодой прокурор с посетителями, и статейки, печатаемые им в районной газете. Эти короткие и простые статейки о браконьерстве, правонарушениях и путанице в учете труда Алеша писал в ночные часы. В Сердейске он впервые увидел свою фамилию, набранную типографскими литерами.

Надо сказать, что популярность Алеши стала в какой-то мере и популярностью прокуратуры. До его приезда о ней мало говорили, потому что ее мало и чувствовали. Деятельный характер Алеши заставил все учреждения ощутить, что в районе есть прокурор. Алеша постоянно вызывал к себе местных работников, всегда на чем-нибудь перед ними настаивал или требовал от них

чего-нибудь, сделав прокуратуру весьма осязаемой в жизни районного центра.

Все это радовало Алешу. Приятно было сознавать, что он стал видным человеком в районе, что он живет и действует правильно. В нем пробуждалось, может быть, честолюбие, но отнюдь не дурное.

Интересные, благородные и живые занятия легко примиряли Алешу с Сердейском. Лишенный Шуры, оторванный от круга товарищей и брошенный из шумного города в деревенскую тишь, Алеша благодаря вечной занятости не успевал тосковать по Свердловску.

Он попал в Сердейск в конце лета, и тогда жизнь тут представлялась ему даже приятной. Городок лежал в стороне от железной дороги, и, когда Алеша подъезжал к нему в кузове грузовика, Сердейск издали выглядел кучей какого-то мусора. Но потом впечатление сразу улучшилось. После одноцветных улиц Свердловска городок показался веселым. Все было залито солнцем, с полей несло запахи свежего сена, вдоль улиц вились палисадники, окна изб украшались резными наличниками, подоконники уставлены были горшками с растениями, а на частокочлах просыхали молочные крынки. Люди никуда не спешили, повсюду бродили козы и куры, по ступенькам крылец доверчиво гуляли жирные голуби. Во всем чувствовалась простая, неторопливая жизнь. Весь городок можно было оббежать за час-полтора и выйти любой улицей в поле. Алеша был очень доволен даже ветхой и бедной хатенкой Анны Сергеевны. Его радовало ощущение простоты и свободы, возможность ходить «распакованным», то есть разгуливать босиком по вымытому старушкой дощатому полу, обливаться за домом колодезной холодной водой. В Сердейске было несравнимо легче и радостнее, чем в каменном и многолюдном Свердловске, где по раскаленным улицам надо было ходить в пиджаке, где трубы заводов и дизели распространяли дымную одурь и за порциями свежего воздуха надо было специально шествовать в парк, словно за булками в булочную.

Потом пришла осень, и сердейская простота обернулась гнетущею грязью. Уже не нужно было обливаться водой, потому что она сама лилась день и ночь. Деревенские люди, у которых весной и летом все дела во дворе, забились теперь в помещения. В домах стало тесно, а на улицах совершенно безлюдно. Анна Сергеевна, нисколько не сбавившая своей суетливости, по-прежнему ловившая себе собеседника и бегавшая в разные места за продуктами, попеременно сушилась и мокла, а из окон ее домика на Алешу смотрела утрами удручающе неприглядная улица.

Через знакомую продавщицу райпо Анна Сергеевна раздобыла ему брезентовый плащ. Алеша снова влез в свои старые брюки. С дождями изменились и расстояния, домик Анны Сергеевны оказался теперь стоящим далеко на отшибе, а самый

Сердейск, давно возведенный официальным указом в ранг города, вновь превратился в большое село. Оно теперь не могло идти со Свердловском ни в какое сравнение. Здесь некуда было девать себя вечерами, но работа по-прежнему спасала Алешу от всякой хандры и к уличной слякоти не прибавлялась слякоть в душе.

А когда наступила зима, простая сердейская жизнь, которая летом так пленила Алешу, оказалась отнюдь не простой. Морозы в 1951 году здесь были крепче, а метели куда злее свердловских. Впрочем, возможно, что холода были тут и там одинаковыми, но в Сердейске труднее было от них защищаться.

Ветры били и хлестали здесь с такой силой, что проникали в домик Анны Сергеевны через все щели окон, стен и дверей. А чего-чего, а уж щелей тут было достаточно... Алеша сгреб вокруг домика снег, привалил его к окнам повыше, но от этого не стало теплей и сделалось много темнее. Застоявшийся прокурорский битюг отправлялся теперь по воскресеньям в дальние рейсы, и Алеша с конюхом пилили лес на дрова. Половину зимы крутились бураны, дороги в Сердейск заметало, базар, а с ним и еда оскудели, и даже такая хлопотунья, как Анна Сергеевна, не часто могла доставать мясо, капусту и масло. А цены на них поднялись до свердловских.

Но хуже всего было то, что Алеша был без одежды, необходимой для сердейской зимы. В привезенных им желтых туфлях невозможно было ходить даже по проложенным среди сугробов тропинкам, а о выезде в колхозы нечего было и думать. Кепка, в которой он и раньше отмораживал уши, выглядела здесь просто жалкой, а под легкое пальто мороз пробирался с такою мгновенностью, будто никакого пальто вообще не было. Помощнику прокурора поневоле пришлось принимать подавания. Анна Сергеевна разыскала у каких-то соседей полуистлевшую солдатскую шапку-ушанку, нахлобучить которую было бы к лицу не прокурору, а какому-нибудь деревенскому деду; Иван Никанорович дал залатанные, старые валенки, а судья насильно надел на Алешу короткий и узенький ватник, принадлежавший, как оказалось, его худенькой старушке жене.

Все это было унижительно, а облик прокурора стал малопривлекателен. Алексей рос без отца, привык быть плохо одетым и не чувствовать себя от этого плохо, и все-таки унижение, испытанное им в первую сердейскую зиму, запомнилось ему навсегда. Он возненавидел эту зиму. Но молодость успешно справлялась и с уколами самолюбия, и с холодами, над которыми Алеша в письмах к невесте даже умудрялся острить. Он писал Шуре, что использует теперь ее опыт — держит под мышкой желтые туфли, бежит на работу в стоптанных катанках, а там переобувается, как делает это она, отправляясь в театр.

Зима длилась долго, проходила все в той же напряженной работе, хотя и оставляла немного больше свободного времени.

Морозы разобщали людей, уменьшали их столкновения, сковывали их страсти и вспышки. Посетителей и дел в прокуратуре убавилось. Алеша стал раньше уходить, раньше ложиться, больше читать, чаще писать старым, институтским друзьям и вести дневник.

Но круг людей этой зимой не расширился, сфера интересов оставалась все той же, и ничего особенно нового в нее не вошло. В клуб Алешу не тянуло, потому что фильмы крутились там старые, а на каток он не решался ходить, не зная, удобно ли для прокурора бегать с молодежью по кругу.

Но зимой начались незначительные на первый взгляд происшествия, сказавшиеся на последующей Алешиной жизни в Сердейске.

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Первым таким происшествием было столкновение с Людмилой Ивановной.

Как читатель, вероятно, заметил, рядом с Алешей в Сердейске не было девушек. Единственной женщиной возле него была здесь Анна Сергеевна, полюбившая квартиранта, как сына. Нет, даже и матери не всегда так относятся к своим сыновьям. На Алеше сосредоточились все ее интересы. Точнее — у нее не было других интересов. Она выпросила у него все, что могла, о его прежней жизни, родных и товарищах, допытывалась, о чем пишет Шура и что он пишет ей, планировала для будущей семьи перестройку избы, рассуждала об огороде, корове, сарайчике. Предстоявшая свадьба Алеши не выходила у нее из головы, и она деятельно готовилась к приезду невесты. Под разными предлогами выманивая у Алеши деньги, она неожиданно преподнесла ему покупки «для молодой». У старушки появились теперь поводы для самых невероятных забот, а в Алешиной комнатке — вещи, надобности в которых он вовсе не чувствовал. Приходя домой, он часто заставлял теперь то один, то другой сюрприз и не знал, благодарить ли ему Анну Сергеевну или выговаривать ей. Она приобрела для него мясорубку, туалетное зеркало, чайный сервизик, медную ступку... Алеша терялся, а Анна Сергеевна ликовала по поводу каждой вещицы, говорила, что он ничего не понимает в хозяйстве, и носилась с новыми и новыми планами.

— Швейные машины в райпо привезли, — информировала она Алексея за ужином. — Но только не надо нам. Моя столько лет без дела стоит. Ее починить — и пожалуйста, шей-расшивайся! И платье и распашонки — все на ней можно пошить. Я Сашке говорю — это продавец из райпо: «Ты мне лучше, говорю, кровать припаси с матрацем. Да чтобы с пружинами был. Для молодых, говорю, ведь».

Что мог Алеша на это сказать?!

А Анна Сергеевна продолжала простодушно рассказывать о том, как уговорила соседку уступить пух на подушки и как трудно в Сердеевке приобрести одеяло.

— Об одеяле ты, Алексей Николаевич, обязательно должен Шура написать. В Свердловске стеганое шелковое можно купить. Ну, да я думаю, мать и сама дочку без одеяла не отпустит. А уж о простынях и не сомневайся, привезет. Я тебе говорю, привезет. Она не догадается, так мать догадается. А с подушками не будет твоя Шура таскаться. Не любят теперь молодые таскаться. И разве кто держит в Свердловске гусей! Подушки сделаем сами. Что надо, то надо.

И чувствовалось — она очень рада, что надо.

Алеша все больше привязывался к этой маленькой неумной седенькой женщине, которая наконец-то дожидая до возможности стряпать, покупать, обставлять, строить и осуществлять свои планы, кому-то отдавать свою жизнь. А Анна Сергеевна расхваливала своего жильца при разговорах с соседками, продавцами райпо и знакомыми колхозницами, приезжавшими в Сердеевск на базар. Она хвасталась перед ними его властью, ученостью, скромностью. Она уверяла других и верила твердо сама, что Алеша образованнее, умнее и лучше прочих людей, а Шура красивее всех других девушек, и заранее восторгалась, какие у них пойдут дети. И эта наивная реклама еще больше привлекала к Алеше внимание девушек, и без того давно уже его заприметивших.

Интерес к себе Алеша чувствовал часто. Когда он выступал в народном суде, в зал приходили девицы, не имевшие никакого касательства к делу. Одна молоденькая телеграфистка продолжала зачем-то ходить на прием к прокурору и после того, как расследование дела о перепутанной телеграмме было закончено. Секретарь райкома комсомола Валя Глотова несколько раз приглашала Алешу к себе в кабинет. Она хотела, чтобы именно он помогал ей продумывать формы участия комсомольцев в весенне-посевной, уборочной и прочих кампаниях. «Вы хоть уже и не комсомолец, — краснела она, — но нельзя сразу так отрываться».

Нашлись девчонки посмелее... В кармане пальто Алеша обнаружил однажды записку. «Почему вы живете бирюком?» — спрашивала таинственная А. Н. и сообщала, что он может угадать ее, если захочет быть двенадцатого апреля в Доме культуры и задержаться до начала спектакля у раздевалки. А какая-то Оля К. оказалась еще решительнее — она прислала ему письмо на домашний адрес.

«Говорят, что у вас есть невеста, — писала эта девица. — Но если бы она вас любила по-настоящему, так давно приехала бы к вам. А есть девушка, которая любит вас именно так, хоть вы такой гордый, что не хотите с нею знакомиться. А она живет от вас через дом. Если вы останетесь при своей непреклонно-

сти, то порвите это письмо. Вы партийный, я надеюсь на вашу честь и смело ей себяверяю».

Алеше эти записки, может быть, льстили, но его жизни не изменили.

Ему недоставало Шуры. Днем у прокурора были люди, дела, они его поглощали. А поздними вечерами, когда районный центр засыпал, когда уже и молодежь расходилась с катка, тогда приходило что-то другое, томившее... И Шуриной карточки, для которой Анна Сергеевна нашла старую рамочку, было мучительно мало. В эти вечера Алеша писал Шуре сумбурные письма, писал, что у него нет слов объяснить, как ему ее не хватает, как необходимо ему сейчас же видеть ее.

Он писал эти письма, понимая, что писать их не следовало, что он вносит сумятицу в Шурину голову, мешает ей готовиться к экзаменам, что ей и самой не сидится в Свердловске. И, раскаиваясь в таких письмах, снова писал их.

«Ну, родной, ну, Алешик ты мой,— отвечала Шура,— со мной происходит то же самое. Учю, учю, а потом вскакиваю, чувствую: «Нет, ничего не идет в голову!» Девчонки не хотят со мной заниматься. Господи, Алешик, родной, не пиши лучше мне, бога ради, ничего не пиши! Ведь ты учил меня тренировать свою волю... Я стала как дура. Считаю дни — их остается сто восемьдесят, сто семьдесят девять... Страшная уйма, а проходят только по одному... И сердце выскочит раньше, чем я досчитаю. Я не выживу, не приеду, Алешик...»

Разве мог Алеша, получая такие Шурины письма, откликаться на записки сердечных красавиц. А одну девушку Алексей даже невзлюбил — секретаршу Людмилу Ивановну.

Алеша заметил, что вечерами она оставалась на работе без надобности и каждые пятнадцать — двадцать минут заходила в его кабинетик осведомиться, не нужно ли ему продиктовать что-нибудь. Эта назойливая услужливость начала его раздражать. Несколько раз Алеша достаточно ясно говорил Людмиле Ивановне, что вечерами он изучает дела и почтой не занимается. Это не помогло. Она продолжала засиживаться и вздумала заставить его переключиться на почту именно в вечернее время.

— Тут срочный из области,— вошла она как-то раз с циркуляром.

— Разве он поступил только сейчас?

— Нет, но днем столько посетителей, меня так отрывают... Ой, Алексей Николаевич, смотрите, что у вас делается!

И, прежде чем он успел ее отстранить, стала расправлять ему галстук.

В другой вечер она подала ему «молнию».

— Смотрите, Алексей Николаевич, требуют невозможные сведения. Это нам с вами сидеть целую ночь.

— Ничего, сделаем днем. Почему вы не показали это Ивану Никаноровичу?

— Ах, Ивану Никаноровичу! — оттопырила она пренебрежительно губы.— Все равно ведь для исполнения он вам передаст.

И тут же насплетничала:

— Иван Никанорович запряг своего битюга и поехал к лесничему распивать медовуху.

Присела и стала рассказывать:

— Какое это безобразие, Алексей Николаевич! Конюху только и дела, что в хозяйстве Ивана Никаноровича. Летом он таскает воду на огород, а осенью дрова ему возит. Я не обвиняю Ивана Никаноровича — конюху у нас действительно нечего делать. Хоть он и болван, но не выгонять же его, когда областная прокуратура такую штатную единицу дала. Но уже сколько райпрокуроров получили машины! Если бы мы тоже хлопотали и требовали, так и нам бы выделили. А у Ивана Никаноровича только просительный тон. Впрочем,— искусственно засмеялась она,— он не хочет расстаться со своим битюгом, потому что влюблен в него. Я раз видела, как он целовал его в морду. Гладил и целовал. А вам из-за этой влюбленности приходится дожидаться попутных.

Через несколько дней она жеманно спросила его:

— Почему вы говорите мне «Людмила Ивановна»? Я разрешаю вам называть меня Людой.

— Мы на работе.

— Ну и что из этого? Ведь Иван Никанорович зовет меня Людой.

— То Иван Никанорович. Он много старше.

— А нам с вами тем более можно быть запросто. Мы одноклассники.

И разъяснила:

— У меня такое имя, что получается два. Можно звать Людой, можно и Милой.

Однажды она поразила Алешу другой неожиданностью:

— Алексей Николаевич, вам надо мотоциклет?

Алеша удивленно посмотрел на нее.

— Привезли девять штук. Вы ведь в магазине никогда не бываете, ничего совершенно не знаете, а Анна Сергеевна тратит вашу зарплату на чепуху. Ничего хорошего она не достанет...

— Позвольте! Откуда вам известно про Анну Сергеевну, про...

— Ах, Алексей Николаевич, это не одной мне известно, а всем. Ведь у нас не Свердловск, городок премалюсенький, каждый друг о друге все знает, всякую мелочь...

— Нет, мне не надо мотоциклета,— оборвал ее Алексей.

Этот разговор оставил особенно неприятный осадок. От секретаря прокуратуры, окончившей десятилетку и учившейся на заочных юридических курсах, тянулась, оказывается, какая-то длинная нить пересудов и сплетен. И тут Алеша заметил, что Людмила Ивановна чрезвычайно неприятна и внешне.

Мелкие завитушки старили ее некрасивое, острое и худое лицо. Стремясь выглядеть лучше, чем есть, Людмила упорно превращала прическу в мерлушку, не понимая, что лишает себя этим единственного достоинства — молодости и простоты. Эта прическа в сочетании с искусственно насаженной родинкой свидетельствовала об отсутствии вкуса. А недобрые взгляды, которые она бросала на всех замужних молодых посетительниц, говорили о том, что она неудачница, что ей никогда не везло. Трудно было понять, тянуло ли ее к Алексею или она просто посчитала его нестойким в обороне мальчишкой, но действовала она беззастенчиво.

Каждого урока хватало ей лишь на день или два. Вероятно, она неправильно расценивала поведение молодого начальника, принимала его равнодушие за нерешительность и думала сломить ее все большей настойчивостью.

— Знаете, Людмила Ивановна,— резко сказал он ей после того, как она трижды под разными предложениями к нему заходила,— я принужден буду приказать вам ровно в пять часов уходить.

— Ах, Алексей Николаевич,— вздыхая, ответила Людмила Ивановна,— я, как и вы, буквально зашиваюсь от всяких бумаг! Гоните, гоните меня, а то я никогда не уйду. Но сейчас так поздно, на улице такая жуткая темень... Может быть, вы проводите меня, Алексей Николаевич? Я просто боюсь!

У Алексея не хватило находчивости отразить этот натиск. Жила Людмила Ивановна на самом краю городка, у большака, ведшего в колхоз «Двадцать лет Октября». Несмотря на снег, стояла такая черная ночь, что не видно было и на шаг впереди. Алексею поневоле пришлось взять девушку под руку. Она сразу прильнула к нему. И произошла неприятная, молчаливая, злая борьба. Алексей старался выпрямить фигуру Людмилы Ивановны, а она, словно лишившись управления собственным телом, повисла на спутнике. Алексей находился в том возрасте, когда нервы здоровы и дух в равновесии, но упорство этой девицы привело его в бешенство. Резким движением он ее отстранил.

После этого случая Людмиле Ивановне не приходилось себя больше обманывать. Алексей был избавлен от ее навязчивости и свободно вздохнул. Он чувствовал, что Людмила Ивановна затаила злую обиду, но это его не заботило. Ее присутствие в прокуратуре было ему неприятно, и только. Не увольнять же человека за то, что он неприятен!

У ИВАНОВА

Однажды Алеша был в суде обвинителем и заметил, что Иванов его выступлением не очень доволен. После заседания он пошел к судьбе объясниться.

— Не могу,— сказал тот,— у меня сейчас опять заседание, а на лету это не разговор. Но вы можете прийти ко мне вечером на квартиру. Кстати, вы ведь у меня еще никогда не были, а? Вот приходите, я вам моих буянов представляю, потом попьем чаю и потолкуем не торопясь.

Иванов с женой, дочерью и пятилетними близнецами-внучатами занимал две комнаты крупного жилого дома в самом центре Сердейска. Стоял этот дом на площади, между райисполкомом и церковью. Строили его во время войны под интернат для эвакуированных ленинградских детей. Дети эти выросли и большей частью разъехались, а те, кто осел в Сердейске, жили уже в собственных семьях. В бывшем интернате остались только две ленинградки, занимавшие одну из его многочисленных комнат. В остальных поселились семьи районных работников.

Когда после войны здесь стало постепенно освобождаться жилье, не все им хотели воспользоваться. В этом сделанном на скорую руку оштукатуренном ящике неудобно было жить подомашнему. Коридорная система и общая кухня на два этажа не позволяли располагаться и хозяйствовать так, как это было привычно. Живя в этом доме, не просто было держать свинью и корову, завести огород и стряпать, когда этого хочется. Комнаты имели городское обличье, но при доме не было хлевов, сараев и погребов — всего, что нужно в сельских условиях. Иванов был одним из первых, въехавших в дом, так как он не стремился сочетать городскую жизнь с деревенской запасливостью. Его старушка жена держала только козю, чтобы иметь для внучат свое молоко. Но убранство квартиры Иванова было лучшим в Сердейске. О том, что судья «живет как профессор», Алеша слышал однажды от жены Ивана Никаноровича. Он пропустил тогда эту фразу мимо ушей, но сейчас же вспомнил ее, переступив порог квартиры судьи. Придя сюда из своей комнатки, которую украшала лишь Шурина фотография в рамочке, Алеша сразу попал в другой мир. Едва он открыл дверь, как на него пахнуло уютom, довольством, обжитостью. Он сразу почувствовал себя среди множества дорогих и хороших вещей. Такой облик жилья в Сердейске был неожиданным, но, к счастью, навстречу Алеше поспешили не вещи, а люди, предотвратив его произвольную попытку оглядеть обстановку. Алеша не успел еще поздороваться с женщинами, как чудесный бутуз, нисколько не смутившийся появлением гостя и не приподнявшийся с места, деловито крикнул ему: «Товарищ, покажите, как делать «б-бы»!» Оказалось, что в тетрадке, где он рисовал свою бабушку, ему захотелось начертать букву «б», чтобы не оставалось сомнений, кто изображен на рисунке. Дочь Иванова, Нина Васильевна, не похожая на отца дородная блондинка под тридцать, почуяв легкое смущение гостя, с мягкой улыбкой сказала ему, что давно о нем слышала и рада, что он наконец к ним пришел.

— Поздно, поздно пришли! — весело перебила дочку ста-

рушка.— У меня тут целый месяц гостила племянница, вот когда надо было вам приходиться!

Второй мальчишка, молча смотревший на Алешу минуточку и, видимо, составивший себе о нем заключение, спросил с места в карьер:

— А вы голубей высоко гоняете?

Алеша удивился.

— Совсем не гоняю.

— Вы не умеете? А у нас мальчишки меньше вас и умеют.

Он явно причислял нового знакомого не ко взрослым, а к мальчишкам.

Все рассмеялись, Алеша почувствовал себя сразу свободно.

Женщины усадили его и стали расспрашивать, где он живет и столуется, есть ли у него родные, приходится ли им помогать. Через несколько минут мальчонка, которому надоело выводить букву «б», перебрался со своей тетрадкой на колени Алешы и потребовал показать ему еще «м-мы». Его брат, оскандалившийся в оценке нового гостя, подошел к уху матери и стал ей что-то шептать. Оказалось, он спрашивал:

— Мама, а дядя на меня не сердитый? Я же не знал, что он настоящий большой.

Фраза очень понравилась деду, он взял мальчонку на руки и объяснил ему:

— Это дядя особый. Он внутри настоящий большой, а снаружи еще не настоящий.

— Ну, и на меня тоже не будьте сердитый, Алексей Николаевич,— сказала Нина Васильевна,— но вы действительно выглядите моложе двадцати трех. В плечах широки, а лицо первокурсника.

Когда женщины узнали, что Алеша ожидает невесту, расспросы усилились, а потом сменились деловыми советами.

— Начинайте сразу жить хорошо,— серьезно сказала Нина Васильевна.— Пусть у вас будут только удобные и красивые вещи.

Алеша смолчал.

— На это не нужно больше денег, чем на дешевку,— пояснила она, заметив, что он покраснел.— Надо иметь только вкус и настойчивость. Сколько вы получаете? Восемьсот пятьдесят? Ну и жена будет, вероятно, зарабатывать около этого. Для Сердейска очень и очень прилично. Мы с мужем начинали со значительно меньшего. Жили только на его лейтенантский оклад. У нас ничего не было, кроме топчана и матраца. Кровать не перекрывалась полгода. Тратить деньги на дерюжку я не хотела, а скопила около двух тысяч рублей и купила настоящий восточный ковер. В комнате сразу стало нарядно и весело. Видите, он сейчас висит на стене и по-прежнему новый. Кочевал с нами по двум гарнизонам и всюду делал комнатки милыми. Потом мы купили и трельяж. Было неудобно жить без всякого зеркала, я

долго крепилась, чтобы не вешать на стену дешевое стеклышко, и удержалась. Так мы завели шифоньер, книжный шкаф, два сервиза, безделушки, приемник. Вся мебель разборная, и куда бы мы ни приехали, располагаемся сразу уютно. Муж так свыкся с этим уютом, что комната, которую он сейчас снимает в Москве — он там в академии, — кажется ему голой сравнительно с нашими. А вообще это наука папы, — закончила Нина Васильевна. — Он говорит, что человеку всегда и везде должно быть хорошо.

— Послушав мою дочь, — сказал Иванов, — вы можете подумать, будто я проповедую какую-то свою теорию организации быта. На самом же деле я вовсе не знаю, как его надо налаживать, а знаю только, как его не надо налаживать. Не надо, мне думается, человеку в двадцать три года поглощаться домом, теленком, свиньей, корытами, тяпками, поилками, лейками. Не надо, чтобы его мысли и время забирали семена, навоз, корма, погребя, засолки, перетопки и сушки. Это пока что необходимо колхознику, для которого хозяйство иногда объедает профессию... Вот я и учил дочь жить в комнате, а не в кладовой.

— Да я и не собираюсь заводить кладовую! — засмеялся Алеша.

— И правильно! — одобрил хозяин. — Пока вас будет два человека, не стоит тратить драгоценное время на добычу картошки. Не лучше ли переплатить за нее на базаре? Вы сможете отдавать все силы хозяйству колхозному, и ко времени, когда у вас появится третий едок, картошка и на базаре станет дешевой.

— Согласен с расчетом! — подписался Алексей.

— Да уж, хозяйство, только займись им, всего тебя берет, — вставила свое слово старушка.

Она рассказала об учительнице, которая начала с кур, а кончила тем, что посеяла просо для них. Нина Васильевна привела в пример другую учительницу, приехавшую в Сердейск с двумя чемоданами книг и занявшуюся потом поросятами больше, чем самими ребятами. По ее словам, хозяйство засасывает бывших горожан и лишает их интеллигентности. Иванов подтвердил, что разница между умственной и физической деятельностью стирается у этих людей не в пользу умственной. Нина Васильевна, которая год проучительствовала, а теперь жила в разъездах между Москвой и Сердейском, стала рассказывать о своих бывших приятельницах, совсем не живущих интересами, занимавшими их в годы студенчества. Тут виноваты были не только поросята и огороды, а и жизнь в тесноте, не позволяющая вместе собираться, бывать друг у друга. Иванов заметил, что интеллигенты вообще не должны бы сами производить себе пищу, потому что общество недобирает тогда пользу от этих людей. Алексей удивился и спросил, почему же агроном или учительница не могут после рабочего дня подоить корову или прополоть грядку картофеля. Иванов ответил, что у подлинного интеллигента нет рабо-

чего дня, так как он мыслит все время. Когда этого нет, то от интеллигента на селе нет и проку. Недаром, сказал он, иные деревенские школы так мало дают, что начинаешь сомневаться в их надобности.

Иванов подошел к письменному столу, порылся в нем, достал облепленный марками почтовый пакет и дал Алексею, предложив почитать на досуге. Это был проект одного педагога. Он описывал школы, где «две неудачницы учительницы больше клянут свою жизнь, чем обучают детей», и предлагал завести в этих сельсоветах автобусы, которые возили бы учащихся в районную школу. Для проекта собраны были подробные сведения, сделан расчет, и многие учителя согласились с ним. Алексей спросил, какая же судьба постигла проект. Иванов ответил, что педагог отправил его министру просвещения, тот — в облоно, облоно — в районо, а районо возвратило его отправителю.

— Кончилось тем,— сказал Иванов,— что педагог прогустил вечерок над гулявшим по России письмом.

При этих словах старушка с дочерью переглянулись, а Иванов, перехватив этот взгляд, сразу нахмурился, оборвал разговор и перешел на другую. Он сказал Алексею, чтобы тот не обижался на него. Недоволен он был не Алексеем, а самой необходимостью выслушивать речи. По его мнению, они нужны далеко не всегда и часто лишь путают суд, так как заостряют одни положения и обходят другие. Иванов находил, что надо отказаться от порядка процесса, существующего с греческих и римских времен, заменяя иногда речи сторон их деловым состязанием. Суд должен давать им список вопросов, которые остались неясными после следствия, и выслушивать по каждому вопросу короткие, чеканные доводы «против» и «за». А нынче суду часто приходится слушать не о том, что ему самому кажется важным, а лишь то, что стороны находят нужным сказать. Для Алексея такая мысль была неожиданной, он нашел, что ее надо бы обсудить в институтах, в журналах. Потом разговор перешел на дела, разбиравшиеся утром в суде, и Алексей заметил, что среди них были мелкие, кляузные. Иванов подтвердил, что таких дел еще много, но они неизбежны, пока общество не примет против ссор особые меры. Алексей удивленно спросил, какие же могут быть меры. Судья ответил, что не худо бы вводить налоги на тех, кто ссорится, кляузничает и мешает жизни других людей.

— Я предложил бы правительству,— сказал он,— когда наступит возможность, начать упразднять платежи за бездетность и взыскивать за неуживчивость.

Алексей нашел такой план фантастическим.

— Нет, это был бы совершенно практический шаг,— возразил Иванов.— Заметьте, что дел «частного обвинения» не убавляется. Это значит, что в людях растет чувство достоинства, они реже смиряются теперь с оскорблениями и жалуются на обид-

чиков в суд. Но обидчиков-то, видать, не становится меньше. Вот я и думаю, что если над ними будет висеть после повторной судимости угроза налога, они постараются до этой судимости не доходить.

— Может быть, вы и правы,— задумался Алексей.— Угроза налога многих бы сдерживала. Но все-таки налоги не заменили бы нравственного воспитания, которое должно вестись в молодости.

— Совершенно верно,— поддержал Иванов и высказал еще одну необычную мысль. По его мнению, хорошим способом воспитания явилось бы создание детских судов, в которых судьями были бы дети.— Надо,— сказал он,— ставить их в роли судей, делать их судьями над доступным им кругом явлений. Они привыкли бы оценивать свои и чужие поступки, учились бы общезнанию.

В течение вечера разговор перебрасывался на разные темы, и Алеша услышал от хозяина дома еще много всяких реформаторских мыслей. Некоторые показались ему совершенно несбыточными, а другие прельщали простотой применения.

— Вы прямо-таки мудрец, Василий Викентьевич,— с искренним восхищением сказал Алеша, на что судья с печальным смешком отвечал, что это плохой комплимент, так как мудрец редко бывает умен.

Алексей не понял, и Иванов объяснил, что у мудреца воображение впереди практической здравости.

Разговоры шли долго. Нина Васильевна дотронулась рукой до локтя отца и повела глазами в сторону молчавших детей. Они сидели, подперев ручонками головы, смотря на деда большими глазами и стараясь хоть что-то понять из того непонятного, о чем он говорил. Иванов улыбнулся и пересадил детей к себе на колени. Старушка сняла со стола хрустальную вазу, цветную скатерть и положила салфетную белую.

— Сейчас будем ужинать,— объявила она.

Ужин был скромен — хлеб, масло, яичница, потом чай с лимоном. Лимоны Нина Васильевна привезла из Москвы. Но Алексей невольно отметил, что при этом незатейливом меню стол был так хорошо сервирован, будто было несколько блюд.

После ужина Нина Васильевна пыталась увести детей спать. Но не тут-то было. Мальчонка стал вырываться из рук матери и закричал: «Спасите! Спасите!» Дед, не желавший еще расставаться с ребятами, принялся их «спасать». Началась кутерьма, в результате которой внуки снова оказались на коленях у деда, и тот начал им выдумывать сказку. Сказки были здесь, вероятно, вторым блюдом ужина, без которого ребята не хотели ложиться.

Алексей с любопытством наблюдал Иванова и слушал эту странную сказку. Те, что слышал в детстве он сам, говорили о чистеньких и неопрятных ребятах, послушных и непослушных,

ленивых и трудолюбивых. В этих сказках выпирала мораль. Сказка Иванова как будто ничему не учила, и смысл ее непонятен был непосвященному. Она, собственно, и не была даже сказкой, но открывала детям возможности самим делать открытия. Зато внуки слушали деда, как слушают заговорщики своего предводителя. Он рассказывал им о мальчишке, которому очень хочется в школу, потому что другие ребята двора уже ходят в нее. Но мальчику говорят, что для школы он еще маленький, и ему это очень обидно. Сначала он плакал, а потом придумал, что ему делать. Взял старый портфель и начал с ним «про себя» ходить в школу, когда никого не было в комнате. И оказалось, что его школа занятее и лучше, чем у других мальчишек двора. В его школе рядом с ним на парте сидели медведи, в его школе учитель приносил с собой белых мышат и дарил их тому, кто знал букву «м-мы», в его школе карандаши были совершенно особенные и выскакивали из рук того, кто пытался писать ими на двери и на стенке, и происходили еще всякие другие необыкновенные вещи.

Когда дед кончил сказку, ребята без возражений отправились спать. В их готовности даже была торопливость. Они только потребовали, чтобы дедушка отнес их в кровати, что он выполнил покорно и кротко. Алексей понял — дети заторопились не в кровати, а в необыкновенную школу.

Возрасту Алексея не свойственна была тяга к детям, чувства отцовства в нем не появлялись. Но эта глубокая связь деда с внуками взволновала его. Быт Алексея так складывался, что ему не приходилось бывать в больших семьях. Его собственный дед тоже ласкал Алешу, но дед был совершенно другой, старенький, жалкий, и вел себя так, словно боялся путаться под ногами у невесток. Он делал все невпопад и, понимая это, смеялся сам над собой, чтобы над ним не смеялись другие. Он всегда стремился к Алеше, потому что чувствовал себя неравным в обществе взрослых. Их интересы ему уже были чужими, его желания давно упростились и приблизились к простым желаниям внука. Когда дед мастерил Алеше кораблики и они вместе пускали их плавать в корыте, о нем говорили: «Что старый, что малый». В этой привязанности деда к внуку было для старика что-то обидное. И совсем другим выглядел дед Иванов. Он стал стар, но все события вокруг по-прежнему его волновали, он сохранил всю прочность идейных привязанностей, не впал в расслабленность или угрюмость и был духовно близок внучатам, так как, несомненно, сам «ходил в школу»... Он, безусловно, тоже уносился куда-то мечтами, когда никто его не видал, и поэтому мог делиться с внучатами молодыми секретами.

Закрывая за Алешу дверь, Иванов сказал ему на прощание:

— Привозите, привозите невесту, Алексей Николаевич! Нехорошо человеку быть одному. И почаще к нам приходите. Ведь собственного общества никому не достаточно...

А Алеша по дороге домой мысленно сопоставлял две фигуры, двух стариков. Ну конечно, Иван Никанорович кончал в свое время только заочные курсы, а Иванов был с университетским образованием и по сегодняшний день выписывал много журналов, корешки которых виднелись в книжном шкафу. В доме Ивана Никаноровича не было не только книжного шкафа, но даже абажурчика на грустно болтавшейся электрической лампочке. Здесь все деньги уходило на водку и обильную, смачную, превращенную в удовольствие жизни еду. Ивановы ели мало, не жадно, но их стол освещался лампами люстры, придававшей всей комнате праздничность. Иван Никанорович происходил из глухого села Екатеринбургской губернии, а Иванов был горожанином, вырос на Выборгской... Но как ни важны были эти различия, главное заключалось в чем-то другом.

ДРУГ

Алеша радовался встречам с судьей. Это был старик, который вовсе не пережил себя. И все-таки старость сказывалась на всем его облике. Костюм судьи был всегда выглаженным и безукоризненно чистым, но заведен был, видимо, еще в те времена, когда Алеша сражался с грамматикой. Необычно узкие брюки казались взятыми из гардероба театра. «Ничего,— пошутил как-то раз Иванов,— я уверен, что эпоха пойдет мне навстречу и снова сделает когда-нибудь мои брюки достаточно модными». Этот костюм мог сохраниться только у человека, движения которого уже были медлительными. Читая, Иванов надевал очки в тоненькой оправе, какие носили лет тридцать назад, а дата под монограммой на его потертом портфеле свидетельствовала, что этот подарок он получил от жены за пять лет до того, как Алеша родился. Мысли судьи не только не отставали от жизни, но далеко опережали ее, а вот привычки и вкусы уже не менялись... И старый человек не мог быть Алексею товарищем.

Товарищем стал председатель райисполкома, дружба с которым неожиданно завязалась у Алексея в середине зимы.

Как часто бывает, дружба началась со спора, с резкой словесной схватки.

На дорогах были заносы. Исполком постановил мобилизовать все взрослое население на расчистку дорог. За невыход на работы постановление угрожало «тюремной ответственностью». Помощник прокурора назвал этот пункт незаконным. Председатель исполкома возмущенно сказал Ивану Никаноровичу, чтобы его помощник не совал нос в чужие дела. Иван Никанорович предложил Алеше «не путаться с этим».

— Какая разница, как они там написали? Зачем с ними ссориться?

— А вы заметили, Иван Никанорович, что в большинстве решений исполкома угрожающий тон?

— Ну и пусть себе угрожают, если охота им ножнами размахивать. Без нас с тобой все равно ведь никого не засудят. Пустое это дело — ихние угрозы. А председателя ты протестами не переделаешь, только разозлишь его и врага наживешь.

Но Алеша пошел к председателю исполкома, чтобы отстоять свое требование. Тот был молод, всего на несколько лет старше Алеша. Непонятно, когда он успел побывать на войне, потерять правую руку, окончить сельскохозяйственный техникум и возглавить в районе советскую власть. У него были темные волосы, высокий лоб и решительный взгляд.

Подвижный, худой, хлопотливый, он всем занимался и всех погонял. Он был скор на решения и никогда не выслушивал людей до конца. В его натуре были рывок, звонок, приказ, приговор. Иногда он отказывался от собственных мыслей с такой же быстротой, с какой они у него возникали, а в другой раз спешил, не считаясь ни с чем, претворять их в действительность.

Алеше Лобов давно уже нравился. Нравилось, что он всегда что-нибудь предпринимал, летал по району, знал хозяйство, все замечал, мог дать дельный совет, тормозил и будоражил районных работников. Алеша видел, что председатель не всегда во все правильно вмешивался, но зато не давал людям киснуть. На засолочном пункте, в больнице, на элеваторе, у налогового инспектора — всюду мелькал его выцветший китель, с которого он не снимал ордена. Некоторых раздражали эти налеты, но Алеша считал их полезными, он чувствовал, что люди делали свое дело живее и лучше, зная, что им интересуется райисполком. Работая там, где и Лобов, никто не мог одеревенеть, бездействовать.

Он заглядывал и в суд, где Алеша однажды был свидетелем такого его разговора.

— Ну, как жизнь, товарищ судья? Судите?

— Сужу.

— На тюрьму все работаете? Ну, валяйте, валяйте, чистите советскую землю! А отчего у вас цвет лица такой желтый?

— Вы находите? Вероятно, от сидячего образа жизни. Мало бываю на воздухе.

— Ну, сидячую жизнь вы сами себе создаете. Я недавно к вам заезжал, хотел повидать, а мне сказали, что вы больше часа уже в совещательной и неизвестно, сколько еще просидите.

— Так это же зависит не от меня. В совещательной, товарищ Лобов, решаются судьбы людей.

— Ну и что из того? Любую судьбу можно зараз порешить и направить, а вы корпите из-за лишней чувствительности.

Чувствительностью он считал попытки вдумываться, рассуждать, углубляться...

— Ну ладно, товарищ Иванов,— начал он деловой разго-

вор.— Я знаете зачем вас потревожил? Хочу попросить показательный процессик провести в Куреневке.

И объяснил, что надо припугнуть этим «процессиком» девушек, которые ходят по ягоду, вместо того чтобы ходить на прополку.

— Не могу провести такого процессика,— улыбаясь отвечал Иванов.— Судить за это нельзя.

— А вы дайте условно.

— Все равно не могу. Незаконно.

— Условно незаконно? Ну тогда посадите их на денек.

Иванов продолжал улыбаться. Лобов и сам засмеялся.

— Ладно, ладно! С вами, законниками, только свяжись... Вы мне тогда другой процесс проведите. В Гречишном или в Запрудье. Там, понимаете, вместо того чтобы делать кормушки, бросают корма коровам и свиньям прямо под ноги. Скот не столько их жрет, сколько топчет. Мы кричим, что не хватает кормов, а сами в мусор их превращаем. Чуть не половина, можно сказать, погибает. Надо по этому делу ударить, засадить парочку скотников на пару недель!

— А вы полагаете, что в тюрьме им ловчее будет сделать кормушки? — иронически спросил Иванов.

Лобов на минуту осекся, потом горячо возразил:

— Но ведь сено же гибнет! Нужно же кого-нибудь привлечь для острстки! Неужели суд не может хозяйству помочь? Мы все только учим животноводов да учим, а надо же когда-нибудь и проучить. Ну ладно,— поднялся он,— с вами каши не сварить. Постараюсь Круглова на решение райкома подбить.

После ухода Лобова Иванов выразительно посмотрел на Алешу, как бы спрашивая: «Ну, что вы скажете?» Но Алеша ничего не сказал. Если бы он не видел председателя, а слушал его разговор за стеной, то решил бы, что это бездумно жестокий и дурной человек, пренебрегающий и людьми и законом. Но в энергичном лице председателя Алеша почувствовал его нервный, живой интерес к вещам, о которых тот пришел говорить. Видно было, что председатель задет и обозлен равнодушием, с которым сено бросалось в навоз, и ему действительно очень хотелось проучить девиц, оттаскать их за уши, засадить на денек или шлепнуть пониже спины.

В легкомысленных словах председателя сказывался недостаток культуры. Он так же не привык считаться со скотницами, как те не привыкли считаться с колхозным добром. Но в тревоге за это добро, в самом визите к судье, в непосредственности всего поведения Лобова было что-то симпатичное, хорошее, честное.

Таково было первое впечатление Алешы о председателе райисполкома, и впоследствии оно подтвердилось. Но за полгода работы в районе Алексею сталкиваться с Лобовым не приходилось. И когда помощник прокурора пришел к председателю рай-

исполкома оспаривать постановление о дорожных работах, тот сразу взъярился. Председатель заявил, что прокурор не понимает интересов Советского государства, которые призван отстаивать. Прокурор ответил, что председатель не уважает советских законов, которые призван здесь проводить. Один подчеркнул, что он возглавляет местную власть, другой напомнил, что осуществляет надзор за законностью принимаемых ею решений. Потом оба почувствовали, что напрасно стараются жалить друг друга, что им вовсе не хочется этого делать, что они не противники, и такой разговор им не нужен.

— Ты где учился? — спросил вдруг председатель на «ты». — В Москве?

— Нет, в Свердловске.

— Когда же кончить успел? Ведь совсем молодой.

— А когда ты успел председателем стать?

— Я? — Лобов был удивлен. — Да мне со второго мая пойдет уже двадцать восьмой.

— А мне пойдет уже двадцать четвертый.

— Вот именно. И зря ты равняешься. Я уже, видишь, — показал он на обрубок, — левой рукой пишу.

И рассмеялся.

— Может, потому и написал «тюремной» вместо «административной». Думаешь, я не понимаю, что исполком не сажает в тюрьму?

— Конечно, понимаешь. Но почему ты вообще всякие грозные пункты вставляешь?

— А как же иначе! Так уж полагается постановления писать. Чтобы чувствовали и не сомневались. А ты бы лучше, чем пункты мои проверять, ход работ бы проверил. Это знаешь как прозвучало бы! Прокурор на дорогах! Все враз подтянулись бы! Хочешь, вместе поедем?

— Поедем. Ты бы давно позвонил мне.

— А чего звонить! Ходи на заседания к нам. Твой Иван Никанорович придет, полчаса посидит — и уже домой, к закусок... — Лобов выразительно щелкнул пальцем свой подбородок. — Старик неплохой, но нет в нем движения. Он, наверное, на тебя всю работу свалил?

— Ну, вот еще! Ничего не свалил...

Но Лобов угадал. С каждым месяцем прокурор все больше высвобождался от разных забот, перекладывая их на помощника. Поступавшие к прокурору дела в тот же день перекечевывали со стола Ивана Никаноровича в кабинетик Алеши. Впрочем, не все. Обвинительные заключения о ворах прокурор утверждал быстро и сам, а пухлые и путаные дела о должностных преступлениях передавал обычно помощнику.

— Ну-ка, Алеша, — говорил он, — добрайся до правды.

Алексей добирался, но Иван Никанорович не всегда бывал этому рад. Он, например, ни за что не соглашался подписать

заклучение по делу о падеже телят в одном из колхозов, где привлекался к суду зоотехник.

— Зачем тебе трогать его? — упорствовал он.

— Да ведь тут прямая причинная связь, — доказывал Алеша начальнику. — Субъективная сторона преступления заключается здесь...

— Причинная связь, субъективная сторона! — рассердился Иван Никанорович. — Переучили тебя. Это в Свердловске можно тянуть причинную связь, а тут, брат, район. Здесь нечего психологией заниматься, тут надо попроще. Если зоотехника под суд отдавать, так он скажет, что и председатель знал, как телята на ледяном полу танцевали. А от председателя ниточка к инструктору райкома потянется, потому что председатель его ставил в известность, просил бетона и леса на постройку телятника. Вот она и доведет нас, твоя причинная связь, до того, что потом не распутаешься... Нет, нет, брат, зоотехника в покое оставь!

Алеша подивился тогда этой логике, но считал совершенно естественным, что начальник давал ему именно те дела, которые были потолще, — на то он и был помощником, на то он и был молодым.

Иван Никанорович не стал прекословить тому, чтобы помощник бывал вместо него на заседаниях райисполкома. Эти заседания сблизили Алексея и Лобова. У того был быстрый, емкий, практический, но не аналитический ум. Какой бы ни обсуждался сложный вопрос, Лобов схватывал его суть моментально и предлагал сейчас же решение. Он перебивал докладчика, требовал, чтобы тот скорей выговаривался, и объявлял, что поступить надо так-то. Объявлял в таком тоне, словно других мнений до него не высказывалось, словно их и не может быть. Заведующие отделами примирились с этим порядком, свыклись с единоличным распорядительством Лобова. Свыклись не оттого, что не имели собственных мнений, а потому, что не все и не всегда дорожили этими мнениями, были равнодушнее к делу, уступали председателю в настойчивости, характере, страсти. Лобов подавлял их не властью, нет, он был добродушен и прост, а горячностью и нетерпением. Председатель был порывист, стремителен, шумен, а они тихи, медлительны. В тех же случаях, когда кто-нибудь твердо и доказательно возражал председателю, тот вовсе не упорствовал и, подхватывая более толковую мысль, тут же передиктовывал запись решения. Такие случаи участились после того, как Алексей стал посещать заседания.

Еще плохо осведомленный в колхозных, бюджетных, заготовительных и торговых делах, Алексей умел, однако, отличить законность от своеволия. Спорщиком же он был решительным, опытным, с большим стажем словесных боев — ведь в студенческом общезнании спорили до рассвета и до хрипоты. А задором и тем паче книжною мудростью помощник прокурора превос-

ходил председателя. И так как ложным самолюбием тот отнюдь не страдал, а доводы Алексея производили на него впечатление, то он нетерпеливо кричал: «Ладно, ладно, прокурор, переходи к резолюции, формулировочку дай!»

К Ивану Никаноровичу Лобов никогда не обращался за справками. А Алексею он стал названивать по нескольку раз на неделе.

Разговор их бывал примерно такой.

— Здорово, прокурор! Как жизнь у тебя? Слушай, ты мимо молокодаточной ходишь?

— Хожу иногда.

— Видел, что там творится? Колхозники спозаранку привозят, а у них принимают, когда уже прокисает. То приемщиков не хватает, то некуда слить. Можешь ты их припугнуть?

«Припугнуть» и «нажать» Лобов любил. Как ни был он молод, а уже успел насмотреться именно на такую методику действий ряда начальников и тем легче усвоил ее, что она пришлась по его нетерпеливой натуре. В угрозах он видел чуть не главный двигатель всякого дела. Лобов радовался, если Алексей иногда соглашался сделать кому-нибудь предупреждение, а когда Алеша отказывался, то, беззлобно ругнувшись, просил прокурора вмешаться в другой вопрос, перескакивал на новую тему, благо у него было на что перескакивать.

Председатель и сам стал заезжать в прокуратуру.

— Эх, брат, как у тебя щеки раздуло! — говорил он здороваясь. — С чего это тебя так разнесло?

— Хозяйка перекармливает, — объяснял Алексей.

— Это ты зря. Хороший петух не жиреет. Давай-ка пройдемся по вверенной нам территории. Заглянем вместе в бойню, в больницу. Потом проедем на лесосеку, посмотрим, кто и что там вырубает. Поднимайся давай.

Иван Никанорович недолюбливал Лобова. Хотя сам он старался не вмешиваться в дела исполкома, но был из-за них в постоянной тревоге и говорил, что при Лобове надо иметь целый десяток райпрокуроров. Когда председатель звонил Алексею, прокурор качал головой и вздыхал:

— Да, этого только привады, он уж не даст поскучать...

Алексей горячо защищал Лобова, доказывал, что его избыточная хлопотливость приятнее и лучше равнодушия, свойственного некоторым прочим работникам, говорил, что Лобов умеет многое подсказать, никому не позволяет застаиваться.

Иван Никанорович только рукой махал:

— Да, уж при нем не застоишься и не залежишься! Он знаешь какой номер выкинул в Ивантеевке? Приехал и начал шуметь, что на уборку картофеля поздно выходят. Председатель колхоза дал ему слово, что на следующий день разбудит людей, как только петухи прокричат. Тогда Лобов велел секретарю комсомола растормошить двух петухов раньше времени. На этих

двух и другие, конечно, откликнулись. А бабы потянулись среди ночи за юбками и не могли разобрать, у них ли глаза застлало, петухи ли вдруг одурели... Нет, брат,— резко заключил Иван Никанорович,— ну его к богу с такими подсказками! Шальной человек. Дай ему волю — он так нараспорядится, что потом не очухаешься.

В этих словах была своя правда, что не помешало Алексею и Лобову незаметно сдружиться. Но пощады Лобову Алексей не давал. Он ругал его за суетливость, за то, что его интересы не выходили за пределы района и он ничего не читал.

— Некогда, понимаешь,— оправдывался тот.— Какое может быть чтение, когда у меня заготовки, финплан, фермы и прочее! Не знаешь, куда и бросаться, а ты говоришь — читать.

— Подумай — так и время найдешь.

— Да и на думанье времени нет.

— А ты попробуй составить себе расписание.

— Его за меня составляют. То бюро, то исполком, то в один колхоз, то в другой..

— И не бывает свободного часа?

— Ну, если иногда и бывает, так надо же и с женой поболтать. А то, понимаешь, сбежит.

— Ну, хочешь, я тебе докажу?

— Докажи, докажи!

Алексей набросал председателю исполкома расписание дня. Но это ничего не дало. Лобов, посмеявшись, докладывал ему вечерами по телефону:

— Сегодня расписание полетело к чертовой матери.

Или:

— Сегодня выполнил процентов на пять.

Человек этот был внережимным, внерамочным.

Алексей пробовал подбирать для него в библиотеке романы. Лобов перелистывал книжку за вечер и возвращал, говоря: «Книга толстая, а вычитать нечего», или: «Тут придумано все». Интерес у него вызывали лишь острые диалоги, меткое слово, хлесткая речь. Описания природных ландшафтов, житейской обстановки и даже внешности героев он пропускал.

— При чем тут глаза или нос? — говорил он Алексею.— Разве человек с другими глазами и носом не может совершить то же самое?

Вообще он пропускал все страницы, не содержавшие прямой речи героев. Психологические изыскания авторов тяготили его, были чужды его подвижной и деловой натуре.

— Не люблю,— говорил он,— переживательных книг.

Общими для Корнева и Лобова были прямота и энергия. В остальном они были разными и могли многое друг другу давать. Алексей пришел из книжного мира, а Лобов знал любой вид труда на поле и ферме. Его родители были колхозниками «Красного пахаря». Алексей слыл «законником», а Лобов скло-

нен был действовать по наитию и впечатлению. Они всегда находили, о чем поругаться и на чем примириться.

Однажды вместе провели в поездке одиннадцать дней.

ССОРА С НАЧАЛЬНИКОМ

Горожанину Алексею Корневу деревня была в новинку. Родители его умерли рано, и он провел школьные годы сначала у дяди в Миасе, потом у брата в Челябинске. Учась в институте, Алексей и летние месяцы проводил в городах. Был на практике в Кургане и Златоусте, ездил с экскурсией в Москву и Ленинград. В колхозе он пробыв лишь девять дней, на уборке картофеля. Колхоз был пригородным, и ночевать студенты возвращались к себе в общежитие. Одним словом, можно сказать, что деревню Алексей видел до сих пор лишь проездом.

Правда, много лет назад он гостил у бабушки в деревеньке неподалеку от Миаса, но детские впечатления о сельской жизни давно испарились. Он помнил, что у бабушки не было сахара, что хлеб она пекла тяжелый и кислый, что какой-то старик принес однажды туес меду и Алеша макал в него огурцы. Помнил еще, как убежал с мальчишками в поле, целый день лущил там горох, а бабушка искала его и потом очень сердилась. Подробности жизни в деревне начисто выпали из Алешиной памяти, и засели в ней почему-то только печальные коровьи глаза. Корова родила ребенка, все ходили смотреть на него, а Алешу больше заинтересовала корова. Она вяло жевала сухие соломинки и грустно смотрела на дочку. Корова, объяснили Алеше, оттого невеселая, что ей было больно рожать и хочется еды повкуснее соломинок. Алеше было очень жаль корову. Потом он увидел, что все коровы вообще невеселые, даже когда им не больно.

Теперь Алеша поехал в деревню не мальчиком, а прокурором. Поехал не отдыхать, а воздействовать на жизнь деревень.

До выезда он составил себе план обследования: узнать, не прикапываются ли к огородным участкам лишние сотки, не присваиваются ли артельные земли; не продают ли колхозы на рынке скот и продукты до поставок их государству; не забирает ли кто-нибудь на фермах продукты в кредит... Много таких пунктов, переходивших по старинке из одного плана прокурорской работы в другой, вписал Алеша в свою программу поездки, вписал, чтобы окунуться потом в другую гушу проблем.

Деревни были разбросанные, маленькие и неказистые. Сорок, двадцать, шестьдесят, тридцать дворов. Дома стояли не в линию, а в беспорядке, и приезжий не знал, что они строились так в давнюю пору из боязни пожара. Алеша не увидел при домах отгороженных забором дворов и не сразу догадался, что двором

называют здесь коровник и хлев, крытые общей крышей и соединенные с домом, чтобы легче было ходить за скотом. На улицах не было движения, встречалось мало людей. Жизнь тут была явно проще, размереннее и незатейливее, чем в Сердейске, не говоря уже о Свердловске. Эта жизнь вся на виду. Сразу можно было узнать, как люди спят и едят, какие вещи их окружают.

Но при первых же разговорах с колхозниками Алеша позабыл о скудости деревенских поселков, ощутив скудость планов, которыми он задавался, и мыслей, с которыми приехал сюда. В маленьких деревнях был свой пульс жизни, который Алеша еще не умел ощутить. Все выглядело как будто ясным, а в то же время таило в себе непонятное. Нехитрая деревенская жизнь оказалась куда сложнее и запутаннее, чем знакомая ему городская. Перед ним вставали вопрос за вопросом, а ответы, которые он получал, рождали другие вопросы, и разгадки их он не видел.

Деревенская жизнь поразила Алешу своими нескладичами. Он почувствовал, что тут и перемены были большие, и многое еще совсем не меняется. Эта жизнь была цивилизованной и примитивной, трудовой и праздной, щедрой и скудной.

В «Победе», на которой ехали Лобов с Алешей, отказала свеча. Автомобиль окружили подростки и быстро помогли шоферу устранить неисправность. Оказалось, что в этом глухом и далеком месте появилось в советские годы столько разных машин, что уже и мальчишки росли тут механиками, а вот машинок для стрижки здесь не было, и люди ездили в Сердейск в парикмахерскую... Во многих семьях, с которыми Алексей познакомился, дети учились в большом городе точным наукам, а вот записывать трудовни здесь не научились, и бригадиры отмечали их на обрывках бумажек, которые шли потом иногда на закрутки...

В избах, где Алексей останавливался, стоял нестерпимый жар от печи, гнавший летом хозяев на ночь в сени; но окна в избах рублились малюсенькие, а форточек не делалось вовсе, чтобы не уходило тепло. Велосипеды в магазине раскупались за час, а столовую посуду не брали — местные жители ели, как правило, из чугунов. Алеше объяснили, что земля скупко рождает хлеба и корма, так как ее не удобряют навозом; когда же он спрашивал, почему не хватает навоза, ему отвечали, что скоту не хватает кормов. Девушки щеголяли по воскресеньям в шелках, а лежавший в магазине рулон простынного полотна не уменьшался в объеме. На выращивание картофеля уходило много труда, но Алеша услышал, что вся картошка никогда не выкапывалась. Для скота бурился дорогой артезианский колодец, но колодцы, из которых брали воду для щей, годами не чистились. Чтобы повысить удой, для коров покупали дорогой комбикорм; когда же Алеша спросил, какую прибыль дает молоко, то узнал, что оно обходится дороже цены, по которой продается в Сердейске. Для строительства ферм колхозы нанимали кочующих плотни-

ков, а местные люди плотничали по чужим деревням. Преуспевающий, богатый колхоз четверть века жил без названия, а за худалый назывался «Путь к коммунизму».

В этом последнем колхозе злой круг разноречий казался особенно тугим, и из него как будто не виделось выхода. Люди не ходили на работы из-за того, что был мал трудодень, а трудодень был мал оттого, что на работы не выходили... О чем бы помощник прокурора ни спрашивал, на все находились сухие ответы-причины, и получалось, что так оно и должно быть, как есть, что жизнь здесь опутана какой-то крепко сплетенной цепью и прорвать ее невозможно.

Помощнику прокурора нечего было сказать ни хозяевам, у которых он ночевал, ни дояркам, которые ни о чем его и не спрашивали, а спешили отойти и разойтись по домам. В глазах женщин он видел полное безразличие к нему как к представителю власти, на его расспросы они отвечали скупой, а подчас и насмешливо. «Вот гляди,— говорили их глаза,— гляди, как скотина тоскует! Телятам холя нужна, а они у нас подстилку жуют. С ягнят мы поснимали не шерсть, а и шкуры. Коровы без подпорки не держатся. А ты шанежек у хозяйки в Сердейске наелся да приехал расспрашивать, почему нет молочка от бычка. Уж помалкивал бы в тряпочку, коли помочь не умеешь... Чем о навозе и надое расспрашивать, ты бы лучше остановился у какой-нибудь из нас на квартире. Нам ведь наши мужики только деньги из Челябинска шлют. Ласка через почту неласковая... А ты, недотепа, к мужу с женой пошел ночевать...»

Ночи в этом колхозе Алеша проводил тяжело. Он чувствовал, что колхозники объясняли ему какие-то очень простые, оскорбительно элементарные вещи, а он их не понимает. Не понимает первопричины причин. Он печатает в районной газете статьи о советской законности, читает по путевкам райкома разные лекции, а вот жизнь, проходящая рядом, остается для него непонятной, разобраться он в ней не умеет. Ему стыдно было и вопросов, которые он задавал, и ответов, которые молча сносил. Что колхозники о нем теперь думают!

Но колхозницы ничего о прокуроре не думали. Они давно уже спали. Спала вся семья, в доме которой Алеша вторую ночь ночевал. Лобова не было — он ускакал в МТС проверять, готовы ли тракторы к выходу в поле, и должен был захватить за Алексеем лишь утром. А Алеша не засыпал. Он переживал все увиденное, переживал свою беспомощность перед увиденным, свой невразумительный лепет в разговорах с колхозниками. Вспомнились прежние триумфы после докладов в кружках института, похвалы профессора, который уговаривал его остаться на кафедре. Выплыли вдруг в памяти разъехавшиеся теперь по России товарищи. Встал перед глазами Свердловск. Яркие освещенные улицы, кинематографы, оживление у подъезда театра перед началом спектаклей. «Товарищ, у вас лишнего билетика нет?» Але-

ша и Шура оказывались обычно в разных местах и летели друг к другу в антрактах.

И пришла вдруг тоска. Вокруг Алеши была страшная тишь. Маленькая изба, чужие люди, непонятные беды... Жизнь этих людей не стала еще жизнью Алеши. Зато ему стало мучительно грустно, мучительно жаль прежней и навсегда исчезнувшей жизни. В той жизни он был умным, способным. В той жизни он был уверенным, что всегда будет все исправлять... Алеша почувствовал себя оторванным, заброшенным в этой избе, где не было близких людей, где он стал меньше и малосильнее прежнего.

Лобова проблемы не мучили, он их разрешал на ходу, и Алеша ему втайне завидовал. Председатель исполкома знал все дела во всех деревнях и чуть не всех людей, которые делали эти дела, он ни от чего не унывал и ничему не дивился, а носился по участкам и фермам, требовал, ругался, учил, распакал и подсказывал. Лобов все тут понимал, все умел, от всякой задержки приходил в нетерпение, всюду сразу видел огрехи, в каждом случае сейчас же велел делать то-то и то-то, а часто просто выхватывал у людей инструмент и показывал своей единственной ружьей, как им надо орудовать.

Алеша восхищался находчивостью и деловитостью Лобова. На птичнике он нашел нужным вырубить окна и повесить сильные лампочки, чтобы куры лучше неслись. Предложил подсыпать курам в корм костную муку. Увидев на поле валявшиеся легкие бороны, он стал выяснять, кто их бросил, а когда виновники не отыскались («Где их найдешь, бороны ведь не шапка, не меченая»), то велел выкрасить весь инвентарь в зеленый, красный и синий цвета, чтобы у каждой бригады он был особый. Эту простую, но изобретательную мысль председателя одобрили даже хмурые бригадиры, водившие его на поля. Понаблюдав борону на работе, Лобов смачно ругнулся и велел наточить у ней зубья. Лобов дергал рассаду, чтобы увидеть, хорошо ли посажена, схватывал грабли и разметал семена, чтобы скорей высохали, проверял с председателями, хватит ли сеялок и сколько нужно выделить сеяльщиков, и забегал в школу раслушать директора за валявшиеся без укрытия саженцы. Лобов постоянно спешил — и по свойству характера и по заданной ему программе поездки, — но в спешке он замечал и проделывал множество дел, которые прошли бы мимо внимания других районных работников. Лобов не видел за фактом проблемы, за маленьким вопросом большого, но зато он видел такое, что недоступно было глазу Алеши, а результат его зоркости бывал обычно верен и скор. Секретарь райкома Круглов в шутку заметил однажды, что у Лобова великолепная память — он всегда помнит, что что-то забыл, — но Алеша убедился, что Лобов мог забывать только то, о чем другие вообще не спохватились. У этого человека не было чувства меры, но был зато хозяйский инстинкт и огромная честность, понуждавшая его все проверять, со всех требо-

вать и обо всем беспокоиться. Требовал он поминутно, а хвалил очень скупно, потому что сделанного ему всегда было мало, он хотел всего больше и больше. Больше электропроводок, больше янц, больше кормов, больше труда, больше движения!

Алеша многое узнавал возле Лобова, но интересовался и вещами, которые того не могли занимать. Алексей наблюдал, как вставлялись на пчельнике рамы, разглядывал дырочки в сеялках, смотрел, как поросилась свинья. Он все время терся между людьми, прислушивался к их разговорам, расспрашивал, разужнавал. И, в отличие от Лобова, перед ним на каждом шагу вставали неясности.

Хорошее в деревне мешалось с плохим, и плохого было еще много. И Алеша рьяно устранял то плохое, что мог устранить. Привлек к уголовной ответственности кладовщика и завхоза, продававших на рынке больше продуктов, чем значилось по накладной. Заставлял счетоводов вписывать заработанные колхозниками трудодни на их лицевые счета. Было очень приятно оказывать колхозникам такую посильную помощь и находить быстрые выходы из положений.

Но не просто было решать большие и большие вопросы — о семенах и кормах, о людях и заработках, о нехватке товаров и нехватке культуры, об избытке законов и недостатках в законах.

Вот записи в дневнике Алексея:

«...Трактористы обступили меня и жаловались на порядок премирования. Премии дают тем, кто экономит горючее, а экономить его можно лишь при недобросозвездной вспашке. Тот, кто хуже работает, зарабатывает больше других. Что я мог им сказать? Ведь порядок установлен не райнсполкомом... Колхоз с черноземными почвами и большими лугами сдал государству много продуктов и получил несколько автомашин. А колхоз, сеющий на солончаке да на камне, где все колосья выращиваются тяжелым трудом, должен нанимать лошадей возить навоз на поля. Люди спрашивают меня, справедливо ли это, виноваты ли они, что у них плохая земля, доказывают, что машины им куда нужнее, чем богачам, что без машин им никак не подняться, а я слушаю и только молчу... Кого мог я привлечь в «Октябре» к уголовной ответственности за гибель породистых маток, когда они попросту замерзли под небом? Председатель хлопочет целый год, но не может построить свинарника, потому что ему не дают ни леса, ни цемента, ни других материалов. Их не получают, а выдирают. Строительство в колхозах зависит не от того, какие в нем труженики, а от того, хват или не хват его председатель. Хорошо, что я был здесь с Лобовым, он теперь найдет материалы, но разве это порядок! На каждом шагу разноречия. Люди спрашивают, жалуются, а мне нечего им отвечать. Хочется помочь, что-то сделать, исправить, а чувствуешь себя дураком...»

Много всплыло здесь вопросов, по которым прокурор не смог

ничего предпринять. Они встали перед ним во всей своей настоятельности. Каждый должен был решаться в отдельности, но все между собою сплетались, один оказывался частью другого, не мог быть осилен без смежного. Их нельзя было свести к уголовному или гражданскому делу, устранить протестом, запиской, телефонным звонком. Они не поддавались единым крутым заключениям. Вопрос о верном или неверном, не всегда ясный даже при суждениях о поступках одного человека, оставался здесь вообще безответным. Бездействие не мирилось с темпераментом и нравом Алеши, но попытки найти для каждого вопроса ответ ни к чему не вели. Соображений приходило на ум очень много, но ни одному нельзя было отдавать предпочтения. Каждое решение, которое Алеша мысленно себе предлагал, улучшая что-то одно, ухудшало бы что-то другое. Неустройствам суждено было оставаться здесь и после его отъезда.

Алеша возвратился в Сердейск возбужденным. Деревня зарила его нетерпением, он хотел скорее выговорить все, что увидел, и найти себе быстрых советчиков. Но Иван Никанорович облил его холодной водой.

— Ладно, ладно,— прервал он помощника в самом начале рассказа,— ты не кипи! Это все и без нас, кому надо, известно. Ты почти две недели ведь не работал, а почта работала... И не забудь дать Людмиле список колхозов, где был,— пусть приложит к отчету.

Это было все, что он нашел нужным сказать! Начальник ничем не воодушевился и ни над чем не задумался. Алеша бросился к судье.

Тот понял его с первых же слов.

— Чувствую, чувствую, Алексей Николаевич! У вас ворох впечатлений, и вы не знаете, как с ними быть. Не вы ими, а они вами владеют. И вероятно, к текущей работе теперь возвращаться не хочется, а? Приходится делать одно, а видели вы совершенно другое, и волнует именно это другое, а не то, чем надо заняться. Вроде этого, не правда ли, теперь получается?.. Знакомо, знакомо! Я старше вас на две жизни, а и у меня это часто бывает. Но очень хорошо, если после поездок нам становится спокойнее жить. Хорошо, что прежде всего вам бросились в глаза неустроенности. Деревня в деревне выглядит иначе, чем из городского окна... Волнуйтесь, волнуйтесь, Алексей Николаевич! Тогда вы не разучитесь быть человеком и сможете многое сделать. Уверен, что многое,— повторил он, убеждая не то Алексея, не то себя самого.

Алексей сказал, что всей душой хотелось бы делать, но что?.. Вот Лобов, например, тот в каждом случае умеет что-то исправить, сказать, а он, Алексей...

— Да, Лобов деловой,— согласился судья.— Я однажды проводил сессию в Каменске, и он тоже приехал туда. Наблюдал я его. Может сам установить на плуге рычаг заглубления, может

даже показать девушкам, как доить кулаком. Я видел, как он верхом въехал на ферму, где грязь была животным по брюхо, и вытаскивал из навоза овец. Ничего не скажешь, не белоручка... Но, Алексей Николаевич, сколько можно заниматься такими вещами? Можно ли вечно вытаскивать...

— Вы хорошо знаете Лобова? — спросил Алексей.

Иванов улыбнулся.

— Он из таких, что сам дает о себе знать. Всех познакомил с собой сразу при вступлении в должность. Его первым актом был приказ, который обязывал рабочих и служащих районного центра отработать в колхозах двадцать пять трудодней. Конституция ему нипочем. Скандал был немалый. Ваш Иван Никанорович находился тогда в особой тревоге... Но дело не в Лобове. Он, если хотите, только наиболее деятельный тип недалеководного деятеля. И вовсе не худший. Лобов, по крайней мере, не только приказывает, но и показывает, а ведь бывает и другой род наставников — они только ругают колхозников и изобретают средства воздействия... Но скажите мне: разве Лобов далеко ушел от этих людей? Одни постоянно постановляют, другой постоянно из навоза вытаскивает. Такие руководители мало спят, хлопочут, душу на дело кладут, а дело не идет. Не вынесли ли вы впечатления, что мы вкладываем больше усилий, чем требуется? Не разумнее ли такие средства воздействия, которые устранили бы надобность в средствах воздействия? Ведь если за уборку картофеля давать людям картофель, то уже не придется показывать, как это делается... Нет, нет, Алексей Николаевич, Лобов не образец! Пусть он красит бороны, пусть учит зерно сушить, но домашние средства — это только домашние...

Судья стал говорить Алексею о надобности больших мер, больших начинаний. Он делился с ним мыслями, которые уже зрели у лучших коммунистов страны и привели потом к коллективным, масштабным действиям партии. Судья советовал помощнику прокурора втянуть в его волнения облпрокурора.

— Вы должны, — сказал он Алеше, — чувствовать себя, так сказать, полпредом страны в Сердейском районе и непрестанно слать донесения обо всем, что тревожит или, к сожалению, еще не тревожит колхозников.

Старик стал перечислять круг вопросов, которым Алеше следовало бы посвятить свой ближайший отчет.

— Сообщайте начальству, — внушал он Алеше, — не то, что оно само хотело бы слышать, а то, что остается несказанным.

Он говорил, что именно несказанное, именно то, что еще только шевелится в крестьянских умах и носится в воздухе времени, именно оно всегда самое важное.

— И сами решительнее действуйте, — учил он Алексея. — Не подражайте торопливости Лобова, но воспримите у него великолепную, редкую, я бы сказал, золотую черту — отсутствие всякой заботы о том, что скажет по поводу его действий начальство.

Эта черта даже какую-то притягательную силу дает ему. И вы тоже, Алексей Николаевич, на себя полагайтесь. Справочники — хорошая вещь, но основным вашим справочником должны быть здравый смысл и партийная совесть. Ведь многое из того, что вы рассказываете, совсем не составляет проблемы. Дайте себе больше свободы, чувствуйте себя на просторе...

Он стал советовать, что мог бы предпринять Алексей.

— Не на все нужны законы. Распорядительности больше бы надо. Зачем устанавливать всюду запреты и разрешения? Где много запретов, там много обходов. Или еще хуже бывает — тишь наступает... Нет, не надо пытаться все в сеть законов словить. Вы действуйте, действуйте! Неужели вам нужен специальный закон, обязывающий чистить колодцы? И неужели вы сами не знаете, что корма должны стоить дешевле, чем молоко? Злость ко злу надо иметь в себе, Алексей Николаевич, вот что самое важное.

Потом судья говорил прокурору, что нельзя давать впечатлениям захлестывать в себе трезвую мысль.

— Природа зол, которые вы видели в этой поездке, не коренится в природе вещей. Бедность сердейских деревень излечима. Вот прежде тут действительно было все беспросветно. Я ведь жил в этих местах полвека назад. Отец был в Троицке земским врачом. Учился-то я в Петербурге, а детство протекло рядом с Сердейском. И позвольте вам засвидетельствовать, что крестьянки, которые полагают, будто они работают теперь не на себя, — или слишком молоды, или слишком беспамятны. Вот в годы моего детства крестьянин действительно работал не на себя. Работал он на землю, на лошадь, на плуг, на соху, на корову. Да, да, он существовал для того, чтобы существовали они. На телегу, на сани, на деготь, на лемеха уходило вдвое, втрое, впятеро больше, чем на рубища и на ссохшийся человеческий желудок. Вся жизнь крестьянина была многолетним и страшным обрядом. Не жизнь, а мистерия... Да, да, поверьте мне, это так... А сегодня земля на целые версты кругом дана ему даром. И вместо овсяного мотора — машинные. Но человек так устроен, что считает само собой понятными блага, перестает ощущать их, ощущает уже только худое... Впрочем, это хорошо, — перебил сам себя Иванов. — Я хочу только, чтобы вы понимали... Нынешняя бедность сердейской деревни — явление преходящее, временное. В совокупности лет — вообще незначительное. Надо только не быть нам примиренными, слишком-слишком уравновешенными...

Алеша спорил с Василием Викентьевичем. Слова судьи не избавлены были от непоследовательности. Он порицал Лобова за вмешательство во множество дел — и тут же предлагал Алексею не упускать случая вмешиваться. Он напоминал Алексею об ограниченной силе законов — и втайне мечтал о каких-то новых законах. Он говорил о важности впечатлений Алешы — и призывал не слишком им поддаваться. Но Алеша ощутил, что это

были разноречия, неизбежные для всякого, кто не только рассуждает о жизни, а мучительно хочет улучшить ее. Такому человеку невозможно бывает укладывать мысли рядком. Как связать их одну с другой, когда их так много приходит на ум!

Они проговорили чуть не целую ночь — сначала на квартире судьи, а когда его домашние стали зевать, вышли на спавшую улицу. Бродили на ветру, зашли к Алексею, потом Алексей провожал судью до дому. Это был уже зябкий, серый рассвет. И везде — в теплой комнате и на улице, где предвесенняя свежесть забиралась в рукава и за ворот, — судья одинаково терпеливо выслушивал, одинаково ровно и чуть-чуть доктринерски вел речь. Ни холод, ни позднее время не уменьшали его интереса к разговору и даже не делали его фразы менее литературно отточенными.

После этого разговора Алеша написал большой квартальный отчет. Он говорил в этом отчете о людях, о кормах, о машинах, о несовершенстве законов. Он втягивал в свои волнения облпрокурора, как это советовал ему Иванов. Но Иван Никанорович вовсе не захотел повергать начальство в волнения...

Районный прокурор не был особым стилистом, но умел так заменять слова, коверкать абзацы и черкать страницы, что из отчетов все исчезало. Оставались факты и цифры, но улетучивались темы и мысли. После редакции Ивана Никаноровича в докуладах не виделось уже ничего, над чем надо было задумываться. Он не любил делать выводы, не любил утверждений. Алеша заметил это еще в середине зимы, когда писал свой первый отчет, но тогда он решил, что начальник измарал документ потому, что неопытный составитель наговорил что-то не то. Алеша досадовал на свою неумелость, перечитал все места, выброшенные прокурором из текста, старался понять, в чем он ошибся, где нагнул. Теперь же Алексей уже не чувствовал себя новичком, не промолчал, и все обернулось иначе.

Надо сказать, что, отредактировав новый Алешин доклад, Иван Никанорович не показал ему искромсанные листы и тайком отдал их машинистке. У нее Алеша и увидел, что из документов выхолощено все самое важное. Он схватил эти листы, но не бросился с ними сразу к начальнику, а призвал себя к сдержанности и обдумал, как повести разговор. Он решил воздействовать на Ивана Никаноровича наиболее чувствительным доводом — ссылками на требования областного начальства.

— Мы давно уже, — начал он, — получили замечания на наш предыдущий отчет. Было указано, что у нас только цифры и нет...

— Знаю, — перебил Иван Никанорович, быстро решив сделать свою оборону активной. — А ты и опять не написал как следует быть.

— Я?

— А кто же! Ведь не Пушкин его составлял!

— В проекте отчета,— спокойно и веско сказал Алексей,— освещено было самое нужное. Я сообщал о жалобах по самым неотложным и острым в деревне вопросам.

— Вот именно, что самым острым,— подхватил Иван Никанорович.— Столько острого наворотил, что руки порежешь. Хоть бы где притупил! И на работу, видишь ли, где-то не вышли, и телята где-то померзли, и один закон нехорош, и второй не годится— это какая же, выходит, картина?! Какой, спросят, художник ее малевал? Не прокурор, скажут, а паникер.

— Но ведь наряду с этим я пишу об увеличении завоза товаров, строительстве ферм. Ведь надо писать обо всей жизни района. Неужели о ее недостатках отчет не должен ничего говорить?

— По отчету судят не о жизни, а о составителе,— буркнул Иван Никанорович,— и ты...

— Нет, вы скажите: надо или не надо информировать область о наших делах?

— Надо. На то есть райком, органы есть. Пускай информируют. Это их святое, так сказать, дело. На этом сидят.

— А мы?

— А мы их не должны подменять. Ты вот минутку сообрази. Тебе уполномоченный показывал, что он по своей линии шлет? Нет, не показывал. Круглов докладывал, чего он пишет в обком? Тоже, кажись, не докладывал. Так кто тебе право дал писать не о том и не так? Это знаешь как называется? Отсебятиной называется это. Слышал такое словечко? То-то и есть... А тебе все одно, что писульку невесте строчить, что государственный документ составлять. Ляпаешь не согласовав, не спросив. А подумал ты, какие из этого могут последствия выйти? Вот придет областной прокурор в обком и расскажет, что, мол, в Сердейске делается то-то и то-то. А там ответят, что-де у них из Сердейска совершенно другая информация по этим делам. И заварится целая каша.

— А какое нам до этого дело? Мы обследовали, у нас проходят дела, есть точка зрения...

— А ты шибко уверен, что твоя точка зрения по сердцу придется? — вскинулся Иван Никанорович.— Откуда ты знаешь, попадет она в лад или в зад? Тебя что, на заседания ЦК приглашают? В комиссию законодательных предложений зовут? Скажите пожалуйста, какой умник нашелся! У него, видите, точка зрения есть! А кто тебе подписку давал, что поглядят за нее, а не выпорют?! Да ты в жизни-то жил или нет? Не приходилось слышать, как на человеке за точку зрения ставится точка? Иди-ка, брат,— заключил он разговор,— проверь лучше сроки по арестантским делам. А то зададут нам за них «точку зрения».

Но Алексей не ушел. Он стал уговаривать Ивана Никаноровича восстановить хоть некоторые из зачеркнутых мест. Начался длительный торг. Иван Никанорович ошестинивался про-

тив каждой странички, говорил, что она «совсем ни к чему» и «без понимания последствий написана». Алеша брался переписывать их все заново, сказать по-другому, помягче, поводянистее. Иван Никанорович злился и требовал, чтобы Алексей от него отвязался, но тот не отвязывался. После нескольких часов пререканий Алексей унес искореженные страницы домой и снова засел за них. Переделка шла туго, потому что нужно было так написать, чтобы областному прокурору доклад показался значительным, а районному малозначительным.

Судья спрашивал, отослал ли Алеша свой доклад о поездке. Алексей считал неудобным рассказывать Иванову с своих спорах с начальником и отвечал, что еще пишет доклад, что придется его серьезно обдумывать. Судья помолчал, а потом медленно сказал:

— В иных случаях, Алексей Николаевич, нужно меньше раздумывать, отдаваться движению души и не размышлять о том, как его истолкуют...

Через день Иванов снова спросил, закончил ли Алеша отчет, и, когда услышал, что еще не закончил, насутился и выразительно сказал Алексею:

— Иногда рассудительность портит нас больше, чем легкомыслие. При вечном благоразумии трудно сделать что-нибудь путное.

А Иван Никанорович, видимо, тоже почувствовал, что упорство помощника поддерживается чьим-то влиянием, и, листая принесенный Алешей доклад, сердито бросил ему:

— Ну и ну! Накрутили ж тебя! Знаем мы таких храбрецов! Чужой задницей им хорошо лезть в огонь...

И снова стал черкать.

Алексей смотрел на разгул красного карандаша по страницам, но не говорил ничего. Он понимал, что пытаться опять уговаривать было бессмысленно. Сговорчивый в житейских вопросах, Иван Никанорович становился неумолим, когда речь шла о бумагах, под которыми должна была стоять его подпись. Но в Алексее все клочотало. Выждав, пока карандаш закончил свой уничтожающий танец, он тихо сказал:

— Хорошо, Иван Никанорович. Все, что вы зачеркнули, я напишу от себя. Частным порядком... Имейте в виду...

Иван Никанорович обомлел, откинулся на спинку своего старого креслица и с любопытством посмотрел на Алешу, словно в первый раз его видел.

— Вот ты как? С копытцами, значит? Брыкаешься? Не хочешь в упряжке ходить? Ну, беги один, побег! Поглядим, куда прибежишь. Из бегунов, брат, плохие ходоки получаются...

И заговорил горячо:

— Телятина ты! Думаешь, что если ты разыграешься, хвост поставишь торчком, так и в хлев не загонят? Дурак ты! Чистый дурак, что не понимаешь, какой ты дурак! Верь, когда тебя по-

ниманию учат. Верь, когда тебе говорят. У меня уж волос на голове не осталось, а ты думаешь, мне хуже известно, что можно и чего нельзя написать? Почему ты не веришь мне? — выкрикнул он с искренней болью. — Ты худа еще никогда не видал. Ты и в ревматизм, наверное, не веришь, что он существует, а мне вот сейчас ноги светло. Не будь, Алеша, таким, давай мирно работать, давай...

— Нет, я напишу, — сказал Алексей и вышел из комнаты.

Но он не написал. Зря только поссорился с начальником, потому что все равно не написал. А почему не написал, будет ясно из следующей главы.

НА ВЕЧЕРИНКЕ

Предмайские дни были напоены солнцем. На полях рыхлилась зябь, деревни готовились к севу. Алеше пришлось видеть, как старики бросали кусочки земли, присматриваясь, рассыпается ли она или еще падает твердым комком. Анна Сергеевна торжественно подала к столу первые огурчики, привезенные на базар из парников «Красного пахаря». Перед домами прорыли канавки для талого снега, но вода перехлестнула канавки и разливалась по улицам. В Свердловске весны были степенными, их разгулу мешали снегоочистители, дворники и высокие здания, а в Сердеевске весна ворвалась как-то вдруг и разошлась на свободу. Ее никто не утихомиривал, она быстро разметала сугробы, сразу сняла с городка всю белизну, унесла холода, смыла с улиц тулупы и валенки и, отбурлившись за несколько дней, освободила землю для пробившейся зелени.

В один из этих дней Алеше исполнилось двадцать три года. Он никому не сказал об этом, даже Анне Сергеевне. День был нерабочим, воскресным. Алеше было грустно. Он не спал, не читал, а до двенадцати провалялся в постели. Смотрел в окно, но это не развлекало. Разутые мальчишки шлепали по грязным ручьям. Девушка переходила улицу, неся туфли в руках. Старуха обронила корзинку мелкого сеянца, вода подхватила легкие луковки, старуха металась. Движения ее были смешны, но Алеша наблюдал за ними не улыбаясь. Ему не хотелось вставать и некуда было идти. Он вяло думал о своем боязливом начальнике, о резиновых сапогах, которые придется купить, о брате, забывшем поздравить его, о посетительнице, которая упрашивала его накануне принять от нее в благодарность полсотни яиц. Одновременно он думал о том, что его день рождения на новом месте не праздничный и что вообще новая жизнь не стала такой веселой, как прежняя. Раньше кругом было много людей, и его радовал не только гул в коридорах, но и шум разговоров, мешавший спать по ночам. А теперь вокруг него тишина, за стенами прокуратуры он никому не нужен, и некуда деть себя в

праздничный день. Он спрашивал себя, что вышло и что не вышло из его ожиданий. Да, многое вышло. Он был незначущим, а стал теперь значущим, к нему обращаются за советом, за правдой, он — частичка власти, и частичка в Сердеевске довольно заметная. Дни протекают у него содержательно. Он по натуре политик, весь интерес его — в делах и вопросах, и он не сменял бы свои занятия ни на какие другие. Приобрел он и то, что в институте считалось основой оптимистического мировоззрения, — зарплату, которая втрое превосходила стипендию. И все-таки... нет, его жизнь не была исполнением прежних желаний. Пошел восьмой месяц, а ничего заметного он еще не сделал. Вырасти тоже не вырос. Скорее наоборот. После окончания института он от многого отстал, даже не знает, что сейчас в городах занимает люди. И нельзя не отстать — районная библиотека получает только по одному экземпляру толстых журналов, и они всегда на руках, их читают учителя. Если не брать с собой на дом дела, просто тоска... Может быть, другие и не скучают здесь — у них есть семья, знакомые, и, главное, они привыкли рано ложиться, а Алеша не может зарываться в постель в десятом часу... Он сидит все вечера при мутной электрической лампочке, и сколько ни стирай с нее пыль, светлее она не становится. Горит вполнакала, потому что не хватает энергии. Можно бы ходить в клуб — там есть шахматный кружок и бильярд, — но как-то неловко сражаться с мальчишками. Да и положение заставляет быть осмотрительным. Вот следовательно рассказывал, что часто игрывал в шахматы с продавцом из райпо, а потом пришлось этого партнера допрашивать. А дома сидеть — мало радости...

Непонятно, почему Алексею сначала так понравилась комната. По существу, это вообще не комната, а закуток. Три шага вдоль, три шага вширь. Стенки такие, что слышны все перешептывания Анны Сергеевны с Николаем-чудотворцем на кухне. Доски ставились так, словно у плотника не было ни глаз, ни рубанка. Ни одна не подогнана гладко к соседней. Бумага, которой их когда-то оклеили, только подчеркивает щели, края и зацепины. Столик ничем не накрыт, а табуретка, которую Анна Сергеевна натерла каким-то особенным лаком, нелепо блестит. И главное, живет он на отшибе, далеко и от центра и от места работы. Можно бы, например, сходить сейчас от нечего делать на площадь, но в калошах отсюда в такую погоду не выберешься... Это же ужас, какое разливанное море! И почему вообще считается, что весна — это какое-то особенно хорошее время? Она, наоборот, дурацкое время. Ни холодно, ни тепло, ни снега, ни сухости. О весне всегда пишут, что она пробуждает природу, как-то особенно радует людей, разливает бодрость по телу... Совсем это не так! Воду она разливает, это правильно, а бодрость, наоборот, отнимает. В человека входит какая-то лень, ничего ему делать не хочется, все становится вдруг не по нем, и он не знает, чего ему надо.

Перед Алешей в окошке неожиданно выросла женщина.

— Двери откройте! — забарабанила она по стеклу.

Он вскочил как шальной, мигом засунул ноги в штаны и кинулся в сени. Это была его единственная в Сердейске любимая...

✦ Принимайте посылку!

Сердце застучало с таким шумом, будто находилось снаружи, а не под кожей и ребрами. Алеша искусственно замедлял движения и с нарочитым спокойствием взял от женщины сверточек. На извещение он боялся взглянуть. «Только бы не из Челябинска! Только бы не от брата!»

— Невеста платочки прислала, — сообщила женщина об отправителе.

Пока Алеша расписывался, она присела, спросила, где Анна Сергеевна, сказала, что дочери давно писем старушке не шлют. Алеша объяснил, что Анна Сергеевна ушла спозаранку к знакомой помочь вспахать огород. Почтальонша поругала дочерей Анны Сергеевны, которая вынуждена в семьдесят лет гнуть спину на чужом огороде, чтобы получить на зиму несколько мерок картошки. Потом женщина спросила, не ангел ли у Алексея сегодня. Он удивился ее пронизательности. Она объяснила, что посылка лежала на почте неделю, давно была бы доставлена, но на извещении сказано было, чтобы обязательно только нынче отдать. Вот на почте и решили, что нынче у прокурора день ангела.

Наконец почтальонша ушла.

«Алешик, — читал он дорогие каракульки, — я поздравляю тебя и поздравляю себя, что ты родился. Если бы ты не родился, мне бы тоже незачем было родиться. Алешик, мне осталось сто двадцать пять дней, а когда у тебя будет день рождения, останется сто восемнадцать. Алешик, тут нет больше места писать. Мама и папа шлют поздравления».

В посылочке оказалась сорочка. Более шелковистого шелка и более нежной полосочки Алеша еще не видал. И прокурор, который был так солиден, что не решался играть с незнакомыми в шахматы, с ребячьей восторженностью любовался теперь нехитрым изделием свердловской швейной артели.

Он наскоро проглотил оставленный Анной Сергеевной завтрак и в минуту оделся. Сидеть теперь дома было нельзя. Надо было сейчас же дать телеграмму и вообще куда-то идти. Он так торопился на люди, что ему с трудом поддалась щеколда на двери — никак не хотела побыстрее опуститься.

А на улице было великолепно. По «морю» пришлось плыть меньше версты. Ближе к центру было выше и суше, там уже совсем обнажился булыжник и кое-где возле домов выбивалась первая травка. В городском саду вязли ноги, но распускались деревья, какие-то люди вкапывали здесь скамейки, носили дерн, возились у клумб и красили киоски для торговли водой и мороженым. Вход в сад должен был распахнуться Первого мая.

О Первом мая оповещали и цветные афиши, обещавшие в этот день старшеклассникам бал. У Дома культуры стояли щиты с объявлением, что он «после праздника переходит на летние формы работы». Предпраздничность была в самом воздухе. Из окон вынимались зимние рамы, и женщины, сидя на подоконниках, терли стекла зубным порошком и начищали их белой бумагой. У магазина райпо, торговавшего на этот раз в выходной, стояла очередь за летними тканями. Такую же очередь Алеша увидел у швейной мастерской промкомбината, а рядом с ней люди осаждали палатку, впрок запасаясь вином. А девушек было на улицах как никогда. Откуда только они взялись и где до сих пор прятались! Можно было подумать, что они специально отсиживались всю зиму до этого дня, чтобы разом выпорхнуть и помочь солнцу сделать весну. И на каких они жили высотах, чтобы щеголять в незаляпанных туфлях и красоваться в шелковых платьях?! Они заполняли все тротуары у площади, смеялись, стреляли в Алешу глазами или прятали от Алеши глаза, кокетничали друг с дружкой, сами с собой и все время радовались неизвестно чему. И Алеша тоже радовался теперь неизвестно чему. Тому ли, что девушек высыпало столько на улицу? Тому ли, что каждая излучала что-то хорошее и на каждую было приятно взглянуть? Тому ли, что ни одна не могла все-таки с Шурой сравниться? Удивительное это дело — сотни чудесных девушек, у всех и смех и приветы в глазах, а не то и не то...

У него мелькнула нелепая мысль: вот если взять самую красивую, самую светловолосую, передвинуть ей чуточку губы, укоротить капельку нос, оттянуть подлиннее ресницы, станет ли она как Шура? Нет, не станет... Сделается еще лучше, чем есть, делается похожей, а такой же не станет.

Он с удовольствием шатался весь день и увидел, возвратившись домой, что в его комнатке вовсе не голо и бедно, а просто и чисто. Какие глупые мысли приходят человеку утром и какие умные вечером! Да разве, если бы твои стены были гладки, как зеркало, ты стал бы от этого счастливее, чем в эту минуту? Разве если бы ты получил не восемьсот, а восемь тысяч рублей, то мог бы съесть в десять раз больше творожников, чем нажарила к твоему приходу Анна Сергеевна? Или стал бы любить десять девушек вместо одной? Какая все это чушь! А резиновые сапоги... но в центре уже сухо, а через два дня будет сухо и здесь. Нет, не стоит на них из зарплаты выкраивать, лучше купить на эти деньги ботики Шуры.

И Алеша пребывал в наилучшем расположении духа. Засесть в эти дни за письмо областному начальству ему не хотелось. Он решил писать его после Мая. А на Май его неожиданно пригласил к себе Лобов. На второе число. У того праздник совпадал с днем рождения.

— Обязательно приходи, — сказал ему новый приятель. — Жена затеяла бал. И действительно, надо же когда-нибудь на-

шему брату развлечься. Между прочим, Ольга очень тобой интересуется, хочет тебя к подружке своей приспособить. Она уже тридцать раз требовала, чтобы я тебя притащил. Спрашивала: «Жил он когда-нибудь, твой Алексей, среди людей или от медведицы взялся?» Я отвечал, что ты женихуешь, психуешь, а она не отвязывается. Между прочим, ты с этой ее подружкой знаком. Это Глотова, второй секретарь комсомольский. Но ты не пугайся, тебе не обязательно именно за нею ухаживать, там и без нее подбирается хороший народ. Что весело будет, это уж факт.

Председатель исполкома жил тоже на окраине, но в противоположном конце городка. На задах его улочки уже расстлалось картофельное поле одного из колхозов, и в домиках на этом краю поселились специалисты колхоза. Но те жили основательно, а Лобов не имел в буквальном смысле слова ни кола ни двора. Он въехал сюда в один бесхозяйственный домишко и обрек семью на очень неудобную жизнь. У Лобовых не было ни курицы, ни грядки картошки, а до базара от них приходилось тащиться почти два километра.

Мать Оли всем жаловалась на своего непутевого зятя: «Председатель, а не может построить себе дом как у людей». Ей хотелось обзаводиться хозяйством, а Лобов отшучивался или отругивался от причитаний старухи. Оля же в спорах между мужем и матерью сохраняла нейтралитет. Она понимала, что жить так, как они живут, тяжело, но и картошку ее не манило выращивать. Она привозила время от времени овощи от родителей Лобова, молоко для двухлетней дочурки брала у соседки, а за другими продуктами посылала мать на базар. Так было бесхлопотнее... Зато перед Майскими праздниками Оля хлопотала неделю. Шофер Лобова, двадцатилетний Коля Михляев, бывший в доме своим человеком, тайком от председателя, считавшего неудобным давать исполкомовскую машину жене для поездок по личным делам, бесконечно возил ее в эти дни. Оля побывала у свекрови, подарившей ей поросенка, съездила в деревню к Михляеву, дед которого славился умением готовить медовуху... Вокруг праздничного ужина в доме Лобовых суеилось много людей. Одна из подруг заливала маринадом мясистого сома, другая начиняла чесноком баранью ногу, третья возилась с холодцом из голяшки, четвертая собирала по городу тарелки и стопки.

Не только Алеша, но сам Лобов был озадачен видом пышного пиршества в его доме. Непонятно было, откуда что взялось и как все содеялось. Он не мог объяснить себе даже появление в их доме стола, на котором все эти гирилянды бутылок и блюд были уставлены. Только позже, за ужином, хозяин почувствовал, что стол был составлен из нескольких.

Одновременно с появлением в доме чужой радиолы и стульев исчезли хозяйские вещи. Куда-то убрали кровать, шкаф, швейную машину, укладку. Стало совершенно просторно. Неизвестно

где раздобытые Олей на вечер стенные ковры придали комнате небывалый уют.

Алеша пришел одним из первых, когда хозяйка с подругами заканчивали украшение блюд зеленым луком и бумажными кружевами. Он встречен был с явною радостью, а Валя Глотова, изменив своей бойкости, сразу вдруг покраснела. Алеша понял, что за ужином ему предстоит сидеть с нею рядом. Он уже знал, что у хозяйки с девушкой заговор, но это было сейчас не досадно, а даже приятно. Вообще приятно было, что он гость необычный, еще не бывавший здесь, вызывавший к себе любопытство. Почти вслед за Алешей приехал из колхоза младший брат Лобова Николай, хорошо сложенный и прифрантившийся для праздника парень, бригадир овощной бригады и весельчак. Он привез свежие огурчики, которым Оля очень обрадовалась. Она сейчас же захопотала, сдвигая блюда и расчищая место для огурцов.

— Ой! — шуточно вскричал Николай, узнав от девушек, что Алексей прокурор. — Не погуби мою душу! Огурцы не ворованные, мне их председатель в премию дал. — И добавил хвастливо: — Я на этой неделе огурцами весь наш базар завалю!

Потом он потребовал, чтобы прокурор немедленно выпил с ним под огурчик, что Алеша и сделал.

Пробарабанив сначала в окно, в дверях возник Михаил — заведующий парткабинетом, делавший в Доме культуры первомайский доклад. Это был знающий парень, чьи статьи иногда печатались даже областною газетой. Здороваясь, он стал оправдываться, что пришел без жены, так как еще не завел ее.

Затем стали приходиться другие гости, и Алеша понял, что список их составлялся Олей. Из приятелей Лобова были капитан, проводивший в Сердеевке отпуск, да механик МТС, приехавший с молоденькой учетчицей станции. Женщины приносили с собой пироги, которые Оля заказывала им испечь, мужчины — бутылки...

Триумфально обставил свое появление ширококостный верзила Нефедин. Ему давно уже перевалило за тридцать, но он оставался кумиром сердеевских мальчишек. Нефедин заправлял стадионом, гонками, матчами и сам занимался всеми видами спорта. Он был вратарем, плавал брассом, ездил на велосипеде, кладя ноги на руль, метал диск и любил пугать окружающих, вызывая их на бокс.

Начавший уже заметно плешиветь, с низким лбом и приплюснутым носом, Нефедин брал ростом, силой бугая, тренировкой и ловкостью. Он был не по возрасту честолюбив и падок на похвалы. Принимаемая после состязаний призы, он отвечал на них торжественно, вычурно, полагая, что необычные слова столь же внушительны, как позы, которые он принимал, когда его фотографировали для районной газеты.

Войдя в комнату, Нефедин опустил на табуретку большой фа-

нерный ящик и, обняв Олину мать, произнес дьяконским басом и стилем:

— Я, мамаша, принес особый подарок. Мой подарок не конфеты, предназначенные судьбой для съедения. Мой подарок — для сбаведения, для любования, для утешения. Держите, мамаша!

И вытащил на свет индюка, которого сразу ошарашили необычная обстановка и электричество. Несколько секунд индюк оцепенело постоял на табуретке среди столь же оцепеневших людей, а потом с гогом бросился на старушку, и Нефедин едва успел его подхватить.

Поднялся общий хохот.

Но эффект, произведенный Нефединым, этим не ограничился. Когда хозяйка унесла индюка, спортсмен поднял над головой четвертную бутылку с красной жидкостью и произнес тем же шутовским и торжественным тоном:

— Прошу внимания, граждане! Как всем вам известно, на Руси есть веселие пити. В сей бутылки не чернила, не краски, не борщ. Мудрому партийному руководству района мы обязаны опытом внедрения на наши поля одной доходной южной культуры. Это позволило умельцам Сердейщины тоже провести опыт. Они расширили к празднику наш ассортимент пития. Товарищ Нефедин водружает новый ценный продукт посредине стола, просит шумного одобрения зала и ждет вспышек магния, чтобы увековечить сей знаменательный миг.

Одобрение последовало впрямь очень шумное, хотя не все сразу поняли, какой был в бутылки новый продукт. Первым сообразил это Лобов.

— Когда же это гады успели?! — вскричал он с досадой.

Сердейский район был зерновым и картофельным. Один из колхозов впервые сажал недавно несколько гектаров свеклы. И вот уже появилась свекловичная водка...

Не обращая внимания на протесты жены, Лобов решительно снял бутылку со стола и вынес из комнаты. Гости завозмущались его деспотизмом, но он коротко бросил:

— Круглов вам покажет сейчас новый продукт!

Это напоминание сразу всех отрезвило. Николай стал успокаивать публику:

— Я ее в сенцах под тулуп положу. Будем ходить и прикладываться.

Алеше этот эпизод был еще неприятнее, чем Лобову: он, прокурор, оказался в компании с человеком, который варил самогон.

— Где вы взяли ее? — спросил он Нефедина.

— В одной подворотне купил. Старичок приезжий привез.

— Надо было задержать, — сказал Алексей облегченно.

— Я и задержал. Не старичка, а бутылку, — ответил Нефедин, явно насмехаясь над прокурором.

Новый продукт спрятали в самое время. Едва его унесли, как пришел Круглов.

До этого вечера Алексею почти не приходилось разговаривать с секретарем райкома. В отличие от большинства районных центров Урала, где все учреждения помещались обычно в одном здании, сердейские располагались в разных домах, а прокуратура находилась вообще на отлете. Поэтому Алеша с Кругловым не сталкивался, а деловых встреч у них быть не могло, так как в райком ходил сам прокурор. Иван Никанорович отзывался о секретаре односложно: «Ничего мужик, бывают и хуже». Как понял Алексей много позже, эта похвала прокурора, — а в устах Ивана Никаноровича это была похвала, — являлась плодом ошибки Круглова в отношении самого прокурора. Лобов говорил о секретаре так же коротко и столь же неплохо: «Старик, а легко с ним». И с Кругловым действительно было легко.

Стариком он не был, Алеша дал бы ему приблизительно срок пять — сорок шесть. А легко работалось с ним потому, что он был ровен, спокоен, не властолюбив. Маленького роста, негромкого голоса, неговорливый и даже, может быть, по натуре не очень общительный, что довольно редко в партийном работнике, Круглов вовсе не сосредоточивал в своих руках направление всей жизни района. Он был полной противоположностью Лобову. Большинство дел председателя райисполкома тот сам брал на себя, а Круглов, наоборот, уходил от всего, что мешало его главному делу. Агроном по профессии, он изучал степень плодородия разных колхозных земель, вводил для них севообороты, добивался системы в обработке и удобрении различных участков, хотел создать почвенную карту района, о которой до него здесь никто не слышал. Секретарь занимался распределением сил между полеводством и скотоводством, настойчиво механизировал труд на полях, электрифицировал разные виды работ. Его мечтой было стянуть деревеньки в благоустроенные крупные села. Делами, выходящими за эту сферу, он предоставлял заниматься другим или занимался ими лишь поневоле.

В соседних районах отношения райисполкома с колхозами были неясными, даже, можно сказать, непонятными. Очень неопределенно было и разграничение дел между райисполкомом и райкомом партии. В Сердейске это четкое разграничение тоже отсутствовало, так как самый характер районной жизни ломал бы попытки расставить в ней перегородки. Но вот характер местных работников, различие в их натурах и склонностях определили в Сердейске свой неписанный устав и порядок. Характер председателя исполкома был таков, что он искал себе постоянных забот, а Круглов не склонен был ограничивать его в этом. Он редко ходил даже на заседания райисполкома, где обычно бывал второй секретарь. Круглов и на бюро не по каждому вопросу говорил свое слово, так как не считал себя самым све-

душим в многообразии дел, заполнявших повестку дня заседаний. «Ум его виден уже из того,— характеризовал Круглова судья,— что он не считает себя умным во всем». А повелительного тона у Круглова не было вовсе, восклицательных знаков в его речи не слышалось. Говорил он медленно, с расстановками, часто задумываясь.

Секретарь был методичен и не суетлив. Если Лобов склонен был править людьми, то Круглов правил с людьми. Лобов был взрывчат, отходчив, а Круглов и постоянен и сдержан. В председателе была нервная живость, в секретаре больше внутренней силы.

Услышав однажды, как Лобов ругался по телефону, Круглов заметил ему:

— Один мудрец утверждал, будто ноги даны, чтобы носить сапоги. А ты, видно, думаешь, что председатели колхозов существуют, чтобы кричать на них.

В другой раз, когда Лобов за десять минут распределил по селам товары к Октябрьским дням и на его решение посыпались жалобы, Круглов сказал ему: «Давай пойдем раз навсегда, что торопливость и справедливость нельзя совместить».

Помощнику прокурора очень понравился такой афоризм, который Лобов откровенно ему передал. Лобов рассказал и про случай с одним председателем, не подготовившим семян для посева. «Не придумаю, что сделать с тобой,— сказал ему секретарь.— Знаешь что, иди-ка в соседнюю комнату и напиши о себе проект решения бюро». Председатель был озадачен. Ему еще никогда не приходилось судить себя самого. «Не надо,— попросил он растерянно.— Лучше уж я... к послезавтраму сделаю. Сам у триера встану, а сделаю».

Нетерпим был секретарь только к пьянству. Он одного за другим отправил назад двух присланных обкомом работников и прославился девизом о том, что ни один пьющий не будет принят в Сердейске. Круглов рассказывал Лобову, что он сам сын алкоголика, проработал полжизни среди алкоголиков и видел, как разбивалась от водки и семейная и колхозная жизнь, как пропивались и сроки кампаний, и доход с урожаев, и всякая воля к труду. Половину всех зол в колхозах района Круглов относил за счет пьянства и к пьяницам на руководящих постах был неумолим. По его настоянию снят был недавно с работы один новый председатель колхоза, валявшийся на огороде. Круглову доказывали, что это толковый человек, что у него хорошо пошло дело, а секретарь хмурился, мотал головой и отвечал, что у пьяного дело не сможет пойти, потому что за ним сопьются другие и в конце концов все будет начисто пропито. Круглов отстоял Лобова от наказания за пресловутый приказ о принудительной работе сердейцев, но безжалостно снял с работы заместителя Лобова, который в Октябрьскую годовщину пьяным взобрался на крышу и ругал оттуда прохожих.

Лобов чувствовал себя при Круглове совершенно свободно. Секретарь вовсе не был рожден для сводок, совещаний, нажимов, разъездов и телефонных разговоров по трем аппаратам, а для Лобова это было стихией. Один жил основательно, другой жил на лету, но секретарь понимал, что без одержимости Лобова нельзя было делать всех его дел. Лобов действовал в радость себе, ему, наверное, чего-то недоставало бы, если бы колхозам всего доставало, и секретарь рад был отдавать ему эти радости. Он и другим районным работникам предоставлял действовать в их области по их пониманию, не докучая им поучениями. Нажитая мудрость подсказывала секретарю, что работники колхозов и учреждений района не нуждаются в резолютивном подтверждении истин. Он окончил Тимирязевку, понимал, сколько знаний накоплено в мире, и поэтому избегал говорить трюизмы, которые с мужеством невежества преподносятся иногда руководителями, не причащавшимися ни к одной из наук.

Все это делало его и сильным и слабым. Сильным потому, что говорил он лишь нужное, собственное, его слова имели не только должностной, но и подлинный авторитет. А слабость его заключалась в односторонности. Сама личность секретаря была школой порядочности, но его нравственное влияние не могло выходить за тот круг, которым он себя ограничивал.

Это было все, что знал Алексей о Круглове, с которым ему и в дальнейшем не пришлось много сталкиваться. Но именно Круглов поддержал потом Алексея в трудный час его жизни. А сейчас, на вечеринке у Лобова, секретарь, который чувствовал, видимо, к молодому прокурору симпатию, почти сразу же обратился к нему.

— Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Корнев! — подошел он, улыбаясь. — Рад видеть. Вас Алексеем, кажется, звать? Ну, как вы живете, как дело пошло у вас?

— Неплохо, — отозвался Алеша.

— Это видать. Вы, по-моему, у нас даже поправились. Когда приехали, не выглядели таким молодцом. Ну, впрочем, это было, наверное, после экзаменов. А теперь любо-дорого на вас посмотреть.

— Кормят меня тут хорошо, — весело объяснил Алексей. — Творожники, шанежки. Да еще со сметаной. Вот и плыву.

Сказал будто товарищу по общежитию. Как разговаривали когда-то между собою студенты: «Сегодня был муровый обед», или: «Ух, я сегодня наелся!» С Кругловым было просто, легко. И вообще славно вышло, что Алексей наконец-то оказался на людях. Ведь в институте он был одним из самых веселых, общительных.

— В хорошие, значит, руки попали, — одобрил Круглов. — Я тоже только здесь познакомился с шанежками. Великолепная вещь! Особенно если они высокие, с дырками, под зубами вздыхают. Ну а с духовною пищею как?

— И духовной хватает. В среднем на день три дела, одно совещание, две проверки и двадцать бумаг. Никак не пожажусь.

— Нет, я не это имею в виду. Не скучаете вы? Читать успевааете?

— Не столько, конечно, как прежде, но успеваю.

— Насчет книг он еще меня просвещает,— вставил подошедший к ним Лобов.— Покоя не дает, экзамены ему заставляет сдавать.

— Это хорошо, очень хорошо! А вот другие приезжающие молодые люди жалуются, что им скучно здесь, говорят, что у нас света не видно. Некоторые даже очень плохо себя повели. Вы об инспекторе райторготдела слышали? Да, да, двадцать три года, а запил. Плехановский кончил, а такие замашки. «От тоски»,— говорит... Не ставят люди перед собой большие задачи, не умеют занять себя,— искренне сокрушаясь, сказал секретарь.— А одна выпускница ветеринарного института сбежала. Целую осень с мокрыми глазами ходила, а зимою сбежала. Я вызывал ее перед отъездом, старался понять... Она плакала, говорила, что слякоть, что нет конфет, развлечений, не с кем перекинуться словом. И глупостей наговорила, и правды... Если в человеке нет стержня, ему трудно из большого города к нам. Он хочет, чтобы мы сначала сами наладили все, а он приехал на устроенную, удобную жизнь... Вам бы надо об этом где-то сказать, написать. Я вот читал ваши статейки в «Сердейском колхознике». Они мне понравились. У вас от себя все написано... Вот написали бы и о том, как живется здесь после большого города, чем у вас занят день, о чем вечерами скучаете и что нужно делать, чтобы скуку уменьшить. Напишите-ка, а? А то ведь плохо, когда агрономы сбегают. Ведь без агрономов, без агротехники...

— «Без агротехники, без агротехники!» — недовольно подлетела к ним Оля.— Неужели и сегодня нельзя без агротехники? За стол садитесь, Василий Михайлович!

Оле и Вале было досадно, что секретарь завладел Алексеем. Ведь на вечер собрались не для деловых разговоров.

И секретарь спохватился:

— Ох, простите! Отпускаю его, отпускаю!

По одну сторону Алеши оказалась Валя, по другую — Нефедин. Спортсмен сейчас же взял на себя командование бутылками на своей части стола. Налил девушкам вина, а себе и соседу «белой головки» пополам с медовухой. У Алеши оказался полный чайный стакан. Алексей пришел в тайный ужас. Он никогда еще не пил водку стаканами. В общежитии приходилось обычно пол-литра на комнату, на вечеринках случалось выпивать по несколько стопок, но чтобы вечер начинался с целого стакана, этого в жизни Алеши еще не бывало. Но запротестовать, отказаться не хватало решимости. Неудобно было показаться юнцом.

— За хозяина! За то, что он родился на свет! За хозяй-

ку! — поднялся Нефедин. — За спящего в соседней комнате отпрыска! За прибавление отпрысков! За мамашу! За прибавление индюков в этом доме! За выигрыш матча с Верейским районом! Ура!

И весело зазвенели стаканы, стопки и чашки.

Но едва сменился этот звон стуком вилок и ножей о тарелки, как поднялся Михаил.

— Я возмущен, товарищи! — начал он. — Я обижен. Меня обошли. Обошли штатного оратора энского района энской области. Перехватили первый тост. За это я буду говорить второй, третий и вплоть до двадцатого. Слушай меня, товарищи! Пить надо не за индюков. Пить надо за девушек. Пить надо за то, чтобы девушкам не было скучно! Пить надо за то, чтобы нашему брату тоже не было скучно! Пить надо за то, чтобы ничего не забыть и еще оставалось, что пить! Кто меня понял, наливай по второй!

— Слава штатному оратору района! — азартно закричал Николай, и снова радостно задзинькало стекло, забулькала влага.

— Да уж, действительно штатный, — недовольно сказал полувслух Круглов. — Хорош тост — пить за то, чтобы пить. Ничего лучшего придумать не мог.

— Лучше и не надо! — возразила хозяйка, задавая тон дальнейшим ораторам.

И поднялись еще двое — молодой учитель и механик.

Потом Алеша держал на руках тяжелые блюда, а Валя снимала с них куски рыбы, холодца, поросенка и клала ему на тарелку, затем он накладывал ей на тарелку, и оба при этом все время чему-то смеялись, и Алеше все блюда казались вкуснейшими и все лица вокруг распрекраснейшими. На минуту мелькнуло сожаление, что нет на этом празднике Шуры, но оно сменилось мыслью о множестве праздников, которые предстоят еще в жизни, и сожаление сейчас же исчезло. Алеше вдруг захотелось сказать Василию Михайловичу, какой он хороший, как Алеша сразу его полюбил, однако Василия Михайловича он уже не увидел за столом. Но Алеше было так хорошо, что кто-нибудь непременно должен был ему особенно нравиться, кому-то надо было сказать очень приятное, — и тогда он заметил, что у Вали добрые глаза и вообще она славная. Алеша и сказал это Вале, она еще больше зарумянилась радостью. Потом Алеша захотел говорить приятное уже всем и сказал Нефедину, что он замечательный спортсмен, что даже в Свердловске нет человека, который занимался бы всеми видами спорта, что Нефедин феномен и ему предстоит всесоюзная слава. Тогда Нефедин, и без того обращавшийся ко всем на «ты», предложил выпить на брудершафт, и Алеша, ничего уже не опасаясь, опрокинул в себя еще стакан медовухи и расцеловался с Нефединым.

Оля с другого конца стола закричала, что это несправедливо, что целоваться надо не только с правым соседом, и тогда Нико-

лай подбежал к Алеше и Вале, обнял за шеи и стал сталкивать головами, пока лица их не коснулись. Лобов стал громко возмущаться женою и братом, а Оля начала так же возбужденно говорить, что она взрослый человек и знает, что делает.

Алеша понимал, что опьянел. «Но если я сознаю это,— решил он про себя,— то, значит, не очень». Это придало ему бодрости, и он сейчас же вмешался в разговор Михаила с пареньком из редакции.

— Мой отец,— говорил Михаил,— очень сильно когда-то пил. Но я хоть и был ребенком, а чувствовал, что водка его совсем не тянула, что ему не хотелось ее. Он пил молчаливо, как-то угрюмо, озлобленно, пил, чтобы уйти от себя самого. А вот молодые пьют весело. Пьют, как любят! — кивнул он на какую-то парочку.

— Совершенно верно,— подтвердил сейчас же Алеша.— Я ни от чего не уожу, меня тоже не тянет к водке, и пью я сейчас потому, что люблю. Всех люблю.

— Точка! — сказал Нефедин и бесцеремонно закрыл Алеше рот своей лапой.

Но Алеше очень хотелось разговаривать на разные темы.

— А потому не пригласили,— услышал он разговор Лобова с капитаном,— что бюджет не позволил. Нельзя же звать только председателей и бригадиров. Тогда уж надо было всех лучших свиначок, доярок и полеводов собрать. Всех разместить, накормить. На это, самое меньшее, нужно было семьдесят тысяч рублей. Где же их взять?

Капитан возражал. Он рассказывал, что в одной из стран, где ему пришлось побывать с войсками, устраиваются карнавалы, на которые съезжаются крестьяне целых округ и по многу дней веселятся, танцуют, развлекаются всевозможными зрелищами. Капитан говорил, что эти праздники объединяют народ, поддерживают в нем жизнерадостность, что их надо привить и у нас.

— Обязательно! — вмешался в разговор Алексей.— Надо на Майские дни все население перевозить из колхозов в Сердейск. Все как есть. Мобилизовать машины, тракторный парк, лошадей. Устроить аврал. В районе только сорок тысяч живет. Плевое дело! В Свердловске знаешь сколько народу на демонстрациях! А в Москве! Подумаешь, дело какое — разместить сорок тысяч! Потеснить на три дня местных людей — и будет порядок. Вот капитан знает, как переброски и расквартировки устраивают.

Все засмеялись.

— С санкции прокурора можно бы это проделать,— сказал Михаил.— А потом его с председателем тоже отправили бы на демонстрацию, только не первомайскую, а в психиатрической клинике.

— Это вы по-рутинному думаете! — начал было пылко Алеша, но Нефедин опять приложил ему руку к губам.

— Какое ты право имеешь? — возмутился Алеша.

— А такое! — равнодушно ответил Нефедин.

— Алеша, выйдем на улицу, — тихо сказала Валя.

— Да, пожалуйста, я могу. Куда хотите, могу.

На улице было свежо.

Алеша рванул с себя галстук, сунул его, скомкав, в карман и расстегнул воротник.

— Здорово! — сказал он. — Вы здорово придумали!

И, увидев шедшую по узкому тротуарчику пару, добавил:

— А ну-ка, я сейчас что-то проверю.

Он быстро пошел навстречу людям. Не понимая, что он затеял, Валя сейчас же взяла его под руку.

Алеша решительным шагом надвигался на встречающих.

— Алеша, что с вами? — Валя испуганно потянула его с тротуара.

— Нет, нет, не мешайте!

Он высвободил руку и, стараясь держаться прямо, почти бегом двинулся на людей.

— Пьяный! — вскрикнула женщина.

— Не бойся, — ответил ее спутник, схватив Алешу за плечи.

— Я... я не пьян, — забормотал, улыбаясь, Алеша. — Вот именно, что совершенно не пьян. Это сейчас доказано. Я проверку устраивал. Если бы я не удержался на досках, тогда, конечно, можно бы говорить... А я удержался. Я, видите, прошел по дощечке!

— Ба! Товарищ прокурор! Вот неожиданность! — отметил мужчина и, пройдя со своей спутницей дальше, несколько раз обернулся, стараясь рассмотреть и Алешину девушку.

— Застегнитесь, Алеша, — сказала Валя, — вы же простудитесь.

— Я? Чепуха!

Но она с материнской настойчивостью протянула руки к его вороту.

И тогда Алеша, неожиданно для себя, схватил эти руки, прижал к себе затрепетавшую Валу, поцеловал ее в губы.

— Не надо, Алеша! — отстранилась она. — Ведь у вас, я слышала, есть где-то девушка...

— Ну и что? — не понял Алеша. — Есть Шура. Невеста. Скоро приедет. Но я и вас люблю. Всех очень люблю. Хорошо сейчас, правда?

Ему действительно милы были в этот момент все люди земли, и он не понимал в блаженном своем состоянии, что слова его жестоки и обидны для девушки, что он высказывает свое равнодушие к ней.

— Идем, Алеша! — круто оборвала она и быстро пошла к дому.

А там шла веселая возня. Разбирали стол, освобождая место для танцев. Механик и капитан вытаскивали на кухню доски

и ящики, Нефедин выволакивал наиболее тяжелые вещи, никому не позволяя себе помогать. Николай, усевшись с девушкой из МТС на подоконнике, громко объяснял ей тайны своих житейских успехов:

— Термометр у меня первое дело, понимаешь. Гоню на двадцать пять градусов. Девчата аж парятся. Если ты с непривычки зайдешь, два раза вздохнешь и вспотеешь. Скажешь: «Баня», веник попросишь. Поливаю тоже, понимаешь, теплом. Как подойдешь, так увидишь две бочки. Это у меня в них цельный день на солнце вода нагревается. А если, понимаешь, ты его тепленькой водичкой не будешь поить, так ботва у него вся пожелтеет, и сам он сжурится и уродом расти будет.

— Это ты о чем? — сейчас же подошел Алексей.

— А об «каинском» ее просвещаю, об огурце...

Девушка перебила его. С детским любопытством посмотрев на Алешу, она спросила:

— Товарищ, это правду говорят, что вы прокурор? Настоящий?

Лицо ее по-ребячьи покраснелось от шума, вина и людей. На вид ей было лет шестнадцать-семнадцать.

— Конечно, настоящий, — обиделся Алеша вопросу и попытался придать строгость лицу.

— И в тюрьму сажать можете? — спросила девчонка, не поверив в страшную власть этого парня.

— Понятное дело, могу. Еще как, бывает, сажаю!

— Хвастаете! — сказала за его плечом какая-то девушка. — Это только суд приговаривать может.

— А я до суда, когда идет следствие...

— Перестань! — сказал выросший за спиной Лобов. — Пойдем на кухню, съешь ложку масла...

— Зачем мне масло? — оскорбился Алеша. — Что я, ребенок, что ли?!

Но Лобов, мягко обняв единственной рукой Алешину спину, вывел его из комнаты.

— Ха-ха! Мальчика в равновесье приводят! — засмеялся на кухне Нефедин, увидев в руках Лобова масленку и ложку.

Алеша побагровел.

— Пошел ты к черту! — оттолкнул он Лобова. — За кого ты меня принимаешь! Да я, если хочешь знать, в десять раз больше этого комода выпить могу! — с неприязнью кивнул он на Нефедина.

Лобов поставил масло и вышел из кухни.

— А ну, выпей! — обратился к Алеше Нефедин, и в глазах его забегал шальной огонек. — А ну, устроим-ка матч, поглядим, кто кого!

И произошло нехорошее. Нефедин молча, с тою решимостью, какая бывает у вратаря, давшего себе слово положить за честь команды живот, повернул Алешу за плечи и мгновенно двинул

его в полуосвещенную комнату, где спала дочурка хозяев. Здесь стояли на окне и табуретках блюда с остатками яств, а на полу вдоль стены вытянуты были снесенные из столовой бутылки. Их было так много, что они закрыли весь плинтус.

— А ну! — с той же мрачной решимостью протянул Нефедин стакан. — Счет начинается. Сборная Сердейска против приезжей команды. Пей!

В горле Алеши забулькало что-то очень противное.

— А ну, забег номер два! — снова наполнил Нефедин стаканы.

Горло не хотело вбирать то отвратное, что стремился проталкивать в него Алексей. Горло протестовало и сжалось. Алексей с ненавистью и ужасом в сердце вливал...

Когда он вышел в общую комнату, там все стало совсем непонятно. Плавно качались перед ним какие-то девушки и раздражающе ненужные фигуры мужчин. Потом в глазах замелькали девичьи белые руки, волосы, лица, шеи... Водка перелилась из горла в душу Алеши, заполнила душу. Захотелось перевестись руками с лесом девичьих рук, раствориться в их мякоти, испариться, исчезнуть. Но это продолжалось только минуту. Потом водка перелилась из души Алеши в желудок, стала давить на него, распирает. И Алеша, не зная, как скинуть тяжесть с груди, выбежал в сени, оттуда во двор. Здесь стоял какой-то возок, и распряженная лошадь лениво искала в нем сено, Алеша обнял лошадь за шею, подтянулся, взобрался на возок и утонул в мягкой соломе.

Пробуждение было тяжелым.

Сначала Алеша не понял, где он и что с ним. Он скинул с себя жаркий, пахучий тулуп, которым оказался накрыт, и увидел улыбающееся лицо неизвестной девчонки.

— Спите, спите! — сказала она. — Мы еще не скоро поедем.

— Как поедем? Зачем? — изумился Алеша.

— Не вы, не вы! — залилась смехом незнакомая девушка. — Я поеду. Я и механик. К себе в МТС... Спите, пожалуйста!

Но Алеша вскочил.

— Выспались? — не отвязывалась девчонка. — А мы целую ночь танцевали. Как весело было! Сейчас все поют, слышите?

В доме гремели радиоло и песни.

— Скоро чай пить будем, — обнадежила Алексея девчонка. — Я вышла лучину для самовара найти. Самовар здесь у бабки большущий, а растопки нету. Идите в дом. Или, хотите, я вам холодной воды полью, вы умоетесь. Ой, как вы извозили в соломе костюм!

Алеша неприязненно глядел на девчонку. Костюм его был в самом деле ужасен. Но что костюм! Ужасно было все происшедшее!

Не ответив девчонке ни слова, он вышел из ворот...

Домой! Скорее домой!

На него нахлынуло ощущение стыда и беды.

Напившийся прокурор!

Боже мой!

И это случилось именно с ним, которому водка была всегда неприятна!

Неужели гости Лобова разболтают эту историю и о ней узнают в районе? Тогда...

Но в районе ничего не узнали. Алеша напрасно боялся поднимать глаза на людей. После праздника ему казалось, что все говорят только о нем, все за ним наблюдают. Он старался побыстрее проскользывать в свой кабинетик и не смотреть на людей, когда разговаривал с ними. Но ни особого любопытства, ни ухмылки в глазах посетителей не было. Товарищи тоже молчали о происшедшем. Только Лобов сказал:

— Я готов был единственную руку сломать о Нефедина. И себя хотел бить. Как это я не заметил, что этот олух увел тебя... Ну ладно, что прошло, то прошло.

Но оказалось, что прошло не совсем. Алеша вовсе уж успокоился было, когда через несколько дней поздним вечером столкнулся на улице с Василием Михайловичем. Никогда до сих пор случайных встреч не бывало, а тут как нарочно...

— Здравствуйте, Корнев,— не улыбаясь, поздоровался секретарь и спросил: — Очень спешите? Может, малость проводите?

— С удовольствием, Василий Михайлович.

— Ну, на удовольствие вы не рассчитывайте. Я насчет того вечера поведу разговор. Не знал я, что вы на ногах своих плохо стоите. Не думал такого о вас...

— Василий Михайлович...— растерялся Алеша.— Это случайность. Я никогда в жизни не пил...

— Верю. Отчего же так вышло, что вы ночь провели во дворе? Значит, позволяете с собой делать такое, что не хотите и сами.

Алеша молчал.

— А знаете вы,— продолжал Василий Михайлович,— что такие истории иногда очень плохо кончаются? Ведь вы и наскандалить могли в пьяном виде. А еще прокурор. У всех на виду. К прокурору особые требования. Понимаете вы это, а?

— Василий Михайлович, я все понимаю. Я так переживал эти дни...

— Да и я переживал за вас. Мне очень обидно стало, когда рассказали. Вы вот подумайте: должен ли один вечер испортить жизнь человека? Как будто не должен. А на деле это бывает. Построить жизнь в один вечер нельзя, а сломать ее можно. Вы, как юрист, должны бы хорошо это знать. А поддаетесь влиянию любого балбеса. Даете уводить себя в сторону! Вам надо бы

больше... не знаю, как выразиться... жалеть себя, что ли, подо-
роже ценить...

И, помолчав, он добавил:

— Да, Корнев, берегите себя. Если еще раз такое случится, я не посмотрю ни на какие способности. И тогда вашему начальнику уже не удастся меня умолить. Я и на этот раз поддаюсь его уговорам только потому, что свалились вы во дворе, а не на улице. Сделали бы вы еще пять — десять шагов, и ваш Иван Никанорович не сумел бы уже вас отстоять... Я ведь не добрый, не думайте. Прокурора на тротуаре не потерплю! Хватит там и не прокуроров...

Алеша был изумлен и потрясен разговором. Оказывается, он был накануне несчастья.

Даже сон Алексею приснился жуткий. Он увидел Павла Максимовича. Каменщик сидел перед поллитровкой и говорил бедной дочери:

«Ну, кто был прав? А ты в загс хотела бежать... Вот оно, что такое начальник. Рабочий человек хозяин себе, а над начальником чужие глаза днем и ночью хозяйничают... Вот оно как получается...»

Говорят, что плохие сны бывают тогда, когда неудобно уляжешься. А на самом деле они приходят тогда, когда неладное сделаешь.

Могло быть еще и другое. Счастье, что Глотова оказалась неподатливой на случайную ласку... Как он запутал бы тогда свою жизнь! Слава богу, что хоть тут ничего не случилось...

А спас его, оказывается, Иван Никанорович! Милый ворчун! А Алеша еще собирается писать донесение, после которого у старика могут быть неприятности. Ведь областная прокуратура обязательно спросит, почему эти сведения сообщаются частным письмом. Нет, его, конечно, нельзя посылать... Нельзя так отвечать за заступничество. Надо, наоборот, сейчас же идти и благодарить.

Иван Никанорович был очень тронут. Он покраснел, засопел.

— Ладно, ладно, Алеша, оставь! Ну что я сделал такого особенного? Как же можно было не заступиться? Ведь он-то не знает тебя, а я, слава богу... И ценю и люблю... А что ты пробовал мне когти показывать, так я понимаю, что не по злобе, а по неопытности... Но раз тебе Круглов сам рассказал, то и я могу теперь передать разговор. Он действительно хотел в область звонить, чтобы тебя отозвали. Раньше беспокоился, чтобы у тебя был костюм, а теперь беспокоился, чтобы самого тебя не было тут. «Раз, говорит, напивается, то не нужен нам здесь». Только тогда подобрел, когда я дал партийное слово, что ты в первый раз... Есть, знаешь, секретари, перед которыми хоть на карачках ползи, да только на заготовках себя покажи. А у этого, наоборот, пунктик другой. На то, Алеша, и секретарь, чтобы был у него какой-то свой принцип... Ну, и надо, конечно, вести себя в

соответствии... А за «спасибо» твое я тебе тоже спасибо скажу. Не всякий это слово берет из души, некоторые его из головы вынимают. А ты парень душевный... Ну, иди, иди, тебе надо будет сейчас заключения писать. Ты-то погулял без последствий, а некоторые стали еще ножами играть. За нынешний праздник три случая. Можно сказать, еще благополучно... Сейчас Людмила тебе эти дела передаст. И не задерживай, постарайся сегодня же дать мне на подпись...

Алеша вышел от начальника недовольный собой. Примирение почему-то не радовало. Может быть, потому, что это было примирение с начальником, а не с собой. Но следующий день принес настоящую радость обоим. Пришел приказ областного прокурора, отличавший работу сердейской прокуратуры по жалобам, подтверждалось, что они здесь быстро расследуются и ни одна не залеживается. Районный прокурор премировался месячным жалованием.

Иван Никанорович счастлив был, как мальчишка.

— Хо-хо, Алеша! Дожил я! — взволнованно бегал он по кабинету, что с ним вообще редко бывало. — Самых каменных бюрократов и тех проняло! Всей области ставят в пример! Хо-хо-хо!.. А то ведь два года даже на совещания не вызывали. Пренебрегали Сердейском, плевали на Ивана Никаноровича. Дослужился он до юриста третьего класса, а обращались как с дураком первого класса. А теперь поворот от заду вперед! Глядите на Свешникова! Учитесь у Свешникова!.. Ах, они черти такие! Ну что ты тут скажешь?

Он ошеломлен был вниманием начальства, проявленным впервые за много лет, и действительно не знал, что сказать.

— Мне ведь, Алешенька, это для послужного списка не надо, — объяснял он помощнику свою умиленность, — я ведь куда не прошусь, в начальники отдела к областному не лезу. Мне важен факт. Факт, а не всякие там продвижения, премии. Если хочешь знать правду, так я бы продвижение за несчастье считал. На кой это надо мне — сесть на отдел да получить на шею начальника... Одно дело — квартальный отчет ему слать, а другое — бегать по вызову каждый час в кабинет. А уж жить в большом городе — вообще ни за что! Ты силком меня туда потащи — не поеду. Зачем это мне нужно — в трамвае толкаться да площадь на метры считать! Тут я нанимаю дом, а не метры... Нет, нет, дайте мне здесь нормально работать, и ничего мне от вас больше не надо... Ты, Алешенька, меня понимай... Я ведь ни о чем не мечтаю. И премии мне этой не надо... Я ведь знаю, что это ее ты, а не я заработал... Нет, нет, не брыкайся, — предупредил он возражения, — я на твое заработанное своим курам пшена не куплю. Это ты даже не смей говорить! А мы знаем как сделаем? Велосипед на эти деньги возьмем! Хватит тебе у Лобова машину выпрашивать да голосовать по дорогам. Как только деньги придут, так в тот же день покупаю тебе. А сей-

час я к Круглову бегу. Покажем мы праведнику, какие мы пьяницы! Попрошу на бюро огласить. Раз на всю область приказ, так на весь район и подавно надо сделать известным...

И у Алеши тоже был рай в душе. Он покорен был великодушием Ивана Никаноровича, его справедливостью и бескорытием.

В этот день Алеша положительно не знал, куда деть энергию. Велел машинистке размножить приказ, вложил его в письмо к Шуре, отправил бывшим товарищам по институту. Потом заново перечитал просмотренную еще утром газету «Сердейский колхозник» и сейчас же вызвал к себе заведующего райздравотделом, директора промкомбината, начальника сельхозснабжения. Все трое были возмущены этим вызовом. Заведующий райздравотделом сказал, что нехватка пенициллина в больнице не преступление и он обойдется в своих делах без прокурора. Директор промкомбината был еще более резким.

— Зачем вы делаете рукавицы, которые никто не берет? — спросил его прокурор.

— Ничего, зимой разберут.

— Но в газете сказано, что в них пальцы расправить нельзя.

— Смотри на чью руку.

— Да ведь они все одного и того же размера!

Директор усмехнулся и нагло сказал:

— Ты, товарищ Корнев, привык в большом городе к разносолам, к магазинам со всякими там сортами, номерами, фасонами, а у нас, знаешь, тут проще. Свердловский манер нам ни к чему. Мы пальцы не можем у каждого мерить, мы закрой измеряем, чтобы из материала план получился. Из метра одиннадцать пар. А у кого руки длиннастые, пусть покупает в Свердловске. Железная дорога туда доведет.

И, вскипев, он стал вдруг выкрикивать:

— Мне на двести тысяч план выполнять! Понимаешь ты это? Я как белка кручусь. Квалифицированных рук не имею. Банк счет мне закрыл. Сырья на неделю осталось. Номенклатуру двадцать три вида велят. Лобов жмет, область жмет, финотдел напирает, а ты... ты брючки отгладил, сел в кабинет и лезешь ко мне с рукавичками!

От негодования лицо директора было красным и злым.

А начальник сельхозснабжения разговаривал с прокурором, пожимая плечами:

— Никак не понимаю, чего вы хотите! Да, часть удобрений у меня осталась на складе. Колхозы не выбрали, не было транспорта... Ну а я здесь при чем? Обращайте ваши претензии к ним. И почему, скажите, пожалуйста, этим вопросом занимается прокуратура, когда он стоял на бюро? Вы, простите меня, берете на себя слишком много...

А прокурор утверждал, что ему до всего дело есть. И до медикаментов, и до минеральных. И он всегда будет вмешиваться...

Все три начальника прошли потом из Алешиного кабинетика в кабинет прокурора и жаловались ему на помощника: тот занялся не своими делами... Но Иван Никанорович не склонен был в этот день стать на их стороне. Он успокаивал их, говорил, что вызывались они лишь для остротки. А Алеше потом только сказал мимоходом:

— Ты уж больно напористо — троих вызвал зараз. Можно бы по одному на неделю...

СНОВА РАЗДОР...

Положено думать, что начальник умнее своего подчиненного, более сведущ, более опытен. Но Алеше постепенно открывалось, что сведения Ивана Никаноровича были чисто житейскими, знания весьма ограниченными, опыт чересчур однобоким, а природный ум его часто оставался бездеятельным.

Умен он был безусловно. Районный прокурор обладал редкой способностью распознавать многое по немногим чертам. Когда Алеша приехал в Сердейск, начальник привлек к себе его сердце не только своим добродушием, но и поразительной сметкой.

Не могу не передать ряд эпизодов, которые беру из дневника Алексея.

Следователь хотел прекратить дело буфетчика, подозревавшегося в присвоении выручки. Этот буфетчик построил себе каменный дом и скупал ценные вещи, но улики против него не оказывались. Думали, что он разбавляет водку водой, но анализы устанавливали нормальную крепость вина. Полагали, что он обсчитывал публику, и упорно за ним наблюдали, но увидели, что буфетчик давал полную сдачу, даже вдрызг пьяным людям. Иван Никанорович выслушал следователя, решившего сдать загадочное дело в архив, задумчиво погладил рукой облысевшую голову и объявил:

— Ну, брат, значит, тут не вор, а тройка воров. Не иначе как он торгует через буфет еще и краденой водкой. Приглядишься ты к базе, поищи там дружков...

И действительно, вскоре закончено было следствие о шайке воров, в которой буфетчик был только одним из участников.

Некая Водосвятова брала в стирку белье районной больницы. Стирала у себя на дому. Однажды у нее украли белье со двора, где оно развешано было для сушки. Через несколько дней на базаре в соседнем районе задержали продававшую простыни женщину. Белье было опознано. Из милиции прислали протоколы в прокуратуру. Алеша допросил задержанную и составил обвинительное заключение по делу. Иван Никанорович лениво его просмотрел, полистал странички своими толстыми пальцами и неопределенно похмыкал.

— В чем вы сомневаетесь? — спросил Алексей.

— Гм... А собственное белье Водосвятовой не пропало?

— Она не заявляла об этом. А что вас смущает?

— Гм. То смущает, что она казенным-то мылом заодно и свое белье не постирала. Не приурочила... Погоди-ка, брат, дело в суд отправлять. Может, это белье было удобно развешано...

И догадка прокурора подтвердилась сполна. Задержанная оказалась двоюродной сестрой Водосвятовой, и действовали они договорившись.

Молодая работница совхоза обвинялась в краже платья у подруги. Та только что сшила себе это платье, собираясь в нем ехать на вечер, и вдруг оно исчезло из общежития, в котором, кроме обвиняемой, никого в этот момент не было. О пропаже составили акт. На другой день платье подкинули. Эта история всех удивила, потому что девушку знали несколько лет и никто не мог сказать о ней плохого. К тому же у нее было больше платьев, чем у подруги. Пристыженная и напуганная, она упорно отрицала вину, но вина эта была установлена.

К удивлению милиции, прокурор почему-то задержал у себя это дело и предложил доставить к нему обвиняемую. Алеша как раз был у начальника, когда ее привели.

— Скажи-ка мне, девушка, — спросил Иван Никанорович, — была ты на вечере?

— Была...

— И хорошо погуляла там?

— Да, ничего...

— А подруга?

— Она не поехала...

— Потому что не в чем было поехать ей, да?

— Не знаю... Наверное...

— А скажи мне по-честному, у вас дружок неподделанный был?

Девушка покраснела, а потом разрыдалась... Оказалось, что она вовсе не собиралась красть платье, а задумала только спрятать его. Она хотела, чтобы подруга не попала на вечер и не помешала ей там... После вечеринки она повесила платье на место, а это посчитали лишней уликой...

Алеша был восхищен необычайной догадливостью райпрокурора, спасшей девушку от тюрьмы и позора.

Нет сомнения, что человек этот был проницателен, но сила догадки не сочеталась у него с силой воли, над которой брали верх всякие мутные соображения, одолевавшие голову Ивана Никаноровича. Алеше пришлось довольно скоро заметить, что начальник не всегда желает пользоваться своими способностями, не хочет всматриваться в то, что ему неудобно, избегает решений. Вначале помощник, удивленный рядом поступков начальника, думал, что тот знает что-то особенное, известное ему одному, и только по этой причине его действия кажутся странными.

Потом пришлось убедиться, что странности Ивана Никаноровича объясняются проще...

Желая видеть в скверном те стороны, которые уменьшают его, Алеша не придавал сначала значения тому, что начальник часто отказывается вступаться за жалобщиков. Он объяснял это себе ленью и малоподвижностью Ивана Никаноровича. Но скоро увидел, что дело не в лени.

— Что ж ты ко мне-то пришел? — говорил прокурор старику, приходившему жаловаться на отказ в выплате пенсии.

— Да ведь незаконно, товарищ прокурор...

— Вот и жалуйся в область. Над нашим собесом там еще есть собес. Понимаешь?

— Понимаю. Да еще в прошлом году внучка писала — опять же в район прислали назад. Куда же теперь-то писать?

— А пусть внучка напишет, чтобы они там не уклонялись от рассмотрения. Жаловаться, мол, будешь на них.

— Да кому же мне жаловаться? В суду не принимают...

— Правильно, суд пенсионных дел не разбирает. Надо, дедушка, до министерства дойти.

Глаза старика выражали удивление, тоску и беспомощность. Потом в них показались слезинки. Тогда и в глазах прокурора мелькнула на короткий момент жалость к старику. Но только на короткий момент. Затем их опять словно ситом задернуло. Никакого сочувствия в них уже не было.

— Вот так, значит, дед, — заключил он разговор. — Еще раз в область писать, да подтверже.

— Иван Никанорович, — позволил себе заметить Алеша, когда старик закрыл дверь, — я знаю, что вам сегодня некогда было этим делом заняться, но вы мне поручили бы...

— Ты думаешь, я оттого старику отказал, что возиться с ним не хотел? — ответил начальник. — Нет, не такой уж я бегемот. Тут другая заковырка имеется. У старика документ, что он в сапожной артели работал, а в собесе есть сведения, что сапожничал он на дому, что артель липой была. Потому собес с ним и тянет.

— Но должен же кто-то в конце концов разобраться?

— Должен, — немножко смутился Иван Никанорович. — Но зачем это тебе брать на себя? Чтобы государственными деньгами разбрасываться? Или прослать бюрократом, который отказал старому человеку в деньгах, когда они ему по закону положены? Нет уж, пусть собес с рук не спихивает...

И добавил:

— Никогда не позволяй никаким учреждениям прятаться за прокурорскую спину.

Свое уклонение от действий Иван Никанорович объяснял недопустимостью чужого бездействия...

В кабинете прокурора часто разыгрывались печально-веселые сценки.

Пришла к нему с просьбой заступиться за нее Александра Васильевна Плотникова, бухгалтер завода. Придравшись к тому, что она запоздала с отчетом, директор предложил ей подать заявление об уходе с работы «по нездоровью». На самом деле он собирался устроить на ее место свояченицу.

Плотниковой было под сорок, а то и побольше, излагала она свою историю нервно, теребила платочек, все время доставала из сумочки характеристики и всевозможные справки.

Прокурор снял телефонную трубку.

— Товарищ Скворцов? Здравствуйте. Это Свешников говорит. Что же вы людей незаконно увольняете, а? Вот тут у меня сидит сейчас ваша бухгалтерша...

В ответ послышалась громкая, быстро полившаяся и заранее, очевидно, подготовленная, горячая речь.

— Гм... Вот оно что... Ну, видите, это, вообще говоря, не причина,— стал отвечать уже менее уверенно Иван Никанорович.— Закон такие поводы для увольнения не предусматривает. М-да... Ну ладно, я сейчас разберусь.

— Что он наговорил? — затревожилась женщина.

— Да он, видите, ссылается вот... Скажите, пожалуйста, а как с анкеткой у вас? С родственниками у вас все в порядке?

— Какая низость! — от души вырвалось у посетительницы.— Вот к чему он прибегнул! У меня действительно есть за границей дядя, брат матери, которого я никогда не видала. В первую мировую войну его послали во Францию в составе экспедиционного корпуса. Не знаю, как и почему, он остался там. Пока была жива моя мать, он изредка с ней переписывался, но вот уже двадцать лет как я даже не знаю, жив ли он. Может быть, мне и не следовало в анкете указывать... Эта анкета была известна директору и пять лет назад, когда я поступала. О моем дяде он ни разу не вспомнил, пока не приехала из Челябинска оставленная мужем свояченица...

— Да, дядя, конечно, тут сбоку припеку,— раздумывая, сказал прокурор.— Вы сами, поди, давно уже тетя... Ну ладно.— убедил он себя и снова взял трубку.— Товарищ Скворцов? Это я опять, Свешников. Надо будет товарища Плотникову оставить на месте. В трудовом кодексе насчет дядей указания нет. Мы с вами не можем закон нарушать. Предлагаю вам не трогать ее... Что?.. Да, конечно, официально.

— Большое вам спасибо! — прочувственно сказала бухгалтерша.

— Ну чего там благодарить! — отвечал прокурор.— Меня уже мать поблагодарила — на свет родила. Идите, голубушка, работайте и не беспокойтесь!

Через час женщина возвратилась назад. Директор не допускал ее к работе без официальной бумаги от прокурора.

— Я сейчас напишу вам,— сказал находившийся тут же Алеша.

Но Иван Никанорович, быстро и свирепо взглянув на помощника, стала возмущаться:

— Бумажку ему? О чем же бумажку? Канцелярию хочет разводить, бюрократ? Ну, я же задам ему!

И начал сердиться в телефонную трубку.

— Будьте совершенно уверены, — сказал он на прощание женщине, — не посмеет больше крутить! Ну, а в случае чего, так вас суд восстановит в два счета. И тогда за вынужденный прогул директор из собственного кармана заплатит. Так ему и скажите.

А когда женщина ушла, накинулся на Алексея:

— Зачем это направо-налево бумажки писать! Одно дело — по телефону сказать, а другое — документ оставлять. Надо, брат, думать, а не высказывать. Кто его знает, для чего ему бумажка нужна!

— Да совсем она ему не нужна. Он просто вымещает теперь на женщине злость за то, что у него сорвалось со свояченицей. Бумажка для него новый дядя.

— Ну конечно... А все-таки след оставлять ни к чему. Может, это и новый дядя, а может, и старый когда-нибудь выплывет... Где можно обойтись языком, там за перо не берись.

Со временем Алеша увидел, что Иван Никанорович бывает не только уклончивым, но и способным говорить прямую неправду. Правдивости не хватало ему даже в повседневном быту. Был случай, когда ему позвонил лично областной прокурор, спросив, почему не высланы какие-то сведения. «Сегодня отправили!» — не постеснялся солгать при помощнике райпрокурор и сейчас же захоптал: «Алексей! Люда! Отставить все прочее, быстренько разыскать материал, в два счета составить, и чтобы с завтрашней почтой ушло!» Приходил инструктор райкома, интересовался, что читает районный актив. Иван Никанорович перечислил ему несколько книг, названия которых мелькали в газетах. На деле же он почитывал лишь рассказы из дореволюционной «Нивы», затрепанные комплекты которой как-то нашел на чердаке... В районе было мало фруктовых садов, да и те вырубались. Круглов просил прокурора выяснить, почему это делается. Иван Никанорович вызвал к себе нескольких женщин, и они объяснили, что деревья приносят им только убыток — плодоносят раз в несколько лет, а налог с них надо платить ежегодно. «Правы бабы, — говорил потом Иван Никанорович, — платить надо с яблок, а не с корней». Но когда ему пришлось потом публично говорить об уничтожении фруктовых деревьев, то он обвинил в этом... газету, не ведущую разъяснительной работы о значении садов в Зауралье... Одни взгляды у Ивана Никаноровича были для себя, другие — для выступлений.

Эта двойственность прокурора сказывалась на каждом шагу. Отнюдь не склонный к интеллектуальному творчеству, он называл, однако, отписками ясные и короткие ответы Алеши на за-

просы областного начальства. «Они на двух страницах писали, а ты в двух строках отлягнулся,— недовольно говорил он помощнику,— можно бы поуважительнее». Приветливый в домашних условиях, он сразу хмурился и настораживался, как только приступал к рассмотрению почты. Смысл каждой бумажки доходил до него буквально мгновенно, но читал он все-таки медленно, словно в ней содержалось что-то еще между строк.

И доброта Ивана Никаноровича оказывалась малопоследовательной. Обнаружилось, что один работник уголовного розыска при допросах пускает в ход кулаки. «Его надо сейчас же отстранить»,— потребовал Алексей от начальника. «А ты знаешь, что у него трое ребят мал мала меньше,— возразил Иван Никанорович,— куда он с ними тогда?» Этим трех ребят прокурор пожалел, а о людях, которых бьют, не подумал... Однажды начальник потащил Алексея к себе на квартиру смотреть живого сома. «Поди, не видал никогда?» Алеша и впрямь не видал. Сом плескался в цинковом стиральном корыте, большой, беспокойный. «Я купила его третьего дня на обед,— пожаловалась Алеше хозяйка,— а Иван Никанорович не дает жарить. Кормит его, каждый день воду меняет. Ну что ты с ним сделаешь!» Иван Никанорович с любопытством смотрел на сома и оправдывался: «Пускай поживет. Чего его губить раньше времени! Когда издохнет, тогда и зажаришь». В этом ребячьем поведении Ивана Никаноровича было что-то хорошее, и Алешу тронула в таком пожилом человеке живая непосредственность мальчишеских лет. Но на другой день Иван Никанорович передал Алеше целую пачку непрочитанных жалоб, пролежавших у него больше месяца. Алеша ума не мог приложить, как это человек даже не поинтересовался, о чем ему пишут, не подумал, что его, может быть, кто-нибудь о спасении молит, неотложной помощи ждет... Выходило, что доброта его только поверхностная, а в глубине души он совсем не был таким уж отзывчивым, как это казалось Алеше в первые месяц-два их знакомства.

Все больше открывался в начальнике и его грубоватый цинизм. Цинизм этот проявлялся простодушно, даже как-то наивно.

Просматривая составленный Алешей месячный план, Иван Никанорович поучал молодого помощника:

— Зачем это в колхозы столько раз выезжать? Ни к чему это вовсе, по району болтаться! Надо сказать председателям, чтобы привозили сюда протоколы правлений. Все равно ведь ездят в Сердейск по делам и без дела. Ничего им не стоит захватить протоколы и забежать к тебе на часок. Ты тут и проверишь. Можем еще первое место по количеству проверок занять. Не хуже, чем по жалобам, выйдет. Людмила! — крикнул он секретарше.— Обзвони мне сегодня всех председателей!

А начальника районной милиции прокурор наставлял:

— Ты чего это зарегистрировал столько заявлений о кражах? С ума ты сошел! Регистрировать надо только те заявле-

ния, по которым ты уже взял воров под замок. А если ты никого не поймал, так нечего это дело записывать. Снижаешь своей ненужной статистикой процент раскрываемости преступлений в районе. Подводишь и себя и меня... И не от всех надо принимать заявления. Если, скажем, у бабы козу увели, так нечего об этом и разговор заводить. Ее давно уж изжарили, а мы за ней будем гоняться... Как же можем мы выполнять указание о раскрытии всех преступлений, если сами будем их счет увеличивать?! Надо, брат, с головой подходить...

Прокуратуре предстояло дать заключение по одному спорному делу. Алексей несколько раз порывался составить его, но Иван Никанорович не велел торопиться. Пришло уже много напоминаний, а прокуратура молчала.

— Иван Никанорович,— обратился к нему Алексей,— ведь мы же с вами не такие дураки, чтобы не могли сказать свое мнение.

— Нет, давай будем дураками,— ответил Иван Никанорович.— Быть до времени дураком — это и значит быть умным.

Много накапливалось изо дня в день таких фактов, и они заставляли Алешу остывать к Ивану Никаноровичу. Хотя и спас его начальник от увольнения, хоть и чувствовал к нему Алеша привязанность, но это не могло возратить уважения. Оно, наоборот, только падало... А вскоре произошли и новые стычки.

Первая вышла из-за истории с Лобовым.

— Вот видишь,— сказал Алеше начальник, когда их обоих позвали в райком,— я тебе всегда говорил, чтобы ты с этим чертом поменьше водился, что с ним не оберешься хлопот. А ты не слушался, дружбу завел. Вот и влип с ним теперь...

История была действительно глупой.

Еще в апреле, когда Лобов с Алешей ездили перед севом в колхозы, их застал в одной деревеньке егорьев день. Все жители, даже подростки, оказались пьяны. Было ясно, что кто-то здесь варил самогон, но в доказательство того, что он не варился, на столе в каждом доме красовалась пустая бутылка с государственной этикетной наклейкой.

Лобов полетел на конюшню. Там все лошади стояли без дела, а конюхов не могли доискаться.

«Чего ты, председатель, колготишься? — оправдывался заплетающимся языком бригадир.— Что же я сделать могу, коли народ загулял, заегорил? Не погоню же лошадей без ездовых! А насчет сева не беспокойся. До сева еще отъегорятся. В лучшем виде посею. Семечко к семечку!»

Лобов тогда же просил Алексея привлечь ездовых к ответственности. Алексей этого, конечно, не сделал.

Вскоре подоспел и летний николин день, который в одной из деревень был приходским. Половина полей здесь оставалась еще незасеянной, а трактористы сидели без дела, дожидаясь подвозчиков семян и воды.

На этот раз Лобов категорически потребовал от Алексея решительных мер. Он узнал, что двое ездовых «в лежку лежали», один повез в город редиску, а трое запрягли лошадей, насажали на телеги девчонок и закатились с песнями неизвестно куда.

Алексей по-прежнему твердо объяснял председателю, что судить колхозников за прогулы нельзя и он, прокурор, не нарушит закона.

— Что же это за бессильный закон у тебя! — возмущался Лобов его возражениями. — Сев растянули на две недели, а у тебя нет закона! Да ведь лошади больше стоят, чем работают! Их берут на базар, на гулянки. А престольные вообще для нас полный зарез. Такие религиозные лошади стали, что хоть в святые записывай их. Безобразия, преступление делается, а у тебя нет закона! Да ведь сами лошади над нами смеются!

Алеша объяснял, что не за всякий ущерб можно карать в уголовном порядке.

— Ну, взыщи хоть деньги с прогульщиков, хоть рублем их ударь! — продолжал уговаривать Лобов.

Алеша задумался. В этой идее была своя правда. С простоями действительно не хотелось мириться. Алеша поделился новой мыслью с начальником.

— Я не позволяю и не запрещаю, — ответил Иван Никанорович. — Напиши в областную. Если область одобрит — пожалуйста, взыскивай. А то еще намудришь со своим торопыгой.

Ответ пришел осторожный, обставленный десятью оговорками, но в целом разумный. Начальство писало, что денежными взысканиями нельзя подменять работу по укреплению трудовой дисциплины, но в отдельных случаях они допустимы. При этом нужно точно подсчитывать размеры ущерба и взыскивать через суд лишь с наиболее злостных прогульщиков.

Лобов выхватил из этого указания лишь ту его часть, которая допускала взыскания.

— Размеры ущерба?! — вскричал он обрадованно. — Ну, за этим дело не станет!

В колхозах нужных сведений не было, и их предстояло составить. Но если расходы на содержание лошади можно было сравнительно легко подсчитать по затрате кормов, то очень трудно было исчислить в деньгах ее выработку. Взыскивать же предстояло не стоимость истраченного впустую овса, а понесенные колхозом из-за простоя убытки. Как было их исчислять?! Суточная задержка в доставке на поле семян приносила многотысячный и непоправимый ущерб, а от простоя лошади на возке соломы убыток выражался в копейках. Подсчет мог быть только очень условным и для всех колхозников различным. Лобов засадил за него всех экономистов и счетных работников. Они копались в справочниках, спорили между собой несколько суток, и наконец подсчет с грехом пополам был готов. Стоимость коне-

дня определена была для разных колхозов от пятнадцати до ста рублей.

Лобов при Алексее позвонил одному председателю:

— Архипов? Это Лобов говорит. Здорово, дружище! Как жизнь?.. Слушай, мы дадим тебе справку, во сколько обходится в вашем колхозе дневной простой лошади. Сейчас же посади своего счетовода — пусть составит список прогульщиков, из-за которых простояли и лошади. Выберите потом пяток самых злых и взыщите с них по суду. Ну конечно, обсудите, как полагается. Понял?.. Нет? Ну, чего ж ты, голова, не понимаешь? Если, допустим, коне-день у тебя стоит сорок рублей, а Иванов на лошади два дня не работал, так надо с него взыскать восемьдесят. Кто пять дней прогулял, с того двести. Понятно теперь? Ну, значит, порядок. Но только ты не задерживай, поворачивайся в этом деле — раз-два! Чем скорей провернешь, тем меньше у тебя будет прогулов... Ну, бывай, друг, здоров!

Помощник прокурора сказал председателю, что надо бы объяснить это все на собраниях. Лобов ответил, что созывать собрания о прогульщиках — «больно жирно для них», что можно обойтись и без этого. Помощник прокурора подумал, что, может быть, Лобов и прав, и не настоял на своем...

После ухода Алеши Лобов велел инструктору райисполкома быстренько сообщить счетоводам колхозов данные о коне-дне и объяснить им, что надо делать.

Инструктор оказался еще скупее на слова, чем председатель.

— Это «Двадцать лет Октября»? Говорят из райисполкома по поручению товарища Лобова. Запишите цифру стоимости коне-дня в вашем колхозе. Двадцать три рубля двадцать девять копеек. Составьте список виновных и взыскивайте через суд по такому тарифу.

Инструктор дозвонился лишь к пяти счетоводам. Обзванивать семнадцать остальных он перепоручил секретарше. Она делала это деловито и быстро.

— Это «Коммунар»? Товарищ Лобов велел вам сказать, чтобы за простой лошади в вашем колхозе брать по двадцать рублей семнадцать копеек...

Через несколько дней равным утром к Анне Сергеевне пришла ее знакомая, колхозница из села Вороненки. Она распрягла во дворе лошадь, на которой привезла полную телегу картофеля.

— Это вас колхоз послал на базар? — спросил Алексей.

— Нет, я свою привезла. Скоро новая поспеет, так надо успеть эту продать, а то потом на старую и смотреть никто не захочет.

Алеша удивился, что в такую горячую пору ей дали лошадь.

— А теперь у нас разрешение вышло, — объяснила она. — Тариф называется. Бери кому надо, только плати потом. Семнадцать рублей, говорят, будут брать.

Алексей, недозавтракав, бросился в прокуратуру и, волнуясь, потребовал у телефонистки немедленно соединить его с конторой колхоза.

— Нам звонили от товарища Лобова, — услышал он в объяснение. — Виновные? Какие виновные?.. Алло! Алло! Какие виновные? — кричал счетовод, в свою очередь взволнованный звонком прокурора. — Что?.. По суду? Зачем, товарищ прокурор, писанина, когда можно по договоренности с каждым!.. Что?.. Алло! Алло! Мы, говорю, можем без суда удержать... Что? Не понимаю вас... Ущерб? Какой ущерб?.. Нет, у нас такого не будет. Если сказано — за деньги, мы без денег не будем давать... Что?.. Не слышно, товарищ прокурор, ничего не слышать...

Совсем растревоженный этим бестолковым разговором, подтвердившим, что произошла какая-то большая ошибка, Алексей хотел бежать к Лобову, но тут позвонил Иванов. Судья тоже приходил на работу задолго до начала занятий, так как бессоница гнала его из постели чуть свет.

— Алексей Николаевич, вы знаете, что сегодня необычайный базар? — спросил он тоже обеспокоенно. — Сейчас еще нет семи, а уже возов двадцать. Колхозники говорят, что в правлениях получен закон, разрешающий за деньги брать лошадей. Я успел услышать, что закон называется «такса». Вы понимаете, чей это закон?

В тот же день в районный центр поспешили и председатели, у которых срывалась прополка.

Вот тогда-то прокурора и вызвали в райком вместе с помощником. Когда они пришли, у секретаря было уже много народу и разговор шел возбужденный и шумный.

— Неверно! Неправда! — уверенно доказывал Лобов, вовсе и не пытаясь оправдываться. — Все обстоит наоборот! Эта мера оказала чудесное действие! Я звонил председателю Добрытинского колхоза Пушнову, и он мне сказал, что у них вчера на престол ни один человек не гулял. А в прошлом году в этот праздник трое суток пила вся деревня...

Лобов возмущался, что из-за нескольких глухих счетоводов и сплетниц, распространивших дурацкие слухи, поднялась такая шумиха.

По дороге в райком Иван Никанорович ругал Алексея и клял Лобова за кутерьму, которой предстояло, видать, разгореться. А теперь прокурор был смущен его наступательным тоном. Прокурор был сбит с толку и спокойствием секретаря. Тот молча слушал председателей, Лобова, членов бюро и не подавал голоса. Все волновались, кипели, а он не волновался и не кипел. Это мешало Ивану Никаноровичу определить свою позицию.

История могла выйти за пределы района, разрастись до большого скандала, и тогда прокурору не поздоровилось бы. Как любил говорить Иван Никанорович, у прокурора могут выдернуть перья и могут ему вставить перо. Но история могла и ничем не

окончиться, остаться однодневкой, пустышкой. Было очень гадательно, какой примет она оборот. Но в одном случае встал бы вопрос, почему прокурор прозевал и замял это дело, а в другом — почему он раздул его... И когда Иван Никанорович почувствовал, что люди уже наговорились и ждут теперь его слова, он вдруг схватился за сердце. Впрочем, возможно, что от необходимости высказаться у него и вправду начались в этот момент спазмы сосудов. Он становился то красен, то бледен, прерывисто, тяжело дышал. Первым заметил это Алеша, потом секретарь. Вызвав шофера, он велел отвезти прокурора домой и доставить к нему врача из больницы. Круглов сам помог прокурору дойти до «Победы», усадил его, а возвратившись, сказал:

— Мы, товарищи, уж больно бушует. Так раскричались сегодня, будто произошла катастрофа в районе. Если так вести себя станем, то и правда с каждым может быть катастрофа... Надо как-то поумнее, потише...

И секретарь наконец взял слово.

— Насчет взысканий,— сказал он,— Лобов, по-моему, прав был. Конечно, взыскания не главная мера, главное — это поднять трудодень. Где заработок хороший, там не прогуливают. Но при прогулах мы не поднимем и заработки, и поэтому взыскивать нужно. Но проделал-то ты это, Лобов, хуже не выдумаешь. Вместо того чтобы народу сказать, ты сказал счетоводам. Привык ты о людях решать без людей. Да еще не хватило терпения переспросить счетоводов, поняли ли... А колхозники, конечно, с головой рассудили: раз за лошадь деньги берут, так можно внести без суда... Ты говоришь, в Добрятине вчера на престол не гуляли? Понятно. Там вы оценили лошадиный день в сто рублей... А в других местах увидели, что взять лошадь на базар есть полный резон... Мы, выходит, не покончили с прогулами, а узаконили их. И когда ты кричишь, что, мол, сплетницы слухи распространили, то это неверно. Ты сам их распространил. И получается, что наибольшие глупости позволительно делать только начальству... А теперь эту глупость надо исправлять сообща. Ты не хотел, чтобы предварительно проводили собрания, а теперь придется их созвать с запозданием. И всем нам разъехаться. Вот.

А Иван Никанорович пятеро суток болел. Утрами он торопил жену на базар, посмотреть, не заполонили ли возы весь Сердейск, а вечерами посылал ее к Алексею узнать, не прослышали ли в областной. И когда он убедился, что базар и почта обычные, то и сердце его тоже пришло в обычное свое состояние, он вышел на работу и даже не прихватил с собой валидола.

— Вы немножко недодумали с Лобовым,— сказал Алеше по поводу «лошадиной истории» Василий Викентьевич.— Ведь есть другие, более верные способы бороться с прогулами. Без суда, без подсчетов... Почему бы не использовать меры, затрагиваю-

щие самолюбие, чувство достоинства. Ведь можно, например, делать прогульщика ответственным за состояние дисциплины в звене. Таких мер в сельских условиях есть по меньшей мере четырнадцать.

Алеша был изумлен.

— Вы что, подсчитали?

— Давно подсчитал,— спокойно ответил судья.— В разное время приходили на ум и отсчитывались.

— Вы поразительный человек! — вырвалось у Алексея.— И много у вас разных проектов?

— Да как вам сказать... Ведь они у меня очень сменчивы. То одна мысль захватывает, то совершенно другая... Сотни их перебивало в мозгах. Чуть ли не каждое десятое дело порождает идею. Именно только идею, потому что потом поглощающую другой...

— Но вы о них писали куда-нибудь?

— Писал, конечно. Даже много писал. Но ничего из этих писаний не получалось. Пошлешь, бывало, в московский журнал, а там покажется слишком необычным, причудливым... Как правило, не печатали и тогда разных тюремных систем. Ведь осуждаются самые разные люди, и исправлять их надо по-разному... Послал в министерство — мне не ответили, и я успокоился... Или с клеветниками... Ведь сколько от них страдает людей! А наказание за клевету — штраф в сто рублей. По существу, она безнаказанна. Я предлагал определять клеветнику то наказание, которому должен бы подвергнуться оклеветанный им человек, если бы впрямь совершил приписываемое ему преступление. Это многих урезонило бы... Но не напечатали, посчитали слишком решительным... А на днях я получил от одной редакции отказ печатать статью, навеянную мне делом портнихи... Она обьехала деревни, сняла с женщин мерки, набрала у них тканей на платья и скрылась с ними. Я разбирал это дело и подумал: а почему не создать разъездные артели, которые проводили бы по месяцу в каждой деревне, чинили здесь обувь, делали сбрую, шили одежду, валяли бы катанки... Ведь в маленьких деревнях нет ни сапожника, ни портного, ни шорника, а тащиться по каждому поводу в районный центр невозможно... И я опять написал...

— И опять для стола? — спросил Алексей.

— Нет, на этот раз для колхозников,— улыбнулся судья.— Правда, только для сердечных пока. Эта мысль Круглову понравилась. Он осуществил ее в наших масштабах. И колхозники и артельщики равно довольны. А мной таких средств немало придумано,— добавил судья.— Я ведь вымышленник, Алексей Николаевич, вымышленник петровских времен. Так назывались тогда люди, предлагавшие новшества. Брожу вот со всякими преобразовательными идеями, планами. Вечно копошится что-то в голове, колобродит... Ну, а другие головы к восприятию моих причуд не настроены. Они делом заняты, а не сердечным затей-

ником... Проектер я, Алексей Николаевич, старый проектер, который не может себя изменить. Мне все кажется, что нужны многообразные опыты, пробы... И кажется, никогда я не поумнею,— закончил Иванов с грустной улыбкой.

Эта печальная улыбка не шла к суровому облику судьи, но она помогла Алексею по-настоящему распознать старика. Вначале судья казался ему только строгим и знающим, потом, при более близком знакомстве, Алеша почувствовал, что он был и мечтателем. А теперь стало ясно, что и суровость и фантазерство — это не главное, а главное в судьбе — ум реформатора, преобразователя, деятеля, ум, который на все откликается, все хочет улучшить. И тем замечательнее, что хотя большинство его начинаний не получало счастливых концов, его реформаторский ум не завял, не сработался, продолжал что-то переделывать, продолжал проектировать, не мог не делать того и другого.

— Вы редкий человек! — снова и убежденно повторил Алексей.

— Ну уж и редкий,— смутился судья.— Чепуха, Алексей Николаевич. Я просто считаю, что не существует неустраняемых бед. Ни от чего не отчаиваюсь... Рассматриваю дело, спрашиваю себя, что его вызвало, и задумываюсь, как эту причину убрать... Приходят на ум разные сменные средства, приемы... Да, да, только сменные... И пожалуйста, не перехваливайте... Скорее ругать меня надо... Я ведь многое не довожу до конца... Слишком разбрасываюсь... А думать — это не заслуга, а долг мой. Да, да, именно долг. Партийный я, если хотите, еще стариковский. Ведь социализм утверждается духом предания и духом искания. А кому же искать и критиковать, как не тем, в ком живо предание! Ведь нельзя отдать критику людям, которым не нравятся у нас никакое устройство и никакой человек. Людям, которые всегда другого мнения,— все равно какого, но лишь бы другого. Значит, это именно мой собственный долг. И хватит обо мне... Возвратимся лучше к вашей «лошадиной истории».

— Она вышла очень нескладной,— пожалел Алексей.

— Но ничего страшного не случилось, Алексей Николаевич. Нет поводов для разговоров, переживаний, волнений. Посмотрели, как не следует законодательствовать. Полезный опыт. Сугубо полезный. Убедились, что о законах надо советоваться с теми, для кого они издаются. А на самый опыт райисполком, по-моему, право имел. Мы привыкли к тому, чтобы на все была грамота, и, встречаясь с явлениями, на которых грамоты нет, спрашиваем себя, вправе ли эти явления быть. А они вправе быть, вправе!

Совершенно другой вывод сделал из «лошадиной истории» Иван Никанорович. Он захотел использовать ее для того, чтобы приструнить и приручить Алексея.

— Ну как же я могу после этого на тебя полагаться? — начал он разговор.— Как я могу быть спокойным, если ты спосо-

бен так начудесить! Какой же ты после этого есть прокурор, если позволил этому шалопуту весь район всполошить? Какая же в тебе большевистская стойкость, если даешь себя задурить? Ну что я должен теперь об этом сказать?! Ты-то сам понимаешь, чего вы с твоим дружкой набалбесничали? Понимаешь, что мы с тобой на волосочке висели? И это, брат, уже не пьяночка была бы, не какая-то там вечериночка, не случай дворовых масштабов, а скандал на весь Советский Союз! В «Крокодиле» разрисовали бы, в «Правде» нас растрясали бы — вот, мол, какие в Сердейске законодатели есть. Здравствует, мол, там прокурор Иван Никанорович Свешников, а в голове у него что-то не здравствует... И куда бы я тогда эту голову свою приклонил? Может быть, к тебе, богачу, пошел бы на иждивение?!

Алеша молчал. Он действительно был виноват. Не всецело, но все-таки...

И тогда Иван Никанорович сменил упрекающий тон на решительный:

— Ну, вот что, Алексей! Если это тебе не будет уроком, тогда я не знаю... Ты уже не маленький. Работашь без малого год. И вот я предупреждаю тебя: довольно блажить! Мы сюда для работы посажены, а не лошадьми заниматься. Хватит мне этих придумок... С нынешнего дня чтобы никакого больше своеволия не было. И будем знать дисциплину. Не перечить мне, не гнуть к своему! Ни мне, ни себе мозги больше не баламутить... Ну и все... Работать иди...

Алексей впервые выходил от начальника с острым чувством неприязни к нему.

В ДАЛЬНЕМ СЕЛЕ

Следующее столкновение вызвано было делом секретаря сельсовета.

Возбудил это дело Алеша.

К нему пришел на прием колхозник из села Суходеевки. Он жаловался на секретаря сельсовета, отказавшего его дочери в выдаче справки, без которой она не могла ехать учиться.

— Требуется пол-литра, — рассказывал жалобщик. — Без вина или денег к нему не подступишься. А дашь — какую хочешь справку напишет. Таких документов навывадал, что и сам, верно, не помнит.

Алеша решил сейчас же выехать в сельсовет для проверки.

— Вот еще! — не согласился Иван Никанорович. — Двое пьянчужек не сторговались, а ты из-за этого побросашь дела! Милиционеру суходеевскому поручить — и он разберется. Нечего ездить!

После «лошадиной истории» Алеша старался держаться с

Иваном Никаноровичем более сухо. Он не был обидчивым или слишком чувствительным, но требование наперед отказаться от всяких возражений начальнику сильно задело его. Алексей не был способен на такие зароки. Их исключал не только весь тон давно сложившихся между ними простых отношений, но и самый характер работы, требовавший постоянно друг с другом советоваться. Начальник тоже, конечно, никак не рассчитывал, что его слова будут восприняты Алешей буквально, он хотел только поставить парня на место. Иван Никанорович думал обезопасить себя от сомнительных новшеств, но вовсе не стремился к слепому послушанию молодого помощника, самостоятельно занимавшегося множеством дел и избавлявшего его от хлопот... Простодушный и непоследовательный, Иван Никанорович не выдержал даже и нескольких дней роли строгого, волевого начальника, стал называть Алексея Алешенькой, делать вид, будто ничего между ними и не было. А помощник в свою очередь делал вид, будто не замечает этих усилий начальника, разговаривал с ним подчеркнуто деловито и коротко, спрашивал распоряжений по делам, которыми распорядился до сих пор сам, — в общем, закусил удила. Это тяготило и злило начальника, не ожидавшего, что в парне есть столько норова. И теперь Иван Никанорович был внутренне рад, когда Алеша тоже не выдержал роли и, изменив свое поведение, стал возражать, доказывать, что ехать в Суходеевку нужно.

— Это дело политическое, — сдержанно упорствовал он.

Для возобновления хороших отношений с Алешей Иван Никанорович готов был уступить, но он не хотел оставаться без помощника несколько дней. Суходеевка была самым дальним сельсоветом района, и добираться до нее было не просто. Поэтому Иван Никанорович рассердился на Алексея, просьба которого не позволяла закончить разговор добрым согласием.

— Что значит политическое? — буркнул он, засопев. — А тут, в папках, — хлопнул он по стопке бумаг, — любовные, что ли, останутся? Их, по-твоему, не надо смотреть? Или я один здесь должен крутиться? Он, видите, умчится за шестьдесят километров заниматься высокой политикой, выяснять, кто с кем чего пропил, а я тут отдувайся!

— Я возвращусь через день или два и сразу вас разгрузу, — заверил Алеша. — Оставьте до меня все менее срочное.

Иван Никанорович уткнул нос в бумаги и долго не отвечал. Алеша продолжал стоять у стола.

— Езжай! — буркнул тогда начальник, не выдержав, и резко добавил: — В среду утром быть здесь.

Преступления, обнаруженные Алексеем в дальнем селе, взволновали его.

Сельсовет тут оказался приказом давних времен. Самые законные справки выдавались здесь только за мзду, а всех незаконных и дознаться нельзя было. В Суходеевке жил неплатель-

щик алиментов, давший секретарю сельсовета сотню рублей за то, чтобы его не тревожили. На запросы об этом человеке сельсовет отвечал, что он выбыл. С ложной справкой уехал из села и потонул в просторах России трижды находившийся под судом человек. Многоженец получил от секретаря сельсовета свидетельство, что он «в зарегистрированном браке не состоит». Помощник прокурора составил протоколы опроса и взял секретаря сельсовета под стражу.

Алеша добирался домой на попутных, возвратился уже поздней ночью. Но возбуждение его было так велико, что он и не думал о сне. Не откладывая, Алеша принялся разбираться в привезенных бумагах. Людей, дававших взятки за законные справки, он решил не привлекать к уголовной ответственности, а других взяточдателей отдать под суд вместе с секретарем сельсовета. Уже совсем рассвело, когда Алексей подготовил на подпись начальнику несколько важных бумаг. Но Иван Никанорович, раздосадованный его трехдневным отсутствием, встретил помощника молчаливо и хмуро. Он демонстративно, даже не посмотрев, сунул поданные Алешей бумаги под пачку других, а когда Алексей стал просить сейчас же их посмотреть, рассердился:

— Мне по твоей милости и без того есть что смотреть. Гляди, сколько всего накопилось! Ты вот лучше, чем указывать мне, бери-ка вот эту бумагу да пиши быстро ответ!

Алеша взглянул на бумагу. Это был циркуляр о борьбе со спекуляцией на толкучках и рынках. В Сердейске толкучки не было. Был только два раза в неделю продуктовый базар.

— Тут весь ответ — одна строчка.

— Ну и напиши эту строчку! Из областной же потребовали! О твоей Суходеевке они там не знают, не по ней о нас будут судить, а вот по тому, как мы отвечаем на ихние строчки.

Алексей пошел тогда к Лобову. Тот рассказом о секретаре сельсовета был разъярен.

— Вот сволочь! Обратил сельсовет в свою лавочку! Дал мерзавцам развезжать по стране! Расстрелять его, понимаешь! А председателя сельсовета на бюро, и сейчас же! Чего смотрел, рыжий черт! Я ему, понимаешь, тысячу раз говорил: «Ты мне не хвастайся ходом дорожных работ, я по дорогам сам езжу и вижу, ты мне рассказывай про то, чем не хвастаешь». Ах он безглазый! Такого гада не разглядеть!

— Секретарь и от дорожных работ освобождал тех, кто ему за это платил, — подстегнул Алеша приятеля.

Лобов стиснул свои крепкие, белые зубы.

— Почему, понимаешь, не позволяет сейчас как в войну? Тогда сволочей перед строем расстреливали... Ну, погоди! — угрожающе обратился он к отсутствующему секретарю сельсовета и резко поднялся. — Идем-ка к Круглову! И надо в Суходеевке пленум сельсовета созвать. Всколыхнуть весь ихний народ.

Что это, понимаешь, за публика, если такое творилось! Одни давали, другие знали, мирились. Болото какое-то, а не сельсовет!

— Погоди,— предупредил Алексей,— я забегу возьму материал. Надо же Круглову все показать.

И он побежал в кабинет прокурора.

— Иван Никанорович, дайте мне, пожалуйста, мои протоколы. На час. Потом я вам их отдам.

— Это зачем? — поднял начальник глаза. — Чего ты запыхался?

— Я к Круглову иду.

— Что? Он вызывает? — забеспокоился Иван Никанорович.

— Не вызывает. Я сам...

— Сам? Ты что, одурел? Или я мертвый? Ты опять за свое? Ишь какую дал себе волю! Раздисциплинировался, будто он надо всем тут хозяин. Это тебе прокуратура, а не комсомол: «Сам!» Совсем ошалел человек...

И недружелюбно добавил:

— Работать иди. Если что надо Круглову сказать, без тебя будет сказано. Я вот посмотрю, что ты привез. Может, и шиша это дело не стоит.

Через полчаса он пришел к Алексею.

— Ну и накрутил ты! Ну и накрутил! Впору — пятьдесят восьмью давай и в трибунал посылай. Гаденыша превратил в целого гада. А он просто пьянчужка да жулик. Невидная тварь и неприметная шваль. Хорош ты! Показательный процесс надумал вести, к Круглову бежать! Да что ж тут показывать, на чем тут учить?! Разве это хищение государственной собственности или, скажем, невыполнение плана продукции? Шантрапа этот секретаришко, мелкий мошенник, а ты проектируешь дело раздуть, людей будоражить. Посылай в суд в нормальном порядке — и все. И незачем привлекать взятокдателей этих... Всех жуликов не переловишь. Не соображаешь того, что нам же пришлось бы и разыскивать их. Только этой колготни еще не хватало!

Вечером Алеша и Лобов сидели в кабинете Круглова.

— Если можно, Василий Михайлович, попросите сейчас сюда Ивана Никаноровича. Я не хочу, чтобы он думал, будто я за спиной...

Увидев у Круглова помощника, прокурор сразу потянул носом воздух. Что это было? Жалоба на него? Предательство человека, которого он как сына пригрел?.. Алеша понял эти мысли начальника, но не поторопился рассеивать их. Не то было важным сейчас, что подумал о нем Иван Никанорович. И Алеша горячо заговорил при начальнике о суходеевском деле.

— Пусть он взяточник мелкий,— убеждал секретаря Алексей,— зато с выданными им подложными справками гуляет сейчас по стране много людей, которые наносят, может быть, вред самый крупный. Один обманывает женщин, второй — государ-

ство, а другие могут быть использованы и внешним врагом. Надо объявить о них розыск, установить, чем они сейчас занимаются...

Алексей доказывал, что зло, причиненное секретарем сельсовета, не может измеряться суммами взяток, что он очернил в глазах населения самый смысл и идею Совета, развлекнул Совет и народ.

Алексей говорил запальчиво, резко, Лобов подхватывал его фразы, одобряя их словами: «Вот! Вот!», Иван Никанорович сидел на диване и шумно дышал, а Круглов, не перебивая Алешу, рассматривал какие-то планы построек и внешне безучастно молчал.

Когда Алеша выдохся и уже стал повторяться, секретарь наконец оторвался от чертежей.

— Да, все это верно, конечно, — сказал он спокойно. — Но что-то в этой истории очень неясно. Давали взятки, почему никто никогда не пошумел, не пожаловался? Ведь он — очень маленькая власть, секретарь этот. Не мог ничем особенным угрожать, запугать. Отчего же это молчали, мирились?.. Что-то вы недоуяснили... Не могли бы вы, товарищ Корнев, еще раз в Суходеевку съездить? Можно бы это? — вопросительно перевел он глаза на райпрокурора, а потом обратил их на Лобова. — И тебе бы надо отправиться. Что-то мы там проглядели. С удоями и заготовками у них хорошо — мы и думали, что все хорошо. А оказывается, дело-то плохо... Ну что ж, — заключил он разговор, — после второй поездки решим. Придется там, видимо, и людьми укреплять. Правильно, что подсказали...

Секретарь сказал это таким тоном, словно подсказали оба — и помощник прокурора, и прокурор. Круглов не хотел, очевидно, дать торжествовать самолюбию молодого помощника над самолюбием пожилого начальника и сделал вид, будто к нему пришли не жалобу разбирать, а держать общий совет. И хотя он придал истории со взяточником еще больше значения, чем Алексей, но уклонился от роли арбитра, говорил не о жалобе, а по существу самого дела. Но районный прокурор не смог не услышать того, что сказано было не словами, а тоном: я, мол, считаю весьма ограниченным свое право учить вас, специалиста по следствиям, превосходящего меня и годами и опытом в этих делах, но вот приходится...

— Да, действительно, — пробормотал райпрокурор, — мы не докопались как следует...

— Иван Никанорович посчитал этого негодяя просто плутом, вот в чем принципиальный наш спор был, — сказал Алексей, чтобы все-таки подчеркнуть наличие спора.

Тогда Круглов вдруг почувствовал, что не надо, может быть, смирять самолюбия. Он внимательно посмотрел на обоих и спросил:

— И такие споры... часто у вас? Расхождения я имею в виду.

— О чем же нам спорить? Первый раз вот,— поспешил заверить Иван Никанорович.

Алеша смолчал.

Протоколы, составленные в первый приезд, оказались только цвечками. Алеша добивался тогда подтверждения факта получения взяток, но не задавался вопросом, каким это образом один человек заставлял десятки других склоняться перед его домогательствами. Теперь это стало известно.

Первым нарекнул на безобразную правду человек, примечательный только своею странной фамилией. Это был некий Федор Иванович Беспопутал. Его самого фамилия мало тревожила, но другим она не давала покоя. Перед войной к нему даже приезжал из Свердловска ученый, расспрашивал о дедах и прадедах, рылся в церковных архивах, все любопытствовал, откуда взялась такая фамилия. Уж очень она его проняла! Говорили, что дедушка Федора Ивановича просил когда-то царя переменить ему эту фамилию, но царь не позволил. «Кабы,— сказал он издевательски,— звался этот человек Беспопутал, тогда бы оно звучало обидно, а раз его бес не попутал, так какого же беса ему еще надо...» Сам же Федор Иванович не захотел принимать никакую другую фамилию. Однажды он так объяснял это Лобову: «Для сына сменял бы. А родились три дочери. Они и без меня посменяли, как замуж пошли. Мне же самому неохота привыкать к непривычному». И разговоров о фамилии он недолюбливал, хотя на другие темы был разговорчив и очень уважал свои мнения. Зная эту слабость его, Лобов сразу потащил Алексея к Федору Ивановичу — своему старому знакомому в этом селе.

— Ну, друг,— сказал он хозяину, хотя тот был вдвое старше,— пришли мы к тебе, понимаешь, по делу большой, государственной важности. Думали-думали, с кем посоветоваться, и решили обратиться к тебе.

Хозяин был удивлен и польщен.

— Дунь! — скомандовал он своей младшей.— Чтобы враз самовар!

— Тебе известно,— начал Лобов, усаживаясь,— что ваш секретарь...

— А что мне известно? — сразу насторожился Федор Иванович.— Больше людей я не знаю. Не известно мне ничего. Слышать я слышал, но чтобы самолично присутствовать, так этого не было.

— Да мы тебя и не тянем в свидетели,— поспешил заверить Лобов хозяина.— Свидетелей теперь у нас полдеревни. Нам, понимаешь, мнение нужно твое. Мы в толк не возьмем: отчего такое твориться могло? Как это люди ему поддавались? Чем он их брал? Вот до чего мы не можем дойти. Тут нужно, чтобы обстоятельный человек свое мнение сказал, головой бы раскинул.

Нам Круглов приказал: «Доищитесь!» А как мы без местного толкового человека доищемся?

Лобову никогда не был свойствен такой льстивый тон. Алеша и не подозревал в своем друге столько лукавства. Но это лукавство действовало, Федор Иванович минутку подумал и нерешительно вымолвил:

— Ну, если вопрос идет насчет мнения...

— Ясно, только о мнении! — подтвердил снова Лобов.

— Ну, тогда я — пожалуйста... Тогда я, к примеру, хоть соседа возьму, Мигунова. С ним случай был... Рассказать?

— Расскажи, расскажи! Чего тянешь-то?

— Мигунов, он грамотный, — похвалил соседа Федор Иванович, — и всегда соблюдает порядок. Все, что городу давать полагается, он не задерживает. А вышла у него неувязка по молоку. Приезжает как-то сюда уполномоченный, идет по домам, заходит к Мигунову, вынимает бумажку с фамилиями и объявляет, что, мол, числится с тебя по прошлому году недоимка в двести пять литров. «Как так, — говорит Мигунов, — когда я все выполнил?» Уполномоченный, понятно, просит квитанцию. А квитанцию Мигунов сдал Федосееву. Бежит он до него, а тот отвечает, что некогда ему этим заниматься. Мигунов, конечно, просит и требует. Федосеев начинает рыться в столах и ничего не находит. «Да ты, говорит, никакую квитанцию, наверное, и не сдал». Ну, конечно, заспорили. Спорят, спорят, а потом Федосеев и говорит: «Шут ее знает, может, и есть где эта квитанция, но только найти ее — это надо архив поднимать, целую ночь провозиться. А мне ведь за ночную работу не платят...» Что ж было Мигунову тут делать? Не дашь — Федосеев не отдаст квитанцию, обойдется дороже...

— Почему же ваш Мигунов к самому уполномоченному сейчас же не побежал, не рассказал ему это?! — воскликнул Алеша.

— Да... Вот, значит, и надо гадать, отчего это Мигунов не побежал, — ответил, словно прикидывая, Федор Иванович. — Какая такая тут вялаясь причина?

Не могло быть сомнения, что эта причина рассказчику точно известна, но он не решался назвать ее. Он счел за лучшее подвести к ней гостей самим ходом беседы: дескать, к разгадке доведут размышления.

— Мигунов, — объяснил он, — парень бывалый. На пятнадцать годов моложе меня. С фронта орден Славы привез. В колхозе он бригадир. Отчего же такой человек не пошел жаловаться на Федосеева уполкомзагу?

— Вот! Давай свое мнение! — потребовал Лобов.

— Надо полагать, — не прямо ответил Федор Иванович, — что он, значит, помощи от уполномоченного не ожидал...

Наступило молчание. Хозяин ждал, чтобы гости подсобили ему каким-нибудь словом, но те не откликнулись, заставляя его продолжать.

— Теперь опять же надо найти: почему Мигунов на районного человека не положился? — вынужден был кончить свое разъяснение Федор Иванович. — Решил, стало быть, что тот Федосееву ближе... Вот и вам сказ...

Алеша и Лобов буквально вонзились глазами в хозяина. Но тот оборвал себя.

— Выговаривайся! — закричал ему Лобов.

— Да что ж выговариваться? — заюлил Федор Иванович. — Ты меня насчет мнения спрашивал, а выговариваться я ничего и не знаю... Дунь! — крикнул он дочери. — Где ж самовар?

Но гости уже поднялись. Оба взволнованные, они тут же, невзирая на позднее время, пошли к Мигунову.

Этот человек оказался действительно настолько сверхграмотным, что соглашался давать показания только лично Круглову или областному начальству.

— Вам ничего не скажу, — заявил он сначала.

Поддействовало на него только демонстративное презрение Лобова.

— Эх, ты! — бросил тот. — Трус! Паразит! За что тебе «Славу»-то дали?

— Там против меня немец стоял, — ответил хозяин, — а здесь... здесь не знаю, кто прячется...

— Гад прячется! — закричал Лобов, рассвирепев. — Фашистов не боялся, а перед сволочами дрожишь?! Какая же тебе цена после этого!

— Да кто эти гады? — спросил Мигунов, побледнев. — Кого же мне называть, когда мне называют такое...

— Кто они? — заорал, потеряв терпение, Лобов. — Мы от тебя хотим это знать! Это ты нам о них должен сказать!

И тогда Мигунов, став вдруг белым как снег, ответил Лобову членораздельно, в упор:

— Первого тебя называют...

Это было как выстрел. Нет, от выстрела Лобов, пожалуй, не впал бы в такое оцепенение.

— Ты... ты очумел? — пробормотал он, почувствовав, что у него остановилось дыхание.

А Мигунов, напряженно изучая впечатление, которое он произвел, тихо заговорил:

— Ты сказал мне — фашисты. Они были в одной траншее, я был в другой. Двести метров... Не ошибешься... А тут... Поди разберись... Федосеев говорил, что делится с уполномоченным... К тебе было идти? Так он показал однажды в сельсовете бумагу. При всех... О Бегуновой из Нижней Палихи. Ты освободил ее от поставок. Сказал, что она заплатила тебе триста рублей...

— Боже мой! — воскликнул Алеша. — Да ведь Бегунова обращалась ко мне! Ей семьдесят лет, внук в армии, ее обложили ошибочно. Это я направил ее в исполком! Я, я писал ей бумагу!

— А он говорил — триста рублей... Вот я и не знал после этого, к кому же идти... К Круглову хотел, потом усомнился: а вдруг я на тебя клевету возведу?.. И решил: ни к кому не ходить, не думать про это...

Когда Лобов и Алексей уходили от Мигунова, тот провожал их совсем иначе, чем встретил. Человек освободился наконец от тяжелых сомнений.

— Засвидетельствую,— пообещал он даже как-то торжественно.— Подпишу. Скажу на суде. А ты... ты меня, председатель, прости. Хорошо, что пришли вы. Камень сняли с души. А то ведь не знал, кому верить.

Он посоветовал им обязательно поговорить еще с Полняковым. Тому Федосеев что-то рассказывал о начальнике райдоротдела. Этого начальника Алексей знал хорошо. Энтузиаст дорожного дела, он вечно бился за лишний рубль для прокладки гудрона, за лишний километр в плане работ. В квартире у него висели на стенах альбомные образцы и рисунки дорог, а книжный шкаф заполнен был монографиями о разного вида покрытиях. Его увлечение, длившееся, впрочем, многие годы, было так велико, что он позволял себе даже доказывать, будто Ленин, говоря о социалистическом строе, просто забыл приплюсовать к электрификации еще и дороги. Если Горюнов обнаруживал где-нибудь не только ухаб, но даже пробойну, он сейчас же поднимал тревогу в ближайшем селе и не успокаивался, пока при нем не производилась починка.

А Федосеев намекал, будто этот человек освобождает от дорожных работ за подарки...

Полняков рассказал:

— Я должен был отработать шесть дней, как полагается. Ну, думаю, ладно, для себя ведь дороги, нам же ездить по ним. Но очередь моя еще не дошла. А главное дело — свадьба у нас в доме была, сестра записалась. Я и говорю секретарю: «Отодвинь меня на неделю». А он отвечает, что список дан на всю левую сторону улицы и изъятий не может быть. «Начальник говорил, сам проверять будет, какие колхозники вышли и какие не вышли. А свадьбой я ему не могу мотивировать. Если мотивировать, то надо иначе... И председатель колхоза тоже тебе не поможет. Принеси, сказал, сто рублей, мы и уломаем начальника...» Ну я и принес,— простодушно признал Полняков.

Сам он начальника доротдела никогда в глаза не видал, ряд тоже получал не от него, а в колхозе.

— И вы поверили Федосееву? — спросил Алексей.

— Сначала не поверил, думал, для себя он берет. А потом, когда я деньги принес, он и сказал мне: «Думаешь, я много из твоих ста рублей получу? Хорошо, если мне две десятки останутся». Ну, тут я уж и не знал, кто из них сколько берет, врет Федосеев или не врет.

Районная газета «Сердейский колхозник» назвала дело секретаря сельсовета «гниюником». Но Иван Никанорович до последней минуты не хотел понимать, что этот гниюник был злокачественным.

— Вот жук! — вырвалось у него после прочтения новых материалов Алеши. — Брал под других! Пробы некуда ставить. Надо его и за взятки, и за злоупотребление властью судить.

Алеша сначала ничего не ответил. Впервые за многие годы он чувствовал себя заболевшим. Изба, где производились допросы, была сильно натоплена, и он потом по целому часу купался.

— И председателя — за халатность, — добавил Иван Никанорович.

— Мне кажется, тут не то, — устало возразил Алексей. — Дело не во взятках, по-моему. Каким бы алкоголиком ни был человек, он не станет помогать скрывать мерзавцам, если сам не сочувствует им. Не станет все наши учреждения и лучших работников с грязью мешать. Это можно делать только сознательно... Чтобы люди не верили нам.

— Ты думаешь? — испугался Иван Никанорович.

— Думаю, — подтвердил Алексей. — Что-то в этом человеке чужое.

Его догадка подтвердилась быстрее, чем он сам ожидал. Вскоре стало известно, что секретарь сельсовета судился в тридцать первом году за поджог колхозного хлеба. На фронте он был в штрафном батальоне. Демобилизовался после ранения и приехал к вдове, с которой завязал переписку из армии. Тогда, в сорок третьем, в деревне оставалось только трое мужчин, появлению Федосеева радовались: раненый боец, защитник отечества! Потом избрали в сельский Совет...

Невысокий, плотный, стриженный, круглоголовый, с маленькими бесцветными глазками и такими же бесцветными усиками над толстой губой, он держался на допросах осторожно, отвечал не сразу, обдумывал, выдавливал улыбку, ссылаясь на помрачение памяти. Тонкий, высокий фальцет и угодливость тона не шли к его крепкой фигуре и каким-то особенно внимательным, напряженным ушам, наострявшимся при каждом вопросе, как вздрагивают при звуках уши животных. А речь его, представлявшая собою смешение канцелярского стиля с языком мещанина из дореволюционного пригорода, была рассчитана глуповатой, нарочито неправильной.

— Большой я. Алкоголия, товарищ прокурор. Лечиться бедность не позволяла... Жалованье маленькое, в соответствии с семиклассным образованием.

— За что вы попали в штрафной батальон?

Следовала короткая пауза, после которой лицо Федосеева делалось радостным, словно он обнаружил находку.

— Штрафной? А, было, было! Как же! В четырех частях воевал. И в саперном был, и в пехоте, и, как вы говорите, в штрафном. Перебрасывали. Военная надобность. Надо полагать, на укрепление.

— Это в штрафной-то на укрепление? — вмешивался, вопреки прокурорскому запрету, Лобов, которому Алексей разрешил присутствовать на допросах, но не вести их.— Ах, ты...

Федосеев минутку молчал, вероятно соображая, есть ли о нем более точные сведения.

— Штрафной — это архивное дело,— объяснял он прокурору, не глядя на Лобова.— Погашено стойкой защитой отечества. После ранения в коленный сустав. Документ подписал капитан медицинской службы В. Г. Рыбаков. Восемь месяцев держали в госпиталях. Трудоспособность ручная и ножная восстановлена в прежнем объеме, но голову зашибло контузией. Картины детства в уме сохраняю, но злобу дня не удерживаю. Оттого,— добавил он,— беспорядок в бумагах.

— Вы с Андропова взяли шестьдесят рублей и пол-литра из-за контузии?

Федосеев снова обмозговывал секунду-другую.

— Андронов, товарищ прокурор, недоимщик. Принадлежит к злостной части. Он меня спаивал. Злоупотреблял моей известной болезнью.

— И другие вас спаивали?

— Совершенно верно. Меня кругом спаивали. Поскольку я невыдержанный, слабый к вину, то злостно использовали.

— Вы были, значит, жертвой общего заговора?

— Справедливо говорите, товарищ прокурор,— отвечал обвиняемый, словно не замечая иронии.— Все несли. Одурали. Здоровье испортили. Проспиртовали всю внутренность.

— Вы, значит, отказывались, а вам несли и насильно навязывали?

— Товарищ прокурор, вы мне, может, не верите? Сомневаетесь? А ведь я не смехом вам говорю. То один шел с вином, то другой. И справки выманивали. А я и трезвый покладистый, а уж когда выпью, так веревки вей из меня. Отсюда и вывод.

Федосеев вздохнул.

— Ничего о себе не отрицаю. Кругом виноват. Что напишете — все подпишу. Потому что где водка была, там все залила. И в документах, конечно, получилась оргия.

И смиренно добавил:

— Кто против меня что показывал, я наперед признаю. Гуртом признаю. Не буду, товарищ прокурор, расхищать ваше время... Других не уважаю, кто запирается на факте, и себя до глупостей не допускаю. Раз неправильно действовал, с характером своим не совладал, канцелярию спутал, значит, и отвечай. Я так понимаю.

А затем заискивающе, словно о важном:

— Разрешите, товарищ прокурор, ворот раскрыть? Духота, сердце балует...

В избе было действительно душно. Только Лобов, которому безразличны и мороз и жара, равнодушен был к спертому воздуху. Алеша распахнул оба окна, но в них ворвалась не прохлада, а мухи и зной. Сельский исполнитель, стороживший у входа, заглянул в окно, предложил принести студеной воды из колодца. Алеша пил ее с жадностью.

— Вы не майтесь со мной,— участливо сказал обвиняемый.— Дозвольте, я на чистых страничках проставлю фамилии, а вы потом напишете в них, что полагается. Попрохладнее будет — вот и напишете. А сейчас бы вам самое время на речку. Я ведь никакому протоколу перечить не стану.

Под его мнимой наивностью скрывается наглость. Ее так же легко разглядеть, как избранный себе Федосеевым способ защиты.

— Зачем вы водили уполномоченного по заготовкам к себе домой ночевать? — резко спросил вдруг Алексей.

Вопрос неожидан. Но Федосеев настороже. Он уже почуял, что спрашивают его попеременно о разных вещах, без переходов и видимой связи.

— А как же, товарищ прокурор? — выразил он удивление.— Не на дворе же было человеку ночь провести!

— Я спрашиваю вас: почему именно к себе его отводили?

— А к кому ж? У меня вроде почище. Матрац на пружине... А начальник большой. Надо было обеспечить как следует.

— Его или себя обеспечить? — снова вмешался, не выдержав, Лобов.

Вопрос был поставлен неправильно.

— Не понимаю, об чем разговор,— легко уклонился от него Федосеев.— За постой я не брал. У нас такого и в обычае нет.

— А есть у вас в обычае,— уточняет прокурор,— брать с односельчан на угощение приезжих работников?

— Ах, вот вы об чем...

— Вы собрали в тот день с четырех человек девяносто рублей, четыре десятка яиц, литр водки, две курицы и полпуда белой муки, пообещав им за это от лица человека, который должен был у вас ночевать, разные мелкие льготы. Узнав затем от жены, что колхозник Борисов резал в то утро барана, вы послали ее поздним вечером еще за стегном. Когда Борисов отказался дать мясо и пытался сам зайти к уполномоченному, вы его не пустили в избу, сказав, что уполномоченный пьян и будет ругаться. Подтверждаете вы эти факты?

Все это Алексей выпалил быстро, напористо.

Федосеев на этот раз поблбднел.

— Я ж признал, товарищ прокурор, что когда я был пьяным...

— Я не спрашиваю, что было с вами, когда вы были пья-

ным, меня интересует сейчас, говорили ли вы этим колхозникам, что пьян в вашем доме уполномоченный? Да или нет?

— Не упомяну... Но уполномоченный, он действительно вроде бы малость...

— Выпил с вами?

— Выпил.

— Какого числа это было?

— Разве ж я помню...

— Вы не отмечаете у себя приезжающих?

— Не занимались. Мое упущение.

— Не страшно. Я это упущение выправил. Уполномоченный был в вашем селе четвертого октября прошлого года.

— Стало быть, так.

— В одиннадцать вечера он передавал телефонограммой в район ход заготовок по сельсовету. Вот она, можете на нее посмотреть. Как вы полагаете — в состоянии ли пьяный человек составлять цифровой материал?

Федосеев молчал.

— В вашем доме есть телефон?

— В домах не имеются.

— Значит, вести телефонный разговор можно было только из сельсовета или конторы колхоза. Иначе говоря, в тот момент, когда, по вашим словам, уполномоченный у вас пьянствовал, он в вашем доме вообще еще не мог находиться. Так или не так?

— Выходит, что так.

— Следовательно, вы на него клеветали. Для чего клеветали?

— Наверное, выпить просился.

— Но выпить вы могли и без этого. Уж если вы лгали, то почему не солгали, что сами добьетесь отсрочек и льгот? Почему сослались на уполномоченного? Почему объявили, что он требует вина и закуски? Для чего вы так сделали?

Федосеев молчал.

— Не упомяните?

— Действительно, теперь не упомяну...

— Тогда я вам напомню: вы хотели, чтобы люди считали районного работника взяточником.

— Господи! Товарищ прокурор! — заволновался наконец обвиняемый. — Да зачем бы я стал? Да разве он мне враг или кто? У нас с ним ни наследства, ни бабы...

— А со мной ты не поделил наследства и бабы? — вскричал, потеряв над собой управление, Лобов. — Гадюка! Давай, Алексей, сюда Бегунову! Давай очную ставку! Давай при народе!

И производились очные ставки, опрашивались десятки свидетелей, а по окончании следствия Алеша, вопреки законам и правилам, приказал привести Федосеева на внеочередной пленум Совета. Чтобы атмосфера в Суходеевке стала очищенной,

чтобы не оставалось у людей и тени сомнения в их районных руководителях, разоблачение клеветника, преследовавшего далекие цели, должно было происходить всенародно.

Съевшись, вобрав голову в плечи и не смея оторвать глаз от дощатого пола, сидел Федосеев два с половиной часа в углу помещения, на общем виду, под охраной милиционера и добровольцев. Сидел побитой собакой, уничтоженный, узанный, конченный. Прокурор читал сельсовету выдержки из показаний, выступали заговорившие в полный голос свидетели, и каждое слово их вдавливало Федосеева в землю.

Никогда еще Алеша не видел такого кипения жарких страстей, как в тот памятный вечер. Никогда не слышал такого количества брани, какое неслось тогда на сжавшегося в углу человека. Никогда никто еще на глазах прокурора не был так сплюснен презрением. Не будь охранителей, Федосеев был бы заплеван.

Кто-то стрелял в него окурками, спичками. Кто-то кричал: «В реку его!» Лобов, взявший на себя председательствование, стучал по столу не карандашом, а всей сжатой пятерней уцелевшей руки, пытался перекричать всех разгневанных, но вносил успокоение лишь на пятнадцать — двадцать минут, когда новый факт или новый оратор снова поднимали возбуждение в зале.

Чтобы увести Федосеева, Алексей вынужден был вернуть его дополнительной охране из комсомольцев.

Этому человеку суждено было теперь жить годы в неволе, хотя достаточно одного этого вечера, чтобы жить стало нелегко. И Федосеев вдруг остро почувствовал это. Когда он услышал: «Уведите его!» — и милиционер предложил ему встать, он вскочил с быстротою мальчишки, задрожал от злобы, ступившейся в нем за эти два с половиной часа, — а может быть, за все советские годы, — поднял голову вверх, хотел что-то выкрикнуть, но не стал говорить, а только сжал зубы, тяжело задышал и в упор посмотрел на народ несколько долгих секунд. Этот взгляд был прощанием, угрозой, вызовом. Глаза Федосеева теперь не были рыбьими. Глаза эти, сомкнутые во время собрания, чтобы не видеть, могли открыто наконец ненавидеть. Это была та единственная свобода, что оставалась теперь Федосееву...

А Иван Никанорович ничего этого не почувствовал, говорил лишь о пьянице, жулике. Почему не почувствовал? Ведь именно Федосеевых он когда-то судил в трибунале. А теперь, забыв о них, думал, что все они выбыли, вымерли, постепенно исчезли. Вернее, ничего он не думал. В статистических карточках таких людей не встречалось, из отчетов они испарились, испарились тогда и из сознания. И когда вот столкнулся, то не узнал... Если бы еще Иван Никанорович почитывал книжки, заглядывал на досуге больше к людям, чем к битюгу и в курятник, ну, тогда бы, пожалуй, он мимо старого знакомого и не прошел. А теперь вот пришлось брать прокурора за руку, подводить к Федосееву

и убеждать: «Узнавайте же, Иван Никанорович, взгляните в него». И когда это сделали, прокурор встревоженно заставил Алешу писать скорей областному докладную записку. И в десяти местах этой записки о деле секретаря сельсовета он вставил слова: «раскрытом районной прокуратурой на месте». После этого он тридцать раз повторял: «Молодец, Алексей, молодец!», а недовольство Алеши собою усилилось. Почему он смолчал тогда, у Круглова?.. И ему неприятно было слушать похвалы прокурора, очень довольного тем, что послал в область важное дело.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Автор повести знает, что, рассказывая о многих делах, он в какой-то мере грешит против законов сюжета. По этим законам ему следовало бы на всем протяжении книги говорить только об одном каком-нибудь деле, да зато интригующем. Но как быть, если сюжет продиктован ему не стремлением к драматизации действия, а ходом событий в прокуратуре Сердейска? Здесь все споры велись именно вокруг многих и очень будничных дел, а конфликт между Алешей и Иваном Никаноровичем то ослаблялся, то вновь нарастал. И только спустя много времени произошла наконец последняя ссора, после которой Иван Никанорович объяснил свое поведение, раскрыл свою душу... Ссора вызвана была делом строителей.

Колхозы Сердейщины были бедны и от поездок Лобова не становилось богаче. Секретарь райкома искал для этого более сильные меры. Одной из них должно было стать развитие овощеводства. Хотя район был степным, в нем находилось много мелких озер, и овощи на пойменных землях прекрасно росли. Они могли бы давать крестьянам прочный доход, но район был далек от больших городов и сбывать овощи было попросту некуда. Они пропадали, их скармливали скоту, не выкапывали. Вот Круглов и добился согласия центра на создание в Сердейске крахмального, консервного и спиртового заводов. Они должны были приобрести межрайонное и даже областное значение.

Стройки велись подрядным порядком, на договорных началах. В Сердейск прибыли сотни строителей. Как всегда бывает с приездом в тихий городок многих новых людей, не все были довольны их появлением. Приезжие поневоле потеснили местных жителей, подняли цены на районном базаре, мчались куда-то на машинах по улицам, образовывали в столовой постоянные очереди. Они как-то сразу уменьшили и сузили город.

Среди строителей были и случайные люди, которых привлекли в Сердейск только скорые заработки. Они толкались у прилавков магазинов райпо, заполняли пивную, в которой произошло несколько пьяных скандалов, и топтались на танцевальной

площадке в саду, где избили однажды местных парней. В большом коллективе завербовавшихся на стройку людей не могло быть без этого.

Но хуже всего повели себя некоторые работники конторы строительства. Они, конечно, не дрались вечерами в пивной, но воспользовались зато темной ночью, чтобы увезти к себе на площадку лес, сгруженный с железнодорожных платформ для строительства сушилок в колхозах. Прделано это было оперативно,— когда владельцы леса приехали за ним на строительство, он уже превращен был в двери и рамы.

Даже спокойный Круглов назвал эти действия «чистой маевщиной». Руководители стройки обещали принять строгие меры. Но вместо этого снабженцы прибегли к обходным путям — устроили так, что материалы, предназначенные к отправке в Сердейск для строительства животноводческих ферм и продажи через магазины райпо, были отправлены в тот же Сердейск, но другим получателям...

Короче говоря, эти люди сорвали планы всех других строек в районе. Бюро райкома решило просить прокурора строго расследовать все происшедшее. Круглов звонил и телеграфировал в область.

Но там некоторые учреждения отнеслись ко всему этому иначе. Они были довольны, что строители выполняют свой план, и считали даже заслугой умение строить «за счет местных ресурсов». Их не интересовало, что местные материалы здесь не произведены, а добыты обманным путем. И они вступились за руководителей стройки, хлопоча за них перед областным прокурором.

Иван Никанорович, не любивший споров, вторжения в жизнь неожиданностей, был сильно расстроен противоречивыми позициями разных властей. Он не знал, что ему делать — привлекать строителей к уголовной ответственности или не привлекать.

— Я их, мерзавцев, сейчас же отдал бы под суд,— говорил он Круглову,— да область не позволяет...

А заместителю областного прокурора он жаловался по телефону:

— Я бы их, конечно, не трогал, но райком на меня нажимает...

А дело было недвусмысленно ясным. Следовательно допрашивал снабженцев, сторожей, железнодорожников, и они рассказали, как давались взятки, совершались подлоги. Обвинительное заключение уже было составлено, но Иван Никанорович не разрешал ничего «закруглять» и пребывал на распутье.

— Вот свалилось-то на нас! — горько вздыхал он, когда следователь приходил к нему с докладами и тщетно ждал от него указаний. Иван Никанорович сам ждал указаний... — Вот несчастье-то! — скорбел он, вытирая платком вспотевшие шею и лоб. — Ну что тут, брат, делать? На Украине говорят в таких

случаях: «Не доверньсь ты — побьють, и переверньсь ты — побьють».

— А вы сами решите,— позволил себе заметить Алеша.

— Сам?

Такая мысль Ивану Никаноровичу не приходила на ум. Доверять решение по такому деликатному делу можно было лишь бумажкам, звонкам, телеграммам...

Начальник смолчал.

И тогда Алеша, не обращаясь ни к следователю, ни к Ивану Никаноровичу, сказал иронически:

— Нам храбрости у воров поучиться бы. Они шли на кражи смелее, чем прокуратура идет на воров.

Иван Никанорович побледнел, но ничего не ответил.

Вечером, перед уходом домой, он пришел в кабинетик Алеши и, впервые обращаясь к помощнику не по имени, а по фамилии, тихо, чтобы не слышала за стеной секретарша, сказал:

— Вот что, Корнев. Если ты когда-нибудь при людях скажешь такое, то я тебе по уху дам. И слушай, что я скажу... Я к тебе относился как к сыну. На многое внимания не обращал. Вот ты на исполком стал ходить. Поручал я тебе? Сам напросился. Зачем? Жена говорит, что ты затереть меня хочешь, подсиживаешь. Я не поверил. Ты не такой... А мне самому карьера неинтересна. Мне до пенсии дотянуть бы... Когда тебя хвалят, мне это не в конкуренцию. Только рад за тебя. Мне вот завфин говорил, что ты своими юридическими знаниями на исполкоме рисуешься, а я его оборвал. «Очень хорошо, говорю, когда есть у человека чем рисоваться». Всегда стою за тебя. И если даже я твою натуру полностью не разглядел, если вправду есть в тебе охота сверкать, так и это я в строку не ставлю. Хочешь лезть на высокий этаж, чтобы на тебя не поплевывали сверху другие,— ну что ж, пожалуйста, лезь. Но вот на мою-то плешь ты с этого верха тоже, братец, не пытайся плевать. Понятно тебе?!

И, не дожидаясь ответа, Иван Никанорович вышел из комнаты.

Алеша был очень расстроен. Он чувствовал себя правым, но понял, что сильно обидел старого человека, что необдуманная острота в присутствии следователя была оскорбительна. И угроза начальника дать в следующий раз по уху означала, что для него это оскорбление тоже было ударом по уху.

Алешу очень кольнуло и то, что ему сейчас впервые сказали о нем о самом. Его подозревали в карьеризме, в рисовке! Иван Никанорович действительно не был завистливым, и можно поверить, что ему и в самом деле приходилось защищать Алексея от таких обвинений.

Надо было сейчас же объяснить с Иваном Никаноровичем. Надо было немедленно сказать, что подозрения его жены — абсолютная чушь. Ведь на заседания исполкома Алеша стал ходить потому, что его позвали туда и ему было там интересно, да

и сам Иван Никанорович охотно уступил ему эту обязанность. Старуха же просто боится за мужа, боится, как бы молодой не выжил и не вытеснил старого. Но ведь Алеше и в голову это не приходило! А финотделец просто дурак. Ведь прокурор не может не давать заключений, не может не давать справок о том, что позволяет или не позволяет сделать по каждому данному вопросу закон. Иначе зачем и бывать ему на заседаниях! Ведь сам-то Иван Никанорович понимает это не хуже Алеши. Ну, а что касается тона... Черт его знает, может быть, Алеша иной раз действительно говорит с лишним пафосом, и кому-то показалось, что он собою любит. Надо, конечно, следить за собой...

А в общем, сколько бы у Ивана Никаноровича ни было слабостей, но по отношению к нему, Алексею, он действительно ведет себя по-отцовски. Алексей же поступил с ним по-вински.

Его охватило горячее чувство раскаяния. Он хотел сейчас же полететь к старику, попросить прощения, как просил его когда-то у своей старой бабушки. Но оказалось, что Иван Никанорович запряг битюга и уехал неизвестно куда. Так он делал всегда, когда ему становилось особенно тяжело на душе.

Утром Алеша сразу бросился к начальнику.

— Иван Никанорович,— сказал он, волнуясь,— простите меня, я совершенно не сообразил... Поверьте, никогда больше...

Иван Никанорович тяжело засопел. Он растерялся от такой неожиданности, обрадовался и сразу растрогался.

— Что ты, что ты, Алеша! Ну конечно, конечно, прощаю... Ты садись-ка, садись... Господи боже мой, да разве я когда-нибудь сомневался в тебе! Я же всегда понимал, что ты, что я... Мало ли чего между своими бывает... Я что-нибудь брякну, ты что-нибудь брякнешь... Где тут счеты сводить! Ведь делаем общее дело... Можно сказать, вместе живем. Ночь — со старухой, а при свете — с тобой...

И он стал в свою очередь каяться:

— Ты, конечно, обидел меня, сильно обидел. При Яблонском, при беспартийном... Это же такой человек, что молчит, да мотает на ус. Подчиняется, а про себя что-то думает. Ты вот куснул меня, а ему удовольствие... Очень, очень обидел... Ну, тогда и я отхлестал тебя. А потом расстроился от этого не хуже тебя... Зря, думаю, я его так уж, сплеча. И запил свое расстройство медком... Жалел, что тебя со мной не было... Вот, думаю, выпили бы мы с ним примирительную... Между прочим, лесник сейчас топит из подрезного, а скоро будет уже соты ломать. Я ему говорю: «Как начнешь распечатывать, так мне обязательно еще штуки две для помощника. Такой, говорю, у меня парень хороший...»

Вошла секретарша, принесла телеграмму.

Иван Никанорович взглянул на нее, заулыбался, потом дважды перечитал и сразу забыл о леснике и медке.

— А ну-ка прочитай-ка, Алеша! — торжествуяще передал он ему телеграмму.— Ну, что ты скажешь теперь? Прав я был или не прав, когда проявлял осторожность?! Областной не велит пока передавать дело в суд. Своего следователя для проверки к нам посылает!

Алеша не отвечал.

— Это из министерства, наверное, действуют люди,— удовлетворенно сказал Иван Никанорович.— Из строительного, из пищевого... Хорошо, что я не послушался тебя и Яблонского! Вам, справедливым, легко было советы давать, а в ответе был бы Иван Никанорович.

Алеша молчал.

— Ну, что ж ты теперь язычок прикусил? — тем же довольным тоном продолжал Иван Никанорович.— Почему же не повторяешь теперь, что я несмелый, с оглядкой, опасливый? Если бы я был на твой манер храбрецом, так пришлось бы сейчас за эту храбрость расплачиваться.

— Нет, не пришлось бы,— уверенно ответил Алеша.— Я убежден, что следователь по особо важным делам согласится с выводами нашего следователя.

— И я убежден! — воскликнул Иван Никанорович.— Как же можно не согласиться! Ведь факты-то все налицо! Ничего не опоришь, не выкинешь! Чистые бандиты, и только! Но ведь это он засвидетельствует, он, областной, а не я! Под меня в этом случае никакие там областные или московские деятели уже не подкопаются. Если есть у бандитов рука в министерстве, так не по моей щеке она шлепнет.

И Иван Никанорович снова впал в лирический тон.

— Эх, Алешенька,— начал он,— не понимаешь ты целого ряда вещей! Большой вымахал парень, а не понимаешь... Надо относиться к каждому делу размеренно. Ликвидировать в себе лишнюю прыткость. Ты всегда забываешь, что человеку отпущена только одна голова. А у прокурора, брат, шейные позвонки особенно ломкие... Поступает к тебе дело — не торопись с ним... Влезь в него сначала, потом вылезь, отойди, сторонкой на него посмотри... Оглянись: что за люди вокруг дела стоят... А может быть, и не стоят, может быть, сидят где-нибудь в отдалении. Сделаешь неосторожность,— они и поднимутся... Ты каждое дело обтолковывай, перетолковывай, а решать никогда не спеши, это передавай делать другим...

— Ну, Иван Никанорович,— сдержанно заметил Алеша,— мне кажется, что бывают дела очень ясные, которые не допускают двух толкований.

— Кажется? Вот именно, брат, что это тебе только кажется. Ясной даже картошка никогда не бывает. Посмотришь ее на базаре — покажется тебе белой, рассыпчатой, а начнешь ее чистить — половину выкидываешь. А уж в делах-то давно проз-

рачности нет. Вот забрали бандиты лес у людей на глазах, а их защитники говорят: «Не видим мы этого, нам не прозрачно».

— Но ведь вы сами сказали,— возразил вяло Алеша,— что областной следователь подтвердит наши выводы.

— Правильно! — подхватил Иван Никанорович.— Вот для подтверждения он тут и нужен. Вот тогда будет авторитетно! Район-то ведь ниточкой шьет, а область — шпагатом. Что держит крепче? И почему я не должен лишним подтверждением себя обеспечивать? Ты когда-нибудь у хорошего шофера видел, чтобы он без запасной шины поехал?

Доброе чувство, с которым Алеша пришел к начальнику, начало опять испаряться. А Иван Никанорович, обманываясь извинением Алеши и приняв его за смирение, продолжал с неприятною искренностью:

— Учись у такого шофера, Алеша! Я ведь который уж раз предвещаю, внушаю: не действуй без оглядки, не лезь всегда напрямую! Работать — это не сахар лизать...

Он сказал Алеше, что хотя прокурор по закону ни от кого не зависит, но ему и без закона могут табаку в нос насыпать, и потом не отчихаться. Приводил в пример каких-то работников, с которыми рассчитались за прыть в четыре секунды, как в Челябинске с трамвайным кондуктором. Внушал, что именно для торжества правды в делах прокурору надо держать ухо востро, иначе эта же правда, за которую он воителем был, его же и сковырнет, да еще так подомнет под себя, что и запаха от него не останется...

Чем дальше Иван Никанорович говорил, тем скучнее и неприятнее делался. Наученный опытом, Алеша не возражал. Ему было стыдно за начальника и жалко его. Он вспомнил ту старую истину, что самые почетные люди не всегда самые почтенные люди и что слово «закон» в некоторых устах незаконно. Иван Никанорович был прокурором, но с таким же успехом мог быть председателем промысловой артели, заведовать баней, служить в финотделе. Он всюду был бы на месте, и везде бы он был не у места... А опасности, о которых он говорил, показались Алеше лишь мнимыми. Он решил, что опасностей нет, а есть лишь опасливость... И когда Иван Никанорович спохватился, что пошел уже двенадцатый час и помощника дожидается почта, Алексей с облегчением вышел из его кабинета.

Но Алеша оказался неправым. Вскоре Иван Никанорович сумел доказать ему, что он не сам себе страхи надумывает.

Разговор произошел после очередного столкновения по делу строителей.

Хотя материалы для сооружения заводов добывали всяким незаконным путем, на самой стройке в свою очередь происходили хищения. Пропадали то кирпич, то листовое железо. Какие-

то темные люди продавали их местным жителям для ремонта квартир. Двух воров поймали однажды с поличным. Сама контора строительства вызвала милиционера. Но на следующий день после того, как материал из милиции поступил к Алексею, к нему приехал главный инженер строительства и попросил не передавать дела в суд. Он объяснил, что местные люди и без того недовольны поведением ряда строителей и не следует разжигать лишние страсти. Контора строительства решила уволить этих рабочих и на том кончить дело. Алеша ответил, что окончание дела зависит не от конторы строительства, что закон есть закон. Кроме того, Алексей находил, что процесс послужит острасткой прочим ворами и принесет строительству пользу.

Тогда к Ивану Никаноровичу приехал с той же просьбой сам начальник строительства. Это был высокий, полный мужчина, солидный не только фигурой, но и положением, которое он занимал в городке как независимый от местных властей руководитель большого хозяйства. Он приехал в лимузине, покровительственно отверг предложение Людмилы Ивановны сразу провести его к прокурору, выждал с подчеркнутой вежливостью, пока от того ушел посетитель, а затем, не обращая внимания на сидевших в очереди, медленно и уверенно вплыл в кабинет.

Какой там шел разговор, Алеша не знал, но он знал зато от Лобова, что влиятельный посетитель уже побывал по тому же вопросу в райкоме, где Круглов ответил ему, что не станет вмешиваться в дела прокурора. Иван Никанорович был, следовательно, совершенно свободен в решении и тем не менее не устоял...

Конечно, он не был настолько наивен, чтобы сразу вызвать Алешу и приказать ему прекратить дело,— нет, он не мешал Алексею вести опросы и писать заключения. Но когда Алексей принес ему дело на подпись, прокурор стал придирчиво листать его, хмыкать, пренебрежительно фыркать и вдруг объявил, что Алексей тратил время на ерунду, что дело пустяковое и стыдно отправлять его в суд.

Алексей ответил, что дело ничем не отличается от других, направляемых в суд, и нет закона, позволяющего его прекратить. Иван Никанорович заметил, что применять закон надо с умом. Алеша добавил:

— С умом неиспорченным.

Иван Никанорович спросил, что Алеша хочет этим сказать, Алеша ответил:

— Я хотел сказать именно то, что сказал.

Дальше — больше, разговор становился все круче. Алексей заявил, что напишет об этом деле в газету. По глазам помощника начальника увидел, что это не пустая угроза.

— Хорошо,— сказал он тогда после короткой и тяжелой заминки,— можешь посылать дело в суд... Не гляди на меня эдаким тигром. Ничего ты не понимаешь еще. Почти год толкую с

тобой — и как об стенку горох. Пока жизнь тебя не ударит, ты, видно, ничему не научишься. А она тебе вправит мозги, будь спокоен, дай только время. Отшлифует на своем шлифовальном станке. Начисто сбреет твоей хохолок... Ну, уходи! Не желаю тебя сейчас больше видеть!

Алексей тоже не имел особого желания видеть начальника. После этой новой ссоры он вообще старался не заходить к нему без вызова. Бумаги на подпись Алексей стал передавать через Людмилу Ивановну. Это тяготило прокурора. Он хотел восстановить прежнее, но помощник опять «закусил удила».

Новый холодок в отношениях подул для Ивана Никаноровича очень не вовремя. Он находился в большой зависимости от Алексея. Тот готовил материалы о состоянии законности в Сердешском районе, с которыми Круглов просил прокурора выступить на партконференции. «Спасибо, спасибо», — смущенно сказал начальник помощнику, когда тот положил ему на стол цифровые таблички. Алеша знал, что в душе начальник не благодарит, а клянет его. Иван Никанорович ждал готового текста, ждал предложений и мыслей, но Алеша не захотел ничего написать.

Боже, до чего скучной была речь Ивана Никаноровича! В ней не было ни желчи, ни смеха, ни огорчений, ни радости. Он говорил одинаково бесстрастно о растратчиках и драчунах, о хулиганстве и подготовке к уборочной, о торговле и о снижении профессиональной преступности. В его речи не проскальзывало и следа той красочной образности, той простоты, с какой он разговаривал дома и у себя в кабинете. Эта речь состояла из цифр и сплошных общих мест. А так как люди не любят, чтобы их поучали вещам, которые они понимают сами, то его слушали вяло и нехотя. И в аплодисментах, которыми проводили райпрокурора, было больше благодарности за то, что он кончил свою речь, чем за то, что он произнес ее. Глядя на скучавшие лица, Алеша забеспокоился о прокурорском престиже и крепко ругал себя.

— Зайди ко мне вечерком, — неуверенно предложил вскоре Иван Никанорович. — Надо нам с тобой побеседовать.

Алеша пришел.

Был жаркий день, солнце еще не садилось. Иван Никанорович кормил во дворе кур. Алеша остановился в воротах и наблюдал за ним. Глаза Ивана Никаноровича были нежны и ласковы, он улыбался и, играя, посыпал крупной сбившихся кур. Они отряхивались, волновались, не знали, откуда раньше склевать — друг с дружки или с земли. Иван Никанорович помучил их, а потом, в благодарность за доставленное ему удовольствие, стал широкодушно швырять целые горсти. Эта детская забава на какой-то момент снова расположила Алешу к начальнику, а тот, увидев, что Алексей улыбается, обрадовался и потащил его пить чай с вареньем.

— Еще прошлогоднее. Вишь, сколько старуха моя наварила! К соседкам ушла сейчас. Мы тут одни. Можем хозяйничать и толковать. Да ты клади, клади полное блюдо, экономию мне не наводи!

И заговорил о деле строителей:

— По душам с тобой, Алеша, хочу объясниться. Обо всем и в открытую. Раз навсегда... Я ведь знаю, что давно уже упал в твоих глазах ниже низкого, и... тяжело это мне. На работе это у нас отражается, и вообще... Не знаю, как ты, а я, например, переживаю. Ссоримся, ссоримся, никак ты не хочешь понять меня... Нужен, значит, такой разговор, чтобы не было у нас больше плохих разговоров. Вот и давай сейчас поведем его...

Но ему, видимо, не легко было начать такой разговор. Он встал, подошел к буфету и вынул оттуда бутылку.

— Хочешь, Алеша, коньячку к чаю, а? — спросил он неуверенно. — Нет? Ну, правильно, тебе и не надо. А я, знаешь, употребляю для расширения сосудов. Чтобы спазмы не схватывали. Подливаю в чаек.

Он подлил, — но не коньяк в чай, а немного чая в стакан коньяку, — отпил половину, скривился, вышел и возвратился, жуя огурец.

— Видишь, брат, к чему торопиться не надо, — сказал он. — К склерозу, к вину. А ты, между прочим, на всех парах к ним летишь. Я с сорока начал таскать с собой валидол, а тебе он, наверно, в тридцать потребуется.

— Почему это? — спросил Алексей.

— Потому что ретив не в меру. У тебя в среднем на месяц сто дел, а ты каждое себе в душу вбираешь. Вот и разопрет ее раньше времени. Не хватит тебе ни сердца, ни горла. Растрачиваешь сейчас нервы по мелочам, а потом спохватишься, да поздно уж будет. Этого ты и не понимаешь, когда бои затеваешь... А я уж давно ко всему стал понятлив. Сам был прежде хорохористым, вроде тебя, тоже много значения всему придавал. А увидел, к чему повело это, и просветлел... Ты ведь еще и года не работаешь, верно? А как три-четыре пройдет, так почувствуешь, что вымотана в тебе прежняя силушка. Вкладываешь ее по частям в каждую папку, а потом папки уложат тебя...

— Но ведь за папкой люди стоят.

— Ну да, люди! — раскраснелся вдруг как-то сразу Иван Никанорович. — Да ведь и мы с тобой люди! А в чем наша жизнь? В посевной да в уборочной, в заготовках да в том, чтобы сохранять семена...

— А как же без этого? Ведь все это нужно.

— Ну, конечно, нужно, очень нужно, Алеша, но осложнять жизнь сверх нужного вовсе не нужно. А мы это делаем. Особенно ты. В тот самый момент, когда делаешь, тебе кажется, что иначе нельзя, а оглянешься потом и увидишь, что была

только возня да потеря здоровья. Ты такой человек, что любой вздор возводишь в серьезное. А на деле,— сказал Иван Никанорович тише,— только грудная жаба серьезна.

— Ну, знаете, Иван Никанорович,— растерялся Алеша от этого вывода,— это такая, я вам скажу, философия...

— Которую тот не поймет,— грустно перебил Иван Никанорович,— кто еще грудной жабы не нажил. Знаю, знаю, Алеша! Потому мы с тобой на разных языках говорим. А вот переживи ты с мое...

И он стал рассказывать, как его была жизнь. В конце двадцатых годов судил поджигателей хлеба, зачинщиков кулацких восстаний. А в конце тридцатых годов самого чуть не засудили. Сколько травли, угроз перенес, под каким страхом жил! Хорошо, что успел уйти с трибунальской работы, уехать судьей в небольшой городок...

Иван Никанорович снова глотнул коньяка, поставил стакан, затем взял опять и допил. Голос его стал после этого хриплым.

— И в этом городе,— бросил он вдруг откровенно, так откровенно, что прямо эта резанула Алешу,— я вовсе вкус потерял расшибать себе лоб, чтобы гнаться за правдой.

— Очень печально! — заметил Алеша.

— Печально не печально, а слушай. Вот что со мной там случилось...

Он рассказал действительно злую историю.

В городе зверски убили девушку. Население было взволновано. Суд приговорил убийцу к десяти годам заключения. К судье подходили потом люди из публики и возбужденно говорили, что это для такого человека не наказание. Они напоминали судье, что месяц назад он приговорил двух парней за насилие к пятнадцати годам заключения, а теперь за убийство дал меньше. Судья объяснил, что в обоих случаях он поступил по законам. Люди сказали, что эти законы неправильные. Судья согласился, что законы действительно надо бы привести в соответствие. За этот разговор судью обвинили потом в агитации против советских законов.

— Я объяснял,— рассказывал Иван Никанорович,— что никакой агитации не было. Но было ли, не было, а раз сказали, то и пошло... В райкоме, в обкоме. В облсуде, в областном управлении. Ну что тебе тут рассказывать! В общем, стали гулять докладные, а я стал гулять без работы...

— Но как могло это быть? — взволновался Алеша.— Это же чушь!

— Да, чушь,— сипло подтвердил Иван Никанорович.— Но чушь, брат, всего и страшнее. На приговор ты можешь жаловаться, а против чуши ты и немой и неграмотный. Начнешь ходить по разным начальникам, они будут слушать, качать головами, друг дружке на заключение слать...

— Что было дальше? — спросил Алексей.

— Дальше? Дальше я уже сам стал другим. Когда через год рекомендовали меня наконец в один город судьей, я и сказал себе: «Ну, Иван Никанорович, вперед будь с головой, не ляпай что где придется. Если считаешь, что от насильничания женщине меньше беды, чем от ножа в горло, так скажи это родному дяде, а не чужому. С умом живи. А еще лучше — на два ума...»

Рассказ ошеломил Алексея. Но он все-таки нашел возражение.

— И случай нелепый, — сказал он, — и вывод.

— Нелепый? Ха-ха! — тяжело засмеялся Иван Никанорович. — Это ты, брат, нелепый, единственно ты!

Он схватил бутылку, налил себе коньяка, залпом выпил его и выкрикнул с несвойственной ему нервною болью:

— Что ты знаешь?! Что ты видал! Овца ты! Ярочка глупая... Ну, слушай в таком разе, сколько их было, этих нелепых...

И последовал второй рассказ.

В суд поступил материал о враче, который делал аборт. Среди его пациенток оказалась подруга заместителя председателя городского Совета («дядька тоже на восемь пудов, не хуже начальника строительства этого»). Он вызвал к себе судью и попросил замять дело, грозившее ему в семье неприятностями. Судья не согласился. Собеседник долго упрашивал. Он просил судью по-товарищески. Просил как мужчина мужчину. Просил как человек человека. А судья упорствовал. Тогда его перестали просить, а посоветовали... Судья призадумался («больно уж выразительно он мне посоветовал») и, чтобы обезопасить себя, пошел к председателю с жалобой на заместителя. В результате жалобы тому дали выговор, а судью не переизбрали судьей...

Алеша опять стал взволнованно спрашивать, как это было возможно, почему судья не объяснил, допустил. Иван Никанорович, допивая коньяк, потя от духоты и воспоминаний тяжелого прошлого, нервно рассказывал:

— Пришли неожиданно обследовать суд... Нашли нарушение сроков по каким-то делам. Расписали в акте обследования. Я объяснял, что у меня в году была тысяча дел, а сроки не выдержаны по девятнадцати, но кричать стали именно о девятнадцати. Потом пошли заметки в газете. То я кого-то слишком мягко судил, то вообще неправильна линия... А когда подошло к выборам, кандидатуру не выставили... Жаловаться, говоришь, надо было идти? Но ведь сам этот заместитель против меня ни разу не выступил. Его не видать было. Никого не видать было. Кто-то обследовал, кто-то заметки писал, кто-то это все собирал... Вот и стало понятно мне: я не с одним видным человеком поссорился, а со ста невидимками.

Алеша не возражал и ни о чем больше не спрашивал. Ему

стало не по себе. А Иван Никанорович, допив бутылку, решил окончательно выпростать и душу свою, рассказать уже все, что она претерпела.

— Было у меня и еще пострашнее,— сказал он приглушенно.— Такое было, что хотел порешить себя... Бумажки пробовали слать обо мне: судья, мол, берет... Мне этих бумажек не показывали, не говорили о них, а только заметил я, что в горкоме и горсовете переменялись ко мне. Старались прошмыгнуть, не смотрели в глаза... Потом дознался, в чем дело. Затряслись руки и ноги... Пошел к секретарю, говорю: «Или расследуйте, или лягу под поезд». А как тут расследуешь? Ведь клевета фактов не называет, она намекает. Ясно мне было, что бумажки слал человек, которому я отказывал в приеме, а как этого подлого человека найдешь, когда в месяц пятьсот посетителей! Эх! — шумно выдохнул Иван Никанорович.— Никто не знает те ночи мои...

Он замолчал. У Алеши грудной жабы не было, но он сейчас тоже плохо справлялся с дыханием. Чтобы что-то сказать, он пробормотал:

— Да, есть еще подлецы, но мы не должны...

— Не ври! — покачал головой Иван Никанорович.— Это ты областному прокурору можешь писать, будто подлость снижается, а себе самому мозги не сбивай. Вот разбросай во дворе десять тысяч рублей — посмотришь, останется хоть рубль или нет. И поймешь тогда цену всем таблицам и отчетам твоим. Без нужды подлец в человеке не просыпается, а растравишь его — пеняй на себя. Так не буди подлеца, не трогай его! Отводи от себя! Иначе дашь себя похоронить раньше времени...

Он смолк. Коньяка больше не было. В комнате начало темнеть. Мутных глаз Ивана Никаноровича уже не было видно. Он встал, вразвалку прошелся по комнате, потом снова сел. Привычный, нерадостный хмель плохо хмелил его.

— Ну вот, Алексей,— возобновил он разговор,— теперь тебе обо мне все известно. Известно, откуда грудная жаба приходит... Вот и суди меня: такой ли уж я плохой человек... Надо ли было тебе торопиться Ивана Никаноровича в мерзавцы записывать... Нет, брат,— сказал он, немного подумав и словно объясняя это себе самому,— я не плохой, хотя и не такой человек, как ты, Алексей. Ты норовишь наступать, а я теперь только отбиваться желаю. Ото всех, кто может пырнуть. Справедливца из себя по всякому поводу уже не разыгрываю. Перестал бить хлыстом по воде... Ты вот каждый раз принцип свой выставляешь, а я сказал себе: «Стой не за принцип, стой за себя». Я, Алеша, уже ничего не хочу, только тихости... Не мотаться со старухой по городам, не писать туда-сюда объяснений. Хочу тут, в Сердейске, на нынешней должности добивать свои дни... Ты вот всегда затеваешь бороться, а я уж видал... Никакой Илья-пророк не сгадает, куда какая борьба за-

ведет. И не хочу я до нее доводить... В том ли деле, в другом ли... Ни отчетов твоих не хочу, ни фантазий, ни ссор с большими людьми. И предупреждаю, что всегда такой буду. И хочу, чтобы ты меня понимал, чтобы не надо мне было тебе больше вдалбливать.

В комнате стало совершенно темно. Алексей поднялся. Темно, тяжело, пусто было и у него на душе.

КАК ТЕПЕРЬ БЫТЬ?

Насколько подавлен был Алексей разговором с начальником, видно было по записям в его дневнике.

«...Может быть, после того, что с ним было, и нельзя быть другим?..»

«...А вдруг я действительно отношусь слишком легко ко всему, что ни делаю? А он утерял эту легкость. И ему негде взять то, чего нет в нем...»

«...Он так же не может себя изменить, как и я не могу перестроить себя на его лад...»

«...Все мое существо восстает против выводов, которые он сделал из своей несложившейся жизни. Но протест — не довод, не аргумент. Он же делает свою жизнь аргументом против всех моих доводов...»

«...После прежних наших ссор наступали временная отчужденность, неловкость, и только. Мы знали, что снова примиримся со всеми чертами, которые нам друг в друге не нравятся, и будем по-прежнему вместе работать. А теперь все иначе. Ведь теперь он уже не отрекался от себя самого, ничего в себе не отрицал, а свое непротивление злу возвел в принцип. Раньше он ошестинивался против моих предложений, прибегая для этого к разному фокусничеству, а теперь оно ему не нужно, теперь он будет попросту накладывать руку на все, что ему не подходит. Вчера, например, он не подписал одно заключение и прямо сказал:

— Ведь ты, Алексей, теперь в курсе, зачем же подсовываешь?»

При споре я отныне не вправе доказывать, правильно решение или неправильно, а должен только оценивать, рискованно оно или нет. Я становлюсь его соучастником...»

* * *

«...Сегодня ко мне приходил адвокат. Закончив свои дела, он попросил разрешения всегда обращаться только ко мне. Я ответил ему, что у прокурора тоже есть приемные дни. Он извинился за откровенность и сказал, что у товарища Свешникова ему неприятно бывать. Не скрывая своего раздражения, адвокат говорил:

— Как только он видит меня на пороге, так сейчас же мрачнеет и спрашивает: «Опять вы пришли? Что там снова случилось у вас?» Тон такой, словно именно по моей вине и случилось. Как будто ему не известно, что еще многое пока что случается, что потому мы с ним и сидим на наших местах...

Адвокат сказал мне довольно меткую вещь.

— Если,— говорит,— пересадить товарища Свешникова в другой кабинет или снять табличку с двери его кабинета, то посетитель может не догадаться, с кем говорит... А прокурора надо бы распознавать без вывески и удостоверения личности, распознавать по определенности действий.

Мне было неудобно поддерживать такой разговор, но что я мог возразить?..»

* * *

«...Интересный разговор был у меня сегодня со следователем Яблонским. Я всегда чувствовал, что человек он очень порядочный, и хотел с ним поближе сойтись, но это почему-то не получалось. Он очень сдержанный и обращался ко мне до сих пор только по делам. Этот человек следит за каждым своим словом, как и за своей фигурой. В сорок лет он худощавый и стройный, как первокурсник. И лицо тоже свежее и чистое, хотя он много курит. Но что он уже не молодой, видно по поведению, по самодисциплине, по манере держать себя. А может быть, тут дело не только в возрасте, а и в том, что Яблонский неисправимый интеллигент. Когда я однажды сказал, что мне не очень нравится Людмила Ивановна, он мягко заметил, что не хочет вести разговор о сослуживцах. «Не люблю я, Алексей Николаевич, злословий и сплетен». А сегодня у нас произошел очень откровенный разговор. Это вышло как-то само собой. Его сильно задел за живое приезд следователя по важнейшим делам, ему, должно быть, очень хотелось выговорить эту обиду, и он наконец выложил все, о чем прежде говорил, наверное, только с женой.

Я спросил его, нашел ли приезжий что-нибудь новое. Яблонского сразу как-то всего передернуло.

— О чем вы говорите, Алексей Николаевич, что тут может быть нового! — сейчас же ответил он, и я понял, что затронул

больное место.— Ведь следствие проведено с такой полнотой, что ничего уже прибавить или убавить нельзя. Материал совершенно исчерпывающий. Не поймите меня так, будто я о себе говорю, а... ну просто абсолютно нечего больше делать по этому делу. Сейчас происходит просто комедия. Документы того же содержания составляются заново, чтобы под ними стояла еще одна подпись. Он сам пожимает плечами... Мы поставили себя в положение мальчика, который не может до звонка дотянуться и зовет на помощь взрослого дядю. Не смогли сами кнопку нажать... Не понимаю, зачем Иван Никанорович так уронил и меня и себя...

Я заметил Яблонскому, что он сам виноват, что надо было тверже настаивать, а он ответил, что это ничего не дало бы.

— С такими людьми,— сказал он,— спор бесполезен, потому что предмет спора отсутствует. Что мне было доказывать, когда он все знал не хуже меня! Разве дело тут в доводах, в двух точках зрения? Нет, ведь Иван Никанорович поступил вопреки точке зрения, которую наверняка и сам разделял. Поэтому я никогда и не возражаю ему. Это бессмысленно. Он ведь очень-очень неглуп, все понимает. Вот вы с ним все время спорите, а что в этом толку?!

Яблонский сказал, что, по его наблюдениям, я отрицательно действую на прокурора, до моего приезда он был веселее, чаще смеялся и добродушнее выглядел.

— Вы довольно прямолинейный человек, Алексей Николаевич, и в вашем присутствии непоследовательность Ивана Никаноровича стала более явной, выпирает наружу. А это не может не тревожить его. Он вовсе не рад вашим достоинствам.

По мнению Яблонского, Иван Никанорович хитрит не только с собеседниками, но и с собой. Ему все время приходится объяснять свои поступки и действия, что уже само по себе говорит о порочности этих поступков, так как правильные действия не нуждаются в постоянных мотивировках, они ясны и без этого.

На мой вопрос, почему он не сообщил о деле строителей в область или в райком, Яблонский ответил, что его давно подмывало сообщить о многих делах, но он от этой мысли отказывался, боясь, чтобы это не показалось доносом... Прощаясь, он сказал мне с улыбкой:

— Как много надо этому прокурору, чтобы походить на прокурора!

Это было хорошо сказано, но мне стало не по себе. Разве во мне самом воплощены все черты прокурора?! Я очень горячо учил Яблонского спорить с Иваном Никаноровичем, обращаясь в райком и к областному начальству, а сам... К тому же я знаю много больше Яблонского.

Да, на мне больше моральной ответственности, чем на всяком другом. Следовательно думает, что Иван Никанорович хит-

рит не только с ним, а и с собой, убеждая себя в необходимости обходных путей. А я-то знаю, что это вовсе не так, что он совсем не пытается оправдывать себя перед собой, что он давно уже раз навсегда решил поступать неоправданно. Люди считают его просто трусом, а мне известно теперь, что он не обычный оппортунист или трус, а, так сказать, философ оппортунизма, положивший его началом всей своей деятельности. Он ведь мне так и сказал в конце разговора: «Вот тебе, Алеша, моя философия, и хоть она немудреная, а есть она у меня». Недаром он на ходу свои философские прибаутки творит...

И судья, и следователь, и адвокат — все видят и чувствуют, что представляет собой Иван Никанорович, и все-таки он остается для них недосказанным. Им он известен только по повадкам, а я знаю еще и воззрения. Они не подозревают, что в утомительных и частых конфликтах по маленьким поводам есть связь с чем-то очень большим. Меня же Иван Никанорович пустил, так сказать, в свой внутренний мир. Мне нечего больше в нем проникать, он сам открыл мне все, что в нем есть. А я не негожую, не поднимаю тревогу, молчу...»

* * *

«...Не могу понять нашего конюха. Это тихий, ровный, совершенно беззлобный человек, помогающий Ивану Никаноровичу в огородных работах. Но мне кажется, что он слабоумный. Удивляюсь, как конюх до сих пор не заинтересовал психиатров. От блаженных, которых описывали дореволюционные авторы, он отличается только дородностью и физической силой. Но он может целыми сутками ни на что не употреблять эту силу, а молча сидеть в своей архивной каморке или в стойле у лошади и жевать зерна овса. Зная, что он человек безответный, Людмила Ивановна в глаза называет его идиотом. Когда ей нужно порыться в архивах или переодеться в его комнатухе, она грубо говорит ему: «А ну, идиот, выйди отсюда!» И он молча выходит.

Когда я впервые заметил, что он жует овес, и шутя спросил, что в этом вкусного, от ответил:

— Зачем, чтобы вкусно? Нужно, чтоб польза. Он-то ведь ест. А он знает, что надо.

«Он» — это битюг.

Битюга и других представителей животного царства конюх уважает и любит. Всю жизнь он «страдает об идее» узнать их язык. Он твердо уверен, что такой язык существует, но люди, по их неразумию, не могут его разгадать.

— Вот он нашу речь понимает,— говорил он мне о битюге,— понимает, чего мы ему говорим. Пролез он в наш ум. А человек в его ум не пролез. Это есть факт. Животная, а нас пре-

взошла. И может, Савраска еще чего знает. Ведь вот он не шумный, а все думает, думает.

Однажды Иван Никанорович шутя сказал конюху:

— Коли лошадь, по-твоему, умней человека, так почему же не она автомобиль и всякие прочие вещи придумала?

— А автомобиль, Никанорыч, Савраске зачем? — возразил конюх совершенно серьезно. — Зачем ему эта машина, если он сам лошадь?

Кроме овса, конюх любит еще молоко.

— В молоке сила и ум, от молока человек всего набирается, — объяснил он мне причину такого пристрастия. — Это есть факт. Если бы все время сосать молоко, так можно прожить до ста лет.

— Невероятный болван! — злится Людмила Ивановна. — Не могу видеть! Этакий бык сосет молочко. Давить бы таких!

Но у этого болвана бывают неплохие догадки.

— Вот песни пишут на ноты, — говорил он мне однажды раздумчиво. — Эх, кабы умел я!.. Записал бы, чего животные промеж себя говорят. А потом разобрал бы, что к чему. Какая, скажем, нота об пище, какая об холоде и какая об людях, об нас. И дошел бы. До всего ихнего через ноты дошел бы...

В этой мечте есть и скорбь о магнитофоне, существование которого ему неизвестно, и здравая мысль о связи ощущений животных с нераспознанным их «языком».

И все-таки этот конюх впрямь слабоумен...

А Иван Никанорович предложил мне от него ума набираться. Он так и сказал тогда:

— Эх, Алексей, Алексей! Не понимаешь ты, что два раза никто не живет. На все реагируешь... Вот поучился бы у нашего конюха. Институты он не кончал, а знает, что в жизни самое главное — жизнь.

Я тогда не нашелся. Мне надо было сказать, что такая жизнь — это вовсе не жизнь, что жизнь ради водки и жратвы, чем она отличается от жизни ради молока и овса...»

«...Он обманывает себя, у него нет покоя. Какой это покой, если ради него столько беспокойства испытываешь!..»

«...Иванов рассказал мне сегодня эпизод о своем внуке.

Мальчишка долго не засыпал и глядел под абажур ночника. Потом подозвал деда: «Если ты меня любишь, дедушка, так давай разобьем эту лампочку и посмотрим, что у нее там в нутре...»

Я невольно вспомнил в связи с этим другой случай...

У меня был на приеме техник-строитель, который вздумал купить себе здесь домишко. Купил потому, что его баснословно дешево продали. А едва въехал, домик разбило грозой. Оказалось, потому его и отдали за бесценок, что в это место бьет

молния. У домика не раз менялись хозяева, от него старались избавиться. Он был опасен. Место считалось злым, заколдованным.

Я очень заинтересовался этой историей, а Иван Никанорович нервничал, что у меня затянулся прием. Я рассказал ему о таинственном домике и попросил подписать письмо к свердловским ученым — пусть установят, что притягивает молнию к данному месту.

Иван Никанорович накричал на меня:

— Чего ты калякаешь с каждым по два часа! Если его обманули, пусть взыскивает через суд свои деньги. Какое это к нам имеет касательство? И с чего я о молонье буду письма писать? Я еще, слава богу, не опупел. Тут с людьми-то не можешь разделиться, а он предлагает молоньей заниматься! Может, завтра предложишь планеты еще изучать?! Где это в процессуальном кодексе есть, чтобы нам следствие о природе вести? Или это тебя в вузе учили в прокуратуре разводить астрономию?

Я пытался убедить его, говорил, что нельзя пройти мимо этой истории и дать торжествовать суевериям.

— Прокуратура не распространение знаний,— отвечал он на это.— А бабы есть бабы. Насчет хозяйства они, конечно, с рассудками, а насчет прочего всегда с предрассудками. И не наше с тобой это дело. Нам сказано — бороться с ворами, а не с нечистой силой. И не о чем тут толковать!

Дети хотят проникнуть в секрет лампочки, а этот дядя отмахнулся от секрета молнии.

Ни до каких тайн ему дела нет, он ничего не желает разгадывать. Ему все безразлично. Ведь он никогда не заводил со мной разговора даже о том, хорошо или плохо идут у нас в прокуратуре дела, не нужно ли что изменить, никогда не пытался оценить свою деятельность, посмотреть на нее со стороны. Как есть, так пусть и есть...»

«...Я не раздумывая написал бы областному прокурору, если бы в наших постоянных раздорах неправда была только на одной стороне. Но в чем-то у него есть ведь и правда...»

«...Только о нем все время и думаю. Должен я что-нибудь делать или не должен?! Не делать — значит, самому постепенно скатиться... А что написать? Как объяснить, чем он плох? Как поймут мое заявление?...»

* * *

«...Вчера произошла новая ссора. Но она, кажется, уже и последняя. Теперь мы договорились, как дальше быть...»

Утром в газете появилась моя статейка о приписке тракто-

ристами лишних гектаров. Директор МТС возмутился, бросился в райком и устроил скандал. Круглов уехал в область, и директора некому было унять. Второй секретарь вызвал Ивана Никаноровича и редактора газеты, сказал им, что появление такой статьи политически вредно, что она подрывает авторитет МТС и после этой статьи колхозы не будут верить.

Иван Никанорович возвратился из райкома взбешенный и накинулся на меня. Я объяснил, что недавно в районе был четвертый случай злоупотреблений со стороны трактористов, обманывающих и колхозы и бухгалтерию МТС. Моя статья требует от полевых бригадиров контроля при приемке работ от трактористов, эта статья практически полезна и поэтому не может быть политически вредной. Но Ивана Никаноровича все это не интересовало. Он кричал, что я ссорю его с директором МТС, что я подвожу его. Он заявлял, что после его откровенного разговора со мной я не смею так поступать, что это предательство, что дела на трактористов я подsunул ему на подпись, что мне ни в чем нельзя доверять, за каждым моим движением надо следить...

Он так кричал, что посетителям за дверью все было слышно.

Я сидел потом весь вечер и думал, что делать. Начал было письмо областному прокурору, написал две страницы, разорвал и вместо этого написал письмо... Ивану Никаноровичу. Я сказал ему в этом письме, что ничего не желаю знать о его прошлой жизни, что хочу жить иначе, жить, как я понимаю. Я предложил ему распределить между нами круг дел. Он будет отвечать за свои, я — за свои. Так моя совесть будет чиста.

Иван Никанорович сказал сегодня, что он согласен.

Но это чушь. На практике такое разделение невозможно, и он не может не отвечать за дела, которые я веду.

Почему это так: когда я учился, мне все было ясно, когда выучился — многое стало неясно?..»

* * *

Из беспорядочных записей в дневнике Алексея видно, в каком разладе с собой он находился. Это понятно, Алексей впервые встретился с человеком ушибленным. Ушибленным в годы, когда Алексей был еще несмышленишкой. Годы были не сладкими, а человек этот — слабым. И он истолковал жизнь по-своему...

Алексей это чувствовал, чувствовал, что его партийная совесть требует от него бороться с начальником, сошедшим с партийных позиций.

Но решительного шага в этой борьбе Алексей не предпринял. Для этого было, видимо, много причин. Во-первых, Алексей ощущал, что Иван Никанорович стал такой не по злобе природы. Во-вторых, он оказывался временами и правым... Но главную роль в нерешительности молодого помощника сыграла, вероятно, привязанность. Многие было ему в начальнике мило. Например, душевный тон разговора в минуты согласия, детски надутые губы при недовольстве, его манера ворчать и сердиться, его сообразительность, простота обхождения, меткие, крутые словечки...

Алексей не примирился с ним, но притерпелся к нему.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НИ ЗА ЧТО НИ ПРО ЧТО...

Мы знаем, в чем была суть расхождений между двумя прокурорами. Первый считал, что лучше делать несправедливости, чем самому их терпеть, а второй говорил себе: «Справедливость прежде всего!» — и не верил, чтобы такое упорство могло волевать человека в беду. Но это случилось.

Случилось не в результате интриг. Интриги вокруг него не плелись. Никто не вел против Алексея затяжной тайной борьбы, не копал ему ямы, не писал на него анонимок. Конечно, у него, как у всякого прокурора, были недоброжелатели среди людей, привлекавшихся к судебной ответственности, но эти люди не приложили руки к его делу.

А дело возникло необычайное, какого никто не смог бы предвидеть, — уголовное, грязное... Настойчивое желание доискаться правды при ведении следствия привело самого Алексея под следствие. Произошла та чушь, та нелепость, о которой ему справедливо говорил Иван Никанорович, что ее трудно бывает преодолеть. А почему трудно, читатель увидит...

Приезд Шуры задержался. Она была больна, перенесла операцию и написала об этом Алеше уже после выздоровления, чтобы ему не пришлось за нее волноваться. Он все равно волновался и ждал ее нетерпеливее прежнего. Из-за болезни у Шуры перенесены были на осень выпускные экзамены, и она могла теперь выехать только после начала учебного года. Алеша и Шура стали заново вести календарь!..

Но примерно за месяц до нового срока приезда Шуры в Сердейск милиция арестовала в саду одного человека... Впро-

чем, история завязалась не из-за ареста. Она завязалась из-за того, что Анна Сергеевна задумала сделать в доме ремонт. Стены в нем осели, половицы прогнулись, подоконники перекосились, и старушка боялась, что молодой не понравится такой запущенный дом. Она хотела его обновить.

— На мой характер,— говорила она Алексею,— я бы уж и веревку к ведру для колодца намотала другую, а то наша в узлах вся. Да нету сейчас в кооперации толстоты подходящей. В сельпо у щербиновцев есть, говорят, да ведь оттуда не ездит никто на базар, никому не закажешь. Не знаю, успею до Шуры достать или нет.

— Да что вы, Анна Сергеевна! — поражался Алеша. — Зачем Шура новая веревка нужна?

— А как же! — объяснила старушка. — Знаешь, чего происходит, ежели полное ведро вдруг обрывается? У-ю-ю... Я еще девчонкой была, когда у нас в деревне одна молодуха тоже вот так ведро поднимала, а оно вдруг бултых — и ручка от ворота ей прямо по уху, и ребеночек у нее глухой родился.

Алеша терялся от этой предусмотрительности и не находил что ответить.

На время ремонта он хотел было поселиться у Лобова, но передумал. Туда приходила Глотова, а встречи с ней создавали бы для обоих неловкость. И Алеша оставался спать на диванчике в кабинете Ивана Никаноровича. Старик у об этом не говорил — тот потащил бы помощника к себе на квартиру, а Алеша не хотел выслушивать его излияния.

И вот во время ремонта...

Он хорошо помнил этот вечер.

Из прокуратуры он вышел в семь и отправился домой пособлять Анне Сергеевне. Она подрядила одного старичка, «по всем статьям мастера», и тот шил и тесал половицы, сбивал крылечко, раздвигал стены Алешиной комнатки. Все это мало преображало старенький домик, но все же делало его удобней и чище. Анна Сергеевна мечтала со временем вообще перестроить его. Она говорила, что, когда молодые обживутся и денег накопят, надо будет исправить покосы, заменить толем прогнившую щепу на крыше и выломать русскую печь.

— Тогда,— обещала она,— вы расположитесь. А сейчас, Алексей Николаевич, нельзя. Перехватить у кого-нибудь денег на печника мы с тобой сможем, а вот доставать каждый день булки не сможем. Ведь в пекарне их только на час и хватает. Кто дома без печки — ходи по соседям, проси от краяхи отрезать. А с печкой в доме тесновато, да в желудке богато. А вот сенцы и чуланчик будем прямо нынче чинить. Как наш мастер с твоей комнатой кончит, так сразу за чуланчик возьмется. И лишние вещи Шура туда сможет сложить, и спать будете в нем, когда жарко. А там, бог даст, веранду приделаем. Со стеклом да с узорами. Так обстроимся, что душа будет радоваться...

Ремонту Алеша действительно радовался. Он хотел, чтобы Сердейск показался Шуре такой же веселой дачной местностью, какой представился и ему по приезду. Только бы она успела сюда до дождей, когда весь избяной, черный Сердейск хочется сжечь и выстроить заново! Только бы ступила она на свежеекрашенные половицы солнечной комнатки, а не на испачканное уличной грязью бурое дно полутемного ящика, каким выглядела та же комнатка осенью!

Удивительно менялось Алешино жилье от времени года и суток. Со свердловскими комнатами это не происходит, только с сердейскими. Здесь светлые обои, белизна потолка и блеск половиц — необходимая защита от хмурости улицы. Даже в дневные часы хочется отгородиться от нее наглухо запертой ставней. Городская двадцатилетняя девушка может затосковать в осенней деревне по другой комнате, где штора, центральное отопление и настоящий электрический свет позволяют вообще забывать о погоде.

В тот вечер Алеша часов до одиннадцати неумело помогал старушке и мастеру, поужинал с ними и отправился на ночь в прокуратуру. По дороге он случайно услышал разговор о хулиганской выходке в парке. Люди возмущались пьяным, ударившим по голове какую-то женщину. Та свалилась без памяти. Алеша обернулся и спросил, задержан ли хулиган. Ему ответили, что на этот раз хулиган, слава богу, не ускользнул. Алеша узнал прохожих — это был пожилой служащий почты. Он возвращался с женой из сада. Почтовик тоже узнал прокурора. Они пошли вместе. Спутники Алеши стали жаловаться ему на хулиганство в саду.

— Управы нет на них, — говорила женщина. — Зачем сад оборудовали, если в нем сидеть не дают! Понаделали клумб, организовали оркестр, расставили скамейки со спинками, а ругань такая, что не захочешь ни аромата, ни музыки...

Алеша почувствовал в этих словах личный укор. За безобразия в саду он, прокурор, нес какую-то долю ответственности. После приезда в Сердейск разного сбродного люда случаи хулиганства там участились. Жители жаловались в газету на бездействие сердейской милиции. О необходимости усиления борьбы с хулиганством много говорилось на разных собраниях. Это была горячая тема.

Услышав о нападении на женщину, Алеша сразу же позвонил начальнику районной милиции и предложил расследовать дело в суточный срок. Потом он договорился с Ивановым устроить суд в самом саду — пусть молодежь послушает. Алеша сказал Иванову, что завтра вечером дело придет из милиции, а послезавтра он передаст его в суд.

Но дело из милиции не пришло — обвиняемый молчал и ничего не хотел говорить.

— Погоди, товарищ Корнев, не беспокойся, — заверял на-

чальник милиции,— он посидит еще пару суток, заскучнеет и будет овес брать из рук.

Но обвиняемый не приучался. Дело застопорилось. Были показания случайных свидетелей, как всегда путанные в важных подробностях, а показаний самой потерпевшей не было — она лежала в больнице. Алеша сильно усомнился и в том, был ли обвиняемый действительно пьян. Помощник прокурора спросил об этом милиционера, но тот дал неопределенный ответ: когда задержанного повели, он шатался, но «духу» от него не было слышно. Необычной в этой истории была и другая подробность — задержанный совершенно не сопротивлялся милиции, не ругался, «шел сникший, молчком», а в отделении безразлично сказал: «Делайте со мной что хотите».

Алеша лично переопросил всех свидетелей, но они ничего не могли рассказать. Видели, как обвиняемый ударил женщину палкой — и только. За что ударил, при каких обстоятельствах, как вел себя задержанный до происшествия, держался ли вызывающе, приставал ли к девушкам, искал ли драки,— ни о чем этом свидетели не брались сказать. Немного подробнее было лишь показание одного инженера. Именно он задержал хулигана и, поручив его охране толпы, привел постового. Инженер сообщил, что приехал в Сердейск на строительство, познакомился здесь с Ириной Ивановной Рыльской и в тот вечер гулял с ней по саду. Возле них крутился какой-то парень. Рыльская, смеясь, сказала, что этот сопляк за ней бегаёт. И вдруг этот парень набросился на Рыльскую и с такой силой ударил по голове, что она и в больнице не сразу очнулась... Инженер утверждал, что хулиган был пьян.

В крохотном городке, где и небольшое происшествие делается предметом больших разговоров, случай в саду превращен был в событие. Районная газета напечатала резкую передовую статью «Хулиганов — к строжайшей ответственности!». Суд надо было ускорить, а следствие затормозилось.

— Закругляй! — приказывал Иван Никанорович, но Алеша, сам же начавший следствие, не мог «закруглить».

Все в этом деле было туманным, а показание инженера придавало случаю еще и загадочность. Вопреки разноречивым словам очевидцев, оказалось, что обвиняемый не имел при себе тяжелых предметов, а палку выхватил у кого-то из рук. Это могло означать, что он действовал по какой-то внезапно возникшей причине. А главное — задержанный оказался вовсе не из того круга людей, против которых предубеждены были местные жители. Он сам был местным, и о нем поступили хорошие отзывы. Алексей Кобозев работал на машинно-тракторной станции и, несмотря на молодость, считался опытным слесарем. Тракторы, которые он ремонтировал, весь сезон не выходили из строя. Газета, которая требовала теперь сурового приговора Кобозеву, в Майские дни поместила его портрет на первой странице.

Алеша съездил в МТС и подробно расспросил о задержанном. Его аресту тут удивлялись. Кобозева знали парнем тихим, непьющим, робким, а не разбитым. Люди утверждали, что он никогда не буянил, не скандалил, не дрался.

Алеша рассказал об этом Ивану Никаноровичу, тот похмыкал и сердито сказал:

— Все равно закругляй. А то еще скажут, будто мы борьбу с хулиганством срываем. Шли в суд, пусть он сам разбирается.

Но Алеша раздумывал. Он не верил, что Кобозев ударил женщину ни с того ни с сего, просто «по пьянке». Алексей не отправлял дело в суд и надеялся что-нибудь выяснить.

И вот случай помог ему.

Поздним вечером, когда в помещении никого уже не было, кроме непременной Людмилы Ивановны, Алеша сидел в своем кабинете и, по обыкновению, изучал в эти спокойные часы очередные дела.

— Там какая-то девица к вам заявилась,— доложила, войдя в кабинет, секретарша.— Я говорю ей, чтобы завтра пришла, а она требует, лезет, говорит, что ваша знакомая.

Алексей удивился, но велел впустить к себе посетительницу. Секретарша зло повернулась на каблуках.

В комнату вошла полудевушка-полуребенок. Ее хорошенькое лицо показалось знакомым. Она застенчиво остановилась у дверей, потом, подбодренная приглашением, села.

— Вы не помните меня? — спросила она, волнуясь.

— Я где-то вас видел,— ответил Алеша,— но не могу вспомнить где.

— Ну, вы тогда... вы были в таком состоянии... и позабыли...

Она еще больше покраснела от невнятицы собственных слов и смешалась. А Алексей разом вспомнил: это была та девочка из МТС, которая на злополучной вечеринке у Лобова спрашивала его, настоящий ли он прокурор, и увидела потом спящим в соломе...

Теперь покраснел Алексей.

— Да, я действительно тогда немножко того... Случилось... Но я вас, конечно, помню... Что такое у вас? Почему вы на ночь глядя в город пришли?

— Я днем на работе... Но это пустяки, всего семь километров, я ведь шла по прямой... Я поговорить с вами пришла. Еще раньше хотела, но не решалась... У нас дома несчастье...

— Что такое? Да вы не волнуйтесь... Вас Надя зовут? Ну, рассказывайте, Наденька, я помогу, чем могу.

— Моего брата арестовали,— сказала девушка, опустив глаза,— в милиции он. Передачу у мамы не принимают...

— За что арестовали? Когда? Как фамилия? — спросил Алексей и по привычке сразу пододвинул к себе телефон.

— Восемь дней уж. Кобозевы фамилия наша... Алексеем зовут...

— Кобозев? — Алеша даже привскочил. — Кобозев — ваш брат? Да вот же дело его! Понять не могу, за что он напал на какую-то женщину... Надя, слушайте, вы уже взрослая, я вам прямо скажу — это дело серьезное. Ваш брат ничего не хочет нам объяснить, на меня нажимают...

На глазах девушки показались слезы.

— Я вам все расскажу.

Оказалось, что брат ее, которому только что исполнилось двадцать, влюбился в прошлом году в тридцатилетнюю женщину. Он стал ходить после работы в Сердейск и не возвращался домой ночевать. Потом он, видимо, наскучил Рыльской, и она начала его избегать. А для Кобозева эта близость была событием в жизни.

— «Жениться, говорил, мама, буду...» Уж мы с мамой уговаривали его, уговаривали — он и слушать ничего не хотел. А Ирина эта... стыдно про нее говорить... она всему району известна. Красавица, какой не найдешь, а замужем была сорок раз... Наш Леша вовсе мальчик был до нее, никуда, кроме своей мастерской, не ходил, краснел при подругах моих. Тихий был, стихи очень любил и сам сочинял. А когда она его бросила, он есть перестал, как ошалелый ходил... С работы придет, ляжет на койку, закрывает глаза — и закричит, заругается... Со всем он переменялся... У мамы сердце болит, плачет она, а подступиться к Леше боится...

И помощник прокурора все понял...

Товарищ вытащил утерявшего веселость парня в город, в сад, погулять. Здесь Кобозев увидел вдруг Рыльскую с каким-то мужчиной. Тот держал ее под руку. Они были веселы, нарядны и громко смеялись. Кобозев заставил себя отвернуться. Может быть, он и потом не сорвался бы, но до него донеслись слова «сопляк», «за мной бегаешь». Над ним смеялись... Кобозев и сам, вероятно, не помнит теперь, как выхватил у кого-то палку, ударил...

Прокурор и его посетительница не заметили, как время пошло к двенадцати. В кабинет постучались.

— Я должна запереть канцелярию, — вызывающе сказала секретарша, не глядя на посетительницу.

— Ну и запирайте, пожалуйста!

— Я же не могу, когда здесь сидят у вас!

— Дайте мне ключ и идите домой.

— А ваша посетительница останется здесь?

— Сколько надо будет, столько останется.

— Я отвечаю за канцелярию!

Надя вскочила.

— Я пойду... — заторопилась она.

— Куда? Об этом еще надо подумать. Ведь ночь! — спохватился Алексей и резко приказал Людмиле Ивановне оставить ключи.

Та молча положила их на стол и вышла, не попрощавшись.

— Для меня ясно, что ваш брат не хулиган,— обратился Алеша к очень смутившейся Наде.— Я сделаю для него все, что смогу. Но куда вам идти теперь? Я не отпущу вас одну. У меня дома ремонт, и ночью я тут. И вас тоже устрою. Не совсем это удобно, но ничего не поделаешь.

Девушка протестовала, он настоял.

Как покаялся он впоследствии, что не пришла ему в голову простейшая мысль — отвести ее к Лобову, где он с ней познакомился! Но в жизни часто так и бывает, что самое умное открывается только после того, как сделаешь самое глупое... Алеша устроил девушку на диване у Ивана Никаноровича, сам продремал ночь за столом. А девушка, взволнованная своим визитом в прокуратуру, не сразу заснула, забылась уже на рассвете и вскочила с приходом уборщицы...

А утром прокурор допустил вторую оплошность. Он решил пойти к Кобозеву, уговорить его дать показания и этим облегчить свою участь. Но прокурору совсем не обязательно было посещать заключенного. А уж если пошел к нему, надо было захватить с собой бланки протоколов допроса — ведь шел-то не в гости! Но кто мог предвидеть, какие выйдут из этого визита последствия...

Кобозев оказался рослым, худощавым парнем с чистой кожей лица, грубыми, большими руками и печальным выражением глаз. Помощнику прокурора стало жаль арестованного, который так не походил на преступника.

— Скажите, Кобозев, вы были пьяны?

— Я ничего не скажу. Судите меня как хотите.

— Ответьте мне только на этот вопрос.

— Не пью я.

— За что же вы ударили женщину?

— Я сказал, что не буду ничего говорить, и не буду.

— А знаете вы о том, что у Рыльской может быть сотрясение мозга? — спросил Алексей, чтобы проверить, какое впечатление произведет это на обвиняемого.

Кобозев побледнел. Он схватил прокурора за руку.

— Это правда?

— Врачи не разрешают ей сразу вставать...

Кобозев молчал.

— Я все знаю,— сказал тогда прокурор.— Знаю, что вы любили ее, что она оскорбила вас. Согласитесь, Кобозев, дать показания, и тогда я увижу, что могу сделать для вас. Рыльская, например, сказала врачу, что никогда не была с вами знакома. Вы же можете это опровергнуть.

— Уйдите! — тихо сказал обвиняемый.

Алексей понял, что настаивать дальше не надо... Он вышел, приказав охране быть с Кобозевым помягче.

— Будьте спокойны,— сказали ему,— мы же видим, какой это парень. Очень переживает. Ночью во сне кричит.

А когда Алексей вернулся в прокуратуру, его ждал там секретарь районной газеты. Он показал письма от школьниц и пожилых жителей города. Читатели благодарили редакцию за передовую статью и требовали такого наказания Кобозеву, которое послужило бы острасткой всем хулиганам.

Алеша стал объяснять, что Кобозев не хулиган. Секретарь пришел в ужас. После передовой статьи, после множества писем газета не могла быть отбой.

У Алеши сложились наилучшие отношения с районной газетой. Он был в ней желанным автором, своим человеком. Редактор с ним часто советовался, Алеше не раз посылались на отзыв намечавшиеся к печати статьи. А теперь у Алеши наступал с газетой разлад.

И не только с районной. Случаю было угодно, чтобы о деле Кобозева упомянула и областная газета. Ее спецкор как раз находился в Сердейске во время этого случая с Рыльской. И в корреспонденции «Культурная жизнь районного центра» автор рассказывал о библиотеке и ее посетителях, называл темы читанных в городе лекций, сравнил количество почты, поступавшей в Сердейск до революции, с приходящей ныне, напомнил, что спортсмены Сердейска выиграли межрайонный матч по хоккею, хвалил самодеятельность в Доме культуры. В конце статьи он ругнул парткабинет за то, что на дверях его часто висит замок, и милицию, допускающую хулиганство в саду. Он писал, что «парк предоставляется вечером во власть хулиганов», и назвал имена...

Освещенное газетами дело Кобозева приобретало значительность, которой совсем не имело. И обе газеты нетерпеливо ждали возможности сообщить читателям о приговоре. А в это время Алеша убедил Ивана Никаноровича освободить Кобозева из заключения.

Убедил легче, чем сам ожидал. Конечно, начальник не сразу поддался его доводам. Но они его напугали. Кобозев находился под стражей сверх сроков.

— Отправляй дело в суд, и тогда он будет уже не наш арестант,— пробовал возражать Иван Никанорович.

Но Алеша уверил прокурора, что Иванов не пройдет мимо случая, когда арестованный сидел лишнее время без предъявления ему обвинения.

— Ведь он никуда не сбежит, — уговаривал Алеша начальника, — а Иванов может написать областному прокурору, что мы незаконно держим под стражей людей. Кобозев уже просидел лишних семнадцать часов.

Иван Никанорович сейчас же подписал заготовленную Алешей бумажку о замене ареста подпиской о невыезде.

Теперь Алеша мог спокойно, не торопясь дать делу верное направление. Рыльская уже выписалась из больницы и должна была дома срок, положенный после легкого сотрясения мозга. Предстояло допросить ее, ознакомиться с ее показаниями Кобозева, получить от него объяснение.

Так Алеша рассчитывал, так бы и сделал, если бы не произошло много случайностей.

На следующий день после освобождения Кобозева в прокуратуру снова пришла его сестра Надя и принесла в узле... огромный пирог. Сильно конфузясь, она сбивчиво объяснила, что сегодня пятое сентября, день Алексея, что брат поспел домой как раз к своим именинам, что мать велела передать прокурору ее благодарность и так как он, прокурор, тоже Алексей, то она и ему испекла именинный пирог.

Алексей смутился не меньше Нади. Он стал решительно отказываться от пирога, а Надя настаивала и просила не обижать ее мать. Положение было попросту глупое.

Но еще глупее вышло дальше. Во время разговора о пироге в комнате вдруг потемнело и на улице поднялись столбы пыли. Алексей едва успел захлопнуть окно, как начался ураган, закруживший в воздухе всю грязь, какую только мог поднять со дворов. Он с отчаянной силой пробушевал несколько долгих минут и сменился таким же отчаянным ливнем.

Надя пришла в сарафанчике и ситцевой кофточке. Выйти сейчас в таком виде на улицу нечего было и думать. Алексей предложил ей посидеть у него, пока ливень не схлынет. Чтобы занять ее чем-нибудь, он дал ей «Крокодил», а сам снова погрузился в дела. Но читать было трудно. Картинки в журнале были видны, а строчки сливались. Свет зажечь тоже нельзя было — он давался летом с семи часов вечера, а сейчас только начинался шестой. Оба сидели и чувствовали себя очень неловко, не зная, о чем говорить. А небо было заложено, и просвета не виделось.

И вот в этот неудобный момент зашел Иван Никанорович. Он недоуменно посмотрел на пирог, на девушку, на «Крокодил», смутился и неуверенно попросил Алексея:

— Ты бы позвонил своему Лобову, а? Может, даст нам машину домой доехать... А то этак до завтра придется сидеть.

Алексей тоже смутился. Смутился оттого, что не решился рассеять удивление, стоявшее в глазах начальника, ответить на его молчаливый вопрос и объяснить ему, кто эта девушка, принесшая, словно жена, узелок с пирогом... Почему-то не хотелось сказать, что это сестра освобожденного Кобозева.

Иван Никанорович поспешил выйти из комнаты. Алеша позвонил Лобову. Машина оказалась на месте и через пять минут примчалась в прокуратуру.

Алеша попросил Колю Михляева отвезти Ивана Никаноровича и вернуться за остальными.

Так и сделали. Первым рейсом уехал начальник, вторым — Людмила Ивановна, Алеша и Надя. Но Алеша не хотел оставлять Надю в машине со своей любопытной сотрудницей и поэтому отвез прежде Людмилу Ивановну, хотя это и было не по дороге. Он и не подозревал тогда, что этот маршрут станет впоследствии предметом исследований.

С одной нескладицей сплелись и другие.

Инженер, приятель Рыльской, был правой рукой начальника стройки. Алеша видел их вместе и знал, что они на короткой ноге.

На площадке строительства Алеша побывал еще задолго до случая с Кобозевым. Это было в великолепный, солнечный день. Солнце взошло после ночного дождя, прибившего пыль и перекрасившего бледно-розовый кирпич в ярко-красный. Ярко блестя и крыши готовых домов, отливавшие серебром свежей кровли. Когда Алеша приближался к площадке, эти домики казались рисованными. Лежавший навалом набухший кругляк далеко распространял запах смолы. Сновавшие по площадке грузовики и синие человечки на стенах цехов придавали строительству на этом солнечном фоне вид веселой возни.

Но так казалось лишь издали. На самой площадке люди выглядели не синими, а серо-бурыми, и красного цвета здесь было меньше, чем черноты котлованов и коричневой ржавости камня, песка и железа. Большущее пространство, где лежал недавно пустырь, было все разворочено, изрыто, завалено, местами заставлено коробками зданий. Беспорядок, каким кажется постороннему человеку всякое большое строительство, здесь особенно бросался в глаза. Алеша не знал связей между делами, которые делались в разных концах огромного поля, и они показались ему бессистемными. Привыкший к симметрии в расстановке студенческих коек и канцелярских шкафов, он не увидел здесь симметрии. Все было тут разбросанным, непонятным, нецельным. Пыхтела бетономешалка, врезалась к кругляк пилорама, чадила какая-то печь, и в то время как одни люди копошились в земле, другие были уже на верхотурах каменных стен. Алеша неуверенно бродил по площадке, смотрел на шипящий огонь автогена, наблюдал, как укладывались трубы в земле, слушал лязганье скрепера, ругань рабочих, заглядывал в наскоро сбитые мастерские, вернее, сараи, где что-то ковали, слесарили или варили в чанах. Потом его кто-то окликнул. Он увидел мощную фигуру начальника стройки и казавшегося рядом с ним особенно маленьким секретаря райкома. Круглов спросил у Алеши, что он тут делает. Алеша объяснил, что выбрался посмотреть на строительство. Круглов сказал, что тоже смотрит строительство, и предложил Алексею присоединиться к ним. Начальник стройки

протянул Алеше руку, почти не взглянув на него, и Алешу всего передернуло от невнимательности этого барина.

Но по мере того как Алеша ходил с ним по площадке, слушал его разговоры с Кругловым и распоряжения, отдававшиеся им на ходу, это давнее предубеждение против начальника стройки у него постепенно исчезло. Тот был, очевидно, не барин, видал всякие виды. Здоровый пожилой человек, он привык проводить на жаре и морозе столько же времени, как в помещении, одинаково выглядел и в элегантном костюме и в рабочей спецовке, умел разговаривать и с большими начальниками и с землекопами, сам побывал в этих разных ролях. Он знал цену труду, умел преодолевать и неподатливость почв, и перебои в снабжении и тратил на каждого человека лишь столько минут, сколько требовалось. Он и Круглову объяснял каждый раз не больше того, что считал нужным, отвлекался от бесед с ним для разговора с прорабами и часто вообще оставлял секретаря одного, уходя куда-то с инженером или рабочими. Стоило инженеру позвать его, как он сейчас же забывал своих спутников.

Из отрывочных объяснений начальника Алеше становились понятными дела на площадке. Здесь должно было создаваться одновременно несколько разных заводов, но очередность работ определялась не планом, а фактическим поступлением металла, цемента и леса. Крупных блоков и сборных конструкций не прибывало вообще, и на стройке все приходилось делать самим. Не хватало шлакобетонного заводика, подъемных механизмов, транспортеров и многого прочего. Круглов хотел, чтобы к началу стойлового периода и зимовки скота был готов хотя бы завод комбикормов, а начальник рассеянно отвечал, что его интересуют не стойловые периоды, а периоды стройки, которые и без того совершенно нарушены, что ему нужно до холодов закончить фундаментирование всех помещений, на которые он переключает сейчас строителей независимо от специальности, заставляя их работать вместо землеройных машин. Начальник дал понять, что он строил танковые и машиностроительные заводы в Сибири, что для каждого возводимого предприятия он ставил сначала двадцать подсобных, привык к большим масштабам и большим начинаниям, и если судьба забросила его теперь в подрядную организацию, взявшуюся строить в крайне примитивных условиях какой-то деревенский пищевой комбинат, так он просит хоть не мешать ему в этом. Ему виднее, что и в какую очередь делать. Окончание пастбищного сезона и приближение срока уборки картофеля не имеют к нему никакого касательства...

Во время этого разговора подошел инженер и добавил, что строителям вообще вставляются здесь палки в колеса, что следователи заставили снять с работы лучших снабженцев, травят оставшихся, тормозят получение материалов на месте. Инженер сказал, что если в районе, где нет ни леса, ни камня, захотели

иметь пищевой комбинат, так нечего заниматься чистоплюйством...

Условия стройки были действительно очень нелегкие, но Алеша видел, что ее руководители впрямь только подрядчики, которым безразлична была судьба сердечных колхозников. Эти люди озабочены были лишь своими делами, делами на стройке, а не положением деревень, ради которых стройка велась.

Потом этот инженер приезжал к Алексею с просьбой прекратить дело воров...

И вот этот человек, уже предубежденный против Алеши, пришел вдруг в прокуратуру справиться, когда наконец будет суд над хулиганом. Он сказал, что уезжает на десять дней в область за механиками, и боится, как бы суд не состоялся без него или не сорвался из-за этого.

Алеша слышал этот разговор через стенку и не вмешался в него. Людмила Ивановна должна была посмотреть карточку и дать посетителю справку о том, что дело еще не закончено следствием. Но, выйдя через некоторое время из комнаты, Алеша увидел, что Людмила Ивановна усадила посетителя к себе поближе и о чем-то приглушенно с ним разговаривает. Алеша сразу почуял недоброе. Через некоторое время инженер прошел к прокурору. Тот вызвал к себе Алексея. Иван Никанорович был обеспокоен и, как всегда в таких случаях, красен.

— Вот мой помощник. Он это дело ведет. Тут, понимаете, получается, товарищ инженер, осложнение... Он не был пьян, этот Кобозев. Он, видите ли, дружил когда-то с вашей знакомой, имел, так сказать, свои счета с ней. Да... И вот мы выясняем... Ваша знакомая еще, к сожалению, болеет, но как только выйдет, мы сейчас же поговорим с ней... Да... А пока товарищ Корнев вам объяснит...

Алеша коротко рассказал инженеру, в чем дело. Тот слушал внимательно и недоверчиво.

— А откуда у вас эти сведения, товарищ? — спросил он Алексея, даже не назвав его по фамилии. — Из какого источника вы их получили?

— От такого же свидетеля, каким были и вы. Но вы знаете одну сторону дела, а он еще и другую.

— Возможно, возможно! — нервно сказал инженер. — Но мне кажется странным, что пострадавшую женщину здесь не только не защищают, но еще оскорбляют. А человека, который чуть не убил ее, освобождают. Нашему брату, профану в судейских делах, такой поворот не понятен. Но вам, конечно, виднее, — едко заключил он и сразу поднялся. — Простите, пожалуйста, за беспокойство. Я по наивности думал, что могу вам потребоваться, а оказывается, что я только бремя... Ну, честь имею, — откланялся инженер и вышел, не дожидаясь ответа.

— Сейчас же сплавляй дело в суд! — набросился на помощника Иван Никанорович. — Чтобы завтра же его у нас не было.

Не желаю больше таких визитеров! И слышать ничего не хочу! Вредитель ты мой! Крест, наказание мое! Наверное, господь бог за то и послал на меня этот крест, что я в двадцать третьем году снял нательный. Вон председателя райпо повезли рак вырезать, а я еще не знаю, кто раньше помрет — он ли от рака или я от тебя. Сейчас же убирайся к себе и пиши заключение.

Алеша пошел допрашивать Рыльскую. Дверь ее дома была на замке. На стук никто не откликнулся. Во дворе тоже никого не было. Думая, что люди, вероятно, на огороде, Алексей прошел на зады. Но здесь оказался не огород, а яблоневый сад. Деревья покрыты были дозревавшими фруктами. Это нечасто встречалось в холодном Сердейске. Но еще больше удивила Алешу другая картина. Посреди деревьев, на низкой, широкой тахте, покрытой ковром, спала полуодетая женщина. Спасаясь ли от жары или просто не желая стеснять себя, она расстегнула сарафан, предоставив ветерку освежать ее. На земле валялось пикейное одеяло, которое женщина сбросила, вероятно, во сне. Лицо ее, черты которого природа рассчитала с какой-то особенной точностью, было лучше всего, что Алексей когда-нибудь видел. Пробиваясь сквозь ветки деревьев, ветерок задувал иногда на это лицо светлые, необычной нежности волосы, и тогда женщина мотала во сне головой, словно желая дать Алексею увидеть, как она хороша.

Это была несомненно не деревенская женщина. Тонкий нос, холеная кожа, затейливый покрой сарафана, едва уловимый, но въевшийся в поры запах духов — все показывало, что это была не деревенская женщина.

Алексею надо было или уйти, или разбудить ее, а он не сделал ни того, ни другого, стоял и смотрел... Но она проснулась именно от его упорного взгляда. Открыла глаза, изумленно на него посмотрела, но не вскочила, а только подняла с земли одеяло, довольно спокойно накинута его на себя и сказала без особого возмущения в голосе:

— Вы с ума сошли! Как вы попали сюда? Что за нахальство!

— Я искал Рыльскую,— забормотал Алексей.— Я из прокуратуры... Я искал во дворе...

Женщина увидела его растерянность и усмехнулась.

— Рыльская — это я. А что вам надо? Я ведь сказала милиционеру, что никакими судами заниматься не буду, пока не поправлюсь. Врачи сказали — три недели лежать, пить снотворное. А вы к раздетой приходите... Нахальство, честное слово!

Алексей стал объяснять, что все сроки прошли, что его торопят, что без ее показаний нельзя сделать выводов.

— А вы и не делайте,— ответила Рыльская.— Я не хочу, чтобы сейчас что-нибудь делали. Мне надо подумать. Я не долж-

на сейчас волноваться. Нужно обязательно вылежать. Еще не хватает идиоткой остаться! Из-за какого-то дикаря... Деревенского дикаря неотесанного... Нет, вы сейчас ко мне с этим не приставайте... Я еще дней десять не буду вставать.

Алексей понял, что она действительно боится последствий сотрясения мозга и решила соблюдать предписанный врачами режим. Он стал просить ее дать показания здесь же, на месте, сказал, что это отнимет у нее только час, что у него есть с собою бланки допроса.

— Нет,— подумав, возразила она,— раз уж вы пришли, так поговорить я с вами могу, но подписывать протоколы не буду. Вот сядьте на травку, я вам все объясню. Да только подальше, подальше садитесь, а то тоже вдруг влюбитесь не хуже этого Кобозева.

Алексей растерялся. Женщина знала о своей притягательной силе. А дальнейший разговор показал, что эта сила обременяла ее, мешала ей жить.

— Ну, что вам хочется знать? — вяло спросила она, подворачивая под себя одеяло и рассматривая Алексея без всякого любопытства к нему. Ей, очевидно, давно уже не был любопытен никто.

— Прежде всего скажите: кто вы такая? — спросил Алексей.— Вы ведь, конечно, не местная жительница. Когда вы приехали сюда? Для чего? Что вы здесь делаете? Когда познакомились с Кобозевым?

— Нет, местная,— спокойно возразила она.— Но только увезли меня отсюда девчонкой.

Она рассказала о себе несколько странную,— может быть, правдивую, а может быть, давно уж придуманную историю.

Ее прабабка служила в дворовых у подмосковного помещика и родила от него дочь. Потом он выдал свою любовницу замуж, дал ей денег, и она уехала с мужем за Урал, купила здесь землю и стала крестьянствовать.

— От моей бабки большое племя пошло,— сообщила она.— У меня здесь, в Сердеевке, трое дядьев, пятеро теток и штук двадцать двоюродных. Но только я уродилась другой. Говорят, будто похожа на какую-то помещичью бабушку, с которой писали портреты.

Женщина не рисовалась. Ей было известно, что не любоваться ею нельзя. Известно по многолетнему опыту, по множеству прошедших около ее жизни людей. Именно только около жизни, так как ни один не задержался в ней... Она рассказала Алексею о своей жизни без всякого волнения, рассказала в таком тоне, словно речь шла о другой женщине, а не о ней. И Алексея поразило это бесстрашие. Кроме ее собственного повествования Алексею пришлось услышать впоследствии и рассказ квартирантки Рыльской — учительницы, часто коротавшей с ней вечера.

Вот как шла жизнь этой женщины.

Ей было четырнадцать лет, когда деревенские парни начали драться из-за нее, пока после одних пьяных посиделок не поделили... Пятнадцати лет она спасла мать от раскулачивания, заворожив председателя райисполкома. В том же году ее увез с собой в областной центр молодой вербовщик, приезжавший в Сердейск набирать рабочих для строительства завода комбайнов. Но вербовщик был постоянно в разъезде, а на женщину стали посматривать жильцы общежития инженерно-технических работников стройки. Жены этих работников стали травить Рыльскую, выживать ее из общежития. Ее пригласил к себе для объяснений начальник строительства и, увидев ее, сдался и сам. Через несколько дней он снял для нее комнату в городе... В 1937 году начальника строительства арестовали. Рыльскую начали вызывать на допросы. Допросы кончились тем, что она стала подружкой человека большой власти и больших материальных возможностей. Он окружил ее дорогими вещами. Но вскоре арестовали и этого приятеля Рыльской. Она распродала вещи и возвратилась домой. Комнату в Челябинске она за собою оставила, но перестроила материнскую избу, купила матери корову, насадила яблоневый сад. Чем заняться дальше, Рыльская не знала. Крестьянствовать она не хотела, о работе в колхозе не желала и слышать, а поступить куда-нибудь бухгалтером или статистиком не могла, потому что ничему в жизни не выучилась. Она не знала, чего хотела, вернее, хотела теперь только одного — ребенка, мужа, семью, того, что есть у большинства прочих женщин на свете. И это пришло было. Но пришло не сразу. Ради нее оставил семью ее двоюродный брат, агроном земельного отдела, отец троих дочерей. А выбирать Рыльской было попросту не из кого. Все люди на возрасте уже были женаты, а мальчишек она переросла. Она позволила агроному переехать в ее новый дом. Через год она родила сына, а вскоре после родов он умер от воспаления легких... Агроном же стал жить на два дома, и Рыльская его прогнала.

Она снова поехала в Челябинск. По дороге познакомилась с молодым офицером, ехавшим с Дальнего Востока на побывку к родителям. Офицер сразу влюбился. Она тоже расположилась к нему. Он был не как все. Застенчивый, с девичьей кожей лица, длинный, худой, горбившийся от своего высокого роста, он смотрел на нее восхищенно и робко. Он, казалось, благодарил ее за самую возможность видеть ее, за счастье ехать с ней в одном поезде... Прямо с вокзала она повезла его к себе в нетопленную, грязную комнату. Эта комната месяцами была на замке. Рыльская наезжала в Челябинск лишь раз в несколько месяцев, чтобы не отобрали. Для чего ей нужна была эта комната, она так же не знала, как не знала, что делать с домом в Сердейске. Они вместе чистили, убирали, мыли, топили. Это было необычайно весело, непередаваемо радостно. И Рыльская поняла, что влю-

билась. Влюбилась впервые в жизни, двадцати восьми лет, в случайного двадцатидвухлетнего парня.

Месяц пролетел словно день. За этот месяц лейтенант только два раза побывал у родителей. Рыльская не отпускала его от себя, готовила ему разные вкусные блюда, стирала ему подворотнички и носки. Он стал для нее и мужем и сыном.

Но когда отпуск у лейтенанта окончился и он уехал на Дальний Восток, жизнь для Рыльской стала вдвойне немила. От мужчин, которые устремляли на нее взгляды на улице, она отворачивалась. Они сделались невыносимы ей.

Вскоре Рыльской стало не на что жить. Она поступила приемщицей в швейное ателье и начала одновременно учиться на курсах шитья. Но едва она окончила их, как от теток пришло письмо, что мать умирает. Рыльская бросилась в Сердеевск и уже не выезжала отсюда.

Она оказалась в большом доме одна. И не только в большом доме, а на всем большом свете. Половину дома она сдала двум учительницам, а вот себя отдать было некому. Она пошла работать в мастерскую промкомбината, благо швейное дело ей теперь было знакомо. А вечерами никуда не ходила. Весной и летом возилась в саду, зимой рано ложилась.

И вот однажды, когда она возвращалась с работы домой, ей встретился на улице парень. Увидев ее, он даже остановился. На его лице застыло удивление. Такое выражение лица бывает у ребенка, впервые вышедшего за ворота и узнавшего, что кроме избы и двора есть еще целый мир. У Рыльской сразу дрогнуло сердце. Это же был лейтенант, его младший брат, его двойник, его второй приход в ее жизнь! Такой же долговязый, такой же нескладный.

Парень моргал глазами и даже не пытался заговорить. Его восхищенно-глупое лицо было таким простодушным, что Рыльской захотелось его одарить. Это желание в ней вспыхнуло сразу и было так же сильно, как желание одарить всем, чем может, ребенка, который шел к ней в руки. И, грубовато спросив у мальчишки, чего он на нее выпялил зенки, Рыльская тут же счастливо засмеялась и позвала его попробовать первые яблоки...

Но Кобозев повел себя вовсе не так, как лейтенант. Нерешительный и молчаливый в первые дни, он затем быстро переменялся. Это была беспокойная, настороженная, нетерпимая, вечно сердитая и какая-то злая любовь. Ошалевший сначала от счастья, Кобозев вдруг возненавидел любимую женщину за то, что она так просто досталась ему. Он прибегал к ней за семь верст еще до того, как она возвращалась с работы, рылся в ее вещах, рвал фотографии, встречал ее бледный и взерошенный. Но он целовал ей колени, то в бессильном отчаянии замахивался. Ему стало невыносимо, что Рыльская от него независима, что она живет в городе, ходит по улицам, что все на нее могут смотреть, что она тоже может увидеть кого-нибудь... Он стал

требовать, чтобы она немедленно шла с ним регистрироваться, разобрала и перевезла в его деревню свой дом, чтобы она перестала носить яркие платья, не смела обедать в столовой. Тогда Рыльская поняла, что с этой мальчишней любовью ей не управиться. Вначале его вспышки забавляли ее, она была даже рада, что оказалась ему так нужна, но затем он стал ее тяготить. Она уже не в состоянии была спокойно выслушивать его сумасшедшие требования, переживать переходы от нежностей к нелепым упрекам, успокаивать, когда он начинал сам себя изводить. С каждым днем ей становилось яснее, что эта не простая любовь, не простая от разности жизней и возрастов, должна оборваться... Она сказала Кобозеву, что жалеет о своем знакомстве с ним, что он не должен больше к ней приходить. Сказала то, что всегда говорят в таких случаях: ему надо найти в себе силы забыть ее, он еще встретит подходящую по возрасту девушку, у него еще все впереди...

А потом пришел в ателье клиент и попросил сшить сорочку. Он увидел приемщицу. На следующий день клиент купил в райпо еще четыре метра зефира и принес шить вторую сорочку... Так Рыльская познакомилась с инженером со стройки. В нем не было ничего примечательного, но много заманчивого — оказалось, что он недавно развелся с женой. Инженер держался любезно и предупредительно. Он приносил Рыльской конфеты, возил ее на машине по далеким от Сердейска живописным местам, водил гулять в парк и дал понять, что хочет снова построить семью. И Рыльская, одинокая, уставшая от своей красоты, ничего не принесшей ей в жизни, и от самой скудной жизни, сразу оценила это знакомство.

В парке, встретив Кобозева, инженер возмутился тем, что тот упорно смотрит на Рыльскую. Инженер нашел этот взгляд вызывающим и хотел подойти к Кобозеву для объяснений. Рыльская удержала его, сказала, что не стоит обращать на это внимания. Она хотела сейчас же увести инженера на другую аллею, но до Кобозева донесли, очевидно, слова о том, что он не стоит внимания, и тогда он вдруг рванулся к ней... А врачам в больнице Рыльская сказала, что не знает ударившего ее человека, так как не хотела, чтобы об этом знакомстве узнал инженер.

— Я и сейчас не знаю, какое показание дам потом, — сказала Рыльская под конец разговора и наивно спросила Алексея: — А как вы считаете, что мне лучше сказать? Алеша Кобозев на меня ничего не наговорит, слова нигде не скажет. Тут я могу быть спокойна. А вот как мне самой сказать, чтобы и ему не было плохо и инженеру не стало известно? Вы вот посоветуйте, а?

Но мог ли Алексей подсказать, как ей наладить дела с инженером! Это была или неумная или слишком уж прямолинейная просьба.

Он порекомендовал ей сказать все так, как было, взял с нее обещание прийти к нему через десять дней и простился.

Восхищение этой женщиной сменилось снисходительной жалостью к ней. На редкость красивая, Рыльская относилась к своей красоте как чужая. Была какая-то сильная несправедливость в том, что красотой оделена именно она. Такой редкий дар и так пропадал! Очевидно, кроме красоты нужен был еще и талант носить красоту, а с этим талантом Рыльская не родилась или его забили в ней грубые люди...

Но и к Кобозеву Алексей не испытывал теперь прежней жалости. Как можно было ударить такую женщину палкой! Посягнуть на такую чудесную голову! И какое право имел этот Кобозев желать быть единственным, какие права имел он на нее вообще, как смел требовать, настаивать, наказывать, мстить!

Алеша заколебался в решимости помочь этому парню. Хлопоты Нади и ее приходы в прокуратуру показались вдруг неуместными. Сломала или не сломала Рыльская душу Кобозева — это еще не известно, а вот голову ей он действительно чуть не проломил. И Алексей задумался: а стоит ли в самом деле сопротивляться нажиму газет, нажиму начальника, дожидаться выздоровления Рыльской, выгораживать Кобозева?..

Он сел писать заключение. Стал снова смотреть протоколы допросов. И, по мере того как он их листал, обаяние Рыльской спадало. Ему вспомнились спокойные жесты, которыми она подняла одеяло, ее скучающий голос, холодный расчет, с каким она говорила об инженере, ее опасение давать показания, ее сознание вины перед Кобозевым. Алексей почуял, что бешеная решимость этого парня вспыхнула не оттого, что он не ценил красоты, а оттого, что слишком ценил ее. Этот длинный, костлявый, неотесанный парень не мог переносить того, что красота сама не ценит себя, попирает себя...

Нет, о Кобозеве можно сказать что угодно, но хулиганом его назвать невозможно. Разве хулиган добивался бы женитьбы на женщине, которая на двенадцать лет старше? Разве хулиган молчал бы на допросах, как Кобозев? Ведь он даже не пытался оправдываться. Он целиком предоставлял свою участь усмотрению Рыльской... Да, он чуть не сломал ей голову, но она за три недели совсем излечилась, а Кобозев не излечился от Рыльской за год и неизвестно, излечится ли в следующий... Нет, нет, этот угловатый, молчаливый, тоскующий парень меньше всего хулиган. Тут совершенно другое... Пусть газеты, инженер и Иван Никанорович доказывают, что он должен стать хулиганом, пусть Кобозев — удобнейший случай проявить рвение в борьбе с хулиганством, но на это нельзя идти. Удобнейший случай, да только не тот.

И Алеша положил дело Кобозева в дальний ящик стола, убедив начальника, что нет никаких оснований для паники.

Как покаялся потом Иван Никанорович, что поддался угворам помощника! Как ругал себя за то, что, умея предотвращать всякие мнимые беды, проглядел на этот раз совершенно реальную! Ведь инженер ясно сказал, что он едет в область, а по его обозленному тону можно было так же ясно понять, что он похлопочет там не только о механизмах...

Через неделю после того, как Алексей разговаривал с Рыльской, в прокуратуру пришел пожилой человек в фетровой шляпе, хорошем драповом пальто и калошах. Положив на стул саквояжик в чехле и большой портфель тисненой коричневой кожи, он спросил Людмилу Ивановну, можно ли пройти к прокурору. Людмила Ивановна ответила, что прокурор еще не пришел, но помощник на месте. Пришедший сказал, что подождет прокурора. Он вынул очки, протер их, вытащил из кармана купленную, очевидно, на станции газету «Сердейский колхозник» и расположился на стоявшей в приемной скамейке. Людмила Ивановна сразу поняла, что человек этот не из района.

Минут через пять, когда ему стало жарко в пальто и калошах, он спросил, где здесь можно раздеться. Это значило, что пришел он не на минутку... Людмила Ивановна сейчас же предложила ему повесить пальто на гвоздик, прибитый ею за шкафом.

Потом пришел Иван Никанорович и бросил на посетителя немного встревоженный взгляд.

— Товарищ Свешников, если не ошибаюсь? — поднялся приезжий.

— Он, — заранее бледнея, сознался Иван Никанорович. — Что вам угодно?

— Мы с вами виделись три года назад на областном совещании, — напомнил приезжий. — Я Погорельский.

Иван Никанорович переменился в лице. Погорельский был старшим помощником прокурора, и его подпись часто стояла на бумагах, приходивших из области.

Они прошли в кабинет. Возбужденная важным событием, Людмила Ивановна прильнула к двери.

— Очень приятно, очень приятно! — донеслись до нее искренние слова еще не пришедшего в себя Ивана Никаноровича. — Живое, так сказать, руководство, помощь на месте... Очень рад, очень рад... А то, знаете, мы так оторваны...

— Слишком оторваны, — согласился, подчеркнув первое слово, приезжий.

— Да, да, чересчур, чересчур... Все только пишем да пишем друг дружке, а никогда не перекинемся словом. Я все ждал: когда же приедут, когда же приедут? Читаю ваши планы ревизий, вижу в них Южно-Уральский район, вижу Уральский, вижу еще десять других и каждый раз думаю: «Когда же к нам, когда же к нам?!» Ну и вот наконец-то! Очень рад! Очень рад!.. Ведь столько накопилось материала для разговора...

— К сожалению, много, — выразительно подтвердил ревизор.

— Много, очень много,— подхватил Иван Никанорович.— У нас к вам есть столько вопросов! Столько интересных процессов происходит сейчас на селе! Фермы строятся. Переработку продуктов готовим. Дороги прокладываем. Раскрываемость преступлений улучшилась... Очень, очень много разного нового... Вот мы составим маршрут, повезем вас в...

— Ну, выехать мне вряд ли скоро удастся,— холодно прервал приезжий.— Сначала придется проверить у вас весь следственный и общий надзор.

Искусственное оживление Ивана Никаноровича сразу исчезло.

— За какое время? — спросил он упавшим голосом.

— Примерно за год. За период работы вашего помощника Корнева. Но заодно уж вообще...

Хотя сквозь дверь не было видно, Людмила Ивановна ясно представила себе, как Иван Никанорович непонимающе уставился на ревизора.

— Обращаю ваше внимание на то, что ревизия эта внеплановая,— добавил приезжий,— так сказать, чрезвычайная.

Людмила Ивановна слышала через дверь, как билось сердце Ивана Никаноровича. И ее собственное сердце тоже учащенно забилось. В нем были и страх и злорадство.

— Где вы позволите мне расположиться? — спросил ревизор.

— Сейчас, сейчас! — спохватился Иван Никанорович.— Вы можете сесть за мой стол, а я себе тут поставлю...

— Нет, зачем же стеснять вас! — перебил ревизор.— Это будет и вам и мне неудобно. Я заметил у вас при входе комнату с какими-то мешками, и вот если бы вы были любезны убрать их...

— Сию минуту, сию минуту! — вскочил Иван Никанорович.— Все уберем, вымоем, вычистим...

— А я пока в райком схожу,— поднялся приезжий.

Людмила Ивановна едва успела отскочить от двери. В этот момент из своей комнатки вышел Алеша. Он видел, как Людмила Ивановна метнулась к своему столу, и грубо спросил:

— Вы что тут, подслушивали?

— Как вы смеете? — вспыхнула Людмила Ивановна и вдруг вызывающе, с сознанием силы, с неожиданной наглостью, злобно добавила: — Я из прокуратуры другого заведения тут не устраиваю!

Алеша не успел понять смысл этой фразы — в канцелярию вышел Иван Никанорович с неизвестным худым стариком и стал неуверенно представлять их друг другу.

Хмурый приезжий не выдал из себя при этом знакомстве даже обычной официальной улыбки. Протянув молодому помощнику руку, он тут же рывком убрал ее, потом сразу взял свой саквояж и спросил Ивана Никаноровича, где помещается столо-

вая — при Доме колхозника или отдельно. Вся эта сцена знакомства явно свидетельствовала, что приезжий не желает знакомства. Он дал понять, что не хочет оставить ни жеста, ни взгляда, которые бы его потом к чему-то обязывали. А вопросом о столовой предупреждал, чтобы никто не вздумал его приглашать к себе. Он устанавливал дистанцию и дал сразу понять, что не станет на товарищескую ногу с людьми, дела которых потребовали чрезвычайной проверки.

Ревизор вышел. Районный прокурор и его помощник остались стоять в канцелярии, потом зашли в кабинет и недоуменно смотрели друг на друга несколько долгих минут, не понимая, что это все могло значить.

Ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать.

Заняв архивную комнатку, где все уже было отмыто, отскоблено и до блеска надраено, ревизор вызвал к себе Людмилу Ивановну и попросил принести ему все расследуемые прокуратурой дела. Затем, часа через два, он пригласил к себе Алексея и предложил доложить, как ведет прокуратура борьбу с хулиганством.

Алексей стал рассказывать о тесной связи прокуратуры с милицией, о контроле за сроком расследований, о своих выступлениях в народном суде.

— А всегда ли вы стремитесь расследовать дела побыстрее? — прервал его ревизор. — Вот тут я вижу одно хулиганское дело, которое лежит у вас целый месяц.

Алексей объяснил, что дело Кобозева потому и лежит, что оказалось не хулиганским.

— А откуда у вас эти сведения? — задал ревизор тот же вопрос, который ставил и инженер.

Алексей рассказал.

— Значит, вы из частного источника их получили? — заключил ревизор.

— Я не понимаю вас. Какие же еще источники бывают в уголовных делах? — в свою очередь спросил Алексей.

Ревизор не ответил. Этот худощавый, подобранный, еще крепкий пожилой человек в очках и с двумя самописками в наружном карманчике не склонен был, видно, к теоретическим диспутам. Ревизор спросил Алексея, в какие часы тот ведет обычно допросы свидетелей, бывают ли случаи, когда после допросов не остается протоколов в делах, как часто посещает Алексей арестное помещение при местной милиции, остаются ли после этих посещений следы, всегда ли соблюдается процессуальный закон при освобождении людей из-под стражи.

Алексей сразу все понял. Только идиот мог бы тут не понять... Он отвечал сдерживаясь, чтобы не прорывались злость и запальчивость. Но, может быть, они прорывались...

Отпустив Алексея кивком головы, ревизор снова вызвал к

себе Людмилу Ивановну. Она просидела у него допоздна. Так как дела у Алексея были взяты на проверку, он ушел домой раньше, чем кончилась эта беседа.

На следующее утро в кабинете приезжего сидела... уборщица. После этого Погорельский зашел в кабинет Ивана Никаноровича и сообщил ему результаты допроса. Двое сотрудников прокуратуры удостоверили, что Корнев злоупотреблял своим служебным положением помощника прокурора района. У него ночевала в прокуратуре сестра арестованного, и есть основания думать, что именно по причине их связи арестованный этот был освобожден из-под стражи, а его дело положено в стол... Иван Никанорович вытаращил глаза и побледнел. А Погорельский положил перед ним приказ облпрокурора об отстранении Корнева от работы впредь до получения результатов расследования. Погорельскому было, очевидно, доверено применить или не применить этот приказ, смотря по тому, что скажут люди, на которых сослался инженер из Сердейска.

ТРУДНЫЕ НОЧИ

Строчки приказа мелькали перед глазами Алеши, а сложиться в уме не хотели.

Если бы не Иван Никанорович, решительно загоротивший выход из комнаты, Алеша рванулся бы к ревизору и крикнул ему: «Вы в своем уме или нет?!» Но Иван Никанорович навалился всей тушей на дверь и буквально отбрасывал от нее Алексея.

— Это ты с ума сошел, ты! Хочешь врага нажить?! Хочешь, чтобы он на тебя черт те что написал?! Сиди, сумасшедший! И не смей так дышать! Я приказываю тебе не дышать так... Давай лучше думать, что теперь делать, как нам вылезти, вылезти...

Но думать Алеша был не в состоянии. С ним разыгрывали какую-то дрянную игру, такую же злую, как и нелепую, и он был уверен, что разбить нелепость можно криком о том, что она есть нелепость. Зачем что-то придумывать, когда и так очевидно, что все эти подозрения чушь, что Надя здесь ночевала случайно, что Кобозев освобожден совершенно законно, что инженер просто дурак, что Людмила Ивановна дрянь?

Молодость уверена, что правда всегда на виду. Старость знает, что правду труднее всего восстанавливать. Молодость думает, что одна правда может опрокинуть десять неправд. Старость боится, что одна ложь может поколебать десять правд.

— Дурак ты, дурак, Алексей! — волнуясь, шептал, чтобы не слышала секретарша, Иван Никанорович. — Кому это ясно? Тебе? Ну и останешься потом с этой ясностью заместо зарплаты. Да разве так нужно себя вести! Не кричать тебе сейчас надо, не раздражать его, а надумать позицию. Все пунктики бы-

стро и тихо обдумать. Сообразить все условия. Ты не лезь ему сейчас на глаза, выйди спокойно и тихо, освежись ветерком. Я вечером к тебе забегу. И вообще постараюсь каждый день забегать, буду держать тебя в курсе. А сейчас иди, отволнуйся. Дрова поколи, заборчик хозяйке подправь. Или в книжки заройся, любовь себе организуешь с кем-нибудь... В общем, отвлекись, успокойся, чтобы голова была чистая. А потом, надо с умом...

Он взял с полки Алешину кепку, лежавшую на сборниках кодексов, и сам надел ему на голову.

Страшное это дело — быть выгнанным. Выгнанным вдруг, ни за что ни про что. Выгнанным, когда ты очернен и все будет смотреть на тебя с недоверием. Выгнанным в городе, где ни с кем ты вместе не рос и никто тебя толком не знает. Выгнанным, когда в общегитии, где ты провел последние годы, твоя койка давно занята, а на соседних лежат незнакомые люди. Выгнанным, когда тебе некуда деться. Тогда широкий мир городов и людей сразу становится узок и мал.

Алексей уже смутно ощущал это, выходя из домика прокуратуры. Он уже не знал, выходит ли отсюда на неделю или совсем. То, что еще минуты назад казалось легко опровержимой бессмыслицей, вдруг наполнило его неистребимой тревогой. Лишорадочный шепот Ивана Никаноровича, торопливость, с которой он выпроваживал Алексея из здания, его совет заняться пока другими делами сменили прежнюю уверенность Алексея тяжелым, глухим беспокойством.

Он шел по улице, но не шел никуда.

На углу он зачем-то встал в очередь у пивного киоска. Заметил проходившего по другой стороне Михаила — заведующего парткабинетом. Вспомнил, что Михаил был ему нужен, но не мог вспомнить зачем. Ах, да, Михаил звонил, что у него есть замечания по тезисам лекции, которую Алеша должен был читать о советской законности в Доме культуры... Алексей хотел крикнуть и остановить Михаила, а потом вдруг сразу осекся. Он сообразил, что теперь ему и лекции читать не дадут, ничего вообще не дадут, что все куда-то уходит. И почувствовалась вдруг пустота. В себе и вокруг...

— Два раза по двести грамм, — сказали киоскеру люди перед Алешей, — килечку...

Взяв стаканы, они освободили Алеше место к окошечку.

— Вам, гражданин? — вопросительно посмотрел киоскер.

— Два раза по двести грамм, — механически повторил Алексей, — килечку...

Но когда ему бросился в нос запах спирта, он возвратился к действительности, поставил обратно на прилавок стакан и быстро пошел от палатки. Киоскер и покупатели недоуменно посмотрели вслед человеку, который явно был не в себе.

В темноте, в одиночестве, в четырех стенах комнатки, положение показалось еще страшнее, чем по дороге домой. Бессмыслица предстала здесь совершенно осмысленной, а ее опровержение — почти невозможным. Сестра обвиняемого действительно ночевала в прокуратуре. Прокурор действительно ходил к ее брату, не произведя при этом допроса. Арестанта действительно освободили. Дело действительно затормозилось... Любимый человек на месте инженера и ревизора рассудил и поступил бы, как и они...

Но неужели Алексей теперь должен погибнуть из-за того, что не хотел в свое время откликнуться на внимание своей секретарши?

Он ненавидел сейчас эту тварь.

Затем пришла еще более тяжелая мысль: секретарша ничего не сказала ревизору, она рассказала ему только то, в чем была совершенно уверена.

Злоупотребление властью, связь с обвиняемым...

Кольнула еще одна страшная мысль: что скажут о Корневе бывшие товарищи по институту? Они разбрелись, расселились по огромной России, но всем попадают в руки приказы прокурора Союза, все переписываются, все раньше или позже узнают...

Алеша застонал, уткнув в подушку лицо. Если бы подушку можно было грызть, стало бы легче.

За дверью, притихшая и испуганная, замерла Анна Сергеевна. Она не знала, откликнуться ли на стон, принести ли воды, позвать ли кого-нибудь или, наоборот, соблюдать могильный покой, чтобы Алеша, сохрани бог, не проснулся.

Ах, он вовсе не спал, метался, но не хотел, чтобы старая знала об этом, не мог сейчас видеть ее, вообще не мог смотреть на людей, читать в их глазах осуждение или участие. Если было бы куда бежать из Сердейска, он бежал бы, ни с кем не простившись...

Алеша заснул беспокойным, тяжелым сном. Потом он услышал, как Анна Сергеевна осторожно впустила кого-то в дом. До него донесся приглушенный разговор. Затем снова стало тихо.

Встать? Зачем? Для чего? Не к кому идти и нечего делать.

Или вправду напиться? Хоть на несколько часов уйти от себя и от всей этой истории. Не думать, не помнить... Но мысль о водке вызвала сразу изжогу. Алеша снова зарылся в подушку. Лежал так долгие минуты, а может быть, и часы. Сон все не приходил.

— Алеша! — тихо застучал в темное окно Иван Никанорович. — Не спишь? Я ведь чувю... Впусти-ка меня...

Анна Сергеевна радостно засуетилась. Она была счастлива, что Алеша обнаружил признаки жизни, что он вышел из комнаты, что к нему кто-то пришел. Но Алеша молча провел к себе

Ивана Никаноровича и зажег только маленький ночничок, недавно купленный старушкой для Шуры.

— Простите, Иван Никанорович, свет раздражает глаза.

— Понимаю, понимаю, да и не нужен нам свет... Ну как, Алешенька, пришел ты в себя? Крепись, парень, крепись! Ты при твоей натуре еще счастливо отделался. Да... А наш хрыч областной пересел в твою комнату, — сообщил он малоинтересную новость, — в архиве ему, видишь ли, темновато. Целый день смотрел сегодня дела, которые через тебя проходили. Назавтра начальника милиции вызвал к себе...

Алеша молчал.

— Эх, парень, — сменил вдруг Иван Никанорович бодрый тон на сокрушенный, — сто раз я тебе говорил, предупреждал, чтобы не лез на рожон. Ну зачем это надо было, зачем ты упорствовал? Кто тебе этот Кобозев, для кого ты старался? Давно бы его осудили — и дело с концом. Так нет, нужно было идти против газет, против начальников, какую-то правду искать... А правда, видишь, в крапиве лежит, до нее не дотянешься, а только поранишься...

Он помолчал и мрачно добавил:

— А уж от этого областного вообще никакой правды не жди. Я его за денек изучил. Хоть морда непроницаемая, но виден по ягодицам — может не распрямлять их по пятнадцать часов. И уж этот что-нибудь высидит. Обязательно высидит! Для того его и послали.

Иван Никанорович минутку подумал, а потом приглушенно и с досадой сказал:

— Ну и ты тоже хорош. Разве можно было девку в помещение к нам приводить? Как это ты пошел на такое? И главное ведь еще не зима, веди куда хочешь... В жизни не думал, что ты способен на такое дурацтво!

— Что-о? — встрепенулся Алеша. — Вы тоже верите, что я с этой девушкой...

— Не знаю, не знаю! — заторопился Иван Никанорович. — Если ничего у тебя не было с ней, то тем паче, тем паче! Значит, вообще пострадал за святую деву с апостолом, значит, вдвойне ты дурак. Она ночевала, тебе не перепало, а шум как о ночке Ивана Купала. Вот и смекай, куда глупая доброта нас заводит.

Он опять призадумался и продолжал поучающе:

— Я тебе, Алеша, не раз говорил, что злые люди самые зоркие люди, что они увидят такое, чего ты о себе и не знаешь. А ты не желал с этим считаться. Я, мол, сам о себе знаю, что я хороший и честный, и мне этого знания достаточно. Ан видишь теперь, что не достаточно... Злыми людьми хоть поле засевай, хоть овраги ровняй. И их надо уваживать... Я ведь учил тебя: присматривайся, с кем говоришь, не спеши отвечать, молчи, соглашайся, давай обещанья, бери вниманием и тихостью... А ты как говорил с инженером?! Переспоривал его, обозлил...

Всегда ты действовал прямым да по-своему, норовил полено о коленку ломать. Вот и сломал не дрова, а коленку.

Алеша не отвечал. Он действительно каялся сейчас о резком тоне, каким вел разговор с инженером, хотя и ненавидел теперь этого человека не меньше, чем Людмилу Ивановну.

— Эх, Алексей, Алексей,— с философской печалью продолжал Иван Никанорович,— не желал ты разглядеть правду жизни, все хотел с ней тягаться, характер показывал! Не понимал ты, что на работе не о характере, а о характеристике заботиться надо... Ты все за справедливостью гнался, думал, что только большаком надо человеку шагать, на обходные пути не сворачивать. Ссорился, когда я допускал, так сказать, послабления: закон, справедливость, мол, нарушаю. И все время ты из-за этого на меня наседал, все время были у нас с тобой помолвки-размолвки, и не успевали мы с тобою сосвататься, как ты затевал снова рассватываться. Ан видишь теперь, что на большаках-то и происходят аварии, что тебя именно за справедливость и стучают. Да, брат, за справедливость... И чувствует мое сердце, Алеша, что не скоро ты из этой истории выкрутишься. Нечестный поступок человек может исправить, а честный — трудно исправить. Ведь такие истории — это как ревматизм. Приходит он быстро, а уходит не желает. Если попробуешь с этими бюрократами драться, так скорей шею сломаешь, чем их. И придется ходить по ихним инстанциям, бумажки писать, приемы выпрашивать и молить на приемах: «Бейте меня, только выслушайте». А выслушивать им будет скучно. Ведь человеку трудно только собственные мытарства терпеть, а на чужие мытарства у него терпение есть...

И Иван Никанорович завздыхал о том, как выбраться теперь из беды, продержаться до пенсии:

— Кто его знает, сколько осталось мне жить... Жаба в груди, теперь свалилась жаба из области... Работал, работал я, все старался, как лучше, и меня же стегали... Теперь бы успеть пожить на покое, пожить для себя...

Он стал говорить вдруг о том, что у него никогда не было лишней копейки. В молодости нужна сидела вместе с ним за столом, а потом стал только сытым, все равно ничего не удавалось откладывать на старость из жалованья, не пришлось подкупить. Он пустился рассказывать, что домик не его, а наемный, а своего только и есть у него, что два десятка кур да шесть уток. То росли и учились дочери, то переезжал с места на место, и жена ничего не успевала завести, кроме кроватей и стульев, которые потом тоже приходилось бросать. Теперь дочери замужем и сами тоже получают зарплату, могут ему помогать, и если будет хорошая пенсия и даже еще, скажем, нехитрая работа какая, то большего ему и не надо... Не худо бы, к примеру, пойти в адвокаты... Хочешь принять дело — ведешь его, не понравится оно — подождешь другого клиента. Хоть твердого заработка адвокат

не имеет, зато и работка не пыльная... А впрочем, нет — и адвокаты тягают, если чуть что не так. Чтобы покой был, надо вообще от юстиции дальше. Бог с ней! Не для его здоровья это мозголомное дело. Он заслужил право пожить для себя...

И, по мере того как он говорил, чувства Алеши менялись. Сначала, когда речь шла о несправедливостях, слова Ивана Никаноровича падали на свежеспаханную взрыхленную почву... Но когда разговор пошел о жизни для себя, о покое, Алексе представились вдруг куры, замкнутый дворик, замкнутый круг... Ему стало страшно, и он ощутил, понял, почувствовал, что именно жизни для себя у него и не будет, если его отбросят от жизни общественной. Да, человек живет для себя, но потому ему надо иметь эту жизнь, с ее делами, заботами, радостями. Иначе человек задохнется без воздуха, иначе у него и отнимут покой! Алеша хочет жить для себя, и он хочет поэтому ворочать делами, делать тысячи дел, нужных и важных, быть в их потоке. Без этого — пусто...

Он уже не слушал, о чем вздыхал и кряхтел дальше Иван Никанорович, — тот бормотал что-то о тактике, которой теперь надо держаться, чтобы друг друга выручать из беды. Все его существо пронизала острая, злая решимость зубами уцепиться за эту жизнь для себя, не позволить вырвать ее, бросить на ее защиту весь ум, всю душу, все силы...

И вместо безразличия, забывая, вместо жалости к себе самому пришли вдруг энергия, воля, уверенность.

Брось скулить, прибитый и слабый человек, изверившийся в людях, в честности и в собственных силах! Иди к... своим уткам. А Алексей будет драться!

...Эта решимость была так сильна, что после ухода Ивана Никаноровича Алеша еще долго не засыпал. Нетерпение томило его. Было досадно, что сейчас глубокая ночь, что ночи вообще существуют. Он ждал утра, ждал возможности действовать.

Но такой возможности утро не принесло. Ее не оказалось и к вечеру, не оказалось и завтра. Погорельский Алешу не вызывал. Идти без вызова? Но Алексей отстранен от работы, и у него должна быть своя гордость. Он будет владеть собой, хотя бы сердце выскакивало...

Забегал следовательно, рассказал, что ревизор намерен, кажется, проверять чуть ли не все проходившие за год дела и этого ему хватит надолго; он заперся в кабинетике Корнева, мало с кем говорит, обращается за всеми справками главным образом к Людмиле Ивановне.

Алексей метался... Он ел испеченные Анной Сергеевной коржики, пробовал описать в дневнике события этой страшной недели, но не мог заставить себя посидеть час за столом. Он пытался читать, но это тоже не получалось. Не было книги под стать его настроению, книги о человеке, которого выгнали ни за что ни про что.

Через несколько дней он решился показаться на улице. Решился, хотя хорошо понимал, что в городке о нем все уже знают, что весть разнеслась... Он вышел в двенадцать дня, когда все знакомые сидели в своих учреждениях и ему не угрожало ничье любопытство. Ну, а если кто-нибудь случайно и встретится, отвернется или полезет с расспросами, так Алексей тоже сумеет пройти нездороваясь или ответить что надо. Чего ему в самом деле бояться? Факты сейчас против него, но конечная правда за ним! И в решимости, с которой он вышел на улицу, был даже вызов.

А улица разогрелась на солнышке. Оно сияло последние предосенние дни, чтобы оставить людям тоску по себе. Оно сияло для Алексея. И улица выглядела как в прежние дни, когда ничего еще с ним не случилось. Так же носились на самокатах мальчишки, так же пылили машины райпо, груженные ящиками или мешками, а хозяйки несли с базара корзины и ведра брусники. Запах ягоды слышен был из окон домов, где люди варили варенье. Как ни в чем не бывало варили варенье!

Вот, словно утки, переваливаясь с боку на бок, прошли ребята из детского сада. Длинная стайка заполнила весь тротуар, направляясь в лесок на прогулку. Алексей прижался к палисаднику, пропустил детей, которых вела воспитательница Зотова — пожилая высокая женщина. Алеша знал ее. Но как не похожа она на ту злую старую деву, которая искала у него поддержки в споре с соседкой! Она хохочет с ребятами, поправляет на них штанишки и платица, загоняет их с дороги на тротуар, несет в сетке мячики, утешает мальчонку, у которого вырвали бумажный корабль... Она вся в движении, в ней ликование, молодость, она выглядит сияющей, преображенной, она даже хороша сейчас. Неужели эта же самая женщина назло выливала помой на огородик соседки? Просто не верится, каким разным может быть человек...

С Алешей поздоровался заведующий радиоузлом Леонид Александрович Кретов. Этот не может не знать! В Алексея снова вползло малодушие. Он покраснел, хотел скорее пройти. Но Кретов его остановил. На лице техника искреннее расположение, он начал без всяких подходов:

— Вот хорошо, что я встретил вас! Имейте в виду, что ни один человек, который вас знает, не верит тому, что о вас говорят. Мы на узле решили, что никого вы не принуждали к сожительству, а просто давно уже были близки с этой девушкой и не могли знать, что наделает потом ее брат. Ведь это так вышло, а?

Алеша растерялся от прямолинейности Кретова и от странности вывода. Но неужели придется теперь на каждом шагу объяснять?..

— Нет, не так. Я ни с кем не был близок. Это все разъяснится.

И он чувствовал твердую уверенность, что разъяснится, что сказал он не зря. А пришла эта уверенность оттого, что Кретов был прямым человеком, от него подуло теплом, и это напомнило Алеше, что беды ему никто вообще не может желать, кроме каких-нибудь арестованных жуликов. А может быть, уверенность пришла потому, что и женщину, которую он знал с плохой стороны, он видел сегодня с хорошей?!

Нелепыми и смешными представились сейчас страхи Ивана Никаноровича перед измышленными болотными гадами, жабами. Это был зверинец, построенный жалкой фантазией человека, который сломался. Он потерпел в жизни от негодяев и теперь кричит «чур меня», словно негодяи должны снова обязательно встретиться в ближайшем проулке. Да и с кем имеет дело Иван Никанорович? Не с прохожими на улице, а с людьми, проходящими по уголовным делам.

Уголовные дела не окошко, через которое жизнь видней и яснее... И разные люди по-разному глядят из окна. За последний квартал было сто сорок шесть дел. Можно воскликнуть: «Так много?!» — и можно переспросить: «Всего лишь?!» Утро дня, когда Алеше исполнилось двадцать три года, было серым, холодным, дождливым. Увидев в окно сумрак и грязь, Алеша грустно сказал себе: «Мне уже двадцать три». А потом пришла посылка от Шуры, и он сообразил, что ему только двадцать три. А Ивану Никаноровичу мерещится слякоть всегда... Людям с придавленной и зачерствевшей душой надо бы запрещать быть прокурорами.

К Алексею вернулись постоянная бодрость, уверенность. Вся история показалась ему простой неприятностью, каким-то смешным происшествием. Перед Корневым еще извинятся! Расследуют и извинятся!.. И он гулял по Сердейску, словно не был отстранен от работы до результатов расследования, а находился в положенном отпуске. Эта мысль даже развеселила его.

К великой радости Анны Сергеевны, Алеша с аппетитом в этот день пообедал. Но вечером к нему снова вернулась тоска. История вновь казалась сложной, серьезной. Тоска была такая бескрайняя, что ее хватило бы на сто человек, на целую тысячу, а она забралась в душу одного человека и распирала ее. Казалось, что он запутан, опутан и положение его безвыходно. Казалось зловещим, что не приходят с сообщениями следователь и Иван Никанорович. И Алеша снова решил, что все кончено.

Он не мог дальше оставаться с этой тоской один на один. Не хотел чувствовать себя беззащитным, заброшенным.

Коллектив его учреждения состоял только из четырех человек. Обращаться здесь было не к кому... Но он же был членом коллектива, большого, всесильного! Он же был в партии! Не может, не должна она допустить, чтобы Погорельский расправился с ним!..

Было уже совершенно темно, но он все-таки побежал на квар-

тиру к Бабанину — инспектору райфинотдела и секретарю партийной организации. Ставни на окнах его дома уже были закрыты, но из кухни просачивался на улицу свет. Алеша на минутку задумался — постучать или нет. Ведь он поднимет весь дом... И как объяснить, почему прилетел он именно ночью... И все же решился. Но решился напрасно — Бабанин оказался в районе...

Все в районе, все на уборке!

Можно было подумать, что именно к этой поре приурочили и дело против Алеши.

Впрочем, Бабанин ничем не помог бы. В лучшем случае пошел бы вместе с Алексеем в райком...

Алеша сейчас же решил идти туда сам. Тут же. Немедленно. Но сначала надо было, конечно, созвониться с Кругловым... Тот не любил, когда люди врываются... Да и секретарша иначе не впустит... А может быть, заседает бюро... Но откуда звонить сейчас?..

Он пересек весь город, чтобы попасть на строительство, где в проходной висел телефон.

Кабинет Круглова долго был занят. Не любитель суетливых телефонных звонков, секретарь на этот раз, как нарочно, непрерывно разговаривал то с одним, то с другим областным учреждением. Алеша провел в проходной больше часа, пока ему удалось соединиться с Кругловым, и тот сказал ему:

— Нет, товарищ Корнев, сейчас нельзя прийти. Во-первых, уже ночь, я иду сейчас домой, а во-вторых, надобности в нашем разговоре не вижу. Пусть разберут в советском порядке. Приехал ваш начальник, специалист, зачем же райкому через его голову вмешиваться? Это будет неправильно. Я ведь следствия не поведу... А потом мы выслушаем и ревизора и вас. Наберитесь терпения. Если вы сделали гадость, пеняйте тогда на себя, а не сделали, так нет у вас причин ждать ее и для себя... Да... Вот так...

Алеша побрел домой. Разговор с Кругловым немного взбодрил. Да, действительно, раз не сделано гадости, так нечего и бояться ее. Партия в обиду не даст!.. Но вдруг перед Алешей встало неподвижное лицо Погорельского. Мелькнули в уме слова Ивана Никаноровича о том, что честность труднее доказать, чем нечестность... И бодрость снова исчезла.

А дома его ждала телеграмма. Ее принес конюх. Это была самая радостная и самая страшная из всех полученных им телеграмм.

«сердейск прокуратура корневу алексею николаевичу шура выедет третьего семьдесят пятым вагон одиннадцать если можете встречайте троицке волнуемся за пересадки шуры много мест целуем родители».

В первый миг Алексей чуть не вскрикнул от радости. Но она длилась именно миг. Потом он заметался по комнатке.

Приезд Шуры, которого он год ждал как счастья, был сейчас новой бедой.

Что ее теперь ожидает в Сердейске? Сколько Алексей здесь пробудет? С каким лицом ее встретить? Как объяснить? Чем жить в следующий месяц, если не будет зарплаты? Что обещать ей на завтра? Где рассчитывать теперь на работу, на комнату? Куда они денутся?!

«Шурик!»

Алексей плакал только два раза в жизни — когда умерла мать и когда умер отец. Теперь спазмы сжимали горло третий раз в жизни. В горле клокотало от жалости к Шуру, от любви к ней, от желания обнять ее, оттого, что не было теперь права обнять ее...

Эта ночь была хуже всех предыдущих.

Алексей то ложился, то начинал бегать по комнате, то тушил свет, то опять зажигал его, то схватывал кепку и порывался бежать на телеграф, то нарочно раздевался, чтобы никуда не ходить. В течение ночи он сто раз менял решения и вел себя бесполово: то вывинчивал, слюнил и протирал платком лампочку, чтобы она не показалась Шуру засиженной мухами, то с ненавистью оглядывал оклеенные новыми обоями стены, которые Шуру никогда не придется увидеть. Он закрывал глаза и видел трясущийся от беззвучного плача подбородок Павла Максимовича, провожающего Шуру в дорогу, а потом представлял себе Павла Максимовича за столом, охмелевшего. Он читал телеграмму Алешки и бросал дочери тяжелые, кирпичного замеса, слова: «Вот и приехала... Я говорил... Вот тебе твой прокурор...»

Потом каменщик обращался к растерянной от горя жене, сурово приказывал ей разобрать чемодан, успеть ранним утром возвратиться в кассу билет и никогда не произносить больше Алешкино имя.

Дочь ничего не отвечала отцу. Ее глаза уже выплакали весь запас слез еще до прихода отца и теперь стали невидящими. Ее губы белы, движения безотчетны, руки упали.

И, глядя на эту Шуру, Алеша вскакивал, а через несколько минут снова доказывал себе, что ехать теперь Шуру некуда, что надо дать телеграмму.

Он схватывал Шурины письма, принимался лихорадочно перечитывать их, потом сжимал, клал в стол, затем снова вытаскивал.

Вот они, эти письма, хранящиеся теперь в семейном архиве вместе с фотографиями и другими реликвиями.

«Ты же знаешь, родной мой,— писала Шура перед экзаменами,— что я вовсе не суеверна, об этом даже смешно говорить, но факт остается фактом — когда папа и мама меня сильно ругают, я сдаю хорошо. А так как такую вещь может утверждать только дура, то ты в среду семнадцатого говори сразу с утра:

«Дура, дура она, чистая дура...» Потом то же самое говори двадцать первого, двадцать третьего и двадцать седьмого».

«Алешик, родной мой,— перечитывал он письмо из больницы,— ну что ты такое пишешь? Это же для меня невозможно — любить тебя хоть на капелюшечку меньше, чем раньше. А не писала я потому, что чуть не умерла. Это случилось во время второго экзамена. Мне вдруг стало страшно плохо, я еле отвечала, у меня был такой вид, что преподаватель поставил мне четверку и велел сейчас же домой идти. Не знаю, как я добралась, а из дому меня сразу повезли в больницу. Боли были такие, какие человек не может выдержать. А в больнице сказали, что это перитонит и надо сейчас же делать операцию. Я не могу тебе передать, что было с мамой и папой,— они всю ночь провели в коридоре, их гнали, а они не уходили, и мама чуть не умерла. Перед операцией я уже почти ничего не соображала, а мама повисла на мне, и ее отрывали. Я только успела сказать ей, чтобы написала тебе, если я умру, что ты был для меня все на свете, но что ты должен забыть меня и не мучиться. Я велела похоронить себя, чтобы могила была красивая и летом в цветах, и написать тебе, чтобы ты в день моего рождения ко мне приезжал...»

«...Врачи говорят, что я удивительно быстро поправляюсь. Они считают, что это от здорового организма, а я знаю отчего. Мама приносит мне твои письма, я их читаю, читаю и поправляюсь. Я сейчас очень худая и бледная, глаза теперь совсем большие-большие, я все смотрю в зеркало и думаю, понравилась бы я тебе в таком виде или не понравилась. Но я все-таки, наверное, ничего, потому что мальчики, которые уже ходят после операций по коридору, все стараются заглянуть на мою койку, а она как раз против дверей...»

«...Я знаю, что если бы я умерла, с тобой бы творилось что-то невероятное. Я вижу, что с тобой делается, когда ты узнаешь о моей смерти, и начинаю тебя целовать, успокаивать, а потом прибегает сестра, толкает меня, я просыпаюсь, вижу, что все смотрят на меня как на сумасшедшую. Я, оказывается, так кричала во сне, что во всех палатах вскочили.»

Я знаю, Алешик, что такой исключительный человек, как ты, может обойтись в жизни и без такой бестолковой девчонки, как я. Ну, пусть я хорошенькая, что еще во мне есть для тебя? Нет, я сейчас, когда лежу целыми сутками, во всем отдаю себе отчет. Я тут слышала столько разговоров от женщин, что просто страшно. И вот к какому я пришла к выводу: да, ты вполне можешь быть счастливым и без меня, но со мной ты никогда не будешь несчастлив. Я тебя буду так любить, что просто ужас. Создам тебе такую жизнь, что все нехорошее в ней тебя не будет касаться, я тебе даже не дам о нем узнавать...»

«...Положение у меня теперь непонятное. Все девчонки получили назначение, прибегают ко мне в больницу прощаться, а я

единственная кончила и не закончила. Вместо того чтобы быть уже с тобой, я должна теперь заниматься весь остаток лета и досдать в начале учебного года два экзамена. Это мне еще пошли навстречу, а то надо было бы снова сдавать и те два, которые я уже сдала. В среду меня выписывают из больницы, недельку отдохну — и за книжки. До чего же мне не повезло! И теперь я уже остаюсь совсем одна, потому что и Наташа и Сталина уезжают еще в этом месяце...»

И вот последнее письмо, написанное не Шурой, а провидицей, человеком с даром прозрения. Провидицей сделала маленькую женщину большая любовь.

«Алеша, помнишь, ты говорил мне, что чудес не существует и что мысли передаются на расстояние электронными волнами, которые когда-нибудь будут изучены. Так вот, Алеша, ко мне поступила такая волна. Ты ничего не говори мне, не пиши об этом, а я знаю, что от тебя шестой день нет писем потому, что ты встретил женщину, которая в сто раз красивее меня, и я куда-то отодвинулась. Я увидела эту женщину во сне, таких я еще никогда не видала. Я не могу тебе ее описать, но знаю, что встретил ты именно ее и что все эти пять дней она перед тобой стоит. Когда я ее увидела, у меня страшно кольнуло сердце, а сейчас, когда я пишу тебе, оно совершенно спокойное. Ты любишь только меня, а ее не любил ни секунды. Но я знаю, Алеша, что у тебя были о ней стыдные мысли. Мне это было страшно тяжело, но теперь, когда я увидела, как ты гладишь рукой мою карточку, чтобы не было пыли, мне стало совсем легко. И вот что я тебе скажу, Алеша: я не самая красивая, не самая способная; и ты всегда встретишь женщину, которая лучше меня. Но любить ты будешь все-таки только меня, потому что я для тебя родилась, для тебя выжила от перитонита, и я это знаю точно. Ты говорил, что у меня бывает мистика, но это не мистика, это тоже будет когда-нибудь изучено и объяснено, что люди именно друг для друга предназначены.

Теперь, Алеша, вот что. Ведь учебный год уже начался, и то место, о котором ты договорился для меня в райнаробразе, наконец, занято. А я не хочу, чтобы твоя зарплата стала делиться теперь на двоих. С моим приездом тебе должно быть во всем лучше, а не хуже. А денег мне папа не сможет дать, потому что мне купили много вещей. И вот я тебя очень прошу поговорить с твоим товарищем председателем райисполкома, чтобы до будущего учебного года я могла пока где-нибудь служить. Ведь я очень хорошо шла по математике, и не такая уж я дурочка, чтобы не справиться. Я прошу сделать это обязательно и требую, чтобы ты считался с моим желанием. Я хочу, чтобы у тебя все было, и я не буду куколка, а буду стремиться, чтобы в вопросах быта ты мне подчинялся и даже не замечал, как все происходит. Мы с мамой много об этом говорили, и я знаю, что мне делать».

А вот открытка, которую Шура хотела, очевидно, отправить отдельно, а потом засунула в тот же конверт:

«Ты себе не представляешь, Алешик, чего только мама не насовала мне. Я просто не знаю, с чем они после моего отъезда останутся. Никакие мои протесты не помогают. Папа сколотил огромный ящик, в который сложили кастрюли, тарелки, стиральную доску и еще бог знает что. Этот ящик пойдет багажом. А с собой у меня будут такие чудесные вещи для нас!.. В общем, я приеду, как старая барыня, с целым хозяйством. И сразу сделаешься муж, глава семьи и капиталист. Ой, Алешка, как все чудесно, как колотится сердце!..»

Алеша читал эти письма, и его сердце тоже колотилось, как сумасшедшее. Но колотилось сейчас не от писем, а от толчков в вагоне, которым, может быть, уже ехала Шура. Эти толчки отдавались здесь, в комнатке. Куда она едет, любимая, родная, несчастная?! Что ее ждет?

Он решительно вскочил, чтобы бежать на телеграф, предупредить выезд Шуры. Но едва он поднял крючок на двери, как ему на грудь упала Анна Сергеевна. Она, вероятно, простояла за этой дверью целую ночь, и только Алешина глухота не дала ему слышать ее сдержанных всхлипываний.

— Алексей Николаевич, Алешенька, — заплакала она у него на руке, — да что ж это такое, что с тобой делается?

— Ничего, ничего! — постарался он высвободиться из старческих рук. — Пустите меня, Анна Сергеевна, мне надо на почту...

— Не надо, не надо, Алешенька! — загородила двери старушка. — Какая там почта! Рассветает уже...

— Нужно... спешно нужно, Анна Сергеевна...

— Не нужно, не нужно! Ты сейчас не в себе, напугаешь только Шуру, беды с ней наделаешь... Ты сядь, Алешенька, сядь, ты послушай меня...

Она усадила его. Усадила и начала убеждать, что все обойдется, все на свете обходится, все в свое положение приходит.

Она села на койку рядом с Алешей, стала гладить его спину маленькой, старческой, шершавой рукой, прижиматься щекой к резинке подтяжек и говорить, говорить... Она не знала толком причину катастрофы Алеша, но знала, что говорить.

— Это все образуется, Алешенька, все образуется, — уверяла она. — Ты не расстраивайся, ты береги себя. Ты плюй на сомнения, сомнения внутренность точат. Ты верь, что все переменится, ты верь только хорошему. Не бывает, Алешенька, чтобы неправда долго стояла. Она постоит-постоит, да и свалится. А ты о здоровье, о Шуреньке думай. Шуреньке-то ведь мужа весело надо... Не бывает, Алешенька, такой тучи на свете, чтобы не разогнало или не разожгло ее. И у тебя прояснится, еще как прояснится! Еще придут к тебе люди и скажут: «Почтение Алексей Николаичу». Еще передумают эти начальники, которые обижают тебя! Еще столько в твоей жизни солнышка будет, что

ты и позабудешь, как они выглядят, тучи-то. Ты, главное, дух свой удерживай, силу свою не выпускай из себя. Если останется она при тебе, так никакой злой человек не совладеет с тобой.

Она говорила ему добрые слова, утешала, как маленького, и настаивала, чтобы он выехал навстречу невесте.

— Знаю, знаю я, зачем хочешь ты на почту бежать. А ты не на почту, ты к Шуре беги. Чего ты Шуры боишься? Если уволят тебя, сделают тебе несправедливость, потерзают, помянут, так Шура тебе в эту пору Христовый подарок. С кем же еще и поплакать, с кем же утешиться, как не с женой! Ведь это же не фря к тебе едет, это ж любимочка, ей сейчас в самый раз быть при тебе. А насчет устройства ты не опасайся. Не помрем, проживем. Я вот всю жизнь прожила без устройства, а семьдесят четвертый пошел. В гражданскую, помню, с одной стороны партизаны, с другой — атаманы, хлеба ни крошечки, ребята режут, а ничего, пережили. И ваш ребяенок тоже переживет. А там и опять на работу устроишься.

Потом Анна Сергеевна ругала Ивана Никаноровича:

— Слышала я наемни за дверью, чего он тебе тут говорил. Не верь ему, милый, не верь! Жди добра, жди! С человеком ведь как получается: если он к худу себя расположит, на худо настроится, так и не выйдет хорошего, а если он с верным чувством в себе, так никогда с ним плохого не приключится. Чего ждет себе человек, то и приходит. А кто вечно подковырки ждет да подвоха, тот, Алешенька, тронутый, с ним удачи не будет. И не слушай начальника, расстроил он, толстый, тебя. Он, конечно, с умом, ничего не скажу, да только нет у него ума, чтобы умом своим правильно пользоваться.

Старушка говорила долго, настойчиво, и с теплом ее слов Алеше легчало. Ее бесхитростные слова умиротворяли его неспокойную душу. Ему показалось и логичным и верным, что нужно лишь настроиться на ожидание лучшего, чтобы оно и пришло. А может быть, тут сказались не только слова Анны Сергеевны, а и холодный рассвет, и бессонные ночи, после которых ему наконец смежло глаза...

Когда он их открыл, то увидел прежде всего телеграмму. Она все так же лежала, радостная, страшная, требовавшая от Алеши решимости.

Да, надо решать! Или — или!

И он бросился в прокуратуру.

— Почему вы меня не вызываете? — возбужденно говорил он ревизору. — Почему не допросили до сих пор Лобова, который подтвердит, что сестру Кобозева я впервые увидел у него на вечеринке? Почему не опрошена Надя? Где показания Рыльской? Почему вы не устраиваете мне очных ставок с людьми, которые меня обвиняют? Сколько времени вы будете мучить меня?!

Ревизор дал ему выговориться. Он с любопытством смотрел

на ворвавшегося к нему дерзкого парня, не обладавшего, видимо, достаточной выдержкой. Но отчего она изменила ему? Оттого ли, что раскрылась темная сторона его жизни, или оттого, что все было наветом? Этого ревизор еще не знал. Парень говорил неубедительно, бездоказательно, его доводы были наивны.

— А что, собственно, призван он подтвердить, ваш приятель? — спросил он Алексея, впервые внимательно рассматривая его через очки. — Что вы познакомились с Кобозевой у него на квартире? Но какое имеет значение, где состоялось знакомство? Важно то, что оно состоялось. Важно то, что знакомая приходила к вам во вне рабочее время и вы разделяли с ней в прокуратуре ночлег... Вы говорите, случайность? И вызов машины для отвоза свидетельницы тоже надо посчитать за случайность? Или вы станете меня уверять, что пользуетесь машиной райисполкома для отправки по деревням и других посетителей? И то обстоятельство, что вы не вышли из машины, когда она проезжала мимо вашего дома, — снова случайность? И визит к обвиняемому без составления протокола допроса — опять же случайность? И освобождение его после ночевки сестры — новая роковая случайность? И отказ передать дело в суд, хотя этого требовали газеты, общественность и прямой ваш начальник, — опять-таки очередная случайность? Что-то уж их больше много. Что-то уж слишком вам не везло... Вы же сами юрист и понимаете, что такое стечение роковых обстоятельств, такое совпадение десятка случайностей позволяет предполагать их отсутствие. И у вас нет никаких оснований разговаривать здесь в таком тоне. Ведь и наличного материала совершенно достаточно не только для увольнения... Если же я еще не делаю выводов, а, как вы выражаетесь, копаюсь и мучаю вас, то вам следовало бы этому радоваться. Если, конечно, вы заинтересованы в установлении истины... Но она, как вы знаете, не лежит на поверхности. По делу Кобозева вы почему-то искали ее целый месяц, а свое дело хотели бы видеть решенным за день... Нет, я вам этого не обещаю. Вообще ничего вам не обещаю. Проверка дел показала, что у вас сильно запущен здесь общий надзор, и областной прокурор приказал мне вчера по телефону заняться полной ревизией. А расследование вашего дела я поручил вашему прямому начальнику. Он мне будет докладывать. Когда потребуется, мы вас позовем. А от наскоков вроде сегодняшнего вы уж, пожалуйста, избавьте меня...

Отповедь ревизора была ледяным душем для разгоряченно-телеграммой Алеши. Но в этом душе скользнула под конец и теплая струйка: вести дело будет Иван Никанорович!

Алексей полетел к нему.

— Что? Кто поручил? — смутился почему-то Иван Никанорович. — Ах, он тебе сам сказал?.. Да, да, он просил меня... Я вызову, вызову, Алеша, всех, кого надо. Ты будь спокоен...

Ты ж понимаешь... Сделаю все, что смогу... Но сейчас, Алексей, ты зря так ворвался. Людка за дверью... Еще подумают, что мы договариваемся... Ты уходи, дорогой, уходи! Тут видеться сейчас неудобно... Забеги как-нибудь вечером на квартиру, проинформирую...

И вдруг Иван Никанорович перешел на такой громкий бас, словно наговаривал пластинку для патефона:

— Вы не беспокойтесь, не беспокойтесь, товарищ Корнев! Все, что полагается, все будет сделано! Мы так же заинтересованы в правде, как вы. Если можете назвать в свою пользу свидетелей, пожалуйста, называйте, мы их допросим. Но ходу расследования вы не мешайте. Зачем это нервничанье, этот приход в неположенный час? Ведь кодекс законов о труде мы не нарушили, вашу зарплату вы получаете, никакого ущемления вам не причинили — зачем же вы уж так наседаете? Живите, гуляйте, делайте пока все, что хотите, и дайте нам разобратся.

Хотя во время этой официальной тирады Иван Никанорович усиленно подмигивал своему собеседнику, показывая, что она предназначена только для посторонних ушей, Алеша почувствовал себя вдруг много хуже, чем от холодных, искренних слов Погорельского. Алексей был подавлен поведением Ивана Никаноровича, боявшегося даже разговаривать с ним. И он вышел потрясенный, униженный, впервые почувствовав, как закололо в сердце. Да, вот так наживается, видимо, жаба...

Бодрость, навеянная было Анной Сергеевной, после этого разговора сразу исчезла. И Алеша побрел в отделение связи.

Вот выдумка, которую он протелеграфировал Шуре:

«задержись выездом меня срочно вызывает область для перевода другой район жди письма обнимаю тебя самая дорогая на свете твой алексей».

Отправил и чуть не заплакал.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ИВАН НИКАНОРОВИЧ...

Дальнейшие события разворачивались вовсе не с быстротой кинематографической ленты, но все же разворачивались. Их ход был плохим.

В прокуратуру пришла потерпевшая Рыльская, и Иван Никанорович снял с нее официальный допрос. Свидетельница показала, что Кобозева она совершенно не знала.

— Вот видите, — сказал Погорельский Ивану Никаноровичу, — а ваш Корнев со слов своей милой приятельницы написал об этой женщине целый роман.

Иван Никанорович развел руками и ничего не ответил.

— Ну, пора уже опросить теперь эту девицу, — порекомендовал Погорельский.

Надя Кобозева пришла на допрос ни жива ни мертва. Она

слышала распространившееся по району известие о снятии Корнева за истории с женщинами и была больше всего озабочена, чтобы к этим подозрительным женщинам не пристегнули ее девичье имя. Наученная перепуганной матерью, она стала вообще отрицать, что ночевала в прокуратуре, а на очной ставке с уборщицей расплакалась и убежала.

А тут подоспел еще новый удар. Шура сидела в Свердловске на чемоданах и ждала от Алеши вестей. Напряженно ждала день и ночь, бросаясь к дверям каждый раз, когда кто-нибудь поднимался по лестнице. Это ожидание стало ей невозможным, и она послала в областную прокуратуру запрос. Его передали Погорельскому по телефону. Отдел кадров сообщил ревизору, что Корнев, замешанный в уголовное дело с сердейской девицей, разыскивается и женщиной из Свердловска. Погорельский написал отправительнице, что Корнев никуда из Сердейска не выбывал и областной прокуратурой не вызывался.

А в это время о Корневе поступило еще агентурное донесение работника уголовного розыска. Он вспомнил, что и до случая с Кобозевой видел помощника прокурора на окраине города обнимавшимся с какой-то девицей.

Погорельский мрачнел. Иван Никанорович встревоженно сказал по поводу всех этих дел, что на работе помощник держал себя надлежаще, а о поведении его в нерабочее время он ничего не слышал. Знал, со слов помощника, что тот вел переписку с невестой, но что он заневестил еще столько девиц, не имел представления...

Атмосфера вокруг Алеши сгущалась, он это чувствовал, но ничего еще толком не знал, а Иван Никанорович не забегал.

Не только не забегал, но даже забыл предложенный им самим уговор — выручать друг друга в беде. Прокурору было не до помощника, у него самого назревало плохое.

Погорельский узнал о «лошадиной истории» и завел о ней большой разговор, к которому Иван Никанорович не был готов. Ревизор спросил, не находит ли райпрокурор произвольным взыскивать за прогулы с ездовых, когда все другие колхозники не несут в этих случаях материальной ответственности. Иван Никанорович ответил, что тут действительно проявлен был односторонний подход. Ревизор поинтересовался, какие же еще меры предлагались для улучшения трудовой дисциплины. Иван Никанорович не смог их назвать. Ревизор хотел знать, проводила ли прокуратура совещания по колхозным делам. Прокурор ответил, что совещания были, но протоколов на них не велось. Потом Погорельский провел два дня в милиции и спросил прокурора, известно ли ему, что дежурные часто отказываются принимать заявления граждан. Прокурор заверил, что во всех случаях, когда ему жаловались на милицию, он реагировал... Ревизор не удовлетворился этим ответом и стал допытываться, не завышен ли процент раскрываемости преступле-

ний в районе. Прокурор пробормотал, что процент соответствует карточкам. Вскоре Погорельский вздумал сам принимать посетителей. Он нашел, что они рассказывают интересные вещи, и пожалел, что эти рассказы никогда не отражались в отчетах. Прокурор объяснил, что формы отчетности часто менялись... Почти каждый день, а иногда по многу раз в день ревизор стал задаваться вопросами, ставившими райпрокурора в тупик. Погорельский спрашивал, например, почему так редко топится баня. Иван Никанорович отвечал, что в ней работает только один инвалид и ему трудно топить каждый день. Ревизор замечал, что он, к сожалению, видел на улицах далеко не одного инвалида... Приезжий спрашивал, почему грязна базарная площадь, почему нет печки в дежурке милиции и отчего в финотделе всегда толпа. Набравшись смелости, Иван Никанорович позволил себе заметить, что в обязанности прокурора не входит надзор за базаром... Но Погорельский сухо возразил на это, что прокурор должен следить не за рынком, а за выполнением Постановления Совета Министров о торговле на рынках. В этом неулыбавшемся человеке не было никакой задушевности, и Иван Никанорович не мог с ним говорить по-простецки. Районному прокурору хотелось сказать, что он не в силах отвечать и за колхозы, и за учреждения города, что он такой же человек, как все, что ему хочется и без спешки поесть, и вдоволь поспать, и жить в мире с городскими работниками. Но вместо этого районный прокурор говорил, что он день и ночь погружен в дела, третий год не был в отпуске, что у него нет надлежащего транспорта, что он разрывается, что ему не на кого положиться в работе.

Отчеты оказывались плохи потому, что помощник молодой, малоопытный, не понимает, что и к чему. Следов от совещаний не оставалось, так как помощник не вел протоколов. А протоколы сельсоветов не проверялись, так как помощник не управляет... Прокурору приходится делать все самому, а при таком положении недогляды совершенно естественны...

Иван Никанорович твердо решил никаких недоглядов не отрицать и признавать все промахи, на которые укажет ему ревизор. Раз человека послали делать ревизию, то надо дать ему возможность вскрыть недостатки, написать длинный акт и уехать довольным мирным характером райпрокурора. «Если ревизору не помешать, так и он райпрокурору не помешает», — рассуждал Иван Никанорович. И нельзя было лишать ревизора возможности назвать в акте конкретных виновников зла. Ими должны были стать битюг и помощник. Иван Никанорович любил Алешу, но... тут уж приходилось заботиться о собственной своей голове. На душе у Ивана Никаноровича было нехорошо, но он убеждал себя, что с Алешей как-нибудь обойдется, что Алеша молодой и у него вся жизнь впереди, а ему, Ивану Никаноровичу, надо додержаться до пенсии... Иван Никанорович

не желал зла Алексею, но хотел отвести зло от себя. И наветы на Алексея у него получались сначала невольно, просто в поисках доводов, в объяснение трудностей жизни.

Но постепенно эти наветы стали намеренными.

Неизвестно, когда именно Иван Никанорович отказался от мысли выручать Алексея и начал от него отмежевываться. Вероятно, это происходило по мере того, как ревизор становился все недовольней делами. Не знаю, стал ли Иван Никанорович делать Алешу козлом отпущения, решив, что все равно его дело пропащее, или же, наоборот, постарался превратить Алешу в пропащего, чтобы сделать его затем козлом отпущения. Алеша никогда потом не выяснял этого. Ему и без того тяжело было узнать о Иване Никаноровиче больше, чем хотелось бы знать. Но еще в те трудные дни Алексей не понимал, как это Иван Никанорович не может найти концы в его деле. Почему этот человек, отличавшийся пронизательностью в прочих делах, оказался совершенно беспомощным в выяснении фактов, лежащих на поверхности?! Как это так? — спрашивал себя Алексей. Почему Иван Никанорович смог распознать невинность незнакомой девицы, спрятавшей платье подруги, и не может распознать невинность помощника, приютившего девушку на ночь?! Почему он мог ставить в тупик опытных, прожженных воров и не смог получить показания от испуганной, бесхитростной Нади?! Почему Алешу и следователя он учил быть дотошными при опросах свидетелей, а сам удовлетворился показанием Рывьской, лживость которой могла быть легко установлена?! Алеша неистовствовал. Он жил сообщениями, которые приносил ему следователь, ничего не понимал, и ему страшно было понять. Он ругал себя за нетерпение, уверял себя, что Иван Никанорович достаточно хитер и разумен, знает, что делает, найдет нужные ходы, не подведет...

Зато подвела телеграмма.

Вот какое письмо получил он от Павла Максимовича:

«Алексей Николаевич! Не знаю, что вам и сказать. Мы получили вашу телеграмму, когда я уже стаскивал по лестнице вещи. Шура была совсем растерянная, и мы девять дней не знали, куда ей ехать и когда. Вещи как стояли, так и стоят собранные. Шура совсем извелась, ожидая вашего письма, которое вы обещали и не прислали. А сегодня утром пришла телеграмма от вашего начальника, которую нам с матерью страшно было Шуре показывать, потому что она достаточно перенесла от операции и экзаменов, а теперь вместо радости такое дело... Я спрашиваю вас, Алексей Николаевич, как вас понять и что это значит. Если вы передумали насчет Шуры, так напишите мне это, и мы с матерью ее подготовим, хоть не знаем, чего будем делать. А если тут у вас другая причина, так зачем обманывать? Шура перетерпит отсрочку, а вот такое поведение терпеть невозможно, когда она не сидит в комнате, а стоит с утра до вече-

ра в подъезде и ждет телеграммы. Я удивляюсь, Алексей Николаевич, какие у вас были хорошие речи, как вы мне все доказывали и как теперь делаете. Зачем было целый год письма писать, торопить ехать и задурить девчонку до того, что она ничего не соображает, смотрит на мать с отцом и не понимает, чего они ей говорят. Я прошу, Алексей Николаевич, чтобы вы сейчас же объяснили, как будет. И если ваши намерения переменялись, так будьте честны сказать. Вы носите в кармане партийный билет, а выходит сейчас непохожее. Я как отец, а также Шурина мать, мы от вас требуем, чтобы все было понятно. Ведь вам хорошо известно, что это не мы звали вас в дом и не искали женихов своей дочери, а дочери нашей при ее красоте и годах не приходилось о женихах беспокоиться. Если бы она замуж хотела, так ей не требовалось ехать за тридевять земель от родителей, а могла привести жениха в новый дом со всеми удобствами. А вы три года забивали ей голову — и спрашивается теперь: для чего? Как мы вас знаем, Алексей Николаевич, вы не можете быть такой плохой человек, и мы ждем, что вы немедленно напишете о своем поведении и скажете, что делать Шуру».

Алексей стал проклинать себя за ложь, за беспомощность своего поведения. Да, всякая ложь всегда признак беспомощности. Но больше всего проклинал сейчас Алексей человека, который побоялся с ним разговаривать, юлил, скользил и подмигивал, отнял всякую веру. Ведь из-за этого Алексей и пошел на телеграф...

Алексей решил немедленно ехать в Свердловск.

В кармане у него было тридцать рублей, у Анны Сергеевны нашлось еще около этого. На дорогу туда и назад нужно было четырехста. Ничего не сказав старушке, Алексей положил в чемоданчик чайный сервиз, порттеру, мясорубку, лежавшие в ожидании Шуры, и пошел продавать их.

Был как раз конец рабочего дня. Теперь на улице уже рано темно. Алексей поглубже надвинул кепку на лоб и с бьющимся сердцем вошел в магазин. Но здесь он не остался неузнанным. Сильно конфузясь, Алексей спросил заведующего магазином райпо, нельзя ли возвратить купленные некогда вещи, а тот ответил, что с удовольствием пошел бы прокурору навстречу, но, к сожалению, проданные товары обратно не принимаются.

Потом заведующий прикрыл дверь конторки и предложил: — Вот что, товарищ прокурор. Я слышал про вашу историю. Вы не беспокойтесь. Сегодня снимут с работы, завтра снова зачислят, послезавтра опять отставку дадут, а после нее будет еще повышение. Сколько вам надо? Триста? Шестьсот? Я вдовый, зарплаты не проживаю. Люди должны помогать друг другу в беде... Я вам сегодня — деньгами, вы мне в другой раз — чем сможете...

Алеша выскочил красный.

Он год боролся с преступностью, а преступность сама о себе заявляет ему, приглашает в участники. Она спокойно живет, а у него, Алексея, навсегда отнят покой...

Боже, каким подвергается он теперь унижениям! Его выгоняют с работы, его сослуживец опасается с ним разговаривать, сам он боится показаться на улице, темные люди ищут с ним сближения, а близкие люди думают о нем неведомо что...

Алексей запомнил и такую подробность, завершившую его унижение,— когда он выбежал из магазина на улицу, его окликнула женщина и спросила: «Вы что, гражданин, предлагали клеенку? А ну, покажите, какую...»

Он пришел домой, швырнул чемодан так, что в нем забрехала посуда, и решил испытать еще одно унижение, попробовать ехать без билета, по сговору с проводником. Но что он мог им предложить? Все тот же сервизик, портьеру.

Почти по соседству с Алешей жил налоговый инспектор. Ему было лет тридцать, но он имел собственный домик, огород и разную живность. Анна Сергеевна говорила как-то Алеше, что жена соседа собирается резать свинью. Старушка просила Алексея поговорить с инспектором — не выделит ли он им килограммов пять попостней... Все равно ведь пуд-другой продаст на базаре. Но Алексей отказался от этого поручения. А сейчас, перебирая в уме людей, у которых мог бы одолжить на поездку, он вспомнил об инспекторе. Если тот продал мясо, то был при деньгах... Алексей и инспектор часто сталкивались, идя с работы, и отношения у них были хорошие.

После некоторых колебаний Алексей решил обратиться к нему.

Инспектора он застал с женой на крыльце. Но едва Алексей поздоровался с ними, как женщина полушутя-полусерьезно призвала его к роли арбитра.

— Ну, скажите, Алексей Николаевич,— довольно возбужденно заговорила она,— мыслимое ли это дело, каждый вечер брать по жбану московского пива! Завел себе привычку ходить по вечерам с бидоном в пивную. «Не могу, говорит, ночью спать в духоте, должен что-нибудь холодное пить». А откуда теперь духота! И как будто дома кваса не стало! Разбаловался, и все! До полочки еще целая неделя осталась, а ему хоть бы что. Вяжется, чтобы я денег дала. Хоть вы его пристыдите.

И Алексей понял, что свинья не зарезана...

Он постоял возле соседей несколько минут, рассеянно поговорил с ними, пожелал доброй ночи и хотел отправиться в город, как вдруг увидел в темноте Иванова.

— А я к вам, Алексей Николаевич.

Алеша радостно пожал ему руку. Они зашли к Алексею.

— А я и не знал, что инспектор по налогам живет рядом с вами,— сказал Иванов.— Кстати, вам случайно не приходила

ли мысль, что некоторые налоги — совершенно лишняя вещь? Я вот как-то проект выдвигал. Предлагал упразднить налог с населения, снизив на его сумму зарплату. Это сразу все упростило бы. Финансовый аппарат избавился бы от половины занятий, а предприятия — от сложных расчетов. Мне ответили тогда, что мысль интересна, но осуществление пока осложняется, так как... Виноват, — спохватился, перебив сам себя, Иванов, — ведь вам сейчас не до финансовых реформ и проектов.

Он пытливо посмотрел на Алешу. Зеленый и тусклый свет ночника делал лицо Алексея особенно бледным. Появившаяся недавно синева под глазами казалась в этом свете густой чернотой.

— Плохо выглядите вы, Алексей Николаевич, плохо, — сказал Иванов. — И все-таки я просил бы вас прослушать одну длинную притчу.

— А именно? — удивился Алексей.

— Я чувствую ваше состояние, — тихо пояснил Иванов, — но хотел бы, чтобы вы меня выслушали. Именно в таком состоянии она вам и нужна. Я, собственно говоря, ради этой притчи пришел.

— Ну, пожалуйста, — сказал Алексей.

— Но предупреждаю: притча длинная, а эпизод очень давний. Он относится к концу двадцатых годов. Это вас не смутит?

— Да что вы оговариваетесь, Василий Викентьевич! Вы для меня такой дорогой сейчас гость, и я так рад, что вы здесь...

— Это было в глухом сельском районе, — начал Иванов, скрутив папиросу и не обратив внимания на последнюю фразу Алешу. — Там в одном из колхозов председательствовал двадцатипятилетний человек средних лет, высокий, плечистый. У него были крупные черты лица, откинутые назад великолепные волосы, внимательные, большие глаза, легкие морщинки между бровей. Чудесное, точно взятое с плаката лицо пролетария, строителя, деятеля... Вел этот человек упорную борьбу за колхоз. Имел он, конечно, врагов, еще больше друзей, но друзья были бедны, бесплочны. Они сомневались, он вселил в них уверенность, бодрил, организовывал, вел. Враги, конечно, мешали... Несколько устарелое начало для рассказа сегодняшних дней? — спросил Иванов.

— Нет, нет, я вас слушаю. Я, правда, был тогда еще маленьким, но столько об этом читал...

— Ну, концовку рассказа вы вряд ли могли прочитать. Она сложилась особенно, как всякое судебное дело... Так вот, была у этого председателя жена, очень молодая, но дородная женщина, светловолосая, с абсолютно правильными чертами лица, певучим голосом, мягкой походкой, настоящая красавица русская. И стал секретарь райкома очень часто заглядывать в этот колхоз. Навсегда неизвестным осталось, к ней ли тянуло его, дело ли требовало... А секретарь был тридцатилетним хо-

лостым человеком, веселым, подвижным. Председатель стал все больше и больше хмуриться при этих визитах. Люди замечали, что он сух с секретарем... И вот однажды вечером, когда секретарь, приехав и не застав председателя дома, пошел вместе с его женой поискать его, раздался вдруг выстрел. Секретарь упал замертво.

— Неужели?... — спросил и не договорил Алексей.

Иванов затаился.

— Все сошлось против двадцатипятидесятилетия, — продолжал он спокойно. — Его увидели сразу после убийства в двух шагах от места убийства. Пуля была от нагана, а в его нагане не хватило патронов. Секретарь шел с женой, которую председатель к нему ревновал. И удивительно ли, что даже друзья обвиняемого заколебались... А убийство секретаря всколыхнуло, конечно, весь район, и не только район. Быстро выехала специальная сессия областного суда.

— И? — нетерпеливо спросил Алексей.

— И, — ответил Иванов, — член областного суда, бывший председателем сессии, усомнился в вине подсудимого... Все улики показались ему недостаточными. Три ночи подряд после дневных заседаний шагал судья по своей комнатухе в районном Доме крестьянина, силясь согласиться с уликами и не мог согласиться. Он напряженно пытался нарисовать себе эту сцену выстрела из-за угла, но наган упорно вываливался из рук подсудимого. «Не мог этот человек выстрелить в спину...» И судья убедил заседателей вынести оправдательный приговор.

Иванов замолчал. Алеша выжидательно смотрел на него.

— Надо ли добавлять, — продолжал Иванов глухим голосом, — что не все могли примириться с безнаказанностью такого убийства! И нашлись люди, направившие это негодование против судьи. Корреспондент областной газеты, давая выход своему возмущению, сразу после окончания дела протелеграфировал корреспонденцию «Правооппортунистический приговор областного суда». За корреспонденцией последовала передовая. В обеих статьях говорилось о заслугах убитого, но умалчивалось, что и оправданный был борцом за колхозы. Двадцатипятилетия крестили пролезшим к руководству врагом. А времена тогда были горячие. Члена областного суда отстранили. Дело ушло в Москву на проверку, а местная комиссия стала проверять поступок судьи. В комиссии оказались люди не рассудительные, не принимавшие резонов, поспешные в свирепых решениях... Вы понимаете, Алексей Николаевич, к чему я рассказываю вам это давнишнее дело? — спросил Иванов.

— Примерно. Еще не совсем. Что же стало с двадцатипятилетием? Верхсуд отменил? Его осудили?

— Через два года случайно открылось, — не ответил на вопрос Иванов, — что убийство совершено было не из ревности. Секретаря убили два кулака. Убили так, что подозрение пало

на председателя. Среди других преступлений этих людей вскрылось и это. Тогда и судья восстановил свое доброе имя. Через восемьсот двадцать три дня. Да, восемьсот двадцать три... Не задумаетесь ли вы, как судья должен был их пережить? Вот к чему я и рассказываю... Ему было трудно. Очень трудно. Его все осуждали. Осуждали на собраниях, осуждали в печати. Против него выступали даже товарищи, считавшие его поведение правильным, но не решавшиеся разноречить с газетой, с обкомом. Наиболее малодушные обходили при встречах, шарахались на улице в сторону... Сначала судья был в отчаянии — ведь никто не хотел его выслушать, не смел поддержать. Он кинулся в Москву к бывшему близкому другу, занимавшему видный пост в Наркомате юстиции. Но большой человек оказался пре-маленьким.

Судья вернулся в свой город, замкнулся в себе. Ему оставалось только утешать себя мыслью, будто на один с собственной правдой он честнее, чем все. Но чувствовать себя жертвой было очень невесело. Становилось как-то зябко внутри... Судья стал тогда много читать, ходил в кино, на бульвар, не обращая внимания на тех, кто от него отворачивался. И постепенно что-то просветлялось ему, он становился спокойнее. Приходило какое-то новое отношение к тому, что случилось. Появлялось, так сказать, чувство истории. Да, Алексей Николаевич, есть такое неизвестное вам ощущение. По молодости лет неизвестное... Это, если можно так выразиться, подсознательная уверенность в том, что жизнь умело переработает все несуразицы каждого данного времени. Надо отделять в своем времени главное, важное от наносного, ранящего. Ведь с годами наступает обязательная редакция в требованиях. Приходит время более расширенного понимания. Жизнь умнеет, светлеет. Справедливость становится силой общественной. И если бы кулацкое дело даже не было вскрыто, то самая несправедливость все равно раскрылась бы. Раскрылась при улучшенном понимании, в период новых оценок, в самом прояснении жизни... Надо только иметь внутри что-то крепкое, дающее обороняться, сносить, не дать настроению дня разрастись в настроение лет. Сохраниться, как был... Хорошо, когда при этом есть родные, любимые. У судьи была дочка. Она согревала. Тащила на бульвар, заставляла мастерить ей игрушки, возить на спине. Страдальческий венец, который судья на себя надевал, становился смешон рядом с девочкой, седлавшей папу-лошадку. Девочка помогала папе обретать чувство истории. И папа держался того, что он думал, не отрекся от себя самого...

Вот вам, Алексей Николаевич, не новая мораль моей басни: когда человек уверен в своей чистоте, в ней рано или поздно уверятся и окружающие.

Иванов замолчал. Его лицо в зеленом свете тоже выглядело бледным, а главное — очень усталым и старым. Но и не мог не

быть стар человек, который еще до рождения Алеши переживал Алешино, как свое. И он смотрит теперь на любые тяжелые случаи в жизни иначе, чем Алексей. И Алеша почувствовал, какой хороший человек Иванов. Вот он только что приехал из дальней деревни и, не отдохнув, поплелся на другой конец городка напомнить Алеше, что несчастья со временем становятся прошлым.

— Не утомил я вас, Алексей Николаевич, свою странную притчей? — спросил Иванов.

— Спасибо вам за нее, — растроганно поблагодарил Алексей, хотя не уловил особенно большой связи между этим рассказом и его, Алексея, историей. — Вы правы, полностью правы, Василий Викентьевич, — заговорил он устало, — но ваш случай совершенно другой. Там было убийство, был факт, а тут ничего, вообще ничего. Там были улики, можно было сомневаться, гадать, а со мной все понятно, обо мне можно за день все выяснить. Я в жизни не думал, что возможны такие истории. Вы сами знаете, у меня проходили серьезные дела, политические, я занимался десятками разных вопросов, хозяйственных, важных... И никогда ничего. А тут... ни на чем, вообще ни на чем... Мне Иван Никанорович всегда говорил, чтобы каждый шаг проверять по хозяйственным делам: падеж скота, растрата семян, утечка зерна... На этом, говорил, голову можно сложить. А здесь мальчишка кого-то ударил — и сделал из меня уголовника... За что? Скажите: за что?

— За опрометчивость, — сказал Иванов, внимательно слушавший отрывистые слова Алексея. — Очевидно, за опрометчивость. Ведь ваши поступки кажутся простыми только вам самому, для других умов ваши соображения довольно трудны. Да, Алексей Николаевич, не удивляйтесь, они вовсе не сразу доступны. Со стороны все это очень темно. Простите за откровенность, но для меня история с девушкой совсем не ясна, и я не пришел бы к вам со своей утешительной притчей, если бы мне не открылось другое. Я знаю, что дело Кобозева вы задержали не из-за знакомства с сестрой. Знаю это из некоторых источников точно. Для меня этого факта достаточно, а другим и он еще не известен. Поэтому придется вам пока потерпеть. И силы копить... А у вас, простите за правду, вид стал больничный, и накопили вы, видать, только отчаяние.

— Накопится, — горько сказал Алексей. — Раз некуда деть, так накопится. Ведь не дают возможности все рассказать, объяснить. Выгнали из помещения и готовят за спиной какую-то гадость. А дело так просто, так ясно, — выкрикнул он с бесильной досадой, — что за час его можно решить! Ведь вообще нет тут дела! Никакого! Вообще! А этот ревизор приехал с заданием и подбирает теперь...

— Ну, это вы не выдумывайте! — перебил Иванов — Погорельского я знаю много лет. Он не гений, но человек безуслов-

но порядочный. И кто мог давать задание вас погубить? Вы что, перешли областному прокурору дорогу? Стояли в центре какой-то борьбы двух начал? Это болезненное воображение, Алексей Николаевич,— строго сказал Иванов.— Никакого задания нет. Вы сами своей неосмотрительностью поставили себя под удар, а теперь, возможно, этим кто-то и пользуется...

— Не будьте так уверены,— возразил Алексей.— Если бы Погорельский не держал себя так предвзято, не имел какого-то плана против меня, так почему бы Иван Никанорович вдруг забоялся со мной разговаривать?

И Алексей рассказал о последнем визите к начальнику.

— По-моему,— покачал головой Иванов,— вам следует опасаться не предвзятости ревизора, а такой вот боязливости райпрокурора. Это человек, потерявший всякий баланс. Вы даже не представляете себе, насколько он себя потерял...

— Я знаю о нем больше, чем вы,— грустно сказал Алексей.— Но надо признать, что и пережил он не меньше, чем вы. И я теперь вижу, отчего он стал таким, какой есть. По себе понимаю, что значит пережить травлю, поклеп...

— Нет,— задумчиво возразил Иванов,— именно сейчас вы мало что понимаете. Дело вовсе не в том, сколько мы прожили, прошли или пережили, а в том, что мы из этого вынесли, с чем в конце концов вышли. Многие большевики пережили достаточно... А многие и не пережили... История слишком быстра, чтобы быть всегда справедливой. Каждой эпохе больших дел сопутствует и хроника скверных. Эти гибели не оправдать. Никогда не будет в человеке примирения с ними. Но разве наша эпоха состояла только из них?! Разве, кроме сломанных жизней, нет большой общей жизни, которую делает много рук и голов?! Что он такое навнушал вам, ваш Иван Никанорович? Какого он такого горя хлебнул, что считает теперь себя вправе на все?! Нет, Алексей Николаевич, на несчастьях надо закаляться и зреть. А ваш Иван Никанорович вышел из своих злощастий таким, что лучше бы ему и не выходить... Но не стоит об этом сейчас! — прервал себя Иванов.— Разрешите другой темы коснуться. Разрешите по-стариковски, напрямик, так сказать...

— Да, пожалуйста,— сказал Алексей.

Иванов выждал минутку и спросил неожиданно:

— Вы не могли бы одолжить мне триста рублей?

Алексей растерялся.

— Василий Викентьевич... У меня как раз... Мне самому до зарезу...

— Не можете? Ну, в таком случае разрешите мне одолжить вам. Тем более что, как вы говорите, это вам до зарезу.

И положил на стол деньги.

— Что это значит? С чего вы? — вскочил Алексей.

— Да ни с чего. Просто почувствовал, что вам, как вы вы-

разились, они до зарезу. А раз до зарезу — значит, не смеете от них отказаться.

Алексей и не знал, как благодарить Иванова за добрый инстинкт. Лишь позже, когда все утряслось, он узнал, что к судье бегала Анна Сергеевна.

Иванов решительно запретил Алексею провожать себя.

— Разве я такой уж дряхлый старик, что мне нужен поводыр? — сказал он с деланной обидой. — А вы лучше ложитесь. Ведь спите-то, наверное, только моментами...

Алеша видел в окно, как Иванов шел поживаясь. На улице было, очевидно, свежо. Судья не торопился и оглядывал спавшие домики. Да, ему далеко еще было до дряхлости! Кровь уже мало грела, старость осилила тело, но сердце и голова продолжали жить беспокойно, моложе, чем у иных молодых. И Алеша подумал, что секрет молодости, очевидно, не только в туго натянутой коже лица, а еще в умении не быть в старости старым.

Теперь я расскажу столь же короткий, сколь и трагикомический эпизод Алешиной повести, эпизод с двумя поездками возможен только в бессильном отчаянии и в сильной любви. Случай необыкновенный, годный для скетча, для забавной комедии, но прошедший, к сожалению, не в водевиле. Впрочем, почему я сказал «к сожалению»? Если в те полные драматизма недели Алеша и Шура кусали себе по поводу этого случая губы, то впоследствии много смеялись. Они часто рассказывали о нем друзьям и знакомым, как бы хвалясь: «Вот как мы умели любить, какие были решительные, неостановимые, быстрые!» Да, юность быстра. Располневшая Александра Павловна и поседевший Алексей Николаевич никогда уже за ней не угонятся. Они научатся взвешивать, поступать с толком, обдуманно, скучно... А Алеша и Шура ринулись в бестолковый маршрут, и их роман приобрел несколько памятных новых страниц.

Алеше впоследствии говорили, что в двадцать три года следовало все-таки действовать уже более трезво. Можно было списаться, дать телеграммы... Но Алеша считал, что ему надо уже не давать, а исправлять телеграммы. Исправлять личным приездом. А кроме того, ему, вероятно, хотелось не быть в эти тяжелые дни одному, хоть на коротенькое время уйти от наветов, расследований, протоколов, тревог. Короче говоря, Алеша поехал в Свердловск.

Он не помнил потом подробностей этой поездки. Когда Алеша ехал после института в район, он отмечал на карте маршрут, разглядывал каждую станцию и расспрашивал в дороге людей о новых местах, интересуясь и Тоболом, протекавшим за сто верст от Сердейска, и Кустанаем, лежавшим за двести верст. Теперь же Алеша ничем не интересовался в пути. До Караульской он

трясся неизвестно сколько часов на случайной машине, затем в «максимке» до Троицка и пересел там в бесплацикартный вагон, тащившийся потом целую ночь. Алеша забрался на багажную полку, привязал себя ремнем к трубопроводу, не вышел ни на одной станции, не прислушивался ни к одному разговору, а все время дремал или считал, чтобы задремать. Он не спустился с полки даже в Челябинске, где поезд стоял целый час. Сначала хотел было пойти на вокзал и позвонить брату, потом решил, что не надо. Зачем Леониду видеть его, неудачника. Хватит и свидания с Павлом Максимовичем... Алеша и страшился этой встречи, и торопился к ней. Его раздражали медлительность поезда, долгие стоянки на станциях, тусклый свет фонарей на платформах. Ему хотелось приехать как можно скорее.

А в то же время он хотел выспаться, предстать перед Павлом Максимовичем свежим и бодрым, снять красноту с воспалившихся глаз, стереть с лица все следы последних недель. Он, Алексей, не мог приехать к отцу Шуры прокурором-банкротом. Кому-кому, а именно этому человеку Алеша ни за что не хотел дать какой-нибудь повод для нерадостного торжества над снятым начальником. Нет, Алексей по-прежнему быстро взбежит по узенькой лестнице, крепко нажмет звонок, уверенным шагом войдет, весело заговорит. И эта бодрость не будет искусственной — ее сразу придаст Алексею Шура, которая стоит у подъезда. Она ждет здесь телеграммы Алеши, а увидит вдруг его самого... после этого для встречи с Павлом Максимовичем уже не потребуются никакой подготовки...

На самом же деле обе встречи произошли вовсе не так. Вернее, обе не состоялись.

Сойдя на свердловском вокзале, Алексей сначала зашел в парикмахерскую. Он стригся, брился и волновался. Ведь Шура была уже в двух шагах от него и еще ничего совершенно не знала! Потом он забежал в ателье, упросил выгладить брюки. Пока их утюжили, Алексей сидел в закутке, прикрыв ноги пальто и умеряя свое нетерпение. Затем он бросился в центр за цветами. Но букетов не оказалось, были только в горшках. Продащица предложила сделать корзину, Алеша уплатил за нее сто пятнадцать рублей, хорошо сознавая, что у него не хватит на обратный билет. Но это как-нибудь обойдется. Зато через двадцать минут они увидятся с Шурой! Когда Алеша подбегал к знакомому дому, он слышал свое сердце, как слышал стук каблучков. Сердце и шаг приходилось сдерживать, чтобы не расстряслась корзина с цветами.

Но никто у подъезда не вскрикнул, не рванулся к Алеше, не повис на груди... Он настойчиво позвонил, но на звонок никто не откликнулся. Он опять зазвонил, загучал, потом, поставив на площадку корзину, забарабанил двумя кулаками. Дверь не открылась. Квартира была, очевидно, пуста.

Взволнованный Алеша стоял на площадке и продолжал ав-

томатически барабанить по двери, уже понимая, что открыть ее некому... Барабанил, пока из соседней квартиры не послышался крик:

— Кто это там, прости господи, двери ломает?!

Из-за цепочки высунулся старушечий нос.

— Ты чего это весь дом поднимаешь? — заворчала на Алексея старуха. — Не видишь разве, что нет никого? Крушит, крушит целый час, оголтелый! Ну, кого тебе надо-то?

— Я к Бережновым, — моляще объяснил Алексей.

— Вижу, что к Бережновым. Да ведь нету же их. Сам на работе, дочка в отъезде, а Глафира, наверное, за хлебом пошла. А ты, вместо того чтобы спросить у людей, дверь вышибаешь!

Алеша остолбенел.

— Как?.. Как дочь в отъезде?!

— А так вот. Вчера только уехала. К бабке, в деревню. Старуха плоха, вызвала сына проститься, а он сам поехать не мог и отправил к матери дочку.

Алеша осовело стоял, не зная, что делать.

Он машинально поднял корзину и стал медленно спускаться по лестнице. Не снимая цепочки, старуха продолжала следить за ним.

— А ну-ка, подожди, молодой человек, — предложила она, решившись показаться наружу. — Ей, что ли, цветы приносил? Для Шуры они? А ты кем ей приходишься?

— Ох, будьте добры, — спохватился Алеша, не ответив на любопытство старухи, — передайте корзину Глафире Ивановне! А я через час снова зайду.

Он вышел на улицу. Уже не бежал, медленно пошел неизвестно куда. Смотрел пустыми глазами на знакомый квартал и отдалялся от него как от чужого.

Надо же, чтобы так не везло! И сразу во всем! Словно где-то кто-то сидит и специально накручивает...

— Ах! — раздалось вдруг на улице.

— Глафира Ивановна! — вскрикнул Алеша.

У нее от неожиданности даже картошка из авоськи рассыпалась.

Они заговорили, перебивая друг друга.

И тут Алеша узнал совсем страшную вещь: Шура не только уехала, но уехала именно к нему, Алексею! Выехала вчера утром и чуть не в те же часы, когда Алексей добирался до Троицка. Ждала, ждала телеграмм или писем, потом не выдержала, не захотела сносить злых подозрений отца и поехала. Поехала без вещей, с одним саквояжиком. Мать с отцом ее отговаривали, советовали еще подождать, запросить, а она уперлась — и все! «С Алешей, говорит, что-то случилось, я хочу его видеть, ничего не говорите, все равно я поеду». А соседям Гла-

фира Ивановна сказала, что Шура в деревню уехала. Чтобы не было никаких разговоров.

Не медля ни минуты, не слушая уговоров Глафиры Ивановны зайти хоть позавтракать, Алеша кинулся назад на вокзал.

Но оказалось, что поезд на Троицк будет теперь уже только вечером.

Он заметался по городу. Шагал по бульварам, кружил без цели в трамваях, ел пирожки с липким повидлом и рассматривал на стендах газеты, не соображая, что в них написано. Но не зашел в институт, в общежитие, где пришлось бы отвечать на расспросы...

Вечером он снова сел в бесплацкартный вагон, — может быть, в тот же, которым приехал. Получив двадцать рублей, проводник разрешил ему простоять ночь в тамбуре, где был наиболее удобный НП на случай проверки билетов. Оставшуюся половину своего капитала Алексей отдал шоферу в Караульской. Тот сбросил потом пассажира в четырех километрах от города. Алексей пробежал их не хуже степной каракульской лошади, чтобы без сил и дыхания свалиться в объятия... Анны Сергеевны.

Увидя Алешу, старушка всплеснула руками.

Такой злой игры, какую повела с ним судьба, она еще ни для кого не придумывала!

Оказалось, что Шура поступила точь-в-точь как Алеша. Добравшись, сама не зная как, до Сердейска и узнав, что Алеша поехал к ней, она сейчас же помчалась назад.

Впрочем, у Шуры мелькнуло на момент просветление, и оно могло оказаться спасительным. Заметив в Троицке на вокзале окошечко телеграфа, она поспешила передать домой весть, прибывшую раньше, чем поезд. Если бы Алексей не мотался в Свердловске по улицам, а сидел у Глафиры Ивановны, он с Шурой не разминулся бы. Но перед кознями бесов человек, как известно, бессилен...

Этот эпизод кажется похождением двух недотеп. Но в действительности печальные поездки Алеши и Шуры не были такими уж безрассудными. И развели их не черти...

Конечно, легкомыслие в этой истории было. С этим не приходится спорить. Но осуждать его тоже не стоит. Каждый из нас легко видит просчеты другого и бывает умен за других. При чужих злоключениях мы советчики, судьи и критики, а как коснется себя, беспомощно разводим руками или делаем глупость за глупостью. Алеше впоследствии пришлось множество раз слышать и разумную критику своего поведения в сердейской истории. Ему говорили, что надо было сходить к таким-то работникам, привлечь таких-то свидетелей, написать такие-то акты, принять такие-то меры. Да, многое надо было...

Но верно ли, что Алеша и Шура не съехались только из-за своей бестолковщины? Нет, вовсе не так.

Почему, возвращаясь из Свердловска в Сердеевск, Алеша не протелеграфировал Шуре? По забывчивости? Сберегая пятерку? Нет, ему просто не могло прийти в голову, что Шура сейчас же уедет назад. Он спешил, он был совершенно уверен, что Шура дождет его. Ведь она не была связана службой, в Свердловск ей торопиться не надо было, а Анна Сергеевна знала, что Алексей уехал лишь на несколько дней. Старушка не могла не задержать Шуру в Сердеевске. Значит, уверенность Алеши нельзя считать опрометчивой.

И Шура тоже не была несмышленицей. Измучившись ожиданием и пустившись первый раз в жизни в далекий и неведомый путь, она вовсе не собиралась сейчас же бросаться назад. Наоборот, ей хотелось услышать как можно больше рассказов Анны Сергеевны, посидеть в Алешиной комнатке, обойти городок, в котором они будут жить. И в обратный немедленный путь ее погнала не ветреность, а доверчивость к людям, которые ее не заслуживали.

Вот что произошло с Шурой в Сердеевске.

Машина, в которую она села на станции, довезла пассажиров до рынка. Оттуда Шура пошла на квартиру Алеши. Анна Сергеевна огорошила ее сообщением об его отъезде в Свердловск. Переволнованная за дорогу, растерянная, Шура сидела на кухне, а Анна Сергеевна бросилась от примуса в погреб, из погреба в сени, готовила завтрак, наливала в раковинник воды, то на минуту присаживалась, то снова за чем-нибудь вскакивала и чохом выложил Шуре за час весь год Алешиной жизни. Она рассказала, как он много работает, как все в городе его уважают, как зарятся на него сердеевские девки, а он на них не обращает внимания, как ремонтировал дом, как ждет и любит невесту. Ну, и, конечно, сказала, что в этом месяце с Алешей случилась беда, что-то он сделал не так, не поладил с начальниками и те на него пишут бумагу... Шуру это сообщение не опечалило, а даже обрадовало. Оно подтвердило ее уверенность в том, что у Алеши произошло что-то плохое, а любит он ее по-прежнему сильно. И Шура пошла в прокуратуру разузнать об Алеше, рассказать о нем, что может, начальникам, уверить их, что Алеша не в состоянии намеренно сделать плохое. Ведь никто не знал его так, как она, никто не мог о нем больше сказать! Шуре со школьных времен нравился поступок Маши Мироновой, ходившей к царице хлопотать за Гриневу, и она решила, что ей теперь тоже надо сделать что-нибудь вроде этого. В прокуратуре она сразу подошла к Ивану Никаноровичу, о котором знала по Алешиным письмам, а тот, увидев, кого привел к нему случай, захотел им воспользоваться совсем не на пользу Алеше.

Иван Никанорович не знал, что Алексей уехал в Свердловск. Услышав об этом от Шуры, он втайне обрадовался. Отлучка Алексея была ему на руку. Он жил в трепетном страхе перед минутой, когда ревизор позовет к себе Алексея и заговорит с ним о поездках в колхозы, об отчетах, о судебных делах, о цене, какой покупается мир между райпрокурором и рядом местных работников. В таком разговоре представление о беспорочности райпрокурора могло пошатнуться. Иван Никанорович знал, что Алексей не будет на него наговаривать, но он хорошо понимал, что помощник не согласится брать на себя в угоду начальнику роль недоумка, за которым тот не успевает доглядывать. Поговорив с Алексеем, Погорельский усомнился бы в мысли, будто сердейскому прокурору так же не повезло с помощником, как с битюгом... Иван Никанорович всячески стремился отдалить эту встречу, не подпускать Алексея к начальству. И ему долго удавалось обезвредить помощника. Ведь пока Алексей был обвиняемым в собственном деле, он оставался безопасным в роли свидетеля по делам прокурора. Погорельский не проявлял интереса к тому, что мог бы рассказать случайно попавший в прокурорские органы подозрительный парень. И Ивану Никаноровичу было поэтому на руку оставлять Алексея под подозрением. А для этого нужно было оставлять невыясненной историю с Кобозевой. Алексей не мог бы тогда приходить на работу и общаться с приезжим начальником.

Этих черных мыслей еще не подозревал тогда в прокуратуре сам Алексей, а Шура подавно. Алеша писал ей о частых ссорах с начальником, о его упрямстве, ворчливости, но она знала, что Иван Никанорович снял для Алеши комнату, выхлопотал для него по приезду аванс, заказал ему костюм, помог заготовить дрова, купил велосипед, привез как-то раз даже мед. Читая Алешины письма, Шура радовалась, что о нем так пекутся и старая нежданная мать, и добровольный толстый папаша. А при личном знакомстве этот папаша сразу расположил к себе Шуру. Он потащил ее из прокуратуры к себе на квартиру, заставил попробовать вкусный медовый напиток, чокался за ее счастье с Алешей, кормил пирожками с вареньем, восхищался ее красотой и говорил об Алеше столько хорошего, что растопил Шурино сердце.

— Но у Алеши,— объяснил Иван Никанорович,— сейчас неприятности. Он задержал одно дело, выпустил заключенного, и областные начальники нашли его поступок неправильным. Этот поступок расследуется, и Алеша временно отстранен от работы. Именно временно. Но Алеша очень переживает эту неприятность, страшно нервничает, не спит, не ест, ходит в прокуратуру, волнуется, в общем, ведет себя не как надо. Парень он молодой, никогда не попадал в переплеты и не знает, как действовать. А действовать надо выжидаяще, тихо. Нервничая, Алеша не помогает себе, а только изводит себя... Очень хоро-

шо, что он, оказывается, поехал в Свердловск. Пусть отвлечется там, погуляет, забудется, отдохнет и духом и телом. Чем дольше он пробудет в Свердловске, тем лучше. А за это время все утрясется, уладится. Никто Алексея головы не лишит, и руки-ноги при нем тоже останутся...

Иван Никанорович уверил Шуру, что она должна сейчас же возвратиться в Свердловск и задержать там Алексея. Шура сейчас же согласилась с ним и заспешила домой. Иван Никанорович отвел ее в райпромкомбинат, машина которого отправлялась на станцию, исхлопотал для нее место в кабине, рядом с шофером, и силком сунул ей на дорогу пакет с пирожками.

На младших курсах, когда Алеша был еще зеленым студентом, он выписывал из разных философов изречения о жизни и счастье. Алеша брал в библиотеке пахнувшие лежалой бумагой старые книги, извлекал даже греков и римлян и составлял себе программу собственной жизни, собственных поисков счастья. Он приводил в восхищение профессора, говорившего молодому студенту, что он на верном пути, что, читая древних, он всегда будет новым и что подлинное счастье для мудрого человека — жить в мире мудрости. Но со временем Алексею наскучило вбирать в себя весь прошлый ум человечества, темные области философии постепенно надоели ему, он понял, что по темпераменту он не книжник, а деятель, мысленно согласился со всеми философами и перестал их читать. На смену прежним интересам пришло увлечение правовыми науками и политикой дня. Эта смена интересов совпала с появлением Шуры, и Алексей ощутил, что счастье надо не вычитывать, а создавать.

С тех пор Алексей уже несколько лет не задумывался над тем, что есть счастье. Он давно не заполнял дневник афоризмами, не восторгался их глубиной или блеском. Смутная тяга к определениям выветрилась среди забот и радостей дня. И только теперь, в одну из тяжелых-тяжелых сердечских ночей, вспоминая свою прежнюю бестревожную жизнь, Алексей неожиданно нашел вдруг определение счастья, не дававшееся молодому студенту. В эту бесконечно длинную ночь ему показалось, что счастье — это тот кусок жизни, в который не происходит несчастий! Да, да, не нужно ничего больше выдумывать! Он, Алексей, был счастлив двадцать три года семь месяцев, но не отдавал себе в этом отчета. Люди не замечают, не понимают, когда они счастливы, а ведь целые кварталы, целые улицы состоят сплошь из счастливых! Пусть большинство из них еще совсем не живет так, как им хочется, пусть многие живут больше будущим, чем настоящим, пусть желаний у них больше, чем исполнений, — и все-таки они счастливы, неосознанно счастливы, так как с ними не происходит несчастий. Первые простыни

Алексею Анна Сергеевна купила только из пятой полочки, а до этого его тюфяк застилался чем-то вроде скатерки, сползавшей сразу, как только Алексей засыпал. Но он сразу же и засыпал! Спал чудесно, не чувствуя, на чем и как спит, и, значит, спал лучше всех. Вот это-то и было неосознанным счастьем!

Много позже, когда беда миновала, представление Алексея о счастье вновь изменилось и стало менее кудым. Но в ту мрачную ночь оно не могло быть другим.

За что, размышлял Алексей, отняли у него это счастье? Почему пришлось ему ни с того ни с сего бороться за себя, за свое имя и должность? Зачем и кому нужны его трудные ночи? Инженеру они нужны? Но ведь тот почти не знает его. Людмиле Ивановне? Нет, несчастье Алеши не сделало ее ни на каплю счастливой. Ревизору? Но какие лавры принесет ему дело Алеши? И все-таки эти люди создают мучения, ненависть. Они вовлекают кого-то зачем-то в борьбу, коверкают друг другу дни, характеры, жизни и сделали с Алешей во имя правды самую злую неправду... А он, Алексей, ходит, просит понимания, ищет людей, которые бы захотели понять, а находит только бодрящие или холодные фразы... И где брать силу духа, чтобы переносить всю эту дурную ненужность...

Он лежал с этими угрюмыми мыслями, еще не зная, что нечестней нагнетается все больше и больше, что папка его дела становится все более пухлой, что одна ненужность порождает другую... Иван Никанорович отказывался замечать, куда может завести стремление выгородиться, до чего можно докатиться в этих стараниях.

Пытаясь доказать ревизору, что все хорошее идет от него одного, а все грехи только результат недогляда за несведущим и своенравным помощником, Иван Никанорович стал искать союзников и поставлять ревизору добровольных свидетелей... Начальник стройки рассказал ему, что помощник прокурора хотел провести в Сердейске процессы, которые помешали бы работе строителей, но, к счастью, товарищ Свешников предупредил этот ляпсус. Директор МТС сообщил о газетной статье, в которой Корнев подрывал авторитет МТС. Директор промкомбината сказал, что Корнев — молодой карьерист, создающий видимость деятельности... Эти люди вовсе не приходили жаловаться ревизору на Корнева, да и вообще приходили не к ревизору, но Иван Никанорович затаскивал их в его кабинет, знакомил, предлагал рассказывать о местных делах и как бы между прочим наводил разговор на нужную тему. А пока посетитель рассказывал, Иван Никанорович говорил ревизору глазами: «Видите, что значит иметь молодого шального помощника! С него нельзя спускать глаз. Мне все время приходится следить за политической линией, а в делах, конечно, остаются недоделки, прорехи...» Иван Никанорович подличал, не желая задумываться, чем это будет грозить человеку, которому столько раз

объяснялся в любви. Акт ревизии мог превратиться в обвинительный акт.

Иван Никанорович опустился даже до союзника, которому порядочный человек не протянул бы руки. Высокая судебная инстанция нашла недоказанным тайный умысел в делах секретаря сельсовета, предложила доследовать дело и выпустила Федосеева из заключения. Клеветник гулял по району и называл себя оклеветанным. Он грозил своим разоблачителям мщением. Федосеев ходил по домам, запугивал бывших свидетелей сильной рукой, которая у него будто бы имеется в центре, и предлагал им отказаться от своих показаний. Узнав об опале человека, раскрывшего его преступления, он сам пришел в прокуратуру с отказом от прежних признаний. Федосеев заявил, что следователь угрозами заставил его подписать протоколы, значения которых он не вполне понимал. Иван Никанорович отнесся к Федосееву с вниманием, какое редко уделял другим посетителям, и прямо-таки ухватился за его заявление. Он доложил ревизору, что Корнев раздул это дело, искусственно придал ему другую окраску. Он-де, Иван Никанорович, всегда понимал, что этот секретарь сельсовета только мелкий мошенник и вовсе не стоил возни, затеянной вокруг его дела Корневым — Лобовым. Но эти друзья побежали в райком, и тот поддержал их вопреки возражениям райпрокурора. А вот теперь подтвердилось, что правильной политической линии держался именно он...

Иван Никанорович не предвидел, что Погорельский сам гозьметса за вторичное следствие и быстро подтвердит выводы первого. Он не чувствовал, что ревизора раздражали визиты людей, некстати хваливших райпрокурора. Ревизору не нравилась и суетливость Ивана Никаноровича, его быстрая готовность со всем соглашаться, готовность признавать все грехи и тут же приписывать их обстоятельствам. Он отлично видел старания райпрокурора и хорошо понимал, что тот стремится теперь переложить на помощника ответственность за все недостатки в работе. Против этого помощника Погорельский был предубежден, факт его связи с сестрой обвиняемого не вызывал уже особых сомнений, но ревизор видел, что нечистоплотность этого парня используется его начальником к собственной выгоде. Особенно недоверчив стал ревизор к прокурору после того, как тот проявил по делу помощника особое рвение.

Произошло это так.

Погорельский спросил Ивана Никаноровича, сколько он еще будет тянуть с выяснением дела. Иван Никанорович покраснел и сказал, что скоро даст проект заключения. Погорельский заметил: «Пора уж!» Иван Никанорович понял эти слова как приказ: «Пора уж разделаться с ним». Он истолковал эти два слова как предложение сделки: «Хотите выйти чистым по акту? Так давайте мне Корнева». Он был уверен, что каждому реви-

зору нужен кусок мяса из тела, что без этого он не уедет. У Ивана Никаноровича заняла душа, но он взглядом пообещал Погорельскому: «Хорошо, мы примиримся на корневском мясе».

Иван Никанорович представил проект заключения, между строк которого было написано: «Я за него не отвечаю, я сам его разоблачаю». Прочитав проект, Погорельский стал зол. Эта бумажка претила его складу ума, его строгой мысли. Райпрокурор обходил главный вопрос — произошло ли сближение Корнева с Кобозевой в результате шантажа и угроз с его стороны или вследствие обоюдной неожиданной страсти, следовало или не следовало связывать это сближение с задержкой судебного дела. Проект исходил из того, что Корнев уже изобличен в преступлении.

Ничего этого Алеша не знал, и очень хорошо, что не знал.

ПОЛНАЯ ЯСНОСТЬ

— Ты что, одурел, что ли? — поразился Лобов. — В галстук и без штанов!

Алексей терпеть не мог галстуков, как не любил вообще ничего, что стесняло. Но эти недели он все время был в галстук, ожидая, что вот-вот позовут... Накануне лег не раздеваясь. Не лег, а прилег. Потом, поворочавшись, уже под утро, снял брюки. А галстук забыл снять.

Он вскочил. В комнату заглядывало скупое осеннее солнце. Посмотрел на часы. Двадцать первого. С ума можно сойти. Прежде он в это время обедал...

Лобов швырнул Алеше брюки.

— Ты что из себя умирающего строишь? Почему тебя не видеть?

— Я сразу хотел к тебе идти, но, во-первых, ты был на уборке, во-вторых, я не знал, как ты посмотришь...

— Как посмотрю? А как я должен был на тебя посмотреть? Спереди? Сбоку? Вот дикарь, понимаешь! А насчет уборки действительно. Только на час иногда в Сердейск вырываюсь.

— Ты подожди, я умоюсь сейчас, — сказал Алексей.

У него стало радостнее на душе оттого, что к нему Лобов решил приехать, и оттого, что Лобов ругался. Это было как прежде.

Он забрал с собой из сеней во двор рукомойник, снял рубашку, сразу опрокинул всю воду себе на лицо, снова наполнил рукомойник колодезной студеной водой, вылил на шею.

Потом Алеша ел оладьи со сметаной, еще спозаранку принесенной хозяйкой с базара, и Лобов, к удовольствию Анны Сергеевны, завтракал вместе с ним.

— Смотрите, ложка в ей стоит и не падает! — восторгалась

старушка сметаной.— Хоть ножом режь! Кушайте, товарищ председатель, кушайте! У меня ведь дрожжи не покупные, я на закваске становлю, ко мне на кухню приходи — всегда есть закваска.

— Да я ем, ем,— отвечал Лобов, уминая оладьи.— Я, мамаша, совсем не стеснительный. Где окажусь, там и ем. Такая уж у меня, понимаете, фронтовая привычка. Или организм мой такой. Много зараз съесть не могу, но ем по многу раз в день. То бутерброд в буфете сжуешь на ходу, то в палатке бублик возьмешь, то в машине шофер со мной огурцами поделится, а в хороший дом попадешь, так и горячие оладьи дадут,— польстил Лобов старушке, подмигнув Алексею.— За мою привычку где попало жевать мне вчера даже замечание сделали. Я отломил бублик во время допроса, а меня попросили назад в карман положить... Да, знаешь, кто меня вызывал? — обратился он к Алексею.— Этот твой начальник приезжий. Я ведь ему официальные показания дал о тебе.

У Алеши кровь прихлынула к сердцу. А Лобов, не стесняясь Анны Сергеевны, стал рассказывать о ревизоре:

— Чистый сухарь, понимаешь! Сидит с деревянным лицом и записывает. Я как заметил, что он на протокол напирает, так начал слова подбирать, и разговор сначала пошел несвободный. А потом думаю: «Шут с тобой, пиши, я не буду себе из-за этого горло сжимать». Ну, а после разговора он мне все прочитал. «Правильно, спрашивает, мною записано? Если что не так, вы исправьте, а можете и сами написать свое показание». И, скажу тебе, у него получилось толково. Я ведь запросто говорил, без оформления, а у него и слова все мои и расстановочка складная вышла. «Да, думаю, видать, что ты учился подольше, чем я»... Ну, поскольку он ничего не соврал, я сейчас же подписал, понимаешь.

— Что же ты наговорил? — взволновался Алеша.

— С три короба наговорил на тебя, понимаешь! Ну что я мог сказать, кроме того, что ты знаешь и сам! Рассказывал, как ты на исполкоме воюешь и в колхозах орудуешь. Вот и все показания... Ну, да оно ни к чему,— заключил вдруг неожиданно Лобов и помрачнел.

— Что ни к чему? — спросил Алексей, и ему опять стало тревожно.

— Все,— ответил Лобов, накупившись.

— Я не понимаю тебя...

— Не понимаешь? Не понимаешь, что заставил меня быть дурак дураком? Ты ведь мне о девчонке ничего не рассказывал. Я и ляпнул, что ее не существовало на свете, что если была бы, так я бы, мол, знал. Распалился, как идиот, кричал, что все это брехня, клевета на тебя. А он и прочитал мне показания уборщицы... На диване, без кофточки... Эх, балда ты, балда! — сказал Лобов неожиданно грубо и зло.— Таковую дурь надурить!

Он оборвал разговор и с ожесточением опрокинул в себя чашку чая.

— Что? — вскрикнул Алексей. — Ты ему сказал, что не знаешь? Ты так сказал?

Он был возмущен. Тогда Лобов сразу нашел вдруг в себе необычную силу спокойствия.

— Сядь! — сказал он повелительным тоном. — Накренделил, а потом еще лезет в бутылку. Я тебе больше ничего не скажу. Ты лучше сам мне скажи, отчего такой чахоточный стал. И почему правды боишься? Что было, то было... И ласки от своего ревизора не жди. Прокурором тебе, наверное, больше не быть. Но в районе останешься. Найдем тебе что-нибудь... Или, ты думал, на съедение тебя отдадим? Кому это надо слопать тебя? Скажи, какой вкусный нашелся! Нет, Круглов не из тех, кто в яму кидает и ножкой придавливает. Никто не доказал и не докажет там, что было с твоей стороны негодяйство. Если бы это дело случилось в прошлом году, ну тогда бы конечно... А теперь все тебя знают. Знают, что не подлец. Найдютиничал, конечно, а преступления нет. Я так ему и сказал. «Человеку, говорю, двадцать три года, а не семьдесят три, никому он подписки не давал жить монахом, и никакая уборщица вам не говорила, что эта девчонка не по своей воле осталась. Его, говорю, тут тридцать девчонок одолевают, и зачем бы ему кого-то освобождать ради девки, когда...»

— Что ты городишь?! — закричал Алексей. — Как ты смел ему это говорить обо мне! Как ты смеешь так думать!

И он, злясь и волнуясь, стал говорить о Наде, о Кобозеве, о райпрокуроре, об инженере, о Людмиле Ивановне. Он наступал и выпаливал, а Лобов оторопело слушал его и тут только стал постигать своим быстрым умом все эти запутанные и вовсе не сложные связи.

— С механиком, говоришь, была у меня? — спросил он глухим голосом, подавляя охватившее его нетерпение. — Стой, стой!.. Это маленькая такая, плюгавенькая?

Он быстро поднялся.

— Эх, Кольку я отпустил... Почему у тебя нет телефона? Ч-черт! — процедил он. — Не мог себе телефона поставить! Ну, погодите! — пригрозил он кому-то неведомому и рванул к двери. — Я сам буду следователем, сам прокурором. Жди, Алексей. Никуда не ходи, — приказал он отрывисто. — Если его позовут, — обратился он к сжавшейся в уголке Анне Сергеевне, — скажите, что жилец в баню ушел и будет мыться до пятницы.

Люди досадуют, когда им приходится задерживаться после работы на разных собраниях, а уж натолкнуться на собрание в книге и вовсе никому неохота. Но я вынужден заставить чита-

теля посидеть в зале тридцать — сорок минут. Это зависит не от меня. Я обещал рассказывать все так, как оно было, а было по делу Алеши собрание. Такое, каких мало бывает, и памятное на целую жизнь.

На собрании все разъяснилось. И всех знакомых людей Алеша узнал здесь с новой для него стороны. Он увидел, что Лобов, несмотря на его шальную натуру, оказался единственным участником повести, который, подобно Колумбу, сумел поставить яйцо. Иванов превратился из тихого мыслителя в обличителя, трибуна и мстителя. Погорельский, человек, в котором творчества было меньше, чем выправки, сотворил своеобразную казнь. А у Людмилы Ивановны пропала охота засиживаться после рабочего дня...

Расскажу по порядку.

Через несколько дней после бурной Алешиной исповеди Лобов прислал ему такую записку:

«Алексей, живем! Порядок! Сейчас договорился с твоим ревизором. Буду завтра на вашем собрании. Но никому ни гугу! Нужна обстановочка. Жму лапу. Высыпайся. Приветствую. Павел!»

Алексей взволновался. Но Коля Михляев не мог ничего объяснить. Он только сказал, что в последние дни ездил несколько раз с Лобовым к Кобозевым, потом возил куда-то всех Кобозевых — и старуху с дочкой, и Алексея этого, из-за которого весь сыр-бор загорелся, потом опять дочку... А сейчас Лобов поехал после райкома домой, написал в машине эту записку, велел забросить ее Алексею, а сам, наверное, лег уже спать.

Хотя весть была радостной, но она так взбудоражила, что в эту ночь Алексей глаз не сомкнул. Приходилось лежать, а лежать было трудно. Возбужденный, счастливо-встревоженный, он не мог дожидаться утра. А утром пришел конюх звать к ревизору.

Погорельский не был человеком, лицо которого можно увидеть в двух разных значениях. Оно всегда было деловым, официальным, холодным и не менялось применительно к случаю. Он и теперь встретил Алексея не улыбаясь и не проявляя никакого радушия. Но вот по глазам ревизора Алеша почувствовал, что отношение к нему изменилось. Сначала Погорельский избегал смотреть на него, потом смотрел с недоверием и оттенком брезгливости, а теперь этого пренебрежения не было.

— Садитесь, — пригласил он Алексея. — Я вызвал вас, чтобы обрадовать. Не могу, к сожалению, сообщить, что вопрос о вас разрешен, но у областной прокуратуры отпали сомнения в вашей порядочности. История с Кобозевой прояснена. Завтра вы должны быть на работе. Но не думайте, товарищ Корнев, — медленно добавил Погорельский, увидев, как возликовал, засиял Алексей, — что ваше дело сдается в архив. Нет, в смысле, так сказать, кадровом оно именно теперь будет поднято. С вас сня-

то обвинение в злоупотреблении должностью, но возникает сомнение в вашем соответствии должности.

— Что это значит? — побледнел Алексей.

— Это значит, — тем же ровным голосом сказал Погорельский, — что человек, который своим поведением навлекает на себя подозрения черт знает в чем, не может, на мой взгляд, быть прокурором.

Эта фраза не сразу дошла до сознания Алеши. Потом он возмущился.

— Значит, по-вашему, если любой клеветник, любая дрянь вздумает вдруг...

— Молчите! — резко перебил Погорельский. — Никто на вас не клеветал. Никто, — повторил он выразительно. — Вы сами оклеветали себя.

И уже спокойней добавил:

— В вашем окружении оказался только один человек, готовый подхватить клевету, готовый, кажется, вообще подхватить что угодно. Этот человек будет сегодня наказан. Он окажется унтер-офицерской вдовой. Я счел за благо дать ему себя показать... Слушайте, что я вам скажу. В пять часов в зале суда будет собрание работников юстиции города. Вы услышите там доклад о себе. Что бы в этом докладе ни говорилось, сидите и не пророните ни звука. Наберитесь терпения. Ни одного выкрика, ни одного возмущенного жеста! Так нужно... Понятно? После доклада будут некоторые официальные справки. Тогда можете выходить на трибуну и вознаградить себя за все происшедшее. Но не раньше. Понятно? А завтра прошу быть на работе.

Всего, что сказал Погорельский, Алексей не мог сразу взять в толк. Хотя оправдания он ждал многие дни, оно пришло теперь так неожиданно, что не принесло ему равновесия. Холодный душ, которым Погорельский обдал сообщение, тоже не позволял Алеше по-настоящему радоваться. Предстояла, видно, еще дальнейшая борьба за себя. А неизвестность о том, что должно было произойти на собрании, прибавляла к старым волнениям новые. Алексей вдруг почувствовал, что страшно устал. Его лихорадило. Выйдя от Погорельского, он не только не побежал немедленно к Лобову, но даже до дому еле дошел. Его знобило. То ли от простуды, то ли оттого, что не спал. А может быть, от всего, что предстояло услышать... Радость оказалась столь же беспокойной, как горе... Алексей лег и накрылся поверх одеяла пальто. Но перенапряженные нервы долго не хотели сдаваться.

Он проснулся разбитый. Собственно, даже не проснулся, а хотел повернуться с боку на бок, как вдруг ощутил беспокойство. В полуспавшем сознании мелькнула неясная мысль о какой-то обязанности. Он заставил себя вспомнить ее. И сразу вскочил...

Было без трех минут шесть. Впервые за все время Алексей

выругал Анну Сергеевну, выругал несдержанно, грубо и зло. Старушка обомлела и сразу заплакала. Но у Алексея не было времени, чтобы покаяться и утешить ее. Он и не хотел утешать. Алексей несколько раз предупредил ее, чтобы она обязательно разбудила его в четыре часа, а она не разбудила. Хотела, чтобы он выпался, и была всегда совершенно уверена, что все дела подождут. Он стал поспешно сдирать щетину с лица, орудуя бритвой, как неумелый косарь, ополоснул лицо, сломя голову бросился в суд.

Зал здесь был маленький, тесный. В него вмещалось человек пятьдесят. На больших процессах люди сидели теснясь и жались в дверях. Но сейчас тут сидело человек тридцать, и они расположились просторно: кто сидел в публике, кто — на скамье подсудимых, кто — за судейским столом. Когда Алеша, сдерживая учащенное бегом дыхание, вошел в помещение, все головы сразу повернулись к нему и тут же от него отвернулись. Алеша опустился на ближайшее к двери свободное место. Собрание, очевидно, уже давно началось. За прокурорским пюпитром стоял Иван Никанорович. Войдя, Алеша услышал его последнюю фразу: «...и он, вот видите, не зря не пришел сюда». Эта фраза тут же оборвалась. Увидев Алешу, Иван Никанорович не нашел ей конца. Он осекся, на минуточку замер, быстро и тяжело задышал. Алеша знал это дыхание. Оно появлялось у Ивана Никаноровича в минуты крайних волнений. Тогда он начинал прерывисто, мелкими вздохами вбирать носом воздух, будто ища в нем слова и собираясь их втянуть через ноздри. Но слова он не скоро нашел.

— Так вот, товарищи,— продолжал он, плохо справляясь с голосом и стремясь снова наладить свою речь,— я спрашиваю, зачем было ей приходиться? Ведь товарищу Корнев полдня сидел в энтээсе, и она могла там сказать ему... Агроном уехал на поле, его комнатка была предоставлена товарищу Корневу для опроса ремонтников, почему же гражданочка пришла не туда? Почему обязательно ночью и обязательно не вместе с людьми? И зачем это товарищу Корневу захотелось вдруг ездить характеристики брать? Ведь достаточно было справки дирекции, зачем было с дюжиной дружков говорить? Удивительно еще, как от мамы характеристики не было... От товарищей были, от сестрички была, только от родительницы не хватало... Теперь возьмите свидетельство Рыльской. Это будет наш пятнадцатый пункт. Почему помощник прокурора не мог получить от нее объяснение. Ходил, может быть, с прочей надеждой?

«Чего он городит?» — подумал Алексей, ничего еще не понимая.

А Иван Никанорович, отводя глаза от задней скамьи, заговорил решительнее, и его голос окреп:

— Обратимся теперь к пункту шестнадцатому... Приказ дежурным об обхождении с Кобозевым. Почему помощник проку-

рора не поинтересовался в милиции, как обращаются там с другими задержанными? Их трое сидело в момент посещения. По разным делам. Отчего же помощник прокурора только об одном позаботился? Отчего с одним поговорил, а других не удостоил внимания? Ведь тут выборочного, так сказать, метода быть не могло, арестантов было не триста, а три. Теперь возьмем пункт семнадцать... Чайное полотенце, в которое был завернут пирог... Такие полотенца вешают, как известно, под образами. А на данном полотенце вышиты инициалы «А. К.» Они могут обозначать: «Алексей Кобозев», могут обозначать: «Алексей Корнев», но нас интересует другой вопрос. Это полотенце...

«Он спятил!» — мелькнуло в голове Алексея.

Но затем он проникся минутной уверенностью, что Иван Никанорович перечисляет доводы оговоривших Алешу людей и делает это нарочито дурашливо, чтобы представить их в комическом свете. Но потом Алеша увидел, как Лобов подает ему из президиума какие-то знаки. Алеша всмотрелся. Лобов прикладывал пальцы к губам, потом сжимал их в кулак и выразительно потрясал кулаком. Это означало: «Молчи и терпи!» Но это означало и то, что Лобов сам проявлял нетерпение. Адвокаты, работники суда, нотариус, следователь — все наблюдали за этими мимическими переговорами и не понимали, в чем дело. Лишь немногие в зале знали о заговоре. Большинство считало доклад прокурора конечным выводом следствия. Это большинство удивлялось, как мягко оценивает преступление Корнева председатель райисполкома, говорящий ему по-товарищески: «Ты уж лучше помалкивай!»

Все эти люди знали Корнева, и знали вовсе не с плохой стороны. Они слушали теперь доклад прокурора без радости. Им не хотелось слышать то, что они слышали, не хотелось верить фактам, которым нельзя было, однако, не верить. Жаль было разочаровываться в человеке, которого считали порядочным, и задаваться про себя горьким вопросом: «Кому же после этого верить?» Когда Корнев стал работать в районе, эти люди были довольны появлением в прокуратуре свежего человека, занимавшегося несколько лет правовыми науками, умевшего разбираться в делах и всегда готового к этому. Корнев был этим людям доступен, всегда был с ними прям, и его присутствие в прокуратуре облегчило их рабочую жизнь. Поэтому им было обидно, что именно Корнев оказался не тем, каким его знали, что именно он уйдет из их круга. Никто из находившихся в зале людей не оборачивался на Корнева, не бросал на него искоса взгляды — всем было тяжело смотреть на него. И хотя Иван Никанорович никогда не являлся выразителем общих настроений и мыслей, да и говорил сейчас тягуче и сбивчиво, люди ничего не могли возразить против выводов, которыми он заключил свой доклад.

— Вот, товарищи, девятнадцать пунктов, или, так сказать, девятнадцать улик,— сказал Иван Никанорович.— И если все

их связать, то цепь не прорвешь. Я хотел, всей душой хотел вывести, выволочь товарища Корнева из этой цепи. Но не смог... Товарищ Корнев работал со мной целый год. Всем известно было мое отношение. Создавал ему, так сказать, все условия. Учил, поправлял... Работали мы рядом, находились впритирку. Я знал, что он с недостатками, не во всем доверял... Но что он вообще злоупотребляет доверием, что использует должность, этого не знал.

Алеша не хотел верить ушам. Его подмывало вскочить, подбежать к прокурору, взять его за ворот и трясти, трясти до тех пор, пока дух не выползет из него без остатка, а после этого уйти не оглядываясь...

А докладчик бросил в зал последние фразы:

— Когда мне поручили расследовать, я был уверен, что оговор. Взялся с пристрастием против тех, кто показывал... Выявлял пункт за пунктом. А когда убедился, то сердце зануло... Я понял, что, как большевик, обязан со всей прямоотой... Неумолимо, как подобает.

В зале была тишина. Иван Никанорович отошел от пюпитра, сделал несколько тяжелых шагов и грузно опустился на скамью подсудимых. За судейским столом пошептались. Алеша понял, что собрание ведет Иванов. Но едва он поднялся что-то сказать, как его предупредил секретарь нарсуда, многоопытный и веселый Курейко. Это был необычный для суда секретарь. Не особенный грамотей, работавший прежде секретарем сельсовета, безногий, добродушный, видевший в каждом деле его комическую сторону, не очень аккуратный в делах, но очень общительный с приходившим народом, говоривший на своеобразном жаргоне, коверкая и русский и украинский языки, Курейко как будто совсем не подходил к Иванову. Но на деле они давно и дружно работали. В полном несоответствии с настроением зала и с не подходящей в такой обстановке игривостью Курейко потребовал вдруг от райпрокурора:

— А скажите, пожалуйста, товарищ докладчик, шо же нам дилать типэр з этим Корневым? В Тоболе его утопить али как?

Люди нахмурились. Шутовской тон Курейко был неуместен. Иванов постучал карандашом по столу. Но Курейко не унялся:

— Може, нам Корневу причинное место зпилить; отхватить топором за эти дела? Как докладчик считае? Какое он конкретное предложение делае?

Иванова передернуло... На его лице заиграли желваки, что всегда было у него признаком гнева.

— Прек-ра-тите! — раздельно и грозно приказал он Курейко, потом минутку переждал и сказал:— Мы выслушали, товарищи, обстоятельный доклад прокурора о результатах лично им проведенного следствия по делу своего помощника Корнева. Этот доклад занял пятьдесят минут и представил девятнадцать неопровержимых улик. Теперь слово предоставляется председателю

райисполкома товарищу Лобову. Он огласит документ, который потребует только минуту и состоит из одного только пункта.

Лобов вскочил. Совершенно не умея владеть собой, забыв о своем положении представителя власти, он схватил бумажку и, не дожидаясь, пока председатель опустился на стул, закричал:

— Вот документ! Вот я читаю вам! Сейчас вы поймете, что творится на свете! Ну, слушайте все!

И прочитал врачебную справку, из которой стало ясно, что Надежда Ивановна Кобозева, семнадцати лет, жительница деревни Барыкино, ни с кем близка еще не была...

В зале оцепенели. Минуты две-три никто не в состоянии был что-нибудь вымолвить. Люди широко раскрыли рты, потом устались на райпрокурора. Он сидел огнедышащий, с налитым кровью лицом и в ужасе смотрел на председателя райисполкома.

— В жизни еще не видел таких номеров! — сказал кто-то, разорвав тишину.

И снова воцарилась долгая пауза.

Тогда к трибуне подошел Иванов.

Многое ли, казалось, нужно было теперь говорить? И можно ли было взволновать людей еще больше, чем это было только что сделано? Возбуждение речью Иванова было так велико, что пришлось объявить перерыв.

Иванов сказал, что тоже огласит документы.

— Вот первый из них, — показал он залу маленький листок бумаги. — Это обвинительное заключение по делу А. Кобозева, составленное райпрокурором лично и в пожарном порядке. Оно не занимает, как видите, даже странички. Написано оно, по всей вероятности, в день приезда ревизора из области, а помечено задним числом. Я находился тогда в сессии, — сообщил Иванов, — и прокурор, панически разыскивая меня, звонил во все сельсоветы. Он молил меня прервать сессию и приехать в Сердеевск, чтобы «провернуть» дело Кобозева до того, как его попросит исследователь. У прокурора был такой взволнованный голос, будто надо было спасти Сердеевск от разбойника. Но я не приехал... Теперь, товарищи, — вынул судья из папки другую бумагу, — я ознакомлю вас со вторым документом. Это определение нарсуда о прекращении дела Кобозева.

По залу пробежал шумок. На скамейках задвигались.

— Ничего нового, неожиданного, что вызвало бы такое решение, перед нами не всплыло, — спокойно сказал Иванов. — Суд узнал только то, что не было тайной и для райпрокурора. Кобозев ударил Рыльскую не из озорства, не с целью проявления неуважения к обществу и не без причины. Его следовало обвинять не в хулиганстве, а в нанесении Рыльской телесных повреждений, не причинивших ущерба здоровью. Но такие поступки преследуются лишь по желанию самих потерпевших. А Рыльская в последний момент не захотела, чтобы суд вникал в под-

робности дела. Она пожелала закончить его как можно скорей, и нам осталось его прекратить.

Я оглашу теперь последний документ,— сказал Иванов.— Еще задолго до окончания следствия по делу товарища Корнева этот документ подсказал мне, что нет дела Кобозева... Документ был до поры до времени моей личной тайной, но тайной, которую мог при желании узнать каждый следователь. Моя дочь учительствовала вместе с женщиной, живущей на квартире у Рыльской. Эта женщина рассказывала, что Кобозев несколько месяцев был в их доме своим человеком. Я записал ее показания. Как видите, не нужны были даже показания Кобозева.

— Почему же... почему вы скрыли от меня? — пробормотал Иван Никанорович.

— Потому что вы не хотели знать,— отвечал Иванов.— Потому что я ждал такого вот дня, как сегодня... Когда вам придется схватиться за сердце. Когда все увидели бы, что значит быть без руля и ветрил...

Последние слова Иванов уже выкрипел. Его вдруг покинула выдержка, он побледнел и бросил эти отрывистые слова с неприязнью, какой никто в нем не знал. И публика изумилась, увидев, как Иванов тоже вдруг схватился за сердце, а потом стал выдавливать из себя необычайно злые слова.

— Вас нельзя было,— выкрипывал он,— показать... Вы окутывались... Нужно было, чтобы разделись... такой вот... как есть... Корнев по наивности добрым считал вас, а вы... Что вам Кобозев, Корнев! Вы и по ста трупам пройдете...

Эта непредвиденная вспышка так не шла к отточенной юридической речи, с которой начал Иванов свое выступление, так не вязалась со стилем и тоном, какими он всегда разговаривал, что зал снова замер. На лице Иванова были сейчас вражда и непримиримая ненависть. Люди не ожидали такого перехода, такой концовки, да и сам Иванов не предполагал, что изменит себе, что в нем вдруг прорвется.

И он бросил еле слышно, отрывисто:

— В меня из обрезов стреляли. Карьеристы топтали... Анонимками, пинками, подножками... Я остался собой... Я коммунист... А вы... докатились... вроде лягавого...

Это было уже чересчур. Но никто не нашелся остановить Иванова. И вдруг с места сорвался Курейко, застучал протезом по залу, обнял судью за плечи и стал тянуть от пюпитра.

— Викентьич,— потащил он его,— нельзя тебе больше. Викентьич! Ну его к бису!

У Алексея сжалось сердце.

Он понял вдруг, что именно прорвалось в Иванове. Прорвалось все, что не говорилось, не называлось, но жило и не могло быть изжито, не могло быть потоплено ни в совещательной комнате, ни в зале суда, ни в играх с внучатами. Но Иванов не сознавал, что Иван Никанорович не заслуживал принять на себя

весь этот сгусток вражды. В порыве Иванова было столько же смеси негодования с горечью, сколько и старческой немощи. Он как-то вдруг сразу стал стар... А зал, взволнованный болью, которую выплеснул из себя этот старец, дрогнул, а потом зашумел. И так как Иванов не прошел на свое прежнее место и даже не сел, а упал на скамью, то собрание осталось без председателя и произошел перерыв.

В перерыве люди вышли курить. Алеше все окружили. Ему жали руку, его хлопали по плечу, выражали ему всякие добрые чувства. Он мельком увидел не замеченную раньше Людмилу Ивановну. Она выскользнула из помещения и быстрым, не женским шагом пустилась по улице. К Алеше подошел Погорельский и неожиданно попросил его выступить.

За многие дни и ночи перед этим собранием Алеше приходило много утешительных и неутешительных мыслей. Когда у него не было аудитории, он про себя произносил страстные речи, раскрывавшие его невинность. Он тогда спорил, боролся, доказывал свою правоту. А теперь вдруг нечего стало доказывать, не с кем было бороться. К этой перемене оратор не подготовился. Забылись умные речи, говорившиеся втихомолку, в подушку, предназначавшиеся для всей Сердейщины, области, для всего белого света. Алексея встретили аплодисментами, а речь он произнес совершенно бесцветную, самую плохую из всех своих сердейских речей. Он был героем, от него ждали чего-нибудь яркого, а говорил он неизвестно о чем. Вспоминал обрывки мыслей, мелькавших в недавние дни, безвкусно призывал судебных работников к той же стойкости, какую он проявил в деле Кобозева, неправдиво утверждал, будто всегда верил в свое торжество, ни минуты не колебался. Впрочем, в данный момент, здесь, на собрании, Алеше действительно верилось, что он всегда верил...

В его речи, о которой потом хотелось забыть, было лишь одно хорошо: он ни разу не упомянул о докладчике. Поверженный противник перестал быть противником. Откинувший голову, закрывший глаза, Иван Никанорович не готовился к ответному удару, ни о чем не думал, ничего не желал. На него тяжело было смотреть... И Алеша не почувствовал в себе той степени боли, того накопления горечи, какие прорвались у Иванова. После судьбы ему уже нечего было сказать. Молодость оказалась отходчивее и забывчивее старости. Наговорили Алеше в перерыве добрые вещи, наградили за мученичество аплодисментами — и мученичество как-то сразу перестало быть мученичеством. И Алеше опять в меру похлопали — не за куцу речь, а за страдальчество.

А затем к трибуне подошел Погорельский и, не считаясь с этим благожелательством зала, стал сдергивать с Алексея лавровый и терновый венки. Он выразил удивление, что судебные работники аплодируют грубому нарушителю процессуального права. Погорельский стал бесстрастно и методически перечис-

лять все неправильности в действиях Корнева, подобно тому как Иван Никанорович перечислял мнимые его преступления. Корнев допрашивал свидетельницу в необычных условиях, оставил ее в служебном помещении на ночь, не составил протокола допроса, принял от нее подношение, не оформил посещения камеры... Корнев забыл, что закон требует не только исследовать истину, но исследовать так, чтобы в ней уверились все окружающие. Корнев же пренебрег процессуальными нормами и заставил людей заподозрить его. А прокурор в представлении общества должен быть «чище снега альпийских вершин». И возникает вопрос: может ли человек, способный так ронять свой престиж, быть прокурором? Областной прокурор направит, вероятно, Корнева в другой район, на другую работу.

— Нынешнее собрание необычно,— заключил Погорельский,— оно, можно сказать, небывалое. Мы дали райпрокурору сделать о себе сообщение... Но неправильно превращать это собрание во вторые именины для Корнева. Достаточно пирога, полученного в первые его именины. Ведь Корнев даже словом не упомянул здесь обо всем своем легкомыслии.

Затем к трибуне вышел Яблонский. У него была худощавая, спортивная фигура, но движения его до сих пор всегда казались Алеше слишком медлительными и вялыми для этой фигуры. Теперь же следователь очень решительно встал за пюпитр и сразу, без вступления, без оговорок, деловито и просто сказал:

— Я буду говорить о райпрокуроре. Он не прокурор...

Эта решительность была в устах Яблонского так неожиданна, что даже Иван Никанорович, ошеломленный ударами, после которых никакие другие уже не могли поражать, и безучастно отдавший себя растерзанию, приоткрыл глаза и изумленно посмотрел на Яблонского. Коли и этот молчаливый подчиненный заговорил, значит, дела очень плохи.

Но выступление следователя отличалось от крутой речи судьи. В одном была долготелая боль, в другом — только досада. Досада на то, что начальник мешает работать. Иванов говорил о предательстве, а Яблонский стал говорить о повадках. Он рассказывал вещи, рассеивающие мрачное настроение зала и вызывавшие смех. Следователь сообщил, например, что прокурор черкает документы и приговаривает: «Что зачеркнуто, того не прочитают, а чего не прочитают, за то не побьют». Он рассказал, как прокурор не разрешает привлекать к ответственности районных работников и поучает: «Если ты не укусишь собаку, так и она тебя не укусит. Проходи, не гляди на нее, и у тебя всегда будут целы штаны». Следователь сказал, что у прокурора есть голова, и даже совсем не плохая, но он давно уже ей не хозяин.

Яблонский приводил много печально-веселых изречений райпрокурора, изречения вызывали в публике хохот, и этот хохот добивал прокурора.

Алексей возвращался с собрания и радостный и уязвленный. Тяжелое подозрение с него было снято... и только. Он досадовал на себя за глупую речь и мысленно произносил теперь новую, лучшую. И все-таки дышалось сейчас совершенно иначе, чем сутки назад. Тогда он хотел бежать из Сердейска, а теперь не представлял себе, как можно покинуть его, зачем он вдруг расстанется с Лобовым, с Ивановым, Анной Сергеевной, со своим кабинетиком, со своей комнатушкой... И все-таки на сердце стало легко. Жило-жило все эти дни горе в душе, поселилось прочно, просторно, заняло все уголки — и вдруг сразу выселилось, убралось со всеми пожитками, и снова стало без него в квартире спокойно... И шел Алеша по улице бездумно, освобожденно, чувствуя, что за ним сохранена его ясная жизнь.

А рядом с ним, медленно передвигая непокорные ноги, шел разбитый Иван Никанорович. Шел потерянный, сразу вдруг одряхлевший, лишившийся силы нести себя.

Как это случилось, что они могли снова оказаться вдвоем? Впоследствии, когда Алексей рассказывал приятелям свою сердечную жизнь, они никак не могли понять такого превращения драмы в комедию.

А произошло все очень просто.

После собрания люди заспешили домой. На улицу вышли почти все одновременно. Курейко хотел выключить свет и запереть помещение, но Иван Никанорович попросил подождать — ему трудно было подняться. Он вставал и снова садился. Курейко подождал секунду-другую, потом его взяло нетерпение. Из-за Ивана Никаноровича Курейко не желал ни минуты задерживаться. Он вышел на улицу и крикнул вдогонку расхаживавшимся людям:

— А ну, кто мне поможет выволочь Свешникова?

Но все были уже далеко. Алеша случайно отстал, заспорив о чем-то с двумя адвокатами. Он услышал Курейко, и ему стало не по себе. А Курейко добавил:

— Эй, товарищи, забирайте с собой Свешникова, а то он тут помирает!

Алеша и адвокаты не раздумывая вернулись назад. Они помогли райпрокурору выйти из помещения и немного постояли возле него. Потом Иван Никанорович медленно двинулся, и тогда адвокаты ушли. Алеша не решился уйти. Ему казалось, что Иван Никанорович вот-вот грохнется наземь. И Алеша молча пошел рядом.

Сердейск уже спал. Из окон не падал на улицу свет. Иван Никанорович часто приостанавливался или произвольно хватался за Алешину руку, а Алеша так же произвольно поддерживал, вел его.

— За что? — выкрипел вдруг Иван Никанорович. — За что он так сделал?..

В его горле пенились злая обида и старческий плач.

— За что? — не сдерживая рыданий, повторил Иван Никанорович.— Что я сделал ему?

Он не понимал, кому говорит это, у кого ищет поддержки...

Они молча дошли до квартиры Ивана Никаноровича, и Алеше показалось, что тот даже боялся расстаться с ним. Он боялся ночных бессильных метаний, горя, которое несет своей старой жене, и собственного неверного сердца.

— Как... как все это так вышло? — пробормотал он, будучи все еще не в состоянии осознать происшедшее.— Собрались... о тебе, а решили вдруг... обо мне.

Алеша молчал. У Ивана Никаноровича помрачилось, вероятно, сознание, иначе он не искал бы у Алексея сочувствия.

А Иван Никанорович, забыв о «девятнадцати пунктах», вдруг с горечью тихо сказал:

— А Яблонский, Яблонский-то... Кто мог бы думать!.. Предатель какой...

Алексей без слов стоял у калитки.

Не произойди после собрания этот фарсовый кадр, Алексей никогда уже не подал бы этому человеку руки. Но после этого разговора Ивана Никаноровича нельзя было всерьез ненавидеть. Во всяком случае, Алексей не мог отыскать в себе ненависти. В нем были только брезгливость и жалость. Да, жалость, то чувство, о котором невозможно сказать, что оно сродни неустойчивости.

А дома «доклад» представился Алексею очередным плутовством и потерял вдруг значение, которое имел час назад. И Алексей мысленно переадресовывал прокурору слова, которые так часто слышал от него: «Я же тебе говорил, я тебя предупреждал...»

Чуть ли не изо дня в день ссорясь с начальником многие месяцы, Алексей часто задавался вопросом, что делать с таким человеком, и отвечал себе, что его все-таки нужно убрать. А теперь, когда Иван Никанорович сам себя снял, Алеша не был этому рад. В ушах слышался горловой, хриплый плач, и Алеша страдал.

Он силился отогнать, но не мог отогнать эту жалость. Алексей чувствовал, что стал не таким, каким был. Раньше он обошелся бы с предателем без особых раздумий, а теперь его отношение к поступкам и людям стало сложным, запутанным.

Алеша заснул.

А утром, бреясь перед зеркальцем, купленным старушкой для Шуры, Алеша заметил в своем лице что-то новое. Он долго не мог понять, что это было. Потом увидел — у него появились морщинки на лбу.

Откуда они? Как удивится им Шура! «Алеша,— воскликнет она,— что это вдруг у тебя?!»

«Это,— ответит ей Алексей,— это, родная, юность моя отлетела. Зрелость пришла... И не просто далась...»

«А это, это что? — начнет встревоженно разглядывать Шура. — Какие у тебя мешки под глазами!»

«Мешки? Может быть, — ответит Алеша. — Я ведь знаю теперь, от чего грудная жаба приходит».

ЖИЗНЬ УТВЕРЖДАЕТСЯ

На деле все оказалось не так. Шура ничего не заметила. Шура не могла ничего замечать. Она находилась в том состоянии, когда не всматриваются и не разглядывают, не видят малое, видят только большое. Ведь можно долго-долго смотреть в глаза, не видя, что под глазами.

Шура узнала Алешу еще из окна, за несколько многочасовых минут до того, как паровичок рабочего поезда допыхтел до платформы. Мужская фигура, которую Шура издали различала среди десятка других, оказалась Алешиной, не могла не оказаться Алешиной. Он вскочил на подножку, снял Шуру с верхней ступеньки вагона. Паровозик с упорным бессилием продолжал еще зачем-то тянуть. Паровозик успел протащить свои четыре вагончика еще далеко-далеко и выпустить пар, успел простонать, просвистеть, а Алеша и Шура не уходили с платформы. Если бы не Коля Михляев, они забыли бы, что в вагоне остались чемоданы и свертки.

В жизни каждого человека, даже самого содержательного и делового, бывают моменты, когда мир для него сосредоточивается в другом человеке. Из вселенской громады мир превращается в маленький-маленький. И остается громадой.

Здравомыслящие машут обычно на молодых людей рукой, называют их лепет и поведение опьянением, страстью, угаром и поглупением. Но это все чепуха. Молодость — это период открытий и постижений. Это период подлинного и наиболее полного бытия. Он вовсе не мутит ум, как угар, совсем не пролетает, как сон, в нем вообще не бывает потерянных часов и минут. Он весь напиток, насыщен, напоен радостями, неповторимостями. Это не опьянение, а, наоборот, наибольшее проявление жизни. В эти дни живет для тебя каждый взгляд, каждый мускул, голубая вена руки, поворот головы, бретелька сорочки, платочек, косыночка. И это не поглупение. Наоборот, эти дни предельно умны, ибо они предельно просты.

Мир запутан и сложен, когда в нем много дел и людей, но он быстро становится осязаемым, доступным и ясным, когда суживается до одного человека, помещается в одном человеке. Ибо Алеша любил как работал — отдавая себя целиком.

Его нежность излилась на Шуру стремительно. Шура была возмещением за пережитое. Впрочем, не только за пережитое, а за всю его жизнь. За то, что мыкался он детские и юношеские годы один, не ожесточился, не загубел, носил в себе доброту

и готовность любить,— за все это пришла к Алексею жена, и он стал привыкать к этому слову, полному прелести и новизны.

Нет, они не поглупели, а жили как мудрецы. Как мудрецы, не замечали ничего суетного. Долго, например, не ощущали, что им не на чем даже сидеть, что все табуретки и столик завалены привезенными Шурой вещами. Только на четвертые сутки вспомнили, что есть белый свет за пределами домика... Это было, когда конюх принес телеграмму: «Сердейск прокуратура корневу алексею срочно сообщите как приехала шура страшно волнуемся молчанием целуем родители». Тогда Шура схватилась за голову.

— Алешка, какие мы подлые!..

Вспомнила о существовании мамы, которой обещала телеграфировать сразу по прибытии поезда. Мама, которая теперь сходит с ума...

Они помчались на почту, оттуда пошли бродить по Сердейску.

Городок можно было обойти за час-полтора; они ходили по его улочкам много часов. Было по-ноябрьски мрачно и холодно, но они этого не ощущали.

Алексей показывал Шуре Сердейск и боялся ее впечатлений, потому что в городе нечего было показывать. Но Шура и этого не замечала.

— Вот Дом культуры,— демонстрировал он лучшее здание из серого камня, с колоннами, обсыпанными мраморной крошкой,— тут танцы, кино, раз в месяц спектакли. Мы сюда будем ходить.

— Хорошенький дом,— отвечала Шура рассеянно и тут же переводила взгляд на другой.— А этот, с балконом?

— Райисполком. Тут председателем мой лучший друг. Ты его знаешь из писем.

— Райисполком? Это, кажется, главная власть?

Алешу умиляет Шурин вопрос. В ней все умиляет. Он смеется.

— Для тех, кто в техникуме учил Конституцию...

— Ах, родной, у меня все вылетело из головы... И ты надо мной не смейся, Алешик!

Он показал ей школу.

— Ой, Алешик, как мне будет страшно!

— Почему? — веселился Алеша.— Ведь занятия днем, а не ночью!

— Ой, ты все смеешься, Алешик! А представь себе только: я вхожу одна, а их сорок... Их сорок, а я совершенно одна...

— Я к тебе милиционера прикомандирую, родная!

Шура не отвечала. Она выпячивала губки и смотрела на Алексея обижено, благодарно, благодушно, упрекая, ласкаясь.

Он пользовался безлюдьем и целовал ее в ухо.

— Ой! — потирала Шура ухо.— Ты дикий, Алешка. Разве

так можно! Ведь я оглохнуть могу. Теперь в ухе жужжит. Поцелуй, чтоб перестало!

Он снова целовал. Потом они замечали прохожего. Шура было и стыдно и весело.

— Я с тобой больше не выйду на улицу. Раз ты не умеешь вести себя...

И она была счастлива, что он не умеет вести себя.

Они незаметно дошли до конца городка. Перед ними было поле. Местами взерошенное, черное, глыбистое, местами бурое, с остатками незапаханной ржавой стерни. Ничем не принарядила природа этот угол земли, где им предстояла дальнейшая жизнь. Здесь не было садов и лесов, цветочных ковров и тайных лужаек. Это был однохлебный, степной, невеселый район. Это было хмурое предзимнее время.

Они долго простояли у поля и медленно молча возвращались, держась за руки, домой. Вот так они всегда будут вместе идти, и тогда нигде им не будет ни хмуро, ни холодно...

— А, Алексей Николаевич! — встретил их в центре пожилой человек с изрытым оспой лицом. — Рад видеть, рад видеть! А это, надо думать...

— Угу, — неопределенным, но полным удовольствия звуком подтвердил Алексей.

Заведующий райнаобразом потащил их в свое учреждение. — Бить, бить надо вашего мужа! — говорил он зардевшейся Шура. — Не напомнил о вас, не предупредил о приезде... Ну, ничего, — успокоил он Шуру, — сейчас мы вам неполную нагрузку дадим, а после зимних каникул... Впрочем, постойте, — вспомнил он что-то и взялся за телефон.

Звонил, потом, вызывал к себе инспекторов, и через пятнадцать минут Шура, к своему счастью и ужасу, знала, что будет преподавать малышам арифметику и вести русский язык в одной группе... курсов механизаторов. А ее будущий районный начальник, явно любясь ее нерешительностью и свежестью личика, оживленно объяснял положение дел:

— Не хватает учителей, никак не хватает! Шутка сказать — охвачено девяносто восемь процентов детей школьного возраста! Почти никого за бортом. А кого посылают к нам? Приезжает такая вот барышня и ставит мне ультиматум: «Где есть электричество, туда я поеду, где нет, туда не поеду». Да разве я сельэлектр! Да разве там, где нет электричества, не должно быть и школ! Избалованный приезжает народ, избалованный!

— А мне можно... без механизаторов? — решила спросить его Шура. — Они уж очень... большие.

— Что вы, что вы! — замахал он руками. — Да это же лучший народ! Каждый учитель о таком классе мечтает. Ни баловства, ни возни, одно удовольствие! Это вообще не наша система, это я вам сейчас свадебный подарок устроил.

Они пришли к себе голодные, безмерно счастливые, безмер-

но усталые, и Алеша в избытке чувств и энергии схватил Анну Сергеевну, поднял над головой и пустился со своей ношей плясать. У старушки не было сил сопротивляться, а Шура еще подстрекала:

— Выше, выше, Алешка!

После обеда Анна Сергеевна стала корить ее:

— Бесстыдница! Ты хоть приданое-то прибрала бы! Мать с отцом надавали, а она без внимания. Ишь чего в доме-то делается! Срам, кто зайдет! Ну-ка давай прибираться. А целоваться еще нацелуетесь. Для целовков господь бог ночи послал.

Алеша оторопел от количества вещей, которые стали вынимать и раскладывать Шура с Анной Сергеевной. Тут были и простыни («От тонко-то! От это лен!» — восхитилась старушка), и расшитые пододеяльники, цветные и салфетные скатерти, платья, белье, всевозможные кофточки, тюль на шторы и прочее. Алеша на все это удивленно глядел, а Шура, вынимая каждую вещь, подбегала к нему, обнимала и радовалась:

— Смотри, Алешик, какие мы с тобою богатые!

Но радость Алеше доставила только материя на платье Анне Сергеевне.

— Это вам от меня и от мамы,— вручила Шура старушке,— за Алешу, за все!

Анна Сергеевна растрогалась и прослезилась. Но прослезилась, как оказалось, не от подарка:

— Значит, писал обо мне, писал о старухе...

Зато очень неприятно было получить от родителей Шуры отрез на костюм и портфель.

В студенческом общежитии с собственностью никто не считался, там царили непринужденные нравы. Друзья брали друг у друга цветные сорочки, надевали чужие костюмы. На вещи смотрели просто. А теперь в Алеше не было простоты. Приданое и особенно личные подарки ему чем-то обязывали.

Алексею не пришлось еще познать ценность уюта. Он только чувал его, когда думал о Шуре. Ему самому было безразлично, где и как спать, на чем есть и сидеть. Он не замечал неудобств. Чтобы Алеша их ощутил, они должны были быть совершенно особенными. Койки, например, никогда не бывали для него слишком тверды, а лишь чересчур коротки. Ботинки могли быть какого угодно фасона или вообще бесфасонными, только не жали бы. И брюки могли держаться на английских булавках, если не падали... А при виде всего привезенного Шурой появились какие-то новые чувства. Стало неприятно перед ней за грубую, холщовую простыню. Стало досадно, что не он купил ей все эти вещи. Пришло ощущение какого-то долга, какой-то вины перед родными жены.

Алеша знал, как они жили. Не нуждаясь, но от полочки к полочке. Лечиться Павел Максимович ни разу не ездил, даже когда бесплатно давали путевку. Отпуск проводил он дома, позво-

ляя себе в этот период только добавочное число четвертинок. Шура тоже нигде не бывала, кроме как в деревне у бабушки да в областных домах отдыха. Чтобы закупить такую уйму вещей, как у Шуры, нужно было долго сжимать все расходы, приобретая то одно, то другое...

Все это мелькало в уме Алексея, и не понимал он лишь одного — радости родительского самопожертвования.

А Шура, не догадываясь об Алешиных чувствах, продолжала втягивать его в свой восторг и напевно тянула:

— Какие мы с тобою теперь будем богатые!

Да, чувства их не всегда совпадали. Шура еще в Свердловске заглазно любила и Лобова, и Иванова, и кабинетик Алеши, и в ней была несознательная, глупая досада на то, что они вошли в его жизнь без нее. А Алеша, довольный, что у Шуры есть все, что ей нужно, досадовал, что не он это нужное дал.

Да, очевидно, все-таки нужное. Странное дело — порознь людям ничего как будто не нужно, а вдвоем нужно все...

Эту нехитрую загадку Алексей Николаевич с годами поймет. Поймет, что еще больше нужно втроем, вчетвером. Поймет и место вещей в человеческой жизни. Подчиненное, очень условное и все-таки необходимое.

Нехорошо, когда человек радуется только вещам. Но нехорошо и тому, кого уже никакие вещи не радуют.

Свадьбу сыграли у Лобова. Он приехал на пятый день вечером с Олей, сгоравшей от нетерпения посмотреть жену Алексея. Оля слышала о ней от шофера, который вез Шуру со станции. Впрочем, о том, что у Корцова появилась жена, узнал весь городок. Это известие распространили соседки Анны Сергеевны, зачастившие в эти дни в ее кухню поглядеть молодую. А первой в Сердейске узнала Людмила Ивановна.

Те несколько дней, что Алексей работал после собрания, услужливость Людмилы Ивановны достигла пределов. Не было и следа ее первоначальной назойливости или последующего недружелюбия. Была одна деловитость. Людмила Ивановна теперь не улыбалась, не сплетничала, не метала глазами громы и молнии, не сжимала губы в тирé. Наоборот, она делала себя незаметной и необходимой. Необходимой для Алексея и для нового райпрокурора, каким фактически оказался в те дни Погорельский, — Иван Никанорович на работу уже не выходил... И вот в обоих кабинетах к приходу начальников лежали списки дел, записи сроков, вырезки из газеты «Сердейский колхозник». Этого канцелярией раньше не делалось, этого от нее и нельзя было требовать. Людмила Ивановна оказалась более умно бестией, чем можно было думать по ее поведению прежде. Знала, чем брать, и умела обезоруживать. Впрочем, Алексей давно обезоружен был собственной своей неуверенностью — он так и не знал, клеветала ли на него Людмила Ивановна или нашептала лишь то, во что верила. Но теперь, когда у Алексея все счастливо окон-

чилось, ему не хотелось допытываться. А лишаться Людмилы Ивановны было бы глупо. Секретаря с ее опытом уже не нашлось бы. И именно Людмила Ивановна, источник всех бед Алексея, оказалась с первою доброю вестницей — она подала ему телеграмму из Свердловска о выезде Шуры и спокойно, как бы простодушно сказала:

— Простите, что распечатала. Не знала, что личная. Поздравляю, Алексей Николаевич!

Что оставалось делать, кроме как ответить «спасибо»! Тем более что сердце запрыгало...

А потом Людмила Ивановна в свободные от работы минутки обзванивала приятельниц в других учреждениях и приглушенным голосом передавала им предстоящую новость. Алексей же пошел официально сообщить ее Погорельскому. Он попросил освободить его на день в счет отпуска.

Погорельский задумался.

— Какое там на день! Все равно, что ничего... Да и законов не знаете. Очередной отпуск тут ни при чем. На свадебное предприятие дается несколько дней специального.

И с досадой добавил:

— А главное — вы все равно для работы годиться не будете. Влюбленный прокурор — угроза законности.

Потом на лице его появилась гримаса.

— Как это, однако, но вовремя! Я тут калиф на часок, Свешников числится, но не существует, вы направляетесь в загс... Совпало как все неудачно, нехорошо!

Алексей виновато молчал. Совпало действительно нехорошо. В то же время совпало великолепно...

— Ну что же делать, — вздохнул Погорельский. — Не подтверждать же вашим примером пословицу: «Как бедному жениться, так ночь коротка». Попросите-ка сюда, пожалуйста, следователя. Пусть уж он пострадает за вас это время.

И ни Погорельский, ни Яблонский не потревожили Алексея все эти дни. Даже ни разу не вызывали за справками. Зато оба, словно по уговору, прислали ему поздравительные телеграммы, что было не частым в сердечном быту.

Не очень веселой была свадьба у Алексея. Затеяли ее хорошие люди, задумали все по-хорошему, а вышло нехорошо. Свадебный вечер был единственным неприятным вечером медового месяца, и память Алеши всегда старалась его обходить.

Так бывает, вероятно, у многих — без свадьбы женитьба кажется неполной, неконченной, без свадьбы чего-то молодым не хватает, а со свадьбой получается уютительный и ненужный избыток. Алешина свадьба была из тех, где свадебное дело попадает в руки старух и любителей крепких гулянок. Там молодые сидят дураки дураками, а вокруг них идет докучливый ша-

баш. На свадьбах подобного рода молодым хочется убежать, провалиться под стол или заснуть до конца этой ожесточенной гульбы.

Собираются люди разных поколений, разной среды и житейских привычек — родственники жениха и невесты, сослуживцы, подруги, товарищи. Каждый из них хорош сам по себе или в своей же компании, но, сведенные вместе, они объединяются только вином. Несчастные молодожены оказываются совсем беззащитными против толпы слишком благожелательных, слишком любящих и нетрезвых людей. А на свадьбе Алеши не было и близких родных, которые спасали бы от излишней внимательности... И праздник был омрачен...

Он и без того был совсем необычным — отсутствовали родители жениха и невесты. Мог бы приехать старший брат жениха, но Алексей слишком поздно связался с ним по телефону и событие застало брата врасплох. Он не успел бы получить разрешение выехать, не успел бы собраться. Он ругал Алешу в телефонную трубку, поздравлял, желал счастья и снова ругал. В тот же день вечером он телеграфом перевел целую тысячу — подарок на свадьбу. За мать жениха была Анна Сергеевна, и она вместе с Олей и тещею Лобова развернула необычайную деятельность, обеспечила пиру обилие и ох как подвела молодых. Вложила в свадьбу всю душу, но посчиталась лишь со своими понятиями, не подумалась посчитаться с чужими, со складом души молодых.

День начался неудачно с утра. Одна женщина сказала Анне Сергеевне, что старый прокурор помирает. Какое-то движение сердца заставило Алешу немедленно посетить умиравшего. В свой свадебный день он не мог не повидать в последний раз человека, который его первым встретил в Сердейске и обласкал. Вместе с Шурой Алексей сейчас же пошел к нему.

Но оказалось, что Иван Никанорович не только не умирал, а, наоборот, поправлялся. Увидев Алексея, он растерялся, засуетился, забегал. Потом он зачем-то сейчас же выгнал жену, словно боясь, что гости могут заговорить о чем-нибудь для него унижительном, вдвойне больном и тяжелом в присутствии старшей подруги. Для нее он еще оставался пострадавшим... Потом Иван Никанорович с излишней подвижностью принялся ставить на стол закуски и выпивку. Заторопился заговорить о молодых, чтобы не заговаривали о нем.

— Ну, вот и дождался, вот и дождался! — с преувеличенным оживлением говорил он Алеше. — Съезжались, съезжались и съехались. Ну, слава богу... А то ведь и без любви жить было невесело, и с любовью было вам горестно. А уж как его тут наши девки ловили, — поведал он Шуре, — какие силки и капканы ему расставляли! А он ни в какую! Я, бывало, скажу ему: «Чего каждый вечер сидишь за делами и книжками? Смотри, сколько девок, сходил бы в сад погулять», — а он только отма-

хивался. «Будет, говорил, у меня с кем ходить». Крепкий, крепкий у вас муженек! Ну, да ведь знал он, чего дождался! Такую красавицу себе отхитрил, что здесь и не сыщешь! Правильный был у тебя подход, Алексей,— одобрил он Алешину выдержку.— Я тоже смолоду так рассуждал. Даже пословицу себе избрал: «Со случайною девкой — короткая спевка». А семью с ней не наладишь. Из котлеты не сделаешь окорок. Чтобы строить очаг, надо по-вашему. Молодцы, молодцы!

Он говорил торопливо, чтобы задержаться на теме, чтобы не возникло другой.

— Ну, а за посещение вам благодарен, всей душой благодарен. Рад бы, Алеша, и на твоей свадьбе гулять, да, видишь, больной я. У вас там плясать будут, а мне ноги свело. Чучела на свадьбах совсем ни к чему. Вот оправлюсь и, если позволите, навещу вас. Без народу, без гомону. А подарочек сейчас вам вручу. Не знаю, по душе ли придется иль нет...

— Что вы, что вы! — почти вместе запротестовали Алеша и Шура.

Но Иван Никанорович не понимал или не хотел понимать, что не смеет предлагать Алеше подарка.

— Ну, это мое уже дело, мое это дело,— сказал он, полез в сундучок и извлек из него тоненький сверток со шкурками цветного шевро.— Много лет уж лежат. Зятю где-то досталось на дорогах войны. Подарил, да мне ни к чему. Франтить позновато. А тебе и жене получатся всякие модельные туфли. Это, брат, в супружестве больше всего пригодится. У меня в молодых годах был товарищ, так он говорил: «У холостого нету шнурков на ботинках, а у женатого нету ботинок». Вот оно как...

Но Алексей бросил сверток в сундук. Он стал прощаться, пожелав Ивану Никаноровичу скорей выздоравливать.

Иван Никанорович растерялся, но в дверях заплакал, обнял Алексея и стал целовать его в щеки. Алексей тоже чуть-чуть не растаял, но с силой вырвался и заспешил. Иван Никанорович обнял тогда Шуру, начал целовать ее в лоб.

Если бы Шура знала, к кому она пришла и кто ее целовал!..

Иван Никанорович захотел обязательно проводить гостей до ворот и у калитки на минутку задержал Алексея.

— Ты, наверное, думал, что уж отпевать меня надо,— сказал он приглушенно.— Думал, что застанешь только труп в отпуску... А я, брат, вот перенес. Отдышался уже помаленьку. Варят всегда кипяток, а в рот берут похолоднее. Не убил Иванов Ивана Никаноровича. Хотел, а не убил. Не побывать ему на поминках. Живой еще, видишь... Я, брат, знаю, что справедливость на свете редкая птица, привик, что людей ни за что распинают, и вот нашел силу перетерпеть... Да, да, Алеша, ни за что распяли меня! Перед тобой я малость и виноват, а больше ни перед кем... Если бы ты знал ночи мои, знал, как ты

мне сейчас сердце исправил этим приходом... Эх, Алеша! — шумно вздохнул он и оборвал себя. — Ну, счастливо тебе!

Алексей взял Шуру под руку и быстро вышел за ворота. Он стал вдруг себе отвратителен и понял, что ему ни за что не следовало сюда приходиться.

А вечером Алеша испытал все последствия слабости, проявленной этим свадебным утром.

Оказалось, что Иван Никанорович прислал свой подарок и Анна Сергеевна приберегла его для злого спектакля. Она взяла эту дареную кожу, взяла присланные Ивановым нержавеющей вилки и ложки, собрала все другие подарки и вместе с чемоданами Шуры привезла все добро в празднично убранный зал, сложила в углу и прикрыла до вечера. А когда гости с веселым шумом уселись за стол, старухи принялись демонстрировать вещи молодоженов и кланяться добрым дарителям.

— Не пейте — глазейте! Не пейте — глазейте! — хором закричали вдруг обе старухи, а подученный ими неизвестный мальчишка, вложив в рот пятерню, яростно свистнул. И конечно, все головы сейчас же повернулись в их сторону.

Тогда Анна Сергеевна скороговоркой затарaxтела:

Глядите — любуйтесь,
Глядите — цените!
Мы не вищие,
Мы с богатою пищею!

И, прежде чем молодожены успели сообразить, что происходит, вытряхнула из Шуриного чемодана белье, простыни, скатерти:

Невеста не вагишом,
Невеста к нам с барышом...

Молодожены были вне себя. Но чьи-то крепкие руки их удержали, помешали прекратить балаган, чей-то хохот и одобрительный шум перекрыли голос Алеши.

И стали взлетать вверх для обозрения сорочки, платья, серый костюм.

И жених не с сумой,
И жених с бахромой, —

развернула Анна Сергеевна половичок — ее личный подарок, купленный накануне в райпо.

Молодые не могли поднять глаз. Они чувствовали себя выставленными на позорище. А гости веселились, смеялись, хлопали в ладоши при взлетах вещей и старушечьих выкриках. Люди вроде Ивановых, Яблонского смотрели на все происходившее хмуро. Но брат Лобова Николай гоготал совершенно восторженно, и вместе с ним веселилось много полузнакомых и вообще незнакомых людей, понабравшихся неизвестно откуда. Ведь устроительницами были Оля, старухи...

Даже Иванов не нашел в себе мужества положить конец этой безобразной и тягостной сцене. Он только потупил глаза, когда Анна Сергеевна стала подбрасывать вверх подаренные им ложки и вилки, припевая при этом:

А Василю Викентьичу спасибо за ложки
Для щей, борща и окрошки!

Алеша не знал, куда деться. И вдруг Анна Сергеевна стала размахивать кусками чего-то синего, желтого, глянцевого:

А Ивану Никаноровичу спасибо за кожу,
Будем мы с обувкой под любую одежду...

Алеша ахнул. Кровь бросилась ему в лицо. Он вскочил с места, хотел рвануться к старухе, схватить и растоптать эту кожу, но его опять отбросили назад, на скамью, и он в бессильном отчаянии готов был расплакаться.

Ивану Никаноровичу повезло. Его подарок как бы брал назад его доклад, смешал все понятия и представил все происшедшее рядовой бывальщиной, простой житейской бывальщиной...

После потрясшего Алексея спектакля он с трудом досидел до конца своей свадьбы. Она уже казалась ему не веселым, не праздником, а просто закланием. Он кривился, когда произносились тосты и ему в уши кричали бесконечное «горько!», когда его неистово глушили гармонию и еще требовали быть благодарным. Он много пил, а от него требовали пить все больше и больше, много обнимался с неизвестными лицами, а к нему подходили с объятиями.

Он был счастлив, когда остался наконец с Шурой вдвоем. День был ералашным, полным беготни, разъездов, развозов, хозяйственных и бесхозяйственных хлопот и забот, а вечер не только шумным, крикливым, дурашливым, но каким-то пронзительно-обидным, поранившим...

И Алеша простить себе не мог, что посетил человека, который первым встретил его в Сердейске и обласкал.

Наступила великолепная повседневная жизнь. Повседневье неинтересно тем, кто любит слушать только о паденьях и взлетах, о разочарованиях и новых подъемах. Но они не могут происходить непрерывно. Иной раз, в периоды потрясений или неожиданных радостей, кажется, будто в судьбе человека неизменна только изменчивость. Но если бы существовала статистика успехов и горестей, она опровергла бы и меланхолический скепсис, и лихой оптимизм. Женится человек только раз или ограниченное количество раз, и расследуют его служебную деятельность тоже не ежегодно. Но один делает свою ровную жизнь однотонной, другой умеет извлекать из нее радость и смысл.

Алеша умел. Человек легкий, он и жизнь брал легко, быстро вживаясь в необычную, новую. Привычек у него еще не сложилось, поэтому ему не приходилось ломать себя со сменой служебных и бытовых обстоятельств. Он так же просто освоился с семейной жизнью, как с новым начальником. Настойчивый в делах, он был уживчив в быту.

Погорельский просил не ходить в служебное время с расстегнутым воротом. Ну что ж, пожалуйста, можно застегивать... Он не хочет, чтобы помощник входил к нему во всякое время, если нет срочных поводов, и сам не отрывает Алексея по двадцать раз в день, как делал Иван Никанорович, а беседует по всем вопросам перед концом рабочего дня. Алексею хочется иногда ворваться к начальнику по тому или иному вопросу, но, конечно, и подождать не беда... Погорельскому не нравится форма записочек, даваемых Алексеем посетителям на руки, он считает, что каждая исходящая из прокуратуры бумага должна писаться на бланке, иметь номер и памятный след. Ну что же, будем нумеровать...

Шуре не нравится, когда Алеша, намыливая себе щеки перед бритьем, попутно и ей мазнет нос помазком. Она обиженно говорит, что он обращается с нею как с вещью. Ну что же, можно не мазать, можно обращаться и как с человеком... Шура требует, чтобы Алеша не мешал ей готовиться к уроку, но и не хочет, чтобы он выходил на это время из комнаты. Требования как будто несомнимые, но оказалось, что действительно можно просидеть целый час возле Шуры и не отрывать ее от работы. При желании человек может все. Вот Шура — та действительно злится, когда Алеша возвращается домой с набитым портфелем. Она ревнует его к каждой папке, каждой бумажке, отнимающей его у нее хоть на десять минут. А Алеша — он выдержанный. Ему не стоит труда шнуровать и расшнуровывать отныне ботинки, а не влезать в них, как в калоши, не ложиться в ботинках на одеяло, пользоваться при чистке зубов специальной чашечкой, а не набирать для этого воду в ладошку.

Ограничениям, нравам и правилам домашних и сослуживцев можно подчиняться совсем незаметно, не испытывая от этого тяжести. Зато и ты будешь ими доволен.

С Погорельским можно толковать только за час до ухода с работы, но в этот час он разрешит все вопросы, накопившиеся за семь предыдущих. Говорить будет сухо, но с предельною ясностью, ни в чем не хитря. Погорельский разговаривает словами бессочными, но спокойно, решительно. В этом человеке нет уютности Ивана Никаноровича, нет увлечения, с каким делает свое дело Алеша, но есть порядок с порядочностью. Работая у него под началом, Алеша чувствует, что все делается без огонька, но все нужное делается.

Огонька либо вообще не было в натуре Погорельского, либо

он тускнел от сознания временности работы в Сердейске. Но и Алеша не знал, останется он тут или не останется. С приездом Шуры перестал думать об этом. Как будет, так будет.

Шура первое время полностью ушла в свое женское счастье. Казалось, она создана была лишь для того, чтобы любить Алексея. Она не умела притворяться, не скрывала своего равнодушия ко всему, что не касалось Алеши. Не брала в руки газет, не слушала радио. «Не могу сейчас про политику», — с детской искренностью говорила она, выключая репродуктор и забираясь на колени к Алеше. У нее не было даже желания общаться с людьми, развлекаться. Ей вполне достаточно было тех сведений из внешнего мира, которые приносил Алексей, рассказывая, чем он днем занимался. Этих докладов она обязательно требовала и любила их слушать. Заглазно любила и ненавидела персонажей этих рассказов. Все зависело от слов и игры лица Алексея. Любила и ненавидела за него, а не за себя, не за других. Ела с наибольшим удовольствием то, что охотнее других блюд поглощал Алексей. Снимала кофточку, когда он говорил, что в комнате жарко, убирала вторую подушку, если он находил, что слишком высоко голове.

Замужество поглотило в ней волю, мнения, вкусы, она жила в поцелуйном тумане.

Но мало-помалу у нее стал проявляться какой-то характер. Его признаки появились с началом работы. Первое время не столько Алеша мешал ей готовиться, сколько ее собственная тяга к нему. Приходилось бороться с собою, чтобы сосредоточиваться на составлении плана урока, а не забираться на колени к мужу, закрывать глаза и протягивать к нему губы, становившиеся сейчас же горячими, влажными от близости Алешиных губ. Но после нескольких дней пребывания среди малышей борьба Шуры с собою стала даваться ей легче. Оказалось, что в ней пробудились и интересы, которые не касались Алеши. Составит себе конспектик по объяснению тайн умножения, вспомнит заданный ей мальчонкой вопрос, одинаково ли годится таблица для счета картошек и пуговиц, рассмеется, начнет себе что-то записывать. Теперь уже и она стала приносить с собою на вечер рассказы. Мальчишки проверяли таблицу на спичках, а потом подожгли их, в парте был взрыв, все испугались... Одна девочка считает до пятисот, быстро производит даже деление, которого еще не проходили... Мальчишка налил другому за шею чернила, тот заревел, был страшный шум, на завтра в школу вызваны матери... Вслед за рассказами дома появились тетрадки, и Шура стала проводить вечера за проверкой. Потом, постепенно, начала примечать в своем Алеше не приметные прежде черты, требовавшие вмешательства жены-педагога. Он, например, надевал иногда носки наизнанку, пытался ложиться в той же рубашке, в какой ходил днем. И Шура стала обучать Алешу правильной жизни.

Но правильной жизни не получалось. Удобств и уюта, которые Шура мечтала создать, в комнате не было. Привезенные вещи по-прежнему лежали в чемоданах, а чемоданы стояли под топчаном. Шура повесила дорогую гардину, но без карниза она теряла свой вид. Шурины платья висели на стенке, прикрытые простыней. Пальто клались на стул. Портфели, сумочка, шляпка клались на подоконник, сползали на стол и мешали работать. Разные необходимые мелочи пришлось выдворить в сени и на кухню и постоянно бегать за ними. Подушка на топчане прислонялась прямо к стене и постоянно пачкалась краской обоев. Молодожены ели из мисок, а ящик с посудой, тщательно забитый Павлом Максимовичем, стоял в чулане нераспакованным. Короче говоря, нужны были шкаф, стол, кровать и что-нибудь вроде буфетика. Правда, дочь Иванова внушала Шуре теорию коврово-портативного счастья, но в сердейском райло ковров не имелось, и мебели они не заменили бы. А покупать ее нельзя было — Алеша не знал, сколько еще пробудет в Сердейске...

Первые недели Алеша с Шурой мало беспокоились о завтрашнем дне. Они были вместе, и это делало безразличным вопрос, где быть вместе. Но постепенно Шура почувствовала, что неопределенность завтрашнего дня мешает сегодняшнему. Она втягивалась в школьную жизнь, и ее начинало тревожить, что эта жизнь может вдруг оборваться. Она уже знала ребят по именам, проказам, костюмчикам и даже по подобиям почерков. Перезнакомилась с другими учительницами. Очень серьезно слушала все, что говорилось на педагогическом совете и в разных школьных комиссиях. Добровольно брала на себя дежурства по классам, заполняя свои дневные часы, в которые Алеша был бы на работе. Стала вдруг составлять какие-то программы кружковых работ и ходила к заведующему райнабором с идеей организации Дворца пионеров. В ней свежа была еще память о днях, которые она сама проводила во Дворце пионеров, и она высматривала, где в Сердейске можно найти под него какой-нибудь домик. Все эти дела день ото дня все больше ее занимали, и она мрачнела, когда вспоминала, что их, может быть, придется бросать, зачем-то куда-то опять уезжать, где-то снова устраиваться.

Понятно поэтому, как Алеша и Шура заволновались, узнав, что Погорельский уезжает, что Корнева собираются перевести в Троицк на должность следователя, а на его место прислать другого работника. В тот вечер, когда Алеша принес эту весть, молодожены впервые сидели грустными-грустными. Шура вспомнила про себя слова отца о непрочности прокурорской судьбы, а Алеша подбодрял ее и искусственно радовался, что они не распаковали посуду. На деле же Алеша был глубоко уязвлен, и Шура хорошо это чувствовала. Она начала его утешать. Так, во взаимных утешениях, и прошел этот вечер.

А через несколько дней прокурорских и судебных работников вызвали в райком.

Круглов расхаживал по кабинету и внимательно поглядывал на Алексея.

— Ну,—сказал он с досадой,—видите, сколько из-за вас переполоху! Ревизии, драмы, собрания... И приходится теперь мозговать, что с вами делать. Вы сами ничего не подскажите? — спросил он таким тоном, будто просил Алексея избавить его от необходимости принимать по делу решение.

— Я? — удивленно переспросил Алексей.

— Ну да, кто же еще? Вы вот делали бездумные вещи, а думать за вас потом другие должны. Слишком уж заставляете заниматься собой! Вы же человек с головой, а выкинули вот... хуже некуда.

Наступило молчание. Все смотрели на Алексея. Но он не знал, что от него надо Круглову, и секретарь вынужден был продолжать.

— Вот работали вы у нас,—сказал он, уже не глядя на Алексея и словно рассуждая с собой,—работали хорошо, очень, можно сказать, хорошо. И мы были вами довольны, и начальники в области... Делали свое дело как надо. Вкладывали душу, как говорится. Вас за это ценили. Ну, а потом какие-то глупости... Дали себя заподозрить... И честность вашу, и все... Я вас не вызывал, ждал, что расследуют. Выяснилось, что ничего скверного нет, а одни только глупости. Но теперь говорят, что они в вашей должности недопустимы... Ну, как теперь быть?

— Мало ли что говорят! — вырвалось у Алексея.

— Да, разное говорят, очень разное,—раздумчиво сказал секретарь.—Я лично считаю, что наказания надо приберегать для вороватых, для жадных, для пьяных. А в вашем случае, я полагаю, взысканием ничего в порядок не приведешь. В вашем характере, я имею в виду. Делаете для людей, но не людски... Оставили ночевать, полетели в дежурку... Дорого обошлась этой девушке ваша забота! Может быть, еще дороже, чем вам... Вы вот на гуманитарном учились, были отличником, философские мысли брали легко, а о простой не подумали... Характер надо иметь. Чтобы действия не забегали вперед... Суть, по-моему, не в резолюциях. Я уж товарищам говорил... Чего тут писать... А мне отвечают, что вы опорочили прокурорское звание. Говорят, что реабилитированы вы только в умысле, а не в легкомыслии. Нарушили очень нужные правила. «Непростительно,—говорят мне,—для прокурора...»

— Да, нарушил,—признал Алексей.

— Ну вот! И велите нам теперь нескладную загадку разгадывать.

— По-моему, областной прокурор разрешил ее,—сказал Погорельский.

— Не знаю, не знаю! — усомнился Круглов. — Что такое Корнев? Это, так сказать, деревцо, выращенное партией. Да, да, я не громкие слова сейчас говорю, а оцениваю его место в нашей действительности. Так зачем же нам верхушку вдруг спиливать? Оно поднимается, а мы будем резать... Что же тут правильного?

И в упор спросил Алексея:

— А как вы сами поступили бы с собой? Есть в вашем случае надобность куда-то перевести вас и в должности снизить? Можете вы теперь работать, как прежде? Что вам ваша совесть подсказывает?

Алексей почувствовал, что его ответ очень важен, что Круглов полагается на него и верит, что он не поступится судьбами дела ради личной судьбы.

— Моя совесть чиста, — сказал он. — Я могу работать сколько угодно. Почему же я вдруг не должен работать?

— А вот я вам скажу почему, — вмешался один из членов бюро. — Вы выговаривали на днях промкомбинату за то, что он не снабдил колхозы достаточным количеством ватников, а директор мне потом жаловался: «Я, говорит, не умею мобилизовывать столько девок, как он»... Ну, можете вы с такой славой работать?!

— А должен ли товарищ Корнев отвечать за всю чушь, которую о нем наболтали? — задал контрольный вопрос Иванов.

— Должен, не должен... Так и будет здесь «да» спорить с «нет», — покривившись, заметил Круглов. — Надо решать. Я вот считаю, что раз Корнев берется работать по-прежнему, его нужно оставить. А за частную ошибку снимать... нет, этак мы прошвыряемся. И без того поступаем так чаще, чем нужно... А ведь мы все учимся делу во время самого дела.

— Вы забываете, — возразил Погорельский, — что положение прокурора особое. У товарища Корнева так подмочена здесь сейчас репутация...

— Что ее надо теперь в другом районе сушить? — усмехнувшись, перебил ревизора Круглов.

— Не будем спорить, — сказал Погорельский. — В товарище Корневе я вижу теперь немало положительных черт. Но скажите, пожалуйста, почему вы возражаете против предложения областного прокурора перевести товарища Корнева в Троицк? Там он будет в коллективе, среди большого круга людей, воспитывать характер...

— Возражаю по той причине, что он нужен нам здесь, — сказал секретарь.

— Ну, если вы так настаиваете...

— Разрешите сказать? — раздался вдруг голос с дивана.

Диван стоял в отдалении. На нем сидели обычно приезжие, ожидая, когда начнут разбирать их вопрос. Тогда они переходили с дивана к столу. Теперь диван занимал один Иван Ника-

норович. Он считался еще прокурором и тоже вызван был на бюро. Его жена говорила в городе: «Если нам дадут хорошую пенсию, мы уйдем, не дадут — не уйдем». Но сам Иван Никанорович знал, что судьба его будет решена не собесом. Он хорошо понимал, что его не ждут на работе... Придя сейчас на бюро, он скромно сел на диван и внимательно следил за поворотами прений.

— Разрешите сказать? — повторил он и, не дожидаясь ответа, стал энергично доказывать, что Алешу не нужно снимать. — Это верно товарищ Круглов здесь сказал, что прошвыряемся. За что же снимать? За то, что о нем славу пустили? На него же клеветают — и ему же страдать?! Не Корнева надо наказывать, а того, кто распространяет... Ведь клевета — это тот же навоз: в него попадешь — не умрешь, но от вони потом не спасешься. Я сам думал, что товарищ Корнев виновен, сам полагал, что его придется снимать, ну а раз выяснено, что ничего за ним нет, так о чем же теперь толковать?! Даже странно слышать такой разговор! А насчет невыполнения правил, так я должен признать: это моя вина. Моя, а не Корнева. Недогадал за ним, упустил... Он быстрый и приткий. А мне надлежало проверить...

Алеше стало противно... Этот человек умышленно выступал сейчас вместе со всеми другими, будто имел на это такое же право. И выступал после того, как выступление уже не было нужно.

Все ощутили неловкость.

— Не вам бы все это говорить! — обернувшись, бросил в сторону дивана судья.

— Ладно... — заметил Круглов.

— Нет, нет, позвольте! — вскинулся Иван Никанорович. — Что это значит «не вам»? Если я ошибся при следствии, так вы смеете меня оскорблять?! А у вас не бывает ошибок? Вы что, Христос? Я, товарищ Круглов, заявляю вам, что товарищ Иванов травил меня за ошибку, говорил в присутствии беспартийных всякие гадости, довел, можно сказать, до инфаркта и теперь вот здесь позволяет себе...

— Ладно, — остановил прокурора Круглов, — у нас на повестке еще пятнадцать вопросов...

— Извините, Василий Михайлович, — сдержанно возразил Иванов, — но раз товарищ Свешников поднял этот вопрос, я считаю, что его нельзя заминать. Все, кто был на собрании, знают, что выводы следствия были не ошибкой, а...

— Товарищ судья, — выразительно перебил Иванова Круглов, — мы не будем заниматься здесь следствием о том, как проведено следствие.

Он посмотрел на часы.

— Сейчас председатели колхозов подъедут, нам нужно решать, чем вывозить навоз на поля, а вы тут... Тем более что

болезнь вообще не позволит, вероятно, товарищу Свешникову работать в прокуратуре.

— Нет, подождите, подождите о болезни, Василий Михайлович! — задрожал Иван Никанорович. — Тут правильно об этом собрании заговорили. Вы не знаете, какое там безобразие делалось. Вот жалко, Лобов еще не подъехал, а он главным зачинщиком был. Они устроили мне такой кошачий концерт, что я чуть не помер. Я удивляюсь, как товарищ Погорельский дал на это согласие. Я столько лет в партии, столько работал на разных постах, а со мной поступили...

— А вы считаете, что если делали когда-то хорошее, то должны себе этим право делать потом плохие дела? — перебил Иванов.

— Плохие? Какие это плохие? — вскинулся Иван Никанорович. — Что я, вашу квартиру ограбил? Деньги у кассирши украл? За что вы меня травите?! — выкрикнул он.

— Нет, квартиру вы не ограбили, — побледнев, отвечал Иванов. — Квартиру вам можно доверить. И магазин. А идею... нельзя. — И судья вдруг вскипел: — Прокурор каждым поступком, каждым словом своим должен утверждать нашу идею, а вы над ней измыиваетесь!

— Ах, я еще и безыдейный?! — вскричал Иван Никанорович, глубоко задышал и заговорил не то с искренней, не то с деланной болью: — Работал, работал я, всем был хорош, а теперь вдруг стал безыдейный... За что только вот областной прокурор объявил мне благодарность в прошлом году? За безыдейность, наверное... И кто первым в районном активе указания райкома всегда выполнял? Безыдейный... А кто на прошлой неделе в Суходеевку ездил? Мы этого гада Федосеева арестовали, обсудил выпустил и велел доследовать, товарищ Погорельский опять сейчас посадил — так кто первым в райком пришел и сказал, что надо это на селе объяснить? Безыдейный с бюллетенем в кармане. Не посмотрел на здоровье, поднялся и поехал за шестьдесят километров... Нет, не я над идеей, а надо мной кое-кто издевается. Если мое поведение в вопросе о Корневе и оказалось неправильным...

— Ваше поведение? — резко перебил опять Иванов. — Вот оно, ваше поведение! — повел он из стороны в сторону левой рукой, давая понять, как маневрирует райпрокурор.

— Это, знаете, каждый из нас может о другом говорить, — сдерживаясь, ответил Иван Никанорович. — Вы конкретные факты скажите, а не руками показывайте. Это не обвинение, что я не по каждому делу киплю. Я не внучонок ваш, чтобы делать все с бухты-баракты. Я человек старый, больной, рассудительный...

— Старый? — подхватил Иванов. — Вы в пятьдесят три года себя стариком почитаете? Эх, — нервно вздохнул он, — мне бы ваш возраст! Вот где вы стары! — постукал он себя по гру-

ди.— И разговоры о здоровье тоже оставьте. Ваше поведение в истории с Корневым нуждается не в диагнозе, а в проверке и выводах!

— Ну, хватит! — решительно объявил Круглов.— Я уже сказал вам, товарищ судья, что мы тут этим заниматься не будем... А выводы, можно считать, уже сделаны. Мы ведь с товарищем Свешниковым имели между собой разговор. Не знаю, чего он тут добивается. Прокурорская работа такая, что приходится все время нарушать чей-то покой, а товарищу Свешникову самому нужен покой. Нам надо согласиться с областным прокурором и просить его ускорить присылку работника. А товарищу Свешникову подобрать что-нибудь...

Это деликатное заключение Круглова расходилось с неофициальной оценкой, которую он дал прокурору. Со слов Лобова Алексей знал, что сказал секретарь, когда услышал о скандальном собрании. «Да, Свешникова мы проглядели,— говорил он тогда.— Я чувствовал, что он человек нерешительный, но такого не думал. Он ведь все больше не ко мне, а ко второму секретарю обращался, вот я и не видел... Мы в райкоме о принципах и о линии всегда рассуждаем, а осуществляют их иногда вот такие... Эти «осторожные», «благоразумные» хуже всего. Докатываются до всякого свинства... И путного дела с ними не сделаешь. А вот не напустили мы еще такого мороза, чтобы вымерз этот сорняк. Надо, видать, по травинке выпалывать...»

Помощник прокурора вышел из райкома вместе с судьей. Алексей был оживлен, а Иванов опечален.

— Жалею, очень жалею, Алексей Николаевич, что погорячился,— говорил он Алеше.— Не нужен был мне этот спор. Вот накопил я обилье годов, а разума не накопил. Ну зачем я ломился в открытые двери? Ведь то, что Свешников дрянь, Круглов понимает без споров. А я донкихотствую и хочу каких-то точек над «и».

— Да, пожалуй, эти точки действительно сейчас не нужны,— мягко заметил Алеша,— Иван Никанорович и так уходит с работы.

— Да, конечно! — вяло подтвердил Иванов.— Круглов прав, что прекратил разговор. Вопрос о навозе много важнее.

Они дошли до перекрестка, Иванов был у дома. Но он не спешил попрощаться.

— Две минуты, Алексей Николаевич. Еще две минутки,— задержал он Алексея и посмотрел на освещенное окно своей комнаты.— Жена не легла. Всегда дожидается... Да... Я хотел вам сказать... Не Свешников меня волнует, Алексей Николаевич. Курейко правильно говорит: «Ну его к бису!» Не в нем дело, не в нем. Вы, вы не нравитесь мне, Алексей Николаевич! Смолчали сейчас эту защиту... Изменились вообще. Разве вы таким приехали к нам?! Я, помню, каламбурил, когда рассказывал о вас домочадцам. «В этом Корневе,— говорил я,— креп-

кие корни...» А теперь? Вы как-то сломались, пригнулись, Алексей Николаевич. Да, да, простите, я уж по-стариковски говорю напрямик... Вы как-то стерпелись, сжились. Сначала дотерпели до подлости, потом перетерпели и подлость. Приехал львенком, а постепенно разучились рычать... С вами происходит печальное,— злость ко злу понемножку теряете. Погорельский правильно говорил о характере. Ему только не дано понимать, что вам нужно не только воспитание сдержанности, а и прежней счастливой несдержанности... Уходит, уходит от вас характер, Алексей Николаевич! Или грозитя уйти... Вот почему я и горячился, Алексей Николаевич. Мне наплевать на подобного Свешникова. Я не жажду для него наказаний. Но когда подлость ходит между нами, заседает вместе с нами, обсуждает вместе с нами, а ее называть не дают, то я боюсь, Алексей Николаевич, чтобы вы не перестали ее отличать. Не станьте благодушным к ней, Алексей Николаевич!

Алексей ничего не ответил. В поведении Круглова была своя правда. Но и в словах Иванова была тоже правда. Не он, Алексей, мог ее отрицать. И не ему было решать у дверей полуразрешенную проблему Ивана Никаноровича.

— Эх,— улыбаясь, сказал он, чтобы уйти от решения,— много вы, Василий Викентьевич, написали проектов, много упряднили и ввели разных налогов, а вот не придумали налога на подлость!

— Как придумаешь! — не принимая шуток, всерьез отвечал Иванов.— Ведь она увильнет. Потребуется льготы по старости, по болезни, по много- или малосемейности. Прикинется скудоумной, неплатежеспособной... Нет, тут не налоги надо, Алексей Николаевич. Тут вам надо себе за правило взять, чтобы такие люди никогда и ни в чем не могли останавливать вас...

— Остаемся! — сказал Алексей. А Шура, обхватив его шею, закружилась с ним вместе по комнате.

Потом потребовала, чтобы он все рассказал ей подробно. Алеша сообщил, что снят Иван Никанорович.

— Ох, Алешик! Какой ты у меня сильный и умный! — восхитилась Шура этой победой, будучи совершенно уверена, что это победа ее принципиального, энергичного мужа.

Алеша, смутившись, сказал, что он тут ни при чем, что падение такого человека закономерно.

— Ах, Алешик, ну, что ты мне говоришь из диамата! — впервые возразила она.— Такие хитрые могут целые пятилетки держать, и ничего бы не было закономерно, если б не ты.

Алеша ничего не ответил жене. Он подумал, что все бы действительно могло быть закономерным, будь он таким, каким его себе представляла жена... Потом он рассказал ей, что говорил Погорельский.

— Надо же выдумать! — возмутилась Шура его выступлением. — Куда-то за характером ехать!

Она прижалась к мужу и пообещала:

— Я тебе здесь его исправлю, Алешик...

Алеша наклонил к ее лицу свои губы. О том неприятном, что говорил ему Иванов, уже не пришлось рассказать...

Через несколько дней Алексей Николаевич Корнев остался в прокуратуре один. Что скрывать — он чуть-чуть волновался.

Когда начальник поступает неправильно, помощник знает, как надо бы действовать правильно. Когда же помощнику предстоит самому стать начальником, то в него на какой-то момент ползает сомнение. Хоть стремления у нового начальника самые лучшие, хоть он дал себе зарок поступать только правильно, а под ложечкой все-таки немного сосет.

Но радостное возбуждение сильнее этого робкого чувства. Дело не в сознании власти, а в открывшемся круге возможностей. Кажется, что теперь сделаешь особенно много.

Помощник вправе сесть сейчас в большой кабинет, поручать секретарше телефонные вызовы, требовать к себе для объяснений разных высоких людей, уходить, когда вздумает, никому не докладывать, вообще действовать по своему усмотрению. И это льстит самолюбию. Но помощник может остаться и в маленьком своем кабинетике, сам препираться с телефонным узлом, обращаться к секретарше лишь с обычными просьбами и вообще скрыть приподнятость чувств.

Вполне вероятно, что в таком проявлении скромности будет немного кокетства собственной скромностью. Этого в себе не разберешь. Но это и не так уже важно. Важно то, что в привычном своем кабинетике сидишь с непривычными чувствами.

Заходит Яблонский. В руках у него несколько дел.

— Рад приветствовать вас, Алексей Николаевич! — улыбаясь, здоровается он с вридом прокурора. — Как прикажете, выражать или не выражать вам сочувствие?

— В чем же? — весело спрашивает его Алексей.

— Ну, знаете, все-таки... Ведь вам предстоит эти дни накладывать резолюции. «А резолюции, — как говорил один знакомый нам с вами покойник, — это не стопочка. Ту, говорил, опрокинешь — сердцу приятно, а эту наложишь — и на сердце скребет».

Оба смеются.

— Ну, а как вы на мою беспардонность посмотрите? — указал следователь на принесенные папки. — Расположены ли заслушать доклад подчиненного? Или подождем до приезда нашего нового с вами начальника?

— Зачем же нам ждать? Авось разберемся.

— Но есть, Алексей Николаевич, два весьма щекотливых,— предупреждает Яблонский.

— Это у меня жена очень боится щекотки, а я к ней терпелив,— улыбается в ответ Алексей.

— Ну, в таком случае, помолясь и перекрестясь, как говорил Иван Никанорович...

— Вы, я вижу, никак не можете забыть его выражений.

— Ну, понятно. Ведь проработал с ним больше трех лет. Не могло не втемяшиться.

— И это тоже его выражение,— сказал Алексей.

Они опять засмеялись.

Яблонский придвинул папки, начал докладывать. Докладывал долго, обстоятельно, четко. Алексей слушал, смотрел протоколы, сверял документы. Потом размашисто писал: «Утверждаю».

— А может быть, все-таки,— предложил ему следовательно,— по делу Егорова вы... согласуете? Не вредно, пожалуй, Алексей Николаевич. А то как бы я вас не подвел...

Алексей посмотрел на него, не ответив. Твердо уверенный в правоте своих выводов, Яблонский не был уверен, можно ли дать этим выводам ход, не обеспечив себя сторонней заручкой. Да, действительно, школа Ивана Никаноровича оставляет следы. Тот вирус, оставшийся в комнатах...

— Мы согласовали с собой,— безыскусственно отвечал Алексей.

И понял вдруг то непривычное чувство, с которым сегодня сидел в привычном своем кабинетике. Это не было чувство власти, престижа. Это было чувство ответственности. Неразделенной и полной.

А в конце рабочего дня неожиданно пришел человек, которого недобро и часто вспоминали еще в разговорах,— сам Иван Никанорович.

— К тебе можно, Алеша? — приоткрыл он неуверенно дверь.

Алеша встал ему навстречу.

По краске на лице Ивана Никаноровича, по неловкости, с которой он уселся на стуле, было видно, как больно и тяжело ему было зайти в это здание, проходить канцелярию.

— Один покамест орудуешь тут? — начал он разговор. — Без начальника? Добре, добре! Доверили, значит. Показал себя начальству лицом. Молодец, Алексей! А помнишь, как плакал? Я ж говорил тебе: не все так горячо естся, как варится... Ну рад, рад за тебя! Действуй, Алеша, разворачивай молодые силенки! Тебе, так сказать, вся дорога... А воды тут, Алеша, нет у тебя?

— Графин в том кабинете,— поднялся Алексей.— Я вам сейчас принесу.

— Нет, нет, не ходи! — торопливо задержал его Иван Никанорович.— Дверь откроешь — Людка влетит. Она уж и то за мной норовила. Любопытно ей, как выглядит теперь Иван Никанорович: не отошал ли в снятом своем положении, нет ли чего о нем растрещать? Дрянь девка, дерьмо! Не нашлось дурака, который бы ее подобрал,— вот и стала ехидной. Одни зубы что стоят! Кашалот, а не девка! Ты знаешь, между прочим, что она в этот квартал лесной билет для Савраски приобрести позабыла? Без сена оставила. Если бы конюх ей не напомнил, она бы и на овес разнарядку не получила. Ты в курсе?

— Нет, не знал, Иван Никанорович.

— Вот! Ты не знал, а Погорельский подавно. Ему что! Абы наклепать да и смыться. Такому и до людей нету дела, а уж об лошадях и говорить не приходится... Нахозяевали вы тут!

И заговорил о том, что лошадь в загоне. Оказалось, что именно о ней он и пришел хлопотать.

— Я ведь, Алеша, приступаю к новому делу. Не слышал? Предложил мне Круглов заведовать Домом колхозника... Обидно, конечно, на такое идти, но... видно, уж отжил я свою жизнь. Был бы немного моложе, поехал бы к прокурору республики, попробовал бы еще потягаться. В другой бы район... А нынче мне с этакой стаей волков войны не вести. Годы не те, здоровье не то. И без работы нельзя. Капиталов не нажил, прожить ничего не имею. Думали-думали мы со старухой и решили принять... Вот как, Алеша.

Алеша молчал.

И тогда Иван Никанорович тихо добавил:

— Знаю, что нечего тебе по этому вопросу сказать, и правильно делаешь, что не говоришь.

Наступила тяжелая пауза. Сказать что-то надо было, а на ум Алексею ничего не пришло. Потом слова подвернулись, но они были не теми:

— Всякая работа все же работа и...

— Ну конечно,— перебил, усмехнувшись, Иван Никанорович,— и заведовать делами — работа, и заведовать простынями — работа... Ладно, Алексей, я к тебе не со слезою пришел. Кто плачет, тот сам себе глаза утирай, за чужим носовым платком не ходи... Я о Савраске пришел. Ты ведь к нему, я знаю, без интереса. Так ведь, по-моему?

— Так,— подтвердил Алексей.

— Ну вот. А мне дрова завозить, уголь и прочее. Все ж таки одиннадцать коек... И вот, пока у тебя начальника нет...

— Пожалуйста, Иван Никанорович,— обрадовался Алеша легкой возможности ускорить конец неловкого для обоих ви-

зита,—забирайте! Пусть конюх его к вам ответит. Хоть сейчас.

— И овса, Алексей, на все эти дни...

— И овса на все эти дни. Какой может быть разговор! Сколько надо овса, столько пусть и берет.

— Ну, спасибо, Алексей, спасибо тебе! — поднялся Иван Никанорович.— Так я, значит, прямо сейчас и возьму его?

— Берите, конечно.

Алексей открыл Ивану Никаноровичу дверь, вместе с ним миновал канцелярию, вышел во двор. Он знал, что их провожали посторонние взгляды, и эта легкая почтительность была Ивану Никаноровичу очень нужна. Иван Никанорович тоже понял этот добрый жест Алексея и оценил его.

— Неплохой все ж таки ты, Алексей, неплохой! — сказал он растроганно.— Ну иди, иди в помещение, а то еще простудишься тут. До лета-то ведь, брат, далеко... А с Савраской мы сами управимся...

Было что-то грустное и символическое в том, как запрягал Иван Никанорович лошадь, как выезжал на ней со двора. Стоя у окна, Алексей наблюдал за ним. Наблюдал за заведующим Домом колхозника...

В этой мысли было что-то очень обидное. За бывшего прокурора, за себя, вообще... Лучше бы человек ушел на покой, ничего больше не делал.

Но ему действительно не на что было жить без работы. Другие люди этого типа, которые тоже хотят невидимо и неслышно ступать по земле, не оставляя следов, заботятся зато о следах для себя — копят деньги и вещи, стараются заранее выхитрить дом, создают запасы одежды на три поколения. А Иван Никанорович никогда не был стяжателем. На стенах у него висят украшения из бумажных цветов. Безвкусные, жалкие... Он не стремился к карьере, деньгам, сундукам. Его корысть была в совершенно другом. Он хотел жить без тревог.

Одиннадцать коек... Это то, к чему он пришел, бывший трибуналец, судья, прокурор. Много позади, и ничего впереди. Было большое, хорошее прошлое — лишил себя прошлого.

Заведующий Домом колхозника... Неужели Круглов не мог подыскать ему что-нибудь получше! Ну, хотя бы... Или взять, например...

Алеша стал мысленно перебирать возможные должности, задерживался на них секунду-другую. Они отпадали. Можно было найти работу по нем, но он-то не придется по ней. Везде выказал бы себя с особой своей стороны. Везде старался бы не шагать, а стелиться. Везде был бы ко всему беспорывен. Везде был бы поглощен только собой. Везде его мысль копошилась бы вокруг всяческих призраков. Везде отпускал бы людям

правду по граммам. Везде его фокусничества хватило бы ему на месяц-два, а уважение подчиненных он опять потерял бы навсегда. И везде бы опять мог докатиться до позора «девятнадцати пунктов»...

Вот он и конюх вставляют оглобли. На улице протарахтела машина, лошадь вздрогнула, подняла уши. До сих пор боится машин... Иван Никанорович крикнул конюху, чтобы вынес надглазники. Стал прикреплять их. И тут сказала какая-то общность, тоже обидная для человека: он ведь и сам ходит в шорах! Сам тоже не верит внешнему миру. Для лошади на улицах слишком много машин, для него на свете слишком много людей. Лошадь боится изменчивости за пределами стойла, и старый хозяин ее тоже опасался каких-нибудь перемен.

Вот конюх наложил сена в телегу. Иван Никанорович придавливает сено рухой, тыкает, проверяет, мягко ли будет сидеть. Решает, что надо принести еще две охапки. Раскладывает их, уминает, садится. Ерзает, пробует, не мало ли сена, не свалется ли оно по дороге. Слезает и сердито велит подложить еще с краю. Как это для него характерно! Вот так же он обдумывал каждый поступок по службе. Тыкал, примеривал, отходил, подходил, чтобы вызнать, будет поступок гибелен или удачен. Мало заботился, хорош или дурен будет этот поступок. Важно, чтобы после поступка по-прежнему мягко было сидеть. На пробы, примерки, приглядки уходили все силы, весь ум.

Вот он выехал наконец за ворота. Но дорога перед ним не длинна. До Дома колхозника... Потому что он слишком законченный, слишком исчерпанный. Чересчур уж сложился, чересчур уж привык к себе...

Нет, Круглов, кажется, правильно сделал. Дом колхозника, да... Койки, простыни, стулья. Вся инвентарная книга — на половине страницы. Ничего не надо бояться, ни до чего не докапываться. Там хорошая голландская печь. Можно сидеть и смотреть на огонь. Можно подбрасывать в печку дрова. Можно закрыть вьюшку, стоять и греть спину. Все равно ведь он жил как неживой. Только и думал о том, как удлинить свою жизнь, а жил как неживой, между опостылевшими делами и карами... Анна Сергеевна на двадцать лет старше, а живет полней и моложе. В ней не угасает потребность быть с людьми, что-то делать для них, а у этого при разговоре с людьми выступают на лбу капельки пота... Теперь люди мало-помалу от него отойдут. Сомкнется круг одиночества. Жизнь будет пустой. Ни допросов, ни посетителей, ни бумаг, ни бюро. Из потока дел — в тишь и в ничто. К печке, к курам, к бессмыслице... Но ему и не нужен, очевидно, смысл жизни, раз он сам не хотел наполнять ее смыслом. Он все ждал покоя. Теперь есть покой, но нечего ждать... Не-че-го ждать! Это же страшно! Почему этому человеку не страшно?!

— Алексей Николаевич,— прервала секретарша размышления врид прокурора,— телеграмма из областной.

Она подала ему кусочек серой, шершавой бумаги.

«напоминаем приближении срока квартальных отчетов обращаем внимание на недопустимость задержек обязательно включите отчет ход исполнения нашего циркуляра шесть восемь одиннадцать двадцать три восемнадцать пять также письма прокурора республики двадцать четыре стрелецкий».

Алексей усмехнулся. Телеграмма разслана была по трафарету. Сердечская прокуратура никогда не нарушала сроков отчетности. Об этом заботился бывший райпрокурор. А вот содержание сердечских отчетов...

И вдруг он вспомнил что-то приятное, радостное.

Ведь он теперь сам над собою хозяин! И в переносном, и в прямом смысле слова.

— Спасибо. Идите,— говорит он секретарше.

Волнуясь, открывает левый ящик стола. Здесь лежат черновики, проекты, архивы. Здесь то, что перечеркивалось, маралось, кромсалось. О шелках, в которых щеголяют девицы на людях, и овчинах, подстилаемых ими себе на полати. О местах, где электричеством доят коров, и местах, где нет стекол для керосиновых ламп. О плотниках, о лошадях, о саях, о навозе, колдуях, бидонах. О десятках нужных, больных, человеческих, кричащих проблем...

Четыре квартала. Четыре отчета. Ряды перечеркнутых, смятых страниц. Красный карандаш гулял по ним Чингисханом. Он крушил все проблемы и темы, затапывал их, приминал. Человек без веры в людей и себя, человек без правды, без цвета, сидел своим крепким задом на всех темах жизни, мешая решать их, мешая ходу вперед.

В этих отчетах было все виденное, слышанное и передуманное за пятнадцать поездок в колхозы, все вынесенное из сотен бесед с приходившими сюда посетителями. И все было искромсано. Это кромсался, сжимался сам Алексей. В первом отчете было семнадцать «вольных» страниц, во втором он написал их уже только девять, в третьем попробовал дать самое важное хоть на пяти, в последнем, зная, что их все равно найдут «совсем ни к чему», набросал только две, точно так же погибшие. И Корнев постепенно смирялся. Корнев переставал быть собой... Дергай у человека по волоску — и он в конце концов облысеет. Души в нем мысли — и они в конце концов будут убиты. Когда все время только и слышишь: «Не рыпайся», «Не суйся», «Не лезь на рожон» — лезть перестанешь и без рожна. Никто не тверд настолько, чтобы быть только твердым.

Нет! — чуть не привскочил Алексей. Он хочет рыпаться! Это был не последний отчет! Это был только последний отчет за подписью прокурора И. Свешникова. А в жизни прокурора А. Корнева скоро будет первый отчет! Не связанный путами,

сжимавшими руки и ум составителя. Не стесненный соображениями личной политики и полный плодотворной партийной политики...

Товарищи люди! Вы знали до сих пор Алексея Корнева смышленным парнем, которого радовал труд. Но всего, что есть в Корневе, всего, что может он дать, вы еще вовсе не знаете. Он и сам этого еще толком не знает. Но в эту минуту он знает себе настоящую цену. В нем сейчас какие-то очень волнующие, может быть, частью тщеславные, но, честное слово, очень важные и нужные чувства, которые всегда будут памятными. Сейчас драгоценный в его жизни момент. Он сейчас ощутил, как у него распрямляются плечи. Ушел из прокуратуры Иван Никанорович! А Алексей Николаевич ничего еще из сил своих не израсходовал! Для него наступает время чудес.

Задребезжал телефон.

— Алешик, ну где же ты до сих пор? — слышит он в трубке родной голосок.

— Я? — не сразу соображает Алеша. — Я у себя.

Секундная пауза. Потом Шура говорит очень обиженно:

— Ты не у себя, а в себе. Я же слышу, что ты сейчас что-то думаешь. И совсем не думаешь, что у тебя есть жена. А я... я в школу специально возвратилась, чтобы звонить тебе.

Тепло заливает душу Алеши.

— Ты ведь знаешь, родная, что я теперь за начальника, все сам делаю, и потому задержался. Иди домой, моя славная, я скоро буду.

— А может быть, мне за тобою зайти?

— Зачем же, родная? Ведь это другой конец города. Иди прямо домой, я уже складываюсь.

Но Шура не хочет так скоро кончать разговор. Она же специально возвратилась звонить.

— Вот видишь, — продолжает она обижаться, — когда ты начальник, так я тебе совсем не нужна! Мне не надо, чтобы ты был начальник. Я не хочу, чтобы ты был начальник.

Алеша тихо смеется.

— Не буду, родная. Честное слово! Ты ведь знаешь, что это дней на десять, не больше.

Сказал, а в душе ощущение, будто сказал ей не то. Он навсегда теперь будет начальником. Над собою, над всеми вопросами, надо всем белым светом.

Он выходит из кабинета. Что-то в лице его заставляет Людмилу Ивановну удивиться, задержать на Алексее глаза. В глазах этих сейчас безыскусственность. Они бесхитростны, просты. Алексей заходит за барьерчик и прощается с Людмилой Ивановной. Не кивает, а прощается за руку. Этого не бывало уже много месяцев. Людмила Ивановна краснеет, радостно теряется от неожиданности. Как мало ей, вероятно, нужно от жизни! Будь у этой женщины немножечко счастья, чуть-чуть

человеческого счастья,—и она бы, наверное, стала иной. Но этого малого, которое было бы для Людмилы Ивановны многим, нет у нее. Оно есть в Алексее. Оно заполняет его... Идет по темнеющей улице маленького, полудеревенского городка очень маленький в мире начальник, а чувства силы и буйной свободы в нем столько, будто предстоит ему править землей. Он идет по асфальту, булыжнику, потом по чавкающей, вздымающейся глине, а шаг его одинаково ровен. Ноги человека идут, а сам человек одинаково ровен. Ноги человека идут, а сам человек летит и парит. Он сейчас в том часе жизни, который определяет года. Это час, когда человек открывает себя, когда он возвращается к себе самому, когда взору его открываются дали.

Бога ради, товарищи люди, не заслоняйте ему эти дали!

1951 и 1957



ОБОРОТЕНЬ

Есть много разных способов казней. Но я не слышал о том виде расправы, с которым столкнулся в 1930 году в Сохатовке. Здесь клали вора на спину оленя, крепко привязывали и отпускали зверя в тайгу. Избавляясь от докучливой ноши, олень катался с ней по земле, бил ее о суки, рвал о деревья...

— Кто вязал? — спрашивал я мужиков.

— Все вязали, — отвечали они.

— Кто придумал?

Они молчали, не зная ответа.

— Разве такое придумаешь, — нашелся наконец человек, который решил объяснить мне нелепость вопроса. — Это закон у нас. Мы по закону...

Положение мое было нелегким. Приехав в эту оторванную от мира деревню расследовать дело о самосудах, я должен был вместо изучения фактов заняться изучением нравов. А нравы оказались такими диковинными, что самосудом здесь посчитали бы привлечение к ответу за самосуд.

Вязали действительно многие. Но мне довелось приглядеться к одному из убийц — самому виноватому и самому несчастному в этой необыкновенной деревне. И встреча стала для нас роковой...

ДУХОВНЫЙ ПАСТЫРЬ

Моим наставником здесь был председатель сельсовета Миша Онуфриев. Меня сразу привлекли в нем смысленные живые глаза и веселое молодое лицо.

Наш первый разговор был такой.

— Даже и не знаю, куда вас на квартиру поставить, — почесал он затылок, — в каждом доме есть девки...

— Что же из этого? — не понял я такого препятствия.

— Ну, всяко бывает... Лишнее скажете, лишний раз взглянете, в сених ущипнете... А за это завяжут в крапиву. Не посмотрят на то, что начальник.

Я хлопал глазами.

Он объяснил мне, что, по местным обычаям, парня, который лезет к девчонке без намерений венчаться, сажают нагишом в набитый крапивой мешок и оставляют так на целые сутки.

— Оберегаются от пришлых любителей. Тут ведь всякие забредали, бывало... Приискатели, старатели, беглые... Из властей никто никогда не бывал, а каторжники пробираться умели... Ну и уставили деды обычай... До сих пор держится.

— Какая дикость! — сказал я.

— Ужас! — подтвердил председатель. — Я когда приехал сюда в двадцать седьмом, думал — не выживу.

— Жуткая боль? — спросил я деловито.

— Не говорите! Перенести невозможно. Помешаться легко.

— Ну и что с вами было потом?

— Потом не раздумывал... Сразу женился.

— На местной?

— А я тоже ведь местный. Но меня отсюда один заезжий большевик увез. Я у него в Качуге жил. Там в школе учился. А потом вот вернуться пришлось.

— Почему же пришлось?

— История вышла... Я хотел в университет подаваться, об Иркутске мечтал, а меня из последнего класса турнули. С волчьим билетом...

— Это за что же?

— За дурь, — чистосердечно признался он. — Я, понимаете, директора со второго этажа обмочил.

— Д-да, — не нашелся я ничего больше сказать. — И за что же вы его так? Что он вам сделал?

— Ничего он не сделал. Просто с ребятами спорили... Хватит духу или не хватит.

— Значит, хватило?

— Угу, — грустно подтвердил он свой печальный успех.

— И возвратились к отцу?

— Нет, отец у меня в гражданской погиб. Каппель убил его. Это у Колчака генерал был такой. Когда Колчака раскрошили, он с отрядом подался в леса. А отец пошел драться против него. Отец здесь единственный красный был. Другие наши деревенские не воевали, потому что им нельзя убивать... Большевик меня потому и забрал к себе, что отец считался погибшим за новую власть. И председателем меня назначили тоже из-за отца. Впрочем, здесь только председатель и числится, а Совета у нас не имеется... Налогов не платим, хлеб не выво-

зим... И ничего с нами поделаться не могут, потому что к нам трудно добраться.

— Значит, обязанностей у вас нет никаких?

— Почти, можно сказать, никаких. Пробовал объяснять про советскую власть, но людям это неинтересно... Им все равно, чья власть, раз не божья... И Киренск с меня тоже никакого дела не требует. Я послал раз при случае сведения о смертях и рождениях, но их, наверное, выбросили. Ведь мы там ни в каких бумагах не числимся, и им про нас не обязательно знать...

— Значит, и жалованья вы не получаете?

— Конечно, не получаю.

— А на что вы живете? Свое хозяйство у вас?

— Какое там хозяйство,— пренебрежительно мотнул он головой.— Всей живности — поросенок и трое ребят.

— Как?

Он засмеялся.

— Да вот так... Тоска тут. Только и остается, что делать детей. Не гадал и не думал, что в двадцать два года у меня их будет три штуки.

— Трудно, наверное, без хозяйства кормиться?

— Вообще-то конечно. Но с хозяйством надо возиться, а я не люблю. Я в школе в комитете учащих был, драматическим кружком заправлял... Пьески мы ставили, плакаты писали. Вот это мне нравилось.

— Почему же вы тут ничем не займетесь?

— Тут? — Он презрительно хмыкнул.— Тут ищите-переворачивайте — нигде печатного ничего не найдете. Какие там пьески! Только и есть что евангелие с требником. При царе Горохе печатанные. Труха, а не книга. Прямо под пальцами вся рассыпается. И смешно, и злость забирает. Но пришлось ее по должности вызубрить.

— Что значит по должности?

— А я ведь по совместительству попом тут работаю.

— Что-о? — изумился я.

— Ну да,— засмеялся он.— Честное слово. Заставили мужики и знать ничего не хотят. «Ты, сказали, ученый, ну и служи». Наговорили мне старики разные молитвы по памяти, я записал и орудую... Не видели тут в лесу часовенку маленькую? Я ей заведующий...

— И как же это у вас получается? — не мог я вообразить себе этого парня попом.

— Получается ничего. Когда настроение есть, так здорово даже. Такое накручиваю, что сам удивляюсь. Но малоинтересно, конечно,— поскущел он на минутку, чтобы тут же опять оживиться.— Вот в Качуге мы «Трагика поневоле» играли, вот там я показывал!

— И вы прямо так выступаете, в таком виде? — спросил я его о красноармейской шапке и ватнике, доставшихся ему, вероятно, после отца.

— Нет, зачем. Мне бабы обмундирование сделали. Правда, черного материала тут не нашлось, но они намяли лукошко черники, выкрасили несколько юбок и сшили мне рясу. Когда надо, скажем, крестить, я ее надеваю, беру корыто с водой — и пожалуйста. За мальчика мне дают поросю, за девочку — курицу. А кроме того, угощение.

— А за службы что получаете?

— Орехов, муки, иногда белку на шапку.

— Ну, а еще что вам приходится делать в роли попа?

— Да всякое делаю. Не хуже знахарки. И язвы лечу, и мужнину любовь сохраняю... В общем, что с меня требуют, то я и делаю. Принесет, например, баба гривенник, я благословлю его ей, она в ботинок положит и носит под пяткой, чтобы мужа тянуло не из дома, а в дом. Вот вам и сбережение любви.

— И помогает?

— А как же! Эдешние женщины и сами с женатым не свяжутся, а чужие есть только в Жигалове, в Киренске. И туда и сюда — двести верст без тропинок. Кто же побредет за грехом! Вот и помощь моя!

Он скалил мальчишечьи белые зубы, и я тоже не удержался от смеха.

— Значит, от греха предохранять вы умеете, — вынужден был я согласиться. — И язвы, говорите, тоже можете молитвой лечить.

— Я-то могу, да язвы, стервы, не слушаются.

Он опять рассмеялся.

Хотя я понимал, что этого парня следовало бы продолжать драть крапивой, он становился мне все симпатичнее.

— Ну хорошо, — перешел я на деловой разговор, — у вас, я вижу, хватает духу на очень сомнительные дела и поступки. Наберитесь же духу сказать, кто затеял с оленем...

— Скажу вам по-честному, — ответил он, посерьезнев и смотря мне прямо в глаза, — никто не затеял. Мужики вам правду сказали. Это закон здесь. Если человек от закона отступится, его надо в лес... Самим грех убивать, а за зверя не отвечают... Но вы не думайте, что это от злости. Нет, тут все смирные, но только строгие очень. Соблюдают, чтобы греха ни в чем не было.

— Но ведь кто-то был первым, — настаивал я, — обязательно был! Ну, кто раньше других закричал: «На оленя!» Кто схватил, стал руки заламывать, а?

Мой собеседник на минуту задумался.

— Старики были первыми, — сказал он уверенно. — А держали Егор, Катанок, Меченый... Меченый и руки ломал... Он против греха особенно строгий. Всегда очень старается. Ему

ведь надо судьбу обмануть... Нашел! — оживился вдруг Миша. — Я вас к Меченому и отведу на квартиру. У него жена с животом. Вот-вот разродится. И изба-пятистенка. Хоть спи, хоть гулай. Шаньги на масле будете лопать, пельмени. И рябчиков тоже нажаривают. Он добывательный — Меченый. У него не сгорюете.

— Мне все равно, где жить. А это что, фамилия или кличка такая?

— Не кличка и не фамилия. Это назвали по факту. Ну, вот есть тут у нас, например, хромой человек, его Хромым и зовут. И Меченый тоже есть меченый.

— Клейменный, что ли? Зарубки на нем?

— Нет, зачем, — засмеялся мой собеседник. — Он в другом роде меченый. Судьбою был меченный. Он без дня, понимаете?!

— Нет, не понимаю.

— Ну, у вас, у меня, у каждого человека день ангела есть. А его мать двадцать девятого февраля родила на Касьяна, и такой день только раз в четыре года бывает. И тогдашний поп сказал матери, что, раз он без дня, ему удачи в жизни не будет. И с ним вправду случалось плохое... Вот он и злой на судьбу. Все чего-то ждет нехорошего. Будто опять с ним особенное приключиться должно. Бойтся, хочет отхитриться от этого. Поэтому соблюдает все правила... Понятно теперь? А в общем, конечно, темень и глупость. Если бы здесь пьески разные ставить, то всю эту дурь можно бы раскрошить, как Калача. Но, конечно, на первое время артистам охрана нужна бы...

— Ну что же, — кисло сказал я, не будучи еще в состоянии освоиться со всем, что услышал, — к Меченому так к Меченому. Идемте. Раз вы духовный пастырь, так ведите меня...

Этот разговор с Мишей Онуфриевым был первым и последним веселым разговором в Сохатовке. Дальше уже ничего веселого не было.

ПОЛОДАЯ

Я делал вид, что пишу, но непрерывно наблюдал за хозяйкой. Ее можно было посчитать сумасшедшей — настолько все ее движения казались бессмысленными.

Она посадила в печь хлеба, а потом то и дело подходила к ведру с холодной водой и мочила в ней руки.

— Зачем это вы? — не выдержал я.

— Чтоб пропекся, — объяснила она.

— А это зачем? — снова спрашивал я, когда она отрезала от хлеба почерневшие корки и с отвращением долго жевала их.

— Чтоб уродился здоровенький...

Ольга относилась ко мне без любопытства, ни о чем не заговаривала, отвечала не глядя и односложно. Так она держалась со всеми, даже с собственной матерью, то и дело забегавшей к ней по разным хозяйственным надобностям. Зато я сразу оценил ту небрежность, с которой она оставляла на виду свою жизнь. Женщина ни в чем не стеснялась меня и не интересовалась впечатлением, какое откладывают во мне ее слова и поступки. Это позволяло мне открывать много диковинок.

Она готовилась вынуть хлебы из печки, но увидела в окно, что к ней идет мать, побежала в сени и заперла дверь. Мать застучалась. «Пожди»,— подошла Ольга к двери, но не сразу открыла, а вынула сначала лопатой хлебы. Я с недоумением проследил эту сценку и, конечно, не смог подавить любопытства.

— Чтоб калач не опал,— охотно объяснила мне вошедшая мать.— Когда курицу режем, хлеб вынимаем или из погребца пишу несем,—нельзя, чтобы люди входили,—растолковала она и весело, не в пример дочке, добавила:— Ты останься у нас — враз будешь ученый.

Мать принесла Ольге рассолу. Поставив его, она хотела тут же бежать. «Сядь»,— строго напомнила Ольга. Мать на минутку присела и сказала мне с грустным юмором:

— Видишь, какая у меня дочка опасливая. Боятся, как бы мать мира из дома у нее не забрала.

Мне жаль было Ольгу. Молодая, красивая, а никогда не расхмуривалась, не улыбалась. Чувствовалось, что она живет в страхе за роды, за ребенка, за неизвестное, против чего надо быть начеку.

Мать тайно от дочери рассказала мне историю ее странного брака.

Меченый женился на ней вдовцом, тридцати пяти лет. После смерти первой жены он семь лет ходил бобылем, потому что ни одна девка не решалась выходить за него. Тогда он обратился к миру, и мир повелел выйти за него первой же девушке, которую он поймает бросающей катанок в новогоднюю ночь. Он поймал Ольгу. Она запротивилась, уверяла, что катанок упал носком к избе, а не в сторону и, значит, ей не суждено выходить замуж в этом году. Меченый свистнул парней, и парни установили, что Ольга кривила,— катанок лежал к ее дому задком, а носком глядел в улицу.

Ольга упрямылась. А мир сказал: «Раз загадывала — на себя и пеняй». Мир настоял на справедливости.

Ольга обвенчалась, и ей стали завидовать. Меченый отделился от отца, получил лошадь, коров, срубил себе дом, взял в работники младшего брата, стал ездить в города за товаром, добираясь до Витима и Лены. Ольгу он заласкивал, холил, привозил ей подарки. И девки стали говорить, что Ольге вышла удача, что несчастье может не подступиться до Меченого еще

тридцать лет, а все хорошие годы она проживет в добре и прибытке. Но сам Меченый не верил в устойчивость дел, в крепость начавшейся жизни. Не доверял миру в доме, приплоду скота, сбору ореха, прочности своего очага. Он втайне думал, что судьба хитрит с ним, обманывает его мнимым покоем, завлекает в покой, а тем временем что-то готовит исподтишка... И чем больше у него было удач, тем подозрительней он становился к ним...

Посчастливилось ему купить Ольге в Киренске розовые рисованные валеночки, каких нигде не катали в лесах и, может быть, в самом Иркутске валяли,— молча дал их жене, а у самого в сердце тревога: не в этих ли валеночках любовь убежит, не на них ли его ловит судьба...

Выступал ему брат пол во всем доме, заровнял половицы, как стеклышки,— Меченому и любо и страшно глядеть: а не выскоблено ли из дома благословение, не ушло ли оно вместе со стружками... Сказала ему жена, что затяжелела, Меченый вздрогнул от радости, но тут же и застрашился...

У нее родинка на левой груди... Сама видит ее... Не к добру это, нет... Разродится ль она?.. Тогда крест на всей жизни... Первая жена от бога дается, вторую человек сам находит себе, третью к нему подсылают...

Нет, нет, такого не может быть... Молодая, здоровая, крепкая... Но... живой ли родится? Ведь он не молёный... Не урод ли получится? Не умрет ли, когда успеешь привязаться к нему, полюбить... Не перекинется ли на него от отца... Один ли он Меченый или мечено будет все племя... Аз есмь лоза...

Эта тайная опаска, этот вечный внутренний страх, которого нельзя было скрыть, делали жизнь в доме отравленной.

ХОЗЯИН

Я приглядывался, старался понять.

Но Меченый редко давал вовлечь себя в разговор и не пускал в свой внутренний мир. Ведь я был с той стороны, и мне наливали в особую миску, из которой хозяева никогда потом не будут хлебать... Какие уж тут могли быть со мной разговоры!..

Неприятнь хозяйина прорвалась в первый раз, когда я спросил его, почему он брату своему вторые сутки есть не дает.

— Он скотину ругал,— не отвел Меченый взгляда.— А она примечает. На язык непонослива, а перестанет доиться. Скотину нельзя ругать.

— А человека? — спросил я.

— Мы тихие, мы никого не ругаем. У нас этого в обычае нет.

Это было действительно так. В этой деревне не ссорились и не сквернословили. Даже в минуты волнений, в сердцах, голоса тут не повышали. А когда в начале нашего века один местный житель, желая разбогатеть, привез в Сохатовку водку, то старики приказали снять с него подбитые мехом штаны, пимы, малицу, теплую шапку и отпустить потом на все стороны. Он валялся у мира в ногах, но мир был неумолим. И с тех пор никто уже потом не решался привезти своим единоверцам зелье. Они остались такими же трезвыми, такими же спокойно-жестокими.

А Меченый добавил:

— Откуда мой брат узнал слова нехорошие? Брал я его однаж с собой за товаром, он и услышал от пристанских, пароходских людей. И сам стал потом пачкать свой рот. Я велел ему после каждого грязного слова язык солью тереть, горячей водою споласкивать... Отвык он тогда, а все-таки часом бывает... Вот потому-то и не любили наши родители чужеземных дружений. Кроме ситцу да сахару, доброго оттуда не привезешь.

Он сказал это негромко, но твердо. Очень уж твердо...

— Вы, видать, крепко ненавидите всех, кто живет не с вами в лесу, — сказал я.

— Неправда, — возразил он, насупившись, — мы ненавиства не знаем. Извеку захожих примали и на пристань за товарами ездили. А только не хотим мы чужого уставу. Не хотим ваших законов, чтобы не выходило греха. Мы на ваше не глядываем, а вы к нам не мешайтесь, — предупредил он внушительно.

И дал мне урок из истории:

— Был на свете царь Александр. И построили при нем две помещения, где жили самые большие попы. Касатории звались. Одна в Москве, во дворце, была, другая — в Иркутском. Царь посылал этих главных попов за побором. И вся Россия платила. И Сибирь тоже платила. Окромья нашей деревни. До нее ни один поп добраться не мог. Как поедет, так заплутается. Христос не допускал их до нас... Тогда иркутская касатория спросила царя, что с нами делать. Живут, мол, эти люди в неезжем лесу, не признают нас за христиан, не платят никакой ругу, не возят в наши церкви дрова и твои повинности, царь, тоже справлять не хотят — солдатскую, возную и всякие прочие. «Приказываю заставить их», — сказал царь Александр... А как тут заставить, если к нам ни ходу нет, ни подходу... И все, кто ехали исполнять царевый приказ, померзли в лесу... И попы, и солдаты, и лошади... А когда царь послал войско лес вырубать, пилы враз поломались, а топоры затупились... Увидел царь такое дело, почуял, с кем затеял войну... Испугался и приказал попам в покое оставить нас. Прибыл от него человек, дал моему деду чистую книгу, велел писать в нее, кто родится или помрет, и больше ничего не писать. А веру и имущество наше трогать боялся... Вот как, — заключил Меченый необычно длинную для

него речь и добавил: — А если новая власть не хочет, чтобы мы жили в воле, хочет быть к нам злее царя, так и с ней будет злее...

Они считали себя вольнолюбивыми, эти потомки людей, обособившихся из духа протеста, и не понимали, что давно стали во много раз более злыми тиранами, чем те, от которых бежали из России их предки. К древневерию какого-то особого толка прислоились за жизнь десяти поколений еще и нажитые нравы тайги, и заветы каких-то прибредавших людей, и ото всего этого образовалось в Сохатовке великое столпотворение мыслей, в котором младенческое мешалось с звериным.

Я не знаю, сколько было здесь в прошлом этих прибредавших людей и кто какую внес долю в смешение мыслей сохатовцев. Среди крестов на местном погосте я увидел, например, один католический. Время начисто смыло буквы и цифры, которые были на нем когда-то написаны. Никто из жителей не помнил поляка, заготовившего себе этот крест перед смертью, и слышали о нем только от дедов. Те говорили, что поляк был против царя, сослан в тундру, бежал оттуда, потерялся в тайге, набрел на лесную деревню и прожил в ней сколько-то лет. Поляк учил ничего не прощать... И был на погосте большепнейший холм, в головах которого стоял крест в полсосны, и лежал под ним ставший праведником старый варнак, порешивший в свое время много людей и учивший потом поляку наперекор: «Не убий!..»

Не они ли, подумалось мне, не другие ли беглецы, оседавшие в этом диком углу, принесли сюда неприязнь к внешнему миру, в который не смели вернуться? А может быть, эта ненависть коренилась столетиями, со времен прадедов, не желавших молиться по-никоновски или платить налоги за бороды?! Разве без ненависти могло бы возникнуть селение в такой чаще, где никто вокруг не селился?! Разве без ненависти могли бы сохатовцы выдержать эту жизнь без общения с другими людьми?!

Это не мешало Меченому привозить себе от разноверцев всякую всячину. Из затаежных мыслей и нравов к нему ничего почти не проникало, а из вещей — очень многое.

Я жил в свежем бревенчатом доме, полном избяного тепла и невытравимого смолистого запаха. Дом крыт был тесом, охорошен резьбой и окружен просторным двором, в котором находилась не только скотина, но и кладовая с товарами. В амбаре у Меченого можно было купить и гвозди, и свечи, и пилы, и затвердевшие медовые пряники. Цены он брал божецкие, определенные миром, и свою торговлю считал служением миру. Я и впрямь не заметил у него особенной жадности, а уж скопидомства в нем не было вовсе. Весь свой прибудок, как называл он доход (в его речи было много старинных и странных, а порой и неслыханных слов), Меченый тратил на вещи, которые долж-

ны были стать любви жене. Он заразил ее страхами своей суеверной души и хотел разбавить их радостями, которые излучало бы зеркало в золоченом багете, медвежьей шкуры у кровати с блестящими шишками, швейная машина и самовар. Не жалел он жене также бумазеи, канауса, чесучи, платков и другой махнатуры (так называли здесь мануфактуру), которой полон был окованный металлической лентой, но никогда не запиравшийся — замков здесь не знали — сундук. И еще висела здесь очень старинная — во всяком случае, купленная им за старинную — богоматерь, обвитая ярко-зеленой пихтой — цветом надежды... Все это Меченый приволок в разное время из Киренска, из самого Киренска.

Но поездки по торговым делам не делали его снисходительней к внешнему миру. Тут Меченый был непримирим... Ведь сболтанная из разных смесей религия отягощалась еще его неотвязною верой в особый собственный рок. И я проявил много настойчивости, чтобы узнать, откуда эта вера взялась.

Оказалось, что в дом Меченых дважды проникало под разными личинами Зло...

РАЗОБЛАЧЕННАЯ ЛОШАДЬ

Историю первого случая я открыл, когда Ольга отгоняла свиней от огороженного кусочка земли. Делай она это с меньшей тревогой и страстью, я не обратил бы на огорожок никакого внимания. А тут я присмотрелся и диву дался — на огорожке ничего не сажалось. Он был приблизительно шагов на семь в длину, шага три в ширину, обнесен наполовину заплотом, наполовину частым плетнем. Зачем их поставили, было загадкой.

— Что тут такое? — с недоумением спросил я хозяйку. — Что вы здесь от свиней охраняете?

— Нельзя, чтоб поганились, — коротко сказала она и пошла в дом, ничего больше не объяснив.

Я понял так, что свиньям нельзя поганиться сорной травой, пробившейся в щели забора, но не понял, чем она отличается от прочего чертополоха вокруг...

— Отличается, — сказал мне Миша Онуфриев. — Разве вы не заметили, что там кол сосновый стоит. Это место — могила. Но только она без холма. Там лошадь лежит. При мне ее погубили, сразу как я приехал сюда. Смотреть было страшно...

И он рассказал мне, что эта лошадь, на которой отец Меченого пять лет пахал, вдруг однажды, когда он поехал на ней верхом за березовым соком, сбросила его, подмяла, стала топтать и приговаривать по-человечьи... Старик умер, а его дети казнили убийцу...

Мне и без того было не по себе в доме Меченого, где дух темных лесов смешался с уютом из мещанского пригорода. Этот дом казался мне самым чужим из всех, в каких приходилось жить. Непробиваемая угрюмость людей, никелированная пышность кровати и беззвучие, которое лежало кругом, напоминали о бесконечном пространстве, отделявшем меня от привычной земли. Но после рассказа Миши Онуфриева этот дом, поставленный два года назад, показался мне домовьем, в котором могло бы покоиться изможденное, злое и страстное лицо протопопа, если бы он не был сожжен больше трехсот лет назад. Нет, пожалуй, лицо Аввакума — если бы он встретился с Меченым — стало бы умиротворенным и кротким. Но я-то, ровесник других людей и событий, почувствовал себя в этом доме, как в мертвом...

Особенно тоскливо становилось мне в сумерки.

Тот день был отчаянно короток, вечер навалился плашмя и так рано, как это бывает только в лесной стороне, а свечка, которую дал мне хозяин, освещала только кусочек струганой пустоты моей комнаты и усиливала надвигавшуюся на меня темноту. Не было возле меня человека, с которым я мог бы разбить погостную тишину этой спальни, не было книги, не было курева...

Я знал, что за стеной сидит Ольга, шьет при плошке что-то бесхитрое своему первышу и думает какую-то женскую думу. Знал, что тут же сидит на отрубочке у затейного столика Меченый (такого названия столика я ни раньше, ни после не слыхивал), положил перед собой набор ножичков и ловко вырезает из дерева зайцев, медведей и другие безделки. Вырезает он их от скуки по вечерам, когда темнота не позволяет делать что-нибудь по двору, и прихватывает потом эти безделки, едуци по торговле на пристань. Меченый сильно любит жену, но занять ее ему нечем, и все вечера молодые проводят в молчании, прерываемом только короткими фразами о молоке для кошек и сале для плошек...

Меня здесь гнетет одиночество...

Одиночество делается особенно чувствуемым, когда я решаюсь пойти на половину хозяев и затеять какой-нибудь разговор. Затея эта безрадостна. Женщина почти никогда не откликается, а муж будет откликаться лишь фразой на фразу. По собственному почину человек этот не скажет ни слова. Он знает, что я приехал из страшной дали, из главного города Сибири Иркутска, откуда везут на Лену материи, селедки, сахар и чай, знает, что из этого города открывается путь на весь белый свет, но белый свет неинтересен ему. Пусть там делают вещи, полезные и для сохатовцев, шлют в Киренск товары, которыми не зачем пренебрегать христианину, пусть себе измышляют и другие диковинки, но пусть не будет дорог... Нелюбопытно Меченому, чем наполняется жизнь в другом свете. И не надо этого

Сохатовке знать... Лучше бы вообще вместо белого света лежала пустыня — безлюдная, снежная... Редкие пришельцы из этого света, которые чудом добираются иногда до Сохатовки, вызывают в моем хозяине лишь подозрения. Что надо им здесь? С чем недобрым приехали?

Меченый смотрит на меня исподлобья. Но я решил быть настойчивым и спрашивать, несмотря ни на что...

Я спросил, как часто ездит он в город. Он ответил, что ездит раз в зиму по первопутку. Я спросил, ездит ли когда-нибудь летом. Он ответил, что до женитьбы ездил и летом. Я спросил, ездит ли он один или с кем-нибудь. Он ответил, что одному не управиться, а ездят втроем. Я спросил, неужели ни у кого в деревне нельзя достать табака, неужели здесь никто никогда не курил. Он ответил, что никто никогда. Я спросил, что делают здесь люди зимой вечерами, если не шьют и не вырезают из дерева. Он ответил, что спят. Я спросил, сколько человек может спать. Он ответил, что если на душе нет грехов, то спать можно всегда. Я спросил, есть ли у кого-нибудь в деревне часы. Он ответил, что были у одного человека, но уже года три как испортились.

На вопросы хозяин отвечал мне честно, но медленно. Он искал в них подвох и хотел уловить, к чему они клонятся. В бескорыстный мой интерес к его жизни он явно не верил, а сам нужды в разговоре со мной не испытывал... Не потому, что хотел прятать от меня свои взгляды на вещи, а оттого, что считал бессмысленным высказывать их чужаку.

Он был прям и со всей прямою давал мне почувствовать, что мало расположен ко мне...

А потом я без всякого перехода, без подготовки спросил вдруг в упор:

— Это правда, что вы однажды казнили коня?

Он смутился, глубоко задышал. Потом ответил не сразу и глухо:

— Животных не казнят. Их стреляют и режут. А это не конь был... Только забрался в коня... Отца затоптал... И господь приказал его на мученье...

Я стал расспрашивать о способе казни.

Он не скрыл ее безмерной жестокости:

— Повязали веревкой и отдали его мошкаре... Чтоб задушила. В уши, в нос и в глаза... Хвост и гриву срезали, чтоб не отмахивался... И текла его кровь, как из сердца у отца моего... В успокоение души и во славу...

Мы помолчали.

— И вы, значит, уверены, что беса убили? — спросил я после паузы.

— Мы такое слово не говорим.

— Но уверены, что он существует?

Он помолчал, потом сказал:

— Вы свое знаете, а мы свое.

Я решил схитрить:

— Но если вы считаете ваше знание правильным, то должны стараться другим доказать его.

— Нет,— ответил он примирительно,— мы к нашему чужих не склоняем.

— Тогда, значит, плохо веруете,— сказал я, чтобы вызвать на спор.— Древние христиане ходили — вещали.

Он подумал и возразил:

— У него солдаты с ружьями-пушками, а у нас только крест христианский.

— Значит, креста вам недостаточно, чтобы защищать свою веру?

Он удивленно взглянул на меня и ответил совсем непоследовательно, очень медленно и без задора:

— Защищать? А правильной вере зачем себя защищать? Это тому надобно, кто его защищает...

Это было сказано тихо, но так убежденно и просто, что мне стало вдруг жутко.

Что-то бездушное, нелюдское послышалось в этих словах... Тихий, боявшийся надуманных призраков, нехитрый в споре, знавший вообще мало слов человек, который согнулся сейчас над резною игрушкой и не глядел на меня, был и слабым, и разнужданно-сильным... От него вдруг повеяло неотвратимым...

Это чувство погнало меня назад в свою спальню. Ведь больше идти было некуда... Я клял этот бестабачный и добродетельный быт, который вытравил в людях даже потребность общаться. Идти к Мише Онуфриеву? Но он занимал одну комнату в доме у тестя, в ней пахло пеленками, играли дети, возилась по хозяйству жена... Зайти к кому-нибудь на огонек? Но я уже убедился, с каким «дружелюбием» встречали меня сохатовцы днем. Вечером они будут еще подозрительнее. Ведь это ни на кого не похожие люди... Нелюдимы, выросшие в таежном затворничестве... Мой приезд — небывальщина, но им нелюбопытны диковинки. Во всякой другой далекой деревне меня окружали бы на улице, зазывали в дома, и я уставал бы отвечать на расспросы. Здесь же людям нет дела до прочих людей на земле.

Мне оставалось прибегать к карандашу и бумаге. Писать и писать. И я писал то, что теперь вам рассказываю. В этих записях сохранялось много интересных листков... О том, например, как Ольга, считавшая только до десяти, разложила свечи в амбаре на шесть кучек по десять... О том, как она размышляет над каждым поступком, можно сделать его или нельзя... О тишине и тоске, сжимавших меня вечерами... О странных мыслях, которые должны были шевелиться в головах у людей, видевших меня каждый вечер в окне за бумагами... О моих мыслях об их темных мыслях...

КОШКИ, КОШКИ!!

Да, именно тот разговор, в котором Меченый понял, что приехал я от него, стал для нас роковым... Меченый имел все основания опасаться его, убившего не только отца, но и более дорогое для него существо, о чем речь пойдет в этой главе. И несчастный решил, что я совершу теперь третье убийство... Он захотел избежать...

Вы видели из предыдущих страниц, что Меченый не был фанатиком, который навязывает свою веру другим. Нет, ему достаточно было спастись самому. Но на этом пути он был последовательным. Не останавливался и не оглядывался. Об этой его безоглядности, вернее, о том, какую вторую беду причинил в семье Меченых он, рассказала мне теща хозяина.

Эта женщина была единственным человеком в деревне, с которым я смог два-три раза непринужденно поговорить. И надо объяснить, почему это стало возможным.

В начале двадцатых годов в Сохатовку приехал какой-то солдат затевать там советскую власть. Марья была тогда молодой вдовой, и мир не успел еще запретить ей выходить за чужого, как она уже понесла от него.

Солдат пожил среди сохатовцев несколько лет, но не смог выбить у них дурь из голов. И тогда он сам задумал — стал варить себе медовину, похабничать, ложиться на пол и выть. Боясь, чтобы муж не помешался совсем, Марья согласилась покинуть родные леса.

И приехали они с ним в Жигалово, большущий город, где чуть не пять тысяч народу жило. Там был комитет, который нанимал всех большевиков на работу. А происходило это в ту пору, когда частный капитал разоряли. И послал комитет солдата на тракт заведовать постоянным двором. Раньше хозяин давал проезжающим только корм да тепло, а солдату теперь приказали агитировать их за советскую власть. И прожила Марья на постоялом пять лет. Муж уговаривал за советскую власть, а она гостей принимала, сеном мешки набивала, день и ночь водогрейничала. И столько она перевидала народу, столько поела с ним новой пищи, попила водочки, что и забыла про прежнее...

Потом солдат помер. Марья осталась на постоялом вдовой. А мужики проезжали голодные, лапистые... И недодавали ей за сугрев. Иной изведет полсусеки овса, а спросишь с него постоянное — кладет четвертак... Марье бы все ничего, а начальник из Жигалова не потерпел. Приехал и накричал: ты и план, мол, не делаешь, и людей записать не умеешь, какие стояли. Надо тебя заменять мужиком... А у Марьи были две на руках (Ольга, которая от первого мужа, оставалась в деревне у бабки). Куда с ними деться? Хоть в прорубь их суй и сама полезай!..

И вот в это самое время случись старик из Сохатовки. И главное, сродник. Кровный матери брат. Марья, как увидела

его, обмерла и заплакала... Дядя тоже расслаб... И заехал потом за ней на обратном пути... Марья не воспротивилась — нельзя женщине без заступника на постоялом... А мир потом простил и помог. Пришлось провести девяносто ночей на коленях перед иконой, да зато со всех дворов пособили — кто несущкой, а кто и запашкой.

Пожившая несколько лет вне Сохатовки, Марья резко отличалась от других ее жителей. Не затевала с ними, конечно, споров о нравах, жила в видимом согласии с ними, но чего повидала и что сама поняла — от того про себя не отказывалась...

В Сохатовке царило согласие — страшное согласие в умах и между людьми, не выдавшими прочих людей. Вероятно, и в этом углу бывали время от времени молодые тосковавшие души, которых тянуло из правильной жизни в какую-то другую, неправильную, и в неписаной истории божьей деревни наверняка числились парни, у которых бунтовали сердца... Но водители сохатовских душ утихомиривали этих людей еще до того, как тоска могла перерасти в непокорство, не давали ей излиться наружу, а потом вчерашние бунтари становились сами отцами... Ведь были олени, были веревки, и не выжила бы молодежь, не умевшая стариться... Марья это хорошо понимала. Это была бойкая, охочая до разговора, еще не старая женщина, исполнявшая обряды лишь по нужде и не скрывавшая, что они чужды ее сердцу. Ко мне, к моей миссии Марья относилась с сочувствием, хотя справедливо считала, что нельзя побороть лесных духов Сохатовки, пока не прорублены просеки на тракт. И говорила со мной Марья только украдкой, в доме, не на людях. Они не должны были видеть ее, прощенную, снова с чужим...

Но хоть и свободна была эта женщина от большинства суеверий, отягощавших жизнь ее дочери, а, рассказывая о кошке, тряслась и крестилась. И я тоже трясся, потому что рассказ был действительно страшен. Подобных я еще не слыхивал в жизни. И чтобы избавить читателя от содроганий, я не передам всех подробностей этой истории, а сообщу лишь в двух фразах о факте.

Оказывается, когда Меченый жил с первой женой, у них был ребенок. Он дожил до семнадцати месяцев, был здоровым и крепким. Но с кошкой не совладал. Тем более что он тогда спал. Он спал, а она стала играть с его горлышком... Когда мать пришла с огорода, ребенок уже холодел...

Родители глядели на неподвижное тельце, которое только час назад было неостановимо в движениях, и им расхотелось жить... Они молча сидели почти целые сутки, потом женщина пошла в амбар и удалилась бечевой, которую Меченый привез на продажу. Бечеву разрезали потом на кусочки и давали каждому дому на счастье.

Что скажешь, читатель? Или это не страшнейший случай?! И когда Марья рассказывала, как радовался Мече-

ный иступленному крику животного, сгоравшего на разложенном за домом костре, как ликовал от запаха живого паленого мяса, от короткого треска, с каким лопнули у убийцы глаза, от сумасшедшего танца, который он танцевал напоследок,— я понимал, что испытывал несчастный отец... Понимал также, что кошкина казнь не искупила его лютого горя.

И конечно, он увидел рок в том упорстве, с каким преследовали его смерти близких. Ведь они приходили к нему, именно к нему, и только к нему, лишенному дня... У каждого человека был полноценный святой, защищавший его в небесах, а у Меченого — только бессильный Касьян. Этот не мог стоять у дома, у порога, не допуская его... А раз нет защитника с острым мечом, то не удивительно, что он травит человека, забирается в его животных, уносит родных. И не берут его ни крест, ни мошкара, ни огонь.

После рассказа Марьи я понял, почему Меченый стал таким, каким стал. Даже иной горожанин был бы сбит такими несчастьями. А уж о лесном человеке, над которым вековые духи витали, и говорить не приходится... Никогда не понял бы Меченый, что лошадь понесла старика, а потом придавила его на земле оттого, что он принуждал ее к тихому ходу, а ее приводил в иступление гнус. Никогда не понял бы Меченый, что в смерти ребенка, которого оставили в комнате с полудикой сибирской кошкой, виноват недогляд. К простым объяснениям он был не способен. Исковерканный с раннего детства, он после пережитых несчастий стал обитать среди выдуманного. Жизнь и значение приобрело для него только выдуманное.

О, я тогда понял, по собственному опыту понял, каким уничтожающим может быть это выдуманное, как может оно отнимать и рассудок, и волю, и силу, наполнять воображение ужасами, холодить руки и ноги — словом, сделать с человеком такое, что достаточно для сумасшествия...

Произошло это ночью, которая последовала за рассказом о ребенке и кошке.

Я начал нервничать с вечера... Мне непонятно было, как после всего происшедшего можно и дальше держать в доме кошек. Марья сказала мне, что Ольга тоже боится их, но Меченый советовался со стариками, и те сказали, что кошки не виноваты, если в одну из них проникла нехорошая сила. Ведь и добрые люди не отвечают за недобрых людей. А бояться кошек грешно, потому что они — божьи создания. Тогда Меченый убоялся своего зла против кошек и завел их еще больше, чем прежде.

Я не мог смотреть теперь на этих животных. Они представлялись мне вдруг омерзительными. Мне стало не по себе оттого, что эти огромные, длинношерстные твари неслышно бродят по дому или сидят в каких-то углах. Стало казаться, что сидят они неспроста, притаившись.

У моей спальни не было двери, она находилась при кухне,

из которой шел крепкий жар, и почти все кошки находились обычно именно здесь. Это сейчас раздражало меня. Мне чудилось, что сладкое спокойствие кошек — притворство, а их укромные местечки — позиции, с которых они бросятся к горлу, когда я засну... Я пытался следить за их передвижением, позами, но их было много, а я был один. К тому же в помещении быстро темнело, кошки виделись все хуже и хуже, сливались с вещами вокруг, и я напряженно старался угадывать их намерения.

Бежать из избы было некуда. За окном стоял черный лес, объятый чернеющим небом, по которому торопились облака, тоже черневшие с каждой минутой. Там были ночь, холод, мокрота, пустота. Провалиться сейчас в эту темную пасть я бы не хотел ни за что. Но пока я стоял у окна, сзади впивались в меня из углов глаза дождавшихся хищников, и по спине моей бежал холодок.

Потом пришла Ольга с хлебом и молоком. Сами хозяйева ужинали значительно раньше меня, а мне приносили еду перед тем, как ложились.

— Где вы? — испуганно вскрикнула она, оказавшись в потемках.

Я поспешил зажечь свет, но она была подавлена тем, что застала меня впотьмах у окна, и, закрестившись, тут же ушла... Я подозревал ее кошек, а она подозревала меня.

Я выпил молоко и взялся за карандаш. Но не писалось... До кошек свет не доходил, а я сделался для них особенно видимым, и от этого стало еще более жутко. От свечи пошли тени на потолке, вытянулись на полу неясные полосы, в которых барахтались прусаки и язычки от свечи, и я избегал смотреть вверх или вниз.

Но смотреть прямо перед собой я тоже не мог, потому что там было окно, а из окна стало вдруг наблюдать за мной множество глаз — еще больше, чем их было у кошек... Я долго пытался избавиться от этого чувства и заставить себя написать что-нибудь, но не мог... Тогда я задул свечу и тихо, чтобы не увидели те, кто следили за мной, подкрался к окну. Там стояла теперь уже сплошная стена черноты, в которой не различались больше ни дома, ни деревья. Но странное дело, в этой стене были дыры, и из них продолжал смотреть на меня кто-то упорный, настойчивый. Он понял, почему я затушил сейчас свет, видел меня у окна, знал, что во мне происходит, и загадочно, невозмутимо молчал...

Напрасно я внушал себе, что за этим молчанием ничего не таится. В ушах все равно стоял хруст шагов, которые вовсе не слышались, и я видел звериные лапы, по которым кто-то ко мне подползал...

Наконец я решил лечь, хотя знал, что не сумею заснуть. И действительно, едва я прикоснулся к подушке, кошки радостно забеспокоились... Вскоре блеснули зеленые, маленькие, как

чернильные точки, глаза... Это было вдали... Потом что-то зашевелилось у меня под кроватью... Это уже было вблизи. В отчаянной, страшной близости...

Я зажег непослушными пальцами спички. Да! Одна из кошек лежала здесь на чем-то вроде кошмы... Потом зеленые глаза засветились опять. Теперь они уже были большими, как велосипедные фары...

Я начал метаться. Я твердо знал теперь, что эти кошки — кровные сестры зверей, пришедших из своих нор под окно. Я знал, что они нераспознанные, проникшие в дома человека, обманом прижившиеся, хитрые гадины и ждут только часа... Знал, что они перешептываются, переговариваются с теми таежными, которые окружают сейчас эту избу. Нет сомнений, что эти мнимодомашние кошки бегают к диким котам в их тайники и состоят с ними в заговоре... Люди их гладят, а они мечтают о любовных конвульсиях с дикими и о моем адамовом яблоке...

Я намеренно вертелся в постели, громко вздыхал, ожесточенно чесал себе голову, чтобы кошки не сочли меня спящим... Но еще страшнее было от мысли, что они могут ринуться на меня и на бодрствующего... Неожиданно броситься и начать разрывать мне лицо...

Сибирские ночи отчаянно длинные. Сибирские избы отчаянно жарки, и в них не делали форточек, чтобы не уходило тепло. Я задыхался от невозможности разбить темноту, от отсутствия воздуха, из которого кошки забирали себе весь кислород, от их терпкого запаха, с которым я вдыхал астму, ненависть, ужас...

На рассвете я стал забываться, но лишь на минуты. Тогда происходили кошмары. То мне чудился мертвый ребенок, то слышалось рядом со мной горячее дыхание зверя, то подползал таракан по подушке, то раскрывался темный зев зловонной норы, полной диких котов. Нора заглатывала меня, а коты потом рвали...

В этой ночной борьбе я изнемог.

А когда возвратился день, когда деревья и вещи снова стали собой, когда из щелей и углов никто уже на меня не смотрел, а вокруг избы и в избе исчезло все потайное, — я чувствовал себя разбитым, вялым, и мне было стыдно. Теперь, когда все снова встало на прежнее место, я не мог объяснить себе ни страхов своих, ни легкости, с которой поддался первобытности... Оказывается, мне достаточно было послушать рассказ об одном страшном случае, чтобы пробудилась во мне вера в страшное... А ведь я сидел на университетской скамье, толковал о беспредельных просторах познания и поднимался над городом в аэроплане, убедившись, что он не газетная выдумка. «Культурирмся помаленечку», — любил говорить мой начальник, прокурор, пославший меня на север губернии знакомиться с Меченым. Но как неустойчиво я, значит, культурился, если дал Ме-

ченому себя одолеть!.. И я почувствовал, что надо скорее выбираться отсюда, скорее возвращаться туда, где живут здоровые, настоящие люди.

КРЕСТИНЫ

Это было обильное пиршество, и продолжалось оно несколько дней. Подготовила его родня с обеих сторон. Мать Ольги напекла пироги — с груздями, с мясом, с осердием — и еле набрала полотенец, чтобы прикрыть ими шаньги, которыми завалила все подоконники. Ольгина сестра — крепкая, розовокожая, словно замешенная на желтках и сметане девица — раскатывала десятки сочной на пельмени и не отходила от печки, где упревали еще мясная лапша, яшнвые шти с грибами и бурдуком, ножки на студень, начиненные бараньи желудки, жирнющий салмат из кипяченой сметаны с белой мукой, и прочие вещи, которых теперь уже не упомяну. А невестки Меченого носили в его избу кадушки с напитками, туесы с ягодой, банки с грибами, остуженный в крынках пахучий и сладкий облепишный кисель.

В избе с утра до вечера толкался народ и со стола — словно это было на пасху — не убиралось. Даже Ольга — бледная, радостная, но не смевшая радоваться — не лежала, а сидела с гостями. Но я чувствовал себя на этом пиру еще более нежеланным, чем прежде.

Я удивлялся количеству и разнообразию блюд, приготовленных в этой таежной берлоге. И они похожи были на те, которые я ел у собственной матери. «Кто и когда, — думал я, — мог занести сюда эти блюда?»

— Гм, — резонно заметил мне Миша Онуфриев, — нечего удивляться, что у нас делают такие же штуки, как в городе, раз их делают из таких же самых коров. Вот если бы кто-нибудь выдумал принципиально новую пищу, которая бралась бы не из земли или животного, а из чего-нибудь еще неизвестного, — вот тогда это было бы удивительно.

Но хотя блюд из неведомого до сих пор материала на крестинах и не было, удивляться было чему. Я впервые видел праздник без самогона, без пьяных. Здесь лишь понемножку прихлебывали квас или сусло, сваренное из солода, муки и сушеной черемухи. В то же время это был праздник лесных дикарей, разговаривавших с... духом животного, чье мясо жадно и знающе ели.

Да, да, главным лакомством на этом пиршестве была медвежатина, и люди пытались уверить медведя, что это не они расправляются с ним. Логово этого медведя Меченый приметил давно, но не думал застать там зверя, когда проходил мимо этого места в утро того самого дня, когда жена родила. До зимы было еще далеко, и медведю незачем было забираться в

берлогу так рано. Но Меченому послышалось, что там кто-то урчит. А этот пахарь, купец и послушник не ходил, конечно, в лес без ружья. Он засунул его в дыру и начал палить... Так привалило самое вкусное блюдо для пира... Теперь гости и сами хозяева, беря ломоть окорока или кусок колбасы, издавали каркающие короткие звуки, смысл которых разъяснил мне Онуфриев. Оказывается, медведь должен был думать, что это не люди едят его, а вороны...

Нет, это даже не староверы тут были, а дикOVERы! И как юлили они, чтобы оставаться безгрешными! Убивая людей, они перекладывали вину свою на зверей, а убивая зверей, хотели сделать виноватыми птиц...

Я был на этом празднике оскорбленным, обойденным, вернее, вообще не участвовал в нем, так как не смел сидеть за общим столом и должен был есть только из опоганенной мною ранее миски... Положение мое приравнили к собачьему, и понятно, что я был раздражен. Хозяева, в свою очередь, раздражены были тем, что я зажился у них и торчал на кухне, где стоял праздничный стол. Но я не мог ни себя избавить от унижения, ни хозяев своих от себя, так как лошади, на которых я приехал в Сохатовку, ушли на какое-то тунгусское стойбище и должны были возвратиться за мной только через две-три недели. Свой долгий путь до Сохатовки я проделал в буквальном смысле слова на порохе (впрочем, еще и на ружьях, на табаке и на ящиках с водкой), а дорогу назад мне обещали дать нежиться на мешках, наполненных белкой. Моими возницами были действовавшие от лица кооперации частники, и хотя я уже распознал это, но дожидался их теперь, как братьев родных...

Стараясь поменьше мозолить глаза, я расставался с теплом и подолгу бродил вокруг постылой деревни. Здесь провело свою жизнь уже много поколений людей, но землю они расплахи только на восток от жилья. По всем другим сторонам лежали нетронутые просторы тайги. Это был сплошной хвойный массив, во всех местах одинаковый и угрюмо-холодный. Стоял конец сентября, шел вялый снег... Самое паршивое время! Я с тоской думал о том, что не надо было мне в эту пору выезжать из Иркутска, что это самый плохой период для всяких поездок, так как не знаешь, что брать с собой: в избе нельзя выдержать пиджака на плечах, а вне избы нужно иметь на себе три слоя одежды.

И еще я думал о том, что не следователя надо было сюда посылать, а обоз, который забрал бы из Сохатовки всех ее жителей и навсегда расселил их по другим деревням, среди нормальных людей... Молодежь была бы потом благодарна... С каким любопытством посматривала на меня сестра Ольги... По-выдать этих девушек замуж за пределы Сохатовки, и они были бы всю эту муть...

Замерзая, я возвращался на короткое время в избу. Тогда здесь замолкали... Каким скучным казался мне этот праздник, с его вялыми разговорами и упорной едой. Ни гула голосов, ни игр, ни самых маленьких вольностей... И настороженно ждали, пока я снова уйду... Знали, что мне некуда деться, а ждали... Миша Онуфриев, с радостью дорвавшийся до медвежатины и считавший, что в роли Иоанна Крестителя имеет на нее особое право, ел неостановимо и весело, словно у него было десять желудков, и чувствовал себя передо мной очень неловко... А я опять шел в безрадостный лес...

И вот... Это было на четвертый день после крестин, когда в доме перебивало уже полдеревни и последние гости дожевывали остатки еды... Я бесцельно плелся по темневшему лесу и услышал вдруг писк. Он был не протяжным, не жалобным, а смятенным, прерывистым. Так плачут птицы в предсмертье. Я бросился к месту, откуда исходил этот звук, и увидел кровавую сцену. В капкане бился глухарь, а какой-то маленький гадкий зверенок, оскалив непомерно большущие зубы, пытался достать его когтистой лапой...

Мне все равно было, кто съест глухаря — мальчишка ли, поставивший эту ловушку, или зверь, который перехитрил человека, — но картинка эта была не по мне. Я поднял какую-то жердочку и хотел закрыть ею щель. И тут разъяренный зверек, приняв меня за соперника, впился мне в руку...

Прошло много лет, прошла целая жизнь, а на ладони, которую зверь тогда прокусил, есть до сих пор след. Но еще больший след остался в душе от всего, что за этим укусом последовало...

Я вбежал в избу, запачканный кровью. Какая-то женщина обмыла мне руку настоем наговорной травы, которую она нарвала на погосте, а Ольгина мать посыпала рану порошком из каких-то толченых растений и начала перевязывать ее чистой тряпкой.

Вдруг Меченый, который до сих пор молча за мной наблюдал, грубо оттолкнул женщин в сторону, схватил мою руку и поднес ее к свету свечи. На руке было четыре синих прокуса.

— Антиева печать! — объявил Меченый со зловещей торжественностью.

Ольга пронзительно вскрикнула, а мужчины, словно по уговору, стали вдруг подниматься.

— Да будет тебе выдумывать! — бросила зятю Ольгина мать, но тут же замолкла, всплеснула руками и посмотрела на меня полными сочувствия и страха глазами.

Миша Онуфриев поперхнулся, хотел что-то сказать, но не сказал. Мужчины начали медленно выходить из избы. Они шли на совет...

Я оцепенел. Страх начал разливаться по членам и сковывать их.

БЕРЕВКА

Кто-то стоял у окошечка моего закутка и не решался стучать. Это мог быть только Онуфриев.

Я выбрался к нему тихо, как мышь.

— Тшш! — приложил он руку к губам.

Мы прошмыгнули на огороды и скрылись в лесу.

Здесь меня ждали малица, ушанка, унты.

— Надевай! — сказал он. — Быстро! Не думай!..

Я стал лихорадочно натягивать малицу, она не хотела влезать.

— Не могу! — сказал я.

— Моги! — приказал он.

Онуфриев дрожал не меньше, чем я.

— Теперь турку! — Он надел мне на плечи ружье и всыпал в карман охапку патронов.

Но я сделался в этой одежде неповоротлив, как пень, и понял, что не пройду так и сотни шагов.

— Нет, — сказал я решительно, — нет!..

Я не мог, ни за что не мог оторваться от жилья, от людей и уйти один, без дороги, без спутника!..

— Так не спасают, — сказал я.

Он был в смятении.

Мы медленно пошли назад в деревню.

— Нет, — сказал он в отчаянии, — нельзя тебе к нему! Ни за что!

— Возьми меня к себе! Спрячь меня! — стал я просить.

Он долго не отвечал, потом его осенило:

— В часовню надо тебе! Вот куда!

Это была счастливая мысль. В святом месте нельзя было сделать со мною плохое. Там я в безопасности, если не ступлю назад за порог.

Я бросился в часовню так быстро, насколько позволяла мне малица.

И провел в ней потом одиннадцать дней.

Помню, что это была дощатая, сравнительно новая и большая постройка, сделанная, однако, небрежнее изб. Избы хорошо отеплялись, законопачивались, обносились завалинками, а в часовне гулял шальный ветер и творил со мной непонятное: я дрожал от холода и потел от меха на теле.

Иногда ко мне прокрадывалась Ольгина мать. Приносила еду, сообщала, что обо мне идет спор. Меченый считал, что меня можно и в храме взять, потому что я оскверняю его, а старики говорили, что в храме трогать нельзя.

Я трепетал, как бы старики не сдались.

Спал я с наганом, с наганом ходил по нужде. Каждый раз мне казалось, что за деревом подкарауливал Меченый.

Марья доказывала, что Меченому не нужно меня поджидать.

Он знает, что не лесной человек в лесу далеко не уйдет... Преследует Меченый только лось на лыжах да медведя на тайной тропе. Лось и медведь могут скрыться. А человек заплутается, замерзнет, будет съеден зверями...

Мои ночи в часовне были кошмарами. Едва я засыпал, как принимались звонить во всю силу будильники, и я вскакивал от шума в ушах... Потом звон утихал и начинали тихо тикать под ухом нигде не висевшие стенные часы... Затем сходили со стен пахнувшие гробами и елками святые угодники, гладили меня по лицу. Я доверялся их ласке, плакал им в руку, а они, обманув мою доверчивость, заламывали мне руки и ноги, вязали, тащили к оленю, которого Меченый уже держал за рога... И когда наконец, совсем обессиленный, я к утру засыпал, то мимо меня скрипели и потом удалялись возвращавшиеся от тунгусов подводы... Я видел лежавшие на них ворохи белок, видел красные шкуры огневок, а возницы не видели меня и не слышали моего отчаянного крика. Я бежал за ними, я подхватил упавшего с воза песка, я почти догонял их, но возницы не попрдержали коней, и я не смог заскочить...

Но и днем мои мысли были не в большем порядке. Помню сделку, которую я предлагал тогда Марье,— украсть для меня лошадь, оленя или собак, отпустить со мной младшую дочь... Я обещался жениться на ней, обеспечить ей богатую жизнь. Я клялся, что возвращусь в Сохатовку с отрядом милиции и отдам вместо взятой лошади две.

Марья грустно слушала, качала головой, объясняла, что этого сделать нельзя. Олени у них не ездовые. Нет для них ни упряжек, ни нарт. Держат только на шкуры и мясо... Собаки здесь тоже в упряжке никогда не ходили. Никто и не знает такое... Ведь они не какие-нибудь раскосые сахи, которые собак вместо коней запрягают. А с одним конем все равно не управиться... На санях ведь еще не проедешь. Надо, значит, выпрягать и навьючивать. А как тогда с кормом быть?.. Да и не может она остаться без лошади. Не может она... Шесть лет ее отработывала. Куда без нее?.. Вот если за мной не приедут и если установится путь, тогда можно лыжи дать. На лыжах Марьин дядя три дня, бывало, до Киренска шел...

— Ну, а об дочке,— заключила она разговор,— это оставь... Ты — городской, ты не будешь с ней жить. Заскучаешь и бросишь... Да и мне примака надо. Не бобылкой же на старости...

О приходе подвод сообщил мне однажды под утро Онуфриев. У меня забилося сердце и прошла по телу нетерпеливая дрожь. Но скупщики подъехали к часовне лишь после обеда, а за это время разыгралась трагедия, к которой шел мой рассказ...

Меченый все эти дни не напоминал о себе. Он ждал, чтобы я ушел в тайгу и погиб там. Но после прихода подвод он решил...

Еще за день до этого Марья была у меня с утешительной вестью. Она поругалась с Меченым, призналась ему, что носит мне хлеб, кричала, что никакой я не антихрист, уверяла, что я лежу в часовне больным, а как только выздоровею, так сам сейчас же уйду, и заклинала не трогать меня, не брать на душу грех. Меченый сначала возражал ей на это. Он говорил, что человек, который не носит креста, такой же зверь, как другие звери в лесу, и никакой грех против него не будет грехом. Он доказывал, будто меня нельзя выпускать, потому что я возвращусь тогда в деревню с солдатами. Но потом Меченый уступил, обещал не класть меня на оленя и потребовал только, чтобы я не пытался зайти в деревню. Часовню после меня должны были целый месяц святой водой окроплять...

Казалось бы, я мог успокоиться. А в меня закралась новая дурная тревога... Закралась от оброненных женщиной слов. Марья сказала, что Ольга мается с маленьким, — он много кричит и грудь не берет. Сказала она это между прочим и не придавая своему сообщению никакого значения, но я сразу почувствовал, что для меня здесь значение есть... Поди угадай, чему припишет отец нездоровье ребенка, какой усмотрит в его поведении знак и какая дикая мысль зашевелится опять в его темном уме?..

Все произошло среди бела дня, при ослепительном солнце, какое редко бывает в это мокрое время. Я метался по своей необычной тюрьме и, не выдержав, вышел наружу. Потоптался, походил по солнышку, сел на пенек... Мои кооператоры не могли заставить себя долго ждать. Сохатовцы промышляют пушнину для собственных надобностей, продают ее мало, не пьют водку, на которую так падки тунгусы, скупщикам нечего делать здесь... Конечно, они пообедают тут, но обед не затянется... В чумах их сажали, вероятно, на лучшие шкуры, поили растопленным маслом, кормили лакомым оленьим осердием, а здесь, в пятистенном рубленом доме, им отвели темный угол, где нет образов, и налили шти в самую щербатую чашку, которую не жаль потом собакам отдать... Нет, они не задержатся и с минуты на минуту приедут за мной... Я вслушивался в тишину, всматривался в просветы между ветвями и внушал себе быть терпеливым.

И вдруг... я увидел, что в одном просвете, в двух шагах от меня, стоит Меченый. Стоит не сгибаясь, не скрываясь за дерево, и давно, видимо, наблюдает за мной... У меня остановилось дыхание...

Он медленно пошел на меня, смотря мне прямо в глаза...

Я оцепенел и не двинулся.

Он бросил путо...

Тяжелый мерзлый канат скользнул у меня по лицу, взял плечи в железо и вывернул голову набок.

Я закричал нечеловеческим криком.

Тайга отмолчалась.

Потом я упал, мне стеножили ноги и за веревку поволокли по земле, стукая головою о пни и разрывая о сучья лицо.

В последнем прорыве сознания и последним напряжением пальцев я вытянул из кармана наган и стал во что-то стрелять.

Тогда меня перестали тащить. Потом я не помню.

После этого долго трудно было. И непривыкаемо.

Убил... я... да, я. Убил. Да.

Раньше была обычная жизнь, простая, обыкновенная. Теперь совсем другая, с убийством. Такой жизни не было ни у кого в нашей семье, на нашей улице, среди привычных людей... Убивали только люди из книг, а я не из книги, я не выдуманный.

Мы с детства знали троих таких в городе. Один убил стражника при побеге из царской тюрьмы. Другой убил в тайге прискателя, овладел его золотом и нажил потом состояние. Третий убил жену, которую выследил на забытой аллее в саду. Все это было полжизни назад, но о каждом из них говорили: «Тот, который убил». И обо мне тоже будут теперь говорить: «Знаешь, тот с Арсенальской, который убил...» Это отныне признак, адрес, история жизни.

От этого никуда не уйдешь. И главное, это не уйдет из тебя, из ночей твоих, из зеркала, которое как-то иначе, по-новому смотрит теперь на тебя во время бритья.

Вообще зрение стало другим. Что-то изменилось в хрусталике.

Началось это с леса. Когда восемь дней пробирались до Киренска. Ужасный стоял тогда цвет. Это только в стихах осенний лес бывает багряным, а небо лазоревым. Подлинный лес — ржавый, а небо над ним — из стоптанной шкуры оленя. И эти цвета на годы застрянут в глазу. Когда критик спросит потом: «Почему у вас лес всегда невеселый?» — я отвечу: «Потому что не на опушке, а в дебрях был. В непроходимых...»

И никогда уже не сумею я безучастно смотреть на затерянное людское жилье. Как только увижу контуры такого селения, застывшего далеко-далеко от дороги, так послышатся звуки. Померещится, будто кто-то плачет на задах вон той почерневшей избы, будто сипит и клокочет у кого-то в груди. Я смеюсь над собой, говорю себе, что здесь живут не дикoverы, что прошло тридцать лет, что это селение лежит не в таежной, а в безлесной полевой стороне, что жители его давно слушают радио и смотрят в воскресные дни передвижку, — уговоры не помогают. Все равно чудится мне здесь тот молодой, то есть я... Кто-то безликий, ждущий над собой лесного суда... Человек, которому

страшно... Страшно и от бессилия своего в этой деревне, и от того неожиданного, что может сделать он сам...

Да, я всегда с состраданием буду помнить молодого убийцу. И ненавидеть убитого. За то, что он заставил убить...

Помню, когда я возвратился в Иркутск и сообщил о случившемся, друзья старались утешить меня. «Это селение не значится на географических картах, не учтено было переписью, о жителях его неизвестно, есть они или нет. Значит, ты никого не убил!» — сделал логический вывод судебный статистик. «Ты убил маньяка, которому все равно жизнь была не мила. Считаю, что ты избавил его от нее», — внушал мне судебно-психиатрический эксперт. «Убийство в состоянии самозащиты не наказуется», — махнул рукою судья. «Проверка обстоятельства убийства откладывается до той пятiletки, когда в Сохатовку будет дорога», — сказал прокурор... Но я не умел это слушать. Я был молчаливым и дикоглазым.

Молчанию я изменил лишь с этнографами. Их было в городе много, они ездили по разным далеким местам, искали там необычностей, а потом читали об этих необычностях лекции и писали статьи. Прослышав обо мне, они загорелись любопытством к диковинному: «Вы были там, где мало кто был; ваша обязанность, ваш долг...» — стали они на меня наступать.

И я исполнил свой долг — в длинной горячечной речи исхлестал, измял, искрошил этнографию. Я кричал, что не нужно изучать нравы и верования. «Вы хотите, чтобы были заповедники дикости, как есть заповедники соболя, — приписывал я своим слушателям не существовавшую за ними вину, — а их надо спалить. Надо смести все диконравное, далекое, темное». И требовал заменить этнографию саперными взводами.

По залу шел гул возмущения. Этот зал никогда еще не слышал такую мальчишечью и бредовую речь.

Но речь была только отчаянием.

Она не этнографам говорилась, а Меченому. Ему одному. Пыталась объяснить, почему я убил его. Была продолжением тех разговоров, которые я вел с ним теперь по ночам в полусне.

Он часами стоял у кровати.

— Уходи, — говорил я ему, — ты отвратителен. У тебя злое, тупое лицо. Мне не хочется смотреть на него. Ты крепок, здоров, ты был бы приятен физически, но глаза выдают... Они словно щелки. Совсем не под стать носу, щекам. Неестественно маленькие. И нет в них мира, добра. Смотрят на все враждебно с опаской... Просто противно... А уши твои! Они же огромные! Как у зверя в лесу. Ты мог, наверное, состязаться в слухе со зверем, которого выслеживал на тайных тропках... Нос тоже большой. Ноздри как у оленя... И как же использовал ты свои инструменты?! Что высмотрел этими узкими прорезьями? Кого выследил, вынюхал? Меня! Меня, идиот ты!.. О, я до послед-

него своего дня не забуду, как ты накинул веревку... Теперь боли в затылке, перебои в сознании... Это от пней... Я еще стану, может быть, слабоумным... Зверь ты! Мясник! Я не мог не убить тебя! Пойми же, не мог!.. Уходи от меня, или я сделаю это опять. И теперь это уже будет обдуманно.

— Убей, убей,— говорил он.— Этому так и положено быть... Ведь ты от него... Недаром я чувствовал, что, если тебя не казнить, ты сам нас казнишь... Или — или... Ведь мы напались ученьем Христа, а ты этого не можешь сносить... И надо было мне действовать сразу... А я дал одолеть... Когда ты в лошади приходил, я тебя разгадал и не пожалел своей лошади, а тут ты совсем бесполезным приехал, а на меня такое затмение нашло... Наслал ты это затмение... Перехитрил... И все через тещу... Через нее ты туманил меня... Через нее расслабление навел... Не надо было тогда миру примать ее. Нельзя и в малом прощать... С малого оно начинается... Сначала в одном отступают от веры, потом и в другом... А под конец в плену у него.

— Сумасшедший! — сказал я.— Даже смерть ничему не научила тебя.

— Смерть? — переспрашивал он.— Смерть моя в вере людей укрепила. Теперь они видят, что не зря я худого ждал... Теперь убедились, что так оно было написано... Через мученичество мое им просветление послано... Крепко теперь Сохатовка будет стоять... Не собьет теперь он...

— Ужас! — застонал я.— Какой это ужас! Выходит, что ты же еще торжествуешь!

— А как же! — сказал он уверенно.

Эта мысль не приходила мне в голову. Выходило, что Меченый взял верх надо мной. Доказал, будто судьба его была обусловлена. Я не позволил убить себя, и поэтому он победил...

Мысль доставляла страдание.

Однажды я чуть не дошел до чертовщины. У меня вдруг сильно заболело лицо. Так заболело, что не мог даже прикасаться к подушке. Это было уже на рассвете, в комнате все было видно. И я увидел, как Меченый сдавливает мне своими огромными пальцами щеки. И не было даже сил закричать.

Выздоровливал я потом, только нагружаясь работой. На службе понимали мое состояние и завалили бумагами. Но еще долго стоял в воздухе запах мокрой травы, и я не чувствовал себя возвратившимся в город. Никак не отвязывалась тяжелая мысль, будто я дал Меченому доказать, что не зря он был прозван так...

Поймут ли люди с деревянными лицами, что не судьба определила жизнь Меченого, а сам он определил свой конец?!

Вот если бы я погиб на олене...

Тут или собой надо жертвовать, или правотою своей...

Страшны лесные миры, которые ставят перед такими решениями...

Страшны люди одной какой-то таежной действительности, одного троеперстия или двуперстия... Просеки прорубать надо, просеки! Воздуха! Света!

Совсем исцелился я только с женьбой. Теперь ночами нас было двое, и Меченый уже не отваживался входить в мою комнату. Но и через многие годы, когда я давно уже душевно окреп, давно забыл думать о Меченом, он время от времени опять восставал перед моими глазами в самых неожиданных и разных местах...

Однажды это было за тысячи-тысячи верст от лесов, в которых протекла моя молодость, в жаркой, в малолюдной стране, сожженной истребляющим солнцем и засыпанной сплошными песками. В этих песках, в двух-трех шагах от дороги, я увидел несколько человеческих голов, сидевших на туловищах, вкопанных по самую шею... Я вскрикнул и чуть не оторвал шоферу рукав... Глаза у одной головы были закрыты и лишь губы чуть-чуть шевелились... Вторая голова смотрела на меня с невыразимым мучением и судорожно пыталась глотать высохшие редкие слюны... У третьей были на месте глазных впадин стекляшки... А вокруг отданных на съедение солнцу голов сидели какие-то люди в чалмах, шептали молитвы и кланялись, пригибая носы до земли...

Мне хотелось откапывать, драться, кричать, звать на помощь... Но со мной был редкий по хладнокровию спутник, и он до боли сжимал мою руку. Это не позволяло забыть, что мы в этой стране путешественники, гости, проезжие... Я кусал губы и не понимал, как возможно такое среди белого дня... А в лицо мое, на котором смешались беспомощность с ужасом, вперились спокойные, властные, пронизывающие глаза человека в чалме... И когда я невольно перевел на них взгляд, то содрогнулся от их непримиримой враждебности... Не знаю, кому принадлежали эти глаза — вождю ли секты, казнившей своих отщепенцев, или шейху, облеченному властью, — но в них не скрывалось желание закопать в горячий песок и туловища всех иноверных... Товарищ поспешил усадить меня поскорее в машину, но мне показалось, что эти глаза, эту ненависть, этот приговор и сжатую челюсть я уже где-то видал...

А ночью, в комнате хорошей гостиницы, шейху, привыкшему к солнцу и зною, стало не по себе от ее охлажденного воздуха, он залез в рукава полушубка, надел на тюрбан малахай,

стал приближаться ко мне с веревкой в руках... Я вдруг узнал забытые, страшные, роковые черты и привскочил на кровати...

Второй раз Меченый явился мне тоже в гостинице, но уже европейского города. Я бродил по его узеньким улочкам, через которые переброшены были веревки с бельем нищеты, пересекал бесконечные именные площади и осматривал на них именные церкви, потом отдыхал где попало на тысячелетних камнях. И вот, проделав много витых километров, я на одном из камней задремал.

— Падре! Падре! — проснулся я от отчаянного женского плача. — Я умоляю, я заклинаю вас!..

Этот крик был единственным, что я понял на чужом языке. Во всем остальном я уже разобраться не смог. Не смог уловить, чего ждала от человека в сутане молодая красивая женщина, валившаяся перед ним на булыжнике и тщетно хватавшая его синие руки, стараясь поцеловать их. Не понял, что надо было всем другим женщинам, одетым в какие-то черные мантии, они столпились вокруг этой плакавшей и смотрели на нее со злобой и завистью. Не понял, зачем топтался здесь полицейский, неуверенно смотря на человека в сутане и не зная, что ему делать: ограждать ли ту, которая не вставала с булыжника, или, наоборот, отдать ее на расправу. Не понял, почему человек в сутане решительно высвободил свои руки, подал ими знак нетерпеливой женской толпе и с неумолимым лицом смотрел ей вслед, когда она волокла... А волокла она, шипя от злости, щипая, давая пинки.

Была ли эта молодая послушницей, хотевшей избежать заточения? Или монашенкой, которая не повиновалась уставу? Потому ли она убежала из ордена, что ее затравили там, или просто хотела жить и любить? А может быть, она вообще не была монастырской и вся эта сцена означала что-то совершенно другое?

Оказавшись рядом с человеком в сутане, я тоже смотрел на удалявшихся свирепых печальниц. Казалось, что даже шеи и спины их торжествовали сейчас, и мне отчаянно жаль было ту, которую они захватили... А проводив женщин глазами, мы невольно переглянулись и сдержанно поклонились друг другу.

— Вы видите, сын мой, — медленно сказал незнакомец, угадавший во мне иностранца, — что в этом городе не только камни крепки...

— Но это жестоко, очень жестоко, — сказал я человеку в сутане не на его родном, но на родственном ему языке.

— Это жестокость добра, — объявил он и стал говорить какие-то фразы — тяжелые, каменные, не подлежащие спору. Всех его слов я не понял, но понял, что отступникам нельзя и в малом прощать.

А когда потом человек в сутане ушел, мне показались знакомыми и его манера говорить, и манера смотреть, и походка... Нет, не мог я встречать его! Но я, несомненно, знал кого-то такого же. Тот тоже говорил о крепости веры, тоже требовал, чтобы не прощалось и в малом, тоже клал глыбные отдельные фразы, не сгибал, не обтесывал их, имел такое же непреклонное, неподкупное, сделанное по линейке лицо.

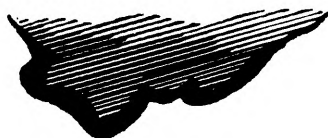
А ночью, когда, утомленный впечатлениями пестрого дня, я спал глубоко, спокойно, без всяких видений, кто-то распахнул вдруг передо мною сутану, я увидел под нею унты, а в ушах у меня раздался демонический смех человека, который во всю свою жизнь не смеялся...

Я проснулся в холодном поту...

Он давно уж истлел, но это был оборотень.



РАССКАЗЫ О РАЗНОМ





ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ

До войны ее не было. А в сорок четвертом я получил такой очевидный, прямой знак с того света, что неверие мое пошатнулось.

Этот знак подал летчик Козлов.

Я писал для немцев листовки, а он их разбрасывал. Приезжал к нам вечерами на виллисе, забирал тяжелые связки отпечатанных за день листков, отвозил на летное поле, перегружал в свой «У-2» и, когда небо темнело, шел с ними в воздух. Листовки обращались к солдатам разных дивизий, а иногда и к определенным полкам, летать приходилось в несколько мест и сбрасывать строго по адресу. Козлов это делал. В его безбоязненности я убеждался несколько раз, когда начальство приказывало мне самому проверять, как доставляются немцам наши послания... Я заготавливал прощальные письма родным, натягивал неуклюжий, неповоротливый шлем и, трепеща, садился в малюсенький, открытый, небоевой самолет, казавшийся обреченной игрушкой. Стрелять она не могла, зато тарахтела... В нас палили из зениток, из пулеметов, винтовок. Стрельбы сверху не слышно, но плыли мы среди белых дымков... Только отчаянным напряжением воли я приказывал себе быть спокойным. Козлов же был спокоен без этого. Здесь, в черном небе, разрывы снарядов были единственными светлыми пятнышками. Они непрерывно мигали и таяли. Я чувствовал себя насекомым в темном бескрайнем пространстве. Нелепой казалась генеральская мысль поручать мне контроль над пилотом... На земле я в точности знал, какая немецкая часть и какой занимает участок. Там я это видел на карте. А в спичечной коробке посреди океана я абсолютно не понимал, где лечу и куда. Не ощущал направления, поворотов, маршрутов. Ничего, кроме сумасшедшего ветра и полной беспомощности. Этого ветра и шума мотора не мог пересилить человеческий голос, и я не перекидывался с пи-

лотом ни словом. Где, когда и какую пачку вспороть, знал только он.

Возвратившись на базу, Козлов брался за флягу и с аппетитом закусывал. Я разделял его трапезу, о которой трудно было сказать, завтрак она или ужин. К нам подсаживались другие свободные летчики, появлялись новые фляги, они начинали ходить вкруговую, из вещевых мешков извлекались сало, консервы... Мне нравилась жизнь этих людей, совсем непохожая на жизнь в других войсках. Никакого общего распорядка здесь не было, моторы ревели всю ночь, кто-то шел на задание, кто-то возвращался с задания, кто-то спал, положив подушку на голову, кто-то к кому-то обращался по проводу... Это была эскадрилья при штабе, ее люди летали и к партизанам, и на другие фронты, и в немецкие тылы, и в Москву. Каждый руководился здесь только своим расписанием, только приказом, который сам получил. Выполнил его — и делай что хочешь, пока не получишь новый приказ... Впрочем, я знал, что это заманчиво только по видимости. Жизнь летчиков находилась в постоянной опасности. За три года войны тут уцелело лишь четверо. Козлов был одним из таких могикан... Зато летчики не знали траншейной тоски. У них было вволю спирта, еды, новостей. Попадая к ним ненадолго ночами, мне не хотелось покидать этот клуб...

Люди здесь подобрались молодые, но повидавшие виды. Они не были прославленными героями воздуха, о которых писалось в газетах, но каждому не раз и не два приходилось проделывать нечто такое, что давало им право посмеиваться над рекламой героики. Один из этих парней, преследуемый двумя «мессершмиттами», пролетел под железнодорожным мостом. Другой выбросился без парашюта и упал в снежный сугроб. Третий сел с подбитым шасси. А о Козлове и говорить не приходится. В свои тридцать два года он считался здесь стариком, и на счету его были дела, о которых слагались легенды. Он летал на изрешеченных машинах, садился на воду, среди стада овец. Примечательным в его летной жизни был также случай, когда он взял в плен немецкого летчика. Произошло это в начале войны. Козлов был тогда истребителем. Увидев, что немец потерял управление, завилял и пошел на снижение, Козлов тоже сел и забрал раненого в свой самолет. Говорят, это был тогда первый случай, что летчик захватил «языка».

Но он вовсе не был сорвиголовой. Нет, все эти виртуозные посадки и взлеты могли удаваться только находчивому и хладнокровному мастеру. Большой летный инстинкт сочетался с большим летным умением. И с глубокой тайной уверенностью, что его охраняет судьба...

Впрочем, не тайной. Он не скрывал своей веры в рок. А всякие невероятные случаи, наполнявшие его военные будни, эту веру усиливали. И хоть не часто он о ней заговаривал, но не прятал, не стыдился ее.

— Вот я тебе такой случай скажу,— сообщил он как-то за фляжкой, сам раздумывая над своими словами.— Был он со мной в прошлом месяце. Разбросал я листовки твои, возвращаюсь назад. Бензина в обрез. И в это самое время — туман. То ли он снизу поднялся, то ли сверху упал, а только в минуту застил... Кружусь-кружусь, не вижу, где сесть... Ну, думаю, ладно, покручусь маленько, рассеется. Прохаживаюсь взад-вперед, ожидаюсь... Но не забрезжило. Не знаю, где земля и где Неман. Ну что теперь делать!.. Будь в баке горючее, я бы до соседнего аэродрома добрался, но не дотянуть... И раздумывать нечего, надо садиться. Куда? Прощай, мама, не поминай лихом, жена. Сейчас вашему Витьке каюк... От земли — тыща метров, от смерти — секунды... Простите все, кого ненароком обидел... Осталось девятьсот метров до уровня, девятьсот с гаком до дна... Такая могилка, что никто не узнает, а объедят шуки голову — то и после войны не признают... Осталось пятьсот... Стрелка ложится на триста... Сейчас прямо на какой-нибудь лес... Голова на одной сосне, живот — на другой... Не прошу себе, что угробился раньше, чем угробили Гитлера... Теперь ровно сто метров... Господи боже... Только бы сразу! Чтобы сплющило голову и хребет пополам... Закрываю глаза... Сейчас буду вдребезги... Бах! Колеса обо что-то железное... Чуть не выбрасывает к чертовой матери... Наверное, крыша. Сейчас в нее — трах... Но колеса бегут... Не понимаю, не верю им... Нет, в самом деле бегут... Бегут по земле... Мать честная!.. Да вы медленней, медленней!.. Ну, стойте же, стойте... И вдруг послушались, замедлили, встали... Бог ты мой! Неужели же правда? Неужели я на земле? Да, вроде факт... Но не к немцам ли — тьфу-тьфу — угодил?.. Тогда наган в рот... Вылезаю, оглядываюсь... Мамочка милая! Это ты или нет? Может ли быть?! Я на собственном аэродроме сажу!..

Он замолчал, закурил, затаился и, не улыбаясь, добавил: — Ну, что скажешь на это?

Я ответил, что тут ориентировка, удача. Но Козлов ухмыльнулся. И товарищи его тоже не поддержали меня. Живя среди постоянных опасностей, они не хотели вступать в спор с неизвестным... До войны они занимались учебниками, футболом, фильмами, девушками, и отсутствие потустороннего мира было для них очевидностью, но сегодня, когда их каждый момент подстерегали зенитки, «мессершмитты» и «юнкерсы», — зачем было им судьбу искушать... Во всяком случае, они не опровергали Козлова и перевели разговор на другое. Он был асом, но лицо его не отличалось какими-нибудь особенными волевыми чертами. Ни сомкнутых челюстей, ни выдававшегося вперед подбородка, никаких прочих примет решительного или доброго характера. Лицо привлекало, наоборот, простотой, добродушием. Роста он был небольшого и сложения довольно упитанного, — икры едва умещались в голенища сапог. И все-таки он выглядел

ладным военным. Чувствовалось, он знает, как когда поступать, и его не собьешь.

И меньше всего можно было сбить его ощущение предопределенности жизни и смерти...

Однажды он поведал мне случай из своего военного прошлого.

Случай был из ряда вон выходящим. С трудом верилось, что человек этот, каким я его знаю, еще два года назад способен был на подобную выходку. В требовательном, безжалостном сорок втором, когда и не за такие вещи судили, эта небывалая в армии выходка могла кончиться даже трагически. Спасла его, надо думать, именно необычайность и скандальность истории. Но сам Козлов был, конечно, уверен, что за него и в тот раз вступилась судьба.

Группа летчиков награждена была орденами. Среди награжденных оказалась и девушка, не участвовавшая в боевых операциях. Числилась она где-то при штабе, а жила при командире полка. Тот считал, что ему все позволено, и ничего не скрывал. Заставлял ординара прислуживать ей, направлял пилотов в Москву, чтобы она посылала с ними продукты родным, добился для нее погонов в три звездочки, и многие летчики оказались вынуждены отковыривать ей... Они не прощали этого своему командиру... И вот, увидя на ней ту же награду, что и сам получил, Козлов подошел к ней в столовой, прицепил ей на грудь еще собственный орден и громко, во всеулышание, предложил ей дарить и его за это вниманием...

Поступок был непростительным. Но командир полка не решился на то, чтобы летчика подвергали допросу... Он просто отправил Козлова в полет, из которого не ждал, вероятно, назад... Козлов возвратился.

— За меня судьба,— сказал он командиру.— Отправьте лучше в резерв... Разойдемся...

Тот так и сделал, и Козлов лишний раз убедился, что с человеком не может случиться того, что не написано ему на роду...

Однажды у него прорвалось даже большее.

Приехал он как-то к нам за листовками, а мы еще не готовили их. Типография наша была кустарной, походной, листовки набирались вручную, печатались на плоской машине (об этом еще придется сказать), и пилот часто сидел-дождался. А каморка моя завалена была немецкою почтой. К нам стекались письма, найденные у убитых и пленных солдат. Здесь содержались обширные сведения о жизни германского тыла. Я составлял для высокого штаба обзоры. В моем архиве по сей день хранятся эти сборники воплей о погибших родных, о голоде, холоде, вое сирен, о бездомности... Издать бы сейчас эти книги стонаний, отчаяния и бессильного крика, написанные,— нет, выплеснутые в хрипе предсмертия,— тысячами метавшихся в ужа-

се женщин,— и не нужно других. Достаточно для беспамятных и слишком забывчивых...

Увидя эти груды конвертов, Козлов загорелся. «А ну-ка, ну-ка, давай, капитан, посвящай!» Он взял несколько штук наугад, и я перевел их ему. А письма кончались почти одними и теми же фразами: «Да хранит тебя бог», «Молю бога, чтобы ты, возвратившись домой, застал нас живыми», «Уповаем на бога, чтобы мы еще свиделись»... Козлов очень внимательно слушал, а когда было доложено, что пачки готовы, поднялся, загасил папиросу и сказал просто, спокойно, уверенно:

— Нет, зря надеются на него эти мамы. Он не на их стороне.

И это коротко брошенное им заключение выдало, что тут не одно суеверие...

Не следует выводить из описанных случаев, будто летчик этот был сумрачным мистиком. Меньше всего! Он был таким же сугубо земным, как и все мы. Любил выпить, поесть, посмеяться, мучился отсутствием женщин. Впоследствии, когда случилась история, о которой пишется этот рассказ, и я лихорадочно восстанавливал в памяти все разговоры с Козловым, мне ярче всего вспоминались именно его рассказы о женщинах.

Однажды его самолет подбили над занятой немцами Брянщиной. Он посадил машину, выбрался из нее и бросился к лесу. Таилась целую ночь, не встретив ни немцев, ни партизан, а к утру наткнулся на домик... Но сначала он увидел не домик, а веревку, протянутую между деревьями. На ней мирно сушились сорочки с бретельками...

— Представляешь себе!.. Голубенькие, трикотажные, шелковые! — рассказывал он с тоской и восторгом.

Эти сорочки ошеломили его. А оглядевшись, он увидел избу лесника и женщину на пороге избы... Молодую, в сарафане, живую! Довоенную женщину!..

Он провел здесь два дня. Провел в ярости, в нежности...

Эти два дня стали сладчайшим событием его жизни в войну. И он делал свои особые выводы:

— Ты думаешь, самое страшное — это шестиствольные, «фердинанды» и «юнкерсы»? Нет, брат, они каждый день... А ужас войны ты почувствуешь, когда увидишь вдруг то, что забыл... Голубенькие, трикотажные, шелковые...

Он был, другими словами, обычным человеком во плоти, но только считал, что его плоть на войне охраняется неведомой силой. И время от времени распознавал ее руку...

В двенадцать ночи позвонил штабной генерал и потребовал к телефону полковника Н.

— У аппарата такой-то, — сказали в ответ. — Полковника нет.

— Розыскать! С ним хочет говорить член Военного Совета генерал армии Б-нин.

— Розыскать не могу. Полковник выехал в штаб.

— Черт знает что! Ждите у аппарата...

Член Военного Совета, вероятно, раздумывал, снисходить ему до разговора с капитаном или не снисходить, потом взял трубку и стал бросать короткие фразы:

— Написать и до утра разбросать полмиллиона листовок над остатками таких-то дивизий... Это должен быть ультиматум... Завалить листовками так, чтобы прочитал каждый солдат... Объяснить, что у них выхода нет... Или капитуляция, или мы уничтожим... Бросать со ста метров, над головами... Утром доложить исполнение...

— Полмиллиона за ночь нельзя,— осмелился возразить капитан.— Машина печатает десять тысяч за час, маленьких двадцать... Немедленно начинаем выполнять ваш приказ, но столько не сделаем.

— Р-работать не умеете! — ответил на это рассерженный голос.

Трубку бросил так, чтобы шибануть капитана по уху.

Листовка написана была за десять минут. Набиралась сразу тремя. Печаталась в лихорадочной спешке. По телефону был вызван Козлов.

Я передал ему приказ слово в слово. Он знал, от кого приказ исходил. Человек этот был известен не только на фронте, но и в стране!

— Со ста метров? — переспросил Козлов тихо.— Над головами.

В первый тур он ушел незагруженным, всего с пятью пачками. Должен был возвращаться за следующими. Часы не терять.

Перед отлетом он вдруг обнял меня. Этого никогда не бывало. Отношения у нас были товарищеские, но не такие уж близкие.

— Что ты, впервой, что ли? — бросил я намеренно грубо и быстро поцеловал его в щеку.

— Впервой,— сказал он серьезно.— Над головами впервой. Знаешь, сколько у них там зениток? Стоят сплошняком. На всем протяжении. Пулеметов против нормы в три раза. Все, что было прежде на всей ширине, стянуто теперь на эту площадку... Каждый метр неба простреливается...

И совсем тихо добавил:

— Когда ты позвонил, я вдруг увидел отца...

— Что за дичь,— сказал я, не зная, что тут сказать.— Вечно у тебя это самое...

— Да, это самое... Ну, прощай... Поглядим, как на том свете живут...

— Брось дурить. Через час на этом увидимся.

— А не увидимся, так дам тебе знать.

— Городишь неведомо что...

— Сейчас оно, конечно, неведомо. Но когда примут меня там в местные жители, то сориентируюсь и выясню, какие есть способы связи. Может, птичек они посылают на землю, а может, позволят во сне сообщить тебе...

— Слушай... Ты, кажется, немного хлебнул?

— Кажется, да. Откуда мог знать, что среди ночи вдруг вызовут.

Я остался в тревоге. Она рассеялась часа через два, когда на «виллисе» примчался сержант. Козлов прилетел и ждет новых пачек.

В пять пятнадцать мне позвонил командир эскадрильи. Сообщив, что Козлов возвратился вторично, он сказал, что уже рассветает и, если не будет прямого приказа, не выпустит машину при свете. Я связался с начальством. Начальство связалось с генерал-порученцем. Генерал-порученец ответил, что член Военного Совета сутки не спал, только что лег, будить невозможно, и надо выполнять приказание...

Сам я лег в восемь утра, к этому времени Козлов еще не возвратился.

Он не возвратился вообще...

Из полумиллиона листовок сбросили только сто тысяч... Но за сутки у нас был готов весь тираж, и в одиннадцать вечера с ним поднялись два самолета. На одном из них приказано было лететь для контроля и мне.

Перед глазами у меня был Козлов... Пилот нервничал тоже. Он сразу взмыл. О ста метрах не могло быть и речи. Он вообще не летел над укрепленным районом, а кружился по канту. Листовки бросал не вертикально, а так, чтобы их относило. Они плыли в воздухе и долго не хотели падать на землю. Внизу бушевало, гремело и ухало. Я знал это по сплошным грядкам дымков, курившихся вокруг самолета, и дикому танцу лучей, плясавших по небу. Лучи эти складывались то в знак умножения, то в прямые шеренги, то в купол шатра. Нас спасала лишь ничтожность улитки...

Мы скользили, скользили, хранимые чудом, сбросили груз, вышли уже из зоны дымков, и тут вдруг на нас...

Я не понял, что это было.

Я успел только на миг увидеть что-то черное, черней самой ночи. Оно вырвалось не с земли и не с неба. Вырвалось неизвестно откуда.

Бросилось в лоб.

Шмякнулось с броневой силой.

Сознание на секунду сработало: «Таран!» — и погасло...

Очнулся я пьяным.

Нет, кто-то пьяный раскачивал нас.

Самолет потерял управление. Пилот напряженно пытался восстановить свою власть и не мог. Мы колыхались туда-сюда, словно в зыбке, проваливались, опять поднимались и снова проваливались.

Трещали борта. Казалось, лодка вот-вот рассыплется. Прошло сколько-то долгих минут, прежде чем она чуть-чуть протрезвела и, шатаясь, пошла по какому-то курсу.

— Это птица была! — сказал мне пилот, обернувшись.

Не прокричал, а сказал. Крика я б не услышал, тихость вдруг услышал...

Но это было невозможно, нелепо. В военном небе вдруг птица! Ночью, когда все птицы спят! Что же она, нарочно, что ли, поджидала нас в бездне!

И вдруг меня что-то прожгло...

Я оглянулся на бездонную пропасть. Беспредельную, темную... В ней текли синие воды. Плыло белесоватое холодное облако. Выступал и нырял рассеянный свет. Шевелились и ползали мутности. Без очертаний, седые, туманные... Сплетались, расходились, опять собирались... Они знали что-то свое... И внезапно дали мне понять, что здесь не пустыня...

Мотор неуверенно стонал и трещал, словно желая взбодрить меня и отогнать спокойные тени, а они молча пошли с нами рядом, окружили, забежали вперед... Я не мог различить их, а они теперь наблюдали за мной... Бессчетные, они здесь летали, носились, скитались... Не нуждались ни в тверди, ни в солнце, но дышали, как я... Бестелесные, скрытые, они меня видели, они слышали, как плачет мотор, знали об ужасе, который меня в эту минуту охватывает...

Да, эта птица нас поджидала!

Птица не нашего края!..

Напала на нас, чтоб засвидетельствовать...

Подтвердить, что Виктор Козлов держит свое обещание...

Он где-то тут!..

В этой населенной безбрежности...

Я, скованный, сжался...

На земле осмотрели машину и удивились тому, что мы живы. Дивились и рассказу об огромной неведомой птице, ринувшейся на самолет. Такого еще ни с кем не случалось... Гадали, стервятник это был или беркут. И совсем уж понять не могли, как это на обшивке остались перья в бурой крови. Ветер должен был смыть их и почему-то не смыл.

Я же знал, почему. Ветрам указано было не трогать печать...

Я видел орлов в сорок втором, когда некормленная бесхозная лошадь тянула воз с ранеными. У нее лопнули кровяные сосу-

ды в глазах, а через минуту-другую должны были лопнуть и легкие. Она дышала так судорожно, что все брюхо ходило у нее ходуном, а пар изо рта вырывался вместе с остатками жизни... Потом остановилась. Один раз, другой... Потом упала на передние ноги и стала бить шею о кольцо хомута... Я никогда не слышал о животных-самоубийцах, но уверен был в ту минуту, что лошадь хотела ускорить конец... Мы сползли с воза. Почти все обезноженные. Смотрели на горизонт. Где-то за ним были койки, кипятки и забытье... Потом подняли головы вверх. И увидели парящих стервятников. Единственных птиц в пустом небе. Они терпеливо кружились над лошадей. Зная, предвидя...

В другой раз с орлом было страшней. В жаркий день, далеко от переднего края, мы шли с товарищем, сытые и безмятежные, опушкой уцелевшей березовой рощи. Неожиданно понесло чем-то гнилостным, и вдруг перед нами взвилась огромная птица. У нее были такие большущие крылья и взмахнула она ими так сильно, что нас ветром обдало. И в тот же момент, ошарашенные, едва не упавшие, мы увидели труп без лица...

После орла не распознать человека. Остаются пустые глазницы. Это единственный след. Другого орел не оставит. И если оставил, если не сорвало его даже вихрем, который бил в самолет, а, наоборот, пригвоздило, приклеило намертво,— то это был вензель, сургуч, обещанный знак...

Война давно кончилась: текли новые года. Напряженные, деятельные. Людей уже не убивали, они умирали теперь от болезней и старости. Уходили из жизни товарищи. У одного кровь сгустилась комком, у другого ткани вдруг разрослись... Оставшиеся внезапно задумывались о привычном вещественном мире, не вызывавшем у них прежде раздумий... Когда печально-торжественные звуки органа перебивались вдруг истерическим криком бившейся над гробом жены, а потом ее оттаскивали и гроб медленно начинал опускаться в страшную печь, тогда наступало неслышное... Гроб уползал, а в зале начинала витать загадка человеческой жизни... Витала-витала и ударялась о мрамор холодных, заставленных урнами стен.

Если когда-нибудь у кого-нибудь,— на похоронах или после,— прорывались слова об этой загадке, я обычно молчал... Не потому, что уверовал в вечность... Потрясение, вызванное птицей, прошло, впечатление о нем затуманилось временем: из потустороннего мира мне никогда больше не подавали вестей, и страх одной ночи давно уж сменился всегдашней дневной расчуженностью. И все-таки... Все-таки где-то осталось сомнение... Не такое, чтобы мешало мне жить, но достаточное, чтобы молчать... Ведь что было, то было... Неясное, темное... Пусть птица прилетала лишь раз, только на миг, но она прилетала... Я не мог

объяснить себе, было ли это редкостным совпадением, удивительным случаем, или вправду явилось из Бесконечного, чтоб доказать... И не хотел думать об этом... Знал, что все равно ни до чего не додумаюсь, а только перестану вообще понимать, где кончается реальность и начинается бред...

Если бы от меня в ту пору допытывались, верю ли я, что существует жизнь после смерти, я уклонялся бы от «да» или «нет». Говорил бы, что человеку приходится достаточно думать о нынешней жизни, чтобы обременять себя еще праздными мыслями о какой-то другой. Мой ответ был бы и неправдой и правдой. Неземная жизнь, если она и была, представлялась мне среди седых облаков, во мгле и бездонности, где скитались бесформенные не то существа, не то дымы... Эта пустота была их кладбищем, спальней, тюрьмой... Я ненавидел ее...

Зимой 1961 года я менялся квартирами. Надо было перевезтись, и я хотел вызвать по телефону грузовое такси. Начальник гаража почему-то заинтересовался фамилией, дважды переспросил ее и вдруг объявил, что заказывать надо не по телефону, а лично.

Меня это возмутило, но ничего не поделаешь...

Начальник гаража кончал разговор с шоферами, и мне пришлось подождать. Поневоле присмотрелся к нему. Маленький, крепкий, редкие волосы, потертый костюм... Глаза не злые, но голос рассерженный. Сердится на шоферов за какие-то рейсы, и на себя — за то, что вынужден о них говорить... Речь грубоватая, прямая, простая.

Шоферы выходят из комнаты, и он переводит глаза на меня. Я подхожу и ругаю порядки.

Он молчит и рассматривает.

Я раздражаюсь.

— В чем дело? Зачем нужно к вам приезжать? Это же глупо.

Он продолжает меня изучать.

Это начинает бесить.

— Что за нелепость! Что вы так смотрите?

— Затем и просил вас, — отвечает он еще большей нелепостью. — Затем и просил... Ох как вы постарели! Как мы постарели!.. Но все-таки это именно вы!.. Я сразу, как услышал фамилию... Столько лет, а втемяшилась.

— ?..

Он волнуется. Мне передается волнение...

— Вы в войну на Западном были? В Политуправлении? Немцам листовки писали? Так ведь?! Писали?

— Писал, — бормочу.

— А я их разбрасывал...

Водка, селедка, колбаса, огурцы. Принесенный мной торт — чужак в таком окружении. Уместней был бы коньяк. Всегда надо знать нравы дома, в который идешь... Торт вызвал здесь только неловкость, обязывает хозяйку сидеть за столом, поить меня чаем. А она охотнее всего прилегла бы или возилась на кухне. Это пожилая несуетливая женщина, которой давно уже нелюбопытны разговоры и друзья ее мужа. Она настрадалась с ним после войны, поднимала детей, теперь ходит к ним нянчить внуков. Ей явно не до гостей...

У мужа походка тоже усталая, но выглядит он куда бодрее жены, а моментами вообще молодеет. Когда рассказывает о плене (невооруженный «У-2» принудили сесть истребители), о случайности, спасшей его от расстрела, о всех злоключениях, происходивших с ним после войны, — лицо делается серым, увядшим. Но оно оживает в разговоре о внуках, о новой резине, которая держится вчетверо дольше, чем прежняя, и оборудовании в построенном год назад гараже... У этого человека нет уже подвигов, нет острых переживаний, рождавших находчивость, отвагу и зоркость, но есть занятие, которое, видимо, поглощает его. Годы и несчастье, которое произошло в его жизни, не могли не сказаться на лице, на движениях, но он не впал в то состояние, когда время уходит вперед, а человек остается в прошлом, в другом. Место прежних желаний и дел заступили иные, но те дни не пусты...

Ну что же, я рад за него. Рад, что он жив, что по-прежнему возит. Пусть не по воздуху, а по земле, но по-прежнему возит. Для магазинов, новоселов и дачников. Ящики, мебель, домашнюю утварь. Рад, что у него печень осталась здоровой и он может пить пятую стопку, что зубы хорошо сохранились и он грызет огурцы.

Земной, сугубо земной...

И не подозревает, что был птицей, облаком, знаком... Не знает, что посылал мне печать.

Водка, селедка, колбаса, огурцы... А я семнадцать лет в неуверенности...

Во мне возникает вдруг неприязнь. К нему и к себе. За семнадцать лет неуверенности...

Я считал себя редкостным избранным, которому приоткрылась однажды краешек тайны.

Жил долго с загадкой. Необыкновенной и страшной. Оттого она кажется мне сейчас даже красивой.

Теперь нет больше никакой красивой загадки.

Птица была. Оставила перья. Они были начертанием, буквой.

Буквой наследственности...

Буквой моей первобытности.

Переданной через нервные клетки, через тысячи лет...



ШКАТУЛКА

Пусть усмотрят тут патологию, пусть! Кто знает эту очень хорошую, очень трудовую, рассудительную и добрую женщину, все равно не поверит в душевное ее нездоровье. А знают Валентину Ивановну тысячи разных людей, которых она лечила и лечит.

Правда, приезд ее на целину был действительно не очень обычным. Не каждый день появлялись здесь женщины под пятьдесят... И судя по чемоданам, по платью, по отзывам, выданным ей в известной столичной больнице, она в Москве совсем не плохо жила. Отчего человек оставил эту жизнь и уехал вдруг за тысячи верст на жизнь совсем несравнимую, просто бездомную, было загадкой. Все спрашивали себя, зачем поселилась она в необжитых местах и с людьми, не подходившими ей ни по возрасту, ни по привычкам. Чужалось, что приехала после того, как что-то в ее прежней жизни сломалось. Об этом шептались, но никто ничего толком не знал.

Почему она сама никому не сказала? Почему никогда не рыдалась на людях? Для чего крепилась, не давала прорваться? Или некому было здесь рассказать, потому что ни у кого не было равного горя?

Не для того она приехала, чтобы рассказывать... А в Москве было невмоготу... В этой пустой степи стало легче... Ни телефона, который мог зазвонить, ни телевизора, перед которым вместе сидели...

Это называли безумием: оставить квартирку, распродать за бесценок всю мебель, раздарить фарфор и хрусталь!

Какие надписи были на ее серебре! Сколько накопилось у нее статуэток и ваз! Их присылали люди, обязанные ей своей жизнью. Она протестовала, сердилась, досадовала, а они все-таки слали.

На все эти вещи она не могла больше глядеть. Не могла видеть и прежних людей. Даже считавшихся близкими.

О, у нее еще были разные родичи. Двоюродные братья и сестры, даже дяди и тетки. Они бывали друг у друга в дни семейных торжеств, поздравляли по праздникам. Они любили ее и не могли видеть, как она билась у гроба... Потом уговаривали ее не жить в одиночестве, предлагали обменять вместе квартиры... Но она не хотела. Одна двоюродная сестра стала уже пенсионеркой, другая еще работала, но тоже начинала кряхтеть. Все сделались уже стариками... Нудной жизни с ними она бы не выдержала.

Во время похорон одна приятельница обыскала ее комнату, выкрала морфий, снотворные. Долго не оставяла ее потом без присмотра... И не для того Валентина Ивановна осталась жива, чтобы проводить свои дни со старушками...

Она знала, что ей надо сейчас же уехать, чтобы ни одного знакомого лица не встречать. И так работать, чтоб сваливаться.

Будь у нее много денег, она заказала бы на каком-нибудь заводе автобус, оборудовала его всем, чем надо, и ездила с такой передвижной поликлиникой с места на место, от одного огонька до другого, не давая себе осесть и задуматься... Но ее сбережений хватило лишь на инструменты, лекарства. Да и те добывала. Аптеки не отпускали одному человеку килограммы антибиотиков, а когда она пошла на аптекарский склад и объяснила, для чего это нужно ей, там ответили, что больницы не снабжаются на частные средства. От нее требовали разрешений, бумажек. Пришлось хлопотать, и это хорошо, что пришлось — она была занята, ее лихорадило...

Она приехала в холодную осеннюю степь, уже лишенную красок и мало еще заселенную. Руководители совхоза были явно растеряны. Они смотрели на эту сугубо нездешнюю женщину и не могли разобраться в ней. У нее была хорошая кожа лица и неровные пряди побелевших волос. Одета в габардиновое пальто, обута в грубую дорожную обувь. Трудно было определить, старая она или еще молодая, элегантная или смешная. Они вглядывались и старались понять, всерьез приехала она или так...

Ее поместили в лучшей избе деревушки, рядом с которой строилась центральная усадьба совхоза. Это была вместительная украинская хата, но уже набитая до невозможности. Семья хозяев состояла из семи человек, а у них жили разделенные ситцем старший механик с женой, начальница склада, техник связи, бухгалтерша... Они втайне подивились новой соседке и заспорили с нею о топчане. Топчан был единственным, ни одна женщина не соглашалась занимать его безраздельно, на нем спали по очереди. Теперь его хотели предоставить приезжей. Она отказывалась, а женщины дружно настаивали. Отдавали они койку не с тем, чтобы другая лучше спала, а потому, что сами

не смогли бы заснуть на ней, если бы эта другая лежала рядом на голом полу.

Приезжая привезла с собой ящик с тетрадками для историй болезни, портативный аппарат для просвечивания и очень мало подходящей одежды. Ее платья, туфли, белье были такими, что здесь не наденешь... И хотя они стоили, видимо, дорого, приезжая не дорожилась ими. Они лежали в ее чемоданах мятыми, скомканными. Она набросала их между толстыми медицинскими книгами, какими-то колбочками, коробкой с электрической плиткой. Она была явно небрежна к себе, что редко бывает с врачами. В ее возрасте можно было сложиться поаккуратнее и подготовиться к дороге обдуманней. А у нее не было с собой даже шапки-ушанки...

Документы она засовывала тоже как попало, на скорую руку. Не отобрала их заранее и только в самый последний момент, уже упаковываясь, запихивала между вещами... Однажды, после того как она доставала что-то из чемодана, женщины нашли на полу телеграмму, в которой ее поздравляли с присвоением степени кандидата медицинских наук. Телеграмма была уже давней, и под ней стояла подпись профессора, имя которого слышали многие...

Заспорили, что могло привести сюда такую ученую... Зачем ей понадобилось стать заведующей совхозной больницей, которую еще требовалось сначала построить, чтобы было чем тут заведовать... Поссорилась с кем-нибудь на прежнем месте работы? Но она могла бы, не покидая Москвы, перейти на другое... Увлечлась призывами развивать новый край? Но она не улыбалась, не слушала радио, не читала газет, не благоговела перед словами...

Женщины были прямолинейны и просты. Каждая обычно сразу рассказывала о себе почти все, что другие хотели услышать. А эта молчала. Если же говорила, то не о себе... Однажды бухгалтерша не выдержала и прямо спросила Валентину Ивановну, почему она приехала к ним. Валентина Ивановна ничего не ответила, а потом вышла из хаты под проливной...

Больше ее никто не расспрашивал...

И вообще находиться с ней в общей комнате было неприятно и трудно. Она, видимо, не осознала еще, что скученная жизнь должна быть пещерною жизнью и что здесь нельзя будет вести себя так, как в Москве. Не хотела понять, что лучшей товаркой на целине считается та, которая не покидает свои две половинцы... Придя с работы, надо было скорее ложиться. А Валентина Ивановна не могла лечь не помывшись, не переодевшись. А когда ложилась, то не спала. Даже когда тело ее засыпало, что-то в ней оставалось неспящим. Это чувствовалось, и это нервировало.

А для нее самой эта мертвая тишина, эта прикованность к месту, это окружение женщин, спавших и сбоку, и в головах, и

в ногах, были пыткой. В Москве она порывалась развязаться с собой. Не знала, куда деться с жизнью. Потом мгновенно решила, что деться надо за тысячи верст, в эту избу. А в этой избе не знала, куда деться с телом. Куда поместить его, чтобы оно не мешало другим? Чтобы другие не находились впритык? Чтобы не надо было неслышно дышать... Чтобы можно было вскакивать, бегать по комнате, садиться на пол и выть...

Иногда она не выдерживала, перелезала через спящих людей, выходила наружу. Там было холодно и совершенно темно. Не светилось ни одного фонаря. Она вглядывалась и вглядывалась в непроглядную ночь, пока та ей не закрывала глаза...

Наконец приходило долгожданное утро. Оно было студенее ночи. Холод дышал на людей отовсюду, проникал под одежду, в легкие, в кровь. Степь покрыта была завесой тумана. Машины и люди возникали в нем неожиданно, словно из-под земли вырастали. Из-под земли вставало и солнце. Оно не спешило вынырнуть сразу, а сначала лениво приподнималось где-то далеко-далеко, постепенно золотило туман, расширялось и нехотя всплывало наверх. Валентина Ивановна садилась в кабину...

Наступали пьяные вихревые часы. Пьянил ветер. Пьянила скорость, с какой вел грузовую машину безудержный шофер. Пьянило пространство.

Иногда в пустыне попадались селения. Это были палатки, напоминавшие издали большие грибы, и ряды щитовых некрашенных домиков, цвет которых сливался с пшеницей... Тогда шофер что-то сгружал, нагружал, а Валентина Ивановна искала больных, выслушивала, выстукивала, вынимала из чемодана лекарства. Потом снова садилась в кабину. Ехала к другому поселку...

Люди в ту пору жили здесь первобытно. Многие обходились без крыш. Спали не раздеваясь. Ели за врытыми в землю столами и торопились подносить ложки ко рту, чтобы ветер не расплескал содержимое. Лица здесь зарастали. Кожа грубела. Белье становилось пепельно-серым. Одежда теряла формы, цвета. Здоровье и воля подвергались затяжным испытаниям... Одним словом, дикая степь!.. Но когда Валентина Ивановна выходила в эту степь из кабины, земля начинала тихо качаться. Валентина Ивановна делала несколько шагов и останавливалась, чтобы успокоилось растрясенное на рывтинах тело. Но головокружение проходило не сразу, и тогда она понимала, что оно не от грядки, что это ей катились навстречу и волнами переливались хлеба. Воздух дурманил. Хлебное поле в тот год было необозримо, как море. Валентина Ивановна шла по безлюдному берегу, и ей не верилось, что море это создали люди. Казалось, будто оно такое от сотворения мира, а человек тут вообще ни при чем. И думалось в эти минуты, что можно лечить не только лекарствами, что лечить нужно благоуханиями, лечить нужно степью.

Впрочем, она вовсе не знала, как здесь лечить. Не знала, с чего и начать.

Эти разъезды по поселкам совхоза были лишь поиском. Начальным, беспомощным. Это стало ясно с первых же дней. А потом, когда переменялась погода, она поняла, что ездить надо вообще не сюда...

Переменялась погода... Как бестревожно звучит это в городе. И как щемяще в степи!.. Уж на что безразлична была ко всему окружающему Валентина Ивановна, не искавшая ни солнца, ни печки, а и ей мучительно захотелось однажды сухого угла... Это произошло в конце августа, далеко от центральной усадьбы совхоза, на обычной безлесной дороге, превратившейся в неодолимую топь. Машина погрузилась почти до борта. Колеса совсем скрылись под жижей. Она затопила шасси, стала искать себе лазы в кабину... Случилось это в унылые сумерки, а тягач пришел потом только утром. Машину вытаскивали до следующих сумерек... Валентину Ивановну парни вынесли на руках из кабины, поставили в стороне от дороги и накрыли брезентом, как статую. Брезент быстро промок, вода нещадно хлестала по телу, а уйти было некуда. Женщина стояла так много часов. Несколько раз она засыпала. Это не был тот степной сон, который часто обнимал ее, вместо ночного, на сухой дороге, в кабине. Нет, это сосуды мозга сжимались. В эти секунды она тонула в Черном море, у мелкого евпаторийского берега, на который возила лет пятнадцать назад свою доченьку... Море захлестывало, женщина вскрикивала, шофер оглядывался, и море отпускало ее...

Это были одни только сутки... А люди, которых она хотела лечить, находились под дождем непрерывно. В палатках, на дорогах, на поле. Буквально жили в воде. В воде пытались хлеб убирать, в воде разбухшую землю пахали, скот кормили, дома строили, машины чинили... Нигде в других местах не могло быть такого. Всюду над головами есть кровли, под ногами — полы. Дождь не льет там прямо на человека. А здесь некуда было бежать, нечем укрыться, нечего себе подстелить...

Согреться тут невозможно было. Нигде никакой сухой щепочки, чтобы костер разжечь. А если и раздували его общими силами, напрягая легкие так, что потом ныла грудь, то все равно заливало...

Ну как тут можно было лечить! И что мог сделать врач, когда заболевшие люди металась в жару на мокрой земле...

Правда, недели через три дожди перестали, наступило затишье. Все в совхозе, включая даже бухгалтершу, бросились скорее хлеб убирать. Дождавшись наконец ясной погоды, люди теперь целыми сутками не отходили от комбайнов и жаток, не покидали токов... Но в самый разгар их лихорадочной деятельности начался снег... Неубранный хлеб оказался под глубоким покровом. Люди не отступили. Работавшие, казалось, из последних сил, они нашли в себе новые. Превратили уборку из

летнего в зимний труд, но не изменили себе. Тогда задули обозленные ветры. Безудержные, вьюжные, снежные. У них не было здесь ни малейших препятствий, они не смирялись ни лесом, ни стенами и хлестали людей, как кнуты. Хлестали, чтобы выгнать пришельцев...

Нет, ничего не могла бы тут Валентина Ивановна сделать, имей она хоть десять чемоданов лекарств! Теплые комнаты нужны были этой молодежи, а не порошки! Они глотали эти порошки, даже упорно глотали их, но жар не спадал... И плохо, ох как плохо было, что жар переносили они на ногах...

— Дайте-ка и мне порошка,— попросил однажды шофер, возивший ее по больным.

Его звали Сеней. Ему было двадцать. Иногда выглядел старше. Был небольшого роста, курнос и не очень пригляден. Неинтеллигентность лица он усугублял еще сам, отпуская на лоб нелепую гривку. Он мало говорил, ухмылялся... Умел по неделям не вылезать из машины, безропотно возя самые разные грузы, и умел однажды ловко поймать чужого цыпленка, в одно мгновение скрутить ему шею и сунуть в карман... Цыпленок этот принадлежал хозяйке Валентины Ивановны. Когда женщина увидела эту сцену в окно, вылетела во двор и набросилась на шофера с руганью, тот засмеялся и выбросил задушенную птицу на землю.

Валентина Ивановна проводила с этим шофером все свои дни. Их жизнь протекала в общей кабине. Женщина удивлялась ему. Он словно рожден был для этого грузовика и для этой степи. Водил свою машину в любую погоду, а когда застревал с нею, то сквернословил, но не отчаивался. Он мог отыскать в голом поле еду, выкурить сусликов из невидимых нор, рассесть ударом лопаты змею на дороге, подоить матку верблюда. Этой сноровкой и ловкостью он вовсе не хвастался, да и не считал их достоинствами, они обнаруживались в нем постепенно, как открывалось и еще кое-что...

Сеня приехал в степь лишь три года назад, но успел разведать в ней столько вещей, сколько другой не узнает за целую жизнь. Чувствовал он себя на этих просторах совершенно уверенно. Знал дороги не только в деревни, лежавшие за пятьдесят или семьдесят верст, но и в города, до которых надо было добираться несколько суток. Знал, в какой стороне этой равнины, где за день не увидишь и кустика, можно раздобыться дровами. Знал, где есть песок и где камень. У него не было карт или других указателей, доходил он до всего только чутьем и необыкновенною памятью, но на них можно было вполне полагаться. Валентина Ивановна поражалась этим своеобразным способностям. Она не понимала, как можно так решительно мчаться по голой степи, где все кругом одинаково, где нет ни дорог, ни щитов, ни хотя бы каких-то примет. Когда она выска-

зала ему свое изумление, он был польщен и ответил, что дорог тут действительно нет, а какие есть, те он сам и наездил.

Но способности Сени были многосторонними...

Однажды, когда они возвращались из поездки домой, дорога тянулась почему-то дольше обычного. Валентина Ивановна спросила его, не сбились ли они случайно с пути. Он ухмыльнулся и ничего не ответил. А затем они приехали не на усадьбу совхоза, а в казахский аул. Сеня вытащил сверток, спрятанный у него под сиденьем, зашел с ним в какой-то двор и возвратился с большим, но легким узлом. Валентина Ивановна поняла, что в узле была шерсть. Ну что ж, ему ведь нужны были и теплая фуфайка, и носки, и шлем против ветра... Но через несколько дней, будучи в украинской деревне, Сеня получил здесь бидон, от которого пахло сивухой, и отдал за него эту самую шерсть, но только умятую, лучше завязанную...

В другой раз он поступил еще удивительнее: заставил Валентину Ивановну ездить с ним за... голубями. Правда, дорога к ним была хороша. Можно было подумать, что ее специально накатывали. Она шла по скошенному хлебному полю, и по обе ее стороны вплотную лежала стерня. Но зато навстречу и с боков свистел ветер, а в дверце кабины выбито было стекло... Ветер был такой силы и мчался с такой дикой скоростью, что пригибал затвердевшие короткие стебли давно срезанной и увезенной пшеницы. Давно ко всему притерпевшийся Сеня застегнул на этот раз ворот и весь посинел. О Валентине Ивановне и говорить не приходится. Но она была уверена, что шофер едет по делу, выполняет что-то порученное. Как же она возмутилась, узнав о действительной цели поездки! Оказалось, что возле какой-то деревни казахи однажды просыпали просо и теперь туда слеталось много степных голубей. Мальчишки расставляли здесь западни. Сеня приехал пожить уловом...

Еле сдерживаясь, Валентина Ивановна сказала ему, что он нагл. В ответ Сеня наговорил дерзости и посоветовал ей не кипятиться. Остальную дорогу оба молчали. А на другой день он держался как ни в чем не бывало и стал угощать на привале жареным голубем. Ее гнев испарился... Его поступок и дерзости показали теперь просто мальчишескими. Ел Сеня некрасиво, чавкая, с открытым ртом, который утирал рукавом, но зато с таким здоровым молодым аппетитом и с таким торжеством, что Валентине Ивановне стало смешно и она не могла не простить его... Было ясно, что он очень соскучился по вкусному, жареному. Ведь здесь и вареное было мало затейливым... Лишь однажды, когда кончили уборку и устроили по этому случаю праздник, была создана «пельменная бригада» из девушек, которые секли, молотили, терзали мясо на фарш и налепили потом чуть ли не десять тысяч бесформенных, но зато сочных и больших колдунов. Тогда все пиروвали. Летом же было не до того... А шоферы вообще редко ели горячее... Комбайнерам и тракто-

ристам привозили в термосах щи, но шоферы оказывались в это время на станции, на элеваторе, в рейсах... И когда Валентина Ивановна обо всем этом вспомнила, поездка за голубями представилась ей попросту шалостью.

Ее отношение к этому парню все время менялось, и она не знала, как следовало к нему относиться. Сеня подбрасывал ее рано утром в какой-нибудь отдаленный поселок, и пока она была у больных, он уезжал с парнями на солонцы, успевал набросать в машину песка, где-то скинуть его и снова подвезать за нею. Он отвозил ее в следующий поселок совхоза, а сам отправлялся с людьми куда-нибудь за камышом или даже на станцию, откуда забирал тяжелые ящики или животных: то племенных свиней, то каких-то особо удойных черно-пестрых коров. Для этого груза он специально оборудовал кузов и с полным кузовом заезжал за нею на обратном пути. Иногда она еще не успевала закончить осмотр, а он уже возвращался из далекой поездки и, дожидаясь ее, играл с парнями на капоте машины в домино или шашки. Она видела, что он равно умело управляется с самыми разными грузами и удивительно быстро преодолевает все расстояния. Тогда она признавалась себе, что среди знакомых ей москвичей таких парней не встречала. А потом он позволял себе какую-нибудь новую выходку, — например, забываясь, так мерзко ругался при ней, что она готова была вообще убежать, — и становился ей отвратителен.

Однажды он довел ее даже до слез. Это было после поездки в город за сто сорок верст. Возвращаясь назад, шофер опять заехал в аул. На этот раз не за шерстью... Он остановил машину возле какого-то дома и протяжно несколько раз просигналил. В окне показалась молодая казахская женщина... Улыбнулась, исчезла, а потом Валентина Ивановна видела, как она прошла по двору и поднялась там на какой-то чердак. Обождав для приличия две-три минутки, по этой же лесенке поднялся наверх и Сеня... Парни, оставшиеся в кузове с грузом, заготовали. А Сеня исчез и забыл возвратиться... Парни ушли бродить по аулу. Валентина Ивановна сидела-сидела в кабине и вдруг рыдалась. Никогда еще не бывало, чтобы с ней так не считались, так унижали ее! Каким надо было быть жестоким и грубым, чтобы так не уважать в ней врача, пожилую женщину, мать... Как она его в этот момент ненавидела! И, ненавидя, не понимала, что должна быть благодарна ему за эти слезы и за самую ненависть, выводившую ее из безысходного, в чем все время жила...

А шофер был не слишком чуток, не слишком догадлив и не подумал о ее состоянии. Обычно он мало рассказывал, а на этот раз, возвратившись, начал непринужденно болтать. И о чем? О кормах! Да, он стал объяснять, что это только совхоз силосует теперь всякую всячину и заготавливает на зиму сено, а раньше скот у казахов часто погибал от бескормицы... Здесь

мало хороших лугов, да и не приучены были люди накашивать... Редко кто сушил травы... Двор, в котором он сейчас был, — единственный, в котором есть сеновал... И какая же это чудесная штука! Как там тепло, душисто и мягко... Не то что в совхозе... Вот бы где жить!..

Валентина Ивановна принуждена была слушать...

Но на этом оскорбления еще не закончились. Когда Сеня прекратил болтовню, стало темнеть. Вечер, как это всегда бывает в степи, опустился мгновенно. И так же мгновенно Сенино ухо уловило в шуме мотора неладное. Сеня сейчас же остановил его, поднял капот, стал что-то отвинчивать, смотреть, проверять. А тьма наваливалась с каждой минутой, и все понимали, что это значит — ведь кругом ни дома, ни человека... Наконец Сеня устанувил, в чем неисправность. Для починки ему понадобилось отсечь от какого-то болтика кусочек металла. Стал возиться с ним уже в темноте. И вдруг громко вскрикнул.

Валентина Ивановна ненавидела Сеню, но она была врачом. И, увидев, как из пальца у него хлещет кровь, она быстро наложила на руку жгут и хотела перевязать рану чистым платком. Но вместо этого Сеня взял кусок земли, посплюнявил, размял и облепил ею пораненный палец. Тщетно Валентина Ивановна объясняла, а потом возмущенно кричала ему, что это невежество, дикость, что он заносит инфекцию, может вызвать столбняк. Сеня грубо сказал ей, чтобы она оставила его с ее медициной в покое.

И вот этот парень сам попросил у нее теперь порошок.

Значит, почувствовал себя очень уж плохо...

Она внимательно посмотрела на него. Воспаленные глаза, мокрый лоб.

— Что болит? — быстро спросила она.

— Ничего такого... Вот только горло...

Она заставила его сунуть под мышку градусник. Он возражал не очень уверенно. Оказалось, тридцать восемь и семь. А в горле была злая ангина.

— Зачем вы выехали сегодня? — сказала она. — Надо сейчас же возвращаться домой.

— А я дома, — ответил он, усмехнувшись.

Она не поняла и спросила, где он живет: на усадьбе, в сборном доме или в деревне. Он промолчал.

— Где? — переспросила она.

— А нигде, — сказал он.

Она снова не поняла. Тогда он объяснил, что ночует в машине.

Это потрясло ее. Она была совершенно уверена, что он живет, где и все. Ей еще не приходилось слышать, чтобы человек жил н и г д е. На все времена года нигде...

Ее ужас развеселил его. Он объяснил, что это лучше жизни в палатке, что ему даже завидуют. Машина стоит под навесом.

Кузов — это не сырая земля... Когда он приехал, в соседнем казахском колхозе закончили строить дома, сняли старые юрты... Он достал тогда много войлока... Лучшей постели не надо... Завернуться в кошму — это мягче, чем спать на матраце, теплее, чем под одеялом... А кружка и ложка у него всегда при себе... В каждом поселке совхоза есть свой общий котел. И никогда не отказывают...

Да, она видела эти котлы. И людей, которые собирались вокруг. С необыкновенно большими руками. Кисти рук здесь почему-то росли. Оттого, очевидно, что постоянно распрямлялись, сгибались... Они становились и неотмываемо черными... Валентина Ивановна казалась себе тут единственной белой. Моментами ей становилось даже неловко за свою светлую расу. Хотелось быть тоже цветной, голодной, усталой, улыбчивой. Вынимать из кармана свою деревянную ложку. Кричать поварихе: «Подбавь!» Быть у нее дежурной помощницей и мыть чугуны после ужина. Потом танцевать вокруг погашенной печки. Отяжелевшими за день ногами, но танцевать. Под пластинки, которые заменяют здесь крыши, кровати и обеденный стол. Пусть крутит ветер, но только бы крутились пластинки! Пусть рвет он с голов косынки и шапки, но пусть рвется из ящика музыка!..

Как немного им надо! Как этим людям легко! Как им невероятно тяжело и легко!

Ей казалось, что у них почти нет потребностей. Потому такая выносливость, такое терпение... Потому и это пшеничное море, на которое она глядела, не веря, что его мог создать человек... Да, с такими сделаешь все...

И вот теперь этот Сеня... Два с половиной года без крова... А приехал, когда создавался совхоз... Он из тех, кого здесь зовут первоходками. Сначала работал на тракторе, привозил со станции щитовые дома. В трескучие морозы, на свирепом ветру. Теперь будет шлак возить. Стены шлакобетонных домов засыпаются за две-три недели. На усадьбе уже много таких. К октябрю Валентина Ивановна переселится в отдельную комнату. А себе он не выпросил даже и нар... И это шофер! Человек, от которого зависит в степи все и вся!

— Я ж еще холостой, — объяснил он ей свою скромность.

На его взгляд, в помещениях должны были жить только семейные. Парни же могли быть и так... «А спал ли ты вообще когда-нибудь на собственной кровати?» — подумала вдруг Валентина Ивановна.

— Вам надо сейчас же в постель, — сказала она. — Но куда? Едем назад в усадьбу.

— Ну вот еще, — ответил он. — Дайте только лекарство от горла.

Они все были такими. Взрослые, а не лучше детей. Не понимали, что болеет весь организм.

— Едем, или я сама сяду за баранку, — сказала она.

— Дорогу не найдете, — ухмыльнулся он.

Директор давно обещал ей дать в будущем году под больницу любой из построенных шлакобетонных домов. Правда, пока это были лишь стены и она слышала, что им надо два года сохнуть, но он уверил ее, что Казахстан — не Россия, что в степи уже с мая наступает жара, и не только стена, а целое озеро может здесь в одно лето просохнуть. Но теперь, везя Сеню, она поняла, что с больницей нельзя больше ждать...

Когда она заговаривала о больнице, директор упрекал ее в суетливости. Говорил, что большинству рабочих совхоза — двадцать пять — двадцать семь лет, что в этом возрасте редко болеют, а если болеют, то в несколько дней поправляются...

Она тщетно возражала ему. Напоминала, что люди здесь все время то на снегу, то на ветру, то под ливнями, и это не может не сказываться... Конечно, инфарктов тут нет, а от ангины выздоравливают, но ангины оставляют свой ревматический след... Она уже видела здесь начальные поражения суставов и сердца... Видела, как появляются аппендициты, гастриты, как нарушается кровообращение, воспаляются бронхи и плевра... Да, люди молоды. Но им надо помогать сохранять эту молодость.

Директор не был упрям. Но ему еще не отпустили средств на больницу. И поэтому он перечислял ей постройки, которые для сохранения молодости были неотложней, важней.

— Больница, — уверял он, — требуется время от времени лишь единицам. А столовые, клубы, бани и прачечные нужны каждый день всем.

И чтобы не ссориться, выдавливал к концу разговора улыбку:

— У нас демократия. Решает вопрос большинство. Это значит — директор, секретарь, управляющие отделениями, специалисты, бухгалтер. Но высшая форма демократии — это еще не полная демократия. При полной будут считаться и с меньшинством. Подождите годик-другой до этой полной, Валентина Ивановна...

В этом тягостном споре за ним всегда оставалось последнее слово. И он был по-своему прав. По-мужски. И по должности. Но теперь Валентина Ивановна остро почувствовала, что нельзя больше подчиняться его правоте. Больницу надо было устроить сейчас же, немедленно, несмотря ни на что...

Она подъехала на грузовике прямо к конторе, не велела Сене выходить из машины, потребовала от директора прервать совещание и объявила, что у шофера Клочкова... обнаружила сейчас... дифтерит. Дифтерит она заподозрила еще у четверых на участке...

Заволновались все сразу...

У главного агронома был мальчик. У зоотехника девочка. У секретаря партийной организации — двое...

Под изолятор сейчас же отвели большой сборный дом, в ко-

торый должны были въехать семьи специалистов и Валентина Ивановна. Все стали требовать, чтобы за больными был и больничный уход, чтобы они ни с кем не общались... Директор отправил в город машину за кроватями, тумбочками и постельным бельем. Валентине Ивановне он дал свою легковую, чтобы она скорей привезла медицинскую сестру и все нужное. На все в тот же час нашлись деньги...

А когда больница была оборудована, аппаратура в ней установлена и лекарства закуплены, оказалось, что Валентина Ивановна ошиблась в диагнозе...

Мне случилось ездить по казахской степи в тридцатых годах. Люди встречались здесь тогда реже, чем звери. Я видел беркутов в небе, черепах на земле, видал даже незнакомых животных, в ужасе мчавшихся от более сильного зверя — машины, но вот человек не попадался мне иногда на пути целый день. Пустынно, нетронуто было в степи. Я знал, что где-то поблизости здесь бродят кочевники, а все же казался себе первым человеком, появившимся в этих местах. А уж в том, что мой автомобиль был здесь первым, — сомнений вообще быть не могло.

Прошло четверть века. Степь начали настойчиво заселять и запахивать. Раньше жизнь гнездилась лишь в тех немногих местах, где из травы проступал камень или пробивалась вода, а теперь селения стали устраиваться прямо на ковыле и полыни. В каждый из годов середины нашего века стали закладывать столько поселков, сколько не появлялось раньше в столетия. Не удивительно, что пустыня, окружавшая вначале совхоз, в который приехала Валентина Ивановна, становится не такой уж пустынной и рядом с этим хозяйством возникают другие. А раз они возникают, то сборный четырехкомнатный дом, служащий в настоящее время больницей, вскоре станет снова жилым. Вместо первой, карликовой, куцей больницы будет построена большая, межсовхозная, типовая, тридцатипятиместная, обязанная своим появлением не хитрости Валентины Ивановны, а общему согласию, фондам и смете.

Приезжие удивятся, встретив такое лечебное учреждение в далекой степи. Его не отличишь от городского. В нем будут отдельно помещаться терапевтические и хирургические больные, дети и роженицы. В нем будут врачи по всем специальностям — невропатолог, гинеколог, ларинголог и прочие. В нем будет аппаратура, разгадывающая болезни точнее, чем это делают пальцы и ухо врача. При нем будет большое хозяйство — лабораторное, кухонное и бельевое... В нем будет... При нем будет... Многое...

А в первой совхозной больнице было лишь отчаянно малое. Один-единственный врач. Одна-единственная сестра, она же ла-

борантка, она же аптекарша. Одна-единственная санитарка, она же уборщица, она же и повариха.

Лечить десятки тяжелых больных в столичной клинике было, оказывается, очень легко. Лечить нескольких несложных больных в самодельной больнице оказалось сверхтрудно.

Нельзя сделать половины анализов... заглянуть в историю болезни... произвести разные нужные пробы... позвать коллегу на консультацию... посоветоваться на конференции...

Некому предписать, некому поручить, все надо самой... Санитарка не слышала о септике и антисептике... С изумлением смотрит, как кипятят инструменты... На совхозной кухне — только общие блюда... Ничего для больных... Нужно получать продукты, хранить их, самим варить и тушить... Самим быть фармацевтами, составлять смеси, развешивать порошки, готовить настои... И одновременно ездить по отделениям, где одна фельдшерша на четыре поселка... И принимать на усадьбе...

Здоровый человек может стать в таких условиях нервно-больным. А для человека, у которого все внутри истерзано, вырвано, умерло, эти непрерывные заботы — целение...

Сене непривычно было лежать... Очень скучно. Особенно к вечеру. Лампочка у потолка была тусклой. Или накал очень маленьким. Не считаешь... Да Сеня и не был любителем чтения. Когда Валентина Ивановна заметила это, он не знал, что ей ответить, а потом минутку подумал и объяснил свое равнодушие к книжкам тем, что в них нет ничего про настоящую жизнь. В действительности же виноваты были не книги — Сеню просто не приохотили к ним в свое время... Ему скучно было и оттого, что соседи по койке читали... На полях, на стройках, в землянках им не часто выпадала такая возможность, и теперь они кейфовали. Сеня досадовал, что подобрался неинтересный народ... Он пробовал заигрывать с медицинской сестрой, но она его шуткам не отвечала. К тому же ей всегда было некогда.

Сеня смотрел на эту сестру, на Валентину Ивановну и чувствовал, что он их делом заниматься не мог бы. Не мог бы целые дни выстукивать, щупать, горла смотреть... И хорошо еще, когда горла... Все время возиться со шприцами, склянками... Щуриться у микроскопов... Иметь дело с кровью, с мочой... Гадать, почему, отчего... И по двадцать раз в день мыть мылом руки... Тоска! То ли дело ездить туда-сюда по степи! Простор, воздух, движение! И работка сразу вся налицо!

Сначала Сене было приятно на койке. Он находился тогда в жару, был слаб и целый день спал. Сестра впрыскивала ему пенициллин, а он в дреме пытался смахивать эту муху рукой... Но за двое суток он отоспался и койка стала узка. Он начал просить Валентину Ивановну выпустить его на свободу. Но она знала, что его некуда выпустить... А в степи было выжужно. Могла сразу загноиться миндалина... И Сеня остался в больнице, страдая здесь от безделья.

Вот в эти-то невеселые дни Валентина Ивановна сделала несколько незаметных ошибок и превратила шофера во врага своего.

Всякий, кого несчастье приводило в больницы, знает, что быт в них везде одинаков. Но в больнице, устроенной Валентиной Ивановной, быт еще сложиться не мог. Сюда входили и выходили без пропуска и во всякое время. Сестра и санитарка спали в женской палате вместе с больными. В мужской палате курили, и с этим ничего нельзя было сделать, так как курительной не было. Не было и камеры, где хранилась бы одежда больных, висевшая прямо в палатах на вешалке.

Простецкие нравы царили и в комнате, которую всегда называли по-разному, так как в ней делалось разное... Здесь Валентина Ивановна принимала больных, и тогда это была *поликлиника*. Здесь она с сестрой занималась анализами, и комната становилась *лабораторией*. Если же надо было делать больным переливания, перевязки, зондирования, их приглашали идти в *процедурную*. Ночью Валентина Ивановна ложилась здесь в закуточке за ширмой и комната превращалась в *дежурку*. А так как дежурную никто не сменял, то закуток стал ее *спальней* и она перенесла сюда часть вещей...

В этот-то закуток и заглянул однажды Сеня Ключков. Заглянул не с какою-то целью, а просто со скуки. Сначала он разгонял ее в женской палате, а когда его оттуда прогнали, побрел поболтать с медицинской сестрой. Но дежурка оказалась пуста. Зато за ширмой, куда Сеня тоже сунул свой нос, оказалась на столике фотография девушки с такими глубокими, все понимающими, спокойными, большими глазами, что Сеня застыл... Глаза были строгие, недосыгаемые... Но Сеня смотрел бы в них и смотрел...

Он долго держал в руках карточку и понял вдруг, что с нее глядит на него Валентина Ивановна...

Это была, наверное, ее фотография, сделанная лет двадцать назад.

Сеня тихо ушел.

Валентину Ивановну он видал ежедневно, подолгу. Он привык к ее черным мешкам под глазами и не видел сами глаза. А они и сегодня были хороши. Не такие красивые, как на фотографии, но все-таки большие-большие. Только стали безрадостные... И волосы у нее тоже пышные, мягкие, как у той девушки... Несмотря на белые кустики... Другая покрасила бы и казалась красивой... А руки какие у нее... Тонкие, с длинными пальцами...

Он стал выискивать, находить и любить в ней ту девушку... Любить, конечно, не по-мужски, а какой-то новой, печальной, почтительной, незнакомой любовью. Он смотрел, как она сидит за

микроскопом, разбирает лекарства, что-то записывает, морщит маленький, прямой тонкий нос, опускает ресницы, и ему было стыдно за то, что он позволял себе... А когда она нагибалась над ним, прикладывала ухо к груди, прикасалась к нему, его хватывала преданность к ней, ему хотелось бережно целовать ее руки, сделать для нее что-нибудь большое, хорошее...

Валентина Ивановна ничего этого не подозревала, не ведала.

Ей было сорок семь лет. В этом возрасте редко могут быть радости. Бывают лишь благодарности. А она не искала и благодарностей. Ничего не искала. И ничего не ждала. Ждать было нечего... Еще недавно она была моложава, красива. И ей приятно было слышать об этом. Потом сразу сгорбилась... Раньше ее весело спрашивали: «Почему вы не выходите замуж?» Потом ей со вздохом сказали: «Эх, почему вы замуж не вышли!» Но она не жалела. Не могла бы переносить сейчас рядом с собой кого-то чужого. А раз не вышла, значит, все были чужие...

И самые разговоры, самые мысли о каких-то привязанностях были бы сейчас просто кошунственными. Скажи ей кто-нибудь, что она ему нравится,— все равно, в чем и как,— она была бы ранена, оскорблена... А о шофере и говорить не приходится. Этот мальчишка годился ей в сыновья. Притом еще в младшие. И он был таким примитивным, что Валентина Ивановна обижалась за медсестру, когда он с ней заговаривал...

Да, этот парень отличался своей примитивностью от многих других рабочих совхоза. Те учились в школах, росли в семьях, к чему-то стремились. А этот... Бог его знает, где он воспитывался, среди кого находился. Однажды Валентина Ивановна слышала, как он рассказывал соседям по койке о том, что делал, когда учился в ФЗУ, был подростком: «Продав одеяло, подушку, спецовку, не пошел на работу, лежал в одних трусах и жрал шоколад». Или: «Я уколы не чувствую. У меня ягодица с детства приученная. Мне восемь лет было, когда один сторож засмолил в нее из берданки горохом. Я тогда неделю лежал»... Возможно, что позже он побывал и в местах, откуда можно было вынести все, кроме любви к сторожам... Его плутовские проделки сейчас, во время поездок, это уже только остаточки, шалости. При таком детстве, таком прошлом, такой жизни, как у него,— без очага, под навесом,— его поступки можно понять, но и только... Он способен к трудной жизни, у него есть и особенный топографический дар, есть степное чутье, но никаких добрых чувств, никаких интересов, весь на виду...

И Валентине Ивановне не могло прийти в голову, как больно уязвлен, как глубоко обижен был этот примитивный шофер ее поступками, вытекавшими из этой оценки...

Сначала это произошло из-за Булаева, из-за рентгена...

Булаев поступил в больницу с сильной болью в ноге. Валентина Ивановна нащупала у него трещинку около самой ступни и взяла ногу в гипс. Потом боль прошла и Булаев поднялся.

Он был правильного сложения, рослый, крепкий, но не громоздкий. Чувствовалось тело спортсмена, а не грузчика, не такелажника. У него было хорошее лицо и волосы не спадали на лоб, как у Сени, а зачесывались строго вверх. В отличие от Сени, он говорил совершенно правильно, чисто. Булаев окончил механический техникум и возглавлял бригаду ремонтников. Из мастерской каждый день справлялись о нем. И справлялись не потому, что нужны были его рабочие руки. Людей там хватало и без него, так как механизаторам некуда было больше деться зимой. В совхозе еще не создали тогда ни ферм, ни маслодельни, ни других предприятий. Это отражалось на заработках. Немало рабочих с началом зимы даже сбежало вообще. Булаев говорил об этом сокрушенно и резко. Он считал неправильной мысль, будто всего сразу не сделаешь и строить надо лишь постепенно. Нет, все надо было именно сразу! Валентина Ивановна слушала его разговоры и была с ним совершенно согласна. Ей тоже в областном центре сказали, что надо будет устроить сначала зубной кабинет, потом хирургический, потом по женским болезням... Но разве люди болеют по плану, по очереди?! Это казалось ей полным неумением устраивать жизнь... Вообще с Булаевым она разговаривала чаще, чем с другими больными. И задерживалась возле него при обходе тоже дольше, чем при осмотре других. Он ей нравился. Как врачу и как матери. Нравилось его здоровое чистое тело, ровный характер, привычка читать... Наблюдая за ним, она убеждалась, что потребности у этой молодежи все-таки есть...

Когда она разрешила ему спуститься с кровати, он стал налаживать ей аппаратуру в больнице. Оказалось, что он мог прочесть любой незнакомый чертеж и быстро ориентировался в самых тонких устройствах. Хотя одна нога у него сейчас не сгибалась и он не ходил, а скакал, Булаев за короткое время сумел пустить в ход все привезенные в больницу приборы. Это вышло у него несуетливо и весело. Сеня видел, что Валентина Ивановна довольна Булаевым, любит его. Превосходство этого парня он и сам понимал...

Но с рентгеном Булаев превзошел сам себя. Это был аппарат сложности номер один, и его устанавливали только специальные техники. Валентина Ивановна посылала уже три телеграммы, прося, чтобы такой техник приехал... Булаев вынул сначала из ящика только паспорт, чертеж и проспект. Долго рассматривал их. Потом извлек какие-то части... «Вы думаете, что можно не ждать никого?» — неуверенно спросила Валентина Ивановна. «Попробуем», — неопределенно ответил Булаев. «А вы не напутаете?» — опасливо предупредила она. «Постараюсь», — сказал он.

Однажды Сеня подошел, постоял, стал всматриваться, захотел в чем-то помочь. «Нет, нет, отойдите, пожалуйста!» — беспокойно сказала Валентина Ивановна.

Сеня вышел из комнаты...

Через два дня Булаев засветил аппарат.

Валентина Ивановна неожиданно для себя самой расцеловала его.

В тот же день Сеня исчез на несколько часов из больницы. Возвратился лишь к ночи. От него пахло спиртом.

Кто его знает, отчего он напился... Оттого ли, что у него самого не было матери или сестры, которая бы его целовала? Оттого ли, что Булаев был ладно сложен и красив, а он нет? Или потому, что в свои двадцать лет он ничему еще не научился?

Валентина Ивановна почувствовала, что шоферу не по себе. Ничего не сказала ему. Не напомнила даже, что это больница... А утром поручила ему резать и красить фанеру. Ей нужны были в окна вставные щиты, чтобы можно было затемнять помещение.

И вот из-за этих щитов...

Фанеру надо было подогнать к оконным проемам тюелька в тюельку, чтобы не было щелочек. Сеня зашел для этого в закуток Валентины Ивановны, тоже прилегавший к окну. Здесь он невольно взглянул на то место, где стояла в прошлый раз фотография. Теперь ее не было. Но на столике Сеня увидел шкатулку. Он взял ее в руки и начал рассматривать. Шкатулка была лаковой. Черной. На ней нарисована была тихо спавшая деревенская улица. Спала она в глубоком снегу. А вверху светились звезды... Это было необыкновенно красиво. Богато. Печально...

Шкатулка была так хороша, что, перед тем как взять ее в руки, Сеня невольно вытер их о штаны... Он держал эту вещь очень бережно и хотел так же бережно поставить на место. Но в этот момент вошла Валентина Ивановна. Кинулась к нему. Вырвала из рук. Прижала шкатулку к груди. Бросила ему невероятно обидное...

Сеня был ошеломлен, потрясен.

В тот вечер он напился безобразно.

Пытался обнять медицинскую сестру, та его оттолкнула, он упал, лежал на полу, плакал и говорил что-то бессвязное... Снял с вешалки свой полушубок и пошел в нем, в кальсонах, без шапки на улицу... Булаев бросился за ним, силой привел. Когда его втаскивали, он брыкался, рвался подражаться. Его уложили, ремнем привязали к кровати. Его волосы спутались, по лицу текли слезы, язык бормотал что-то похабное... Нельзя было смотреть на него без отвращения. Валентина Ивановна подумала, что самый такой вид уже есть преступление, что он должен быть сам по себе запрещен.

Из всякой другой больницы за это выписали бы. Но как выгонять на мороз, если в горле еще держался отек!

— Нет, он останется,— сказала Валентина Ивановна негодовавшей медицинской сестре.

Распорядилась оставить, а самой страшно было даже подумать, чего он хотел лишить ее...

Но остаться не захотел сам Клочков. Проснувшись на рассвете, он все вдруг возненавидел: Булаева, больницу, себя и больше всего Валентину Ивановну. Все спали, он оделся, ушел...

Придя под родимый навес, взял рукоятку, стал крутить и крутить. Ведь от стартера на морозе не заведешь...

В то же утро он повез парней в дальний рейс, за сто пятьдесят километров. По снежной степи, по невообразимому ветру...

Когда Валентине Ивановне сказали об этом, она промолчала. Почуяла, что тут был побег от себя самого... И это делало его немножечко лучшим...

«Холерик,— думала она,— явный холерик.. Весь — один импульс... Способен на все!.. Включая и храбрость... Понестись прямо с койки!.. Туда, где на всем пути ни души... Это даже героиство... Ему все нипочем... Ведь герои — не те, кто думает, взвешивает, а те, кто делает, действует... Хотя, впрочем... не все герои не думают и не все думающие люди бездействуют... А в общем... такие действительно сделают все...»

На другой день она сказала директору, что с Клочковым больше ездить не будет. Заезжать за нею приказали другому шоферу. Клочкову не пришлось заявлять, что он ее больше не будет возить...

И все-таки через несколько месяцев она с Клочковым столкнулась. И снова в больнице. И опять у шкатулки...

Однажды Валентина Ивановна увидела кусок прежней степи. Это случилось весной, когда зима отбушевалась, сугробы оттаяли и заносы наконец прекратились. Она ехала в город, и вдруг дорога пошла первозданною пустошью, которую ни один совхоз еще не распахивал. И наверное, уже не запашет. Она слышала, как теперь поговаривали, что и без того одолевали напрасно слишком много засоленной, непригодной земли... Но пустошь ошеломила ее. Когда она ездила в город раньше, все кругом было черно-бурым или же белым. Теперь в степи простиралось сказочное цветочное царство... Большинство этих цветов Валентина Ивановна никогда не видала. Знакомы ей были только алые тюльпаны и маки да синие поля васильков.

Она не знала, как называются все остальные — золотые, голубые, оранжевые. Да этого и нельзя было знать. И не нужно. Цветов было как снежинок в снегу, как песчинок на пляже. Из них здесь состояла земля. Цветы, цветы, и ничего, кроме них... Это был недействительный, невсамделишный мир. Он слепил, одурял.

Шофер остановил на приволье машину.

Парни стали бегать взапуски, прыгать, бороться, — они всегда делали так на привалах, — а Валентина Ивановна пошла в цветы, вдале, в неизвестность.

Это был особенный мир. Непохожий ни на курорты, ни на подмосковные дачи. Дивный мир, в котором она разрыдалась...

В городе ее ждало множество дел. Она добилась согласия врачей шефствовать над совхозной больницей и составила с ними план ежемесечных выездов. Вскоре должен был приехать гинеколог для профилактического осмотра работниц и фтизиатр... Это окрылило ее. Она почувствовала, что можно будет начать по-настоящему изучать заболеваемость... Почувствовала, что не за горами и время, когда каждого будут проверять раз в квартал... Потом она отбирала оборудование для фельдшерских пунктов. Их обязательно надо было создать во всех отделениях... Высматривала все, что можно было выпросить в местной больнице... Ездил в аптекарский склад, получила препараты против врачей против летних инфекций... Потом, по просьбе здешних врачей, осмотрела нескольких тяжелых больных...

Три дня, проведенные в городе, она не думала о цветах, о степи. А потом ехала степью назад... Оказавшись ночью опять одна, в закутке, она вынула из чемодана шкатулку, поставила на свой крохотный столик, положила на нее пахучий букет, утопила голову в этой пряной траве, обняла траву со шкатулкой и долго-долго сидела так...

И той же ночью привезли в больницу Клочкова. Привез его товарищ — шофер, а свалился он в дальнем поселке.

После того как Клочков ушел из больницы, Валентина Ивановна почти не выдала его. Но он напоминал о себе. Напоминал грубыми выходками. Впрочем, неизвестно было, он ли проделывал эти штуки, или не он. Медицинская сестра, которая сильно невзлюбила его, утверждала, что он. Но Валентина Ивановна не была в этом уверена. Слишком уж нелепы были эти поступки... Так, однажды под окном, возле которого спала медсестра, оказалась привязанной за ногу кошка... В другой раз в палате долго не могли обнаружить причину скверного запаха, а потом выяснилось, что у наружной стены, неподалеку от двери, висел на гвоздике пакетик с прокисшей капустой... Трудно было допустить, чтобы это придумывал двадцатилетний шофер. Скорее, подростки. В совхозе жили несколько мальчиков, добравшихся сюда без путевок. Приехали они за героикой и зимою скучали.

Впрочем, однажды Клочков высказал свою ненависть не за глаза. Лютую ненависть.

Это случилось в столовой. Там не хватило воды, и котел наполнили снегом, взятым тут же, на месте. Валентина Ивановна велела вылить весь суп. Понимала, что оставляет рабочих без первого, но решила, что лучше им недоесть, чем заболеть. Парни пошумели, потом согласились с ней... И вдруг откуда-то взялся Клочков. Не такой безобразно пьяный, как в тот раз, но и не трезвый. «Слушай, старушечка, — тихо и злобно сказал он Валентине Ивановне, не зная, как побольнее ранить ее, — ты брось эти штуки... Брось над рабочими людьми издеваться...»

Она остолбенела, ничего не ответила, повернулась, ушла... Но это было так нелепо, так мрачно, так зло, что не могло быть у Клочкова естественным. Он хотел быть враждебным. Хотел, превозмогая себя...

И вот теперь его привезли. Не храброго, не грубого, не злого, не пьяного, а очень больного. Почти задышавшегося. Нуждавшегося в немедленной помощи.

Это опять было горло. Его скверное горло. Его тонзиллит, склонность к ангинам, жизнь где попало, манера ходить с растегнутым воротом...

На этот раз пришлось делать разрез...

Клочков был свой в степи, и степь была ему тоже своя. И все-таки, когда ей пришлось брать в руки скальпель, она подумала, что в такие необжитые места нельзя посылать с такими миндалинами. Сюда надо безусловно здоровых.

После операции он крепко заснул. И спал почти сутки. А когда очнулся, в нем снова все взбунтовалось. Он не хотел, чтобы она лечила его! Не хотел быть ей обязанным! И решил снова уйти. Сейчас же! Как в тот раз.

Теперь это вообще было проще — не требовалось надевать теплых вещей.

Но, выйдя наружу, Сеня увидел, что в комнате Валентины Ивановны свет еще не погашен. Он невольно посмотрел на просвет в кисее. И увидел такое, что заставило его приковаться глазами. Валентина Ивановна была в ночной пижаме и держала шкатулку... Потом убрала ее в чемодан, заслонила другими... Затем погасила настольную...

Его охватило такое жгучее любопытство, такое трепетное желание понять эти действия, что он задрожал...

Возвратился назад. Тихо лег. Забыл о ненависти, забыл о болезни. Нахлынули сбивчивые нетерпеливые мысли...

Она прятала, боясь грабежа, это ясно было...

Но над чем она так дрожала? Что хранилось в шкатулке?

Что-то небольшое, конечно... И легкое... Но очень-очень важное, ценное...

Сколько он ни ломал себе голову, а небольшими и легкими могли быть только деньги... Или кольца, браслеты, сережки... Вообще капиталы...

Вопреки подозрениям Валентины Ивановны, Сеня никогда не бывал в местах заключения. И не воровал (птица или бензин, добыча которых была делом спорта, не в счет). Но теперь... теперь он готов был своровать капиталы у той, которая сочла его вором. Отомстить! Погулять на ее денюжки, разбросать, расшвырять их! Надсмеяться над этой святошей. Раздарить ее сережки и кольца девочкам!..

Утром Валентина Ивановна пришла в белом халате в палату. Смотрела его горло, долго слушала легкие. И ночная уверенность Сени пропала. То, что в отсутствие Валентины Ива-

новны казалось бесспорным, стало при ней невозможным... Нет, не прятала она сережек и колец...

К вечеру тайна шкатулки стала опять донимать его.

Он решил выследить, вызнать.

Подождал, пока больные заснули, вышел, подкрался к окошку Валентины Ивановны, притаился, стал наблюдать...

Но на этот раз он ничего не увидел. Валентина Ивановна сортировала привезенные с собою лекарства, что-то раскладывала, пересыпала, надписывала... Потом взбила подушку, сняла белый халат... Сеня замер... Но она легла, не вынимая шкатулки...

И вот началась мучительная еженощная слежка.

Он слышал от людей, что есть у них нервы. Про свои он не знал. Теперь стал их чувствовать. Если и засыпал вечерами вместе с другими, то через полчаса просыпался. Нервы приказывали отравляться на пост.

Иногда приходилось ждать очень долго... Он прислушивался, по несколько раз поднимался... А она возилась, возилась.

Наконец он увидел... В тот вечер она вышла в степь. Долго бродила. Потом, вероятно, озябла. Пришла, надела ночную пижаму, отперла чемодан... И все это медленно-медленно, играя на нервах... Достала шкатулку... У него остановилось дыхание... Затем на минутку ему показалось, что прижалась к шкатулке щекой... Потом что-то вынула... Он не успел разглядеть...

На следующий вечер она опять пошла в степь. И опять потом достала шкатулку... Он почуял, что между этим есть связь. Но и на этот раз не успел разглядеть... Увидел только, что прижала к груди... Он лег... Мысли скакали... Ни одну не мог схватить и продумать... Моментами казалось, что она сумасшедшая... Моментами думалось, что это все-таки золото... Потом решил — документы... Какие-то особенно тайные.

А может быть, яд... Для чего-то припрятанный. Для кого-то назначенный... И нападает страх, что найдут...

Он забылся.

А потом застучали. Громко, нетерпеливо, отчаянно. Вскочили все — и больные, и сестра, и Валентина Ивановна. Оказалось, что это примчались за нею. Какая-то женщина не могла разродиться...

Утром сестра ставила градусники. Сеня попросил у нее зеркальце. Ему надо было побриться. «Возьмите у меня в столе», — сказала она и скрылась на кухню. Ей надо было проверить, как санитарка готовит завтрак.

Сеня вошел в лабораторию, и ему бросилось в глаза необычное. Ширма, которая всегда широко расставлялась, чтобы загораживать закуток Валентины Ивановны, была сейчас сдвинута. А на столике без попечения осталась шкатулка...

Он шагнул к ней с бьющимся сердцем... Она была отперта. И совершенно пуста... Если не считать фотографии Валентины

Ивановны. Той самой, которая никогда не уходила из Сениных глаз... Охваченный необыкновенным волнением, он поднял край одеяла... Взял в руки мешочек... Из черного плотного шелка... Мягкий, воздушный... Вертел в руках непослушными пальцами... Мешочек был всюду зашит... Он надрезал лезвием шов... Но щелка была слишком маленькой... Он распорол ее дальше... Там был порошок... Не золотой, не крупитчатый... Черный, мучной...

И он вдруг понял... Не умом, не сознанием... Чем-то другим... И задрожал...

А Валентина Ивановна, войдя, вскрикнула. Слов у нее не нашлось. Ужас отнял слова... Она тихо опустилась на стул...

Он положил неверными пальцами мешочек в шкатулку, поставил ей на колени и вдруг упал перед ними.

У нее не было сил возмутиться, прогнать...

Он стал бормотать что-то бессвязное и сжимал ее колени, как маленький мальчик.

Они оба любили одну и ту же мертвую девушку...

Она не заметила, как положила ему руку на голову...

Никто до сих пор про это не знал. Не знал, что приехала она вместо доченьки, собиравшейся на целину со всей группой... Привезла ее прах, чтобы захоронить его возле себя... И медлила... Медлила оторвать от себя... Медлила с могилой там, где могил еще не было... Пусть кто-то знает теперь, что хранилось в палехском ларчике, который подарила ей к сорокапятилетнюю дочь на скопленную месяцами стипендию... Пусть знает, что именно мать берегла, к чему прижималась щекой...

Она считала свою жизнь с того дня, как родилась ее дочка. Прекратила считать, когда дочка не стало... Кругом были домики — деревянные, саманные, шлакобетонные, — в каждом из них жили люди, и если они были здоровыми, то, значит, чужими... И только сейчас, после насильственно исторгнутой тайны, когда у шкатулки плакал вместе с нею шофер, женщина вдруг почувствовала, как устала она от одиночества, как ей хочется к людям, в тепло...

А Сенино сердце вмещало сейчас столько, как никогда... В нем была жажда. Жажда делать хорошее, отличиться в хорошем. И когда вошла медсестра, когда Валентина Ивановна и шофер поднялись, девушке показалось, что он вдруг покрасивел. Такое неизъяснимо хорошее выражение появилось у него на лице, что оно стало как будто другим.

* * *

Эту историю мне рассказали, когда в нескольких сотнях шагов от центральной усадьбы я увидел обсаженную цветами могилу. Единственную. Мать захороненной девушки жила теперь для того, чтобы могила оставалась единственной. А цветы, объяснили мне, издалика привозит сюда тот самый шофер...



ВСТРЕЧА СО СМЕНЩИКОМ

ШУТНИК

У прилавка толпился народ. Парень протянул продавцу чек через головы. Все завозмущались, заволновались.

— Я со строительства,— объяснил он небрежно.— Спешу на автобус.

Попроси он у людей разрешения, ему уступили бы очередь. Но этот тон еще больше взорвал.

— Не один ты спешишь!

— Нахальство какое!

— Не отпускайте ему, продавец!

— Как ты смеешь, бесстыжий! Мне семьдесят лет, и то я не лезу без очереди.

— Хулиган ты, и больше никто!

— Понаехали сюда вот такие... Молодежь называется...

— Людей прибыли локтями распихивать...

Парень не обратил на ругань внимания и подбросил сучья в костер.

— Молодым везде у нас дорога,— проронил он деловито, всерьез.

Это сначала ошеломило, а потом уж и вовсе вывело людей из себя.

— Готово, Витька, пошли,— подошел к парню приятель, нагруженный свертками, набранными у другого прилавка.

Тогда парень вдруг улыбнулся и объявил бушующим людям:

— Я, граждане, врач по этим болезням,— ввинтил он палец в висок.— Проверяю состояние нервов. Кто как реагирует...

Удаляясь с товарищем, он обернулся и предложил:

— Приезжайте ко мне, буду вам коленки выстукивать.

Публика обалдела. Всем стало немножечко стыдно.

— У него и чека-то не было, — смеясь, сказал продавец. — Он товарища ждал, развлекался...

Люди не знали, начать ли им злиться вдвойне, или тоже вдруг засмеяться. И над кем засмеяться...



Брожу по городу, в котором родился и провел свою юность. По родному и совершенно чужому. Мои сверстники разъехались, поумирали или где-то доскрипывают в неизвестных углах... Всматриваюсь во всех пожилых. Они незнакомы. Узнаю только улицы, и те изменились. Дома, казавшиеся прежде большими, стали маленькими рядом с теми, что выстроены. Нет Интендантского сада. Начисто вырублен. Здесь стояли вековые деревья, были дупла, где прятались дети, и чащи, где укрывались подростки. Теперь тут завод...

Еду на кладбище, ищу родные могилы. Не разыскать... Попадает несколько полузнакомых имен, пытаюсь восстановить по ним связи, но стерлись надписи, стерлась и память моя... Опускаюсь на чье-то надгробье и долго сижу. Все, что сплеталось с моей жизнью, исчезло... Надо подавить спазмы в горле, надо забыть, что это город, в котором и когда-то шумел, надо приветствовать сменщиков...

НЕУЕМНЫЙ

В селении сменщиков нет пока кладбища. Они верят в долгую жизнь. Нет и домов с изразцами голландских печей. Какие затайливые на них кладись рисунки! Камин в спальне дедушки был целым романом, а на плитках в детской изображалась Красная Шапочка... Сменщики обогреваются лишь у костров, у железных печурок... Так им и надо! Мой город славился тем, что в нем не дули сибирские ветры, что даже в крещенский мороз не спирало дыхания, и, выйдя спозаранку из дома, можно было возвратиться к обеду с полным кулем, набитым кедровыми шишками. А теперь орехов — иди поищи, к лыжне нужно добираться автобусом.

Меня поместили в щитовом переносном домике, где я маюсь от холода. Парни рядом со мной храпят хоть бы что (натрудились за день), а я кручусь и верчусь. Забываюсь уже на расвете, но затем просыпаюсь от шума под ухом. Это за перегородкой. Она из фанеры. Не нужно много догадливости, чтобы

определить характер возни... Пробуждаются и мои соседи по комнате.

— Это Витька опять,— определяют они по опустевшей кровати.

— С кем он там? С Галкой?

— Наверное, с ней...

— Эй, вы там,— стучит в стенку парень, лежащий у меня в головах,— дадите спать или нет...

За стенкой не затихают.

Утром, когда неумный любовник возвращается к нам одеваться, я узнаю в нем шутника, вызывавшего ярость людей в магазине.

АППЕТИТ

Витька жаден до девушек. У него аппетит ко всему: к еде, забавам и к делу.

У меня брали желчь, брали желудочный сок, проверяли кислотность. И мне скучно с собой за обедом! Я все время прикидываю, как холестерина избежать, поменьше соли ввести, витамины набрать. Поэтому и разговоры мои за столом строятся на раздражении... А рядом с Витькой все естся, все впрок, всего мало...

Надо видеть, сколько человек этот в состоянии слопать! Куда только в него умещается...

И не жиреет от этого. Строен и ладен. Обмен веществ безупречный. После обеда я тяжелею, а он затевает игру. С желудком, набитым мискою каши и котелком густого борща, он лезет на оструганный столб, вкопанный для телеграфной проводки, и вызывает других. Кто не взберется — платит целковый, кто докарабкается — кладет деньги в карман. Парни, мечтавшие после обеда соснуть, поддаются. Столб гладок, как столб, уцепиться тут не за что, они соскальзывают, ругаются, снова взбираются. Это игра для упорных. Ее хватает им до сирены, сзывающей людей на работы.

Вечером Витька придумывает другой вид развлечения. Служить ему должны те же столбы. Между ними еще не натянута проволока, огромные катушки которой навалом лежат на обочине, ожидая связистов. Пока те не расчухались, парни с почина неугомонного Витьки сами устраивают для себя телеграф — навешивают проволоку и крутят катушку. От одного столба к другому отправляются привязанные веревочкой ветки, папироски, записки. На эту затею сбегаются, конечно, и девушки, два столба превращаются вскоре в две стороны, состязующиеся на почтовые выдумки. Проволока движется безостановочно, принося туда и сюда щепочки, шишки, остроты, намеки...

О ЖИЗНИ

Люди разлились по тайге на многие-многие версты. Она плачет под электропилой, кряхтит под бульдозерами, умирает от голосов... Я плохо разбираюсь в этом нашествии. Слышу отчаянный грохот от взрыва прибрежной скалы, вижу трелевочный трактор, волочащий многовековые кедры, уступаю дорогу каравану цистерн, везущих цемент, натываюсь в разных местах то на палаточный лагерь, то на заимку лесничего, превращенную в контору участка, чьи иероглифы меня еще больше запутывают, и силюсь понять, что к чему. Хочу сделать зримыми связи, летаю над стройкой на вертолете, но мало умнею от этого. А Витька, в чей стан возвращаюсь после объездов, облетов и лицезрения карт, вкалывает целые дни с ключами, отвертками, сверлами, поедает после пшенной еще сладкую рисовую и развлекается как только может, не ломая себе головы над моими «что» и «к чему»...

У него должность такая, каких я еще не встречал,— аварийщика. Окончил он механический техникум и не согласился, чтобы его назвали монтером. «Аварийщик» соответствует сути работы,— Витьку направляют туда, где что-нибудь забарахлило. Работу свою он, видимо, любит, но еще больше любит вне рабочее время.

— Что же я вам о стройке могу объяснить,— пожимает он плечами, когда я пытаюсь расспрашивать.— Вы же говорили с начальниками... А наше дело тут маленькое — найди, подкрути, подтяни и, если надо, деталь замени. А ничего не выходит,— на буксире в город отправь. Вот и вся наша роль. А какие где работают партии и чего они делают — на то Управление есть...

— Но ты же бываешь на разных участках, видишь людей...

— Ну, вижу, конечно... Так что же я, по-вашему, о строительстве говорю с ними, что ли?

— А о чем же ты говоришь с ними?

Он снова пожимает плечами:

— Ну, как так о чем... Какие присылают продукты, кто ездил в город, какое кино повидал... В общем, о жизни...

КОМПОТ

Закон тайги — взаимная помощь, поддержка. Об этом здесь плакаты, трансляции. Но автобусов, связывающих строителей с городом, мало, и все слышанное о дружбе и совести вмиг вылетает из головы. При посадке никто никого не щадит... Я наблюдал, как воинственно загорались у Витьки глаза, завидев на подходе машину, как изготавливался он к предстоящему бою, как расшвыривал менее мускулистых товарищей...

Однажды он сделался мне неприятен, когда настойчиво требовал от кашеварки добавочной кружки компота. Девушка про-

сила его обождать, объясняла, что не все еще из леса пришли и она не уверена, хватит у нее или нет, а он, не слушая, отстранил ее от котла и попросту зачерпнул своей кружкой...

В такие моменты казалось, что Витька красив только издали, а вблизи смотреть и не надо... Вспомнились мои сверстники в Витькином возрасте, отдавшие половину стипендии на постройку воздушного флота в ответ на ультиматум Керзона, и с тоской думалось об отзвучавших годах. Мы недоедали ради общего дела, а Витька не прочь был, чтобы ради него недоели другие...

ДОКАЗАЛ

Пильщикам полагалось раз в три часа полчаса роздыха. Комсомольский организатор пытался использовать их, чтобы зачитать документ. Но ему не удавалось собрать рассыпанных по лесу ребят.

— Чудак,— сказал Витька,— это ж раз плюнуть!

— Попробуй-ка плюнь.

— И попробую. Хочешь, поспорим на трешку?

— Трепло ты.

— А вот поглядим. Согласен на трешку?

— Не надо мне трешки.

— Ага, забоялся!

— Ничего я не забоялся, а не хочу.

— Чего не хочешь? Платить?

— Спорить с тобой не хочу.

— Кишка слаба! Ну, черт с тобой. Я и без трешки тебе соберу их. Это ж раз плюнуть!

И собрал! Причем сдержал свое слово буквально.

Подошел с двумя пареньками к муравьиной куче и плюнул в нее. Потом постояли, рассматривая, как муравьи забарахтались.

— Эй, чего вы там смотрите? — крикнули им.

Ребята не отвечали, ниже нагнулись, пуще вперили глаза.

Подошли еще трое. Подивились на это занятие, но стали тоже плевать и разглядывать. А увидев кучку, сбившуюся вокруг неизвестно чего, к ней потянулись и другие, чтобы узнать, в чем там дело... Разочаровывались и без особой охоты, но все же плевали.

— Читай! — сказал Витька комсоргу.

Эту историю я слышал от Витькиных соседей по комнате, и она сушая правда. Витьку часто, видимо, посещали наития.

— Ты, говорят, хороший придумщик,— сказал я ему.

Но это не польстило его самолюбию.

— Придумщик? — переспросил он и признался вдруг неожиданно грустно: — А я вот о себе так считаю, что не в ту сторону думаю...

Р-РАСПИБУ!

На третьей неделе моего пребывания здесь разыгралась трагедия — хотел покончить с собой человек...

Это был алкоголик. Ему давно перевалило за тридцать. На стройку приехал, чтобы спастись от себя самого — думал, что здесь не будет спиртного и он переберется, отвыкнет... Но водку доставляли из города какие-то женщины, и хотя в тридорога продавали ее, но отвыкнуть не дали. Он пил, пил... И вытащил из-под подушки чужие часы, чтобы обменять на бутылку...

Люди, никогда не слышавшие о позорном столбе — наказании, известном и древности, и прошлой России, — скопом соорудили его теперь на участке строительства советской плотины. Они привязали укравшего к дереву, а на животе его прикрепили дощечку: «Я вор!» Продержали так день, а потом вручили ему его чемоданчик.

Лишение чести, как вид наказания, всегда считалось почему-то мягче тюрьмы. Мне приходилось читать, что в будущем других наказаний, кроме оглашения плохого поступка, вообще и не будет. Не знаю, как станут решать эти вопросы потомки, но сегодня, на стройке, самое мягкое оказалось и наиболее страшным... Освободившись от фанерки на животе, человек притаился в лесу, где валили могучие кедры, и бросился под великана...

Его не убило. Но правая нога стала крошечком, и лес огласился дикими воплями.

Витька возвращался в это время домой после двухдневной отлучки — чинил где-то тягач. Понятное дело, он сразу кинулся на душераздирающие крики...

Событие взволновало, конечно, весь лагерь. Но потрясение Витьки было особенным.

Бледный, задыхаясь от ужаса, жалости и бессилия исправить содеянное, он выкрикивал оцепеневшим товарищам:

— Сволочи! Сволочи!.. Как смели вы с человеком такое... Самим вам всем ноги! Самим вам всем ноги... Сволочи! Сволочи!

Как на грех, все грузовики были в рейсах. Но возле одного из домов стоял чей-то мотороллер с коляской. Витька моментом посадил в нее санитарку, растерянно метавшуюся с бинтами и йодом, положил ей несчастного на руки (тот был без сознания) и вскочил на седло...

— Нельзя! Нельзя! — закричали какие-то подбежавшие люди, в которых Витька не мог не узнать приехавших из Управления. — Нам надо еще сегодня на берег... Возьмите подводу! Запрягите спешно подводу!..

— Р-распибу! — ответил им Витька, дав газ.

ВЯЛО ПРИЗНАЛ...

В субботний вечер никто не возвратился к одиннадцати, а некоторые пришли на рассвете. Утром все долго валяются и рассказывают об одержанных ими победах...

Прикидываюсь спящим и слушаю.

— Сначала она ни в какую. «Если бы, говорит, это любовь была, тогда бы я с тобой на край света». А я ей спокойно: «Ну зачем на край света, зачем так далеко путешествовать, давай, говорю, до лужайки». Она, значит, как у них это требуется, часок поломалась, а потом обломалась...

— Вот, вот,— вступает другой,— и моя тоже сначала все о любви. «Не хочу, говорит, то с одним, то с другим, хочу быть замужняя». И не дает подступиться... Я ей тогда напрямик: «Мне, заявляю, только двадцать один и петлю на шею еще не надену. Если хочешь, будем гулять с тобой, к другим тогда подсыпаться не стану, а получится у нас любовь или нет, это нам время покажет». Она молчит, глаза — на луну... Я тоже — луну изучать... Сидим этак рядышком и астрономией заняты. Потом я легонечко, как полагается, руку ей на плечо. Она, конечно, не видит, не чувствует. Тогда я — тихий прижим. Потом перерывчик и прижим номер два. Она закрывает глаза и голову мне на плечо...

Разговор идет долго, пока не хватились, что остынет каша в котле. Не разговор, а какой-то намеренный демонтаж романтического. Ни лодок, ни песен, ни опьянения. Ни грусти, ни счастья.

Может быть, оттого, что лодок и нет здесь? — рассуждаю я про себя. Оттого, что осень стоит, девушки запакованы в ватники, кажутся помесью мужчины и женщины?.. Нет, дело не в этом... Я среди запакованных видел красивых, с большими глазами... Впрочем, глаза могли быть большими, но загадочными они показались лишь мне...

В моей молодости тоже, конечно, случалось без соловьев... Кто много жил, тот может и многое вспомнить, а еще больше забыть... И все же я был с девушками нежен, ласков, покорен. Полон был жара, обещал до конца жизни любить их и верил в свои обещания. И уж конечно ничего не рассказывал, не похвалялся... Даже позже, в зрелые годы, когда давно уже знал, что на богоматерь не надо креститься, что весь киот только из кедра, позолоты и жести, все равно оставалось для меня в женских глазах много-много еще недочитанного... Я был лучше, чем нынешние, чище, чем нынешние.

Парни, не торопясь, одевались и брились.

— Ну а ты? — спросил кто-то Витьку.— Или не перепало тебе?

Тогда Витька, молчавший все утро, вдруг вяло сказал:

— Скоты мы, ребята...

ЛЮСТРЫ

Совпали большая получка и плохое письмо (от сестры ушел муж). Витька был сумрачным, потом уехал с приятелем в город и возвратился в понедельник под утро. Оба вечера он провел в ресторане. От получки, конечно, ничего не осталось.

Ему посочувствовали и позавидовали.

— Вот это я понимаю! Вот это наконец погулял!

— Это ты правильно. Во всякой беде надо время уметь провести.

Потом стали расспрашивать, с какими они были девчонками.

Оказалось, что с городскими. Познакомились у кассы кино.

— Лаборанточки. Модненькие такие, веселенькие,— сказал Витька ласково.

— А где ночевали, когда ресторан закрылся? У них?

— На путях. У меня там железнодорожник знакомый в пустом вагоне живет.

— А подстилочка нашлась у знакомого? Не побили вы девочек о голые досточки?

— Дурак! — сказал Витька.— Их мы проводили домой. Не такие это девчонки.

— Значит, скормил им получку и не отломилось?

Витька не удостоил парня ответом.

— Эх, ребята,— сказал он мечтательно,— и до чего ж хорошо в ресторане!.. Свет в тыщи свечей, тарелки с золотой окаемочкой, персонал подает тебе всякие семги, бифштексы, наливает шампанское... Стукнешься с девчонкой этим шампанским — из бокальчиков музыка, а в глазах у нее Средиземное море...

И заключил решительно, твердо:

— Нет, мне денег не жалко.

Далекий огонь люстр засветил на миг в нашем домике, мелькнули перед каждым чьи-то невиданные, невыразимо прекрасные, обдающие счастьем глаза, потянуло парней к праздникам жизни... Кто-то шумно вздохнул и после паузы сказал:

— Еще бы! Тут надо уродом быть, чтобы жалеть...

Опять помолчали. Потом другой парень спросил:

— А адресочки запомнил?

— Спрашиваешь! — ответил несмысленшу Витька.

ГАЛДЕЖ

На собрании они вели себя плохо, а Витька особенно. Сначала слишком внимательно слушали, из чего сразу почувствовалось, что им это скучно, а потом стали перебивать докладчика выкриками и рекомендовали ему: «Закругляйтесь!», «Хватит!», «Мотайтесь».

— Стыдно так, Витя,— заметил я тихо.

— Это ему стыдно должно быть,— громко ответил он о докладчике.— Одно и то же на сотни ладов. Вам это, может, в новинку, а у нас в печенках сидит.

Нет, это не было в новинку и мне. Имена героев строительства, по которым оратор призывал комсомольцев равняться, пестрели с плакатов и газетных страниц, преследовали меня на участках, дорогах, в конторе строительства... Имена это были заслуженные, но перестали быть образцовыми, так как сделали их надоевшими. Их низвели...

— Чего вы мне об энтузиазме толкуете! — грубо выкрикнул Витька.— Вы лучше скажите, почему деталей к трелевочным нет? Почему привозят на участок зарплату, а расчет остается в конторе, и я не знаю, за что сколько начислили?

— Почему починой нет? — подхватил другой голос.— Одежда здесь вся о суки раздирается, а негде штанов залатать!

— Парикмахера не посылаете,— продолжил наскок третий парень.— С космами ходим, попами заделались...

И все зашумели.

Докладчик растерялся, что-то признал, обещал, потом стал объяснять, что «все сразу нельзя», что надо уметь потерпеть, что все сознательные рабочие не об удобствах своих, а о скорейшем выполнении плана мечтают, и снова сбился на пошлости...

Тогда Витька опять поднял галдеж:

— Вам эти сознательные поручение дали от них говорить?

— Сами-то вы верите тому, что болтаете? — закричал другой парень.

И снова пошло...

Докладчик был из дубоватых. Сам то и дело колебал то, что хотел доказать. Но не от него, а от Витьки с товарищами осталось на душе нехорошее. Только о заработках, только о тягостях... Мне подумалось, что недовольство — слишком частое их состояние. Не старее ли они в чем-то, чем я? Ведь молодость — это не одно возрастное, не только отсутствие мешков под глазами...

НОМЕРОЧКИ

Я неправ. Вне собраний Витька чаще весел, чем мрачен. И способен выкидывать чисто мальчишечьи фортели. Он не ленился и не знает усталости, если решает кого-нибудь «завести» или придумывает что-то забавное.

Номер, сделанный им с прокурором, был из ряда вон выходящим.

Тот приехал расследовать, почему тягачи выходят из строя. А портились они оттого, что их ломали, оставляли без присмотра в лесу, раздевали... Прокурор затеял провести показательный... Витька сам постоянно возился с трелевочными, маялся с

ними, не переставал ругать трактористов, но когда дело дошло до уголовной ответственности, ему стало их жаль. А главное, Витька вдруг почувствовал себя невольным предателем — ведь это именно он составлял рапортчики о произведенных поломках. За такие поломки объявлялись обычно лишь выговоры, а теперь Витька увидел свои рапортчики на столе прокурора, заявившего, что их составитель будет главным свидетелем. Витька затосковал... Он стал просить прокурора не заводить уголовного дела, вызвать ребят, припугнуть. Прокурор сказал: «Не могу. Хватит с ними миндальничать». Уезжая, он велел Витьке собрать несколько вещественных доказательств для приобщения к делу.

Витька был угнетен. Прокурор сразу превратился для него во врага. Он стал думать, как выручить, как насолить. И придумал — пробуксировал огромный трелевочный в город, к самому крыльцу прокурора... Того не было в этот момент, а сотрудники, не понимая, в чем дело, выбежали смотреть на махину. Витька вручил им бумажку: «По распоряжению товарища прокурора, приобщаю вещественное доказательство, чтобы подшить его к делу. Аварийный мастер такой-то». И сейчас же уехал, не слушая требований подождать, разобраться.

Взбешенный прокурор нещадно звонил потом на строительство, выясняя, кто позволил глупому аварийному мастеру пригонять к нему списанный трактор, и требовал сейчас же забрать его, так как он загорает вход в помещение...

— Ведь прокурор тебе ясно сказал, что ему две-три исковерканные небольшие детали нужны,— волновался Витькин начальник.— Чтобы показать, отчего останавливаются! Вот что просили тебя подобрать! А ты чего выкинул?! Чем ты думал, скажи?!

— Я думал,— наивно моргал Витька глазами,— что так оно еще доказательней. Приложат к папке машину, и сразу видать...

История с трактором произошла еще до моего приезда на стройку, но и мне пришлось оказаться очевидцем одной из забав... Я жил тогда уже на другом участке строительства и условился с Виктором, что приеду к нему. Приехал в назначенный час и, по обыкновению своему, постучал. «Войдите»,— ответил он. Я открыл дверь. Витька стоял передо мной в чем мать родила. «Ох, извините,— неторопливо стал залезать он в штаны,— я думал, не вы. Я думал, девушки...» Лицо свое он постарался сделать смущенным, но я понял, что он сочиняет, что он вовсе не собирался поразить своим бесстыдством соседок, а хотел возмутить своим мнимым бесстыдством меня.

ГЛАЗАМИ, УШАМИ...

Никогда не видать у него газеты в руках.

— В ней об Америке, Африке... Нам не бывать в них, так зачем и читать...

Изредка смотрит в многотиражке сводку хода работ по участкам. Чтобы знать, на передовом или отстающем находится.

— Ты бы хоть разик центральную взял,— говорю я.— Поинтересовался бы достижениями не по лесу, а по стране.

— По стране я не в газете узнаю. Когда пиво в открытых бочках поставят и черпаками всем разливать будут — вот тогда, значит, пришли...

Уважает, ценит он одно лишь издание — «Техника молодежи». Этот журнал он выписывает за собственный счет, часто заглядывает в него, бережет, не позволяет растаскивать. Рассказы, романы тоже бывают любопытны ему. Точней, любопытно, как другие люди живут, и, в частности, книжные. Но читает лишь с тем, чтобы унести за пределы собственной жизни. Характеристики ему нужны яркие, поступки и дела — неожиданные, мысли — неслыханные, которые поразили бы своим открытием. Но во всех случаях предпочитает тонкие книги («длиннописания терпеть не могу»). Впрочем, иногда он торопится в конец заглянуть, а в другой раз не хочет ничего пропустить.

Книги привозит библиотекаря три раза в месяц и дает по две штуки. Однажды при мне Витька прочитал обе за ночь, но чаще — не успевает дочитать и за десять дней. Возвращаясь издалека после напряженной работы, он раскрывает книжку в кровати, а утром обнаруживает ее на полу. Он может жить с книжкой и без нее.

— Тут не в одной усталости дело,— объясняет он это мне и себе самому,— тут еще в лампочке... Ввинчена в потолок и горит вполнакала...

Зато хоть среди ночи привези на участок кинокартину — повскакают с кровати.

— Книжку нужно сколько читать,— опять объясняет мне Витька.— А тут целая жизнь за сеанс. И вся на глазах!

Я видел такой сеанс в необычайных условиях. Он происходил под дождем. Экран укрепили между деревьями и прикрыли брезентом, а зрители сидели в своих палатках и домиках, у окон и щелей. Картину показывали привозную, восточную. Слезливую мелодраму об оклеветанной женщине, которая лишилась богатства и мужа, а затем, к торжеству добродетели, опять обрела их. Мне было неловко за постановщиков, а зрителям — горько за женщину. Девушки плакали. Витька впился глазами в экран и не замечал окружающего. Не замечал, что я все время смотрю на него. С радостью и вместе с досадой. Радуюсь, что он может так таять и млеть, испытывать самый живой интерес к судьбе, которая далека-далека от собственных его живых интересов, умеет жить ушами, глазами. И досадовал на то, что живет он только ушами, глазами...

До этого вечера, до фильма, крутившегося в лесу под дождем, я знал Витьку худшим, чем он был на деле. Не разглядел его тревожного, прямого участия к судьбам...

В ПИКУ МНЕ

Они вернулись из города, свалились на койки и отдыхали от отдыха. Витька был бледен, икал. Мучила изжога, кровоточила рука, жаль было денег...

Лаборанточки в тот вечер дежурили, и он сложился иначе, чем Витька мечтал.

Мечтал он спустить с ними получку. Это неодолимо влекло. Получка, растроченная не на них и не с ними, просто пропала.

Для меня в деньгах то хорошо, что с ними можно сделать что-то хорошее. Для Витьки деньги не имеют цены, если нельзя промотать их в удовольствие. Не с расчетом, не в половину, а так, чтобы чувствовалось.

Без лаборанток деньги промотаны без удовольствия. Промотаны грубо. С лаборантками было бы бегство от грубости...

В горькой досаде Витька так сжал рукою ресторанный фужер, что осколки впились. И выколупывал вилкой...

— Совсем пьян был, что ли? — спросил я.

Он не ответил, повернулся на бок и молчал.

Я привел к нему медсестру. Залить руку йодом он дал, а обвязать не позволил.

— Чего еще выдумали. Мне ж завтра работать.

Поднялся, куда-то ушел и возвратился, зажав что-то в руке.

Я вопросительно поглядел, и он, недовольный навязчивостью, неохотно ответил:

— Мяса сырого на кухне кусочек взял... От бурята одного слышал в прошлом году... Заживляет...

О знахарской медицине, которой сами буряты давно уже не пользуются, я знал всякие ужасы с детства. Назвав Витьку дикарем, я стал объяснять, что он может внести заражение.

— Ну и внесу, ну и что?! Вы, может быть, боитесь помереть, а я не боюсь!

Сказал, как пятилетний, делающий что-то назло.

Утром, не взглянув в мою сторону, намеренно-шумно любовался рукой:

— Смотри, ребята, как затянуло! Грош после этого всей медицине цена!

Но ранки не затянуло и не ухудшило. Дикарство Витька утверждал в пику мне...

КРАСОТА...

В другой раз, наоборот, он побоялся прослыть дикарем.

Приехали иностранцы в автомобиле невиданной марки. Их повели по участку, а парни обступили машину. Витька был неистов особенно и спешил рассмотреть, как что устроено. Востор-

гался многосильным, но легким и маленьким двигателем, обтекаемым кузовом, длинным хвостом, великолепной отделкой.

Кто-то крикнул: «Идут!»

Витька быстро захлопнул капот: «А ну, расходишь! Или мы дикари? Машин не выдали?!»

Парни отпрянули, но отбежать не успели. Иностранцы с улыбкой спросили, нравится ли молодым людям машина. Витька заложил руки в карманы, принял независимый вид и начал в снисходительном тоне оценивать:

— Внутри, конечно, много простора... Удобно... Но, я думаю, она не такая уж легкая. Металла как во всех старых марках... Пластмасса только для приемника, пепельницы. Вообще для блезиру... А теперь есть такие, что весь карбюратор пластмассовый. Даже целые кузова делают. Так что в этом смысле достижения нет. Достижением я считаю колеса. Надо признать, что достаточно маленькие. Хоть под мышку бери. На таких она не бежит, а плышет. Прогрессивные колеса, нет спора, но на наших дорогах их посмотреть еще надо. Дороги-то ведь у нас не резиновые. Нам бы резину знаете куда надо класть? В кузов, вовнутрь! Чтобы о мягкое стукаться. Да и вам бы оно не мешало. При больших скоростях безопаснее. Голову легче сберечь... Теперь дальше о ходовой части скажу. И заодно о подвеске. Очень мне все это нравится, но...

По мере того как переводчица, путаясь в технических терминах, передавала владельцам машины Витькину речь, с их лиц исчезала улыбка, а глаза удивленно расширились.

Витька тайно восхищался машиной, а владельцы машины — Витькиной сметкой.

Они спросили его, где он учился, скучает ли по родителям, что собирается делать, когда работы закончатся, — уедет ли на новые стройки или останется жить здесь.

Витька пробормотал, что там видно будет...

Гости стали хвалить здешнее небо, реку, леса, тишину, величие скал, вообще всю природу вокруг создаваемого для энергетиков города.

Витька молчал. Не мог же он сказать этим людям, что тишина не по нем, что в небо он попусту никогда не глядит, с величавыми скалами бесед не ведет, перед холодным потоком, в котором нельзя искупаться, не испытывает особых восторгов, а лес до черта ему надоел. Он знал толк в умных красивых машинах, но не знал, что в красивом месте живет...

НА СТЕНАХ...

Всюду щиты, транспаранты, плакаты. Бумажные, фанерные и кумачовые.

Витька считает, что люди, которые слишком много говорят

о задачах, сами не способны к труду. «Ишь чего гады придумали! — возмутился он, когда, придя однажды с работы, обнаружил и в комнате тот же плакат, что везде маячил перед глазами весь день. — Вот паразиты!» И впрямь, здесь были бы нужней и уместней розетка, настольная лампа, подушки, отвечающие своему назначению.

Он стал ожесточенно ругаться:

— Еще бы в сортире повесили! Их бы всех в лес с топорами! Дело бы делали! Нет, чтобы баки с кипятком нам поставить, мотоциклы аварийщикам дать, раздатчиц в столовой побольше... На тебе вместо этого лозунг!.. За все и про все!.. От паразиты! Я бы их, кто эти украшения придумывает, на хлеб и воду сажал!

А через несколько дней, в мастерской, Витька впал вдруг в раздумья. Поводом к ним послужили те же призывы к труду, те же слова, наляпанные белыми буквами.

Я удивился, когда услышал. Трудно было представить себе, чтобы механик, так ругавший людей, повесивших в нашем помещении лозунг, упрекал потом слесарей, содравших лозунг со стенки.

Слесарям этим дали все нужное — и режущий инструмент, и дорогие раздвижные ключи. Не дали лишь тряпок. А без тряпок, понятно, нельзя. Слесари маялись, разодрали на тряпки сначала худое бельишко, потом и кумач со стены...

Увидя, чем они протирают, Витька насупилась.

— Это кто же? — спросил он.

— Я! — похвастался кто-то своею догадливостью.

— Ну и зря, — сказал Витька.

— А на кой он нам был, — возразил парень беспечно.

— На кой? — переспросил Витька, не зная, что на это ответить, а потом, путаясь в случайных словах, стал объяснять: — Когда что-то висит — ты не только для денег... Для плана, для соревнования, вообще... Выполняешь какую-то часть... А без этого кто ты такой? Без этого сам по себе получаешься. Будто надо тебе только полочку и нет дела до пользы. А ты ведь не кастрюльки бабам латаешь, не горелками торгуешь для примуса. Ты — на исторической стройке.

Надо сказать, что Витькина ругань по адресу лозунга была крепче, чем в моей передаче. Я почти овеликосветил ее. А его разговор с находчивым слесарем был тихим разговором с собой. До этого разговора я думал, что пригляделся к Витьке достаточно. Но оказывается, он не легко разглядимый, плохо видимый мне человек.

За месяц жизни на стройке я узнал очень многих и поэтому не узнал никого...

Мне представлялось, что ни из чего этот парень живой воды не хлебнул. Но, оказывается, есть у него что-то в душе, заставляющее смиряться и с тем, что он же ругает.

ПРОТИВ ВЫВОДОВ

Он заметно изменился ко мне. Вначале с любопытством приглядывался, выпытывал, кто я и зачем к ним приехал, старался быть уважительным, но постепенно делался суше, невежливей, а временами становился подчеркнута холоден.

Я вызвал его на первый большой разговор.

— Ну-ка, Витя, давай прямиком. На что ты обиделся?

— Вам от моего отношения ни жарко, ни холодно, — не сразу ответил он. — Кто я для вас... Парень, от которого ацетиленом воняет. «Капитанскую дочку» читал, «Евгения Онегина» нет. Вы таких тыщи видали и видите... Я ведь догадался о вас. И все догадался. Поэтому вы нам мешаете... У вас, может быть, дети есть старше нас, а вы тут втесались, слушаете, о чем мы разговариваем. И не день, не два, а второй месяц уже. Нам от вас несвободно. Не повернись, не скажи... А вы не желаете чувствовать. Вот и причина моего отношения. Раз напросились на правду, так знайте!

Я, конечно, и сам это чувал. При мне им приходилось быть сдержанней. Но я полагал, что, подвергая себя бивачной тягостной жизни, могу не считаться с неприятностями, которые доставляю другим. Неудобства, которые я здесь добровольно испытывал, казались мне почти что подвижничеством, и о Витькиных я уже мало задумывался... Теперь, оправдываясь, я стал доказывать, что мешаю им, очевидно, только водку глушить при мне да девчонок водить.

— Во! — уличил меня Витька. — Вы здесь живете для выводов. А мы не хотим, чтобы вы о нас выводы! Никого у нас пьяниц здесь нет. Пьяница — это такой человек, которому обязательно надо в канаву свалиться. Если столько не выпьет — он это выброшенными деньгами считает. А кто среди нас такой есть? Мы только для настроения. Чтобы получку от будних дней отличить... Теперь возьмем девушек. Вы, конечно, считаете, что у нас безобразия. А я вас спрошу: почему одна любовь — это любовь, две — еще тоже любовь, а три — уже пережиток?! Почему так считается?!

И, не дав мне ответить, продолжил:

— Одна любовь у нас будет, когда будет домашность. Здесь такие же пятиэтажные здания выстроят, как в вашей Москве. Вот приедете лет через пять, у меня своя комната будет, жена, пацаненок. А сейчас что я имею? Лес да мороз. А не мороз, так дожди. Вот отсюда и девушки. И мы девушкам тоже нужны только с морозу, с тоски...

— Допустим, — сказал я, — но вот зачем ты так скверно тоску их используешь? А что, если замуж такую никто потом не возьмет, не будет любить? Вот скажи: ты-то сам женишься на девушке, которая с товарищами твоими гуляла?

Он смешался.

— Чего мне загадывать... Если полюбю, то, наверное, не посмотрю... Не стану мораль с нее спрашивать...

— А я помню, ты однажды кое-кого скотом обозвал...

Он снова смутился:

— А я и сейчас не говорю о себе, что хороший. Вы думаете, я защищаю свое поведение? Ничего я не защищаю. Я иногда такой, а иногда противоположно другой. И, по-моему, человек, если он молодой, не бывает всегдашним. Утром он так, а вечером совершенно иначе. В дождь одним образом смотрит на определенный вопрос, а при солнце — с нового бока подходит. В разное время у него разное ко всему отношение. Вот я однажды с одним трактористом двое суток чинил тягач. В пургу, без корочки хлеба, за двадцать верст от жилья. Он говорит: «Бросим, уйдем, не могу», а я отвечаю: «Моги!» Когда мы на послезавтра притархтели домой, оказалось, что нас уже лыжники ищут. Думали, занесло, замело... Вот какое у меня при буране трудовое отношение было! Хоть песни слагай обо мне, в президиумы сейчас же сажай! А недавно, дня за четыре до того, как вы приехали к нам, меня инженер и партийный секретарь вызывали за шкурничество и хулиганство ругать. Дело в том, что на базе кладовщик мешки перепутал. Сахарный песок дал вместо крупы. А у нас только утром хватились, когда надо в котел... И предлагали тогда всем вместо каши насыпать в карманы по стакану песку. А я отказался насыпать. «Без завтрака на работу, говорю, не пойду». И не пошел. А со мной еще трое остались... Совершил, в общем, срыв дисциплины... Вот каким человек разным бывает... Так что выводы вы о нас придержите...

ИЗ ПРИНЦИПА

Прибыли утепленные сборные домики. Они продуманно сделаны, рассчитаны на сибирскую зиму. Удобства в них почти городские. Первый дом собран, все ходили смотреть его, восхищались. Но собрать надо много. На это нет свободных людей. Объявлен воскресник. Поэтому в воскресенье к автобусу кое-кто заторопился чуть свет. Их пробовали задержать, уговаривали. Витька смотрел на эти потуги злорадно...

— Небось по смете отпущено, а они на шармака норовят. Ловчили. Дураков себе ищут.

— Кому «себе»? — возразил я. — Ведь дома для рабочих.

— Знаем мы это... Дадут всяким семейным, заслуженным. У кого показатели.

— Так и должно быть.

— Ну, а раз так и должно быть, так и я не желаю на людей жертвовать свой выходной.

Но в город он не поехал. Раздумал. Потолкался на стоянке, полюбовался посадкой и, к своему сожалению, пошел вместе

со мною домой. Я рассчитывал в воскресенье побыть в одиночестве, разобраться в блокнотах, и ничье общество меня на этот раз не устраивало... На участке было необычно пусто и тихо. Витька заглянул в два-три дома, никого не застал, заскучал. Взял книжку, завалился на койку и вскоре стал мерно похрапывать.

Проснулся он по сигналу желудка. Было привычное время обеда. Выскочил из дому и возвратился через несколько минут потрясенный. Полевая кухня уехала за пять километров — на один из участков, где возводились дома...

— Ну и гады! — обескураженно вымолвил он. — Чего позволяют себе! Людей без обеда оставить!

— Кухни именно к людям уехали.

— А я что? Я разве не человек?!

— Не могли же варить для тебя одного.

— Пайку мою мне оставить должны были.

Я поделился с ним сыром и сухой колбасой. Он принес чайник кипятку. За едой между нами возник второй большой разговор.

— Совсем не считаются у нас с молодежью, — заявил он в сердцах. — Только и требуют, чтобы работали, вкалывали. А квартиры — холостяки подождут, отпуск — обернись в две недели, общежитие — зачем им уборщица, сами могут за собою прибрать... Несправедливость царит у нас в этом. В законах, в понятиях. Все нужно наоборот устанавливать. Молодому человеку нужно больше условий, чем старому. А уж денег наверняка! Мне и мотоцикл позарез, и Москвы еще не видал, и костюмы давно теперь без ваты в плечах...

— На главном инженере, — заметил я, — костюм постарей твоего.

— И правильно! — подхватил Витька. — Ему и не надо! Ему это без интереса. Он хоть в мешковине ходи — все равно всем известный. Зачем таким людям по моде! А мне — на проспект, мне в сквер, мне под джаз... Ему пятьдесят, он ложится в одиннадцать, а мой организм не сработанный!

— Значит, его организму и требуется больше удобств, — сказал я. — И что ты сравниваешь себя с человеком, который столько учился, столько построил, отвечает за десятки объектов, за работу тысяч таких Витек, как ты...

— Во-во! Нас на тыщи считают...

— Глупости ты говоришь.

— Нет, не глупости. А я разве учиться не буду? Я обязательно на заочный включусь. И кто сейчас может сказать, малая или большая от меня будет польза. Я, например, вот мечтаю...

Спohватившись, остановился и привел в пример не себя...

— Тут среди механиков есть один парень, который считает, что радиаторы в машинах — балласт. Еще мальчишкой, когда на эйтээсовской усадьбе крутился, почувал, что они ни к чему. По-

том пошел в техникум, и пока он учился, за границей воздушное охлаждение придумали. А он полагает, что и воздушное еще не находочка, что надо и его заменить... Может быть, он до могилы ничего не придумает, а может так выйти, что после него машиностроение перестраивать будут. Вот оно как!.. А в состоянии этот парень долбить на заочном, когда в комнате еще семь человек? У нас вот считается, что молодые всегда обойдутся, что у них-де все впереди, и смотрят на нас как на переходный период. А это неправильно. Мы — период свой собственный.

Я кончил есть, принялся за блокноты и дал Витьке понять, что хочу дальше работать. Он разочарованно встал, потом полез под кровать и стал рыться в ящичке со слесарным набором. Затем вдруг заявил:

— В городе ты тоже невежа и хам, если не уступишь старухе место в трамвае. Какая-де пошла молодежь! А старухи эти только и знают, что по магазинам ширяют. Трудовой человек должен стоять, а она с набитой сумкой рассаживается...

Он поднялся.

— Ну, я пойду.

— Куда ты?

— Приварить кой-чего...

— В выходной?

— Ну а что еще делать?

— Почему же ты тогда не пошел на воскресник?

— А это из принципа.

ВДРУГ МОРАЛИСТ...

Через несколько дней Витька еще более жарко выступал в другой ипостаси...

Пожилой, но еще очень крепкий рабочий обмывал переезд в новый дом. Обмывал так усиленно, что в доме ему стало тесно. Он вышел с гостями на улицу. Здесь накрапывал дождь, но они плясали, шумели. Заливалась гармонь, взвизгивали какие-то женщины, глазели из распахнутых окон ребята, и печально наблюдала это бушеванье жена, тщетно пытавшаяся затащить мужа домой.

Я шел мимо. Хозяин увидел меня и начал привязываться:

— Писатель? Приехал рабочего человека описывать? Так чего же ты не останавливаешься? Почему нос от меня воротить, от выпившего? Ты умеи с трезвым — по-трезвому, с пьяным — по-пьяному. Как ты иначе мою душу постигнешь?! Тебе надо романы писать, а я для тебя самый лучший роман. На вот, смотри на мою ермитажу. Ношу на себе тридцать восемь художников и целый шкаф биографий. Ты распахни-ка меня. Где еще такого найдешь!

Он скинул пиджак и рубаху. Я изумился. На теле было меньше просветов, чем рисунков и надписей. Он норовил спустить

еще и штаны, похвастаться ягодицами, но жена своевременно кинулась...

Это тело само говорило о прошлом. Но он стал рассказывать. Похвалялся отсидками, побегами, сроками и силой характера, позволившей ему «одолеть себя».

— И сейчас выполняю на сто пятьдесят. Много таких?! А ты ноль внимания. Я через десять жизней пробился, а ты увидел только пьяную рожу. Стоишь, как чурбан, и не скажешь: «Хочу с тобой выпить, герой!» А это была бы честь для тебя...

Я уж готов был проделать это и потом ускользнуть, но он вдруг распался и стал гневно ругаться. Оказалось, что обиду ему нанесло не только мое невнимание. Он обижен был еще и судами.

Они лишили его добытых кровью наград. Награды эти — «Славу» двух степеней — он заработал еще в сорок втором, когда ему было двадцать четыре. Перебросили его тогда из тюрьмы на фронт, и он «оправдал переброску» — приволок семь «языков»... После войны старые корешки разыскали его, снова втянули. И суд объявил, чтобы награды не считать за награды. Аннулировал их...

После сумбурного, долгого, уснащенного бранью рассказа пьяный расплакался. Но не только пьяной слезой. Его, видимо, и трезвого грызла обида. А слушатели, не придавая значения его пьяным словам, восторгались, как виртуозно он подбирает их...

И вдруг, откуда ни возьмись, Витькин голос:

— Паразиты! Над чем потешаетесь?! Поганой тряпкой рот бы заткнуть ему, а вы, дурни, ржете! Что ты, пьяная харя, извергаешь про советскую власть? За то, что она с тобой столько цацкалась?! При другой-то власти ты бы на вечной каторге гнил... Сколько ты награмаздал ларьков? Сколько награчил у государства?! Никакая твоя выработка не покроеет такое! А тебе еще, паразиту, премии, прогрессивки, надбавки... Квартиру теперь... Я бы не теплый сортир тебе дал, а деревянный мантель в два метра... Только вот ребят твоих жаль.

Люди перестали смеяться.

— Брось ты, — обронил кто-то, недовольный вмешательством Витьки, прервавшего веселый спектакль, — человек просто выпил, а ты...

— И ничего он не сказал такого особенного, — поддержал другой парень в модно скроенной кожаной тужурке на «молнии». — Ордена ему давали за пленных, и с грабежами это нельзя связывать. За грабежи он срок получил. Одно к другому не имеет касательства.

Начался спор. Пьяный пытался буйно участвовать в нем, но дождь в это время усилился и жене удалось уволочь его. Все заспешили под крыши, и мы с Витькой тоже пошли домой.

— Ты уж слишком, — сказал я.

— Его, может, слишком, а ребят еще мало,— ответил он.— Знаете, кто этот парень, который его защищал? Земляк мой. Мы с ним пацанами играли. Теперь вот недавно встретились здесь. Он тут скалы взрывает. Горный техникум кончил. Сестра его старшая — селекционер на опытной станции в районе у нас. Брат на реактивных летает. Все вышли в люди, все теперь с перышками. У него и баян, и транзистор, и в Крыму загорал, и за горность доплата. Разве смеет он со шпаной размалеванной заодно выступать! Я этого уголовного типа давно уже в бане видел.

ЗАЧЕМ МНЕ ТВОЙ АДРЕС!

Суббота. Рабочий день на исходе. По участку бегают очень молодой запыхавшийся парень с телеграммой в руках. Он сует ее встречным, заставляет прочесть и униженно просит занять ему денег.

Телеграмма — крик матери. Он слышится за скупыми словами о том, что отец очень плох (написано «вовсе плохой») и призывом спешить...

Собрать на дорогу не просто. Один самолет до Москвы — несколько десятков рублей. А оттуда — до Бреста, а там до района... Парень бросается ко всем, кого видит, даже если видит впервые. Потом останавливается возле компании, сидящей на балке.

Люди мнутя. Получка была с неделю назад, и деньги у них могут быть и могут не быть. Дать на билет — это пиши пропало. Ведь человек не оставит теперь мать в одиночестве, не возвратится сюда.

Парень сам не уверен, что возвратится. Но клянется, что по приезде домой раздобудет и сразу переведет до копейки. Он тычет свой паспорт, диктует свой адрес...

Ему верят без клятв и сомневаются, невзирая на них... Одни колеблются потому, что не знают его, другие, наоборот, оттого, что, может быть, знают... Потом протягивают ему рубли, серебро...

— С миру по нитке... До вечера, гляди, наберешь,— успокоительно говорит ему кто-то, и все начинают обсуждать положение.

— Ты бы в контору... Еще час до закрытия. Поймай где-нибудь велосипед и успеешь.

— Конечно. Ведь под расчет полагается.

— Нет, там тоже сегодня раньше смотаются. Вот если бы сразу сначала туда...

— Дурной ты. Бегаешь по лесу, издыхался весь, а зарплату за пять дней псу под хвост...

— В конторе ведь и профсоюз помещается. Мог бы к нему с заявлением. Так, мол, и так: вы с меня собираете, а я бюлле-

тенем не пользуюсь, в санаториях жиры не нагуливал, все мои взносы тратятся на прочие возрасты, и обязаны мне теперь ссуду...

— Ссуду, положим, не могут. Раз человек уезжает...

— Ну и что из того. Обязаны по моральному кодексу.

— А почему, между прочим, у бригадира своего не возьмешь? Вы же дружки с ним. Он не пьет, не гуляет, на книжку кладет...

— А зачем ему у друга-то брать? Друга-то он подводить и не хочет.

Общий хохот. Паренек под ним как под градом.

— Ты не обижайся на нас,— говорит кто-то.— Тебе, конечно, не рецепты нужны, а билет. Считаешь нас, наверное, жадинами. У меня, мол, переживательный случай, а вы, черти, жмётесь. Но ведь должен понять: нам здесь тоже надо на минимум жизни...

— Да нет, я не обижаюсь, зачем же, я понимаю,— бормочет парень разочарованно. Он изменяет своей прежней настойчивости, отходит от балки и уныло бредет...

Тогда что-то ломается, переменяется.

— Стой! — кричат ему.— Ходь назад!

Он оборачивается, неуверенно топчется.

— Вертайся, вертайся! — зовет его парень, толковавший о ссуде, и решительно командует всем остальным: — А ну, хватит, ребята... Вынимай по пятерке!

Для паренька такой поворот неожидан.

— Ну что вы, ребята,— теряется он.— Зачем же так много. Вам же действительно на минимум жизни...

— Какой там минимум! — отвечают ему.— Просто в город под выходной собирались... Не кочевряжься, держи!

Сидевший на краю балочки Витька все время молчал. Теперь, наблюдая, как паренек просветлел и стал засовывать деньги, он вдруг вмешивается и требует ясности:

— А ну, сколько всего наканючил? Давай-ка выворачивай карманы, считай!

Начинается коллективный подсчет.

— Это уж до Москвы теперь верняком,— прикидывает парень обрадованно.— Это уж считай, что добрался!..

— А там?

— А там как-нибудь...

— А если как-нибудь ссадят?

— Я как-нибудь в следующий поезд...

— А если как-нибудь снова коленкой под зад?

Парень молчит.

— Кедровые орешки-то есть, чтобы проводницам насыпать? — осведомляется Витька.

— Были, пощелкал,— жалко улыбается парень.

Витька смотрит на него строго, оценивающе:

— И насыпать девушкам ничего не имеешь, и подсыпаться к ним, видать, не умеешь... Только и можешь, что жалиться... И чего, скажи, тебя понесло сюда, на целую планету от дома? Раз ты единственный сын и знал, что родители в таком состоянии, какое же право имел ты жить с ними в разбросанном виде?

— Путевка,— сказал паренек.— Ну и вообще...

— «Ну и вообще»,— передразнил его Витька.— Что в кармане — что в голове...

Сказал это пренебрежительно, но извлек вдруг из нагрудного целых пятнадцать рублей.

Все изумились, и больше всех тот, кому они были протянуты. Он даже брат не хотел — настолько это было больше большого. Потом стал настойчиво всовывать Витьке свой паспорт, требуя, чтобы тот изучил, записал...

— Пружаны,— объяснял он возбужденно,— Пружаны! Не спутай. А то у нас в Брестской еще и Ружаны есть. Тоже район. Улица Ленина... Вячеславу Ивановичу... Я ведь по форме не Славка, не Вячка, а Вячеслав...

— «По форме»,— опять передразнивал Витька, не беря в руки паспорта и отказываясь даже взглянуть на него.— А я и знать не желаю, как ты по форме. Чего мне записывать! На вот,— протянул он собственный паспорт,— тебе слать, тебе и записывать. А мне нету дела, где ты живешь и как тебя называют...

Паренек был потрясен.

— Спрячь свою канцелярию,— грубо заключил Витька, сунув ему его паспорт в карман,— и дуй до автобуса.

Паренек заспешил... Его провожали глазами.

— Интересно, вышлет он или нет? — произнес один из парней вопросительно, высказав общую мысль.— С одной стороны, непохоже, чтобы зажулил, а с другой — где ему взять...

— А кто его знает,— ответил Витька раздумчиво.— Зачем гадать-рассуждать. Если рассуждениями в таких делах заниматься, никогда не поступишь, как следует...

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК?

Не был здесь почти две недели и перед отъездом в Москву заезжаю проститься. Парни давно сняли спецовки, помылились, отдохнули и в ожидании ужина горячо спорят о чем-то. Лишь Витька, только что возвратившийся, отмахавший пять верст, плюхнулся грязным на койку.

— О чем это? — любопытствую я, видя, что прервал страстный спор.

Оказалось, что о футболе. Вчера был матч между сборными, и все ездили в город. На стадионе не был лишь Витька, безучастный к футболу.

— Как же это ты не болельщик? — удивляюсь я.

— А чего интересного, — отвечает он равнодушно. — Взрослые дяди мячик гоняют, а двадцать тысяч дуренут от этого... Выхлопная труба!

Я не понял.

— Чтобы газы выходили, — объясняет он и указывает на нового парня, который недавно переселился сюда. — На работу его возят в машине, а дополнительный отпуск не дали. Незаменимый высотник. Высоковольтную над скалами тянет. Нельзя без него. Он скандалил, шухмился в конторе, а съездил вчера на футбол, и прошло. Выкричался, выкипел там, весь газ свой на стадионе оставил, и против начальников уже не хватает. «Ладно, — говорит теперь, — съезжу зимой».

— Значит, ты оставался вчера в одиночестве? Что-то не знал я за тобой мизантропии.

Он не понял этого слова, но не попросил объяснить его и сказал:

— Нет, зачем. Тоже был в городе.

— У лаборанточек, что ли?

— Угу, — улыбнулся он и уточнил: — Не у них, а в лаборатории ихней. Они давно меня приглашали смотреть.

— Ну и как?

— Чистенькая лаборатория...

Парни отправились ужинать. Витька стал подниматься.

— Я, между прочим, — говорит он раздумчиво, — тоже мог бы на этот завод. Мастером в цех. У меня же диплом. Очень свободно.

— Хочется в городе жить?

— Кому же не хочется. Но надо входить в положение.

— В чье положение?

— В общее...

Он идет к умывальнику, возвращается с гусиною кожей, растирается и говорит себе самому:

— Ничего, и здесь потом будет жизнь первый сорт.

— Ты похудел, — говорю я.

— Похудеешь. Девятый день в одном месте вожусь, никак не налажу.

— Большая авария?

— Поршни, цилиндры... И почему это, скажите, пожалуйста, — спрашивает он себя вслух, — никакой конструктор пока не нашел, чтоб без них?.. Открыли бы такие аккумуляторы, чтобы прямо от них... Как вы считаете, придумают это люди когда-нибудь?

— Не знаю. Я в технике не разбираюсь.

— Это представляете, что тогда было бы? Вся жизнь на свете иначе пошла бы.

— Если бы не было поршней?

— Угу. Не было бы тогда и капитализма, политики, поло-

вины заводов, ремонтов... Каждый подключай себе на всю пятилетку и ехай... Конечно, когда человек усталый, с работы, он будет спать и ему ничего такое на ум не придет, но если он отдохнувший и тихо лежит, чтобы не беспокоить других, то просто невероятно... До того невероятно, что ум не выдерживает. И от этого опять засыпаешь.

Мы идем ужинать. Для этого теперь есть помещение. Раньше говорили «топать к котлу», теперь — «айда греться в столовую».

Я только что плотно поел в конторе строительства, делать это вторично не собираюсь, но Витька получает на меня у раздатчицы добрую порцию битков с макаронами и уплетает ее дополнительно к собственной.

Насытившись, неожиданно спрашивает:

— Вы персики много раз ели?

— Ел, конечно, а что?

— А я вот ни разу. Не знаю, какое-такое Черное море. Другие ребята где только не побывали, а я, кроме своей Воронежской области, ничего не видел. Почему это, спрашивается? И ведь у меня положение лучшее. Дома все зарабатывают, мне не надо им помогать. Отец пишет: «Ничего нам не посылай, трать на себя, но только чтобы с толком». А я сто двадцать, иногда даже сто пятьдесят выколачиваю, и ни метро, ни Кавказа, ни «ТУ-104», буквально совсем ничего... Почему это так? Безобразия! На будущий год, хоть разорвись тут, обязательно в какое-нибудь знаменитое место поеду, и все!

— Кто же тебе запрещает! Конечно, езжай.

— И поеду!

ВСЕБЯШНЫЙ

После ужина мы прогуливаемся и я сообщаю, что начальство предоставляет мне газик, который примчит меня на аэродром, к самолету. В городе не хочу задерживаться. Нечего делать там...

Витька вдруг напрашивается проводить, посадить. Меня бы это растрогало, но я знаю, что он просто хочет проехаться, поглядеть самолеты, купить на обратном пути колбасы...

— Что же вы о нас писать теперь будете? — интересуется он. — Какие мы, по вашему мнению? Ну, вот я, например?

Теряюсь. Молчу. Диагност я, вероятно, плохой. И вообще... разумнее будет полагаться только на краски...

Он смотрит на меня с любопытством, просто, светло, но настойчиво.

— Трудно, Витя, сказать сейчас... Тебя одному какому-то мнению не подчинишь. Но я буду с тобой откровенным. Мне нравится твоя непосредственность. Но говоришь-то ты часто... Инстинктов в тебе больше, чем мыслей... Ты понимаешь меня?

Он отвечает тоже не быстро, но отвечает такое, что ставит в тупик:

— Мысли нужны, чтобы изобретать, открывать. А так чего попусту думать... Иначе, может быть, и не поехал бы сюда. Это ж первобытная жизнь тут, доклозетный период.

Потом явно обиженно:

— Вы меня считаете инстинктивным, недумующим, а от меня, от такого, самая польза. Я действую, от таких, как я, все движение.

Затем медленно, тихо:

— И кроме того, как вы беретесь о человеке судить, если всебяшное его настроение вам вообще неизвестно...

— Какое?

— Всебяшное. Когда именно думаю, в себя ухожу...

— Ну и словечко! — качаю я головой. — Вот и об этом должен сказать тебе. Ты кончил техникум. Интеллигентом считаешься. А язык у тебя, Витя, страшный...

То, что я говорю ему, — правильно. Но это, кажется, вовсе не то, что надо сказать. А что надо, не знаю...

КТО БУДЕТ ОПЛАКИВАТЬ...

В воскресенье обиды забыты, он по-прежнему незлобив и беспечен.

Как странно, что мчусь я по родным, памятным улицам не останавливаясь, ни с кем не прощаясь... Как странно, что со мной вместо кого-нибудь близкого этот неожиданный парень... Парень не из моего, а из небывшего, навезенного города...

Все исчезло... Генеалогии, альбомы, родство...

— Смотри, Витя, этому дому почти двести лет. В нем жил декабрист...

Он поглядел ради вежливости. Что Витьке до домика, который интересен лишь тем, что ему множество лет! Зато любит-ся на многоэтажное здание и удовлетворенно бросает: «Вот это отгрохали!»

— А здесь, Витя, жил в ссылке...

Я называю громкое имя. Одно из тех, что питали культуру России. Витька молчит.

Назови я какого-нибудь изобретателя, летчика или, скажем, эмира бухарского, державшего в этом доме сто жен, Витька, возможно, и оглянулся бы...

Юность моя! Ты была не такой. Меня привлекало и прошлое. Именами, которых Витька не слышал...

Кто будет оплакивать эти домишки, когда они окончательно рухнут?..

— Этот особняк, Витя, принадлежал богачу староверу. Он

славился коллекцией древних икон. В годы нэпа, когда я был мальчишкой, он пытался продать ее за границу и...

— Старовер? Это шаман, что ли? Так разве они в городе жили? Мне вот буряты рассказывали...

Я потрясен. У меня не находится слов.

ВОЗМОЖНА ЛИ КНИГА, КОТОРАЯ...

Многоместный реактивный красавец.

Мои чемоданы в таких руках невесома, Витька их вбрасывает и загоревшимися глазами разглядывает...

Его просят отойти, он мешает, он вообще не вправе крутиться здесь, где уже нет провожающих, но, проскользнув сюда, Витька плюет сейчас на все запрещения. Если мог бы, он вскрыл бы капот, но здесь нет капота и таежных возможностей. На лице его совершенный восторг. Он впервые видит эту машину вблизи, но уже что-то соображает о ней, бормочет какие-то мне непонятные термины, обегает ее, пытается туда и сюда заглянуть.

Он сейчас сильно завидует мне, и я успокаиваю:

— Ничего, Витя, у тебя еще все впереди.

— А как же! — уверенно соглашается он. — Еще летаем! И не на таких еще! — добавляет он, и в мозгу его, вероятно, проносится что-то вычитанное или витавшее.

А в моем мозгу ничего не проносится. «Технику молодежи» я не листал и вообще всю жизнь провел пассажиром. В детстве плохо умел запрячь лошадь, а на старости лет держу иногда руль «Москвича», устройство которого остается мне неизвестным...

Пока ехали по городу, пещерным был Витька, а теперь мы поменялись ролями.

Может быть, это не имеет значения, что не знает он умершую жизнь? Может быть, это знание — ненужность?..

И любопытство его я удовлетворить не смогу — не смогу вынести о нем приговора... Ведь для того чтобы иметь право на суд, я должен обладать также правом предложить в пример свою жизнь...

Не могу корить его за непоследовательность, за то, что он сам себя постоянно оспаривает, за мимоходные беды и радости, за разбросанность и единство души. Не могу безнаказанно упрекать его в этом, не применяя потом тех же мерок к себе...

Пусть у него только осколки взглядов, пусть его мысли иногда — ерунда, но, возражая им, я бы нес еще большую... А главное, у него все звонко и прямо, без дураков, безо всякого. Он говорит то, что хочет, а я изощряюсь, чтобы не выдать подчас согласия с ним, и всегда несогласен с собой...

А в общем... в общем я ему завидую, Витьке... Ведь нет у него могил в этом городе. Он — из числа Ермаков, сызнова по-

коряющих мою родную Сибирь... Из которой ушла тишина. В нее врезались с тягачами, бульдозерами, ее взорвали землесосными снарядами, кранами, дерриками, убили скрежетом, грохотом.

Против прищельцев, уничтожающих ее заветный покой, моя родная Сибирь бросила все свои прежние могучие силы: она пыталась сковать их морозами, забросать своими снегами, изнурить своими пространствами. Но Ермаки молоды, они все выдерживают, они возьмут верх...

Мне грустно, Витька. Мне отчаянно грустно. Я плыву в реактивном красавце и тоскую о городе, в котором не пришлось и поплакать. Не с кем было поплакать...

Я ехал сюда, чтобы вдохнуть родимые запахи — горелых шишек, на которых шипела смола, каленых орехов, ссыпавшихся нами в мешки, духовки, румянившей ореховый пряник с брусничкой.

Дышал же я запахами, которых в мое время здесь не было, — ацетилена, бензина...

После встречи со мной, после обидных для тебя разговоров, ты не избежешь, наверное, Витька, новых всебяшных минут... Но и у меня настроение сейчас тоже всебяшное. Встреча с тобой меня растрожила...

Новый житель! Глупый, башковитый, дотошный пришелец! Сибирь ныне твоя!..

Что мне оставить тебе? Что прислать?

Какие слова найти, чтобы не вывалилась книжка из рук, когда без настольной, в потолке, вполнакала...

Может быть, все, что писал до сих пор, было не то, не о том...

Может быть, все, что я делаю, — вся эта словесная узорная вязь, над которой прокуриваю и ночи и легкие, — тебе совсем-совсем не нужна и умрет той же медленной смертью, какой умер орнамент на древних иконах богача старовера?..

Как сказать тебе что-то несказанное, быть где-то впереди твоей жизни, помочь прозревать ее?

Или эта честолюбивая мысль — ерунда? Возможна ли книга, которая... Не приписываю ли я своему делу ту важность, какой оно совсем не имеет?..

Нет, возможна! Возможна! Иначе мы все были бы не такими, как есть... Но только писать ее надо, видя перед собой неспокойного, то усталого, то возбужденного, парня с грубыми большими руками, детским сердцем и злым языком... От него пахнет попеременно лесом, автолом, одеколоном, борщом... И спит его то дуга электрическая, то хрустальная люстра, то простой ночничок, мерцающий неведомо где...

Ох, Витька, Витька!.. Знаю, надолго застрянешь теперь в голове, и от этого я буду сбиваться...



СЛОЖНЫЙ БОЛЬНОЙ

Одни сидели, вели между собой разговоры, другие топтались в дверях, дымили в коридоре, томились. Народу было человек тридцать, не меньше. Председатель принимал два раза в неделю, попасть к нему было трудно, некоторые приходили в который уж раз... Он вышел из кабинета в приемную, печально посмотрел на собравшихся, прикинул, сколько их тут, посоветовал идти к заместителю. Его окружили, подняли шум. Ведь заместитель уже отказал, на него-то и пришли сюда жаловаться... Председатель сказал: «Хорошо, хорошо! Тихо! Тихо! Нельзя же так!» И обещал принимать до полночи. Люди уgomонились, расселись.

Андрей Николаевич оказался рядом с двумя старушонками. Они разговаривали о домашних делах. Делились семейными бедами. У одной сноха была стервой, у другой сын — шалопутом. Он слушал их жалобы.

— Когда переехала, ну прямо подушечка... Послушная, тихая, ласковая... «Маменька, не нагибайтесь...», «Маменька, я помою сама...», «Маменька, вот вам с полочки вареньеце...». Уж такая угодливая, такая заботливая... А как прописала ее, так и пошло... Каждый день стала принципиальности делать, натуру показывать... Сначала вытряхнула мои вещи из шкафа, а теперь и меня в коридор вытряхает... Сколько лет прожила в этой комнате, сына здесь вырастила, муж от рака тут помер, а теперь топчешься в кухне и не смеешь зайти... А когда вхожу, она так и пылает, так и пылает... А сын у меня без характеру... Сунет матери трешку тишком от жены, а постоять за мать не умеет...

— А мой,— вздыхает другая,— еще не женат. Тридцать лет почти, а шатун... «Зачем, говорит, мне одну себе брать, когда их вон сколько есть...» И проявляет инициативу к девицам. Ох, проявляет!.. А девки без стыда и без совести... Одна есть особенно... Ей и на комсомоле уже разбирали, и подруги от нее отка-

зались, а ей все нипочем, ноль на это внимания... Мы с дочкой пришли из сеанса, а они не одетые в комнате... Уж я тут не выдержала. Оскорбила ей руками лицо... Ну и на него тоже, конешное дело... «У тебя сестра, говорю, еще девушка, а ты у ей на виду... Вон! — говорю. — Вместе с твоей потаскушкой!..» Он оделся, пошел проводить ее и, конечно, назад... «Я, говорит, тут прописан, и все!..» А за дочкой ухаживает молодой человек. Двадцать три года, и уже шестого разряда. Не какой-нибудь слесарь, а на точных приборах. Ну разве все это мыслимо на двенадцати метрах...

Старушки причитают, негодуют, кричат, но за время их вздохов в кабинете сменились лишь два посетителя. Андрей Николаевич идет в коридор покурить. Здесь группа рабочих слушает какого-то парня. Он объясняет, почему не может больше жить в общежитии. Просто нет уже сил... Он — на койке в одном конце города, жена — на койке в другом, а ребенок в деревне у бабушки... И это три года!.. Не столько живут, сколько маются... Обещали-обещали дать в новом доме, построили уже сколько домов, а он все еще видит жену только в парке... «Вот дождусь к председателю, — заключает парень рассказ, — душу из него выну сегодня...»

На парня смотрят одобрительно и немножко ревниво. Он здесь соперник.

В коридоре нечем дышать. От людей, табака... Андрей Николаевич не докуривает свою папиросу...

В приемную входит разбухшая женщина. Рассчитанные шаги, огромный живот... Кто-то быстро освобождает ей стул, но ей одного не хватает. Встают еще двое. Соседи отодвигаются...

— Кто последний? — спрашивает она, отдышавшись. — Или, может быть, вы разрешите...

— Конечно, конечно, — спешит ответить за всех Андрей Николаевич.

— Это почему еще? — ожесточается какая-то женщина. — Вы, гражданин, можете только заместо себя. А я, например, которую неделю хожу, у самой дома двое пищат...

Поднимается разногласица. Одни за то, чтоб пустить, другие — за соблюдение очереди.

— Приплелась сюда в таком состоянии!

— Муж мог бы прийти! Старшие дети!

— Это нарочно! Чтобы разжалобить!

Мужчины стыдят разошедшихся женщин.

— Муж — на вечерней, — объясняет беременная. — А старшему пять. И трое совсем еще маленьких...

— Ого! — качает головой старичок рядом с ней. — У вас это, значит, живот-то... хронически?

— Вот так некоторые и получают квартиры! — шипит какая-то баба в углу. — Народят на две комнаты, а потом им третью давай.

Это так глупо, что наступает молчание. Женщинам, которые только что злились, неловко от этой поддержки...

— Да уж идите,— говорит одна,— ладно уж... Вам и сидеть-то нельзя здесь...

Андрей Николаевич помогает беременной встать, проводит ее в кабинет, откуда еще не ушел посетитель, и сажает там на диван. Председатель растерян:

— Сейчас, гражданин. Но зачем вы жену-то?..

Двери распахиваются.

— А ну-ка, товарищ, назад!

— Ишь какой хитрый!

— Пожилой, а ловчит!

— Не выйдет, гражданин, не позволим!

Андрей Николаевич краснеет, как мальчик. Его заподозрили в гадкой уловке... Он что-то бормочет и спешит в коридор...

Здесь курильщики обсуждают теперь, медленно или быстро в городе строят дома. Люди это пристрастные и считают, что медленно. Но какой-то мужчина — молодой, быстрый, небритый, худой — оказывается профессиональным строителем и горячо возражает:

— Ну чего вы понимаете в этом! Раньше клали пять лет... Я мальчишкой в пятьдесят третьем пришел. Четыреста кирпичей еле-еле за смену. Когда перевели на поток, достигнем считалось. Да и то все руками. Колымажки, грабарки... Эскаватор сбегались смотреть... Раньше восемь кубометров вынешь за смену и не знаешь, где руки, где ноги. А теперь он тыщу кубометров выпрастывает — и за день готов котлован! А бульдозеры, скреперы, самоходные краны! Машины приходят с готовыми плитами, только знай выгружай... А держит нас что? Держит отделка. Штукатуры, маляры, столяры, санузлы... Все разные тресты, язви их в душу... А можно бы в несколько месяцев! Вам почему кажется медленно? Потому что прежний папаша ни хрена не строил квартир, он считал, что живому, как мертвому, двух метров достаточно, а теперь гони не гони — одним махом наверстать невозможно...

Строителя спросили, зачем он пришел сюда. Разве для себя самого ни в одном доме не выкроил? Он ответил, что ему должны дать квартиру к зиме, но у него отец очень плох, неизвестно, додержится ли до этого времени, а хочется, чтоб успел в ней пожить... Вот он и решил поднажать своевременно...

Андрей Николаевич возвратился в приемную.

Здесь старушки заняты были теперь новыми темами. Одна страшила другую рассказом о бабе-псаломщице, которая читала псалтырь над покойницей и сняла с нее обручальное... Вторая старушка поохала и решила тоже испортить своей собеседнице ночь. Она знала про шайку... Один схватывает сзади за шею, пригибает, а другие в этот момент по карманам...

В приемную уверенно входит хорошо одетый блондин и с ходу норовит в кабинет. Но здесь все начеку.

— Я... обо мне звонили,— теряется он.— Председатель знает... Он ждет меня...

— Подождет! — кричат ему.

— Врешь!

— Нахальство какое!

— С какого-нибудь торга, наверное!

— С широким карманом!

Блондин спешит в коридор...

Кто-то начинает говорить о торговцах. Они, сволочи, покупают за грош подлежащие сносу дома, а потом им, пожалуйста, квартиры дают...

— Галантерея, язви их в душу...

— Яйцептица, одним словом сказать...

— Пересортица, гады...

— Граждане! — появляется председатель в приемной с портфелем в руках.— Вызывают по срочному делу. Я вынужден ненадолго прервать...

Все ошарашены.

Андрей Николаевич смотрит, как председатель мнется с портфелем в руках. Походка усталая, под глазами набухло... И кровообращение вялое, и, наверное, что-нибудь с почками...

— Постараюсь как можно скорей,— говорит он, выскальзывая, но какой-то рабочий цапнул его за пиджак:

— По срочному?

И со сдержанной яростью:

— А мы здесь бессрочные? Не имеешь права уйти. Или не мы тебя выбрали?

Все повскакали, и произошло небывалое — председателя втокнули в его кабинет. Вместе с ним беспорядочно ввалился народ.

Андрей Николаевич ждал гнева на этом нездоровом лице. Но председатель вместо того улыбнулся, снял телефонную трубку и удовлетворенно сказал в нее:

— Меня не пускают. Как? Да вот так. Окружили.

Это звучало почти торжествующе.

Мембрана что-то хрипела, а он отвечал:

— Крикунам уступаю? Нет, они не считают это уступкой. Они говорят, что у них права на меня... Неслыханно? Ну, можешь приехать услышать...

Он был, кажется, рад происшествию.

— Ну, а теперь, друзья,— сказал он, кладя трубку,— подавайтесь назад. Иначе разговор не получится...

Люди вывалились из кабинета, и восстановился скучный порядок. Так бывает скучной болезнь. Ждешь-ждешь ей конца, а она тянется, тянется...

Андрей Николаевич опять торчал в коридоре, опять сидел со старушками.

В коридоре блондин, которого почему-то сочли за торговца, поучал пожилого мужчину. Тот ничего связного не говорил, а только клал увесистые смачные фразы... А блондин доказывал, что требования теперь не потому стали слышней, что потребности выросли. «Нет,— говорил он,— раньше вам не пришло бы и в голову, что можно отдельную квартиру просить, поэтому и не раздражались, что ее не сразу дают».

Старушки обменивались теперь свежими данными о вреде вина. Одна рассказала о сыне соседки, который вышел с товарищами вечерком погулять, зашел с ними в питейное место и накрыл пивной кружкой голову двадцатилетней буфетчице. И хотя та отлежалась и пожалела его потом на суде, а все равно засудили в тюрьму... Вторая старушка сообщила о знакомом шофере, который так же вот выпил где-то с товарищами, вышел из рабочего своего состояния и буфером — в столб...

Андрей Николаевич снова шел в коридор — давно уж не приходилось ему щелкать столько раз зажигалкой — и снова возвращался к старушкам. У тех были самые необычайные сведения, о которых нигде не прочтешь, не услышишь. Одна рассказывала о знакомой уборщице, которая устроилась за тридцать рублей в парикмахерскую, купила полкуса тигу и за первый же месяц работы продала пять тюфяков... Старушки поплевались, а потом вторая рассказала о еще более хитрой добытчице. Та выучила кошку, и кошка кормила ее, таская ей колбасу, которую соседи подвешивали за окном на веревочке... Теперь сплюнул и Андрей Николаевич.

Приемная все набивалась народом. Приходило больше, чем уходило. Председатель говорил с каждым подолгу, никого не гонял. Это было хорошо, но и плохо.

Андрей Николаевич в двенадцатый раз пошел в коридор. Там был теперь клуб. Несколько группок, и в каждой шел свой разговор. Он постоял возле них и прислушался.

— Восемь мужиков схоронила. Она сама говорит: «Кто полюбит меня, тот помирает...» И этого тоже вот довела...

— А когда-то, в древнее время, чахотку навозом лечили. Располагались в коровнике и по месяцу, по два дышали. Говорят, помогало.

— Какой там навоз! Просто бы пристрелить эту бабу...

— Неправильно вы говорите. Как это Москва себе все забирает, если по всей стране возведение! Вы, наверное, на месте сидите, а я езжу и вижу, что делается. В каждом городе настроено по новому городу. И даже такие есть, что заместо одного сейчас десять стоит. И если нашему меньше перепадает, то не

потому, что Москва забирает, а из-за того, что в нем меньше промышленности...

— А я вам, товарищи, скажу, что все дело в ракетах. Кабы не эти ракеты, мы бы...

— Да это известно. Если бы разоруженье, тогда бы...

— А что тогда бы?

— Тогда бы на улицах накрывали столы. Садись, кто желает!..

В другой кучке блондин объясняет теперь, что привело его. Оказалось — собаки. Нельзя ни работать, ни спать.

— А вы бы в милицию. Если люди не желают унять...

— Какой там унять! Это же все специально!

— А вы отравите их.

— Что вы! Их триста штук.

— ?..

— Ну да,— говорит он,— исследовательский институт в шагах... Физиологи, невропатологи... Казалось бы, мне стыдно и жаловаться: дали за городом большой особняк, привезли концертный рояль, лучшие магнитофоны... Но в каком я оказался соседстве!.. Собаки воют все ночи. Без перерыва. В безысходной тоске. А я композитор. И вот... музыка у меня теперь льется такая... Ну, вы сами можете это понять...

Время шло. Андрей Николаевич сильно пал духом. И не столько оттого, что устал, сколько от всего, что наслушался... Он понимал, что эти разговоры — от развинченных нервов, маеты, нетерпения.

Андрей Николаевич месяцами не вылезал из больницы, но, попадая время от времени в предместье, на отдаленную улицу, за город, озирался, словно приезжий. Да и по историям болезней он знал, что стенокардия все реже и реже объяснялась теперь квартирными распрями... Но здесь, в этой приемной, нечего было делать довольным, разместившимся в новых, бесчисленных зданиях. Стекались сюда лишь неустроенные. В больницу тоже ложатся лишь те, у кого что-то болит, там тоже причитают о бедах, но вне больницы — здоровые. И не жалобы на тесноту, неурядицы, неналаженность жизни смутили Андрея Николаевича, нет, смутило сознание, что у него было мало права сюда... А к концу вечера один человек совсем испортил ему настроение...

Это был тот самый рабочий, который заявил председателю свои права на него. Теперь он уже побывал в кабинете и вышел оттуда без победного блеска в глазах.

— Ну что? Отказал? Обещал? — обступили его.

— Записал. Велел прийти в августе, когда где-то закончат,—

хмуро ответил рабочий и добавил с сомнением: — Вроде и не должен бы обмануть, не похоже, да только... холявый он больно...

— Какой? — переспросил, не поняв, Андрей Николаевич.

Рабочий неодобрительно посмотрел на него:

— И вы за квартирную, значит? Так, так... А помните, как брата моего залечили? Батырева Алексея Ивановича.

Андрей Николаевич даже не сообразил, о ком речь.

— Ну где ж вам всех помнить! — сказал рабочий и, не кивнув, направился к выходу. А на Андрея Николаевича все посмотрели...

Не объяснять же ему было здесь, в коридоре, что его больше благодарят, чем ругают! Не оправдываться же перед случайными слушателями... Он возвратился в приемную мрачный.

На подступах к кабинету стояли теперь обе старушки. Следующим наконец-то был он. Но ему вдруг расхотелось идти...

Они год толковали с женой об этом визите. Он не решался, откладывал, не мог выкроить время. Но жить вместе с зятем стало невмоготу...

Это был омерзительный парень. Недалекий, хитрый и наглый. Начал он свою литературную деятельность с рифмованных плоскостей, потом принялся за рассказы, пьесы, сценарии. Они были столь же бесцветны, безвкусны, не ставились и не печатались. Только изредка что-то проскальзывало в местной газете или областном альманахе. Эти случайные удачи бодрили его и поощряли к упорству. Возвращал его рассказы один московский журнал, он слал их в другой, отвергал местный театр его пьесу, он предлагал ее в соседнюю область... Писал он натужно, надуманно и, не имея чем делиться с читателем, ловил темы, сюжеты... Не веря в призвание, он объяснял себе чужие успехи лишь ловкостью и постоянно искал «нужных людей». Это были газетчики, сотрудники телестудии и местного радио. Он старался завязать их, накормить, напоить. А делать это он мог только с помощью тещи... Эксплуатируя их привязанность к внуку, он жил за счет родителей своей покорной жены, давно понявшей, что он просто бездарен, и тихо страдавшей от этого. Андрей Николаевич не раз намекал ему, что надо бросить химеры и найти себе службу, но такие разговоры кончались скандалами. Зять считал в порядке вещей, что семья его содержится тестем. Молодая жена — она работала корректором в местной газете, где он и познакомился с ней, — покупала ему ботинки, носки... Днем он где-то болтался, а вечерами что-то вымучивал... Тогда всем приходилось забиваться в углы... Этот бесцеремонный двадцативосьмилетний балбес, который не мог прокормить не только семью, но и снегиря, принесенного им как-то в подарок ребенку, опротивел и тестю и теще. Если бы не мысль о внучонке, которого нельзя было оставлять без отца, Андрей Николаевич попросту предложил бы этому человеку уйти. Но ребенок был дорог, и дедушка нес свой крест. Оставалось только роптать на судьбу,

которая в многотысячном городе, где было столько работающей, порядочной милой мужской молодежи, свела его дочь с трутнем и пакостником.

Да, именно пакостником...

Присутствие зятя давно уже сделалось невыносимо. Андрей Николаевич задерживался вечерами в больнице. Раньше дома был отдых, теперь это минуло... Он не мог уже слышать каждодневных жалоб жены, не мог видеть потухшие, уклончивые глаза своей дочери.

Но мысли развехаться не было. На эту мысль натолкнуло событие, показавшее, что терпимость опасна и не жертвенность нужна, а решительность...

Мать зятя жила на окраине. Она держала козу. Козу задавила «скорая помощь». Об этой потере старуха приходила к сыну шептаться... А вскоре Андрей Николаевич случайно услышал горький рассказ шофера санитарной машины. Его охмурили, содрали с него и при этом даже мяса не отдали... Он понимал, что его обируют, но что было делать, когда грозили поместить фельетон, лишить права вождения... «Они напирают, что она будто бы восемь литров давала,— жаловался старый шофер,— но кто их видал, эти литры... А вот с мясом старуху на базаре выдали».

У Андрея Николаевича кровь к голове прилила. Он знал «корешков» зятя, околачивавшихся в прихожих редакции, знал, что у того завелись вдруг карманные деньги...

Оберегая себя, Андрей Николаевич не устроил дома скандала. Но он не мог не рассказать своей дочери. Та долго плакала. Они сообща решили, что надо жить врозь. Может быть, тогда он одумается, почувствует, что такое семья на плечах, поймет, до чего может довести его праздность.

Жена стала говорить с муженьком. Вначале он не соглашался поселиться с семьей отдельно от тестя (ему и вместе неплохо жилось), после настоящей жены немного умиловившись, а потом даже воодушевился идеей. Перед его глазами замелькала квартира, в которой он делается полновластным хозяином...

Андрею Николаевичу надо было вместо двухкомнатной две однокомнатные.

Он и раньше понимал, что это не просто. Но теперь, после разговоров в приемной, не знал, как и приступить с такой просьбой. И, стоя у двери председателя, чтобы войти в нее сразу, как только выйдет другой, Андрей Николаевич плохо справлялся с волнением. У него было двести верхнее, а сейчас, наверное, еще подскочило...

— Садитесь,— сказал председатель,— рассказывайте...

Но сразу зазвонил телефон.

— Да,— сказал председатель,— я распорядился отнять у вас лошадей... Лучше возьмите еще шоферов, и пусть машины в две смены... Рассчитали, что сделают столько же рейсов?.. М-да...

Ну, а лошадей вы приглашали к участию в этих расчетах? — устало сострил он. — Их обучили вы своей арифметике?.. Странно, что надо вас убеждать...

Он говорил медленно, словно это было трудно ему. Андрей Николаевич следил за его лицом. Безулыбчатое, но откровенное. Нижняя губа чуть-чуть выдается. Это было, кажется, признаком не то совестливости, не то доброты, в общем чего-то хорошего.

— Рассказывайте, — повторил он вместо обычного «Я слушаю вас».

Но что мог Андрей Николаевич тут рассказать? Что зять — неудачник? Что он сел им на шею? Что он нечистоплотен, способен на гадости? Но сюда приходят говорить только о метрах... А у него на пятерых почти сорок. Горячая вода, коридор, антресоли, просторная кухня, блещущая кафелем ванная... Как вымолвить, что надо еще коридор, еще одну кухню, еще одну ванную...

Рассказ поневоле получается сбивчивым и к тому же опять прерывается телефонным звонком. Председатель просит его извинить и ведет разговор о каких-то балках составного сечения, о швеллерных профилях... Разговор инженерный, профану он непонятен, но Андрей Николаевич понимает теперь, почему посетители так долго задерживаются. Тут дело не только во внимании к ним. А говорит председатель как-то особенно медленно и гладит зачем-то пальцем гортань, будто что-то мешает ему там... Потом, кладя трубку, он снова поднимает глаза на своего посетителя, и Андрей Николаевич видит, что внимание в этих глазах все же есть. Глаза умные и невеселые, на них низко надвинуты брови. Андрей Николаевич возобновляет свой неровный рассказ.

— Да, — говорит председатель, — вам надо разъехаться... Но я не могу... Бываю рад, когда что-то могу, но тут не могу... Вы неверно себе представляете... Я не султан... Не вправе раздари-вать...

Он опять гладит горло, тяжело расставляет слова.

— Это не зависит от моего усмотрения... Мы тут не злые, не добрые... Надо покончить с нуждой, а у вас не нужда... Мы не можем наладить ваши отношения с дочерью за счет тех, у кого...

Он кривится, сжимает горло рукой, словно хочет унять что-то давящее.

— Я понимаю вас... Все понимаю... Но каждый занят только своими заботами... А я обязан среди них различать...

Он с усилием отодвигает свой стул, откидывается на спинку и, закрывая глаза, тихо цедит:

— И ничего не обещаю вам... Ни в конце года, ни в следующем...

И вдруг он стонет, хватается рукою за грудь...

Андрей Николаевич вскакивает, выхватывает пузырек с валидолом, подбегает к председателю, разжимает ему рот, льет под язык. Председатель не открывает глаза и только чуть слышно:

— Выйдите... скажите, пожалуйста, чтоб подождали... Это пройдет...

— Нет,— говорит Андрей Николаевич.

Он распахивает дверь кабинета, зовет. Люди вбегают, кладут председателя на неудобный канцелярский диван, а Андрей Николаевич берет телефонную трубку:

— Это я, Белоголовый. Нахожусь в горсовете. Пришлите машину и санитаров. Марью Аркадьевну и чемоданчик. Кабинет председателя. Быстренько.

В палатах не было места, пришлось положить до утра в коридоре.

— Что вы чудите! — сказал больной, отоспавшись после пантопона и камфары.— Все давно уж прошло... Пожалуйста, скажите врачу, чтобы мне дали одеться.

— Нет,— покачала головою сестра,— вас привез сам Андрей Николаевич. Он заведует у нас отделением, и без него никакой врач не отпустит вас. А его сейчас нет.

— Какая ерунда! — сказал больной.

— Наверное, не ерунда,— сказала сестра.

— Черт знает что! Мне же надо на стройку...

— Вам надо только спокойно лежать.

— Дома, наверное, сходят с ума...

— Дома знают. К вам скоро придут.

— Но это ж комедия!

— У нас это зовется иначе...

Потом прибегают смятенные жена и невестка. Увидев его невредимым, они успокаиваются.

— Я потом объясню,— говорит он.— Тут один чудак на приеме... И выкинул штуку...

— Но, может быть, Олешенька, это на пользу. Тебя же часто так схватывало. Вот и исследуешься. Полежишь пару днейков, отдохнешь.

— Чего мне исследоваться! Я чувствую себя совершенно нормально. И тысяча дел. Сегодня два телефонных разговора с Москвой. Вечером на бюро мой отчет о ходе ремонта... Я дожусь вот только врача, который меня приволок сюда. Без него штаны не дают.

— Довольно! — подошла, не улыбаясь, сестра.— Вам, больной, нельзя разговаривать. И положите руки под одеяло. А вам, извините меня,— обратилась она к посетительницам,— надо уйти. В передачу только что-нибудь легкое. Ничего острого, жареного. Там у нас внизу висят правила.

— Черт знает что делается! — бессильно возмутился больной.

— Не черт, а я знаю, что делаю, — оскорбилась сестра.

— Бывали у вас раньше приступы болей?

— Так себе, пустяковые.

— И давно начались?

— Трудно сказать. Я не помню.

— Постарайтесь припомнить.

— Года три-четыре назад...

— Где именно болело?

— Около горла.

— А в лопатке? В плече? Руку у вас не тянуло?

— Тянуло.

Андрей Николаевич аккуратно записывает.

— Вы давно в горсовете работаете?

— Три года.

— А до этого где вы работали?

— Начальником стройуправления.

— Тогда эти пустяковые боли бывали?

— Не помню. Кажется, нет.

— Где вы учились?

— В Свердловском строительном.

— Сколько лет вы женаты?

— Двадцать три. Но, доктор, зачем такие подробности...

— Это слабость моя. Я любопытен. Тифы у вас были когда-нибудь?

— Нет, но, доктор...

— А чем вы болели? Скарлатина была у вас в детстве?

— Доктор, простите, но вы переоцениваете вчерашний случай со мной.

— А вы его недооцениваете. Впрочем, кардиограмма покажет нам. А пока, Олег Николаевич, не крутитесь на койке. Разговаривать можно, не поворачиваясь для этого на бок.

Поздно вечером его койку задвигают в палату.

— Я не хочу! — протестует больной, но на это не обращают внимания.

Коридор — это временное. Коридор — это что-то невыясненное. Из коридора можно уйти.

Палата — это уже прояснившееся. Из палаты нельзя.

В коридоре он с нетерпением ждал, чтобы ему возвратили костюм. В палате нужно месяцы ждать, чтобы надела пижаму...

Он никогда не был криклив или вспыльчив, но теперь задыхается от своего бессилия в этой больничной стране...

— Давайте знакомиться, товарищ счастливчик, — говорит оживленная женщина. — Меня зовут Анна Нестеровна. Я ваш палатный врач.

— Счастливчик?..

— Конечно! Не возле каждого в такую минуту оказывается Андрей Николаевич!..

— А если он не оказался бы возле?

— Тогда вы бы уже не задавали вопросов... А теперь через месяц-другой выйдете от нас молодцом.

Она диктует сестре, какие сделать анализы, и говорит ему о режиме:

— Ну, вы быстро освоитесь с нашим меню. Эуфиллин, папаверин и так далее. На ужин добавим еще люминальчик.

И наклонившись:

— Чтобы вас не тревожили любовные сны...

Потом она берет стетоскоп, а он смотрит на нее и решает, что это слишком веселая бабочка для такого невеселого места. Но не знает, хорошо или плохо это.

Больше ему не пришлось ее видеть.

Он провел в палате лишь ночь, еще не присмотрелся к соседям, не успел там даже позавтракать, и койку опять передвинули. На этот раз в отдельную комнату.

Ему дали манную кашку, и пришел Андрей Николаевич.

Он выстукивал, слушал, и больной затревожился:

— Андрей Николаевич, почему меня положили в отдельную? Ведь это, насколько я знаю, только для самых тяжелых?..

— И для самых балованных,— ответил заведующим.

— Но я не просил!

— Вы не просили...

И врач тоже встревожился:

— Не подумайте, что это я сам...

Потом едко и грустно:

— Я не султан и палат не раздариваю.

Дверь в коридор всегда нараспашку. Шмыгают санитарки, сестры, врачи. Бродят в пижамах ходячие. Надрывается телефон у дежурной. Вот все развлечения.

Откуда вдруг инфаркт? Инфаркт всегда с кем-то другим.

У выздоравливающих, которым разрешили прогуливаться, желтые или красные лица. Нет нормального смещения красок. Люди или очень худы, или растолстели на койках.

Как там с ремонтом? Решили отпустить еще средства или переносят на следующий год?

Дежурная все время отбегает куда-то, и телефон как ребенок, которому грудь не дают.

Сегодня восьмое. У заместителя сейчас, наверное, драка за нижние этажи на Октябрьской. Нужно разместить бакалейный, нужно разместить овощной, комбинат бытового обслуживания...

Нет, кажется, уже распределяли вчера. Сегодня, вероятно, девятое.

Он здесь всего несколько дней, а уже путает...

Это страшно — лежать так без дела... И еще целых два месяца!..

У кого это он когда-то читал, что праздность — единственное, что людям осталось от рая? Это от ада!

И ни повернуться, ни двигать руками...

Андрей Николаевич грозно сказал, что кто не желает мириться с неудобствами маленькими, того ждут большие...

Смешно шархнул сейчас от няньки толстяк. Та носится с суднами, и от нее все отшатываются.

Почему до сих пор нет жены? Или ждет у телефона Норильск? Хочет прийти и обрадовать — говорили с Колей целых десять минут!.. Хорошо, если задерживает ее что-то доброе...

Андрей Николаевич запрещает приносить в больницу печальное. Он выговаривал в коридоре сестре, которая впустила к кому-то заплаканную... Посетители должны быть оживленными, новости — радостными, компоты — не кислыми.

Но сам Андрей Николаевич не улыбается. Ему-то, во всяком случае...

Вот с женой он говорил обстоятельно. Она не передавала подробностей, но радовалась, что Олег в таких великолепных руках. Это здесь опытнейший, ему подчинены все другие... И какое у него лицо благодарное!..

Но с самим больным он строг, суховат.

Вчера в животе целый день непонятное. Ощущение было такое, будто там что-то взрывается. Сестра не умела помочь.

Он сказал неуверенно:

— Нельзя ли попросить Андрея Николаевича?

Девушка вернулась, смеясь:

— Андрей Николаевич велел передать, что аммонала там нет. Он сказал, чтобы вы к животу не прислушивались, а взяли наушники и слушали что-нибудь поинтереснее...

...За неделю в больнице перебивали все сослуживцы. Каждый немножечко охал, а потом бодро вспоминал, что инфаркт — пустяки, что у такого-то их было три, а у другого — четыре... О делах посетители мало рассказывали или рассказывали превеличенно весело, и Олег Николаевич понял, что ему не скоро еще приступать к ним. Зато палату завалили цветами, фруктами, сладостями. Он бессильно протестовал и бессильно подставляя свою грудь стетоскопу профессора, который прислан был со стороны и чувствовал себя очень неловко в присутствии лечащих больных врачей... Профессору нечего было добавить к тому, что предписывал Андрей Николаевич, относившийся к этим вторжениям почти равнодушно. На то и начальники, чтобы у них были прихоти... Его самолюбия это не уязвляло.

Больной понимал, что завотделением — человек слишком

старый и занятый, чтобы быть еще суетным... Он врачевал уже лет сорок, а то и побольше. Лечил болезни известные и развешивал болезни-загадки. Знал действие старых лекарств, проверял пользу новых. Игру сосудов и каприз кровотока наблюдал у тысяч и тысяч. Чуть что серьезное — палатные врачи бежали за ним. Он был скорой помощью для своих подчиненных. В больнице проводил целый день и уходил позже всех. И хотя он не заглядывал в палаты без надобности, больным было спокойней, когда слышали его шаги в коридоре. И Олег Николаевич чувствовал себя тоже надежнее, когда не лысый профессор, а этот седовласый старик склонял к нему свое ухо. Ибо старик этот знал одну только ответственность — ту, что давно и сам возложил на себя...

— Ну, как прошла ночь? Прибегали к снотворному?

— Стараюсь, как вы советовали, не принимать.

— А спали?

— Нет, бился над одной неотвязной загадкой.

— Это совсем ни к чему. Тогда надо было принять люминал. Я говорил вам, что все служебные дела нужно выбросить из головы.

— Загадка совсем не служебная. Я силился вспомнить, где слышал раньше вашу фамилию.

— Гм... Странный повод к бессоннице. Слышали, наверное, в городе.

— Представьте, что нет. Слышал еще в детстве. Когда заснул, мне привиделась книжка «Записки доктора Белоголового». Осталась от какого-то прадеда. Мать берегла ее. У вас был в Сибири однофамилец и тоже врач по профессии?

— Гм... Любопытно. А почему ваша мать так бережно хранила ее?

— Не могу точно сказать. Кто-то из ее прародителей служил не то конюхом, не то дворником у Белоголовых... У нас в семье почти не было книг, одни буквари, а эта досталась, очевидно, от купцов, от хозяев, ну и лежала...

— М-да... Занятно, конечно... Мир действительно тесен... К вашему сведению, Николай Андреевич Белоголовый был в свое время знаменитым врачом. Некрасова лечил и так далее. А книга, о которой вы говорите, вышла уже после смерти.

— Может быть. Но это была моя первая «взрослая» книжка. Я впервые узнал из нее о царях, о декабристах, которых этот доктор лечил, об их проектах, идеях. Мало что понял, но много почувствовал...

— Декабристов он не лечил. Он знал их в Сибири, когда еще не был врачом. А вот беднота петербургская действительно боготворила его...

— И я ночью вспомнил, что там был портрет. Мне теперь кажется, что вы даже похожи...

— Не знаю. Он умер в конце прошлого века, а я родился уже в нынешнем. Но гены, возможно, и сказываются... Однако нам надо к делу... Вздохните и задержите минутку.

На воле за день ничего не успеть, а тут день держится долго. Бывают посетители, приезжает после мертвого часа жена, а все равно томишься, томишься... День не хочет отходить, переполняет в тоскливые сумерки, и они тянутся еще после того, как разносят незатейливый ужин. Жена говорит няне: «Не надо, не надо!», зажигает настольную лампочку (верхняя режет глаза) и заставляет больного есть всякую всячину, так как других развлечений не припасла. Потом ей пора уходить (дома — внучка, ее надо купать, и невестка не управляется с этим), и больной лежит, то закрывая, то открывая глаза, потому что в коридоре шатается свет. Коридор кусками плывет перед глазами, и в нем то бело от халатов, то зебрится от полосатых пижам. В этом здании и цвета ненормальны, и запахи. Где-то тление, где-то — восстание жизни... Скорее бы вырваться, скорей бы прошли еще сутки...

Днем, когда обходы, анализы, жена, посетители, — чувствуешь себя ни хорошо и ни плохо, чувствуешь себя вообще очень мало. А когда вечереет, ощущаешь себя слабым, стареющим... Умом понимаешь, что ты не старик (всего сорок восемь!), видишь это и по тому, как относятся люди (старикам болеют среди равнодушия, а о тебе непрерывно отовсюду справляются), но такая по телу разливается слабость, что и не мог бы на ноги встать...

Собственно, слабость была уж давно. Только не вдумывался в нее, не позволял ей заявлять о себе... Занимался топливом, бетоном, магазинами, водопроводными трубами, распределением площади, посадкой деревьев, завозом товаров, ремонтом школ, набором рабочих, заливкою выбоин... Временами ломило плечо, стреляло в лопатке, ныло под ложечкой, но само проходило... Ему говорили, что вздулись мешки под глазами, а он отвечал, что это не страшно, так как видит себя только во время бритья. Но чувствовал, что нет аппетита, что не останавливается глаз на хорошеньких, что временами не хватает дыхания... Но некогда было отойти от всего, всмотреться в себя...

Жизнь была слишком занятой, чтобы заниматься еще и собой. Он строил, строил, а все было мало, люди ворчали, ругались, и он гнал себя, гнал...

Прежний председатель (его сняли за невнимательность к людям, после заметки в центральной газете) говорил, сдавая дела:

— Увидишь, Олег Николаевич, пройдет меньше годика, зачислят и тебя в бюрократы... Кому сделаешь — тот впопыхах и

«спасибо» забудет сказать, кому откажешь — на каждом углу поносить тебя будет... А дом не растянешь. Если в нем сто квартир, не выкroiшь двести. И для всех не будешь хорош...

Олег Николаевич возражал, а он озлобленно:

— Увидишь, увидишь!.. Еще только строится дом — вокруг него уже драчки... Считается, что у нас люди моральные, а помахай перед ними ключом от квартиры, и сделаются враз ненормальные. Отвяжешься от того, кто крикливей, а тогда взбаламутятся целых сто крикунов. А от ста не отделаешься.

Усталый, уязвленный, пораненный, этот человек верил себе, когда нервно сказал:

— Ты, случаем, не читал про «Кон-Тики»? Сын такую книжку принес... Геройская, конечно, поездочка... Но, честное слово, я не загибаю тебе, что когда едешь на собрание к текстильщикам, то по сравнению с этим — «Кон-Тики» прогулочка... Такие там бури и штормы, что и в океане не часто... А бабы подчас — те же акулы. Наобещаешь им, чтоб скорее убраться, — потом два года расхлебывай... Ходят на каждый прием, ловят на улице... А что можешь ты дать им, когда тебе надо сначала спастись от тех, кто строчит в горкомы, обкомы, в газеты...

Став председателем, Олег Николаевич не шел путями предшественника. Ни от кого не скрывался, не делил людей на горластых и тихих, не склонялся перед назойливыми... На заводах проверили, кто как живет, установили строгую очередь. С горкомом договорился не нарушать ее... Если давал жилье не по плану, то лишь тем, кого план обошел по неведению... Три года он был председателем, три года не изменял себе и на собрания шел с открытым забралом...

На этих собраниях, на приеме, в домах, в учреждениях оставались, конечно, недовольные. Но и недовольные видели, что ловкость не берет теперь верх над нуждой...

Таким он был всегда. Еще мальчиком Олешкой, когда делились ириски. Представителем студентов в комиссии, назначавшей стипендии. Командиром роты саперов, который прогнал старшину, принесившего ему сахар без норм. Строителем, не желавшим называть сделанным то, что было еще не доделано... И поступал он так не по зароку, а потому, что иначе не мог... Иные много хитрили, а он перехитрял их обыкновенною честностью.

Но сосуды свои перехитрить не удалось. Казалось, что справедливость — это проще всего, а она требовала напряжения сил.

В общей палате, где он провел один день, кто-то сказал, что со службистами не происходит инфарктов. Они — удел или очень хороших людей, которые вечно бьются с неправдами, или воров, которые постоянно дрожат, что поймают...

Впрочем, зачем над этим задумываться... От этого не уберегаются и те, которые себя берегут, так что уж тут размышлять о себе, о таком, который никогда не берегся...

Но почему легло что-то между ним и врачом?.. Почему Андрей Николаевич с ним не так, как с другими? Более деловито, натянуто... Неужели не почувствовал он тогда на приеме, что когда столько людей еще не устроено... А ведь он такой понимающий... Посмотрит, послушает, и ему не надо приборов. Ты показываешь ему, где болит, он туда только взглянет, а займется совершенно другим. Начинает вдруг щупать ноги, нажимает на палец, ты говоришь ему, что палец совсем не болит, даже не чувствуется, а он поглощается тем, что не чувствуется, и диктует новые процедуры сестре... Всепроникающий!.. Глаза изучающие, серьезные, грустные... И хочется, чтобы эти глаза смотрели на тебя приветливо, дружески. С той же симпатией, какую они вызывают в тебе. Нет, это не симпатия даже, а больше. Когда он припадает ухом к груди,—примесь какого-то сыновнего чувства. Когда обходит палаты — самый высокий, седой и красивый из всех, кто вокруг в белых шапочках,—еще и благоговение... Может быть, это смешно, чтобы мужчина испытывал такое к мужчине, и, наверное, только в больнице можно так по-детски расчувствоваться, но этого чувства не переборешь в себе, да и незачем его перебарывать... И так досадно, что этот чудесный старик...

Пижамы в коридоре уже не мелькают. Заходит сестра сделать на ночь укол. Свет в глазах раскачивается все сильнее и сильнее. Кого-то провозят в коляске. В дальней палате плачут взахлеб. Проносится стайка белых халатов. Где-то нехорошо... Дежурная перечисляет по телефону лекарства, которые нужны на завтра. «Эуфиллина,—диктует она,—полтораста приемов... Декамарин... Строфантин... да, строфантин...» Это слово напоминает конфетти. Нет, не конфетти, а тонкие разноцветные ленты. Их бросали на девушек, охватывая их бумажными кольцами... Зал колышется в танце... Рожи одна страшнее другой... С бородами, с рогами, с носами, как хоботы... Никого не узнать... Крики, смех, барабан, саксофон... Новогодний в Технологическом!.. «Разматывай, ребята, не экономь, привезли шестнадцатый рулонов!..» Ленты красные, зеленые, синие. Люстры тоже во всех красках радуги. Девушки словно в лассо. Шумно, чудесно, только маска мешает дышать... Айда освежиться!.. Они выбегают на улицу. Трут снегом пылающее лицо... Двустороннее? А я, доктор, даже не чувствую... Ладно, ладно, не встану...

И вот лежит теперь по собственной глупости. Пропали каникулы. Постель вместо лыж... А над ним что-то кружится. Кружится, кружится, ищет, куда бы присесть. И садится между глазами.

— Это не вы обронули, случаем?

— О, большое спасибо...

— Ну слава богу. А то уж пятого спрашиваю.

Дворник рад возвратить находку зятю Андрея Николаевича.

ча. Он почитает врача больше всех других жильцов дома. Тот вылечил дочь...

В бумажнике оказалось всего два рубля, но он хорош сам по себе — почти новенький, из крокодиловой кожи.

Человек приходит домой и хохочет. Есть же на свете еще дураки!.. Разглядывает неожиданный подарок, любитесь. Милая штучка!

— И ты смолчала? — стонет Андрей Николаевич, когда жена рассказывает ему об этой истории.

— У меня слов не нашлось...

— Какой позор! Какой ужас!

Он потрясен. Он хочет сейчас же идти в комнату зятя, надавать ему оплеух, выбросить вон...

Жена стала у двери, не пускает.

— С твоим давлением? Боже тебя сохрани...

Всю ночь оба ворочались, не могли успокоиться.

— Менять! На что угодно, только не видеть!! Пусть им отдельную, нам с кем угодно, но как можно скорей...

Она заплакала:

— Не можем мы, Андрюша, жить с кем угодно... Сколько нам еще осталось вообще?..

— Но какой же выход тогда? Ведь нет его, нет!

— Ты не волнуйся. Ты выслушай, что я скажу тебе... Этот твой председатель... Ведь ты ему жизнь спас!..

— Именно, именно! И поэтому не может быть речи! Неужели тебе непонятно? Это полностью отрезает пути... Не смей говорить даже!..

— Хорошо, хорошо, не волнуйся. Нет, и не надо. Но только я понять не могу... Что ему стоит сказать там...

— Ему, может быть, ничего и не стоит, но мне зато стоит! Или прикажешь сказать ему: «Вы отказались обменять мне квартиру, но теперь я лечу вас, и за это мне следует...» Так, что ли?! Да как это могло прийти тебе в голову! Даже думать об этом не смей! Я скорее...

— Ну ладно, ладно. Ну что это ты так горячишься...

— А потому горячусь, что меня удивляет...

— Ну хорошо, хорошо, успокойся.

Она зажгла ночничок.

— Господи! Двадцать пятого... Дать тебе димедрол? Я не сварила валерьяновый корень... Прими, Андрюша, таблетку. Ведь осталось только два с половиной часа... Надо же хоть сколько-нибудь...

Он проглотил, но не успел задремать, как она успокаивающе:

— А знаешь, Андрюша, ты прав... Не надо ничего говорить. Если он поряточный человек, то и сам... Да, да, я совершенно уверена... Тут не нужно подсказок... Это будет так элементарно с его стороны, так...

— Прекрати. Прошу тебя, прекрати,— устало сказал Андрей

Николаевич.— Не хочу я о нем. Мне этого человека в больнице достаточно...

— Ты не ладишь с ним? Он вызывающе ведет себя там? — испугалась она.

— Нет, нет, он ведет себя совершенно нормально. Я не лажу не с ним, а с собой... Ну дай же мне спать наконец... Иначе зачем же таблетка.

Он не досказал ей, в чем дело. Не сказал, что с больным у него все очень непросто... Вызывает директор больницы, звонят из горкома, из здравотдела... В палате целый день посетители, ее завалили продуктами, книгами... Его жена — приятная, еще не старая женщина, но привыкла, видимо, делать что хочет. Забила все холодильники, бегаёт на кухню, словно на собственную... Это вредно больному, нарушает все правила, уязвляет других больных, а он, Андрей Николаевич, не решается прекратить беспорядок, боясь, как бы его пациент не усмотрел в этом мелкого мщения... Он не хочет и улыбаться больному, избегает непринужденного тона, чтобы тот не заподозрил заискивания... А главное, заведующему отделением велено быть его личным врачом... Всех других больных лечат палатные, Андрей Николаевич осматривает их лишь в определенные дни или в случае надобности, а этого каждое утро... И персонал и больной могут увидеть тут предпочтение... В общем, с больным этим сложно... Этот человек даже чем-то приятен, но слишком обременителен...

Стены в больнице салатовые, окна большие, много света, цветов. Но лежать здесь невесело, даже если ничего не болит. Тут нет событий, и поэтому событием становится все: и выговор, который сделала старшая сестра санитарке за недостаточно белый халат, и что дали сегодня на завтрак, и незнакомка, пришедшая за кровью из вены вместо той девушки, что брала в предыдущие дни. И уж конечно самое большое событие — как на тебя врач посмотрел...

Лишенные дел, люди мельчают. У них отняты интересы, и они интересуются всякой безделицей. Даже те, кто сохраняют умение испытывать удовольствие от чтения книг, то и дело переводят глаза на другое — стараются разглядеть человека, которого пронесли на носилках, следят за няней, вытирающей пол, за неуверенным шагом молоденькой девушки, выползшей с палочкой после приступа ревмокардита...

И очень обострено у больного внимание к себе самому... Здоровый о себе не задумывается, все радостное и безрадостное к нему приходит извне, а больной огорчается, если высок протромбин, и радуется, когда сработал желудок... Ему не сообщают, что показали анализы и каковы тоны сердца, а он выспрашивает у лаборантки и старается что-то вычитать в глазах докторов...

Олег Николаевич не составлял исключения. А лежа еще в отдельной, где нет собеседников, он особенно часто прислушивался то к сердцу, то к пульсу. За день, проведенный в общей палате, он набрался всяческих сведений и переболел теперь артритом, тромбозом, раком желудка и легких. Прежде совершенно равнодушный к себе, он открывал теперь то одну, то другую болезнь и не столько пугался их, сколько сокрушался о том, как же все пойдет без него...

Но не все ненормальности были лишь вымышленными — часто ныло вечерами под ложечкой. Однажды боль была такой сильной, что он начал стонать и, забыв запреты, заерзал...

Пожилая женщина на распухших ногах, бывшая в эту ночь дежурным врачом, испугалась и влила ему в вену полную дозу быстродействующих сосудорасширяющих средств. Но боли утихли лишь на минуту... Она побежала за Андреем Николаевичем. К счастью, тот еще не ушел.

— Это не сердце,— определил завотделением, послал за лаборанткой, велел ей взять кровь на исследование, и, пока она проверяла ее, он щупал живот, оттягивал за чем-то веки больного, всмотрелся в глаза... У Олега Николаевича болело именно сердце, а врач занимался другим.

— У вас не в порядке желчный пузырь,— объявил он и, взглянув на принесенный лаборанткой листок, объяснил: — Но кровь спокойная, и ничего страшного нет. Недельки через две, когда отлежитесь, мы позондируем. Вероятно, песочек... Не надо вам куриных бульонов, масла, икры и много прочего, чем жена здесь пичкает вас. Она думает, что здоровье — в тарелке, старается накормить повкусней, а вам нужно лишь побезвредней... Скажите ей, что вы будете жить до ста лет, если она оставит свой способ лечения. И пусть завтра зайдет ко мне... А сейчас вам сделают чуть-чуть пантопона, и спите.

Поднялся и вышел. А дежурная на распухших ногах облегченно вздохнула, неловко потопталась минутку и сказала:

— Ну вот видите... Ничего страшного нет...

Настоящий художник! Сильный, спокойный, уверенный... Но такой — постоянный укор собратьям по нелегкой профессии, понимающим больного не лучше, чем тот себя понимает...

Больному сразу сделалось легче. А после укола его тело стало чугуниным-чугуниным, а сам он поднялся над ним и унесся... Сквозь сладкую дрему он еще слышал, как Андрей Николаевич говорил где-то в телефонную трубку:

— Улеглись? Ну, тогда выхожу...

Олег Николаевич не осознал этих слов, не успел огорчиться...

Она побывала у главного и возвращается сильно смущенной.

— Тоны сердца у тебя уже очень приличные... Но он так строго со мной говорил... И неужели он лично тут?..

Больной подтверждает. Утром, после осмотра, Андрей Николаевич велел сестре проверить, какие в палате продукты. Та извлекала из шкафа и столика банки, коробки, пакеты и подавала ему. Он велел оставить только компоты, остальное забрать... «Вместо этого,— сказал он,— будете получать желчегонную травку».

— Сам брал все в руки? Как неудобно!

— Угу. Сам брал все в руки.

Больной не добавил, что к этим рукам, когда они прикасаются к его неподвижному телу, ему иногда очень хочется по-мальчишески прижаться щекой...

Днем был заместитель, рассказал, как заселяются два новых корпуса.

Заселяются правильно, но в сердце — игла...

Впрочем, сердце при заселениях редко бывало спокойно.

До самого вечера он не может понять, физическая это боль или нет, в сердце это или на сердце...

А потом возвращается ночь, и с нею въезжает Черышко на роликах. Ролики — под дощечкой, а дощечка словно приклеена к ягодицам. Чтобы возместить себе ноги, он держит и в руках по колесу. Итого их шесть штук. Не человек, не кентавр, не карета...

У него красивое, длинное, еще молодое лицо и синие злые глаза. Когда были ноги, синь излучала другое. Ее близости не выдерживали, наверное, женщины, их глаза закрывались сами собой... Теперь эта синь угрожает недобрым. «Мне терять нечего,— читает в ней председатель.— Для обрубок нет уголовного кодекса. Я — разнузданный, от меня ждите всего».

«Инвалидный дом»,— говорит председатель.

«Я у тебя в плане благоустройства? — отвечают глаза.— Посадка деревьев, снос сараев и вывоз обрубок? Так, что ли, а? Я несочетаем с цветочными клумбами? Порчу вид улиц?»

«Комната»,— тихо говорит председатель.

«Комната? — переспрашивают, сверкая, глаза.— В квартире с теми, кто ходят, скачут, танцуют?! Разве будут они ждать вечер у ванной, пока я размонтирую и снова смонтирую тело-повозку? Смогут глядеть, не отплевываясь, на развешанные мои распашонки?»

И вдруг обрубок начинает дикую пляску. Вдавлив руки в пол, он бешено поднимает и опускает себя, скачет на месте. Ролики стонут, гремят и визжат...

«Я сумасшедший! — кричит он.— Я сумасшедший!»

«Не надо! — говорит председатель — Не надо. Никакой ты не сумасшедший. Ты взял верх надо мной. Может быть, права и нет у меня, но обязанность есть. Ведь я-то возвратился с ногами...»

Входит сестра, видит, что больной уже спит, и гасит настольную лампочку. Но на деле он вовсе не спит. Он разговаривает сейчас с возвратившейся...

Женщина седая, растрепанная, несуразно одетая.

«Я тоже инвалид,— уверяет она.— Есть инвалиды войны, инвалиды труда, а я — инвалид жизни... Понятно? У меня не отняли ноги, но отняли душу... Мой муж создавал советскую власть... Он там остался...»

«Понятно,— говорит председатель.— Но оставим мертвых в покое. Вы — одна. Я поставлю вас в очередь».

«Как ты сказал: «Оставим мертвых в покое»? Ты хочешь этим сказать, чтобы оставили в покое тебя!..»

Он растерялся, молчит, а она встает и трясась:

«Мертвые не могут говорить, но кричат...»

Он вздрогнул.

Потом достал из стола напечатанный список, размашисто вычеркнул чью-то фамилию и такой же твердой рукой вписал...

У того — жена и ребенок. Эта — одна. Но именно потому, что одна... Абсолютно одна. Во всем мире...

Нет, не потому, что одна... Тут не жалость, не милость...

Он стонет. Сразу входит сестра. Ей недаром велели перенести столик дежурной именно к этим дверям. У него свесилась с кровати рука. Она поднимает. А он продолжает свои разговоры.

На этот раз перед ним крепкий мужчина с умным, решительным, грубоватым лицом.

«Здание горсовета вы построили видное,— говорит он,— но вот толку в нем не добьешься. Третий раз прихожу».

«Народу много»,— говорит председатель.

«Не народу много, а безобразий».

«Это трудности, а не безобразия».

«А чего же вы с ними не кончаете?»

«Кто это «вы»?»

«Власть, конечно».

«Вы такая же власть, как и я».

«Был бы я властью — был бы с квартирой. Кто в кабинетах — ему не надо три года выпрашивать».

«Вы что же, считаете, что пять тысяч с лишним квартир, которые выстроены за эти три года, заселены теми, кто сидит в кабинетах?»

«Мне вашей цифири не надо. Мне надо где жить. Нас пятеро на восемнадцати метрах. Четыре кровати. За одним столом — и борщ и уроки. В буфете и чашки, и мыло, и книжки».

«Знаю. Поэтому уже через год вы по плану...»

«Что вы мне тычете планы?»

«Хорошо, не буду тыкать вам планы. Вот список вселяемых в этом году... Укажите, кому отказать, чтобы вам немедленно дать?»

Посетитель теряется:

«Я так не говорил...»

Больной снова стонет. Сестра снова тревожно заглядывает. Но пульс правильный, четкий. А больной все время бормочет. Ей невдомек, что у него сейчас происходит прием. Комната все наполняется. Люди всех возрастов. Обступают, суют заявления... Она колеблется, будить врача или нет. Старается понять, что он шепчет. И вдруг различает: «Андрей Николаевич, милый, не мог я, не мог...»

Он узнал от жены, милый зятек. И смеется над тестем. А теща все слышит.

— Ха-ха-ха! Ну и прост же твой папочка!.. Ах, как мне жаль председателя! Бедняжка! Не знает, кому раньше выкронить! Ха-ха-ха! Без живота тут останешься!.. Он, кажется, уже ни на что не годится, твой старец, кроме как с больными возиться... Здоровые-то посмотрят и по лбу постучат... Хочешь знать, как квартиры даются. Спроси у жены его заместителя. Устроила своему парикмахеру. Который делает ей из образины лицо. Или у инспекторши жилотдела спроси... А этот праведник, который свалился с инфарктом, он или сам — держи ухо востро, или совершенно не знает, что делается у него за спиной.

Жена возражала. Неуверенно, робко.

— Что ты знаешь! — злился ее муженек. — Что ты вообще можешь знать в своей затхлой корректорской! А я вижу и слышу. Дай бог твоему старику столько лет жизни, сколько раздастся квартир... Конечно, в гранках об этом не вычитаешь, а вот когда среди людей потолкаешься, враз поуспеешь! С ручательством тебе говорю, что председатель — лицемер или дурень. Твой папочка уши развесил, а тот, может быть, ждал подношения... И прямо скажу тебе — твой отец будет последний дурак, если не потребует сейчас гонорар. Ведь это исключительный случай! Благодарнейшая из ситуаций! Ты должна объяснить ему. Настаивать, требовать. Нечего ему играть в джентльменство. Если не хочет о себе позаботиться, то не смеет не думать об единственной дочери... Я не могу написать значительной вещи, пока мы все в одной комнате или рядом соседи... Людей невозможно принять... А когда у нас будет квартира! Когда мы обставимся!.. О! Ты увидишь, как все сразу иначе пойдет!..

— Да, — сказал Андрей Николаевич, — может быть, нам осталось немного. Но я не хочу в эти последние годы быть самому себе отвратительным... Поэтому запомни раз навсегда: ни за что, никогда!..

Мать сказала дочери, та поведала мужу...

У больничных ворот ждет машина.

Но женщину останавливает молодой человек:

— Простите, вы, кажется, жена Олега Николаевича?

— Да,— подтверждает та удивленно.

— Я — зять Андрея Николаевича... Вы не уделите мне пятнадцать минут?..

— О, очень рада! Конечно, конечно! Сколько угодно!

Она хочет открыть дверцу машины.

— Нет,— говорит он,— не при шофере...

— Хорошо, хорошо,— недоумевает она.— Может быть, вы тогда поедете к нам? Я так счастлива буду видеть у себя члена семьи такого чудесного, такого заслуженного...

Он едет к ней на квартиру. Там ужинает. Восторгается внучкой. Обещает вырастить для нее жениха. Посвящает семью в тайны литературного творчества. Рассказывает, сколько загублено было талантов оттого, что им негде было писать. Говорит о мытарствах Андрея Николаевича, которому даже «Терапевтический вестник» приходится на антресолях держать... У него гигантский клинический опыт, но нет возможности вечерами сидеть, обобщать... К тому же опыт и ум — это еще не характер. Характера нет. Не умеет, не хочет хлопотать за себя. Хлопоты кажутся ему унижительными. Если бы он узнал, например, об этом визите, с ним случился бы приступ.

Женщина чувствует тайную радость. Ее жизнь на ближайшее время получает важную цель. Он говорит, а в ее голове уже зреют проекты...

— Я благодарна вам,— признается она,— благодарна, что вы даете возможность... То, что сделал для нас Андрей Николаевич, этого не возместить... Спасибо, что вы доверились мне...

И воодушевленно жмет ему руку:

— Мы с вами в заговоре...

...— Ну,— сообщает Андрей Николаевич,— кардиограмма уже довольно приличная. Очень, очень хорошо зарубцовывается... Пора уже думать о санатории. Недельки через две мы вас выпустим, и надо бы сразу... Эдак месяца на два. Предупрежу сегодня горздрав.

— Спасибо,— отвечает больной.— Спасибо вам, дорогой человек...

И невольно, в порыве, сжал руки сидевшего на кровати врача.

Андрей Николаевич смутился, удивился, обрадовался, проворкотал: «Ну чего там, чего там!», поднялся, пошел, потом остановился в дверях, обернулся и строго сказал:

— Но не думайте, что это на юг. О юге забудьте.

— Ты еще тяжелый больной, тебя нельзя волновать, но скажу тебе прямо: ты не человек, если не сделаешь этого.

— Но как ты не можешь понять...

— Не хочу, не желаю ничего понимать! Если б не он, тебя уже не было бы...

— Но благодарить за себя я могу только тем, что мое.

— Перестань! Это слушать противно. Тебе скоро уже пятьдесят, а твердишь, будто закон пионера.

— Я не твержу, а рассуждаю, как только и может рассуждать человек, которому...

— Которому не стыдно еще рассуждать о том, что всякий другой сделал бы немедленно, без рассуждений!

Он молчит, а она еще резче:

— Я уверена, что нет никого, кто на твоём месте, в твоём положении...

Он продолжает молчать, она становится все нетерпеливей и, забыв об его состоянии, которое еще так недавно страшило ее, старается уязвить, оскорбить:

— Или ты попросту трусишь? Боишься, что скажут?

Он начинает учащенно дышать... Она вдруг спохватывается:

— Олег! Что с тобой?!

Хватает лекарства, суматошно сует ему, бежит за сестрой...

А через десять минут, когда дыхание снова нормально, она садится к нему на кровать, гладит слегка поседевшие волосы и пытается взять его лаской:

— Олешенька, родной мой Олешенька... Ведь я для тебя же прошу... Как ты будешь смотреть этому человеку в глаза?.. Я не могу... Мне стыдно. Понимаешь ты, стыдно... Он такой большой, благородный, а мы... мы скроемся из больницы, как гаденькие...

— А расплатившись квартирой, мы, на твой взгляд, поднимемся? И спроси его, примет ли он эту оплату... У меня не повернется теперь язык предложить, ему самолюбие не позволит принять теперь...

Она оживляется:

— А это не нужно! Я уже придумала. Можно перевезти его без него: кто-нибудь поможет в семье. Устроить сюрприз!..

Он не выдерживает:

— Не будь же ты душой.

Она замолкает, потом обиженно, медленно:

— А я всегда была дура. Когда на стройках не ладилось, когда говорила, чтобы ты ложился, поел, следил за собой... Если молчала, делалась милая, не хотела молчать — сразу дура... И это всю жизнь. То милею, то снова дурею...

Ему становится жаль ее. Он берет ее руки:

— Прости меня, милая...

Через три дня — выписываться.

Сначала разрешили спускать ноги с кровати, потом — сделать несколько шагов, потом — выходить в коридор.

Когда первый раз встал, голова закружилась и ноги подкашивались. Теперь уже ничего...

В коридоре много ходячих. С чем только тут не лежали! У одного — артрит, у другого — язва желудка, у третьего — двенадцатиперстной кишки, у четвертого — увеличение печени, у пятого — поджелудочная железа донимала... И почти в каждом рассказе — Андрей Николаевич... До него человека два года лечили не от того, от чего это надо было... Без операции справился со щитовидкой, которую хирурги советовали обязательно вырезать... Возвратил ноги, которые совсем отнимались... Только и слышишь — выходил, помог, облегчил... Толкуют о его привычках, словах, поведении... Олег Николаевич убеждается здесь, что не его одного переполняет чувство признательности. Тут общая влюбленность царит. Но мостик к сердцу врача не проложен был только у одного... И нет теперь доступа... То, что должен был сделать председатель городского Совета, не может сделать спасенный больной... И того, что просил житель, гражданин, избиратель, не может взять врач.

Когда незнакомый Андрей Николаевич пришел со старомодно написанным своим заявлением, оно показалось и наивным и барственным. Подумаешь, с зятем не ладит! Мало ли разных семейств, где жалуются один на другого. Так что же — всем им новые квартиры давать?! Дети с родителями ссорятся, мирятся, снова ругаются и снова сживаются... Перед председателем городского Совета был слишком чувствительный тесть, не испытывавший настоящей нужды...

А сегодня пациенту Андрея Николаевича стало понятно, что не всегда нужно знать только степень нужды, что иной раз важнее именно степень чувствительности...

В одном положении у человека одно понимание, в другом — совершенно другое, и не бывает сразу многосторонняя мысль...

Впрочем... верно ли многосторонняя?.. Почему надо думать, что Андрей Николаевич, который не уходит домой прежде, чем зять не уляжется спать, переживает это острее, чем старушка, сидящая в кухне, потому что в комнате расположилась невестка... Разве это рассуждение не такое же барственное...

Нет, дело не в этом... Дело в том, что Андрей Николаевич — это Андрей Николаевич. Он нужен тысячам. Он — социальная ценность.

Нет, и это не главное. Главное то, что когда знаешь близко...

А если бы раньше знал? Все равно нет права быть добрее закона. Иначе можно опять возвратиться к усмотрению, произволу, раздариванию...

Но почему сейчас складывается так нелепо, недобро?! Почему нет возможности сделать хорошее для человека, которому жизнью обязан, которого всей душой уважаешь, и делаешь людям, которых не знаешь, которых и не за что подчас уважать!..

А может быть, он зря усложняет? Сделать, и все!..

Жена, кажется, совершенно права. Она слишком порывиста, но есть случаи, когда, вероятно, и надо следовать таким вот порывам. В них — своя справедливость.

Жизнь приучила раздумывать. Раньше он был менее сдержан. Иногда поступал не как надо, а как сердце подсказывало и потом убеждался, что это и есть то, что надо...

И всегда ли он был справедливым, всегда ли руководился только законом? Нет, совсем не всегда...

Еще в молодости, когда с матерью жил... Она ни за что не хотела в артель. Труд так скудно оплачивался, но не оплачивался... А у нее было трое... Шила у себя на дому. Тайно, завесив окно. Шила, как краля. Жила как затравленная. Он неуверенно спорил с ней («Я — комсомолец!»), мучился своим соучастием, но не пошел ведь сообщать в финотдел...

Или тогда с этой студенткой... Она была с длинной косой, застенчивая, несмелая, тихая. С того дня, как заметил ее, искал в коридорах глазами... Потом познакомились, но виделись лишь на лету. Она отказывалась от вечеринок, театра... Ему оставалось подбежать к ней, вздохнуть, пожать руку и умчаться на лекцию. А однажды в профкоме, когда разбирались просьбы о ссудах, — ее заявление. Другие просили на лечение, на поездку к родным, а она написала «на платье». Все возмутились, а он настоял... Ей дали, а кому-то не дали... Потом она появилась веселая, будто другая, и он сообразил, что она до сих пор ходила все время в стареньком, штопаном... «Платье было не прихотью, — радостно оправдывал он себя самого, — оно нужно было для того, чтоб ожить...» Но он знал, что другая девчонка не поехала на проводы брата, уходившего в армию...

Но зачем вспоминать далекое прошлое! Зачем эти отдельные случаи, которые и остались в памяти лишь потому, что их тогда было немного!..

А потом было много!.. Мирился с прорабами, о которых знал самое худшее (иначе нельзя было выстроить к сроку)... Забирал самосвалы и краны, без которых задерживались другие строительства... Вырубил рошу, чтобы построить бетонный завод, а позже, став председателем, занялся лесопосадками... Да разве все перечислишь! Всякое было!.. Корыстным он не был, не путал личной и государственной пользы, всегда старался делать как лучше, но определять, что же лучше, не всегда было просто... Наблюдая некоторых работников из городского актива, которые один и тот же моральный вопрос решают то адекватно, то так и мало задумываются о своей непоследовательности, он с удовлетворением чувствовал, что реже других поступает применительно к случаю... Его уважали за это, знали, что в нем житейского попустительства не было, как не было у него и каких-либо дел, о которых он бы не мог рассказать. Разумеется, иногда вещи или события бывали сильнее его, и он, тяготясь, скрепя сердце...

Но ведь в данном-то случае на него никто не давил! Не нажимали извне! Все в нем самом...

Да, в нем самом... И это было особенно трудно. Нелады со своим заместителем, споры в горькоме, с приезжающими из министерств москвичами были легче, чем эти споры с собой.

Два месяца гнетущей неловкости. Самоупреков. Самооправдывания.

И выйдешь из больницы безрадостно, не зная, как с человеком проститься, что пробормотать в благодарность.

Прощание не вышло неловким. Андрей Николаевич облегчил эту сцену. Пришел не один. Это был как раз понедельник, когда он делал обход. С ним шла стайка врачей.

Он вручил одетому в костюм пациенту конверт и сказал:

— Тут выписка из истории вашей болезни. Передадите ее лечащему врачу в санатории. Он укажет вам, как себя дальше вести. Но вы и сами, надеюсь, стали тут грамотным... От курильщиков будете бежать за версту. Первая же затяжка вызовет спазм. Никаких резких движений. Быть на воздухе, но не на солнце. Пища только простая и легкая. Гулять обязательно, но не утомляться... Впрочем, там все сердечники, и вы уж посмотритесь... Ну... ни пуха вам, ни пера...

Рукопожатие. Олег Николаевич старался вложить в него многое... А Андрей Николаевич, не высвободив своей крепкой руки, досказал:

— Когда возвратитесь — обязательно сюда показаться.

И стал поспешно распоряжаться о том, кого теперь сюда положить.

Жена пациента стояла при этом. С конфетами, привезенными с собой для сестер, и с румянцем на миловидных щеках. Но ничего не сказала...

«...И я благодарен тебе, что в последние дни ты перестала досаждать мне с этой историей. Ты же у меня чуткая, умная и не могла не понять... Я люблю тебя сейчас сильнее прежнего, и не потому, что после инфаркта жена дороже, чем до него, так как больше нуждаешься в ее вечных заботах, а оттого, что ты отступилась от требования, которое делало бы меня и дальше больным.

Меня угнетает, конечно, что все получилось так. Но что могла сделать?..

Здесь лечится (тоже после инфаркта) приезжий художник. Верней, он не лечится, а только выносит этюдник на воздух. По-завидуют ему больные в лонгшезах. Я позавидовал. Вот человек, которому не пришлось бы задумываться! Он сделал бы портрет Андрея Николаевича!

Мой сосед по палате рассказывал, что его палатным врачом была молодая веселая женщина, и, воспользовавшись Женским

мартовским днем, они сообща, всей палатой, преподнесли ей хрустальную вазу... Но я думаю, что в гипертоническом возрасте, когда жизнь хрупка, как стекло, такое уже вряд ли порадует...

Потомку доктора Белоголового (он знает среду и эпоху, в которой жил его предок, гонит желчь смесью бессмертника с кукурузными рыльцами и прописывает вместо снотворного мед) могли бы, вероятно, прийти по душе какие-нибудь вещицы из прошлого — исчезнувший от лесопорубок ландшафт, старинный ларец, редкие книги. Их мог бы мне подыскать антиквар. Но когда вспоминаешь, что А. Н. негде держать их, такая идея тоже не держится...

Здесь бродит по аллеям молодой человек в драной и невиданной шляпе. Она не бросалась бы так резко в глаза, не будь он великолепно одет. Однажды мы оба прогуливались по дальней тропинке и разговорились. Он оказался спортсменом с перетомившимся сердцем, а шляпа — сувениром, который он вывез из одного калифорнийского города. Там торговцы намеренно продырявливают широкополые шляпы револьверными пулями, чтобы туристы закупали подарки, в ковбойстве которых не будет сомнений. Спортсмен сказал, что привез еще и другие диковинки и, если мне очень хочется, может кое-что уступить... Но, к счастью, я быстро сообразил, что Андрей Николаевич вряд ли загорится желанием хвастаться, будто попадал в переделки в нераспаханных прериях, и отклонил предложение...

Мне еще многое приходило на ум. Например, мраморный чернильный прибор, не нужный во времена самописок... Автомобиль, на который у нас нету денег... Мотоцикл, на котором Андрей Николаевич, конечно, не будет носиться... Карманные золотые часы, дарившиеся купцами приказчикам за долгую службу... Сервиз для гостей, приглашаемых любимым зятьком... Корзина цветов, которые через неделю завянут... Как видишь, объясняя тебе, почему нельзя расплатиться квартирой, я вовсе не искал оправдания неблагодарности. Я хочу его отблагодарить! Ох как хочу! Он-то живет удовлетворенный сознанием, что выполняет свой долг, но для меня этот исполненный долг создает в свою очередь долг! Как можно не подарить ему что-нибудь памятное!.. Но что, милая? Что?!

Я думал, думал, ничего не придумал и понял, что не обойдусь без тебя. Когда ты приедешь ко мне, привези предложения. Я заранее знаю, что они будут умнее и проще всего, что я перебрал. И вообще я жду воскресенья, чтобы ушла эта пахучая скука, расстеленная здесь гладиолусами, лонгшезами, маком, кефиром и лаборантками, вянущими без танцплощадки...»

«...Это письмо, дорогой мой Олешенька, чем-то напомнило время, когда ты танцевал и острил... Но ты все-таки остаешься собой и даже после перенесенной болезни не можешь не зада-

ваться проблемами. Уверяю тебя, что ты видишь их там, где их нет. Смотри на все проще. Не порть свой отдых, добытый такой тяжелой ценой, и не ломай себе голову над тем, что из нее пора уже выбросить. Я к тебе, конечно, приеду и уведу от пахучей скуки, от разбитых под окнами клумб куда-нибудь в настоящий лесок, но на тему «Андрей Николаевич» разговаривать больше не стану. Это тема, порожденная только болезнью. Здоровые над ней не задумывались бы... Да, да, мой хороший, я не дам тебе больше себя изводить. Лонгшезов, которые тебе надо-ели, мы с тобой не потащим, возьмем складные невесомые стульчики и, сидя среди белых берез, будем болтать, как подобает мужу с женой — ни о чем и обо всем».

Шофер втаскивает груды томов.

Олег Николаевич ковыляет за ним.

Андрей Николаевич выжидательно смотрит.

— Бога ради, не ругайте меня... Я хотел что-нибудь памятное... Ничего другого вы бы не приняли, а в этом не можете мне отказать. Медицинская энциклопедия... Правда, займет много места, но... Мне сказали, что универсальные сведения... Составлял цвет медицины... Я позволил себе надписать первый том и прошу... от себя, от сердца своего, от семьи...

— Не волнуйтесь,— говорит Андрей Николаевич,— вам нельзя с таким возбуждением. Я приму. С низким поклоном приму. Это ценный подарок. Для всех нас. Зарплата рядового врача не позволяет ему такой крупный расход, а в больничный бюджет не вмещалось... Мы сделаем для нее маленький шкафчик и надпишем: «Дар больного такого-то».

Он пожимает руку своего пациента.

— Надеюсь, вы не обидитесь на такое решение. Дело не в месте. Оно теперь есть у меня. Но нельзя, чтобы такой важный справочник принадлежал одному, когда нас в отделении девять. Да и другие станут к нам забегать — хирурги, урологи...

И добавляет, выразительно глядя:

— А места теперь предостаточно. Просто хоромы...

— Как так хоромы? Ведь вы...

— Такой вдруг простор, такая перемена судьбы,— продолжает Андрей Николаевич,— будто шуба с царского плеча привалила.

— О чем вы, Андрей Николаевич?

— Вы еще спрашиваете!.. О квартире, конечно. Которую зять получил.

— Зять? Ваш зять?

— А чей же еще. Разве есть в городе другая семья, в которой был бы такой же гениальный писатель...

— Я первый раз слышу, Андрей Николаевич. И удивляюсь.

— Сам удивляюсь. Просто чудеса в решете. Просил в обмен

две однокомнатных — не нашлось их тогда. А теперь вдруг без обмена — вторая двухкомнатная...

— Ну, поздравляю вас, — говорит пациент, соображая, кто же из горкома за время болезни... Или был приказ из Москвы?..

— Спасибо.

— Значит, теперь вы вздохнули? Рад за вас всей душой.

— Да, конечно, вздохнул. Даже непривычно вдвоем на первых порах... И рад за внучонка. Есть где побегать... А главное, приятно то, что некого благодарить, — говорит он, не глядя на собеседника. — Никому в ноги поклониться не надо. Зять собственным заслугам обязан. Дали писателю... Ну, так... Раздевайтесь, Олег Николаевич. Посмотрим, что сделали время и воздух...

— Как ты смел! На каком основании! Черт знает кому!

— Э, брось, Олег Николаевич... Не черт знает кому, а такому же, как и другие. Ведь мы не таланты с посетителями спрашиваем. Какое нам дело, хорошо или плохо он пишет. Мы не комитет по Ленинским премиям. И я же не для него. Я старика освободил от него! А разве старик этот не стоит квартиры?! Или, по-твоему, если он тебя поднял, то сам потом может угробиться.

— Я тебя спрашиваю, на каком основании? Он — очередник, этот зять? Инвалид? Полковник, ушедший в запас?

— А ты не кипи! Тебе это вредно. Попросила жена твоя, а я ее уважаю, тебя уважаю, и вот мое основание. Эх, Олег Николаевич, Олег Николаевич!.. Ну что ты на меня навалился. Я твою ошибку исправил, а ты же еще и дыбишься... Что я, скажи, благодарность, что ли, от этого писателя принял? На его угощенья польстился? Сделал добро заслуженному человеку, и все! А ты напираешь, будто тут хабара какая... Вроде как слесарь недавно один. «Знаю, кричит, почему соседу большую даете, а мне только маленькую! Все, говорит, знаю о вас!» А этот сосед его — здоровый такой горлопан — на прошлом приеме тоже кричал на меня, что он знает! И вся взятка, которую я от него получил, — та, что он морды не тронул... Нет, Олег Николаевич, не того я ждал от твоего возвращенья. Думал, скажешь: «Спасибо, друг, что тянул. И коренником, и пристяжкой...»

— Вижу, как ты тянул...

— А как? Что ты видишь? Ну, иди людям расскажи. Засмеют ведь! За свинью посчитают. «Тебя, скажут, человек с того света стащил, а ты ему квартиру жалеешь! Кто же ты есть после этого?!» Вот что ответят тебе!.. И правильно будет. Эх, Олег Николаевич, Олег Николаевич!.. И чудной же ты человек... Такого натерпелся, такую болезнь перенес, почти пять месяцев не был, и вот нашел о чем говорить... Обидно мне это, очень обидно. И уж ты извини меня, но скажу тебе прямо: мелкость это в тебе... Ты и справедливый человек, и работяга, и с высшим, и

не мнишь о себе, а не легко с тобой... Нет широты, не даешь ни себе, ни другим свободы ни в чем. Строим в год больше тыщи квартир, а ты будто и не председатель... И не скажу, чтобы опасливый был, озирался, нет, тут другое. Ты сам перед собой неуверенный. Соступить тебе боишься. Все мудрствуешь, мудрствуешь... И позволю тебе откровенно сказать, по-товарищески: если и дальше будешь таким, не завидую... Ты о здоровье лучше бы думал. Это, брат, над богом издевка, над мамой и папой, которые жизнь тебе дали,— псу под хвост ее швыркать... Или, думаешь, праведников не те черви едят, что неправедников?..

— Эх, сказал бы тебе...

— И хорошо, что воздерживаешься. Я тебе не раз говорил: не нравлюсь — ставь вопрос на бюро. А жить меня не учи. Я ведь постарше тебя...

Тишина. Она влилась вместе с сумраком.

Это хорошо. Ведь гнев тебе вреден. Нужна примиренность. От примиренностей зависит твой кровоток.

И уйми самолюбие. Оно сейчас уязвлено оттого, что столько мучился, думал, а тут...

Очевидно, так надо было. Очевидно, ты впрямь много мудрствуешь...

Колдовал над квартиркой! А их в это время расколдовано, может быть, не одна...

Пора ехать домой. Там самое лучшее умиротворение — внучка. Правда, она не может спокойно сидеть рядом с дедом, лезет на него, норовит встать ножонками, а он не в состоянии сдерживать, отвлекать от акробатики сказками... Многое теперь не в состоянии сдерживать... Уже не может, не в силах...

Нет, домой еще рано. Он включает настольную лампу, берет из зеленой папки письмо.

«...И просим вас убедиться,— пишет неизвестная женщина,— как живем впятером... Люди не верят, говорят, такого у нас уже нет, вам должны дать, идите к своей депутатке. А муж на дневной и не может ходить. А я куда дену грудного? Писали мы в районо, чтобы в ясли, а он грубый такой человек, говорит, не надо было в таком положении разводить детский сад. И вот выбралась я к депутатке, она говорит, ты напиши, и я сама передам председателю, он про такое узнает, так сделает...»

Сердечнику вредно такое читать. Кровь должна бежать по сосудам размеренно, не замедляясь... Но, забыв, что здоровье важнее всего, он вдруг скомкал бумажку и тяжело задышал... Не от сознания слабости, а от нахлынувшей силы. Силы, которая ищет исхода, требует действий!..

Потом сидит неподвижно. Двигаются только желваки на щеках... Потом выдвигает средний ящик стола, достает список

остронуждающихся, подготовленный для утверждения. Долго колдует над списком.

Не выколдовывается...

Тогда порывистым резким звонком вызывает к себе секретаршу.

— Садитесь, — говорит он отрывисто, — записывайте.

И уже без раздумий диктует бумажку о гражданине таком-то, который не зачислялся на очередь, не принадлежит ни к одной категории лиц, предусмотренных таким-то законом, и получил площадь сверх норм... Бумажка предлагает считать недействительным выданный ему ордер на заселение квартиры по такому-то адресу и обязывает горжилотдел предоставить ему одну комнату...

Он с размаху подписывает эту бумажку, потом перечитывает, потом снова задумывается...

— Да, это будет не просто... Этот парень нажмет на все кнопки... У него есть союзник... И главное, может выплыть на сцену жена...

Да...

Но обмануть последнюю из надежд этой женщины — надежду на председателя...

— Может быть, мне зайти позже? — напоминает ему о себе секретарша.

— Нет, зачем, — спохватывается он. — Возьмите. На ближайший исполком. Подготовьте...

Она смотрит на него понимающе, забирает бумажку и выходит из комнаты.



ВАЛЯ

Автобус был без окон. На крыше его громоздилось что-то закрытое, старательно обмотанное рыжим брезентом. Стекла кабины завешивались словыми ветками, и разглядеть ее снаружи нельзя было. Чей был автобус, кого он возил и какой цели служил, в частях долго не знали. В дневное время таинственная машина редко показывалась, а когда ее видели, то принимали за разновидность «катюши». Некоторые уверяли, что она бьет по противнику иглами. Даже цифру называли — сто тысяч иголок в минуту. Разное говорили о нашей легендарной машине, пока в конце концов не узнали, что она занимается не стрельбою по немцам, а разговорами с ними, что, впрочем, только усилило к ней любопытство.

В каморке МГУ — так сокращенно называли в штабе мощную говорящую установку — находились не пушки, а радиоаппараты, усилители, рычаги для вращения рупоров, микрофоны, баки с бензином и вещевые мешки с продуктами. Помещалось нас в этой клетушке пять человек. Первым — не по роли в работе, а по месту, которое он занимал внутри нашего ящика, — надо назвать Витю Петрова. Это был высокий, ширококостный, хорошо скроенный парень, незлобивый, мягкий, но трусоватый. Отличительной чертой Петрова был его огромный аппетит. Витя так и остался у меня в памяти притулившимся между аппаратурой с котелком и ложкой в руках. Парень тяготился своим аппетитом и теснотой каморки.

Задача Петрова была нехитрой, но важной: как только диктор прерывал передачу, Витя должен был менять направление рупоров, находившихся на крыше автобуса. Это мешало противнику засекаеть нас по звуку и не позволяло его артиллерии накрывать МГУ. Надо ли говорить, что Виктор вертел рупоры без промедления...

Иным был радиотехник Кизенштейн. Лет под сорок, самый

старший из нас, маленький, худощавый, безразличный к еде, он отдавал Петрову свои хлебные порции, почти все время молчал и копался в своих аппаратах. Это был человек с застывшей тоскою в глазах. Кизенштейн держался спокойнее всех в ежедневных опасностях, но не был способен бодрить окружающих. Немцы убили в Белоруссии его семью, свет показался ему сразу пустым, он ничего не ждал от жизни и был равнодушен к ней.

Третьим членом нашего коллектива и душою его была Валя Спешнева — диктор и певунья, совершенно неунывающее существо, миловидное, золотоволосое и говорливое. Даже шофер Птушков, степенный казак, не склонный к улыбке и ничего не одобрявший за пределами кубанского края, оживлялся и веселел, когда Валя пересаживалась в кабинку из кузова.

Война свела нас вместе — пятерых совсем разных людей, и в нашем маленьком коллективе, жившем в армии обособленной жизнью, Валя была добрым духом мира и дружбы. Да, дружбы, так как ни один из нас не был героем ее романа, и в МГУ царил атмосфера легкой влюбленности, а не пышущей страсти. Мы сообща ревновали Валу ко всем командирам батальонов и рот, с участков которых вели передачи, к армейскому отделу разведки, пытавшемуся забрать ее от нас к себе переводчицей, озлоблялись против любого, кто взглядывал на нее с голодной солдатской тоской... Она принадлежала нам, МГУ, и мы хотели быть с ней до победы.

В летнее время мы жили великолепно, и Валя даже считала, что такая жизнь непозволительно хороша для войны. У нас было много приволья. Целый день мы предоставлены были себе. Выбрав для стоянки тихое место, где удобно было замаскировать в лесочке машину, покупаться и отдохнуть в холодке, мы с радостью выскакивали утрами из ящика, расстилали плащ-палатки на росистой траве и, постепенно согреваемые утренним солнышком, блаженно засыпали, вознаграждая себя за бессонную ночь. Конечно, это не всегда удавалось. Бывало и так, что по несколько суток шли проливные дожди, и мы вообще не ложились, а дремали, прижатые друг к другу в машине, проклиная климат Смоленщины. Но солнечные дни для нас были подарочными и искупали все прочие. Тогда мы отсыпались, весело плескались в реке, стирали гимнастерки, белье и затвердевшие вещевые мешки, варили из консервов пахучие супы на костре, заправляя их не сушеным картофелем, а щавелем и крапивой, читали друг другу письма из дома, вели долгие разговоры о родных, о себе, о войне.

— Танк надо против немца, а не уговоры,— говорил обычно Птушков.

Я и Валя внушали бойцам, что, когда в тылу нашем сделают достаточно танков и мы начнем наступать, немцы вспомнят и передачи... Мы объясняли смысл пропаганды, состоявшей в постепенном подрыве воинственных настроений немецких солдат.

Но на душе и у нас было тягостно. От сводок Информбюро, от передач из стана противника, которые мы слушали, чтобы не оставлять безответными. Не давая разлиться тоске, Валя при всякой возможности пела. У нее было чистое, серебристое, ласкающее душу меццо-сопрано, и, как ни уговаривала она нас подтягивать, мы не хотели лишать себя удовольствия слушать ее, только ее. Наши нестройные голоса огрубляли радость, которую давал ее нежный девичий голос. Она знала множество песен, оперных арий, романсов и в институте иностранных языков, из которого ушла добровольцем на фронт, пела на всех вечерах самодеятельности. Ее песня теплила нам души, гнала тоску из глаз Кизенштейна, заставляла Витю отставлять котелок, а сумрачного Птушкова — вспоминать свои казацкие песни. И все тогда ощущали, что Гитлер — явление противоположное, не сочетаемое с солнцем и песней, что он обязательно из нашей жизни исчезнет, что иначе не может быть.

Затем, к вечеру, Витя отправлялся разыскивать, нет ли поблизости от нашей стоянки каких-нибудь остатков деревни, не уцелела ли среди них и корова. Он брал с собой хлеб, концентраты и шел менять их на молоко. Поисками он занимался долго, упорно, пропадал иногда на три-четыре часа, но, когда, возвращаясь, он волочил наполненную снарядную гильзу, я не ругал его... Мы выпивали молоко, садились с первой звездой в свой ящик и отправлялись по лесному бездорожью на передовую.

Раз в неделю мы ходили в тыловую деревню, где размещался штаб армии. Здесь мы топили себе баню, узнавали о новостях в немецких частях, составляли для них передачи, получали маршруты.

Плохо бывало зимой. Лесные поляны переставали быть привлекательной базой, и мы ночевали, то есть дневали, в машине, дышавшей отчаянным холодом. Холод шел не только снаружи, но и от металла аппаратов и баков. Ночи были, как правило, светлыми, к опасности засечки по звуку прибавлялась угроза быть на виду у врага, мотор, как на грех, с трудом заводился, Виктор нервничал... Вот тогда-то Валя становилась неоценима. В худенькой хорошенькой девочке обнаруживались вдруг и девичьи силы, и ум, и чутье. Она начинала рыться в вещевых мешках, ища сахар. Никого не выделявшая в другое время, она принималась кокетничать с Петровым, требуя, чтобы именно он накалывал ей сахар кусочками. Как сейчас, помню обычные сценки: воздух сотрясается от пальбы, у Виктора дрожат колени и руки, а Валя хлопочет о сахаре. Бесподобно, как заправский имитатор, подражала она свисту мин, падала в деланный обморок при разрыве снарядов, жеманно восклицала: «Ах, ах! В меня так могут попасть!» — и издевалась над стрельбой противника, будто стрелял он в домашнем спектакле. Затем как ни в чем не бывало она начинала обсуждать наш дальнейший маршрут, спорить о том, на какой участок сначала проехать, просила

напомнить ей написать письма подругам — словом, всем своим видом и поведением показывала, что немецкие минометчики ей надоели и она не желает больше снисходить до насмешек над ними. И Витя тогда постепенно отходил, начинал сознавать, что он еще не убит, что мины ложатся за полкилометра, а у артиллеристов противника то перелет, то недолет и они пристреляются лишь после того, как мы будем уже на пути к другому участку. В подтверждение этих успокоительных мыслей мотор начал рокотать, опытная рука Птушкова осиливала его своенравие, и наша тяжелая колымага медленно трогалась с места, а затем все бойчей и уверенней набирала разбег.

За ночь мы успевали выступать в трех разных местах. Передача начиналась обычно с музыки. Прорезая ночную тишину или покрывая трескотню пулеметов, в воздухе раздавались вдруг звуки немецкого вальса или какой-нибудь известной в Германии песенки вроде «Лили Марлен». После этого я зычно объявлял: «Ахтунг! Ахтунг!», призывая обитателей траншей и окопов к вниманию, и начинал рассказывать о немецких потерях, о лживости сводок командования, о советских резервах и накапливаемых силах. Меня сменяла Валя, затем мы завязывали с ней диалоги. Диалоги говорили об обреченности гитлеровского похода в Россию и призывали солдат сдаваться в наш плен.

Уже после первых моих сообщений стрельба обыкновенно стихала. Как мы узнавали от пленных, любопытство к нашим словам было у немецких солдат велико. Хотя они и не верили нам, но все же одергивали своих ретивых товарищей, пыгавшихся заглушать наши речи стрельбой. Как правило, сколько-то первых минут передачи шли без помех. Но когда из землянок выскакивали офицеры, поднимался страшнейший гром. Из всех видов оружия, какое было у него на переднем крае, противник начинал палить и глушить, а потом этот грохот дополнялся еще ревом моторов бросавшихся на поиски нашего ящика воздушных разведчиков. Все мертвое пространство немцы осыпали после передачи ракетами, и перед нами открывалась феерия, вызывавшая в Вале восторг, который вовсе не разделялся менее склонным к эстетическим порывам Петровым.

Страх зарождался обычно в этом парне уже с момента нашего выезда и все нарастал по мере приближения к переднему краю. Беспокойство Виктора прорывалось в одном и том же разговоре, который он каждый раз заводил. Парень неуклюже напоминал мне о том, что машина наша — в своем роде единственная, что ее изготовил по специальному заказу уральский завод, что начальник политотдела велел ее пуше глаза беречь... Никто на эту жалкую хитрость не откликнулся. Тогда Витя начинал хвалить усилители. Наши передатчики были, по его словам, столь мощны, что немцы могли слышать нас за две версты и не было смысла к ним приближаться. Валя возбужденно отвечала на это, что грохот слышен и за пять километров, а членораздель-

ная речь — только вблизи. В пику Петрову, она предлагала подъезжать к немцам вплотную. Но спор этот не решался, конечно, ни Витей, ни Вале́й. Позицию передатчика нам помогали определять командиры батальонов и рот, на участки которых мы приезжали. Но каждый раз, когда после передачи стрельба казалась Вале меньше обычной, она сомневалась, были ли мы ясно слышимы, и, к отчаянию Петрова, мы повторяли программу.

Такой была эта девушка, постепенно приучившая Витю к фейерверкам, снарядам и минам.

— Тюхля ты, и больше ничего, — услышал я однажды их разговор на привале. — Себя одного только и любишь. Или ты думаешь, другие жить не хотят? Думаешь, я не боюсь? Все бояться! Таких героев не существует, чтобы им все равно было — под мины идти или в АХО за продуктами. Но ведь человек должен чем-то отличаться от кошки. А ты — чистая кошка: прячешься, крутишь, юлишь.

Виктор неуверенно возражал, что он не юлит, а только считает неправильным, когда мы лезем каждую ночь на рожон, выбираем для передач самое опасное место.

— Тебе все опасно, — отвечала она. — Только лопать тебе безопасно. Просто понять не могу, как в тебя столько вмещается. Ты зачем на войну пришел? Тихое место искать? Суп на костре варить? Рыскать за молоком? На войне без войны прожить хочешь? Вот послушай, что я скажу тебе.

Она начала поучать его, как брать себя в руки. Для этого, по ее мнению, надо было внушать себе, что опасность и опасение — это разные вещи. Уничтожить опасность от обстрела мы, конечно, не можем, но опасение содержится в нас самих, оно есть ощущение, и его можно осиливать. Когда оно вдруг вползает, надо сейчас же начинать думать о чем-то другом, что-нибудь делать, вспоминать что-нибудь очень смешное, щипать себя, есть что-нибудь вкусное, то есть стараться набираться других ощущений, которые бы ослабили первое. И вот когда опасение уляжется, тогда и опасность как бы уйдет.

Не знаю, были ли у Виктора силы настойчиво применять этот своеобразный рецепт, но чувствовалось, что он начал стараться брать себя в руки.

Так протекали лето и зима сорок второго, когда в жизни нашего коллектива произошли два несчастья. В середине зимы проверить ход передач приехал из фронтового управления комиссар с тремя шпалами. Он захотел лично выступить перед немцами, проездил с нами ночь, а на вторую убит был снарядным осколком сразу после передачи, когда выскочил на минуту из машины втянуть в себя махорочный дым. Мы везли его тело, и нам было не по себе оттого, что погиб он на деле, которым мы многие месяцы безнаказанно занимались каждую ночь. Положить его труп было некуда, мы всю дорогу держали его на руках, и каждый из нас чувствовал себя так, словно виноват был в том,

что до сих пор остается живым. А через несколько дней после этого нас лишили того, кто скрашивал нашу трудную жизнь. В споре разведотдела с политотделом командующий принял сторону первого, и техник-интендант второго ранга Валентина Николаевна Спешнева, забрав свой вещевой мешочек и расцеловавшись с каждым из нас, зашагала, утопая в больших валенках, с уводившим ее от нас человеком.

Машина осиротела. Мы изредка навещали потом Валю в чистой избе, где она поселилась вместе с другими работавшими в штабе девушками, и радовались кровле, кровати, оседлости, которые она здесь нашла. В этой избе мы остро почувствовали все тяжелые неудобства, которые Валя безропотно и добровольно сносила в обществе мужчин столько времени... Но, радуясь за Валю, мы жалели себя... Уже не было девичьего смеха, рассказов о студенческой жизни, о конфетных искушениях, пожиравших стипендию, о подругах, которых мы по ее рассказам успели узнать, не было шуток, не было песни, разговоров о сахаре во время палубы. И самый сахар потерял для нас всякую сладость, потому что ушло удовольствие видеть то удовольствие, с каким Валя грызла его.

Мы совершали теперь свои рейсы одни, и каждый из нас почувствовал необходимость найти в себе частичку Валиных черт. Чтобы жизнь в ящике не сделалась адом, чтобы четверо во всем отличных друг от друга мужчин были товарищами не по нужде, а по сердцу, мы должны были сами вызывать в себе смех, сами петь, сами отыскивать в себе то хорошее, что есть в каждом человеке и требует только пробудки. Это понято было всеми без уговора, без слов. Неслышный Кизенштейн почувствовал, что образовавшаяся теперь пустота делает его молчаливость громкой и становится тягостной трем другим, живой речью которых он пользуется односторонне. И он заговорил — сначала неуверенно, потом чаще — о пробуждавших надежды вестях, которые эфир доносил до его аппаратов с Волги. Строгий Птушков начал воздерживаться от постоянной хулы на болота Смоленщины, прозванной им чертовым краем, и рассказывал нам теперь о веселых былях станиц. Мы узнали, как играют на его родине свадьбы и как баба-комбайнер утирала нос всем парням. Передавая пересыпанные крупной солью шуточки этой женщины, Птушков беззвучно смеялся углами рта, а мы хохотали. А Витя Петров, которому не с кем стало спорить о маршрутах, дистанциях и силе рупоров МГУ, перестал вспоминать об их стоимости.

Пытаясь прежде отторговывать сколько-нибудь спасительных метров, Петров всегда знал, что машина все равно будет поставлена так, как это нужно для дела. Он понимал, что никто его не послушается, что без толку ничего делать не будут. И был морально спокоен. Теперь все обстояло иначе. Теперь некому было ему возражать и, значит, нельзя было предлагать пере-

дачи впустую. Психологически, нравственно все изменилось, поэтому должен был перемениться и Виктор. А вскоре он обнаружил даже такую душевную выдержку, которая позволила безоружной МГУ победить ошестинившегося сталью противника.

Это было в феврале сорок третьего, в морозную и ясную ночь, когда без всяких ракет глаз видел бугры на ослепительной белизне «ничейного поля». Мы рассказывали немецким солдатам о Сталинграде. Воздух был чист, каждое слово звучало в нем с металлической четкостью, и все на стороне противника замерли, слушая русского диктора, говорившего о потрясающем конце гитлеровского похода на Волгу. Третье февраля уже объявлено было в стране противника траурным днем. Геббельс бросил накануне в Спорт-палласте крылатые слова о необходимости тотальной войны, и, хотя Германия узнала лишь полуправду, она впервые почувствовала грозную силу духа, поднятого ею против себя на Востоке. Теперь немецкая солдатня, затаив дыхание, боялась что-нибудь пропустить из передач победителей, рассказывавших правду в ее полноте. И ей уже не смели не верить.

Я повторил передачу три раза. Привлекать внимание слушателей пластинками с популярными песенками в этот вечер не требовалось. Виктор быстро вертел рупорами, но ни один выстрел не перебил меня, ни один не прозвучал в перерывах. Мы словно видели в этой торжественной тишине застывших у орудий и минометов немецких солдат. Наши сердца полны были гордостью за свою страну и за армию, давших нам наконец-то возможность пережить этот счастливый момент после длинных дней унижения.

Я вышел из машины покурить. Не обмениваясь словами, взволнованные торжественностью слушавшей нас ночи, мы затягивались дымом козых ножек и испытывали чувство силы своей, пославшей на все белое поле давно неведомую ему тишину. Немцы не стреляли, ожидая, что мы повторим передачу. С потревоженных елок, между которыми мы запрятали ящик, на нас падал снег. Я не замечал мороза и растирал этим снегом пылавшие щеки. Я чувствовал себя в этот момент хозяином ночи, всего переднего края, хозяином над притаившимися на этом пространстве людьми, и мне было жарко от ощущения своей сказочной власти.

— Поедем? — неуверенно спросил наконец Виктор.

— Стойте! — окликнули вдруг нас из леса.

Командир роты, с участка которой мы вели передачу, подбежал к машине и, плохо справляясь с волнением, сказал, что к нам перебегают три немца. Едва смея поверить в такой небывалый и быстрый результат передачи, я бросился через лесок на траншейную линию. Виктор без разрешения побежал вслед за мной.

То, что представилось нашим глазам, не вызывало сомнений.

А если бы они и явились, то поднявшийся вдруг с немецкой стороны ураганный ружейный огонь должен был их тут же рассеять. Немцы сообразили о перебежке своих людей позже нас и поливали теперь ожесточенным огнем «ничейное поле», на котором барахтались в глубоком снегу три фигурки. И, словно ружейный огонь был сигналом, затахтели, забахали артиллеристы. Автоматы и пулеметы строчили по полю, а пушки и минометы с бешеной злобой старались найти, разнести, уничтожить, стереть с земли лесок с МГУ...

Вот одна из фигурок, провалившись в снег, уже не поднимается. Двое других сами намеренно падают, чтобы вскакивать, делать короткий рывок и снова глубоко зарываться. Едва дыша, наблюдает сейчас за этим поединком между жизнью и смертью весь передний край обеих сторон. Смельчаки то бегут, то проваливаются, и каждый раз, когда они исчезают из глаз, мы томительно ждем, поднимутся они или нет.

Вот они уже перевалили за середину. Мы трепетно отмеряем глазами расстояние, которое им остается... Но что это? Один из них пополз в сторону. В бинокль видно, как другой замер почему-то на месте.

Командиры, прибежавшие из батальона, Виктор, я, все наблюдавшие сразу поняли, что происходит. Поползшие было вначале на звук нашего рупора, ослепленные потом белизной, оглушенные стрельбой, пьяные от настигавшей их смерти, перебежчики потеряли теперь направление.

Виктор и я взглянули друг на друга почти одновременно. И поняли один другого без слов. Это мы призвали смельчаков к перебежке, и именно мы должны были теперь их спасти. Гибель первых перебежчиков была бы торжеством для нацистов, надолго оставила бы в войсках противника след, свела бы на нет пропаганду, которой мы занимались каждую ночь, равнялась бы проигрышу важного боя.

Я кивнул Виктору, и он с несвойственной ему быстротой понесся к машине.

Через несколько минут, противопоставляя себя артиллерийскому реву, грянула и понеслась по пространству воюющая, гремящая музыка. И недаром наша установка называлась мощной, — включив все усилители, Кизенштейн и Виктор вызвали в воздухе такой потрясающий гром, что он заглушил клекот немецкой ружейной пальбы и слился с грохотом пушек. Пусть мы сами себя теперь обнаруживали, пусть сами корректировали и направляли на себя огонь артиллеристов противника, — мы давали открытый бой, в нем нельзя уже было маскироваться, МГУ теперь сражалась, а не разговаривала, и исход сражения решался не тем, сумеет ли она уцелеть, а тем, успеют ли те доползти...

Впоследствии начальник политотдела не знал, как посчитать наш поступок — находчивым или безумным, правильным или преступным. Он не знал, наказать нас или хвалить. Но мы в

тот момент не задумывались над оценками и возможными выводами, нам надо было, невзирая ни на что, победить.

И перебежчики услышали призыв МГУ. Он ворвался в их сознание, они сразу бросились на звук рупоров, уже не делали рывков, а, работая изо всех сил руками, ногами, всем туловищем, поползли, разрывая глубокий снег, как преодолевают пловцы встречную массу воды. Но как долго, как мучительно долго ползли они!

Не знаю, сколько метров отделяло уже их от наших траншей, когда я бросился уводить из-под огня МГУ. На мне лежали в этот момент два одинаковых долга, они между собой разноречили, но я должен был их выполнить оба.

— Выключить! — крикнул я Виктору, задохнувшись от бега.

— А... они? — В его глазах был вопрос, на который он боялся ответа.

— Теперь доползут! — уверенно бросил я.

— Нет, нет, давайте уж до конца. Что будет, то будет!

Виктор готов был на все.

Я вырвал рычаг из его рук.

Гром многосильного репродуктора, непереносимый вблизи, сразу осекся. И замер он будто для того, чтобы мы оценили силу взрыва крупнокалиберной мины, легшей от нас за несколько десятков шагов, свалившей нас с ног и обрушившей на МГУ ураган сучьев и снега.

Немцы быстро пристрелялись по вызывающему звуку, следующие мины в ближайшие минуты не могли бы уже миновать свою цель.

— По местам! Полный ход! — скомандовал я, и, когда машина под рукой не любившего шуток со смертью Птушкова с необычайной силой рванулась, стараясь быстрее набрать скорость, я добавил, пытаясь шуткой взбодрить себя и других: — Страшна не столько смерть, товарищи, сколько начальник политотдела, который приказывал нам как зеницу ока беречь...

— Не страшно ни то, ни другое, если только они доползли, — ответил Виктор, и я понял, что эта ночь принесла еще вторую победу — Вити Петрова над Витей Петровым.

А через два дня ефрейтор немецкой штурмовой дивизии «Медведь» Карл Гюнтер Эльснер, сын умершего в тридцатых годах коммуниста, ехал с нами в ящике на тот же участок, чтобы лично рассказать в микрофон, как отнеслись к нему в советском плену, и увенчать торжество МГУ. Рядом с ним, устроившись на бидонах с бензином, сидел рисковавший для его спасения жизнью Виктор Петров.

— Ты не бойся! — похлопывал он по плечу ни слова не понимавшего Карла. — В нас попасть невозможно. Мы на все ваши мины никакого внимания. У нас, брат, такой талисман... С нами не пропадешь.

— Какой талисман? — удивился я его хвастовству.

— А вот! — взял он котелок и стал разминать в нем холодную кашу.— Как забабашают — так надо в рот. Только жрать ее нужно умеючи, чтоб с ощущением, а не зазря.

— Что это ты теперь кашу сахарком не прикусываешь? Неужели весь уже съел? — спросил я.— Ведь только на днях паек получили.

— Нет, зачем. Он в мешке. Это для банного дня... Когда мы к ней зайдем,— сказал он.

Я написал этот рассказ через четырнадцать лет со времени описанных дней, после встречи с одним бывшим работником политотдела армии, в которой когда-то служил. Мы стали вспоминать общих товарищей, но ни он, ни я не знали их дальнейшей судьбы. Мы перебрали уже много имен, все друг другу о себе рассказали, когда он вдруг спросил:

— А помнишь, у нас переводчица была? Хорошенькая такая. Блондиночка. Все пела и пела. Ее потом взяли в штаб, и там к ней все липли. С большими такими глазами. Смешливая. Неужели не помнишь?

— Валя? — сказал я.— Как же ее можно не помнить. Она была у меня в МГУ.

— Вот-вот. Я ее встретил в прошлом году. В книжном магазине столкнулись. Она была в Москве проездом из отпуска. Преподает где-то немецкий язык. Не то в школе, не то в институте. Представь себе, все такая же. Всех помнит, смеется... Ну конечно, видать, что ей не двадцать уже, но все равно хороша...

— Где она живет? — вскинулся я.

Но он этого не постарался запомнить.

Получив о Вале эту неопределенную весть, я захотел повидать ее, сейчас же списаться с ней. Побывал в двух министерствах, но мне ничего не могли сообщить о ней. Преподавателей — многие тысячи. Вот если бы она была заведующей кафедрой... След Вали мелькнул для того, чтобы тут же исчезнуть. А она встала передо мной — худенькая, молоденькая, в пилоточке, с ремешком на плече, и зазвенел ее смех, захрустел сахар в ушах, увиделась наша каморка, выплыл откуда-то Витя Петров, забарахтались в снегу перебежчики, и написался этот рассказ.

Эх, товарищи кадровики! Есть у вас списки профессоров, и нет у вас списка чудесных людей. Вы, товарищи кадровики, делаете что-то не то и не так. Иначе не затерялся бы след Валентины Николаевны Спешневой.

Валя! Как грустно мне, что о временах пайкового сахара мы не можем повспоминать с тобой во времена шоколадных конфет. Я угощал бы тебя сейчас самыми лучшими.

А может быть, я грущу не о том. Может быть, грущу потому, что опасная, холодная, неприятная жизнь в МГУ была все-таки молодой...



МИШКИН ВОЗРАСТ

Время спешит. Ему стало четыре. Давно миновала пора, когда при нем нельзя было включить пылесос. Он боялся этой адской машины и присоединял к ее грохоту свой отчаянный рев. Теперь Мишка сам норовит пылесосить и выхватывает у бабушки шланг. Не страшится он уже и черно-бурой лисы. Раньше она сидела в шкафу для того, чтобы Мишка ел манную кашу. Как только он отпихивал ложку с этим наскучившим варевом, лиса извлекалась из шкафа и бдительно следила своими стеклянными глазками за его своевольными пальцами. Он трепетал от ее хищной остренькой морды. Мама говорила, что ребенка не надо пугать, но бабушка не хотела отказываться от такой полезной союзницы. Мама долго пыталась рассеивать страхи ребенка, уверяла его, что лиса безобидна, но Мишка ни за что не хотел прикасаться к ее мягкому пушистому меху и подозревал зверя в двуличии... А теперь лису пришлось спрятать подальше, потому что Мишка стал ею обматываться и выщипывать у нее волоски.

Да, теперь Мишка большой. Он познал неодушевленность вещей и давно не боится их. Не робеет он и перед людьми, в том числе и самыми грозными: докторами в белых халатах, сующими ложечки в горло, милиционерами, забирающими непослушных детей, и великанами, которые способны унести их в кармане... Наоборот, теперь Мишка знает, что если он ничего не будет оставлять на тарелке несъеденным, то и сам сделается потом великаном.

При таком росте сознательности Мишку теперь и легче воспитывать, и много трудней... Ведь человека, знающего свойства предметов и нравы людей, уже ничем не обманешь...

Так, убедившись, что градусник — штука вполне безболезненная, он охотно на нее соглашается и требует только, чтобы

долгие десять минут, которые надо бездеятельно лежать на боку, заполнялись каким-нибудь интересным рассказом.

Но если вы ему скажете, что горчичники столь же безвредны, он не примет эту грубую ложь и от возмущения даже ногами задрыгает. Ему точно известно, что горчичники ведут себя коварнее градусника, что не чувствуешь их только в первый момент, а потом они начинают колотиться и жечь. И не уверяйте Мишку в противном...

Не пытайтесь также внушать ему, будто телевизор замолчал потому, что артисты увидели ребенка, который до сих пор не лег спать, а почтальон, приносящий бабушке пенсию, пришел проверять, как ведут себя дети... Все это противоречит жизненному опыту Мишки. «Скажите, пожалуйста, а плохих бабушек вы не забираете?» — весело спрашивает он почтальона, давая понять, что педагогические приемы пора обновлять...

Да, со взрослыми надо обращаться по-взрослому.

Однажды Мишка хорошо проучил бабушку за ее неправдоподобные выдумки. Он ел виноград, ленился выплевывать косточки, а бабушка пригрозила, что они вырастут в целое дерево, а тогда придется ехать в больницу и резать живот... О больнице Мишка имел представление... Два года назад он нализался мастики, которой натирают паркет, с ним помчались тогда к Склифосовскому, промывали желудок... Мишка задыхался от резиновой трубки, от слез и от ужаса... Случай этот ему не позволяли забыть. Но на этот раз впечатление произвела не угроза, а мысль о дереве, которое может начать расти в животе. Эта необычная возможность поразила его. Как ни страшен был риск, Мишка решил проверить. Бабушка не успела еще схватиться за голову, как он схватил с блюдечка косточки, которые под долгим нажимом выплевывал, и разом сглотнул их. Потом с замирающим сердцем до вечера щупал живот. Щупал и разочаровывался. А когда пришли папа и мама, он объявил им, что бабушка врушка. Папа запретил ему так говорить, но он неистово кричал это слово. При этом он злился не только на бабушку, но и на себя самого. Как мог он поверить ей! Ведь дерево в животе не поместится! «Я больше никогда тебя слушать не буду!» — пообещал он решительно. Папе и маме пришлось долго стыдить его, напоминать о заботах, которыми бабушка его окружает, о заслугах ее перед ним, и тогда Мишку охватило раскаяние. Он порывисто бросился к бабушке, обнял ее, стал сжимать ей шею и требовать, чтобы она помирилась с ним. Но когда они вдосталь нацеловались и бабушка совсем разомлела от счастья (это понятие исчерпывается для нее Мишкиной лаской), он все же с укором тихо сказал: «А ты мне больше не говори, чего нету...»

Да, он не любит, чтобы его надували. У него потребность во всяческих ясностях. Он приступает к познанию мира, в котором небылицы сплетаются с былью, и не хочет плутать между ними.

Ему надо твердо знать, что на свете бывает и чего не бывает.

Он с удовольствием слушает сказки, но не хочет их путать с реальностью. Ему заранее надо сказать, про взавправдашнее в книжке написано или про невзавправдашнее. Если вы сочините ему сказку про девочку, унесенную в небо орлом и спасенную летчиком, который догнал эту жестокую птицу, у Мишки будут широко раскрыты глаза, но и только. Если же вы решитесь добавить, что похищение и спасение девочки видели лично, он начнет допекать вас, начнет уточнять. А почему девочка не упала с орла? А что летчик сделал с орлом? А перестала ли девочка плакать, когда летчик отнял ее у орла? А как летчик привез ее к маме? А почему самолеты не могут влетать прямо в дома?

Правдоподобие нужно ему даже в играх.

У него насморк и кашель, он не выходит из дома, поглощен заводною железной дорогой, и бабушка хочет подстелить ему коврик, чтобы он не сидел на голом полу. Но Мишка не хочет ковра, не поддается резонам, сопротивляется, плачет и кричит, что «поезды не ходят по коврикам...». Бабушка привязывает к Мишкиным корабликам ниточки, чтобы они не уплыли, когда он спускает их на воду. Мишке нравится, стоя в парке у прудика, дергать за ниточки, любуясь, как его пароходы то чинно плывут, то мигом подлетают к нему. Но вдруг он о чем-то спохватывается и сразу рвет нитки. «Что ты сделал?!» — всполошилась от этого бабушка. «Пароходы не бывают на ниточках, — отвечает ей Мишка, — пароходы сами плывут...» А потом, видя, что корабли невозвратно уходят, хочет броситься за ними, догнать. Возвращается он с прогулки в слезах, лишившись своего красивого флота.

Всем игрушкам он предпочитает машины, и автомобильный парк у него очень большой. Тут самосвалы, лимузины, автобусы. Но у одного нет бортов, у другого — руля, у третьего не хватает колес... «И эту сломал?» — удивляется мама, видя вмятины на закрытом металлическом кузове только что купленного грузовика. «Я хотел в ней сделать окно, — оправдывается Мишка, мало смущаясь, — если она будет возить не вещи, а человекoв, то им нужно окно».

Впрочем, он любит не только всамделишное, реальное, вещное. Часто он предпочитает играть без игрушек. Проводит мелом линии на паркете, уверяет, что это трамвайные, и не разрешает переходить через них, пока не объявит, что открыт светофор. Берет из шкафа бескартинную взрослую книжку, всовывает ее в лапы медведю, а потом шлепает его по рукам за то, что лез куда не надо без спроса... Ложится на диван, закрывает глаза, представляет себя папой, который хочет вздремнуть перед ночной работой, потом встает и начинает выговаривать кому-то невидимому за шум, за несдержанность...

Воображение часто уносит его из действительности. Когда папа, рассказав много занятных историй, просит сына в свою очередь рассказать ему что-нибудь, Мишка выдумывает такие

невероятные и страшные вещи, что ему самому становится от них не по себе. То это история девочки, которая так заблудилась в лесу, что ее искали два года, нет, десять лет, нет, даже тысячу лет; то случай с мальчиком, которого Гагарин взял с собой в космос, но плохо привязал за ракету...

Чтобы сделать эти рассказы чувствительней, Мишка подчеркивает, что они — не сказка, а правда, но, когда правда становится совсем безысходной и Мишке делается жалко детей, он обрывает рассказ, успокаивая себя и отца: «Ты, папа, не верь. Этого не было. Я только сказку рассказываю».

Разграничить сказку и выдумку Мишка считает условием элементарной порядочности.

Но это ему не всегда удается. Мир так сложен, что трудно подчас разобрать, что в нем возможно и что невозможно. И Мишкины сказки — а они бывают оригинальнее тех, что могут выдумывать взрослые, — повергают иногда его самого в размышления, правду он говорит или нет.

Однажды, например, заспорили у него летчик с шофером. Шофер говорил, что грузовая машина сильнее самолета, а летчик сказал, что самолет сильнее машины. Вот они привязались веревкой, вставили ключи и завелись. Самолет стал поднимать машину наверх, а та его тянула на землю. Самолет поднялся над домами, а дальше не может. И машина тоже не может назад, потому что самолет ее не пускает. И вот они так боролись друг с другом и не могли ни туда ни сюда. А люди стояли внизу и смотрели. А потом завод у них кончился, и они упали на крышу...

Передавая эту историю — сначала не очень уверенно, а потом все нагляднее, — Мишка действительно видел, как обе машины висели и барахтались в воздухе. А через неделю-другую, когда случай рассказан был уже несколько раз, Мишка окончательно поверил себе и стал уверять, будто такую борьбу он видал...

Сказки Мишка предпочитает сюжетные, полные действия, и не любит морали. Он не хочет историй непослушных детей, которые прыгают, скачут, играют со спичками, с газом, ломают ноги и вызывают пожары. Дешевую пропаганду он сразу разгадывает, а разгадав, презирает. Ему нужны фабулы, а не уроки, и если папа не чувствует, что искусство не должно быть искусственным, Мишка умеет подсказать ему это. Он возьмется сам рассказать папе сказку, и она будет содержать в себе тонкую месть. Это будет история того же пожара, в котором взрослые сразу сгорели, а дети, умевшие прыгать, спаслись... При этом Мишка будет лукаво смотреть на отца, а потом хохотать. Ответная сказка будет победой над чужой неумелостью, торжеством самолюбия Мишки.

Самолюбие у этого человека просто болезненное.

Он любит хватать телефонную трубку и может по часу накручивать диск. Бабушка ожидает звонка, не хочет, чтобы трубка была долго снята, отвлекает Мишку другими занятиями, уго-

варивает его, убеждает, и все-таки отогнать от телефона не может. Тогда, не выдерживая, она разжимает его пальцы и силой берет трубку из рук. Мишка плачет и кричит, что сам положит трубку на место. Плачет долго, упорно, плачет до тех пор, пока бабушка не разрешит ему снова взять трубку и самому положить ее. Ему важно, чтобы это произошло добровольно...

Он приходит с улицы и, не раздеваясь, бежит к буфету, хватая из вазочек печенье или конфеты, дозволяемые лишь после обеда, когда нельзя испортить себе аппетит. Бабушка тащит его обратно в переднюю, он не идет, упирается, садится на пол, брыкается. Глядя на него в этот момент, трудно поверить, что это тот человек, который вразумлял вчера папу вдохновенными ответными сказками. Сейчас Мишка просто несносен, и бабушка, отчаявшись, дает ему шлепки по попке. Это приводит его в еще большую ярость. Теперь он уже ни за что не поднимется с пола. Бабушка уйдет на кухню, начнет греметь там посудой, а он будет лежать, хныкать, изучать потолок. Потом ему надоест это, он затихнет, станет прислушиваться. Но если бабушка не возвратится к нему с уговорами, он никогда не капитулирует первым. Будет менять позы, терпеть неудобства, скучать, но только не просить извинения. И, зная, что он не уступит, бабушка идет на гнилой компромисс: Мишка попросит прощения за то, что дурил, бабушка — за то, что отшлепала...

В этом человеке сильное чувство достоинства, и он никому не дает попирать его. Бабушка считает Мишку невероятно упрямым, жалуется на его несговорчивость, на то, что с ним сладу нет, а на деле она столкнулась с принципиальным характером, который нельзя подкупить.

Она не в состоянии, например, оценить твердых позиций, занятых Мишкой после случая в ванной...

С тех пор как папе дали квартиру, для Мишки наступило раздолье, а ванная комната сделалась его самой любимой. Он только и ждет, чтобы взрослые обратили внимание на его грязные руки и велели их вымыть. Он сейчас же бросается в ванную комнату, норовит в ней замкнуться и открывает разные краны — то кипятка, то холодную воду, то один, то другой душ. Он без конца мылит руки, споласкивает их, снова намыливает, набирает в ванну воду, спускает ее, опять наполняет водой, пускает в каботажное плавание все зубные щетки и мыльницы, сдирает с вешалок и стирает махровые простыни, поливает кафель на стенах из шланга пружинного душа... Бабушка требует прекратить безобразия, ломится в дверь, но он до тех пор не открывает ее, пока не страхнется ее честным ленинским, что ему ничего за это не будет. Увидя на полу целый потоп, а Мишку совершенно промокшим, бабушка в сердцах шлепает его, выталкивает его в коридор, спешит закрыть водопад и набросать на пол тряпки.

Но обманутый Мишка приходит в неистовство. В нем сильно

чувство правды, и он не может снести такого грубого нарушения их договора. Бабушке дорого придется теперь заплатить за минутку несдержанности. Он будет реветь, не даст вытирать ему голову, станет отшвыривать сухую одежду, лягаться и уж конечно, нанося бабушке главный удар, откажется есть. Напрасно она будет замаливать грех и придумывать за него платежи. Не возьмешь теперь Мишку ни зоопарком, ни даже молотком и гвоздями. Мир водворится только тогда, когда он увидит бабушку плачущей. Ведь сердце у Мишки не из железа... И только оно может заставить забыть о престиже.

Но твердость характера не позволяет Мишке поддерживать с бабушкой длительный мир.

Когда он поест, поспит и выйдет гулять, отношения обязательно опять обострятся. Находятся ли они в каком-нибудь парке или на детской дворовой площадке, все равно здесь быстро начнут проявляться совершенно разные склонности.

Бабушка избирает себе какой-нибудь подходящий НП — это обычно скамейка, на которой можно читать или поговорить с собеседницей, — и разрешает Мишке резвиться лишь в поле ее обозрения. Но Мишку влечет к независимости, и он порывается расширить орбиту. Из-за этого возникают постоянные распри, а однажды чуть-чуть не произошла катастрофа.

Сколько можно играть на песке? Сколько можно довольствоваться лопаткой, ведерком?! Мишку тянуло к ребятам постарше. Он воровато посматривал в сторону бабушки и пробрался к веселым качелям. Но бабушка боялась, что он может слететь с них, подбежала к нему, оттащила... Мишка вскарабкался на спортивную лесенку. Он проделал это бесстрашно и ловко, добрался до самой высокой ступеньки и готов уже был оседлать перекладину, как услышал: «Не смей!» — и бабушка опять подбежала... Тогда Мишка прокрался в самый дальний угол площадки, где шла чехарда, с робкой завистью смотрел на играющих, а потом, набравшись неожиданной смелости, сам пытался весело прыгнуть через спину какого-то мальчика. И опять бабушка настигла его в тот самый момент, когда ему это, может быть, удалось бы...

Раздосадованный и обозленный, Мишка твердо решил покончить с опекой и попросту пустился бежать. Бабушка не поспевала за ним, и к тому же она оставила на скамейке библиотечную книжку... Мишка бежал-бежал, не оглядывался и в конце концов преследователя своего потерял...

На площадке, перед которой он оказался, взрослые дяди играли в футбол. Их было много, зеленых и красных, они бросались в разные стороны, и разобрать, что у них происходило, нельзя было. Мишка смотрел-смотрел, начал скучать и вспомнил о бабушке. Стал озираться и не увидел ее. Он стоял, ждал ее, ждал. Бабушки не было. Тогда Мишка пошел искать ту скамейку... Но скамеек было много, бабушек еще того больше...

Мишка брел-брел, и ему стало вдруг очевидно, что он оказался в этом большом мире один... И он зарыдал...

Счастье, что это произошло в людном саду, где разные тети, увидев зарванного, одиноко бродившего мальчика, окружили его, стали расспрашивать, ласкать, утешать и отвели в какое-то здание, откуда по радио стали вызывать его бабушку. А бабушка влетела ни жива ни мертва. Она не бросилась к Мишке, не стала ни бить, ни целовать его, а только бессильно опустилась на стул... Она дала влить в себя валерьянку, потом приняла предложенный ей валидол, попросила вызвать такси... И Мишка, страстно любивший кататься в машине, ехал теперь присмиривший, безрадостный...

Казалось бы, что такого урока должно надолго хватить. Казалось бы, человек имел случай почувствовать, что свобода, к которой он всегда так стремится, бывает и не нужна и страшна... Но Мишку этот урок не пронял.

Бабушка едва пришла в себя, едва отдышалась, как он стал просить ее пойти с ним на детскую площадку во двор.

— Я не могу, Миша,— сказала она.— Я должна полежать.

— Ну отпусти меня одного...

— Скажи, Миша,— спросила она,— тебе понятно, что ты сегодня наделал? Понятно, что могло с тобой случиться?

— А что я наделал? — спросил он невинно.— Это ты сама потеряла меня. Я же не виноват, что ты бежать не можешь.

Бабушка не нашла что на это ответить. А Мишка обнаглел еще больше.

— А случиться ничего не могло,— заявил он беззаботно.— Я же знаю свой адрес. Эти тети привезли бы меня. А ты вечно чего-то волнуешься... И я из-за этого недогулял... А ребенок не должен без воздуха...

Бабушка потеряла от такого нахальства дар речи. А Мишка засмеялся, потом подошел к бабушке, спрятал в ее коленях лицо, стал подольщаться к ней, обещал никогда больше в жизни не отбегать от нее и просил не рассказывать папе...

Когда вечером возвращаются мама и папа, бабушка не решается сразу докладывать о тревожных событиях дня. Ей не хочется их огорчать... Мишка так буйно бросается маме на шею, так крепко повисает на ней, а мама так страстно целует его, что было бы слишком жестоко расстраивать эту обоюдную радость. Обрушить на маму суровую правду, сказать ей, что Мишка не заслужил ни воздушных шаров, ни пирожных, заставить ее перейти на строгий, взыскательный тон — значило бы наказать ее, а не Мишку... Она так устала за день, так предвкушала счастливую встречу, и ей так не хочется слышать о Мишке плохое... И сам Мишка так самозабвенно занялся шарами, так вкусно уплетает эклеры, так щедро раздаривает вынутые папой из порт-

феля конфеты, так полон сейчас распирающей его доброты, так весело скачет, так звонко смеется и вдруг, вспоминая злоключенный день, так опасливо посматривает временами на бабушку, что она не может пойти на предательство...

Если бы не зоркое папино око, перехватывающее боязливые Мишкины взгляды, все сходило бы для него хорошо. Но папе свойственно что-то улавливать и омрачать вечера задаваемым вдруг бабушке совсем лишним вопросом о том, как вел себя его сын... Это сразу выводит Мишку из хорошего расположения духа. Папа ни разу в жизни не шлепнул его, и все же, ожидая, что теперь скажет бабушка, Мишка бледнеет... Наступает напряженная пауза, и бабушка не знает, как разрядить ее. Она не хочет портить идиллию вечера, не хочет, чтобы он кончался слезами и Мишка всю ночь спал бы потом беспокойно, а в то же время она сознает, что нельзя всегда состоять с Мишкой в заговоре и во всем покрывать его...

Мишкин день состоит из сплошных происшествий. Если он не скроется от бабушки во время прогулки, то запрется от нее где-нибудь дома. Если он ничего не учинит в ванной комнате, то сотворит что-нибудь в кухне. Если съест без ультиматумов завтрак, то потребует вознаградить его за обед. Если не тронет пишущую машинку отца, то включит в сеть его бритву. И если оставит в покое проводку, то покончит с очередной самопиской...

А уж сколько раз среди дня он хнычет, буянит, дерзит! Бабушка чувствует, что, если оставлять все такие дела безнаказанными, Мишка совсем сядет на голову. И она отвечает на папин вопрос половинчато. Списка всех преступлений не оглашает, выбирает лишь одно или два...

Папа больше не улыбается. Он отводит Мишку в соседнюю комнату, ставит в угол носом к стене и предлагает на досуге подумать над своим поведением. А чтобы мысли не отвлекались от темы, гасит в комнате свет...

Мишка один. Опозоренный, изгнанный, дискриминированный. А что такое дискриминация, ощущает лишь тот, кто подвергается ей... Горло стиснуто спазмами. Плач сотрясает все Мишкино тельце. Но плачет он тихо, чтоб не услышали. Плачет долго, захлебываясь. Временами он не в силах сдержаться, и рыдания становятся громкими, затем он опять берет себя в руки и старается глотать слезы неслышно, потом снова не может с собой совладать...

Казнь кажется вечностью. Но в разгар ее дверь раскрывается, в комнате зажигается свет, и Мишка чувствует теплые мамины руки...

Мама не в силах была перенести его слез...

— Ну пойдем, мой хороший, — покрывает она поцелуями его мокрую мордочку, — пойдем, скажи папе и бабушке, что ты больше не будешь...

Но папа настойчив.

— Обдумал?— интересуется он.— Понял, как нехорошо поступил?

Мишка молчит. Ему некогда было обдумывать, потому что он давился слезами.

— Ну, если ты еще не понял, не можешь нам объяснить, тогда поди стань снова в угол, думай еще столько же времени,— упорствует папа.

Мишкин подбородок снова кривится.

Но его выручает отсутствие единства между родителями.

Папа настаивал на правосудии, мама настояла на милосердии...

Когда Мишка ложится, начинаются постоянные и бесплодные дебаты о нем.

Папа говорит, что мама и бабушка распустили мальчишку, а мама видит во всех Мишкиных действиях обычные детские шалости. По ее словам, совершенно естественно, что он трогает запрещенные вещи. Ведь ему не с кем дома играть! Он закисает от однообразия. А мальчику свойственно хотеть везде быть и все видеть. Ему не меньше, чем взрослому, нужны впечатления, смена лиц и событий.

Бабушка думает только о том, чтобы впихивать в него побольше еды, но едой не насытишь эту требовательную, жадную душу. И если он не слушается, делает назло и грубит, то в этом, по мнению мамы, сказывается лишь бессознательный детский протест против несовершенства обстановки...

Папа с такой позицией не соглашается. Он считает ее неверной и даже вредной попыткой обоснования мелкобуржуазной распушенности. Впечатлений у ребенка и так слишком много. Он смотрит телевизор, крутит приемник, играет с детьми на площадке, завален игрушками, книжками. Что еще надо! Разве папа и мама, когда они были детьми, имели столько развлечений, как Мишка? Он потому и не ценит их, что у него их избыток! Потому и не слушается, что ему во всем потакают! А мама своей вредной теорией поощряет его индивидуализм, эгоизм, нигилизм.

Но мама свои вредные взгляды отстаивает. У ребенка обязательно должно быть много игр и забав, он не может долго заниматься чем-то одним, и если он вертится возле стиральной машины или не хочет отойти от приемника, то это вовсе не признак балованности. Мама не видит также ничего страшного в том, что Мишка упрям. Известно, что все дети упрорны, настойчивы, и Мишка нисколько не хуже других...

Папа утверждает, что хуже. Папа видел детей своих сослуживцев,— воспитываемых, конечно, разумно и строго,— и он позавидовал, какие они послушные, спокойные, скромные...

Но мама не дает папе хвалить чужих послушных детей. Она в них не верит. Папа просто в счастливую минуту туда попадал... Мишкой тоже восторгаются гости. Когда с ним играют, когда

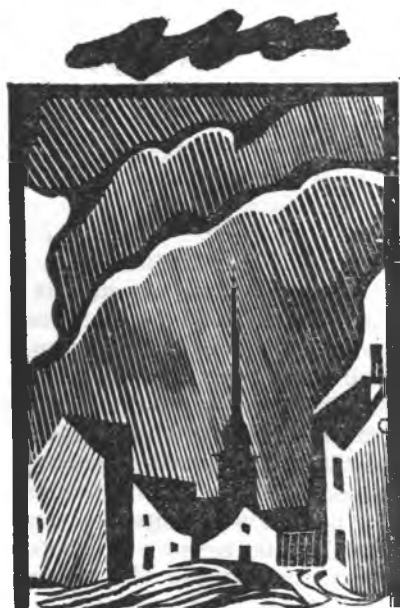
его умеют занять, он становится таким ласковым, мягким, уступчивым, что всех очаровывает.

Папа признает, что это бывает. Когда Мишка не ведет себя плохо, он ведет себя хорошо. Но почему он неровен? Почему всегда хуже или лучше, чем ждут от него? Потому что его не приучают к порядку, к нему мало требовательны. Если бы мама и бабушка не проявляли к нему снисходительности, были всегда неуклонны, взыскательны,— и ребенок бы знал раз навсегда, что надо делать так-то и так-то и он не выплачет себе никаких отступлений...

Но мама не хочет такой суровой формы правления. Она, конечно, не против порядка, признает его важность, но считает, что Мишкина жизнь и без того обставляется сплошными запретами. Ему и того нельзя, и другого нельзя! А когда же ребенку побаловаться! Мама против стольких законов и правил, чтобы вообще не оставалось места проказам.

Папа отвечает на это, что в их доме главная опасность — не избыток запретов, а их явная нехватка. Папа опять говорит о либерализме мамы и бабушки... Тогда бабушка требует, чтобы папа сам оставался с Мишкой дома. Она хочет посмотреть его учение в действии...

Бабушка обижена, и папе это досадно. Он знает, что она вкладывает в Мишку кучу труда... Папа смягчает формулировки, и тогда бабушка тоже смягчается. Она и мама отправляются в кухню готовить Мишке на завтра еду. Они что-то варят, выжимают сок из морковки и размышляют о том, что не все, конечно, в словах папы неверно и надо попробовать быть завтра построже... А папа просит налить ему крепкого чая, устало выпивает его, садится за письменный стол и втайне признается себе, что, пожалуй, мама и бабушка немножко правы и еще не придумано таких спасительных строгостей, которые бы возвысили Мишку над Мишкиным возрастом...



ДОЧЬ БУКНИСТА

РОМАН



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Он всегда был плохо выбрит, так как на впалых щеках бугрились мелкие жировики. Глубокие морщины разгородили его лицо на отдельные кусочки. Здоровые люди, старея, сохраняют чистоту кожи, часто даже румянец лица и постепенно приобретают благообразную седину. А у этого старость наступала, очевидно, рывками, поражая то одну, то другую щеку, оттопырив кожу под левым глазом и сделав впадину под правым. При встрече с таким человеком невольно вспоминается, что в почках иногда образуются камни, что существует ненормальное давление крови, склерозы, астмы и что у подобных людей их нельзя устранить, предотвратить, изгнать. Вот взять бы, кажется, утюг, разгладить это лицо, выровнять складки, сделать так, чтоб без отвращения смотрел на себя человек в зеркало, чтобы не был он сам себе неприятен.

Неправда, будто профессия накладывает на лицо отпечаток. Она может отражаться на фигуре, походке, движениях, ее можно учитывать при измерениях грудной клетки. Но рассуждения о «парикмахерском» или «профессорском» лице всегда легкомысленны. Не характер труда, а скорее отношение человека к своему труду делает лицо его злым или добрым, спокойным или мрачным. Если кто радуется своему делу, то нельзя распознать по глазам и коже, подметки ли он тачает или ведет бухгалтерию. Когда же у человека появляется гнетущая боль, постепенно гасит блеск глаз, вздувает быстрее обычного жилки на висках, морщинит кожу, то профессия тут ни при чем.

Человек может быть выше боли, но немец, о котором я говорю, не был героем. Он поддавался неизвестной и разъедающей болезни, вяло борясь с нею порошками и наблюдая свое разрушение. Кажется, это было связано с почками, но о подробностях он никому не рассказывал, как не называл и своего воз-

раста, ему можно было дать и пятьдесят и семьдесят пять лет. Человек этот был букинистом.

Вот приходится снова говорить о профессии. Украшает ли общение с книгами или, наоборот, искажает лицо? Вопрос этот не столь наивен, как кажется. Решением его занимались многие умы. Одни утверждали, что занятия умственным трудом, как правило, старят раньше, чем труд физический. Об этом можно было узнать у того же букиниста, который показывал исследования врачей, статистику пенсионных касс веймарских времен, труды собирателей анкет. Смертность среди интеллигентов, писали они, лишь потому не выше, чем у пролетариев, что они лучше питаются и больше пользуются помощью врачей. Эти преимущества не делают, однако, кожу лица интеллигента глаже, чем у сверстника-токаря. Внутреннее беспокойство, порождаемое обилием мыслей, будто бы откладывает на лице интеллигента больше складок. Эту версию поддерживали и содержатели косметических заведений. Другие «знатоки» доказывали, что причины морщин вовсе не в напряжении интеллекта, а в нездоровой жизни. Третьи вообще отрицали более раннее старение интеллигентов, указывали, что складки у рта и на лбу не связаны с мозговыми извилинами и не может лицо стареть раньше, чем дряхлеет организм в целом.

Относительно букиниста Фельдмайера можно было, однако, не колеблясь, сказать, что непрерывное чтение было прямым союзником его болезни. Он имел бездонную память, и из прочитанного откладывалось в ней главным образом то, что не могло не углублять на лице горьких складок.

— «Что есть человек? — торжествуя цитировал он собеседникам строки из Томаса Вольфа. — Это тот, кто крадет у своего друга жену, кто оставляет своих поэтов подыхать. Человеком называет себя тот, кто клянется, что жизнь его посвящена прекрасному, а на деле приспособливает свои убеждения к каждой новой моде. Да, таков человек! Невозможно сказать о нем самое плохое, ибо всегда найдется что-нибудь худшее. Нет меры его порочности и нечистоплотности, злобе и предательству».

Он как будто злорадствовал, читая людям эти строки, и явно жалел, что мала у него аудитория, что не слышат его населяющие землю два миллиарда двести миллионов существ.

— Вы полагаете, — спрашивал он, — моя жизнь в этой лавке хуже, чем у того, кто в конторах и на фабриках день за днем, год за годом соседствует с такими же ничтожествами, как он сам? Разница между мной и ими лишь та, что они прозябают, самообманываясь, а я иду к концу, не теша себя иллюзиями и зная цену всему. Да, да, человек прозябает. Жизнь его только мнимо осмыслена. Из чего она складывается? Человеческий день — это миллион нелепых повторений. Уходит Шмидт из дому и снова приходит домой, потеет и мерзнет, всегда чего-то хочет, вечно боится за близких и за себя самого, тщетно пыта-

ется поддерживать непрестанно разрушающееся тело... Сколько было у каждого в жизни по-настоящему золотых часов? О скольких хороших минутах может он вспомнить? Многие ли знают самозабвенную радость? И не будет такой, скажу я вам, никогда не будет. Один американец высчитал, что из ста шестидесяти восьми часов недели он жил сорок, а остальные только существовал. Но и это ложная арифметика. И уж, во всяком случае, одна из благоприятнейших. Он, видите ли, относит к активу, к жизни свои вкусные обеды, но у многих ли они вкусны?

Бывали часы, когда лавка букиниста переполнялась людьми. Вваливались школьники, обычно по несколько вместе; приходили по дороге из бюро домой служащие, чтоб обменивать книги; забегали в поисках скетчей и сборников анекдотов актеры-эстрадники; рылись на полках книжные черви, которые могут проводить в книжной пыли часы; приходили послушать букиниста соседи-ремесленники. Владелец лавки тогда обретал особую разговорчивость.

Замкнут и внутренне напряжен становился он лишь в моменты, когда полки старинных книг с нарочитой небрежностью оглядывали посетители, в которых он угадывал антикваров. Не доверяя никому вообще, он с особой ненавистью относился к этим хищникам.

Года два назад на осеннем аукционе у Герд Розена, куда съехались антиквары даже из Мюнхена и Франкфурта, вслед за коллекцией негритянской пластинки была продана рукопись пяти глав «Хроники Воробьиной улицы» Вильгельма Раабе...

— Помните вы эти замечательные строки из «Хроники»? — говорил букинист. — «...Ах, какое злое время! Смех стал редким и дорогим в этом мире... Морщинятся кругом лбы, и люди меньше говорят, чем вздыхают. Тучи войны застилают горизонт, болезни и нужда водворились в домах. Ах, какое злое время! К тому ж сейчас осень, печальная осень, и холодный предзимний дождь льет на город неделями подряд. Злое время! У людей вытянутые лица и тяжелые сердца, знакомые при встречах проходят мимо, не обмениваясь приветствиями. Злое время...» Это написано было множество лет назад, но это — сегодняшний день, — заключал букинист, — это вечно.

До двух тысяч марок взвинчена была цена этой рукописи, купленной каким-то майором-американцем. Букинист узнал об этом из газет, и кто знает, какая из морщин должна быть приписана именно этому страшному случаю. Спокойствие! Конечно, нужно соблюдать спокойствие... Случай этот ничего не прибавляет к тому, что испокон веку известно о человеческой подлости, но ведь рукопись приобретена была у Фельдмайера одним из таких вот негодяев и не в качестве подлинника Раабе, а как прилежный труд досужего переписчика. Букинист отдал желавшую тетрадь за шестьдесят марок и был доволен, обманутый идиот... О, он, конечно, знает, что продал ничего не стоящие

листы, но все-таки его обманули, сделав деньги из того, что принадлежало ему. Обман надолго оставил след в его сердце. Эти мошенники, которые с намеренным безразличием листают все, что кажется им желтым от времени, не вынесут из его лавки больше ничего. У вас нет к этой старинной коже интереса, сударь? Очень хорошо, оставьте ее, пожалуйста, здесь.

Неустанно читавший, хозяин лавки не уважал, как это ни странно, и посетителей, о которых знал, что они сочинители книг. Он снисходительно предоставлял им перебирать книги на полках, давал, пользуясь своей памятью, справки об авторах и изданиях, но в кругу близких и привычных собеседников издевался над пишущими клиентами.

— Он поглощает кучу книг, этот Регель, чтобы выживать из них чужие мысли. Собственных нет. Но он поступает правильно. Думать, что открываешь философские Америки, можно только в двадцать лет. Уже в тридцать известно, что о смерти и любви все давно сказано и остается только повторять старое, придумывая новые слова. И эта моя фраза тоже, вероятно, давно уже кем-нибудь сказана. Но Регель не найдет свежих слов. Их не выискать в наше безвременье. Только этот шальной Кречмар может думать, что ему уготовано сказать какое-то новое слово. Замечали вы, что он часто улыбается и посвистывает? Это появлялось у многих уцелевших на фронте. Они должны бы стать мрачней всех, но эти шалопаи решили, что выжили неспроста. Они верят в свое особое счастье. «Зачем бы,— рассуждают они,— провидение нас сохранило, если бы ничего не имело для нас в виду?» Но прошло уже три года, и никто из них не достал звезды с неба. Пройдет еще несколько лет, и их по очереди перетаскают на кладбище. Вот Гигльс — тот понимает это. Заметили вы, что он проводит возле книг мало времени и всегда смотрит на часы? Он-то хорошо знает, что вынес из войны не судьбу, а гипертонию, а потому торопится. Она ли его перегонит или он ее? Он хочет перехитрить смерть на этом глупом ипподроме и сделать еще одну книгу. А зачем? — спрашиваю я вас. Разве это не та же мистика — желание оставить после себя след?

Человеком, к которому старик относился сносно, был не современник никакими принципами, но, несомненно, наблюдательный журналист Гольц. Он писал в близкой англичанам берлинской газете, часто посещал Британские острова и, приходя в лавку, наполнял ее шумом, которого хозяин не простил бы, вероятно, никому другому. Гольц много смеялся, далек был от рассуждений о смысле и бренности жизни, ничего не знал в подробностях, но зато видел многое, был насышан обо всем, и не трудно было заметить, что он считал себя выше людей, имеющих законченные точки зрения. Об Англии, ее демократии и нравах он рассказывал со смешливым цинизмом, привлекавшим мрачного старика.

Возвратившись из Лондона со свадьбы английской престолонаследницы, Гольц так иронически рассказывал о виденных торжествах, что даже очкастые книжные черви отрывались от своих занятий.

— Самой великой государственной тайной перед свадьбой был фасон подвенечного платья. Вся страна о нем гадала, но придворные портники связаны были обетом молчания. Мне говорили, впрочем, что каждая знала только те детали, которые делала лично, а замысел сооружения в целом известен был лишь четырем обер-художникам. Слава богу, социалистическое правительство не поступило с ними по примеру саксонского деспота, который заточил в крепость изобретателя мейсенского фарфора, чтобы секрет не вышел из пределов Саксонии. Вы понимаете, что, оказись платье принцессы скопированным, это был бы общеимперский шокинг. Я уставал читать газетные гаданья о платье. Пресса буквально состязалась в выдумках о венчальном наряде. Конфекционные фирмы всех стран платили бешеные деньги, чтобы узнать хоть мелкие детали, и не будь я немцем, я нашел бы к ним пути, стал бы теперь богачом. Какие только фальшивые копии из шелка и бархата не продавались за сумасшедшие деньги в эти дни!

Ну, потом-то, конечно, я рассмотрел загадочное платье на невесте в оригинале. Длинные узкие рукава. Жемчуг вокруг выреза-декольте. Кушак на талии, расшитый камнями под картины Боттичелли. Пятнадцатиметровый шлейф из тюля. Фата на бриллиантовых опорах. Да, забыл упомянуть, что в состав сооружения входили еще два пажа, которые держали шлейф и одеты были в рубахи времен Стюартов. В общем — стюартовско-социалистическая монархия, которая, впрочем, чтобы быть справедливым, совсем недурна...

А обожающий народ! Посмотрели бы вы, как ведут его королевские социалисты по своему «третьему пути». О буржуазии я не говорю. Жены джентльменов нашли себе к событию такие красно-рубиновые, сапфирно-синие и смарагдово-зеленые одеяния, что от красок рябило в глазах. Но маленький человек, средний англичанин, мистер Бантинг — его-то зачем взбудоражили так, что он запрудил улицы, заполнил окна, балконы, крыши, чтобы посмотреть проезд свадебного кортежа. Некоторые любители даже ночевали на улицах перед Букингемским дворцом, чтобы утром увидеть процессию.

Над почтительным уважением лейбористских министров к отжившим традициям Гольц издевался часто:

— Это театральное зрелище, именуемое заседанием парламента, достойно богов. Открывает его сержант в коротких штанах, белых чулках и туфлях. На шее у него тяжелая серебряная цепь, в руках — сабля. Как в оперетке!

В другой раз он рассказывал:

— Любой немецкий промышленный туз прогрессивнее англ-

лийского лейбориста. Мне удалось как-то предстать пред светлые очи Моррисона, и я, между прочим, спросил его, почему не вводят они десятичную систему измерений, которую давно принял весь мир. «Мы никогда не привыкли бы в этом случае к тому, что шиллинг уменьшился на два пенса». Видали социалиста? Ну, двенадцать пенсов в шиллинге — это еще так-сяк, но ведь терпеть тысячу шестьсот девять метров в миле — это уже, кажется, совершенно не для чего. «Их легче терпеть, — отвечает он мне, — чем перенести исчезновение английской мили». Каково? Я хотел ему сказать, что большевики отказались от аршина и это не помешало им делать теперь больше метров ткани, чем ее выпускается в ярдах, но, разумеется, промолчал.

Слушатели рассказов Гольца не могли, конечно, брат всерьез его проанглийские корреспонденции, но он мало об этом заботился, даже не опасался пересказа своих слов. И трудно было понять, доволен или недоволен он тем, что лейборизм недостаточно радикален.

— Национализация железных дорог? — бросил он однажды. — Слава богу! Этот социализм дал нам, немцам, еще Бисмарк.

— Вы не любите лейбористов? — спросили его.

— Я люблю папуасов, — ответил, засмеявшись, Гольц.

Это было характерно для журналиста. Он критиковал, иронизировал, порицал, но собственных суждений не высказывал. Только случайный посетитель, не знавший нрава этого человека, мог позволить себе бестактность и спросить, что думает о вопросе сам рассказчик.

Иным был в этом смысле брат покойной жены букиниста огородник Иммануэль Горт. Он входил в христианско-демократическую партию, не имел стройных программ, но всегда высказывал какой-нибудь необычный план. Владелец довольно больших оранжерей, он бывал во Франции, Италии, Голландии, где скупал семена и рассаду, изучал тайны выращивания разных сортов овощей. В гитлеровские времена он около полугода просидел в гестапо из-за знакомств с осужденными аббатами католических монастырей. Но связи с ними были у него, как оказалось, деловые, — он поставлял монахам свои продукты, и его выпустили. Теперь он проводил дни в хлопотах об угле для своих теплиц, а после обеда приходил к букинисту, брал поражавшие его воображение книги и делился планами, вынесенными из перелистанных накануне. Воодушевлялся он в большинстве случаев проектами не очень определенными, которым нельзя было придать ясных форм, но именно они казались ему лучами света в безысходной тьме, царившей, по его мнению, в странах Европы.

— Этот Поль Валери, — говорил он, прислонясь к прилавку, у которого мог стоять в такой позе часами, — делает хорошее предложение. Это, конечно, только мысль романиста, но поли-

тикам надо бы за нее ухватиться. Очень, очень важное соображение. Оно может стать почвой для больших дел. Он, видите ли, считает нужным отказаться от Европы, как географического понятия, и предлагает считать европейцами всех тех, на ком сказалось влияние древних и христианских культур. Послушайте-ка, что он пишет...

Горт переводил затем с французского несколько страниц, утверждавших, что действительным европейцем является всякий, в ком живет европейский дух, а этот последний характерен почитанием Цезаря и Вергилия, Моисея и апостола Павла, Платона и Эвклида. Ученый огородник находил, что если Германия встанет на такую позицию, она навсегда обеспечит себе мир с западными державами, дружбу с американцами («Вергилий им, конечно, далек, но Эвклид их с нами роднит») и спасет страну от «заразы большевизма».

— Ерунда! — провозглашал после этих откровений хозяин лавки. — Неужели ты не понимаешь, что американцев привлекает в Германии не Эвклид, а большевиков мы не испугаем тем, что не признаем их прав на Платона.

— Если немецкому народу разъяснить, что русским чужд европейский дух и они принадлежат к Евразии...

— Розенберг проповедовал это много лет, и если ты теперь его заменишь, сбор у тебя будет меньше, чем у бродячего цирка.

— Что ты, что ты! — испугался Горт сравнения с Розенбергом. — Я хотел только сказать, что подлинным европейцам надо раз навсегда договориться, прекратить распри, сообща отстаивать свою культуру...

— И установится в человецех благоволение! — смеялся, не выражая своего мнения, Гольц.

Часто Горт приносил статьи проамериканского публициста и коммерсанта издателя Регера, который проповедовал Соединенные Штаты Европы.

— Под чьей эгидой они должны возникнуть? — спрашивал букинист.

— Ты за любыми начинаньями всегда видишь задние мысли и корысть, — печально отвечал огородник. — А на самом деле это было бы концом всех несчастий. Разве не прекрасна эта мысль выйти за узкие границы наций в мир человечества?

— Туманная фраза! — небрежно ронял букинист.

— Почему туманная? — начинал волноваться Горт. — Здесь все очень определенно. Единый парламент, единое правительство для Европы, падение таможенных барьеров...

— Ха-ха! — желчно смеялся букинист. — Сними эти барьеры, сними! Твою страну завалят тогда заокеанской картошкой, и тебе придется продать свой участок, на котором будет выстроен публичный дом. Штаны и жилет на тебя тоже наденут заграничные, а тебе разрешат экспортировать только рукава от жилета.

— Позволь, позволь, Регер ясно пишет...

— А кто ему платит за то, что он пишет? Кто финансирует его «Тагесшпигель»?

— Нет, нет, ты не понимаешь, — волновался огородник. — Конечно, во всем есть элементы алчности, но если будет единое государство, мы сможем, во-первых, получить больше земли...

— А зачем вам тогда больше земли? — нервно спрашивал молчавший до этого сын букиниста Отто. — Если это — единое государство, так зачем вам захватывать в нем земли? Вы напоминаете мне, дядя, француза, говорившего, что он атеист, но, само собой понятно, католик.

Втайне страдая из-за поражения Германии, Отто, однако, разговоров об этом не любил, как чисто политических, он чурался всякой политики и высказывал откровенную ненависть к ней. Девять лет его жизни, лучших лет, прошли в гитлеровской армии, где он дослужился до обер-лейтенанта. Порядок казармы принимал он тогда за ясность жизни. В победном марше по Франции он, Отто Фельдмайер, делал мировую историю. Крах застал Отто дома, с укороченной ногой, когда после госпиталя ему предоставили полугодовую побывку. Это было последнее ранение обладателя железных крестов обеих степеней... Теперь студент-физик Фельдмайер больше не хотел ничего слышать о том, как опять переустраивать мир.

Физика — это постижение, это дело и профессия. И жить в угаре он больше не хочет. Не для этого поклонялся он развенчанному ныне богу, чтобы искать теперь других. Он не желает ни защищать прошлое, ни осуждать его.

— Хватит с нас болтовни об устройстве мира! — решительно отвечал он дяде. — Пусть другие оставят Германию в покое, и пусть нас оставят в покое наши собственные политики. Неужели вам еще мало всех этих искусственных проблем? Слава богу, их нагромождено вдосталь. Все это толчея воды в ступе и величайшая нелепость. Ненависти много, а положительного ничего. Политики не облегчили наших страданий. Они обременяют нашу жизнь и мешают изживать нужду. Пусть архитектор и каменщик строят дома, а крестьянин сеет хлеб, и к черту всех, кто пытается баламутить нам головы!

Когда студент говорил о строительстве, дядя не выдерживал:

— Ты говоришь странные вещи. Какой же человек будет вкладывать сейчас капитал в возведение дома, когда Германия в любой момент может снова стать полем битвы?

Нередко посещавший лавку владелец отеля Найдер поддерживал дядю и рассказывал об общей неуверенности в завтрашнем дне.

— Дело не только в том, что может разразиться война. Никто не уверен во внутренней политике. По большинству вопросов в Контрольном совете не принимается никаких решений.

С какой стати деловой человек будет что-нибудь предпринимать, если всюду царит общая неуверенность.

— Почему общая? — решалась вмешаться в разговор дочь букиниста Эмма. — В Берлине все настойчивее говорят о планах воссоздания Франкфуртер Аллее...

— Длиннейшей улицы в Европе! Но коммунистам не удастся это, не удастся! Какой же капиталист станет строить дом, чтобы его заселили голытьбой и запретили брать настоящую квартирную плату?

К шести часам букинист запирает лавку и шел с горкой книг во внутренние комнаты. Эти книги, приобретенные за день, он перелистывал до самого ужина.

— Послушай, Иммануэль, что писал один неглупый человек во времена, когда мы с тобой еще соску сосали, — обращался он с какой-нибудь цитатой к шурину, если тот еще оставался: — «...Человечество перепробовало и деспотизм царей, и жизнь в великих республиках. Оно искало утех в любви телесной и в любви к богу. Оно опустошалось войнами и жило, забывая о них. Оно вымирало от голода и снова быстро плодилось в хорошие годы. Оно знало периоды бурных общественных страстей, вкушало и безоблачное спокойствие. И все-таки ни одно поколение никогда не могло сказать о своем времени: «Оно было тем, что нужно».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Иностранца, попавшего в Берлин, удивляет, что все крыши его зданий вытянуты в одну линию. На десятки километров тянутся все те же пятиэтажные дома, и улицы кажутся похожими одна на другую, как дни серого человека. Но вскоре приезжий начинает понимать, что город этот не только не цельный, но, наоборот, состоит из разных миров, а столь сходные внешне улицы живут каждая собственной жизнью. Берлин оказывается не городом, а городами, которые только не отделены друг от друга полями, лесами и реками.

Если человеку нужно попасть на Кривую улицу, он, узнавши Берлин, не станет искать ее в западной части города. Пусть эта улица давно уже пряма, как вытянутый рельс, но что-то подсказывает понявшему Берлин человеку, что рядом с Королевской она наверняка не находится. Хотя ремесленных цехов нет в Европе уже сотни лет, а все же постепенно замечаешь, что на улице Текстильщиков живет много людей с фабрик, а на всем длиннейшем Курфюрстендамме ни один, буквально ни один слесарь не живет.

Совсем-совсем не ровен ровный Берлин. В Пренцлауэр Берге — портновские мастерские, на Тауэнтцине — салоны мод, в Панкове — будочки часовщиков, в западной части — ювелирные

магазины. Женщины с улицы Каменщиков носят пальто, сшитые из одеял, а в Далеме еще много отблеставших красавиц, чьи манто стоят дороже трехлетнего труда жителя рабочего квартала.

Под одинаково плоскими черепичными крышами разно устроено человеческое жилье. В одних квартирах стены выложены дубом, матовое спокойствие которого свидетельствует о том, что люди здесь живут хорошо. Стены других квартир покрыты оттопыренными обоями, полинялость которых сразу говорит входящему, что хозяева тут живут плохо. Есть стены, обтянутые толстыми невыцветающими шелками, и есть ничем не обтянутые, с обнаженными трещинами. Нет на улицах таких стрелок, которые бы указывали, где кончается район паркетов и начинаются дощатые полы, но внутренность прилепленных друг к другу пятиэтажных коробок на незримых водоразделах меняется так, что не увидеть разделяющей их пропасти становится просто невозможно.

Даже под руинами Берлина после войны пока что не погребено различие его миров. Кто думает, что в море битого кирпича уже неотличимы эти острова, тот глубоко ошибается. Руины немецких городов показали, что общее несчастье переживается по-разному. Люди всегда теснились свой к своему, и не случайно поэтому, что в Вайсензее осели мелкие огородники, на Яичной улице, где уже сотню лет нет яичных лотков, живут лавочники, а самые богатые из богатых ушли из стеснявших их многоквартирных домов и возвели на просторах Целлендорфа виллы, в которых ваннные комнаты имеются для каждого члена семьи, а запах бензина заглушается розариями. Развалины Фридрихштрассе обострили неприязнь между этими людскими группами как никогда раньше.

Кто виноват? Это был первый вопрос, громкая настойчивость которого заставила жителей уцелевших квартир, обставленных мебелью из дерева грецкого ореха, ощутить в воздухе угрозу. Тысячи перьев стали доказывать, что виновных нет и ответственна лишь кучка преступников, уже понесших заслуженную кару.

— Мы рукоплескали Геббельсу в Спорт-палласте,— злорадно говорили богатые рабочим и кустарям,— но разве некоторые из вас не делали того же у радиорупоров? Или это не вы заполняли балконы и окна, махая шляпами проезжавшему Гитлеру? Разве некоторые из ваших сыновей не буйствовали каждую осень на оргиях чернорубашечников в Нюрнберге? Не эти ли молодчики жгли русские города? Нет, тогда вы были неотделимы от нас, и не устремляйте теперь глаза на восток, а помогите нам снова взобраться в седло. Мы опять пойдем на восток походом, и вы разделите с нами трофеи победы.

— Нет,— отвечали другие.— Пусть мы творили зло, но задумано оно было вами. Вы не хотели поступаться ничем из сво-

их богатств и пробудили в нас алчность к тому, чем владели другие народы. Чтоб искупить свою вину перед миром и грядущими поколениями немцев, мы должны лишить вас страшной власти, которая вовлекает в катастрофы. Мы отнимем ваши латифундии и фабрики, сделаем их народными и не дадим вам больше управлять нами.

Всегда чужие и разобщенные, люди разных берлинских городов двенадцать лет пытались называть друг друга «товарищами по народу», ибо крыши их домов были точно подогнаны одна к другой. Теперь, лишившись крова, наиболее пронизательные распознали обман. Одни еще ожесточеннее отстаивали неприкосновенность своих богатств, другие стали искать пути, чтоб вывести из нищеты нацию. И, где бы ни находился берлинец, он вдыхал, как составную часть воздуха, политическую пропаганду.

В этой жестокой борьбе неразгаданным сфинксом являлась та внушительная часть населения, которая живет — где больше, где меньше — во всех городах города Берлина. На подавляющем большинстве улиц она занимает первые этажи домов с бесчисленными вывесками.

Эти люди пекут и продают хлеб, торгуют мясом, подбивают подметки, делают шляпы, шьют костюмы, исправляют приемники, обивают мебель, держат платные библиотеки, мастерят абажуры, латают кастрюли, накачивают воздух в автомобильные шины, кроят белье, чинят часы, содержат пивные, танцзалы, парикмахерские, гаражи и занимаются еще сотнями разных дел, которыми одни кормятся лучше, другие — хуже. Большинство этих людей делает или чинит вещи собственными руками и часто далеко за полночь. Живут они при своих лавках и мастерских, точнее — последние находятся при квартирах. Одним помогают в работе жены и дети, другие нанимают в помощь посторонних. Есть такие, что продают только собственные изделия, иные торгуют еще и фабричными. Многие делают вещи на хороших больших машинах, но столь же многие пользуются только ручными станочками. В буфетах некоторых семейств стоят заветные мейсенские чайные сервизы с золотыми узорами, большинство пьет кофейный суррогат из пузатых баварских чашек с синим ободком; на семейных столах у остальных сервизной посуды вообще нет.

Над первыми этажами, именуемыми в Германии партерами, живут, в свою очередь, люди, которых невозможно причислить к богатым, но нельзя назвать и бедными. Вот, например, господин Шмидт со второго этажа дома по Бережной улице, у которого к набережной приколдованы десять моторных лодок. Если упрекнуть его в наживе за счет катающихся, он может справедливо ответить, что сам ремонтирует моторы, смолит лодки и берегательная книжка досталась ему в результате многолетних усилий. А легок ли труд господина Мейера, содержащего школьное за-

ведение, или, если хотите, университет для собак? Ему приносят щенят — сеттеров и овчарок, их собираются в пансионе десятки, он получает для них корм по собачьим продовольственным карточкам, приучает к порядку и делает из каждой то, чем ей положено быть, к чему у нее есть склонности, — ищейкой, сторожем или охотничьей собакой. У Мейера — платные помощники, но мыслимое ли дело развивать пятьдесят собачьих индивидуальностей в одиночку?

В Германии, где тоска сгоняет овдовевших женщин в брачные бюро, не называют паразитическим и занятие господина Шульца, который подыскивает страдальцам спутников жизни. Не зная устали, ездит он по Берлину, рассылает фотографии, составляет альбомы, ведет картотеку на тысячи людей, вкладывает в дело фабрикации семейств свой богатый жизненный опыт и большую энергию. В приемной Шульца — дорогая мебель и картины, но составить приданое для собственной дочери ему так и не удалось...

И много еще в Берлине таких людей, которые не являются предпринимателями в узком смысле слова, но и за тружеников их не всякий согласится посчитать. Графологи, имеющие свои конторы, руководители рекламных бюро, шефы учебных курсов, агенты по страхованию жизни, комиссионеры разных рангов и видов, владельцы мелких гостиниц, содержатели косметических кабинетов, организаторы лотерей, поставщики париков, сыщики детективных бюро, хозяйка мелких аукционов, бутафоры, посредники, менялы и прочие и прочие. Часть их эксплуатирует чужой труд, а иные — людскую доверчивость, но большинство добросовестно обслуживает клиентов, считает свое дело полезным и жизнь — осмысленной.

Устойчивость их занятий, масштабы дел и направление мыслей сугубо различны и зависят от многих обстоятельств. Вывеска господина Квадта гласит, что фирма его существует с 1869 года, а уж какая это фирма, если все ее достояние — несколько сот пропыленных дамских париков, за которые вряд ли кто-нибудь даст хоть тысячу марок. Но Квадт не отступает от традиций деда и стойко голодает в ожидании лысеющих старух. Зато у господина Шольца, владельца одного катафалка и жалкой мастерской, в которой два плотника сколачивают необтесанные гробы, обширная клиентура. Дела его идут блестяще, и он имеет счастливую возможность вымогать у родственников умерших продовольственные карточки, без чего не отвозит покойника к месту вечного успокоения. Он впервые занялся этой доходной профессией в 1942 году, оставив рабочее место на мебельной фабрике, и не намерен теперь бросать это дело до тех пор, пока в Германии не снизится потребность в гробах...

А господин Цингер, живущий в прекрасной квартире района Берлин-митте; откуда так удобно сообщение во все концы, в буквальном смысле слова прогорает. Ему приходится платить боль-

шую квартирную плату, тратиться на рекламу, а поступлений последние месяцы совершенно не было, и только проданные через комиссионный магазин хрустальные вазочки дали семье возможность оплачивать скудный карточный рацион. Дело в том, что, опасаясь денежной реформы, никто недвижимостей не продает и к Цингеру за посредничеством не обращается. Если дело не изменится к лучшему, он должен будет переменить местожиительство, но ведь бросить сегодня в Берлине такую квартиру — это сумасшествие, это невозвратимая утрата, о которой страшно и думать.

Неустойчивость валют подрывает и дела господина Шнитке. Никто не хочет страховать жизнь в пользу семьи. Люди отвечают Шнитке, что после смерти, которая наступит неизвестно когда, валюты могут быть десять раз аннулированы, девальвированы и просто обесценены, семья получит тогда ничего не стоящие бумажки, а на страховые взносы пришлось бы сейчас тратить тридцать марок, за которые можно купить на черном рынке полтора фунта крупы.

Неопределенность времен вызывает еще больше раздумий у старого Пешке. Он четырнадцать лет работал на фабрике скрипичных инструментов, недоедал, не женился на любимой девушке, опасаясь, что она будет беспечнее в расходах, чем взятая им в жены менее привлекательная девица, отказывал себе во многом, пока не накопил денег, чтобы купить тромбоны, скрипки и флейты и давать их напрокат. Он мечтал обеспечить таким путем старость себе и образование детям, но не вышло ни того, ни другого — тромбоны мало кто брал, а теперь и совсем не берут. И Пешке подумывает опять о фабрике. Последует ли Германия примеру русских большевиков или нет, но только Пешке ясно, что после всего происшедшего положение рабочего человека будет лучше, чем прежде. Уже сейчас именно рабочим дают дополнительное питание, именно их портреты печатают в газетах и к ним на фабрики привозят ткани, которые в других магазинах не продают.

Теми же путями идут и мысли господина Крента. Собственно говоря, господином его до сих пор никто не называет, хотя вот уже несколько лет как он перестал ездить на чужих машинах и приобрел два собственных грузовика. Он сам нанимает теперь шофера для второй машины. Они оба подъезжают к мебельным магазинам и доставляют мебель на дом покупателям. Но дела Крента неважны. Конкурентов много, а шкафов и трельяжей мало. Владельцам магазинов ему тоже приходится давать мзду, иначе они гонят его машины от дверей и рекомендуют покупателям других возчиков. Есть некий Шрамм, — у него десятки машин, бензин он приобретает оптом и по твердым ценам через американцев, для которых часто что-то возит, а он, Крент, должен покупать горючее и камеры на черном рынке и задолжал уже своему помощнику за три недели. Надо все это предприятие бро-

сать. Пусть занимаются им шраммы, у которых много денег и возможностей. Он же разбогатеть не умеет, продаст машины и пойдет на какой-нибудь национализированный завод механиком. Рабочему человеку не найти удачи на предпринимательском пути. Если Социалистическая единая партия добьется осуществления своей программы, ему совсем не плохо будет жить.

Но никогда (ни-ко-гда!) не откажется от предпринимательства Найдер, который имеет отель на восемнадцать номеров и одну заветную бумажку в домашнем сейфе. Он начал с двух комнат на улице Роз, которую берлинцы прозвали Розмари. Гонимый настойчивыми позывами к незатейливым любовным утехам, шел сюда разношерстный люд и безошибочно находил себе подруг по опознавательным знакам, которыми служили на груди женщин красные розы. Отсюда название улицы и зажиточность Фридриха Найдера. Он отводил в своей квартире комнаты для случайных любовников. Начал Найдер с малого, а когда стал собирать много денег, его обуяла алчность, он начал расценивать кров уже не на ночь, а на часы, богател, мечтал о собственном большом доме свиданий. Надо было, однако, жениться (ему было двадцать семь), но родители облюбленной им девушки поставили решительным условием переезд с улицы Розмари. Решив стать отелевладельцем, Фридрих Найдер снял помещение на другой, нейтральной, ничем не запятнанной улице. Там было шесть комнат, которые он стал сдавать уже не только под любовь. Шли годы, росли деньги, Найдер менял помещения и увеличивал свой отель, а затем приобрел у менее счастливого домовладельца закладную на пятую часть дома.

Сегодня, однако, времена, как никогда, плохи. На оплату комнат установлен тариф. Люди часто вселяются по ордерам магистрата. Ходят разные мрачные слухи. Если, боже предохрани, Социалистическая единая победит, можно ждать чего угодно, вплоть до изъятия домов, а возможно, даже и отелей. Усилия всей жизни пойдут прахом... Эти комнаты он красил и холил, постепенно обставлял мебелью, приобретал для них ковры... У него ничего больше нет. Другие вкладывали деньги в ценности, покупали бриллианты, доллары, он же все, буквально все отдавал этим комнатам.

— ...Господи! Господи! Но скажи, Гертруда, как ты думаешь, неужели они могут взять комнаты вместе с мебелью? И эти четыре ореховых шкафа в пятом, шестом, седьмом и восьмом? Это же кавказский орех. Помнишь, мы заплатили тогда за них сразу тысячу четыреста марок. Ты взяла тогда даже те тридцать марок, что отложила на велосипед для маленького. Помнишь, как мы радовались, когда поставили наши три ванны? Твой отец доказывал мне, что лучше иметь три лишних маленьких номера. Теперь это было бы все равно... Я тебя спрашиваю, неужели ванны и шкафы — это для них тоже «орудие производства»? Ну да,

конечно, зачем им иначе пустые стены? Знаешь, я способен, когда приходят такие мысли, разбить эти ванны.

Слушай, может быть, нам убрать и заблаговременно отвезти куда-нибудь ковры? Этот старик под Потсдамом, у которого мы их купили, умер вовремя. Честное слово, ему многие могут позавидовать. Я слышал, его фабричка еще не забрана, но зять, которого я встретил, говорит, что это может произойти каждый день... Слушай, а может быть, нам незаметно распродать самую тяжелую мебель, а? Но что сделаешь на эти бумажки? И что мы вообще будем представлять собой без отеля, а? Нет, нет, мы не расстанемся с нашими комнатами. Ни-ко-гда! Мы будем держаться за них зубами...

Ах, нет, я вовсе не впадаю в панику, тебе незачем меня утешать, я знаю, что никто ничего еще не отнимает. Но слухи эти, они выводят меня из равновесия. Я чувствую тогда, что становлюсь способен на страшные дела. Да, да, я говорю серьезно, я способен на страшные дела...

Много в Берлине судеб, различны долгие вечерние разговоры мужей с женами, и каждый в первых этажах вздыхает о своем. Направление мыслей Фрица Крента и Фридриха Найдера приблизительно определилось, но тысячи и тысячи не хотят давать своим размышлениям никакого направления и ничего не желают определять.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Эмма Фельдмайер знает этих людей с детства. К ним принадлежат ее отец, дядя, соседи и ближайшие знакомые. Гробовщик Шольц отвозил в прошлом году на кладбище ее мать, у Пешке Отто еще мальчишкой брал флейту, отель Найдера находится против их лавки, Мейер уговорил отца купить и отдать ему на воспитание сеттера, который издох к концу войны от голода. Они помогают друг другу, эти люди, без чего жизнь была бы десятилето тяжелей. Дядя дает много помидоров, спаржи и других овощей. Эмма уделяет кое-что мяснику и булочнику, часто имеет говядину и почти ежедневно белый хлеб.

Одному богу известно, чем питаются люди, которым нечего давать, чтобы получать взамен. Вот семья музыканта Чепеле, что живет на третьем этаже, давно перестала даже садиться за стол — свои кусочки хлеба каждый съедает и без этого. А Эмма имеет все-таки возможность кормить отца и брата совсем не плохо для нынешних времен. Она настойчиво консервирует овощи. Даже морковь Эмма рубит, превращает в салат и присоединяет к своим запасам в чулане. У нее скопилось уже около двухсот стеклянных банок. Надо только время от времени проверять, не ослабли ли на них резинки, которыми прикреплены крышки. Она отнесла недавно стекольщику Капеле де-

сять таких полных банок, получила за них семьдесят пустых и теперь может варить консервы дальше. Этих стеклянок давно нет в продаже, старик дал их ей из своих старых запасов. А в мясной у фрау Кранц она часто получает сахарные кости, делает из них густую выварку и кладет затем по две ложки застывшего бульона в овощные супы. Муж фрау Кранц, вероятно, погиб — будь он в русском плену, давно дал бы знать о себе. Вдове известно, что у Отто бывают студенты, и она не прочь найти себе среди них жениха. Полушутя-полусерьезно она просила Эмму о содействии. Эмма намекнула на возможность выгодного брака Пенелю, бывшему офицеру. Но тот ответил, если уж жениться, то на крестьянской девушке, которая могла бы откормить его и навсегда, вне зависимости от политических ситуаций, разрешить для него продовольственный вопрос. Да, теперь многие горожане женятся на крестьянских дочерях и смотрят на женитьбу как на кормушку. У крестьян действительно остались недорезанные курицы.

Но как надоели Эмме эти выварки, консервные банки, обмены с соседями, вся ее незатейливая жизнь! Один бог знает, как ей тоскливо. Отец становится все болезненней и мрачней. Он очень много знает, в десять раз начитанней всех известных Эмме людей. Может быть, те, кто пишет глетаемые им книги, знает еще больше, но на их улице учение отца никого, конечно, нет. Кто-то назвал его «философом», и так зовут его теперь за глаза все. Люди его уважают, хотя и не очень любят, что Эмма заметила давно. Она поняла причину этого. Все, что отец говорит, возможно, и верно, но от его слов становится нехорошо. Брат? Она его очень-очень любит, конечно, но не находит с ним общего языка. Отто затворяет дверь своей комнаты, когда Эмма включает приемник, — не желает слышать, что говорят дикторы. Что бы ни пыталась ему Эмма рассказывать из прочитанного в газетах, он обрывает ее, называя это пропагандой. Можно подумать, что он боится быть распропагандированным и бежит от себя самого. Он хочет законсервировать себя от внешних влияний, как Эмма оберегает от проникновения воздуха свои банки со спаржей. Брат, конечно, многое перенес, но его поведение теперь совсем не мужское. Он и его товарищи, кроме, пожалуй, Вильвицкого, держатся так, словно хотят пережить нынешнее время где-то вдалеке и потом, когда все уладится, оказаться сразу в каком-то другом времени. Но тех, кто хочет жить так вот, сбоку, не может не грызть тоска. И ее физикой не заглушишь.

Да, они с братом разные. Отто уходит в тоску, а Эмма хочет бежать от нее. Но куда? Опять в «любовь без любви», как сама она, иронизируя над собой, определила ту глупость, на которую решилась девчонкой? Нет, это не даст радости. Тогда эти шальные поступки были возможны, а теперь исключены.

Во время войны, когда Эмма ночью дрожала в бомбоубе-

жище, днем работала, а утром неизвестно было, останется ли она к вечеру жива, она решила — «хоть день, да мой». Желание испытать неизведанные острые ощущения, о которых она слышала от подруг, бросило ее в объятия первого попавшегося человека. Это был сотрудник военной нацистской газеты Гольц. Она близка была с ним месяц, стараясь найти то особое и непередаваемое, что должно быть любовью. И не нашла... Гольц до сих пор посещает их дом, но в ней нет теперь к этому человеку даже любопытства.

Нет, ей нужны настоящий друг, настоящая ласка, которая излучалась бы из его глаз, пела в голосе и пронизывала радостью все ее существо. Ей нужно...

— Это произвол, которого я за все свои пятьдесят лет не видел! — доносится до нее почти крик из лавки. — Этому просто имени нет.

Эмма выходит на шум. Волнуется сапожник Пеппер.

— Мне многие говорили, что на рынке бывают облавы, но я не придавал этому значения и пошел туда. Раз я торгую не ядами, а дамскими туфлями, думал я, мне ничего не могут сделать. Но нет! И я попадаю в облаву... Я понимаю облавы на притоны, куда сносится краденое добро. Но облавы на честно торгующих! В моем сознании это не может уложиться. Ну, если бы я еще перепродавал эти туфли, был спекулянт... Но ведь я сам сделал их, сам! Почему же я не вправе спрашивать ту цену, какую хочу? Ведь не вымогаю же я, а совершаю сделку, сделку по согласию сторон! Кто смеет в это вмешаться?

— Не совсем так, — спокойно роняет чей-то голос, и только теперь Эмма заметила, что в лавке находится Вильвицкий. Он пришел, должно быть, к Отто заниматься, но задержался, чтобы выслушать взволнованного человека. — Вы не перепродавали, но создавали цену, которая ведет к удорожанию жизни. Это, простите меня, тоже спекуляция, а она, с точки зрения народнохозяйственной, зло не меньшее, чем воровство...

— С точки зрения народнохозяйственной! — едко повторил сапожник. — Ну, а с точки зрения хозяйства, которое ведет моя жена, дело обстоит иначе. Картофель, молодой человек, если его не поджарить на сале, попросту сгорит на сковородке. Таково свойство и картофеля и сковородки. А я, знаете ли, не хочу есть горелого. Я удорожаю жизнь? А сало, молодой человек, приготовлено мне на черном рынке по дешевым ценам? Об этом вы подумали, а? Я, знаете ли, всей душой сочувствую лозунгам о возрождении, восстановлении и всяческом оздоровлении, но пока сало я должен доставать из-под полы по пятьсот марок за фунт, до тех пор туфли будут стоить столько же.

— Правильно! — коротко заключил букинист.

Вильвицкий поздоровался с Эммой и прошел к Отто.

«Зачем действительно коммунисты вмешиваются в частные дела? — думала Эмма, чистя к обеду картофель. — Они только

отталкивают от себя тех, кто мог бы быть с ними. Ведь Пеппер бедный человек. Вильвицкий зря еще больше раздражил его...» В то же время Эмма вдруг решила, что полученные сегодня от фрау Кранц шесть сосисок она разделит на четыре порции и пригласит Вильвицкого пообедать с ними.

Выйдя с Отто после занятий в столовую, он сам заговорил с ней:

— Знаете, Эмма, я не нашел сразу, что ответить сапожнику, а теперь окончательно понял, почему он все-таки неправ. Есть у вас вторая пара туфель?

Эмма невольно посмотрела на свою чиненую обувь и покраснела.

— Нет...

— Можете вы заплатить за туфли полтысячи марок?

— Разумеется, нет.

— Нет! Вот, значит, он и неправ!

Лицо Вильвицкого выражало детски счастливое удовлетворение решением трудной задачи.

Эмма невольно улыбнулась.

— Садитесь, господин Вильвицкий, с нами обедать. У нас сегодня неплохое блюдо.

— Что вы, что вы! Мне надо идти...

— Будьте спокойны, у меня хватит на всех. Отто, скажи же твоему товарищу, чтобы он сядил за стол.

— Нет, нет, большое спасибо...

Вильвицкий посмотрел на сосиски, на пар от картофеля и быстро простился.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ход собрания жителей Пренцлауэр Берг был очень неблагоприятен для бургомистра района. Он рассказал об использовании битого кирпича, о трамвайных рельсах и больницах, привел много убедительных цифр, а взбежавший на трибуну коротконогий толстый человек заговорил о попрании магистратом человеческих прав и так взволновал собрание, что последующие ораторы стали ругать или защищать коммунистов, не упоминая ни одного из вопросов, о которых бургомистр делал свой доклад.

Этим маленьким упитанным человеком был известный всему району детский врач Цешнер, победивший немало ангий в семьях людей, заполнивших аудиторию. В Мекленбурге, сообщив он, эпидемия детского паралича, и власти не придумали ничего лучшего, как отправить для борьбы с ним врачей из столицы. Коммунист из отдела здравоохранения предложил доктору Цешнеру выехать в недельный срок.

— Почему? На каком основании? Как можно ехать куда-то

на целый год? Я не Беринг и не Кук, чтобы отправляться в экспедиции. Будь я военным врачом, мной могли бы командовать. Но я — частный врач, я человек свободной профессии, я сам собой распоряжаюсь, и меня нельзя бросать, словно мячик, кому куда заблагорассудится. Мне говорят, что в Мекленбурге недостаток врачей. Верю. Но это не причина для моего переезда туда. В Берлине, например, недостаток в женихах, но я ведь не требую, чтоб их везли сюда для моих дочерей. Господин бургомистр, к которому я ходил объясняться, толковал мне о призвании врача, о гражданском долге. Но человек живет только раз, и я хочу дожить свою жизнь для себя. Достаточно того, что половину пациентов мне приходится лечить бесплатно, по ордерам. Предоставьте же мне вторую половину долечивать в том самом Берлине, где я прожил пятьдесят шесть лет...

— Обращение с доктором Цешнером, — заговорил, стараясь сохранить спокойствие, владелец бара Пешке, — имеет хоть видимые основания, ибо детский паралич, сохрани бог, может докатиться до Берлина. Но магистрат практикует и такое вмешательство в частные дела, которое совершенно бессмысленно. У меня, как вы знаете, пострадала от бомбежки стена бара, и мне пришлось залепить ее фанерой. Это, конечно, отталкивает посетителей, и я потерял половину своих постоянных клиентов. Сколько может это продолжаться? Домовладелец мой, господин Брент, занимается сейчас восстановлением не может. Я решил сам восстановить свою стену. Иду в управление бургомистра за разрешением и... да-да, я вам не анекдот рассказываю, мне в этом разрешении отказывают. Я подаю заявление о том, что куплю материал за собственные деньги и найму рабочих за собственный счет, а мне отвечают, что я не смею расходовать материал и рабочую силу, пока не отстроены больницы. Но ведь это нелепость! Я достаю кирпич из частных рук и нанимаю рабочих в частном порядке. Кому какое до этого дело? «Укажите, — отвечают мне, — эти источники, и мы их возьмем на учет». Слышали вы что-нибудь подобное? Завтра мне скажут, что на учет берутся мои пивные кружки. Какая же это демократия, когда она глушит инициативу и состоит из запретов?

«Кто прав в этих спорах? — думает сидящий в конце зала Вильвицкий. — Детский паралич ужасен... Но человеку пятьдесят шесть лет... Откуда почерпнул бургомистр убежденность в своей правоте?»

У попитра появился очень худой и высокий человек, начавший свою речь так тихо, что отовсюду раздались крики: «Громче!» С видимым усилием он напряг голос, и в аудитории услышали, что у него на квартире живет русский офицер, после чего оратора опять нельзя было слышать.

— Это портной Реммеле! — крикнул кто-то в зале.

Другой высокий и худой человек подошел к стоявшему у пюпитра, о чем-то пошептался с ним и объявил, что оратору трудно говорить громче.

— Он будет говорить мне, а я вам.

— Только не задерживайте! — закричали из зала.

— Он говорит, — начал живой рупор, отогнув ухо, чтобы лучше слышать портного, — он говорит, что его квартирант рассказывал, как добровольно ездил в глухой лес за семь тысяч километров от родного города и там надо было строить другой город... Вырывать деревья и строить... Этот русский спал девять месяцев без кровати, а всего провел на строительстве пять лет...

Не обращая внимания на дальнейший пересказ его слов, портной вдруг круто повернулся и направился к своему месту в зале. Его рупор отошел от пюпитра и встал у самого края авансены:

— И еще Реммеле сказал, что во время последней эпидемии детского паралича у него, как многие здесь знают, умер сын...

Первым в наступившей тишине заговорил оратор, объявивший, что он служит в управлении бургомистра и является жителем Зенефельдштрассе.

— Я не коммунист, но должен сказать, что бургомистр делает свое дело превосходно. Люди приходят к нему с требованиями дать им продовольственную карточку более высокой категории, а когда он не может сделать этой несправедливости, им недовольны. Когда бургомистр убеждал людей убирать по воскресеньям руины, они возмущались, но никто не хотел видеть того, что сам бургомистр и все коммунисты начинали эту воскресную работу раньше всех и кончали позже других. Тогда говорили, что бургомистр попирает право на воскресный отдых, но ведь этого права он добровольно лишил и себя и сделал это для благоустройства района.

«А Цешнеру все-таки надо было выехать», — подумал Вильвицкий.

— Я не собирался говорить, — медленно и полудекламируя, начал другой оратор, и все сразу почувствовали, что говорить он будет долго. — Господин чиновник магистрата вынудил меня к этой речи. Он защищал здесь ту мысль, что ради общей пользы можно пренебрегать индивидуальными правами. Так как идею эту я нахожу чрезвычайно опасной, ибо она всегда служила и служит оправданием всякого деспотизма, то я не считаю себя вправе молчать.

Оратор сделал многозначительную паузу и продолжал, подчеркнуто разделяя произнося слова:

— Благо целого, господи, — весьма шаткое понятие, о котором каждая партия и даже, может быть, каждое лицо имеют собственное мнение. Мое, например, абсолютно не сходится с точкой зрения господина из магистрата. Мне кажется, что это раз-

лично представлений об общем благе не бесполезно учитывать в дальнейшем тем, кто нами, так сказать, руководит.

— Почему «так сказать»? — раздается из зала.

Но оратор не счел нужным откликнуться на выкрик.

— Ко мне, как адвокату, — продолжал он, — обратился недавно крестьянин, привлекаясь к суду за тайный убой свиней. «До каких же пор, — говорил он мне, — моя свинья будет в то же время не моей свиньей?» Здоровому человеческому чувству этого сына полей чужды искусственные ограничения его права собственности. От разного рода ограничений народ устал за двенадцать печальных лет тоталитаризма. Тогда, как вы помните, определялись даже размеры гробов. Но именно поэтому народ ждет от демократии обратного — возможности жить и действовать, как хочется... Да, как хочется!.. Старый английский философ Бенгам завещал нам, господа, представление о наилучшем законодателе, как о таком, который издаст наименьшее число законов. Иначе говоря, разумная власть должна вводить для людей только самые необходимые ограничения, вроде заповеди «не убий». Запреты нужны лишь там, где свобода одного может нарушить свободу другого. Но чью, позволю я себе спросить, свободу нарушил бы господин, возводящий стену, чтобы прислонить к ней столик с парой кружек доброго пива?!

«Он прав, — мелькает в уме у Вильвицкого. — Эта формула о наименьшем числе законов положительно хороша. Надо больше свободы, больше прав».

И как бы для того, чтоб подтвердить эту хорошую формулу, у пюпитра оказался знакомый Вильвицкому булочник Зендауэр, старый, еще догитлеровских времен, социал-демократ.

— Демократия — в личных свободах! — выкрикнул он, обхватив своими толстыми волосатыми руками пюпитр. — За это напоминание мы должны быть благодарны господину адвокату. Но что сделал для развития этих свобод магистрат? Нельзя ни купить, ни продать.

По залу пробегает одобрительный шепоток.

— Заработная плата, — усиливает Зендауэр голос, — поднята ли она у людей до тех сумм, какие необходимы, чтоб покупать на черном рынке масло и табак? Обувь для ваших детей можете вы достать в магазинах? Разве не холодно в наших квартирах? Они хотят, чтоб мы день и ночь сортировали на руинах кирпич, а на то, что у нас есть животы, выходит, наплевать!

— Верно, Зендауэр! — выкрикнул кто-то.

— Вот, вот! — подхватил булочник. — А вас утешают тем, что вашими же руками пускается трамвай.

— Это клевета! — кричат в зале.

— Позор! Позор!

— А кому позор? — кричит другой.

— Правильно, Зендауэр!

— Ты-то не сдохнешь!

- Безобразие, что он говорит!
- А сколько булок ты продаешь на сторону?
- Дайте человеку говорить!
- Долой! Долой!

— Меня не перекричать! — покрывает шум зала булочник. — Я сам всякого перекричу. Пусть бургомистр знает, что нам нужны права и сливочное масло.

— Я хочу говорить! Дайте мне говорить! — донесся вдруг до Вильвицкого женский голос.

И он с недоумением увидел вскочившую на свое кресло в первом ряду Эмму. Стоя на кресле, она повернулась к залу и, страшно волнуясь, стала бросать отрывистые фразы, скорее выкрикивая, чем произнося их, и очень торопясь:

— Это неправильно, что сказал Зендауэр о трамвае! Если бы не коммунисты, никто из нас не вышел бы на работы, и по улицам и сегодня нельзя было бы ходить. Но сторонники бургомистра считают себя умнее всех. Кто не с ними, того они готовы объявить предателем и фашистом. «Нейес Дейчланд» со всеми ругается. Мой дядя сказал на собрании огородников, что это неправда: дядя никогда не был в Америке и не знает ни одного американца. А почему бы нациям и не соединиться? Коммунисты говорят, чтобы фабрики у богатых отнять. Я согласна. Но разве это справедливо, что нельзя получить чулок? Кому дают на них ордера? Почему это не проверяется? В газетах об этом ничего нет... И потом — коммунисты твердят, что все должны восстанавливать. Куда ни пойдешь — развешаны плакаты. А что я должна восстанавливать? Ну, допустим, я могу выкроить три часа в день. Что мне за эти три часа восстановить? Что вообще делать? Дядина газета говорит, что нужно морально очищаться, а коммунисты говорят, что надо восстанавливать. Но мне не от чего очищаться и ничего не дают восстанавливать.

Эмма кончила свою речь так же неожиданно, как начала. Сейчас же взорвались аплодисменты, показавшие, что зал взбудоражен искренним волнением девушки.

Вильвицкий понял, что Эмма должна быть в этот момент красной от смущения.

А на трибуну уже поднялся знакомый залу мускулистый человек с молодежьим лицом и седыми волосами и спокойно встал за пюпитр. Человек этот, как почувствовалось сразу, будет говорить о том же, что взволновало всех, но совсем другими словами.

— Я Бентама не читал, — произнес он немного саркастически, но незлобно. — Когда господин адвокат изучал английского юриста, я сидел в концентрационном лагере. Но наше собрание показывает, что нет надобности тревожить пыльные книги философа на библиотечных полках. Законов и ограничений нам сейчас надо побольше...

Оратор спокойно переждал пробежавший по залу шумок.

— Да, побольше,— повторил он, как бы рассуждая сам с собой.— Иначе мы лишимся последних граммов жира в пайках, не восстановим ни одного дома и дадим эпидемиям пожрать нас.

— Это парадокс,— неожиданно для себя самого вслух произнес Вильвицкий.

— Здесь говорилось об общем благе,— в мягком тоне продолжал бургомистр.— Я много размышлял о нем в своей жизни, господа. И мне давно стало понятно, что очень опасно принимать за истину свое минутное настроение. Осенью человек склонен иначе смотреть на мир, чем весной. И если он будет поддаваться влиянию солнечного тепла или завывающего ветра, то никогда не найдет истины для всех времен года. Не найдет, господа. Вот к адвокату пришел крестьянин-клиент, пожаловался на свою судьбу, и адвокату уже показалось, что истина — в разрешении свободного убоя скота. Но каково было бы представление этого человека об истине, если бы власти послушались его, отменили ограничение, а потом жена его ежедневно видела бы в магазинной витрине одно и то же печальное объявление: «Мясо и масло не поступили»?..

Поддавшись этим искренним словам, никто в зале не решился на реплику, хотя оратор сделал после своего вопроса большую паузу.

— Доктору Цешнеру,— быстрее заговорил тогда бургомистр,— его позиция представляется абсолютно правильной. Кто смеет, считает он, отрывать его от привычного уюта, от семейного очага, от жизни, сложившейся за десятки лет? А в деревнях Мекленбурга, господа, представление об истине сейчас совсем другое. Там женщины в бессилии ломают руки и спрашивают себя, как смеет врач медлить, когда смерть косит их детей... Человеку кажется невероятным, что власти могут покушаться на частный склад дерева, цемента и кирпичей. А тысячам живущих в фанерных клетках покажется преступным, что кто-то может отстраивать пивную, когда у них нет над головами крыш...

— Правильно! — сказал кто-то громко.

— Не всегда! — ответил другой голос глуше.

— Как легко было бы мне выступить перед вами, если б я выполнял просьбы каждого, никого ни в чем не ограничивал, всем и все разрешал. Удовлетворенный себялюбец называл бы меня тогда хорошим бургомистром, а на деле я перестал бы быть... честным политиком.

Бургомистр стал говорить о том, что такое в понимании Социалистической единой партии демократия. Она вовсе не в том, чтобы предоставлять каждому поступать по своему усмотрению. Эта мысль, которую пытались внушить залу, кажется заманчивой, но она фальшива и ей нельзя дать восторжествовать. Зло невозбранно шагало бы тогда по Германии, и люди, гнавшиеся

за счастьем, увидели бы, наоборот, что попали в беду и сами дали ей себя захлестнуть.

Было в тоне бургомистра нечто такое, что не позволяло раздаваться выкрикам, вскакивать с кресел, прерывать оратора. Еще полчаса назад, слушая владельца пивной и адвоката, многие верили, что им наносят обиды, лишают их возможности жить, как хочется. Им жалко было самих себя, чужими и навязчивыми казались те, кто причиняет такие несправедливости. Зычный булочник дал этим обидам разгореться. А теперь, слушая бургомистра, люди проникаются другой правдой, более, может быть, сильной, чем их собственная.

Но людям трудно принять эту новую правду, хотя она и понятна. Она нарушает то, с чем сжились. Им досадно, что бургомистр ставит их совесть перед необходимостью решений.

Вильвицкий, наоборот, ищет решений. Он хочет встретить Эмму у выхода, что-то сказать ей, что-то еще услышать, но выходит на улицу один, медленно шагает, ловит себя на том, что вопросы его сводятся к вековечному: «Что есть истина?» Он трунит над собой, но тут же сознается себе, что от этого старого, как звезды, вопроса он все-таки не может уйти.

На широкой Пренцлауэр Аллее уже отзвучали трамваи, из окон не падает больше на улицу свет, остовы мертвых от угольного голода фонарей слились с ночью, а Вильвицкий проходит мимо своего дома, и ему хорошо шагать так, под тусклыми берлинскими звездами, по сохранившемуся асфальту. Зачем пытается он отделить добро от зла? Разве не мучительно разбираться в сплошных противоречиях?.. В Берлине двадцать шесть газет, в Германии сегодня много партий, десятки собраний происходят в разных концах города каждый день, неумное количество доводов применяют люди в своих спорах и ведут их обо всем. Нет газет и политиков, которые не выдвигали бы свои факты, цифры и уверения против фактов, цифр и уверений других политиков и газет. Кажется, что все правы в чем-то своем и все по-своему неправы. Конечно, крикливый булочник-демагог взывал не к рассудкам, а к желудкам, но разве не правильно, что демократия без личных свобод — не демократия?! Что можно возразить, однако, коммунисту, когда он доказал, что свободы для вендауэров и пешке повели б сегодня к всеобщей нищете?

С шумом опустились где-то оконные жалюзи. Вильвицкий подумал о человеке, который лег сейчас спать. Мучается ли он теми же вопросами или, как Отто, не хочет их вообще знать? А может быть, человек этот все нужное для себя решил? Но чем он тогда взвешивал и мерил?

Как трудны, но как необходимы решения. Отто сказал однажды, что смешно предаваться исканиям, когда Германия лежит в руинах. Вильвицкий шагает по улице и думает, что отказ от

исканий привел бы его в еще худшие руины — руины надежд. Тогда не стоило бы жить.

Впереди посветлело. Это фонари Александерплатц бросали желтый свет на штабеля сложенного в провалах домов кирпича. По площади бродили наиболее поздние и настоячивые из перепродавцов сигарет. Худая девушка, без пальто, с сумкой через плечо, пошла навстречу Вильвицкому, и тогда он повернул назад, направившись домой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На выставке изобретений в покоренном Париже Отто видел поразительный будильник. Он одновременно включает радио, готовится воду для кофе, приводит в действие бритвенный прибор и проделывает еще ряд удивительных вещей. Вспоминая сотни изобретений подобного рода, среди которых особенное внимание привлекал умещавшийся в саквояже мотоциклет, Отто верит в могущество человеческой техники, верит, что человек может в совершенстве устроить свою личную жизнь. Но, вероятно, не дано людям упорядочить жизнь социальную. Нет и не будет такой машинки, которая сделала бы всех довольными. Не стоит об этом и говорить.

Отец саркастически рассказывает о «социальных изобретениях». Да, да, были люди, которые пытались установить общее благо. На дальней полке хранится в кожаном переплете книга об одном добром алхимике, который старался произвести золото не для личного обогащения, а чтобы снабдить им всех людей. Он не понимал, трудолюбивый фанатик, что, удайся ему его затея, золото потеряло бы свою ценность и бедность все равно не была бы изжита. Через двести лет после этого нашелся другой социальный алхимик. О нем тоже есть книга на полке. Она рассказывает, как пришел изобретатель к Ротшильду с идеей раздела богатства. Банкир дал ему гусиное перо и предложил подсчитать, сколько придется при разделе на долю каждого. После мучительных вычислений оказалось, что на каждого католика, протестанта и иудея выпадает по полтора франка. «Так получили свою долю!» — сказал банкир и мудро закончил на этом социальное переустройство.

Улыбается Отто, смеются владелец гаража Шрамм, гробовщик Шольц и страховой агент Шнитке. Этот ехидный Фельдмайер упорно не хочет страховать свою жизнь, он издевается над агентом, уверяя, что профессия гробовщика Шольца гуманнее, но знает старик уйму разных вещей и умен, как дьявол.

А сколько еще было социальных алхимиков! Им всем казалось, что они расчетливы и умны, а следующие поколения называли их утопистами. Старик показывает на прилавок со свежими брошюрами, на которых пестреют имена деятелей Социалистической единой партии.

— Возможно, когда-нибудь и они признаны будут алхимиками. А я зарабатываю по двадцати пфеннигов на том, что продаю эти брошюры.

«Да,— думает Отто,— умы расточаются в ненужных поисках. Что-то лежит, очевидно, в природе людей, что ведет к разделению на довольных и недовольных. Отец прав: тщетно пытаться это изменить. «Сто обезьян,— сказал недавно в лавке один писатель,— будут нормально жить на необитаемом острове среди пальм и кокосов. Но если посадить на остров сто человек, то одни обнесут для себя кокосы заборами, другие станут на них работать, а третьи умрут с голоду...» Хватит попыток переустраивать мир!»

— Самая толковая из партий,— говорит старик,— это германская социал-демократия. Они поняли, что если есть касса социального страхования, то, видит бог, не стоит устраивать эксперименты и прыгать выше своих ушей.

— Прыгать вообще следует только на спортплощадках,— улыбается Гольц.— Лучше всех это понимают англичане. Их социалисты разумнее континентальных. Когда я читаю некоторые американские газеты, подозревающие моих патронов в попытках ниспровергнуть существующий строй, мне кажется это вопиюще несправедливым обвинением. Я видел, как лейбористы избрали социалистоеда Броуна спикером и вели его к почетному креслу. Полковник, как велит традиция, упирался, но они благополучно водрузили его на возвышение. Они не обманулись: «старый Клифтон» пошел пока только на то, чтоб разрешить одетым в брюки женщинам сидеть на галерее во время парламентских заседаний. Английские социалисты сжились с довольными, и смысл их деятельности в том, чтобы помогать урезонивать недовольных. Они, во всяком случае, против таких социальных экспериментов, которые могут нарушить спокойный уик-энд.

— В семье люди могут жить мирно, но за порогом дома или за границами страны они дерутся и дерутся,— грустно говорит дядя Иммануэль.— Полет на Луну еще только предположение, но посмотрите, какая поднята уже вокруг него драка. Я взял недавно во французском секторе пачку газет и просто в ужас пришел от этих споров. «Монд» говорит, что Луна не разделена океанами, не имеет, следовательно, разных континентов и потому должна принадлежать только нации, которая первой достигнет ее и водрузит на ней флаг. Но лондонский корреспондент телеграфирует в Париж, что газеты Бивербрука возражают против этого предложения, усматривают в нем французские прориски и ссылаются на международное право, по которому территория лишь в том случае принадлежит открывшей ее нации, если она может фактически освоить ее и управлять ею. Американцы указывают, что на освоение нет денег и у англичан и, кто бы ни открыл Луну, компанию для ее эксплуатации можно будет создать только с американским капиталом. Некоторые предла-

гают уже сейчас вопрос о принадлежности Луны ставить перед Организацией Объединенных Наций. Планету, до которой еще никто не добрался, уже присваивают!

— Почему вообще надо кому-то отдавать? Разве не может Луна никому не принадлежать и принадлежать всем вместе? — вмешивается вдруг в разговор моющая всю витрину Эмма.

— Ты права, девочка. Если американцы помогут Европе организовать в одно государство...

— А зачем нам беспокоиться по поводу всех этих драк? — неуверенно перебивает дядю Иммануэля Пеппер.— Господин Фельдмайер прав: драки были, есть и будут. Разумный человек должен стараться жить потише и в этих драках не становиться ни на одну сторону.

— Но если в твоём доме посторонние вдруг затевают драку...— вставил страховой агент Шнитке.

— То? — испытующе спросил Гольц.

— Трудно остаться в стороне...

— Что вы этим хотите сказать?

— Я хочу этим сказать, что надо предупредить возможную драку. Это и стараются делать русские,— неуверенно сказал Шнитке.

Гольц внимательно, чуть прищурился, посмотрел на него и неожиданно резко сказал:

— А нельзя ли нам, немцам, сделать так, чтобы не в нас стреляли, а мы — в других?

— Надо, чтоб войн не было,— говорит Эмма.

Но Гольц тут же исправляет свою фразу.

— Насколько безнадежно плох белый свет,— смеется он,— понимал еще портной, который запоздал с шитьем костюма. «Стыдитесь,— сказал ему заказчик,— господь бог создал в неделю целый мир, а вы шили один костюм целых три месяца». — «Это верно,— подтвердил портной.— Посмотрите, однако, как безукоризненна моя работа и как паршиво устроен мир».

Отто смеется. Но как скучны, вообще говоря, бесконечные разговоры об одном и том же. Слушать этих людей — плохой отдых от занятий. Философские разговоры можно еще послушать, но о чем бы люди ни начинали сейчас говорить, они приходят к политике. Скверное время! Мир вовсе не всегда был так плох, как это кажется сейчас. По крайней мере, он, Отто, знал лучшие времена.

Он высккивает на отцовских полках криминальный роман и направляется в свою комнату. Он ложится с книжкой на диван и рассматривает цветную обложку, с которой направляет на него дуло револьвера человек во фраке и с цилиндром на голове. Роман заранее представляется от этого глупым, и Отто не торопится его раскрывать. «Вот сестра тоже стала вмешиваться в политические разговоры. Замуж бы ей надо. Двадцать три года». Но вдруг Отто представляет себе, как осиротела бы их квартира,

если б сестра из нее ушла... Отца съедают годы, книги и болезнь, они останутся с Эммой вдвоем среди чужого мира. Даже раньше, когда жива была мать и у него было столько веселых товарищей, он всегда любил свою маленькую дорогую сестренку, никогда не забывал о ней в чужих странах, слал ей из Франции нежные духи, лионские чулки, сардины Кано. Он хранил на войне ее карточки, как другие берегли фотографии жен и невест, радовался ее письмам. Разве не имела бы хорошенькая и веселая девушка жениха, если бы не этот крах, не несчастье всей нации! И как невесело его сестре теперь, как гнусно вынуждена она проводить свою молодость, обслуживая погруженного в книги отца и ушедшего в занятия брата.

Глубокая нежность к сестре, смешанное чувство жалости и какого-то раскаяния охватывают вдруг Отто, к горлу подкатывает теплый комок, он чувствует, что у него начинают кривиться губы, и решительно встает тогда с дивана. Из соседних комнат не слышно голосов, сестра и отец по-прежнему в лавке. Отто подходит к шкафу, достает свой единственный парадный костюм и облачается в него, чтобы ехать куда-нибудь в другой город города Берлина. Лениво завязывает он галстук и открывает круглую желтую картонку, чтобы достать свою мягкую шляпу. Ее подарила ему мать, когда он приезжал в сорок втором в отпуск, и носит ее Отто редко. Под шляпой он видит серую, с твердыми рантами фуражку, ее черный и длинный лаковый козырек. Почему-то он вынимает и ее. Кастор позеленел от времени, чуть-чуть пригнулись края, мягкая кожа внутреннего ободка залоснилась, и на самой середине подкладки проступает бесцветное, формы большого яйца, пятно. Но орел на кокарде, которую Отто всегда тщательно прочищал, блестит по-прежнему, словно на него вчера только наведен был лоск. Отто опускает фуражку, снова кладет на нее шляпу, ставит коробку на место и медленно снимает с себя костюм. Голосов из соседних комнат все еще не слышно. Отто подходит к окну и долго смотрит на асфальт замкнутого в стены двора.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Есть потомственные горняки, есть столяры, которые, сизмалства взяв в руки рубанок, согбенными старцами обучают протравке дерева своих начинающих внучат. В Германии много стариков, всю жизнь не расстававшихся со своей профессией, преданных ей, как предан бывает матери нежный, хороший сын.

Но еще больше в стране людей, которых жизнь бросала от одного ремесла к другому, не дав зацепиться, осесть, вработаться, полюбить свое дело и отдаться ему. Эти пролетарии никогда не имели коттеджей, а с мебелью, покупаемой в рас-

срочку, расставались раньше, чем привыкали к ней. Им приходилось пробовать счастья, — верней, просто искать заработка, — и в одних концах страны, и в других, управлять баркасами кулаков-рыбников Мекленбурга, добывать бурый уголь в Саксонии, отравляться у И. Г. Фарбениндустри, слесарничать у случайных хозяев. Они были неплохими работниками, многое умели, не испытывали недостатка в прилежании, но... конъюнктура остается, как известно, конъюнктурой, а жизнь зависит от конъюнктуры.

Старый Бигль был когда-то меховщиком. Это очень распространенная в Германии профессия. Ею занято было не меньше людей, чем на заводах оптики, которой тоже славилась страна. Сотни питомников разводили черно-бурых лис, называемых в Германии серебряными, юркую коричневую норку, взыскательную нутрию, чей нежно-шелковистый мех особенно ценился на Курфюрстендамм, и сонмы кроликами, чьи шкурки искусно подгонялись и под котик и под шиншиллу. Лейпциг, город ярмарок и фабрик меха, всю эту продукцию отмачивал, мездрил, заквашивал, смягчил, дубил, окрашивал, протравлял, стриг, выколачивал, разглаживал, сушил. На Брюле и Николаусштрассе, и поныне сплошь состоящих из складов и салонов пушистых фирм, люди у огромных витрин любовались мехами всех сортов и манто разных фасонов, но делались эти вещи далеко от Брюля, на окраинах и в пригороде, на мерзких улочках, где стоит душлистый запах овчин, крови и кислот. Здесь Бигль десять часов в день бегал по моечному цеху, крутя чаны-барабаны, в которых отмачивалось сырье. Он заливал сотни ведер воды в огромные барабаны, примешивал поваренную соль, буру, серную кислоту, накладывал шкуры и крутил барабаны, переходя от одного к другому, чтобы вода в них была в движении и промывала шкуры. Это была первичная и простейшая из многих работ на меховой фабрике. Для нее не требовалось умственных усилий, а нужны были только бицепсы да безропотность, и Бигль крутил свои барабаны четыре года, пока хозяин не заменил крутильщиков электрическими моторами.

Тогда Бигль оказался на улице. Оказавшись на улице, он вступил в профсоюз. Если и было в Германии несколько союзов, громко поднимавших свой голос против хозяев, то союз меховщиков принадлежал, во всяком случае, к тишайшим. Он добивался вентиляции в дубильных цехах, перчаток против разъедающих кислот и прочих вещей, не тягостных для фабрикантов, которые ценили скромность представителей рабочего класса и быстро находили с ними общий язык. Постепенно руководители союзов обзавелись домиками, садиками, сберкнижками и стали покрикивать на своих избирателей, когда они заговаривали об удлинении отпусков, увеличении зарплаты и других вещах, не входивших в расчеты фабрикантов. Руково-

дители любили таких же тихих по нраву, какими сами они были в кабинетах хозяев. Нерешительно и подолгу стоявший у дверей, молчаливый, просяще глядевший Бигль пришлось по вкусу секретарю профсоюза и после пяти месяцев безработицы был устроен на одну из фабрик в сушильный цех.

Младшему сыну Бигля было тогда шесть лет. Он имел только одну рубашку для смены, не обладал ни велосипедиком, ни даже красным мячом. Все его имущество состояло из роты оловянных солдатиков, которыми командовал бравый капитан, но соседские мальчишки наступали на нее целыми полками при поддержке артиллерии, и надо ли объяснять, что несчастная рота претерпевала полный разгром. Сын старшего мастера имел великолепных толстых генералов, другой мальчишка пускал над полями сражений дирижабль «Цепелин», и Вилли не оставалось под конец ничего другого, как, забрав своих побитых солдатиков, бежать со двора домой. Он убегал, распаляясь недобрым чувством к богатым мальчишкам, побеждавшим его не умом и ловкостью, а превосходством материальных сил. Отец обещал ему подарить к рождеству усиление — пушку и аэроплан. Но перед рождеством отец остался без работы, и с тех пор Вилли стало известно, что безработица и безденежье — злые враги семейства, которых не может одолеть даже такой сильный мужчина, как его отец.

Вилли имел еще старшего брата — такого большого, что мать увезла его в деревню, где он должен был зарабатывать на себя сам. Старший прожил уже две таких жизни, какая лежала позади у младшего, но Вилли хорошо помнил, как Ганс плакал, уезжая из дома, и как боязливо вошел в дом, через год самовольно вернувшись назад. Ганс рассказывал, что богатый крестьянин, имевший полтора гектара моргенов земли, тридцать свиней и четырнадцать коров, держал своих батраков-мальчишек на одной картошке, только по воскресеньям давал молоко и мясо, заставлял спать в свинарнике и бил ребят за съеденные сливы, которые оптом продавал из своего сада на ликерный завод. Когда однажды Ганс осмелился сказать хозяину, что ему больше невозможно спать в грязном свинарнике, тот ответил: «Если он грязен, так чисти его получше». Родители молча слушали рассказ сына, не бранили его за побег, но и не одобрили. А младший недоумевал, почему отец собирается ложиться спать, вместо того чтобы сейчас же отправиться в деревню, избить крестьянина или пригрозить ему Иисусом Христом. Через некоторое время отцу удалось устроить Ганса учеником в красивый цех фабрики, и с той поры брат навсегда стал рабочим-меховщиком.

Сам Вилли научился не прощать обид. Больше всех на свете не любил он сына старшего мастера — своего сверстника, о котором все мальчишки квартала знали, что его ни побить, ни обидеть нельзя. Это строго наказывали матери, и ребята хоро-

шо понимали, что от соблюдения запрета зависит благополучие их семейств. Курт не задира л нос, не кичился своим отцом, были мальчишки вдесятеро вреднее его, он и не замечал преимуществ положения, в которое его молчаливо ставили, но это только разжигало неприязнь Вилли. Ребенок чувствует несправедливость острее, чем взрослый, изощренный опытом жизни. А Вилли, зная, что преимущества сверстника не заслужены, не хотел с ними примиряться.

Почему этот мальчик ходил в пиджаке, носил воротнички и самовязы, которые отец Вилли надевал только по воскресным дням? Почему имеет он в кармане маленький кожаный бумажник? Почему ходит он в кондитерскую фрау Скибинской, ест там пончики с кремом, расплачивается, как взрослый, бережно кладя сдачу в бумажник, с которого сдувает пыль? Почему фрау Скибинская, улыбаясь, благодарит его и приглашает заходить чаще, а никогда не входившему в заветную кондитерскую Вилли она грозит пальцем с порога, словно боится, что мальчик приблизится к пончикам, схватит и убежит? Почему Курт учится играть на рояле, а Вилли получил в подарок от матери только губную гармошку, стойвшую марку и ставшую негодной уже через два дня? Таких «почему» рождалось в голове мальчика множество, и он ненавидел чистенького, аккуратного, спокойного Курта, которого не смел побить.

Однажды он добился унижения Курта. В этот день сын мастера особенно раздражал его гладко прилизанными волосами, пахнущими кельнской водой, и замечательным новым ружьем, стрелявшим пробками.

— Здорово? — восхищенно спрашивал Курт мальчишек. — Замечательно, а?

В его голосе не было хвастовства, но в глазах мальчишек была зависть. Сам Вилли почти никогда не испытывал этого чувства, и его возмутило, что товарищи завидуют этому чистенькому счастливцу.

— Чем хвастаешься? — бросил он нарочито презрительно. — Купить — не фокус. Ты попробуй сделать что-нибудь сам.

Курт уловил враждебность.

— Но ведь и ты не можешь сделать такого, — сказал он, стараясь быть мягче и не желая идти на ссору. — Это же делади нюрнбергские мастера.

— Я все могу, — отпарировал Вилли, — я и побить тебя могу.

Этого объявления войны Курт не ожидал.

— За что? — спросил он, не понимая причин вражды.

— А за то, что тебя бить нельзя.

Курт посмотрел на противника с недоумением.

— Ты — сын мастера, нам тебя велено не трогать. А если б

матери нам позволяли, все бы мы тебя били, потому что ты — паршивый хвостун в костюмчике.

Курт заморгал глазами, побледнел от незаслуженной обиды, оглянулся на растерявшихся товарищей и неожиданно побежал к дому, забыв в руках мальчишек ружьецо. А Вилли в этот вечер не сразу заснул, потому что первоначальное торжество над противником сменилось сознанием собственной несправедливости. Недовольство собой лишило его маленькую душу покоя.

Вилли умел сделать лук, силок для воробьев и пищалку, умел увлечь товарищей затейливой игрой, но после открытого разрыва с Куртом ему стало не по себе. Курт ни в чем не был виноват, и в то же время кто-то виноват был в том, что именно одному только мальчишке живется особенно хорошо. Объяснить себе это мучительное противоречие Вилли не мог.

Но в восемь лет душевные муки терзают недолго. Особенно когда происходит радостное событие и мальчику вручается за отличные успехи в письме и чтении подарок от дирекции начальной школы — книга, оказавшаяся однотомником Шиллера. В ней мало что можно было понять, но все же «Разбойники» произвели неизгладимое впечатление. Вместе с Гансом он читал их дважды, потом перечитывал еще несчетное количество раз. Он воображал себя Карлом Моором, и ему снились битвы со злыми и богатыми в защиту бедных и добрых.

Приходя из школы, мальчик брал судки, в которые мать накладывала гороховый суп и картофель, и отправлялся на фабрику с обедом для Ганса и отца. Отец мог бы приходить в обеденный перерыв домой, но он всегда опасался, что не уложится в отпущенное время, и, дорожа местом, предпочитал обедать на скамеечке в заводском дворе. Ганса же попросту не отпускали домой, ибо, как объясняли отцу, его сын оказался... талантлив.

Отец работал в больших и высоких помещениях, сплошь увешанных разными шкурами. Шкуры висели на длинных шестах, протянутых от стены к стене. Шестов было много рядов по вертикали, так что одни шкуры висели над другими, заслоняя свет и делая залы полутемными. В помещениях стоял непереносимо жаркий и затхлый воздух. Бигль раздевался здесь почти догола, и, несмотря на это, по лицу и телу его целый день тек пот. Забегая иногда в это страшное место, которое мать называла не сушилкой, а парилкой, Вилли понимал, почему отец приходит домой таким изможденным, ничем уже не интересуется и обессиленно сваливается на кровать. Приток воздуха через маленький, узкий вентилятор был ничтожен, огромные calorиферы и трубы поддерживали в помещениях сорокаградусный жар, а рабочие лишь изредка осмеливались выбегать наружу, боясь зоркого ока не любившего шуток мастера. Протестовать против такой сушки, которая вместе со шкурами высушивала и находившихся в цехе людей, Бигль неуверенно позволял себе только

дома. Здесь, понижая голос, он говорил жене, что, разгороди хозяин сушильные залы, воздух во время развески можно бы освежать и люди были бы избавлены от мучительного жара. Но фабриканту невыгодны затраты, а секретарь профсоюза... ходит слух, что он покупает домик на Рюгене — этом очаровательном острове, куда люди с деньгами ездят купаться в летний сезон.

Ганс работал в красильном цехе фабрики, и мастер говорил, что из него получится толк.

Красильня — особая фабрика на фабрике, где делаются разные чудеса. Стриженная кошка выходит отсюда глянцево-морским котиком; идущий на детские шубки кролик обретает поднебесно-платиновый цвет. Из грубой вонючей овчины делается отливающая коричневым блеском бархатистая цигейка, и чем лучше мастер, тем более похожа она на нутрию.

Для окраски мехов существуют целые книги рецептов. В Лейпциге, славном не только производством пушнины, но и богатством печатной продукции, издано множество книг о том, как делать меха. Одни тома посвящены разделке мерлушки, другие трактуют о кролике, третьи — о чернобурках. Химики составили сотни таблиц разных способов окраски всевозможных шкур, предлагая готовые формулы растворов солей металлов и щелочей. Этим формулам следуют, но на деле окраска меха — не штамп, а искусство. Оно требует такого же опыта, как и чутья. По-разному надо красить хребет, голову, лапки и брюшко. По-разному надо раскрашивать шкуры одних и тех же зверей, если по-разному их окисляли. По-одному надо наносить краску, если зверь забит зимой, по-другому — если добыл его охотник весной или летом. Нужны, коротко говоря, для хорошей окраски хороший глаз, рука и смекалка. Особенно необходимы они рабочим, делающим так называемую наводку.

В большом ходу в Германии шубки из тигровых шкур для маленьких девочек. Но тигров почти не осталось и в Азии, в Лейпциге же их не было никогда. Тигр делается здесь из кроликов, на шкурки которых красильщики кладут металлический трафарет и пятнят их так же, как маляры — стенные карнизы. Эта работа сравнительно простенькая — тиграми можно за день набить целый склад. Другое дело — превратить огневку в черно-бурую, подцепить куницу и енота, придать цигейке седину бобра. Тут ни трафарет наложить нельзя, ни опустить шкуру в чан с краской. Для такой тонкой работы нужно разложить шкуру на столе и орудовать шприцами, гусиными перьями и щетками разных образцов, словом — быть художником, чутким не только к цветам, но и оттенкам.

Рабочие, которые делали такую окраску, получали добавочно тридцать пфеннигов в день, но Ганс считался учеником, и ему платили только пять марок в неделю. А способности он обнаружил большие, был быстро переведен с трафарета на навод-

ку, а через год его золотыми руками любовался весь цех. Но на парне успех отразился самым скверным образом: его держали в цехе по двенадцать часов, так как он раскрашивал образцы товаров для ярмарки.

В Германии были трудовые законы. Но были в руках богатых и козыри, сводившие любые законы на нет: безработица и партия социал-демократов. На рурских шахтах и в гамбургских доках красные образовали «советы предприятий», но на сосисочных фабриках и сахарных заводах, в бесчисленных булочных, консервных, копильнях и сыроварнях занято было больше рабочих, чем в стране докеров и горняков. А пекари и пивовары дрожали за свои места, и социал-демократы уверили их, что худой мир с хозяевами всегда лучше доброй ссоры. На домнах и мартенах Германии, где плавил чугун и сталь, рабочие были красными, но обработкой дерева на тысячах заводиков занято было больше людей, а подручные хозяев восхваляли преимущества желтого цвета перед красным... И хотя меховщики тоже получили восьмичасовой рабочий день, но... предложение рабочих рук было выше спроса на них, а секретарь профсоюза любил только тихих по нраву, и именно тихие получали подчас к рождеству овчины и заячьи шкурки.

В отличие от младшего брата, Ганс мирился со всем, не был ни заводилой, ни смельчаком. «Разбойников» он прочитал и забыл о них, а год жизни у кулака помнил ошутительно.

— Требуй полное жалованье,— сказал ему как-то младший.

Ганс удивился тому, что Вилли стал взрослым не по возрасту.

— Нельзя,— ответил он в раздумье.— Вышибут.

— Ты же способный.

— Мало ли способных! — махнул старший рукой.

В тридцатом случилось худшее из того, что могло случиться. Уже года два до того творилось что-то непонятное, и люди стали беднеть. Меха мало покупались не только в Германии, но даже иностранцами. Хозяин мрачнел, сокращал покупки сырья, потом слыл заквасочный цех с дубильным и рассчитал первых тридцать человек. Затем вместе с секретарем профсоюза он пришел к красильщикам, объявил, что работы будут вестись только четыре дня в неделю, а жалованье снижается на сорок процентов. Через полгода были уволены из разных цехов еще шестьдесят рабочих, и среди них отец Вилли.

Наступила страшная пора. В Германии было в это время три миллиона безработных, и получить заработок было так же трудно, как найти на улице кошелек. На всю жизнь остались Вилли памятными неизмеримо долгие тоскливые дни той поры, когда отец то бродил с рассвета до ночи неизвестно где, то неделями подряд лежал целые дни на кровати, ни с кем ни о чем не говоря. Пособие, которое ему выплачивали, едва равнялось заработку Ганса, получавшего гроши. Мать перестала чистить карто-

фель и только слегка соскребала с него шелуху, а мясной гороховый суп не варился даже по воскресеньям.

Потом к отцу все чаще стали приходиться люди, вместе с которыми он тщетно стучался у заводских ворот. Эти люди поднимали отца с кровати, выводили из оцепенения. Вилли внимательно слушал их разговоры.

— Мы дали маху в восемнадцатом,— говорил один.

— Действовать никогда не поздно,— замечал другой.

— Надо голосовать за красных,— бросил третий.

— Нет, надо стать красными,— следовал решительный ответ.

Отец сдружился с этими людьми, стал уходить с ними на какие-то собрания, в нем появилась бодрость. Но мать относилась к новым товарищам отца неодобрительно. Она замолкала при их появлении, а однажды заплакала и сказала просяще:

— Не сбивайте его, пожалуйста.

В другой раз мать обратилась к тому высокому, что всегда говорил о необходимости действовать:

— Пройдет время, жизнь наладится. Есть бог, есть профсоюзы...

— Фрау Бигль,— возразил высокий,— сорок процентов членов профсоюзов безработны, а двадцать работают три дня в неделю.

Вилли нравились эти люди, знавшие то, чего не знала мать, знавшие, что надо делать, когда другие ничего не делали. Он передавал эти разговоры старшему брату, когда тот приходил с работы домой.

— Мать права,— сумрачно говорил Ганс.— Кто бунтует, никогда не получит работы. Хозяева завели списки бунтарей. Я это слышал на фабрике. Не такое теперь время, чтоб бунтовать, когда жрать нечего.

— Вот потому и надо бунтовать, что жрать нечего,— ответил младший и сам был поражен тем, что сказал.

Затем случилось чудо, и в судьбе семьи произошли крупные изменения. В конце тридцать первого, когда число безработных в стране приближалось к шести миллионам, брат матери, мастер на мыловаренном заводе в Берлине, вызвал Биглей в столицу и предложил не только отцу, но и сыну работу на предприятии своего хозяина.

Это было огромным событием в те годы, но еще большим событием был для Вилли переезд в столицу, хотя и отделенную от Лейпцига всего тремя часами езды, но невиданную и трудно вообразимую.

В семье разное говорилось о могуществе мастера. Оно не подлежало сомнению — дать в тридцать первом работу мог только большой человек. Мать объясняла силу брата добротой его хозяина, отец что-то слышал о принадлежности шурина к какому-то новому движению. Так или иначе, Бигли попали в Бер-

лин, где брат снял им двухкомнатную квартирку в Пренцлауэр Берге, неподалеку от завода. Ганса оставили в Лейпциге,— парень получал профессию и был на хорошем счету. Вилли устроен был в вечернюю школу, днем учился на мыловара.

Отпрыски богатых селились на лето в Каролиненхофе. Здесь были сады, дивное озеро и леса. Неплохо дышалось и тем, кто жил в Грюневальде, название которого говорит само за себя. На улицах вилл Целлендорфа, окруженных гвоздикой и розами, грудь поднималась тоже легко. Вилли Бигль начал столичную жизнь в другом воздухе, среди иных запахов, и никто не спрашивал худого, стройного мальчика, каково ему там дышать.

Среди эфирных масел, выжатых цветоводами Франции, среди эссенций, сделанных химиками родной страны, в царстве ароматических веществ, которыми оснащались туалетные мыла, Вилли Бигль дышал углекислотой, одуряющим запахом жира битых животных, испарением щелочей и кислот.

На заводе было больше трехсот рабочих и много разных больших машин,— столько Вилли никогда не видел на меховой фабрике в Лейпциге. Маленькие куски туалетного мыла были продуктом большого труда, и труд этот требовал точности, знаний, сноровки.

Отца поставили в цех варки массы, а Вилли дядя приказал держать попеременно в каждом из цехов, чтоб он изучил мыловарение в целом. Мальчишка узнал свойства животных жиров и растительных масел, познакомился с веществами, входящими в смеси, и с операциями, которым смесь подвергается. Он знал, как варится жировая масса, расщепляемая затем в стружку, и как эта стружка сушится, перетирается и дробится на куски. И все эти операции делались машинами — такими затейливыми и умными, что мальчишка часами всматривался в их работу, стоя перед ними как зачарованный. Даже сушилки были здесь совершенно не похожи на те, которые применялись в производстве мехов,— там это были огромные, как школьные классы, комнаты, тут — машины с тысячами винтиков и колесиков, валами, гребнями и трубками. Эти машины делают другие рабочие на заводе, называемом «Трокнунгс Анлаген Гезельшафт». Они в несколько секунд охлаждают льющееся горячее мыло, выходящее из них затвердевшей лентой.

Мальчика заинтересовали машины, ему нравилась работа на них, и, пробыв несколько лет на заводе, он не только научился варить мыло, но навсегда полюбил рычаги, валы, двигатели и приводы, одновременно простые и полные тайн.

Затем произошел случай, после которого отец и сын должны были оставить завод.

Среди щелочей, применяемых для производства мыла, есть и каустическая сода. Ее привозили на мыловарню в больших металлических сосудах, которые надо было тут же опорожнять, возвращая их «Алкали-Гезельшафт» — фирме-поставщику. В

зимнее время выпускать каустик из цистерн в резервуары было делом сравнительно безопасным, так как раствор был густым. Но когда спадали холода, он становился водянисто-жидким, и надо было соблюдать большую осторожность, чтобы каустик не брызнул в лицо или на руки рабочих. Они надевали резиновые куртки и перчатки, отворачивали при сливе голову.

Десятое мая тридцать третьего года, когда произошло несчастье, было днем образования «немецкого трудового фронта», и дядя созывал в этот день рабочее собрание. Он объявил о начале новой эры в германской истории, об исчезновении классов и единстве рабочих с хозяевами, которые становились отныне «вождями предприятий» и кровными отцами подчиненных им людей.

События, происходившие в начале этого года, Вилли понимал смутно. Двадцать второго января штурмовики и эсэсовцы, о которых мальчик до этого мало слышал, устроили какое-то выступление на Бюловплатц, грозя внешним и внутренним врагам Германии и заставив заговорить о себе весь город. Через неделю Адольф Гитлер стал рейхсканцлером.

Дядя принимал эти вести с радостью, хвастался личным знакомством с каким-то Мутчманном, мечтал «выкорчевывать красную сволоочь». Отец был неуверен, мрачен, сторонился своего благодетеля и сказал как-то сыну, что красные, с которыми он знался в Лейпциге, совсем не плохие люди и во многом правы. Вилли тоже казалось так.

Затем в марте произошли выборы в рейхстаг, нацисты получили много мест и, исключив коммунистов, объявили себя абсолютным большинством.

На заводе говорили обо всем этом громко. Многие сочувствовали красным, другие голосовали за дядину партию. «Исключение коммунистов — беззаконие», — волновались одни. «Теперь на закон плюют», — отвечали другие. «Почему молчали социал-демократы? — горевали третьи. — Их же было сто двадцать, большая сила». — «Боялись под зад получить», — хохотали другие в ответ. «Теперь наш мастер свою башку совсем задерет», — опасались первые. «А ваши пригнут», — ржали приятели дяди в ответ. «Наступают дерьмовые времена», — вздыхали одни. «А для нас наилучшие», — отвечали нацисты.

Потом один за другим вздыхавшие стали куда-то исчезать, разговоры прекратились, все стало молчаливым. Вилли почувал, что теперь люди считают за лучшее держать мысли про себя.

Когда старшему мастеру доложили, что привезли каустик, он как раз готовился произнести речь, которую должны были выслушать все рабочие.

— Никого из взрослых не отрывать! Прикажите ученикам! — бросил он.

— Но, господин веркмейстер, по тарифному договору с профессиональным союзом...

— К дьяволу ваши профсоюзы! — закричал старший мастер. — Нет их больше, нет! Проваливайте и зарубите себе на носу, что вы живете в новой империи, где приказ есть приказ, и от болтовни вас отучат.

А во время собрания в зал влетели возбужденные парни.

— Скорей! Скорей! — кричали они. — Каустик! Глаза!

Двум подросткам раствор брызнул в глаза, другому обжег лицо и руки.

— Ты сволочь, — сдерживая себя, сказал старшему мастеру всегда нерешительный отец. — Тебя надо судить.

Мастер, растерянный и бледный, вдруг завизжал и бросился на отца с кулаками.

— Это ты сволочь! Красная сволочь! Я знаю, с кем ты водился. Ты б подох без меня, подох! Ты, собачий сын. Я-то хотел помочь сестре, а ты... ты...

Он задыхался от охватившей его злобы.

— Ударь его, папа, ударь! — закричал Вилли. — Как смеет он тебя... нас...

— Ах, свиненок! — заорал совсем обезумевший от всего происшедшего мастер и ударил мальчишку наотмашь по лицу. Вилли зашатался, глаза его налились кровью, и, прежде чем мастер успел отскочить, удар, нанесенный в живот, свалил его с ног.

Опять отец остался без работы, опять мать стала бережно счищать с картошки тонкий, как бумага, слой кожуры. Бесплезно затратив на поиски заработка полгода, отец, по совету случайных людей, уехал на север и после долгих мытарств устроился на рыбокопильный завод. Мать с Вилли остались в Берлине, чтобы получать жалкие переводы и безрадостные письма от отца. Он не знал нового края, чужим было для него дело, бедной — жизнь. Когда однажды к Биглям пришел человек, привезший от отца в подарок несколько фунтов копченостей, они узнали, что Бигль переводит им весь свой заработок и ночует на заводе, где и коптит рыбу, и сторожит ее...

А Вилли бродил по Берлину, бродил упорно, обходя улицу за улицей, район за районом, не пропуская ни одного места, где его могли бы нанять. Мальчишка заходил в заводские конторы, в гаражи, ремонтные мастерские, открытые цехи, в пивнушки, куда забегали рабочие, — всюду, где слышал рокот машин, видел дым, рельсовые пути или склад угля. Он говорил с насмешливыми или нетерпеливыми управляющими в безукоризненных крахмальных воротничках, с заносчивыми секретаршами господ шефов, с людьми в замасленных блузах — слесарями, токарями, подносчиками: со старыми и с безусыми, как он сам. Он слушал, смотрел и познавал.

В один из таких дней ему повезло. То ли понравились старому конторщику большие глаза паренька, то ли вызвала жалость его худоба, но только впервые за многие-многие месяцы человек выслушал Вилли, не улыбнулся, не развел руками, не

покачал отрицательно головой, а потер себе лоб, минутку подумал, потом снял телефонную трубку... и велел Вилли приходиться завтра утром в красильный цех.

Молодой Бигль оказался рабочим большого станкостроительного завода. Здесь делали сверлильные, фрезерные, токарные и прочие станки и было так много всяких цехов и рельсовых путей, что Вилли сначала даже чуточку испугался, придется ли он здесь ко двору. Но он проработал на заводе год, став неплохим красильщиком по металлу.

Время было, однако, тогда такое, что удачи долго радовать не могли. Только стали снова вариться у Биглей мясные супы, как вдруг из Мекленбурга приехал отец — ободранный, страшный на вид, уволенный из рыбокоптильни. Причин увольнения нельзя было понять. Они прояснились позже, когда летней ночью тридцать пятого у Биглей произведен был вдруг обыск. Мстил шурин!

После обыска Биглей стали сторониться соседи. Мать узнала, что блоклейтер — кварталный руководитель нацистов — в пьяном виде кричал на улице, что он «не допустит красных в своем квартале» и что Бигль — это швайнехунд, которого ожидает веревка. Тщетно старик ходил в поисках работы; всех голодавших уже всосали военные заводы, Лей в «Ангриффе» проглавлял фюрера, разом покончившего с безработицей, а для Бигля нигде не находилось места. Встревоженный, приехал в Берлин Ганс. Он стал прилично зарабатывать, подыскал себе обеспеченную невесту, но она обратилась за справками о нем в детективное бюро, и там ей сказали, что отец жениха неблагонадежный.

— Что это значит, отец? — умоляюще спрашивал бледный Ганс. — Иди в гестапо, выясни, скажи, что тебя оклеветали, дай любые обязательства, докажи чем-нибудь преданность фюреру, любыми путями сними все подозрения или ты погубишь меня, Вилли, мать...

Младший был тоже бледен. Он подошел к брату, посмотрел на него в упор:

— Обо мне не беспокойся и оставь отца в покое. Если твоя девица интересуется благонадежностью, то... она мало интересуется тобой. Отец никуда не пойдет.

Потом Вилли пригласили в заводскую контору. Там ждал его высокий рыжий парень с длинным носом и веснушчатым лицом. Он имел на плечах черные погоны с тремя звездочками, двумя поперечными полосками и буквами «Н.У.».

— Хауптгефольгшафтсфюрер Драйтц, — отрекомендовался он и тут же без обиняков резко спросил: — Как могло случиться, что вы до сих пор не входите ни в одно из товариществ? Или гитлерюгенд вам не по душе, а? — И тут же, не дожидаясь ответа, рыжий перешел на «ты»: — О чем ты думаешь, бычья

голова? Хочешь ты или не хочешь дышать германским воздухом?

Вилли вступил в гитлерюгенд. Поневоле вступил, как не мог через восемь лет не вступить в армию. Но до этого времени он приобрел новую и окончательную свою профессию.

На станкостроительном Вилли освоил разные способы окраски, овладел тонкостями работы на пескоструйных аппаратах и пульверизаторах, узнал рецептуры красок. Но душа его к этой работе не лежала, а жалованье он получал совсем маленькое. Двадцать пять марок из девяноста приходилось отдавать за квартиру, отец все еще был без работы, семья обносилась, выкраивать деньги на одежду было невозможно. Поэтому Вилли не очень долго раздумывал, когда товарищ предложил ему перейти на работу в крупную строительную фирму, соорудившую подрядным способом большие и малые заводы. Фирма набирала рабочую силу, наскоро обучала людей и предлагала большую оплату. Новичок Вилли мог уже через два месяца получать в полтора раза больше того, что давал пульверизатор или малярная кисть.

Так случилось, что ко времени ухода в армию Вилли был опытным строителем домен. Многому научился он за эти восемь лет: тесать кирпич, быстро укладывать и вязать его в разных частях печи, приготавливать растворы и бетоны, делать опалубку сводов, цементировать зазоры между кожухом и кладкой домы... всего не пересказать. Горизонтальность его кладки была такой, что ватерпас не отклонялся, а при перевязке ни один шов никогда не ложился на другой. Клад ли он горны или бетонировал заплечики,— делал он все скоро, крепко и точно. «Наш лучший огнеупорщик»,— рекомендовал его однажды мастер осматривавшей стройку комиссии, и господу снисходительно кивнули ему подбородками.

И действительно, движения Вилли были так точны и ловки, что он выкладывал за день до полуметра площади лещади, когда большинство рабочих не клало и четверти. Вилли знал, что горн и стены домы должны выдержать бешеный тысячеградусный жар, что вагонетки загружают дому тяжелой рудой и потому она требует прочности, знал, что в домне будет буйствовать и плавиться железо, и старался поэтому делать свое дело как можно лучше. «Для чего?»— вставал перед ним изредка вопрос, остававшийся без ответа. Вилли работал хорошо просто потому, что не умел работать плохо.

В сорок четвертом он спрашивал себя, не была ли его добросовестность ошибкой. Ответ найти было мучительно трудно. С одной стороны, он работал для народа, с другой... если б народ не старался так хорошо работать на войну, не было б самой войны. И все пошло прахом, а домы, выстроенные руками Вилли и его товарищей, обратились в развалины. Не строй он их для литья пушек, было бы, кажется, лучше...

Он был нужным мастером, и его держали в тылу. Огнеупорщики стали тем необходимее, что приходилось восстанавливать разрушенные мартены и домны. Но после скачка русских от Виттебска до Кенигсберга, после их приближения к Силезии стали спешно отправлять на фронт всех тыловикив, способных и даже не способных держать ружье.

— Мальчик,— протонала мать при прощании,— сохрани себя для меня... Не будь... героем...

Вилли и не собирався геройствовать.

Внутренне опустошенные потерями близких, изможденные бомбежками, непосильным трудом и голодом, потерявшие всякую веру в возможность победы, берлинцы уже шептались друг другу, что лучше ужасный конец, чем ужасы без конца. В них то брал верх страх перед русскими, которые, по уверениям Геббельса, должны были обратить в наложниц всех немецких женщин и вывезти всех немецких мужчин в Сибирь, то, наоборот, измученные страданиями, они впадали в безразличие, желая любой развязки, лишь бы она наступила скорей.

В Вилли страх не дурманил разума. Отец сказал задумчиво: «Не верю, чтоб большевики расправились с рабочим людом». Вилли тоже не верил. Слишком много Геббельс врал, слишком много. А война оказалась свинячьим делом, исход ее ясен, и пропадать ни за что ни про что могли только люди с дырой в мозгах.

— И за что тебе спасать Гитлера? — тихо говорил отец. — Что дал он нашей семье, кроме страданий? Конечно, многие рабочие обманулись. Наш Ганс, например. Но что они получили? То-то и оно.

В мыслях отца снова были теперь отголоски речей тех красных, с которыми жизнь когда-то столкнула его в Лейпциге.

Вилли думал сосредоточенно. Прибегнуть к самострелу? Перелезть? Дезертировать? Все это делают теперь многие. Одни платят жизнью, другие выигрывают ее.

Случай подсказал ему четвертое решение. Русские бомбили подходившую к фронту дивизию. Многие были убиты, многие ранены, однако глупые осколки не заделали Вилли. Но разве не может его контузить? Мысль вспыхнула молниеносно. Была не была! Если мальчишкой хватило у него решимости ударить мастера ногой в живот, то неужели не осмелится рискнуть строитель домен?

Он видел многих контуженных при бомбежках Берлина. Скопировал. Напряг волю и хитрость. Три месяца испытывали в госпиталях. Врачи то готовы были отдать на расстрел симулянта, то впадали в сомнение, сбитые его стойкостью. Его жизнь в лазаретах так же висела на волоске, как солдатская на фронте. Он это понял, и следы «контузии» стали постепенно слабеть. Русские были уже близко.

Потом большевики обошли городок, в котором «лечился» Вилли. Наскоро сколачивался фольксштурм.

— Ослы! — говорил Вилли инвалидам и старикам, среди которых оказался. — Разбегайтесь по домам, улепетывайте, уползайте.

— Подстрелят! — дрожали старики.

— А уж русские-то в бою подстрелят наверняка! — заверял Вилли и рассовывал по карманам листовки, сброшенные с русского самолета.

Городок стал тылом. Фольксштурм рассеялся, сгинул, пропал. Вилли тоже исчез. Какая-то случайная группа эсэсовцев достреливала последние патроны за городом, для которого кончилась война. И вдруг неожиданно налетели американские «летающие крепости», налетели эскадрильями, одна за другой, и за два часа превратили город в нагромождение битого кирпича. К вечеру на этих руинах появились русские.

Вилли вошел в исчезнувший город с толпой возвращавшихся беженцев. Комендант встретил их прямо на улице.

— Я вызвал саперов, — сказал он. — Что сможем — починим. Детей, во всяком случае, быстро разместим.

— Я тоже строитель, — выступил из толпы Вилли. — Я подбираю местных людей.

— Действуй! — сказал комендант, обращаясь на «ты», и глаза его весело сверкнули. — Конечно, надо действовать вместе. Иначе жизнь не наладить.

От простоты и ясности этих слов блеснула тогда радость и в глазах Вилли.

Так впервые встретился он с русскими, чтобы отныне всегда находить с ними общий язык.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Биографии молодого Бигля Эмма совсем не знала. Она слышала лишь, что его семья в свое время слыла красной. Работа Бигля в молодежном комитете была для нее новостью. Он пришел к ней в воскресный день и сказал, что бургомистр упрекнул его в невнимании к Эмме.

— Многих девушек, тянущихся к живому делу, — сказал он, — молодежная организация еще не охватила.

Эмме слово «охват» не понравилось. Оно было одним из тех, что вошло в обращение после войны. «До сих пор, — подтрунивал отец, — человек охватывал понятия, а Социалистическая единая хочет делать это с живыми людьми». Но внимание бургомистра к ней было приятно Эмме. Он даже не посчитался с тем, что она тогда на собрании фактически выступила против коммунистов.

У Фельдмайеров сидели в это время Вильвицкий и прия-

тельница Эммы Мария Ширлингер, предложившая отправиться повеселиться в Шпандау. Бигль согласился принять участие в компании, и воскресный вечер сложился необыкновенно хорошо.

Из подземки они вышли возле большого кинематографа, где демонстрировался фильм о «Вальдорф-Астории», лучшем отеле Нью-Йорка и мира. Ах, какая тут роскошь, какое великолепие! Сорок семь этажей, и внутренность каждого из них переносит зрителей в другой мир, мир необычайной элегантности, сказочного комфорта. В отеле останавливаются короли, дипломаты, кинозвезды... Вот откликается на телефонный звонок служащий отеля, который сам похож на министра.

— Вы хотели бы поговорить с его величеством? С которым, осмеюсь спросить? У нас их несколько.

Вот кинозвезда, занимающая шестикомнатный номер. Какая же роскошь в каждом из апартаментов! Звезда милостиво согласна принять репортеров. В вестибюле зажигаются особые огни, и сотни мужчин с фотоаппаратами и блокнотами бросаются в лифты...

— Вот это жизнь! — шепчет Мария Ширлингер.

...Кто-то открывает изнутри стенной шкаф, и перед зрителями предстает красавец мужчина в безукоризненном черном смокинге. Он оглядывается в полуосвещенной комнате, где спит затерянная в шелках и кружевах постели женщина, прыскает из пульверизатора на ее лицо, быстро отмыкает незаметный сейф в стенке у изголовья и лихорадочно, поспешно вынимает из него серьги, броши, кольца, колье... Это знаменитый похититель бриллиантов, герой процесса, о котором полгода писали газеты, чьи фотографии покупали девушки, а его автографы перепродавались по таким ценам, словно сами они были бриллиантами. Он увеличил славу «Вальдорф-Астории» не меньше, чем изящный европейский граф, спешащий сейчас на лифте-экспрессе к дочери консервного короля; она готова оплатить адюльтер огромным чеком, ибо никогда еще не бывала в объятиях титулованного...

Эмма чувствует легкое омерзение, но оно сменяется живым любопытством, когда в ресторане отеля сервируется ужин на три тысячи персон. Он заказан только что, должен быть готов через полчаса, но это не повергает хозяев в ужас. В кабинетах стенографисткам диктуются распоряжения, приходит в движение армия поваров и электриков, и вот уже десятки официантов тащат устриц, тысячи куриных груденок, потом кексы, бомбы из мороженого, ягоды, крабовый коктейль... Стон вырывается у Марии Ширлингер, Бигль вытаскивает из кармана тоненькие ломтики черного хлеба, Эмма достает из сумочки дядины огурцы, и, словно это было сигналом, сразу приходят в движение челюсти соседей.

— Негодяи! — говорит по выходе из зала Бигль.

— Это прекрасно! — вздыхает Мария.

— Реклама отеля, — коротко объясняет Вильвицкий.

— Зачем рекламировать его нам? Мы же никогда не снимем в этом отеле комнаты, — замечает Отто.

— Нет, это реклама Америки вообще, проще говоря — пропаганда, — бросает Бигль.

Эмма берет его под руку.

— Во всяком случае, пропаганда, милый мой, которая сервируется не хуже, чем столы этого ресторана. Тут было что посмотреть.

— Какие платья! Какая публика! — не может прийти в себя Мария.

— Вот-вот, — подхватывает Бигль. — Янки показывают нам, сколько у них материй и жратвы. Но в рабочей квартире или у негров...

— Пожалуйста, оставь своих негров, — перебивает Эмма, — надоело! Вся коммунистическая пропаганда против Америки кричит о неграх. В конце концов, их, кажется, одиннадцать миллионов, а шума вокруг них столько, словно это основная раса на земле.

Вильвицкий смотрит на Эмму с укором.

— Несправедливость к одному человеку — и та печальна, — отвечает он ей, стараясь говорить тише, — а одиннадцать миллионов... о них нельзя не кричать. Мириться тут нельзя. В этом коммунисты правы...

— Ты рассуждаешь, как фашистка, — резко замечает Бигль.

— Не говори чепухи, — бросает ему Эмма, но краска залила ей лицо, ей стыдно, и вечер кажется испорченным.

На помощь приходит, однако, Мария:

— Не ссорьтесь, пожалуйста, не ссорьтесь. Мы условились веселиться. Марш на джаз!

— И что вы за люди? — кривится Отто. — Даже в воскресный день не можете без политики.

К общему удовольствию, в танцзале политика быстро вылетает из головы. Эмма отдыхает, слушая джаз. А здесь оркестр особенно хорош. Каждый из его участников старается заглушить другого, а это Эмма очень любит. В такой манере игры — душа джаза, если хотите знать. Молодой белесый дирижер с бесцветным и вытянутым лицом, похожий на голландца, внешне непривлекателен, но исключительно музыкален и направляет игру необычным, очень своеобразным путем — у него нет палочки, он дирижирует напевом.

— Мы будем сегодня веселиться больше, чем вы ожидаете, — объявляет Мария и демонстрирует друзьям туалетное мыло. У нее в сумочке оказывается целых шесть кусков. Официанта, который приносит им обычное безалкогольное пиво, она отсылает обратно, направляется за стойку к хозяину бара, тайно шепчется с ним, после чего тот же кельнер ставит им на стол настоящее ячменное пиво, то, что держат в барах для аме-

риканских победителей, и — «ура-ура-ура» — по большому бокалу водки.

Они выпивают ее сразу, и Эмма долго танцует потом с Вильвицким фокстрот; его лицо кажется ей нежным и милым, и они сталкиваются с другими танцующими, отчего делается еще веселей. Чудное мюнхенское давно не питое пиво, которое они опрокидывают в себя в перерывах между танцами, поддерживает в них возбуждение. Мария подкрепляется еще чем-то, бегая к хозяину за стойку. Потом девушки отплясывают вдвоем, затем Эмма пытается обучать Бигля танго, от чего он отказывается, снова танцует с Вильвицким, любитесь на какую-то пару, отплясывающую чарльстон, наблюдает вокруг себя десятки таких же раскрасневшихся лиц, каким видит в стенном зеркале собственное, понимает, что Мария сидит у Отто на коленях, положив голову на его плечо...

— Мне нехорошо, — говорит вдруг побледневший Вильвицкий.

Эмма видит, как он, шатаясь, выходит из зала. У нее тоже тяжелеют ноги, она уже не встает из-за столика и смотрит, как целует Мария шею Отто...

Она помнит еще, что Бигль высказал предположение, будто Вильвицкий почувствовал себя дурно, так какпил на голодный желудок, помнит, что сам Бигль с гримасой озирался вокруг и сосредоточенно глотал сельтерскую воду, а затем возвратился Вильвицкий, и почти одновременно с ним подошел официант и сказал, что уже очень поздно и танцзал закрывается. Помнила Эмма еще, что Отто с Марией не успели попасть в тот же вагон подземки, куда села она с Биглем и Вильвицким, а когда Эмма хотела дожидаться брата при выходе, ей почему-то отсоветовали делать это. Ложась спать, Эмма говорила себе, что воскресенье проведено на редкость хорошо, и спала затем так крепко, что не слышала, когда возвратился брат.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Нехорошо живет Мария Ширлингер. Не нравится Эмме ни профессия подруги, ни ее вид. Такая худая, что впадины у ключиц не могут быть скрыты платьем; носит ее с утра до позднего вечера по городу, а затем помогает матери перелицовывать, подновлять и перекраивать шляпы, за что дочери столяров и селедочников платят по четыре марки и платит больше не могут, ибо самые шляпы этих марок не стоят. Иной раз клиентка хочет не перекраивать, а приобрести новую шляпу, но, оглядевшись в мастерской у Ширлингер, где торчит на болванках всего-то с десятков неказистых головных уборов, дама обещает подумать, зайти в другой раз и, конечно, больше не появляется. Поэтому матери приходится мудрить над тем, как из ни-

чего делать нечто, вытягивать и перетягивать фетр, маскировать полинялые места перьями и лентами, снимать поля или, наоборот, придумывать их, налеплять бантики, нашивать кожу, красить материал. Как ни плохи дела у селедочниц, не могут они опуститься до того, чтобы не подновить к сезону шляпки, и хочется им, чтоб подновленные не были похожи на старые, и еще хочется, чтоб не напоминали они таких же подновленных шляп у соседок. Сидит поэтому мать Марии за работой весь день, на отсутствие заказов не может жаловаться, но и масла на черном рынке не в состоянии купить.

А Мария без масла вянет. Ей кажется, что она блекнет от отсутствия развлечений, к которым всегда стремится страстно, ради которых готова не ложиться спать, но Эмма знает, что развлечения еще больше убивают подругу... Встает Мария в семь и длинными путями едет в Целлендорф, едет целый час, чтобы затем в течение восьми часов облагораживать ногти женщинам в парикмахерской, где она служит. Затем Мария складывает ножницы и напильники в белый шкафчик, берет футляр со стеклянными электродами и отправляется в целлендорфские квартиры массировать животы и разглаживать морщины. Сеанс массажа стоит пять марок, из них три с половиной идут владельцу парикмахерской, который посылает Марию работать по домам, и лишь полторы ей. Но Мария готова и даром утюжить дряблые или разбухшие животы богатых женщин, лишь бы вдыхать воздух их квартир. Этой второй половины своего рабочего дня она дожидается с нетерпением.

Когда из советского сектора углубляешься в американский, проникаешься впечатлениями другого мира. Пусть Эмма считает этот мир несправедливо богатым и злым, но он чарует Марию и манит ее. Что бы ни говорила Социалистическая единая о будущем, строй жизни богатых остался тут прежним, и все здесь говорит Марии о том, что ничего еще в судьбе Германии не решено.

Уже то обстоятельство, что улицы тут по-прежнему называются именами, которые Мария знает лишь из уроков истории в школе, говорит о том, что за прошлое здесь держатся цепко. Мольткештрассе, Гогенцоллернштрассе, Компьенштрассе, Гнейзенауштрассе — как необычно звучит это сегодня для человека с Пренцлауэр Берга, необычно и знаменательно. А на табличках парадных дверей этих улиц побед, императоров и полководцев владельцы квартир обозначены волнующими воображение бедной девушки титулами: «Госпожа супруга тайного советника Теккерманн», «Госпожа супруга полковника фон Эльмандорф», «Господин управляющий Блост-заводами».

Мария не решается входить в эти подъезды, ибо другие надписи, — пусть старые, но сохранившие полировку и выразительность, — предлагают поставщикам и посыльным пользоваться задними дверьми. Она входит в дома через эти другие двери вме-

сте с сыновьями булочников, которые сегодня доставляют господам супругам хлеб на кухни по карточкам. как доставляли его прежде без карточек.

Мария ощущает свое превосходство над всеми входящими в такие дома черным ходом. Ее не оставляют в передней. Она видит огромные портреты императоров и предков в одних домах, панорамы заводов — в других. Она прочитала похвальную грамоту в золоченой раме, данную Фридрихом прадедушке господина полковника фон Эльмансдорф, и диплом в дубовой раме, полученный на ярмарке в Софии господином Эмденбахом. Она тоже почтительна в наименовании супруг, но осведомленность в несовершенстве их животов дает ей преимущества перед мальчиками из булочных. Она наслаждается просторами анфилад, турецкими коврами, в которых бесшумно утопает нога, богатством картин, стеклянной дверью, которая ведет прямо из спальни в царство бегоний и роз, всем спокойным великолепием и великолепным спокойствием этой жизни. Она не чувствует усталости, по часу глядя своими тонкими пальцами кожу животов стареющих женщин, водя по их чреслам стеклянными утюгами, штукатуря их гипсом, омывая шестью составами... «Я бы возненавидела этих баб», — говорит ей Эмма. А Мария снисходительна к этим животам, дающим ей возможность видеть тонкое белье постелей и вдыхать запах «Вечера Парижа». Ей кажется, что во второй половине дня она отдыхает от первой.

Добирается Мария домой в одиннадцать вечера, пьет суррогат кофе и съедает картофельную котлету или кашницу, возится час-два с материнскими шляпами и вдруг никнет над ними. Не сон, а именно слабость одолевает ее, когда она отрывается от шляп. А потом день начинается сызнова...

Но бывают у Марии и другие вечера, когда не спускается она, выходя из богатых квартир, в подzemку, а идет в район баров и кинематографов, туда, где развлекаются с немецкими девушками американские солдаты. Плечи ее узки, руки такие, о которых говорят, что они прозрачны; но волосы светлы и мягки, нос тонок, губы влажны и готовы раскрыться, а серые большие глаза не могут не остановить на себе взгляда сержантов. Подарки, которые получает Мария от этих парней за свою любовь, — это обычно шоколад, мыло или сигареты «Честерфильд», милые мелочи, принимаемые ею не как плата, а в благодарность, и они никогда не служили для нее ни целью, ни поводом последующих раздумий. Почему в самом деле отказываться от сигарет, которых у солдат много и которые помогают Марии глушить подступающий среди дня голод? Сигареты — ерунда...

Страсть Марии бескорытна, глаза прекрасны, мысли не тягостны. Кто знает, может быть, найдется среди этих парней и такой, который захочет всегда погружать свое лицо в ее волосы, избавит от парикмахерской, увезет в волшебную Америку, где люди живут, как в фильмах, как госпожа Эмденбах?.. Ведь

садится же в Гамбурге на пароходы немало счастливиц, и газеты сообщали, что треть всех разводов происходит в Америке из-за того, что солдаты привозят из Европы девушек, у которых светлые волосы и серы глаза.

«Американцы развратили немецких женщин!» — говорят многие. Но Марии кажется, что это ерунда. Наоборот, эти веселые и бездумные парни помогают немецким девушкам забываться в тяжелое время, дают им чулки и шоколад, фильмы и баночки с ананасным соком, крекеры и утехи любви.

Эмма давно устала спорить с подругой.

— Мы живем только раз, — отвечает ей Мария и повторяет эту фразу в ответ на все доводы.

— Но именно поэтому следует жить разумно.

— Или скучно, хочешь ты сказать.

Эмма теряет ся.

— Ты сгоришь, как мотылек, — прибегает она к последнему доводу.

— Сгорят все. Пусть хоть будет сознание, что я пожила.

— Это ты называешь жизнью?

— Может быть, ты считаешь лучшей свою?

— Что отвечать? Отец называет такие споры порочным кругом. Эмма сама не знает, как надо, в конце концов, жить. Но вдруг она почему-то говорит с уверенностью:

— Когда хочешь жить только для себя, не получится жизни и для себя.

— Этому ты выучилась за месяц в своем комитете?

Эмма смущается. При чем тут комитет? Она была несколько раз, по приглашению Бигля, в молодежном клубе Социалистической единой партии, но мало что поняла. Ей говорили там: «Почитай Маркса», «Посмотри у Энгельса», «Об этом сказано у Ленина». Первый раз ей было любопытно, а потом показалось однообразно. И все-таки вопрос Марии бросает ее в краску. Она не читала, конечно, ни Маркса, ни брошюр Гротевоя, но не в эти ли немногие посещения поняла она то, что сейчас сказала?

— Послушай, Мария, — говорит она подруге, — неужели ты не понимаешь, что среди американцев мало фордов, что прекрасные рыцари часто встречаются в сказках, но редко в барах, а в вилле, как у Эмденбах, ты никогда не будешь жить? Зачем ты тратишь свое время на массаж чужих животов, бередишь душу бесплодными мечтами?

— Что же мне, по-твоему, делать?

Да, что? Эмма и себе не может ответить на этот вопрос.

— Искать мужа? — продолжает Мария. — О, я очень люблю детей. Но где мне, скажи, пожалуйста, советчица, найти его? Твой брат на мне не женится, да ему и нечем меня кормить. Разве ты не читала тридцать раз в газетах, что немцев в возрасте от двадцати до сорока лет насчитывается теперь только четыре миллиона? Разве не прожужжало тебе радио уши о мил-

лионе вдов? Но ведь эти вдовы — мои с тобой конкурентки. Наши мужчины ценят себя сейчас на вес золота. Но пусть, пусть этих немецких женихов все-таки больше, чем американских рыцарей. Что мне им предложить? Или ты не знаешь, что у меня нет загородного дома? Может быть, тебе не известно, что моя мать нигде не спрятала бриллианты? У меня нет в приданое не только столового серебра, но и пяти килограммов фасоли, чтобы прокормить мужа в первые дни. О чем ты говоришь? Кто берedit душу — я или ты?

Глаза Марии наполняются слезами, и Эмма, как всегда, раскаивается, что начала этот ненужный разговор.

— Марихен, Марихен, — обнимает она плечи подруги с жалостью, — у тебя будет жених и без серебряных ложек. Ты встретишь его, он сам найдет тебя. За такие глаза, как твои, нельзя не полюбить. Твои цифры — это глупая статистика, и ты сама знаешь, сколько парней целуются с девушками вечером на бульварах, сколько девушек находят свое счастье и без загородных домов. Я расстроила тебя, моя девочка, я — глупая, глупая, и ты не слушай меня.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«Наилучшее дерево в божьем мире — сосна, наилучшая из стран — Германия, наилучший край ее — Бавария, а самый лучший уголок края — тот, в котором живем мы».

Гольц с детства привык к этой формуле. Он улыбается, вспоминая ее, но в глубине души считает ее правильной. Пусть Бавария — совсем маленький уголок земли, но кто здесь родился и пожил, знает, как тут уютно. Жизнь вне Баварии кажется такому человеку устроенной легкомысленно.

На свете много интересного, затейливого, подчас даже и поучительного, но действительно по-людски живут все-таки только в Баварии. Спору нет, электрическую дойку коров выдумали не баварцы, и они вовсе не утверждают, что у выдумщиков, живущих в других землях, нельзя почерпнуть ничего полезного. Но не надо забывать, что это все-таки ветреные головы. Для повышения жирности молока они ничего не сделали.

В Баварии живут добротнo, солидно, с верой в бога, в бычай, в верность жен и плодovitость сливовых деревьев. Разве это случайность, что тут почти нет яловых коров? Разве это случайность, что лошади здесь огромны и тяжелы, как слоны? Прежде чем привыкнет глаз у покинувшего свой край баварца, кони в других местах кажутся ему милыми цирковыми пони. Настоящих животных видишь снова, когда возвращаешься домой. А фуры, в которые эти лошади запряжены! По сравнению с тележками мекленбургских или тюрингских крестьян — это цистерны, вагоны, танки. Когда такая фура на резиновом ходу,

наполненная мешками с зерном, величаво плывет за двумя битюгами-гигантами и они выбрасывают вперед похожие на глыбы мохнатые ноги, то она одна представляется целой процессией. Подобно этим повозкам, объемны, тяжелы и солидны все вещи в Баварии. Только здесь можно увидеть домашние столики из камня, только в здешний деревянный сундук, предназначенный для уборки на лето зимней одежды, можно уложить все домашнее имущество и весь товар среднего берлинского лавочника.

Величина баварских вещей связана с внешним видом баварцев. Их грудные клетки шире, чем у саксонцев, мужские руки, особенно от плеча до локтевого сгиба, жирны, как ляжки пруссачек.

Есть в Баварии и худые. Некоторые даже утверждают, что их большинство. Но худые не бросаются в глаза, не делают погоды. Фуры принадлежат толстым. Жизнь определяют толстые. И равнение идет на толстых.

Толстым хочет стать каждый худой. Имеющий восемь коров мечтает о двадцати. И чем больше у человека коров, чем ниже свисает к земле их вымя, тем откормленней, спокойней и степенней он сам, тем большее внушает к себе уважение.

Богатый — это также значит в Баварии хороший и умный. Хороший, ибо, будь человек плохим, его деньги и земли не доходили бы до небес; умный, ибо, будь он глупцом, не имел бы много земли и скота.

Глупый — это тот, у кого стойла пусты; умный — это тот, у кого каждый день именины. О таком говорят, что он далеко плюет. Умный — это удачник, а у удачника, как выражаются в Баварии, и быки телятся.

Жизненная мудрость, по мнению баварцев, дается не книгами. Этажерки с книгами в пропыленных переплетах, носящих следы золотого тиснения, у баварцев есть. Они такая же принадлежность многих домов, как старинные шкафы барокко, где сложен истлевающий хлам. На книжные полки, как и в эти шкафы, никто не заглядывает. Время от времени с них смахивают пыль, как стирается она со столь же непременных гипсовых фигур. Эти ненужные книги ни в одной семье, однако, не выбросят. Хозяев даже удивило бы такое предложение. Ведь кушать книги не просят, стоят себе спокойно, как стояли при дедушке, никому они не мешают, зачем же их выбрасывать? Это было бы тем более нелепо, что в некоторых книгах имеются портреты королей и их разглядывают от скуки дети. Правда, последние тоже предпочитают иные развлечения, например, шарманку или сосиски. Каждую деревню несколько раз на неделе обходят шарманщики и часами вымучивают из своих ящиков заунывные звуки. Это те самые мелодии, которыми заслушивались отцы, будучи детьми, и которые, дай бог, будут по-прежнему слушать дети, когда станут отцами. И сосиски — извечная еда, дающая почувствовать глубокий смысл жизни, — они, честное слово, более

стоящее развлечение, чем нынешние книжки, которые берут в библиотеках голодранцы, лишенные настоящих утех. Сосиски напрокат не получишь! Чтобы иметь их, надо заниматься не книжками, а свиноводством, то есть жить с умом.

Всякий, кто много читает и говорит книжным языком, вызывает в Баварии насмешки — не добродушный смех, а злые издевки. Здесь не любят тех, кто не знает местного диалекта, занимается высокими материями и не обладает аппетитом или деньгами, чтобы съесть за раз пяток отбивных, запив их таким же количеством вместительных кружек доброго баварского пива. Такие умники из приезжих или местных недоумков — обычно враги бога и его наместника на земле, враги собственности, враги порядка, для которых нет ничего святого.

Будьте спокойны! Как ни старались бы эти умники мутить головы, «настоящие» баварцы никогда не выберут их бургомистрами и не пошлют в мюнхенский ландтаг. Руководителями сел, шеффенами в судах, выборными в местный парламент были, есть и будут толстые и степенные, причем именно те толстые и степенные, у которых избирались на эти посты отцы и деды. Эти не будут вносить коммунистические законопроекты, вроде предложения о запрещении сечь детей. Эти покажут, если надо будет, что и в наше время можно легко отрубить вредные головы топором. И головы полетят еще — пусть только попробуют голодранцы перейти от болтовни к делу и начать кроить землю, как они это проделали в Саксонии.

Гольц вспоминает свой прошлогодний приезд к отцу и месячное пребывание в родной деревне. Он по-прежнему увидел бюсты Фридриха и Вильгельма на каминах. Словно ничего не произошло, собирались вечерами в пивной владелец лесопилки, владелец маслобойни, господин аптекарь, господин медицинский советник, господин директор школы, не похудевшие и не потерявшие степенности богатые крестьяне — весь почетный круг местечка — и говорили между пивом и картами о внебаварском мире, как разговаривали о нем и десять лет назад.

— И как это живут американцы в своих небоскребах? — усмехался дядя Карл. — Вместо того чтобы войти к себе в дом, они едут на сороковой этаж.

— Едут, — подтверждал сосед.

— Наверху — разреженный воздух, и жизнь там вредна для здоровья, — замечал господин медицинский советник.

— А интересно, святой престол никогда не высказывался о том, в каких домах людям следует жить?

— Его святейство жывал, как вы знаете, в Германии и изволил заметить однажды, что богоугодны в этой стране именно баварские дома. В них — уважение к богу и старине, в то время как лютеранские...

— Ну, американцы тоже не меньшие безбожники.

— Но они сейчас оплот господа в борьбе с безбожием!

— Однако Рузвельт был баптистом.
— Господь, слава ему, прибрал Рузвельта.
— Когда у нас в Баварии будет собственный президент...
— А зачем нам президент? Принца Рупрехта надо.
— Да, он опирался бы на серьезных людей.
— При нем пшеница не отбиралась бы.
— И нас не заставляли бы селить у себя этих проклятых беженцев.

— А знаете ли, мне один беженец рассказывал, что он сеял у себя в Силезии новый фрукт — помесь вишни с грушей, и это пришло в Силезию от большевиков.

— Боюсь данайцев, дары приносящих, — вставлял господин директор школы.

— Очень правильно, господин директор. В нашу страну столько занесено вредных людей и идей...

— Забором бы Баварию отделить, забором! — зло бросал владелец лесопилки.

Гольц рассчитывал, что его, представителя столичной прессы, заглядывающего подчас за кулисы большой политики, встретят на родине с особым интересом, будут засыпать вопросами. Он ошибся.

— Ну, как там у вас? — усмехаясь, спросил дядя Карл. — Речей по-прежнему много, а масла мало? — И, не дожидаясь ответа, спросил с более живым любопытством: — Ты случайно не знаешь ли точных цен на берлинском черном рынке?

Даже директор школы, член королевской партии, специально ездивший в Мюнхен произносить горячую речь в защиту школьного регламента, не задал Гольцу, своему бывшему питомцу, ни одного вопроса, а, напив пивом, коротко заметил:

— Неужели тебе не надоело путаться в этих редакциях? У отца — тридцать коров, дом — полная чаша, а ты возишься с чужими делами и стал похож на скелет. Возвратился бы сюда.

И после первых же дней пребывания дома, после яичниц на сале, сосисок, шницелей и пышек в сметане Гольцу действительно стало казаться, что тот большой сумбурный мир, в котором он находился последние годы, — не настоящий, что реально и разумно лишь тут, в Ханхофе, в двадцати километрах от Фюрта и в тридцати от Нюрнберга. Высокий и сухой английский офицер, дающий директивы по пропаганде, полемика берлинских газет, дебаты о будущем Германии, конгрессы, доклады, радиоперехваты, руины Берлина и шум Пикадилли — все показалось ему далеким и совсем ненужным. События и люди этого огромного мира потускнели, стали подобны восковому царству лондонского музея Тиссо, и волнения их представились совершенно никчемными.

«Может быть, я умственно разлился от сытости, разомлел? — спрашивал себя Гольц, но тут же отвергал свое опасение. — Нет, сытый желудок — подсказчик верных мыслей. Неверно предпо-

лагать, что внебаварский мир умнее и лучше, ибо он больше. Он велик, но психопатичен. Не мешало бы, чтобы все думали по-баварски просто. И зачем вообще людям думать по-разному? Злоба баварцев против попыток изменить их жизнь понятна. Не следует бояться слов, пусть называется это обскурантизмом, но надо рубить головы тем немцам, которые стремятся к переустройству Баварии. Конечно, Шумахеры не страшны, но настоящий враг... Да, в этом случае нельзя будет щадить и германской крови».

Гольц с удовольствием обходил с отцом конюшни, коровники, птичник, радовался приплоду, гладил телят, внимательно выслушивал рассказы старика о том, как набирают в весе поросята, как удалось скрыть от властей и пустить на корм шестьдесят мешков пшеницы. Он говорил себе во время этих обходов, что его отец, копя свое добро, больше делает для Германии, чем все политические деятели. Он поймал себя на злорадном желании: пусть бы задушил в Германии голод несколько миллионов человек, и тогда люди перестали бы кричать о новых путях для Германии, поняли бы, что спасение — на старых путях, в руках этих стариков, разводящих свиней на собственной, непоколебимо собственной земле.

«Да, третья империя рухнула», — думал Гольц, но по-прежнему считал «богатый наследственный двор» основой основ. На неделимом и крепком крестьянском дворе, уничтожая безумцев, надо воссоздавать Германию. Да, да, культ свиньи нужен, а не культ критически мыслящей личности. От свиньи — сало и мясо, от ораторов же нет и щетины. Свинья, возведенная на пьедестал, свинья — символ, свинья на гранитном памятнике небоскребной высоты, попирающая рылом очкастую конституционную комиссию, — вот что нужно Германии, и пусть уаюлюкает по этому поводу хоть весь так называемый цивилизованный мир. В таких мыслях укрепился Гольц.

К концу пребывания в деревне жизнь в ней показалась Гольцу немного скучной и рассуждения ханхофцев о политике уже не умиляли мудрой простотой, а отдавали невежеством и страшным эгоизмом. Но и в этом он упрекнул не сородичей, а себя, которого судьба забросила в другой мир, дала многое узнать и изошрла в суждениях.

Гольц не считал себя фанатиком «баваризма». Молиться он перестал давно, не верил ни в бога, ни в сатану и вспоминал о католицизме, лишь заполняя анкеты для англичан, которым нужны были свидетельства его благонадежности и благоприличия. К королевской партии он относился иронически, считая всех монархов бездельниками и ненужным обременением для кошелька государств. Стиль модерн он во всем предпочитал барокко и готике, так как ценил ясность линий. Он прекрасно видел рутину «чистого баваризма» и готов был, если в Берлине это приходилось к слову, насмешливо рассказывать о причудах сородичей.

И тем не менее он предпочитал эти слабости той разрушительной силе, которая овладела умами саксонцев.

Западной демократии Гольц никогда не принимал всерьез. Бессодержательность формул о «фратернитэ, эгалитэ и либертэ» он понял в Париже, где одни жили в роскоши, а другие выпрашивали морковь у базарных торговков. Лицемерие этих формул он познал во время войны в Брюсселе, где редакции армейской нацистской газеты отведен был роскошный дом бежавшего социалистического министра. Министерский лакей рассказывал Гольцу о письмах голодавших просителей, которые хозяин пачками сжигал в электропечи. Никчемность формул доказывалась, наконец, тремя годами сотрудничества с английским офицером по пропаганде. О, Гольц хорошо знал цену тому, что в западных странах пишут и говорят! Сочинитель фраз, он не придавал никакого значения и чужим фразам.

Гольцу легко давались его статьи о западной демократии, идеологов которой он в душе презирал. Ему нравился «бава-ризм» ряда англичан, глубоко безразличных к судьбам стран и людей за пределами своего острова, ценивших больше всего на свете собственный дом, дворик, сад и цветочный ящик. Чем-то родным отзывалась в его душе и кичливость родовитых британцев давностью их нации, которая сложилась-де во времена, когда другие народы состояли только еще из племени или обломков римской империи. Необщительность этих англичан с чужеземцами тоже напоминала ему сородичей и была по вкусу.

Гольц знал руководителей лейбористской партии, их страхи, их надежды на заатлантическую страну. Он знал, что они не были социалистами, и раздражался их теорией третьего пути. Познакомившись в Лондоне с биографом министра иностранных дел Тревором Стефаном, Гольц узнал от него, что нынешний министр и бывший лидер профсоюзов стоит за увеличение предпринимательских прибылей. «Это было черным по белому написано в моей рукописи,— сказал Стефан,— я дал ее читать герою своего романа, и она не вызвала у него возражений». Для чего же они тогда балансируют на веревочке, не понимая, что увеличивают бездну, в которую грозит провалиться мир? Не третий путь нужен, а штурм, не игра фразами, а рубка голов!

Гольц не был верующим, но слово «дьявол» осталось в его языке. Дьяволом он называл дух революции. И вот дух революции грозил ста двадцати гектарам его отца, постепенно овладевал умами немцев, отнимал у него надежды на личную жизнь: от него отвернулась Эмма, отвергавшая теперь всякий намек на сближение. Гольц мало интересовался ею, пока она не оттолкнула его. Уязвленное самолюбие пробудило повышенный интерес к ней.

Он разглядел тогда чуть раскосые, восточного типа, глаза, умевшие смотреть внимательно и оценивающе, высокий лоб, замечательно нежную кожу лица, густые светлые волосы. Разглядел

то, чего не увидел за месяц близости. Он открыл далее, что Эмму вовсе не поразили его профессия журналиста и специальное военное звание. Она говорила то, что думала, а думала далеко не всегда так, как писал Гольц в газете. Она первая и без обиняков заявила ему после летнего русского наступления в Белоруссии, что война проиграна. Когда он, испугавшись и возмущившись, закрыл ей рот рукой, она спокойно отвела его руку. Еще раньше, прочитав статью Геббельса против неверия в победу, где говорилось, что разрушенные дома можно отстроить, а разрушенные сердца — никогда, она назвала это красивой бессодержательной фразой.

— Беда немцев как раз в том, что мы бездумно верили.

А о возвратившемся брате она сказала, что на его месте страдала бы двойной душевной мукой, ибо ни один воевавший немец не знает теперь о себе — был ли он солдат или убийца.

Гольца поразила простота, с которой бросила Эмма свою деятельность, заявив, что не может делать то, во что уже не верит.

Под влиянием этой прямоты и внутренней честности отвергнутый любовник понял, что единственный способ утвердить свою мужскую власть над этой девушкой, которую не удержали его ласки, — это создать видимость такой же независимости во взглядах.

— Я был, есть и буду национал-социалистом, — сказал он Эмме, когда русские взяли Кюстрин. — Но я не могу больше писать статей о дальнейшем сопротивлении. Оно бессмысленно. Я не хочу участвовать в ненужном пролитии немецкой крови. Мы побеждены, и сейчас нужно думать о будущем народа. Он не должен прельститься русским примером... Я перехожу линию фронта на запад...

И тогда, кажется впервые после их разрыва, Эмма взглянула на него с любопытством. Гольц снял копии с имевшихся в редакции секретных директив по пропаганде и явился с ними в штаб английской армейской группировки. Через две недели он закончил порученную ему офицером штаба записку о построении органов пропаганды немецкой армии. Впрочем, все это имело уже чисто архивный интерес. Над архивами он работал для англичан еще несколько месяцев, с англичанами возвратился в Берлин, в их газете стал сотрудничать.

— Я поступаю, как мне велят ум и совесть, — говорил он Эмме. — Я действую не для англичан, а против большевиков.

Началась пора его бойких статей и поездок в Англию. Но, странное дело, чем больше увеличивались его успехи, тем меньше радовался Гольц, видя нарастающую холодность Эммы к его статьям. Он давно признался себе в том, что ему важны ее моральные оценки, ее одобрение, ее взгляды. Он понимал, что бесцельно злиться на себя за это. Факт был фактом.

Он обладал острым пером и прекрасной памятью, побывал в разных странах, знал западных политиков по личным наблю-

дням. Он располагал многими сведениями, подкреплявшими убедительность его слов, он был прям с Эммой во всем, о чем не договаривал с другими, но у него не было над девушкой умственного и морального превосходства.

Часто она даже не принимала участия в разговорах, которые он вел в ее доме с отцом и соседями, и лишь в саду, куда иногда выходила с ним вечером подышать свежим воздухом перед сном, выслушивала его, чтобы все реже и реже с ним соглашаться. Имея доступ в клубы и театры западных районов города, Гольц не мог прельстить Эмму никакими билетами, и даже на концерт Менухина она отказалась с ним пойти. Редкие беседы в саду были для него одновременно счастливыми и досадными.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Камни Нюрнберга заросли травой, Эмма,— говорит Гольц любимой и чужой ему девушке.— Металлических орлов больше нет. От тысячи колонн, выросших в дни, когда и мы с тобой росли, ничего не осталось. Так разбиты, Эмма, моя и твоя молодость. Не верь рассказам, будто мы пережили только крушение режима,— это крушение страны. Вместе с колоннами рассыпалось единство народа.

— Значит, оно было призрачным.

— О нет, оно было реальным, когда судетцы не принуждены были селиться в стойлах тирольцев... Вражда среди нас посеяна не нами. Кто пригнал немцев из Моравии, чтобы ссорить их с баварцами? Почему стали урывать землю баденцев силезцы?

— Чего же ты хочешь?

— Того, чего хотел всегда. Того, за что изранен твой брат, чему сочувствовала и ты. Мы дети нашего народа, Эмма, и не должны давать сбивать себя с толку.

— Мы долго позволяли это делать и теперь пожинаем неизбежные плоды.

— Ты уверовала в чужие слова. Немка не может так говорить. Ты сама не понимаешь, насколько твои сегодняшние настроения искусственны и...

— У меня нет никаких настроений, и может быть, в этом-то моя беда. Но старые слова были бы старым обманом.

— Обмана не было никогда! Фюрер стремился дать немцам богатства, но стоило ему потерпеть военную неудачу, как толпа, которая всегда бежит за колесницей победителя, стала улюлюкать, и теперь ты...

— Не смей называть это неудачей. То, что случилось,— страшнейшее горе, и применять здесь мягкие слова — подло. Этой-то, милый мой, неудаче мы и обязаны несчастьями, которые ты хочешь приписать коммунистам. Разве по их вине на руи-

нах Берлина до сих пор висят объявления, при помощи которых люди разыскивают родных? Кто тронул бы с мест твоих силезских немцев, не начни они войну сами? Не выдавай мне черное за белое и не напоминай о своем фюрере.

— Не волнуйся, не говори так возбужденно. Я не знаю, объясняется ли твоя постоянная резкость охлаждением ко мне или, наоборот, мои речи порождают твое отчуждение, но мне больно, что ты не хочешь прислушаться. Да, я считаю крушение Гитлера только неудачей. Я не марксист, чтобы верить в закономерности. Остается ли герой пророком для последующих поколений, зависит, по-моему, от исхода игры сил. Бисмарк в глазах современников был великаном, а теперь погибла идея пруссачества, и на него сыплются хулы. Миллионы людей считали Вильсона миротворцем, а когда лопнули его четырнадцать пунктов, то все наши, что он фигляр, который обманывал других и себя. Ты называешь шутки старого Фрица грубым солдафонством, а твой дед, конечно, считал их верхом остроумия, ибо тогда Фриц был победителем, а победитель вызывает только восторги. Слава героя переживает его настолько, насколько хватает ему счастья. А счастье может изменить еще при жизни, но может длиться и после смерти множество лет...

— Ты бредишь...

— О нет, я просто не пугаюсь сравнений. Если бы Гитлер победил, мы заново по-немецки написали бы историю. Но он побежден, и потому в глазах Эммы Фельдмайер — шарлатан и демагог. И, легко придя к такому заключению, фрейлейн Фельдмайер ищет, в кого бы ей верить теперь. Ты ищешь, за кем пойти. Ты прислушиваешься к одним лозунгам, задумываешься над другими. Ты лишилась действительного спокойствия, но не отдаешь себе в этом отчета. И ты вряд ли знаешь немецкую историю, которая сказала бы тебе, что и до Гитлера в стране было тридцать партий, считавших, что они открывают новые эры, и у каждой были последователи. Но ничего не осталось, Эмма, от этих партий, от парламентских и митинговых речей.

— Некоторые остались...

— Совершенно верно. Остались коммунисты. Осталась их партия. Она сильна своими лозунгами. Единственная из всех, она обещает полностью уничтожить на земле горе. Против нее нет доводов, ибо все зло мира она выводит из одного только корня. Она неизмеримо сильнее всех половинчатых партий, пытающихся соединить два берега, между которыми не может быть мостов...

— О, ты поешь коммунистам прямо-таки дифирамбы!

— Да, пою, ибо кроме них, моих смертельных врагов, все другие политические силы — не стоящая внимания мразь. В мире есть две идеологии, два пути, и между ними не дано третьего.

Коммунизм — вот мой враг. Против него должно быть направлено все. Люди, разделенные на полярно противоположные

группы, не должны сидеть между двух стульев. Я принял это учение. Я поэтому ненавижу радикалов всех оттенков, которые в чем бы то ни было, хоть в вопросе о пенсиях старикам, блокируются с коммунистами и дают им все прочнее и прочнее утверждаться. Моя ставка — на продолжающих войну шмидтов и мейеров, на старый блеск в раскосых глазах японцев, на сторонников дуче, на покупных губернаторов-китайцев, на всех антикоммунистических шейхов и диктаторов, которых заокеанские силы собирают в единый поход. Мне дела нет до того, хорош или плох режим турок, кому рубят головы в Греции, как обогащаются американцы. Пусть волнуют такие дела сентиментальных старых дев, которые любят безыменных мучеников и комнатных собачек. Для меня хороши все союзники в походе, а если итогом этого последнего похода будет опустошение мира, то, значит, он не стоил лучшего...

— Холодно, Курт, я хочу домой.

— Еще только несколько минут. Ты ведь всегда уделяешь мне только минуты. Я хочу, чтоб ты поняла, Эмма, как страшен для меня коммунизм. Ты отдалилась от идей своей юности, ты уже не с нами, ты забыла о хромоте брата...

— Зато ты напоминаешь мне о ней.

— Не говори со мной враждебно, Эмма...

— Я только слушала, мне ничего не удавалось сказать.

— Так говори, говори. Я хочу знать, в какой мере могу рассказывать тебе дальше...

— Не рассказывай мне ничего. Если ты добиваешься моего мнения, я его, конечно, не скрою. Только пойдем домой. Мне нужно дочитать книгу, которую я должна завтра вернуть. Не держи меня под руку, мне это неудобно. Я вообще разучилась, верней, никогда не умела так ходить. Когда между моей рукой и ребрами — чужая рука, я не знаю, куда деть собственную. Так вот, о Гитлере я думаю, что он, как многие политики, отстаивающие старое, был больше человеком действующим, чем думающим. Размышлять он вообще, вероятно, не умел. Я, наоборот, много размышляю и потому не могу действовать, то есть присоединиться к тебе и товарищам, которые у тебя, вероятно, есть. Что бы я ни слышала, у меня сейчас же появляются «но», и потому я бездельница. А возможно, что я, наоборот, бездельница и потому у меня рождаются «но». Это как хочешь. По поводу твоей сегодняшней речи у меня этих «но» десятки. Почему ты думаешь, что в борьбе между двумя силами сапожник Пеппер, портной Реммеле и столяр Кренц пойдут за тобой, а не за твоими врагами? С чего ты взял, что твой поход, если даже он был бы удачным, стал бы последним и классовая борьба после него прекратилась бы? Есть, наконец, еще одно «но», которое возникает у меня, как у эгоистки. Если твоя смертельная война между двумя силами грянет, то разыграется она, конечно, на моей территории и жертвой ее паду я. Это, знаешь ли, плохая для

меня приманка. Это служит мне, наоборот, убедительнейшим доводом за то, чтобы не садиться на твой стул. Ты плохой агитатор, Курт...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Вы приобрели новую мебель?

Эмма краснеет.

— Мы взяли ее напрокат.

— У вашего визави? — Бигль смеется. — Я уже видел такой «прокат» в другом доме. Он сумасшедший, этот Найдер. Никто не собирается отнимать у владельцев отели, а он рассовывает по соседям мебель, и его жильцы клянут опустевшие комнаты. Негодяи из «Тагесшпигеля» намеренно распускают idiotские слухи, будто Социалистическая единая покусится на скарб лавочников и кустарей, а Найдеры помогают распространять этот вздор и заболевают от страхов, которые сами посеяли. Зачем ты согласилась поставить у себя этот шкаф? Честное слово, я был бы очень доволен, если бы у Найдера сгорел весь его хлам. Для Найдера это было бы лучше.

— Ты говоришь несуразные парадоксы.

— Вовсе не парадоксы. Всю жизнь этот человек занимается шкафонакоплением. Все его помыслы направлены были к тому, чтобы умножать количество комнат и мебели. Я не знаю, шкафы ли ему принадлежат или он шкафам. Десятки лет человек проводил в расчетах, весь свой мозг иссушил в арифметике. Кроватей у него прибавлялось, а радости не было. При двух десятках номеров он улыбается так же мало, как в годы, когда имел их десять. Отними у него его полированное дерево — он взревет, но если его не хватит удар и он не захочет очистить землю, то жизнь его станет легче, ибо он избавится от вечных подсчетов.

— Жизнь потеряет для него смысл.

— А сейчас она осмысленна, эта жизнь с карандашом в руках и шкафами в мыслях? Свинская это жизнь! Знаю по собственному брату. Он всегда был рабочим, никогда не имел того, что Найдер, но тоже мечтал и высчитывал. Разница только количественная: один считает пфеннигами, другой марками. Он взял себе жену, которая старше его на семь лет, прельстившись, должно быть, ее коттеджем. Даже перед войной они и по воскресеньям не решались есть пфанкухены и копили пфенниги, чтобы вырастить из пфеннигов марки. Еще мальчишкой, когда я ездил к нему в Лейпциг, я возненавидел его сберкнижку и всю его кротовую жизнь. Стремление накоплять — это, по-моему, рак, который пожирает человека. Мне больно видеть, во что превратился брат. Нужен другой строй, другие дела.

— Скажи мне, Бигль, а тебе никогда не приходило в голову,

что не все люди хотят, чтобы ты их избавлял от собачьей жизни? Задумывался ли ты над этим? Вот живут шмидты и мейеры в полном, на твой взгляд, заблуждении, живут неосмысленно, скверно, порочно, но эта жизнь их устраивает, они твоих изменений не желают, не нуждаются в твоей горячей деятельности. Зачем тебе в таком случае навязываться?

Бигль задумывается, но это продолжается у него лишь мгновение, и он искренне смеется.

— Я не нужен? Что же я, по-твоему,— отросток слепой кишки? Меня разрывают в комнате на части. Я чертовски нужен, можешь поверить мне в этом на слово. Разреш, в свою очередь, спросить: неужели тебе никогда не приходило в голову, что не мог бы появиться коммунизм, перевернуть полмира, взбудоражить головы, заставить нас с тобой говорить о нем, если бы он был людям не нужен.

Эмма задерживается с ответом дольше, чем Бигль. Его смущенные глаза внимательно на нее уставились.

— Задумывалась,— говорит Эмма.

— И?

— Религии тоже охватывали полмира...

— Значит, ты считаешь коммунизм утопией?

Из раскрытой двери соседней комнаты вышел букинист.

— Это я считаю его утопией,— ответил он на вопрос Бигля.— Я слышал ваш разговор и не обвинил бы вас, молодой человек, в излишней последовательности. Болезненную страсть людей к стяжательству вы справедливо сравнили с раковой опухолью, но забыли о том, что она неизлечима. Разве эти съедаемые алчностью эгоисты могут организовать в коммуну? Ваше движение опирается на рабочих — людей, не имеющих возможности накапливать. Но тех, кто на вашем языке зовется мелкой буржуазией, в Германии слишком много. Корысть, как рак, съедает наш дом, всю улицу, город, страну. Каждый ремесленник мечтает быть фабрикантом, а лавочник — умереть оптовиком. Даже сейчас, когда ничего не стоят именуемые деньгами бумажки, люди стараются приобрести их побольше, чтобы превращать в условные ценности, обмениваемые затем на другие. Часть прячет на черный день, другая — чтобы создать себе множество светлых дней, третьи копят потому, что не копить не могут. Я сообщу вам интересную новость, господа: сегодня утром арестован гробовщик Шольц, закопавший в могилу вместо покойника гроб со скупленным столовым серебром. Неужели вы думаете, что он мог признать коммунизм?

И, давая понять, что приговор уже произнесен, старик бросил дочери, направляясь в лавку:

— Я получил свежие иллюстрированные журналы, Эммхен, можешь посмотреть.

Бигль усмехнулся. На него не произвел впечатления пренебрежительный тон старика.

— Человек — это не залежалая книга, господин Фельдмайер. Он может изменяться, и он будет меняться.

— Ха-ха-ха,— желчно засмеялся старик.— На этот раз вы полностью правы, милейший. Человек меняется, как гусеница, линяет, как заяц. Меняются в его организме клетки, он меняет взгляды и жен, меняет пылесос на сахар, но подлость шольцев, молодой человек, остается неизменной. Вы хотите произнести тираду о перевоспитании? Знаете, когда наш ближний перевоспитывается? Когда за ним приходят оттуда,— букинист указал пальцем наверх,— чтобы отправить его туда,— он опустил палец вниз.— Когда извести в сосудах становится столько, что впору использовать ее для штукатурки, и вдруг кольнет неожиданно в спину повыше зада и пониже лопатки,— тогда, только тогда, зарубите себе это на носу, хомо сапиенс мгновенно перевоспитывается. Он издает овечий блеющий звук, медленно сползает со стула на пол и за тот час, когда его, словно бутылку, наливают камфарой, успевает сообразить, что не стоило пятнадцать лет выплачивать за домишко, превращать мастерскую в лавку, лавку — в магазин, чтобы в итоге обменять последний на склероз сосудов. Вот в этот только час — если, конечно, действия камфары на шестьдесят минут хватает — человек получает истинное высшее образование. Но извините меня, господин Бигль, я спешу в лавку...

На американские иллюстрированные журналы набросилась Мария, неожиданно пришедшая к подруге в будний день. Госпожа Эмденбах заболела, служанка вручила в передней фрейлейн Ширлингер пять марок, и вечер у нее оказался свободным. Она заполнила его изучением журнальных фотографий высокопоставленных молодых пар.

Везет же случайным избранницам богов! Они становятся избранницами богачей и красавцев. Какая-то невзрачная Анита Ховард, сорокалетняя дама, которая годилась бы Марии в матери, стала женой Георга Вандербильда, самого Вандербильда, мультимиллионера, короля стольких-то индустрий, и он дает ей дворцы, армию челяди, яхты, любые волшебные сказки, каких не придумал Андерсен. Дочь де Голля Елизавета, которая, правда, молода, но куда некрасивей Марии, оперлась на руку красавца офицера Лауссьена, чье «де» теряется в глубине веков. Лейтенант американской армии Шарль Ксдман женился на принцессе Летиции Мюрат — правнучке Наполеона.

Мария не имеет такой родословной, фамилии Ширлингер в геральдических книгах нет, превосходство Летиции над ней явно, и Мария прощает этой девушке брак с лейтенантом...

Боже, как хороша жизнь богатых! Хоть бы сотую толику их счастья на долю дочери шляпной мастерицы, трудолюбивой маникюруши и массажистки животов, лучшие годы которой проходят никчемно.

— За один год, за один только год настоящей жизни я отдала 6 остальные, — говорит Мария.

— Глупости! Счастье вовсе не в богатстве, — небрежно роняет, трепля свою шевелюру, Бигль.

— В чем же оно, по-твоему? — вскидывается Мария.

— В чистой совести, в ясной голове, в сознании, что делаешь нужное дело.

— Ах, опять пропаганда!

— Какая же это пропаганда? — засмеялся Бигль. — Деньги не в состоянии сделать человека счастливым.

— Ну, нужно еще, конечно, здоровье.

— Нет, его для счастья тоже мало. Разве ты, например, Эмма, больна? А ведь особняк в придачу к твоему здоровью тоже не осветил бы тебя лучом солнца, а?

— Лучей мне мало. Мне нужно, вероятно, солнце целиком. Я жадная, — Эмма невесело засмеялась. — Счастье представляется мне воздушным шаром, который витает надо мной, но не дается в руки. Впрочем, это вопрос праздный. Вполне счастливым чувствует себя только играющий ребенок, а у взрослого не бывает такой радости, чтоб забыть о всех заботах и неприятностях.

— Это, вероятно, отголоски философии отца?

— Ты хочешь уличить меня в отсутствии собственных мыслей? Да, возможно, он что-нибудь в этом роде говорил. Я помню другое определение отца, очень скромное: счастлив, по его словам, уже тот, кто не имеет несчастий.

— То есть не потерял продовольственную карточку?

— Вроде этого.

— Тогда в Германии все счастливы, потому что они хранят карточки, как собственную жизнь. Моя мать кладет их на ночь под подушку.

— Ну, а ты с твоим коммунизмом счастлив, Бигль?

— Для полного счастья мне не хватает меньше, чем Рокфеллеру. Например, колбасы. — Бигль весело рассмеялся своей шутке. — Иногда очень ее хочется, вдесятеро сильнее, чем поцелуя любимой девушки, которой у меня, кстати, нет. Но я научился настраивать себя антиколбасно и становлюсь тогда безразличен, как индийский йог. А в остальном, — Бигль погладил рукой волосы и ответил с простотой, которая поразила Эмму больше, чем слова, — конечно, счастлив.

— Это необычайно, — заговорила Мария. — Если ты полон счастья, полагая, что заплатка у тебя на задку ловко прикрыта пиджаком, то ты, парень, ошибаешься. Тоже еще Диоген выискался!

— Новые штаны — это для меня сейчас неуловимый воздушный шар, и поэтому я за ним не гоняюсь. Но я счастлив тем, что, в отличие от вас, вообще не мечусь попусту. Я избавлен от неясностей, которые были для меня, особенно под конец войны,

почти физической мукой. Я знаю, что делать, и не отдам этой уверенности за тысячу штанов из лучшего шевииота.

— Тогда ты действительно счастлив, Бигль,— тихо сказала Эмма.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Дело гробовщика Шольца всколыхнуло всю улицу. Мрачная профессия этого человека не предрасполагала, конечно, к симпатиям. Люди не любят ничего, напоминающего им о смерти. Они могут подолгу стоять у витрин ювелиров, хозяйки в состоянии любоваться через оконное стекло кастрюлями, но мимо огромного разукрашенного гроба, которым Шольц пытался поразить воображение сограждан, они всегда проходили отворачиваясь и убыстряя шаг. Владельцев цветочных магазинов тоже можно упрекнуть в недалновидности, когда они украшают свои вывески напоминаниями, что цветы имеются у них для всех случаев и обстоятельств — как для радости, так и для горя,— и рекламу выразительно подкрепляют венками, увитыми траурными лентами муара. На деле, однако, и Шольц и цветочники — совсем не плохие психологи. Они хорошо знают, что вещи, связанные со смертью, без надобности не покупаются, а когда грянет горе, люди обратятся именно в те магазины, которые их отпугивали.

Но Шольца недолюбливали не только за ремесло. Дело в том, что с этим человеком нельзя было нормально, по-соседски поговорить, повздыхать и посоветоваться. Заходила ли речь об угрозе детского паралича или о неурожае картофеля, о гнилых продуктах, привозимых в Германию американцами,— Шольц притворно скорбел, но не умел скрыть радостного блеска в глазах. Жена Шольца не упускала случая посылать приветствия заболевшим соседям, и, получая ее послания, люди суеверно отплевывались, словно смерть напоминала им о своей близости. Шольца начинали бояться, как судьбы, как торжествующего представителя смерти, который всех переживет и похоронит.

В глубине души люди радовались его аресту. Но булочник Зендауэр, который умел выпивать по восемнадцать — двадцать кружек пива, обходил в эти дни ближайšie пивные, после чего лавочники и сапожники поняли, что арест гробовщика был попранием их собственных человеческих прав. Разве Шольц не вправе был покупать подносы и сахарницы? Что удивительного в том, что он не хотел держать у себя обесцененные бумажки? В каком законе и кем указано количество драгоценных металлов, которые можно иметь? Бывали, правда, и в порядочных государствах законы, обязывающие граждан сдавать казне слитки золота, но это было во время войн и относилось лишь к слиткам.

— Почему три сахарницы иметь можно, а тридцать три нельзя? — негодовал Шрамм.— Если мне одну дочь выдавать, я за-

пасу по дюжине кофейных и столовых ложек. Если у меня дочерей двенадцать, я накоплю по дюжине дюжин. Кто смеет мне сказать, что это должно быть иначе!

— Гарантий, гарантий личности в таких условиях нет! — горячился сапожник Пеппер. — Что это за времена, партии и законы, при которых люди не могут распоряжаться собственными вещами? Мы ни от чего не застрахованы.

— Разве неправильно пишет об аресте социал-демократическая газета, что это откровенный произвол? — волновался в соседней пивной Найдер. — Я всегда говорил, что история с помещицьею землей и фабриками — только начало. Теперь отнимают уже ложки и вилки, а завтра объявят общественной собственностью кровати и умывальники. Счастье этих парней, что они не в мою квартиру попали. Пусть бы пришли меня за собственные вещи арестовать!

— Осторожнее, осторожнее! — шепчет владелец пивной Пешке. — Я не хочу, чтобы здесь произносились такие слова.

— Шольц совсем не плохо платил за работу, — говорит в третьей пивной столяр Кренц. — Я получал по восемь марок за ящик и делал их в день шесть штук. Если при хозяйке не развалится дело...

— А сколько он брал за такой домик, твой Шольц?

— Мы сдавали квартирки и по восемьдесят и по полтора ста.

— И сколько он похоронил серебра?

— Не я ведь взвешивал. Говорят, шесть центнеров.

— В чем, собственно, гробовщик может быть обвинен? — спрашивал в четвертой пивной рассудительный адвокат. — Во всяком нормальном суде я добился бы его оправдания. Укрытие собственных вещей — не преступление. Обман, который он совершил, похоронив ценности под видом мертвого тела, не есть мошенничество, приносящее денежную выгоду. Даже для гражданского иска у кладбища нет оснований, ибо за могильный участок было заплачено, а чем заполнен вынутый грунт, является вопросом безразличным. Речь может идти, следовательно, лишь о нарушении положения, по которому кладбища предоставляют только под мертвые тела, а для хранения ценностей существуют сейфы и ломбарды. Но о каких сейфах может идти сегодня речь, господа? Всякий поймет также, почему человек не пожелал воспользоваться услугами ломбарда для вещей, имеющих сотни различных монограмм. Нарушение кладбищенских правил может повлечь за собой в худшем случае административный штраф.

Арест гробовщика в демократическом секторе Берлина стал уже через несколько дней громким событием. Газеты западных секторов кричали о произволе, приводили самые благоприятные сведения о Шольце, сенсационно-крупными шрифтами рассказывали о его маленьких детях и жене. В противовес этому газеты восточного сектора утверждали, что Шольц — негодяй, нажившийся на человеческом горе. На бурных заседаниях городского

магистрата разные политиканы выражали недоверие руководимой коммунистом полицией, а инспекторы полиции давали интервью о фальши речей депутатов-политиканов. Одни говорили, что гробовщик арестован за то, что голосовал за социал-демократов, другие утверждали, что социал-демократы только потому шумят об аресте негодяя гробовщика, что он арестован в восточном секторе.

Гейнц Вильвицкий, двадцати восьми лет, студент физического факультета, переживал в эти дни свое духовное рождение. Впервые он сам решил большой спорный вопрос, впервые принял решение. Из разных правд он выбрал одну. Среди сахарниц, вырытых из могилы, должна была, несомненно, оказаться и та, что носила монограмму его матери.

Это было лютой зимой сорок шестого, когда город был скован морозом необычайной силы и вся архитектура берлинских домов, рассчитанных на легкую незаметную зиму, обнаружила свою легкомысленную неприспособленность к климатическим изменениям. Все, кто мог, лезли среди дня под одеяла. Ходили слухи о людях, замерзавших в домах и на улицах. К несчастью населения, изменилась вместе с климатом и география: Рур, проезд от которого до столицы длился ранее сутки, оказался теперь отстоящим значительно дальше, и уголь поступал в Берлин только единичными вагонами. Люди жили на кухнях, где едва заметно тлело по одной газовой конфорке. Стирка белья в прачечных и утюжка одежды производилась лишь клиентам, приносившим брикеты. Электричество попеременно гасло то в одном районе, то в другом. А время, как всегда в трудные години, тянулось особенно медленно...

В один из печальных вечеров той зимы, подобных которой Берлин не знал шесть десятилетий, руки у заготовщика Вильвицкого застыли на раскройном станке, туловище склонилось вперед так, что шпиндель пришлось под подбородок, и когда жена увидела его, то сначала не поняла, почему он заснул в таком неудобном положении... Наутро заплаканный Гейнц прибежал к гробовщику Шольцу.

— Мне выгоднее теперь продавать дерево на топливо, чем расходовать его на «последние приюты», — сказал гробовщик.

Но у Гейнца не было денег для покупки гроба даже и на невыгодных для Шольца условиях. Он помнил, что Шольц приходил снимать с отца мерку и отец казался почему-то меньше, чем когда был живым, помнил, что мать что-то завертывала и отдавала Шольцу, потом гробовщик приходил еще раз и у них исчезли ложечки, которыми Гейнц размешивал в кофе сахар... И старушка намекнула тогда сыну, что хотя он и слаб здоровьем, но пора перестать быть мечтателем, надо начать учиться на врача или перенять отцовский станок. Все это Гейнц вспомнил сразу, как только зашумели газеты о «деле Шольца», и он испытывал гордость, что способен занять твердую позицию. Кроме

«правд», утверждавших права гражданина на сделки, была еще одна, говорившая об обязанности его быть человеком. И эта правда в сознании Вильвицкого одержала победу.

Обижаемый в драках времен мальчишества, обезличенный солдат в юности, не уверенный в себе наблюдатель послевоенных германских дней, он впервые почувствовал теперь, что тоже может иметь взгляды, способен отстоять их в споре, носить их в себе. Мягкий по природе, нерешительный, как мать, склонный к раздумьям и всегда готовый отказаться от решений под влиянием других,— он в эти дни вырос в собственных глазах. И ходил с блаженной верой в себя, в надежде обрести твердость, получить ясность, стать человеком воли, найти место среди людей.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

К владельцу гаража Шрамму приехал из Америки брат. Вся улица заинтересовалась этим человеком, которого помнили пройдохой агентом по продаже автомобилей и увидели теперь солидным элегантным господином, привезшим, как уверяли очевидцы, сорок три чемодана личного багажа. Одни расценивали приездего в двести тысяч, другие — в целый миллион долларов. Несмотря на богатство, он сохранил веселость и общительность. Через неделю после приезда, когда в первых этажах наговорились об удачливом американце, Шрамм привел брата в лавку к букинисту, желая, очевидно, похвастать перед самым ученым человеком улицы самым преуспевшим человеком.

Американец, который всего только семнадцать лет назад был ревностным читателем приключенческой литературы и доказывал Фельдмайеру, что с него, как постоянного клиента, глотающего по роману в ночь, следует брать только по три пфеннига за прочтение, сделал вид, что не заметил морщин и мешков на лице букиниста, обнял его, сказал:

— Мы с вами подросли, старина...— и нашел, что в лавке ничего не изменилось.— Вы потеряли, я слышал, вашу милую супругу, но зато у вас, говорят, красавица дочь плюс сын, за которого пойдет любая домовладелица, готовая подарить вам еще десять маленьких Фельдмайеров. А я вот остался бобылем и, несмотря на видимое благополучие, одинок на свете.

На вид гостю нельзя было дать и сорока, он был свеж, полон, глаза блестели совсем по-молодому, и грустный тон, которым Шрамм говорил, никак не шел к этой игре его глаз, к его явному довольству собой.

Фельдмайер понял, что приезжий придает своей речи налет печали только для того, чтобы не обнаруживать своего самодовольства. Но Шрамм не сумел его долго скрывать и уже через несколько минут, оглядев полки и прилавки, заговорил весело:

— А вы по-прежнему романтик, старина? Классики, переводные стихи и политические брошюры — для покупателей, литература о смысле и бессмыслице жизни — для собственных бессонных ночей, да? Но скажите, неужели сейчас действительно читают так много стихов, что вы решили украсить ими весь прилавок? Удивителен немецкий народ, просто удивителен! Он превратил все леса в пашни, каждые оставшиеся десять деревьев объявил заповедными, все тропки заасфальтировал, на реках понаделал плотин, повывергал всюду полевые цветы, чтобы заменить их оранжереями, посадил всю природу в клетку, — и все это для того, чтобы потом наброситься на стихи о лесах и ручьях и вздыхать о том, как хорошо описывали классики природу.

А не находите ли вы, старина, что в этих вздохах еще и много лицемерия? Кто помнит эти красивые описания красивых ручьев? Из книг запоминаются люди, сюжеты, полезные мысли, но никак не описания монотонного дождя или прелестной весны. Ведь, в конце концов, как ни размазывай картину грозы или солнечного сияния, ничего к этому сиянию не прибавишь и ничего из него не извлечешь. Европейская литература очень-очень отстала, до сих пор этого не поняв. В Америке писатели не трагят много слов даже на описание людей, не говоря уже о восходе, закате, листопаде или цвете морской воды. И они правы. Мне ведь очень мало дела до того, какой у Джима нос и какие у Мэри волосы. Меня интересуют их поступки, их преуспеяние в жизни. Я знаю, что здесь по-прежнему думают об американцах, будто они читают только похождения воров и убийц. Это чепуха. Я тоже жду от книги умного и полезного, хочу узнать из нее, как мне с толком в жизни прокрутиться. И не могу сказать, что мне это в меру сил не удалось.

Гость при последних словах засмеялся и хлопнул букиниста по плечу.

Было как раз время закрытия лавки, и Фельдмайер пригласил Шраммов во внутренние комнаты. Эмма накрывала на стол и невольно смутилась, когда отец представил ей американца.

— О, если есть тарелки, так остальное приложится, — неприступно заявил гость. — Вы разрешите мне, милая фрейлейн, сбегать домой за образцами заокеанских жидкостей.

— Если это так необходимо...

Он вернулся через несколько минут, принеся, кроме джина и коньяка, две банки рыбных и мясных консервов и пачку пресованного изюма.

— Поварским искусством моя новая родина похвалиться никогда не могла, — сказал он, откупоривая бутылки. — Пища стандартизована, словно спички, и имеет примерно такой же вкус. Едят ее механически, как жуют резинки. В фермерских домах мясо есть мясо и помидор — это помидор, но большинству горожан достается заводская безвкусица, и тут уже ничего нельзя поделать. Мне долго приходилось мириться с тем, что пища не

входила в число житейских радостей. Помню, после своего первого барыша я захотел хорошо полакомиться и был разочарован, как мальчишка, которому дали конфетную обертку, вынув из нее содержимое. Шоколад в Америке тверд, как барабан, крекеры не более аппетитны, чем авторучки, а конфеты имеют разные наименования, но один и тот же вкус.

— Но я полагаю, что когда ты уже имел средства...— начал было старший брат, недовольный тем, что младший говорит плохое об Америке и забывает напомнить о своей состоятельности.

— О да,— подхватил гость,— когда я разбогател, то завел себе повара. Мой желудок стал получать нечто толковое. Я стал вознаграждать его за порчу, которой подвергал этот мешочек раньше. Вещи стали попадать в него смазанными слюной, в то время как фабричный суррогат никогда ее не вызывал. От котлеток деволой поднялся у меня жизненный тонус. Я запретил в своем доме крекеры, торты из яичного порошка и сыры в банках. Сыры делает мне по заказу великий мастер, единственный, может быть, истинный мастер на свете. Ваше здоровье, фрейлейн!

Это было очень удачно, что избалованный гость появился за столом в тот день, когда Эмма сделала свежий костный отвар и хорошо заправила им суп, сваренный на три дня вперед. Она успела в связи с чрезвычайным обстоятельством положить в кастрюлю еще четыре помидора и поэтому не испытывала унижения от этих разговоров о хорошей еде. Конечно, она предпочла бы услышать об Америке что-нибудь более интересное, но, в конце концов, хорошо уже было и то, что этого гостя не приходилось занимать, чего Эмма никогда не умела делать. Шрамм бойко болтал, полагая, очевидно, что все его разговоры равно интересны.

— Разрешите, фрейлейн, рассказать вам о моем неподражаемом сыроваре. Это некий Альперт, он держит магазин вблизи штаб-квартиры Объединенных Наций и изготавливает сыры всех стран, входящих в эту организацию. Его магазин — самое большое сырное предприятие мира, в нем сотни или, может быть, даже тысячи сортов. Тут и французский «рокфор» и наш немецкий лимбургский, венгерская брынза, итальянский пармезан, греческий кессери, сыры из любого молока, любой выдержки, любой жирности — словом, какой только вы пожелаете сыр из тех, что придуманы человечеством в разных концах шарика. И он говорит о своих сырах на языках всех национальностей, чьи сыры он изготавливает. Феноменальный человек и феноменальное заведение. А начал мальчишкой на побегушках в лавке и гордится этим. Вот что такое Америка! Ваше здоровье, фрейлейн!

— Каким же образом совершилось это превращение? — спросил молчавший до сих пор Отто.

— Ум, господа. Ум, изобретательность и подвижность. Америка дает в этом смысле каждому необычайный простор. Когда я был мальчишкой, а умами владели Меринги, я тоже верил, буд-

то капиталист строит свое богатство на крови и костях. Помните, господин Фельдмайер, к вам в лавку приходил высокий костлявый человек в потрепанном пиджачке и часами толковал о потогонной системе, о каком-то законе обнищания? Хорошо, что я все-таки не очень к нему прислушивался. Вы дали мне однажды книжку Честертона, и я увидел, что авантюры вполне сочетаются с христианством. Может быть, и есть в Америке богачи, которые клали в фундаменты своих особняков не кирпичи, а трупы, но я о них, ей-богу, ничего не знаю. Есть и Аль-Капонэ, есть и эксплуататоры, но большинство богачей — ни то и ни другое. Будьте здоровы, господа! Ваш превосходный суп, фрейлейн, никак не позволяет думать, что мы находимся в голодающей Германии. Великое дело иметь настоящую хозяйку в доме, господин Фельдмайер!

Гость начал рассказывать о том, как его обкрадывает эконо, и Эмме стало досадно, что разговор, который становился интересным, опять сбился на пустяки.

— Он пьет мое вино, беззастенчиво курит мои сигары...

— А скажите, — неожиданно для себя самой перебила его Эмма, — как же все-таки бедные делаются вдруг богатыми? Ну, вот вы, например?

— Я? — Шрамм рассмеялся. — К богатству, милая фрейлейн, ведут тысячи путей. Одни копят, открывают мастерские и лавки, расширяют затем дела. Это, если хотите, немецкий путь. Им идут, разумеется, многие и в Америке, но для нее он все-таки не характерен. Крохоборчество и монотонность противны американскому характеру. Настоящие американцы — люди с размахом и заняты не тем, чтобы прибавить к доллару десять центов, а думают о том, как сделать из одного три, а сто превратить в тысячу. Так называемая нормальная коммерческая прибыль — это старомодное европейское понятие, и за океаном оно присуще только самым неспособным, тем, кого обделил бог. Ваше здоровье, господа! Я вижу, со мной пьет уже только господин оберлейтенант. Ну что же, вы правильно делаете, фрейлейн. Я сам предпочитаю возбуждение, а не опьянение. Хотя, надо сказать, большинство американцев любит пить до полной потери сознания. Процесс выпивки они стремятся убыстрять, чтобы скорее приводить себя в состояние полного забвения. Джин или виски сами по себе их даже как-то раздражают, они смешивают то и другое в самые невероятные коктейли, сажают затем девушек на плечи и бегают по бару, пока не падают замертво. Я этого не люблю. В этом смысле я остался вполне немцем, европейцем, для которого удовольствие состоит в самом процессе вкушения.

— Простите, господин Шрамм. Вы говорили о путях к богатству. Если к нему не ведут ни преступления, ни накопления, то что же тогда? Биржевая игра, изобретения?

— Вы, кажется, очень хотите стать богатой, — рассмеялся Шрамм. — Ну что ж, это похвально. Тем более что у женщин

возможностей на десять тысяч больше, чем у нашего брата мужчин. Будь я в юбке, придумывал бы чудеса. Да, изобретения, Фрейлейн. Только не новых швейных машин, а профессий. Нужны прежде всего наблюдательность и ищущая мысль. Знаете, кто сделал большее состояние, чем Эдисон, хотя не обогатил мир ни одной машиной? Тот, кто придумал эскимо — мороженое на палочке. К нему не липнут руки, его можно есть на ходу, и оно не дороже любого другого. Он стал миллионером, этот догадливый человек.

— А какую палочку придумали вы?

— Я? — Шрамм не смутился. — Не менее полезную, хотя и для более ограниченного круга людей. Я придумал для тысяч бедняков большее благо, чем предлагает им коммунизм и любая система социального страхования. Может быть, это звучит нескромно, но факт есть факт: Я разрешил проблему иммиграции бедняков из старых континентов в новый.

Даже букинист, посматривавший до сих пор на гостя иронически, поднял брови. Отто, которому Эмма налила вторую тарелку супа, невольно опустил ложку и придвинул зачем-то к рассказчику свой стул, словно боясь недослышать. Старший Шрамм, счастливо улыбаясь во весь рот, торжествующе посмотрел на семью соседа, в которую он привел такого необычайного человека — своего родного, кровного брата.

— Я открыл свою палочку семнадцать лет назад, еще только подъехав к Нью-Йорку, до того, как вышел на берег, — продолжал гость, как бы не замечая произведенного им впечатления. — Это был момент прозрения, момент божественного наития, если хотите, и оно определило всю мою дальнейшую жизнь... Перед тем как выпускать пассажиров на берег, чиновники проверяют, нет ли у них сифилиса и чахотки и не пополнят ли они ряды безработных, которых в Америке хватает и без приезжих. «Есть ли у вас специальность?» — спросили меня. «Я шофер и механик». — «Как вы будете жить, пока не найдете работу? Есть ли у вас тут родные?» Увы, родных у меня в Америке не было. «Покажите, есть ли у вас американские деньги?» За пачку долларов, если б кто-нибудь одолжил мне ее тогда на две минуты, я готов был подписать в тот момент любой вексель. Людей, показавших деньги, выпускали через кордон беспрекословно, их не спрашивали ни о специальности, ни о родных, ни о чахотке. Я проскользнул на берег прямо-таки чудом, а половина пассажиров трюма была погружена в него обратно, чтобы пересечь океан назад. И тогда же меня озарило: я понял, на чем сделаю себе в этой стране состояние...

— Вы стали называть себя племянником приезжавших?

— Я стал давать им деньги для предъявления. Ровно на пять минут. Только на пять минут. Первые же четыреста долларов, скопленных после года работы механиком в гараже, я пустил в ход. Они переходили из рук в руки. Через пару лет я мог уже

давать тысячедолларовые пачки и имел агентов на каждом пароходе. Еще до того, как контролеры поднимались на трап, весь трюм имел мои въездные визы. У спускавшихся с трапа деньги принимались моими береговыми агентами. Я брал два доллара комиссии. Всего два доллара. Я позволил въехать в страну тысячам нищих немцев, итальянцев, евреев, сербов, литовцев, всем, кто отправился за океан искать места под солнцем. Никого не эксплуатируя, а всех, наоборот, выручая, я в несколько лет сделался настоящим, заправским богачом. Вот, фрейлейн, моя палочка...

— Да, это вы... ловко... — сказал букинист.

— Надо быть бизнесменом, быть находчивым, и тогда Америка дает вам все блага, которыми богата эта страна. В ней, конечно, больше недоедающих, чем вкушающих яства, но эти последние — цвет интеллекта и умеют делать дела. Коммунисты кричат об эксплуатации, о ростовщиках. Все это, конечно, имеет место, но львиная доля предприимчивых американцев вовсе не обладает заводами и не держит банкирских контор. Они зарабатывают на улице, в кабинете, в ложе театра, в кафе, на курорте, в кровати, в метро, даже сидя в ванне. Они умеют делать деньги при взгляде на любую вещь. Для посредственного ума деньги спрятаны, скрыты, замкнуты, забаррикадированы, недоступны. Высокому интеллекту они видны в каждом углу и во всякой вещи. Один мой приятель заработал себе виллу при простом взгляде на тарелку.

— Вы говорите необычайные вещи.

— Я говорю о необычайной стране. Мне, прожившему в ней семнадцать лет, хорошо известно, что уверения, будто всем в ней хорошо, мягко говоря, неправильны. В ней не всем хорошо. В ней, если хотите, большинству нехорошо. Но человеку предприимчивому в ней лучше, чем в любом другом месте на свете. Интересует вас, фрейлейн, история с тарелкой?

— О да!

— Тарелка была пластмассовой, обычной, совершенно ничем не примечательной. Но она была, и это явилось решающим. Стояла она в комнате женщины, умиравшей от рака. «Больная безнадежна», — сказал врач. «Ей всегда подавали эту тарелку?» — спросил мой приятель. «Не знаю, не замечал, — кажется, что подавали». — «Мы можем сделать с вами дело, господин доктор».

В десять минут перед врачом развернут был законченный план, а назавтра мой друг сидел в кабинете крупнейшего фабриканта пластмассовых изделий, который завалил ими по дешевой цене два штата. «Врач пришел к заключению, — спокойно говорил он монополисту, — что десятый случай в практике заставляет его видеть непосредственную связь между пластмассовой посудой и возникновением раковых опухолей... В ваши изделия входит какой-то состав, и он является одной из причин, вызывающих рак, этиология которого неизвестна... Пусть вы наймете сот-

ню ученых, которые будут оспаривать это наблюдение, публика все равно никогда больше не купит ни одной вашей тарелки и ни одной табакерки... Вам грозит полный, безусловный, неотвратимый крах... Впрочем, предотвратить вы его можете...»

Как ни торговался обезумевший фабрикант, мой приятель простился с ним, не отступив от своих семидесяти пяти тысяч долларов... А хотите, я расскажу вам про знакомого итальянца, который, будучи официантом, получил сто двадцать тысяч долларов от общества ветеранов первой мировой войны?

— Слушайте, господин Шрамм, но ведь это же настоящий шантаж — с этой тарелкой. Вы рассказываете о вымогательстве...

— Я рассказываю, фрейлейн, о том, как делают в Америке деньги, не прибегая к системе выжимания пота, о которой говорит марксизм. Я рассказываю о возможностях для каждого мыслящего человека.

— Русские коммунисты тоже говорят о возможностях для каждого человека, о всеобщем образовании, отсутствии безработных, открытом пути. Оба эти учения, которые борются...

— Простите, но это не учения, а вкусы, фрейлейн. Кто что любит. Малопредпримчивым людям может нравиться русское блюдо, и в этом есть для них безусловный резон... Коммунистическая Россия, несомненно, тоже богата возможностями для многих, но, хотя она занимает так много места на карте, мне лично нигде было бы в ней повернуться. Она тесна для меня, ха! — Шрамм засмеялся. — На политические лозунги, фрейлейн, откликаются не мнениями, а чувством. Я не люблю коммунизм так же, как терпеть не могу крекеров. Вопрос чисто вкусовой.

— А если нет склонности ни к одному из блюд?

— Так не ешьте их, пожалуйста. Разве уж так нависла над вами необходимость выбора? Можно спокойно прожить и без этого. У вас романтика политики в сегодняшней Германии, вот что я вам скажу. Все кричат, что им надоела политика, но только о ней люди и говорят. Мы в Америке умеем пользоваться жизнью иначе. Я еще не разобрался в том, что тут творится, но уже ясно, что из страны делают сумасшедший дом. Она превращена в арену, на которой смешались быки и гладиаторы, а публика аплодирует или свистит, хотя уже не может понять, за что и кому. Я видел однажды нечто подобное в Мексике, но там был цирк, а это ведь страна. Изолируйте от себя политиков...

— Это невозможно, господин Шрамм. Для этого надо бы изолировать себя от окружающего. Поживете — увидите...

— Ясная голова, — сказал об американце Отто после ухода гостей.

— Бездумная, — неуверенно заметила Эмма.

Оба молчаливо ждали заключения отца. Старик сел в свое кресло и развернул вечернюю газету. Когда Эмма уже перестала

ждать его ответа и выходила из комнаты, чтобы стряхнуть со скатерти крошки, он вдруг озлобленно крикнул ей вслед:

— Бездумная, говоришь ты? Но она потому и ясна, что умела избавить себя от лишних дум. Кому они нужны-то?..

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Эмма чувствует, как она одинока. И все кругом, кажется ей, одиноки, даже имеющие мужей, жен и детей. Странное дело: так много появилось всяких объединений, а люди отдалились друг от друга. Нация? Но немцы ополчились на немцев. Класс? Но одни рабочие голосуют за Пика с Гротеволем, другие — за социал-демократов. Связь по крови? Что в ней, когда отец, Отто и Эмма не имеют общего языка! Только Бигли нужны зачем-то в своих комитетах. Для того, очевидно, чтоб сообща изучать вопрос о прибавочной стоимости...

Но Эмму такое чтение не может волновать. Книги хороши, когда будят чувства. Феодализм, капитализм, социализм... Как все это мудрено. Сколько существует разных «измов». И все-таки Эмме почему-то хочется во всем этом разобраться... Для себя самой, для ясности, чтобы знать, как жить.

Что за эпоха, думает Эмма, когда все вопросы разом встают перед человеком! Для чего ей, Эмме, спрашивать себя о смысле жизни? Мать в ее годы только нянчила Отто и не искала справедливости ни для мира, ни для себя. Пусть писания коммунистов еще не понятны, но она должна знать, правильны ли они.

Не вкушать ненравящихся блюд? Черт возьми, но ведь это тоже формула, тоже теория, которую нельзя запросто принять. А если жизнь будет сервировать блюда, не считаясь со вкусами?

Эмма берет из лавки свежий юмористический журнал, выходящий в Западном Берлине. Господи, и смех-то перестал быть в Германии смешным. Когда она смотрела у отца старый «Симплиссимус», то юмор двадцатилетней давности веселил больше нынешнего. Ну что смешного в вытянутом лице дамы, недовольной тем, что ей преподнесли ко дню рождения цветы, и обрадованной, когда она нашла в букете три угольных брикета? Что смешного в фигуре толстяка, грустно смотрящего на пустую сковороду и кладущего ее под голову, чтобы ему приснилось жаркое?

Эмма ловит себя на том, что ей хотелось бы видеть Вильвицкого. Ей вспоминаются его манеры — одновременно деликатные и угловатые, выдающие неуверенность. И он тоже ищущий, это видно.

Ищущие... Это определение дал, кажется, Бигль. В своей грубовато-непосредственной манере он сказал ей на днях:

— Искания? Я понимаю это. Но под ногами ищут только потерянное, а чтобы найти себя, надо смотреть вперед.

Вильвицкий болен и не приходит к Отто заниматься. Эмма стучит в дверь комнаты брата.

— Почему ты не пойдешь проведать Вильвицкого?

Отто не скрыл своего удивления:

— Он очень интересуется тобой, сестренка?

— Кажется, что не очень. Иначе я вспомнила бы о нем много раньше. Но он должен интересоваться тобой — вы же товарищи.

— Трудно сказать. А впрочем, конечно, товарищи. Я завтра к нему схожу. Передать привет?

— Передай. Что ты делаешь сейчас? Очень занят?

— Могу, если тебе надо, освободиться.

— Пойдем куда-нибудь, все равно куда.

Отто быстро подходит к сестре, целует ее в глаза, щеки и лоб.

— Я в твоём распоряжении, сестренка.

Они едут в «Скала» — известное варьете в американском секторе.

— Ты хорошо придумала, — говорит Отто дорогой. — Мы слишком киснем оба и уходим в себя. Надо чаще развлекаться.

Но развлечение было испорчено тем, что они получили места только в задних креслах второго яруса. Лучшие стоили по двадцать пять марок, а платить такие деньги могли только спекулянты или чиновники из американской администрации.

Вначале демонстрировался обширный киножурнал событий недели чуть ли не в пятнадцать странах мира. Зрители увидели торжественные похороны в Кентукки какого-то знаменитого ипподромного жеребца. Сделанный для него дубовый гроб опускался в могилу огромным краном. Множество народа присутствовало на погребении, ораторы в цилиндрах произносили речи. «Он проиграл с 1939 года только один бега и принес полмиллиона долларов премий», — сказал один. «Он был полезнее, чем любое другое существо, безразлично — зверь или человек», — сказал второй. Затем показана была мастерская скульптора, который отливал для могилы жеребца бронзовую статую.

— Бигль сказал бы, что это издевательство над людьми, — заметила Эмма. — И он был бы, пожалуй, прав. Пусть печалются о лошади те, кто на ней обогащался. И разве можно тратить на погребение животного деньги, которые могли бы накормить несколько семей!

— Да, это прихоть, — мягко согласился Отто.

Зато конкурс красоты в Атлантик-сити Эмму невольно заинтересовал. Надо отдать должное — женщины были чарующими. Из уст зрителей-мужчин вырывались произвольные восклицания восторга, которые, несомненно, не будут прощены энтузиастам их соседками. Даже жюри было смущено этим обилием красавиц, из которых каждая подавляла великолепием лица и форм, и не могло решить, которую из них предпочесть и объявить совершенством. Не определилась и мода на цвет волос, ибо

среди конкуренток были двадцать пять блондинок и двадцать три брюнетки, так что остался неизвестным цвет, в который надо красить волосы на ближайший сезон.

— Зато определилось другое, определилась прическа! — вещает диктор-баритон, и вслед за ним начинается подсчеты диктор-тенор:

— У шести — высокая, у двенадцати — длинные волосы, распущенные до плеч, тридцать вернулись к мальчишеской. Повторяем: у шести — высокая, у двенадцати — длинные волосы были распущены до плеч, тридцать вернулись к мальчишеской.

— Вопрос определен, — снова объявляет баритон. — Проблема решена. Не допытывайтесь, не ищите, все уже известно. Объявляем сезон а ля гарсон, причесывайтесь а ля гарсон!

По экрану проплывает едущий в Скандинавию Черчилль, а его сменяет юбилейное собрание Портлендского клуба в Лондоне — мирового авторитета в области бриджа, решающего все споры о правилах игры.

— Решения его старшин обязательны для всех клубов Англии и колоний, — сообщает баритон, после чего на полотне нехотя показывается скусающий мужчина, кинозвезда Британии номер один — сам Джемс Мэзон.

«Восемьдесят тысяч фунтов в год, восемьдесят миллионов поклонниц в империи!»

Эмма не успевает пересчитать оклад кинозвезды на марки, как зал узнает потрясающую новость, после объявления которой в нем долго не стихает шум.

— Слушайте Париж! Слушайте Париж! — передает известие новый диктор, вещающий, как он заявляет, из лучшего в мире салона мод. — После тридцатилетия господства узких бедер мы снова обращаемся к более полным формам. Сохраняется зато тонкая талия. Вступает в свои права корсет. Мы рекомендуем вам эластичный пояс, мы рекомендуем китовый ус.

Эмма видит, как сидящая впереди нее девушка — немецкая подруга американского солдата — с трепетом оглядывает себя и бросает потом быстрый тревожный взгляд на своего соседа: не покинут ли ее завтра, как вышедшую из моды.

Разговоры в фойе, куда Эмма выходит с Отто в антракте, вертятся вокруг последнего сообщения.

— Это просто реклама корсетных фабрикантов! — громко говорит худощавая миловидная женщина с впалой грудью. — Почему не сказали, чье это решение, кто это установил?

— Аптекари будут иметь теперь хорошие дела, — смеясь говорит приятелю высокий мужчина. — За отсутствием масла девицы станут обкладываться себя ватой.

— О масле я слышал на днях очень нехорошую фразу, — вспомнил Отто. — Это было на студенческом митинге по поводу увольнения профессора Экс. «Я не хочу ни американской, ни советской ориентации, — сказал один субъект с трибуны. — Я пой-

ду за тем, кто даст мне сливочное масло»... Печальные вещи приходится слышать, Эммхен.

— Вы должны были прогнать эту свинью с трибуны.

— Если пить одну горьковатую голландскую траву,— говорит пожилая дама дочери,— можно прибавлять ежедневно в весе по четверть фунта. Но теперь нет импорта...

— Люди здесь еще плохо понимают,— слышит Эмма русского офицера, говорящего с рыжим немцем,— что установление моды на человеческое тело — скотство. Разве женщина болонка, с которой модно или старомодно выходить в тот или иной сезон?

— Да, да, это возмутительно,— поддакивает рыжий.

И Эмма не может понять, соглашается ли он с русским, чтобы не возражать офицеру оккупационной армии, впрямь ли разделяет его возмущение или, быть может, ему сейчас равно безразличны и женщины и болонки.

— Говорят, Джемс Мэзон очень хочет в каком-нибудь фильме играть Гитлера,— доносится до Эммы разговор прогуливающихся сзади нее мужчин.

— Нет, он ставит фильм о Лавале.

— Нам бы здесь такие возможности...

Эмма оборачивается, и мужчины замолкают. Их лица кажутся ей знакомыми. Вероятно, актеры, которых она видела на экране.

Акробаты во второй части программы подняли настроение Эммы и Отто. Сколько тонкости и искусства в движениях этих замечательных мастеров! Как гибки тела людей, вскидывающих себя в воздух чуть ли не до купола и образующих, сплетаясь друг с другом, любые геометрические фигуры! Эмма восхищается, много хлопает, и Отто от души разделяет ее восторги.

Внезапно Отто приподнимается с сиденья. «Это, конечно, она!» — узнал он лицо одной акробатки.

— Что с тобой? — удивилась Эмма.

— Ничего, ничего.

Это было в прошлом году. Отто шел с огородов дяди Иммануэля, неся мешочек, в котором остановившая его женщина угадала молодой картофель.

— Я живу поблизости, офицер...

Отто понравилось, что, несмотря на его прихрамывание, гражданский вид и ношу, незнакомка узнала в нем бывшего офицера. Но еще больше понравилась ему сама женщина. Ей было не больше двадцати пяти. Черты лица были правильны, глаза печальны. Одета она была не крикливо, с изящной простотой. Отто зашагал с нею рядом.

— Неизбежны пятнадцать минут задержки, офицер. Я занята в коротком номере в варьете, что в двадцати шагах отсюда. Вы подождете меня за столиком.

В крохотном зале окраинного кабаре было десятка три миниатюрных столиков, расставленных вокруг полусцены-полуарены,

на которой заканчивала фривольную песенку востроносая и некрасивая певица.

Не успел Отто пригубить принесенное ему пиво, как объявлен был «Центральный номер программы — таинственный мяч». Двое высоких мужчин в зеленых фраках встали друг против друга по краям арены, а из-за занавеса выкатился сине-красный мяч — обычный большой мяч, каким играют дети, — и люди во фраках стали толкать его носками лакированных туфель, направляя игрушку один другому. Вначале они делали это слабо, и мяч просто катался по ковру, потом постепенно они стали усиливать пинки, и мяч стал подпрыгивать в воздухе, а затем ударами заправских футболистов мужчины начали посылать друг другу мяч так, что он уже не прикасался к земле. Отто становился уже скучен однообразный номер, как вдруг мяч опять тихо покатился по ковру, остановился, непонятным образом подпрыгнул, упал и оставался минуто-другую без движения. Затем что-то в нем треснуло, и Отто не успел еще сообразить, в чем дело, как сине-красный шарик превратился в человека в темном трико, и человек этот уже раскланивался, и Отто с ужасом узнал в нем свою незнакомку.

Изумление и отвращение охватили его. Никогда в жизни не видел он ничего подобного. Он не поверил бы, если б не убедился в том собственными глазами, что человеческое тело может настолько терять свои очертания и принять форму точного геометрического шара и сохранять в то же время управление собой. Это был величайший талант тела, но тело это вызывало к себе необъяснимо неприязненное чувство.

Первой мыслью Отто было бежать. Но женщина нашла его за столиком глазами и улыбнулась ему.

— Есть у тебя кости? — спросил ее Отто на улице. — Ты нормальная женщина?

— Ты увидишь это.

— Мне с тобой страшно. Для любви необходимо одухотворение, хоть каплю одухотворения.

— Ты не заметишь его отсутствия, хоть одухотворения я не имею, так же как картофеля. Вероятно, твои товарищи его у меня и отняли.

Своим появлением на сцене «Скаля» она вернула грусть, которую развеяла было внешне веселая и шумная акробатическая группа. Может быть, не только эта женщина, подумалось Отто, но все они, кувыркающиеся перед зрительным залом, не любят людей в этом зале, не верят им или даже ненавидят их. А люди, наполняющие зал, навряд ли не любят друг друга.

— Ты впал в транс, Отто, — говорит Эмма в антракте.

— Я просто вернулся в свое нормальное состояние, сестренка, — отвечает Отто, пытаюсь улыбаться. — У тебя невеселый брат. Развлекаться, Эммхен, надо с другими. Я разыщу тебе завтра Вильвицкого.

— Но, может быть, он совсем не желает быть моим чичероне. Не делай меня в его глазах навязчивой.

Без всякого желания возвращаются они в зал досматривать последний номер программы — многообещающий танец «Пробуждение Будды».

— Чей это бог, Отто?

— Не помню. Кажется, индийский или арабский. Какой-то восточный.

— А мы все-таки мало знаем, Отто.

— Мне, Эммхен, наоборот, кажется, что мы знаем много лишнего. Особенно ты.

— Ну, нет. Бигль, например, подтвердит тебе, что я невежда, ибо понятия не имею о прибылях, борьбе классов и революции.

— Эх, сестренка, не слушай ты этих Биглей...

— Охотно бы. Но я не уверена, что Бигли не правы. Может быть, мы только не сознаем этого.

Будда сидит на постаменте в глубине полуосвещенной сцены. Бронзовый, старый, знакомый по сотням подобных ему статуй, он взят сюда, вероятно, из уцелевшего частного музея, и у Эммы мелькает вдруг нелепая мысль: удалось бы выменять такую статую на продукты? Нет, никто бы, пожалуй, не взял. Потом Эмма закрывает глаза. Вот она только что смотрела на Будду, много раз видела такие же стандартные его изображения раньше, а не может сказать, какие у него руки. Скрещены на груди, отрублены, сложены за спиной? Как это все-таки странно, что у нее нет зрительной памяти. Полгода назад она однажды закрыла глаза, чтобы мысленно нарисовать линию узоров ковра своей комнаты, по которому она столько раз водила пылесосом и который видит у себя под ногами каждый день. Она с первого взгляда отличила бы его среди тысяч других, ей знакомы мельчайшие его потертости, а вот сказать, как же выются на нем узоры, она не может. Личный ли это дефект или он присущ и другим людям? Она хотела это проверить тогда на Марии, но забыла.

Эмма не заметила, когда именно начала на авансцене свой танец молодая женщина в легких одеждах, на которую падали зеленые снопы света прожекторов, делавшие бледным ее лицо и непонятным наряд. Станный танец она танцевала, то быстро передвигаясь на носках вдоль рампы, то падая наземь и раскрывая кому-то объятия с тем, чтобы сейчас же вскочить и невидимого оттолкнуть. То настойчиво нарастающая, то спадающая музыка незнакомого инструмента сопровождала этот танец, происходивший, как поняла Эмма, в храме Будды, на которого прожекторы бросали время от времени бледные отсветы.

Девушка то убегала от невидимого возлюбленного, то приближалась к нему, и в момент, когда он готов был поймать ветреницу, ошеломляющим полупрыжком-полуполетом перекинулась в глубь сцены, и целая волна легких тканей слетела с нее.

Тогда металлический Будда, пребывавший в полуосвещении, вдруг вздрогнул, распрямился, все более очеловечиваясь, протер к девушке свои старческие бессильные руки...

Эмме неловко было посмотреть на брата. Она ждала конца этого танца, но он намеренно затягивался. Эмма чувствовала, что ее присутствие тяготит сейчас брата.

...Они шли молча по темной улице к подземке. Американский сектор города почти не освещался. Одни высыпавшие из театра пары спешили с тротуаров в руины, другие потянулись к свету находившегося недалеко солдатского бара, третьи, как и Эмма с Отто, медленно двигались к щели метрополитена, не обсуждая виденного и ни о чем между собой не говоря.

И вдруг со страстью, которая показала, что молчание не было бездумным, какая-то женщина заговорила с подругой, заговорила раздраженно, нервно и зло:

— Округлые формы! Эльза уехала из Страсбурга в Париж и только через полгода получила работу за девять тысяч франков в месяц. А за обед, пишет она мне, самый паршивый обед в грязном трактире, нужно заплатить пятьсот франков. Она ест жаркое только по воскресеньям и похудела, как трость. В последнем письме она сообщает, что масло стоит две с половиной тысячи франков. Округлые формы, корсет... На чем он, черт подери, может держаться? Мерзость, скажу я тебе, одна мерзость!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

— Оставьте, дорогой мой, это принадлежит прошлому.

Отто смущается. Гольц застал его, когда он рассматривал гитлеровский портрет.

— Должен сказать вам, мой милый, что недавно один швейцарец написал о лице нашего бывшего фюрера целый трактат. Он утверждает, что лицо это отражало полнейшее ничто. Такие лица, по его словам, характерны для уличных фотографов и сборщиков реклам. Две черные точки на месте глаз, другое черное пятно между носом и губами — и ничего больше. Ни божественной искры, говорит он, не было в этом лице, ни добра, ни зла, а только полный нуль. У вас нет, таким образом, необходимости всматриваться.

Гольц положил Отто руку на плечо.

— Я не хочу быть с вами жестоким, мой дорогой. Мнение швейцарца — не мое мнение. Человеку, в которого мы верили, просто не повезло. Но он мертв, и надо придумать что-нибудь лучшее, чем вздох. Не годится, когда люди вашего возраста уподобляются капусте, у которой все хорошее только в земле.

— Не продолжайте! Я никогда не займусь политикой и говорил вам это дважды.

— А я и не собираюсь вовлекать вас в грехопадение. Не считайте себя святым Антонием, а меня — дьяволом. Я не свя-

зан с преисподней и даже не храню под матрацем капсюли от бомб. К вам я пришел не с собрания заговорщиков, а с собрания фарфора.

— Непонятно.

— Был на аукционе. Наблюдал, как растаскиваются последние чашки в доме проигравшегося в покер. С интересом следил, как заокеанские мореплаватели запасаются на нашей суше мебелью розового дерева. Нет, шутки в сторону, это, честное слово, интересно видеть, как переправляются в Гамбург и грузятся там на пароходы шкафы барокко с инкрустациями, сервизы и хрусталь. Посмотрели бы вы, что делается на аукционах. Иностранцы скупили сегодня при мне все чайные сервизы Розенталя, столовые — Хученрейтера и антикварные — Мейсена. Янки открыли еще один обольстительный обменный пункт, куда семьи несут уцелевшие меха, ковры и кольца, чтобы взамен получить кофе и накуриться сигаретами «Верблюд». Все недогоревшее в Германии сгорает сейчас в дыму «Верблюда».

Отто был бледен и вертел в руках пустой портсигар. Гольц раскрыл ему свой.

— Я даю вам валюту. За пару тысяч таких штук иностранцы получают у немца бриллиант. Есть нечто символическое в том, что табак заокеанских сигарет содержит опиум. Но не всегда они считают нужным быть с нами настолько деликатными, чтобы, отнимая наши вещи, предварительно окуривать и оглушать нас. Слышали вы историю с гессенскими драгоценностями?

— Я не читаю газет...

— Живете в скорлупе? Но таких, Отто, вываривают, чтоб получать раковины. Бывает и хуже: обрызгивают лимоном и проглатывают целиком. Вам никуда не уйти, мой друг. Не пытайтесь раздражаться, я говорю не к тому, чтобы вытащить вас из раковины на божий свет. Вы вольны над собой.

— Вы хотели рассказать о гессенских драгоценностях.

— А! Это один случай из тысячи. Иностраный майор из Калифорнии уличен в похищении королевских драгоценностей на полтора миллиона долларов. Его адвокат, полковник той же армии, сообщил газетам, что доверитель его богат, не заинтересован в деньгах и взял вещи лишь с целью привезти деткам европейский сувенир. Газеты все-таки подняли шум. Невежественные журналисты нашли, что отпрыскам хватило бы и более дешевых реликвий. Иностранным гостям пришлось своего майора арестовать. Тогда адвокат сделал сенсационное сообщение. В Кронбергском замке, сказал он, брали все. Сплавленное майором в Калифорнию — ничто в сравнении с отправленным генералами в сорок семь других штатов. Там теперь и ценности последнего германского императора, и вещички наложницы человека, о котором мы с вами знаем, что ему только не повезло.

— Зачем... зачем вы мне это рассказываете?

— Конечно, не для того, чтобы озлобить вас против море-

плавателей, ради нашего спасения переплывших океан. Я говорю совершенно серьезно, Отто. Высадись мы с вами в Новом Свете, разве не захватили бы мы ковры из Белого дома? Мне не жаль для американцев ни чашек, ни серег Евы Браун. Мне не обидно даже, что немецкие спекулянты на центральной площади немецкой столицы предлагают мне американские авторучки и потому мешают производить их моей собственной стране. И я спокойно сознаю, что на вырученные за эти ручки немецкие деньги отсылаются за океан немецкие же подлинники Дюрера. Плохой эквивалент? Ну что ж! Наш фюрер тоже предлагал контрагентам губные гармошки за хлопок и платил балканцам за сырье аспирином. Все это трин-трава, Отто, не так ли?

— Я не пойму вас, Гольц. Зная меркантилизм американцев...

— Он мой союзник, этот меркантилизм. Все наши победители — для меня волки, Отто, и любить нам не приходится ни одного из них. Но и я отношусь к ним по-волчьи и готов перегрызть им горло. Однако учитесь не только скалить зубы, но и обнажать для улыбки. Наш день, дорогой мой, еще придет. Мы снова окажемся с вами в седле, и не надо удивляться моей связи с теми, кто меня сегодня подсаживает в седло.

— И... что же вы при их участии делаете?

— Бомб пока не бросаю. Делаю щетину для щеток, которыми вы начистите потом орла на вашей фуражке. А если вам интересно не только аллегории, то вчера, например, мы разбросали листовки на так называемых народных предприятиях. Но это пустяки. Мы уже устраиваем сборы носителей разных видов оружия, заботимся о том, чтобы созываемые коммунистами собрания не проходили слишком гладко, добываем информацию, инструктируем лидеров некоторых партий... Вы сами скажете мне через некоторое время, дорогой, на каком из этих путей найдет выход сдерживаемая вами энергия.

Отто вскопчил покраснев.

— Оставьте меня в покое, Гольц. Слышите? Вы, вы... — он задохнулся от отсутствия подходящих слов, — беспринципный человек, вот что. Зная, что американские волки хватают последнее на нашей родине... Элементарная последовательность...

Глаза Гольца заблестели и потеряли игривость.

— В политике не может быть того, что вы зовете принципиальностью, — ответил он резко и сухо. — В ней есть только цель. И мы ее добьемся. Вопреки устрицам!

Отто опустил на стул.

— Уйдите, Гольц, — сказал он тихо.

Глаза журналиста снова стали насмешливыми.

— Я уйду, но вы, Отто, ко мне придете.

Он с нарочитой вежливостью бесшумно затворил за собой дверь.

Отто устало положил локти на учебники физики, не замечая, что мнет их страницы. Он закрыл глаза.

— Где Германия? — прошептали вдруг его губы. — Где, спрашиваю я вас, политики, наша Германия? — Он не то всхлипнул, не то застонал и, словно очнувшись, стал вдруг быстро расправлять измятые книжные листы.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Эмма слышала от отца шуточные слова одного французского писателя о том, что человека отличают от животного только денежные заботы. Применительно к самому букинисту это было неверно: думы снедали его больше забот о пропитании. Но жизнь Эммы действительно проходила в безрадостных хлопотах о супах, и она охотно согласилась на предложение Бигля проверить правильность выдачи чулок в магазинах. Одна девушка принесла из хозяйственного отдела районного магистрата скрепленные печатью правомочия, и вдвоем с нею Эмма в течение нескольких дней ревностно обходила галантерейщиков, сличала цифры поступления чулок с числом купончиков, по которым они были отпущены, составляла акты о недостатке и затем написала доклад о торговцах, утаивающих товар и продающих его из-под полы по спекулятивным ценам. Биглю произведение Эммы понравилось, а сама она, испытывая удовлетворение, настойчиво потребовала от Бигля, чтобы «его комитеты» добились наказания торговцев.

— Может быть, ты хочешь заняться еще одним делом?

Довольная в душе его предложением, Эмма, однако, насмешливо спросила:

— Ты что же, «охватывать» меня собираешься? Или, как у вас еще говорят, вовлекать, втягивать, приобщать?

Бигль пожал плечами.

— Я просто предлагаю тебе нужное дело. А в хорошие занятия честный человек вовлекается сам.

Поручение было большое и хлопотливое, но Эмма внутренне обрадовалась, что оно займет ее на сравнительно долгое время. Речь шла об обследовании квартир, гостиниц и других помещений, в которых можно было бы дать кров бездомным, одолевавшим районные власти просьбами о предоставлении жилья. Эмма вошла в одну из многочисленных комиссий, тщательно обходивших огромный район, и ей поручено было обследовать ее собственный и соседний кварталы.

Работа не только заняла Эмму, но поглотила ее мысли, принесла неожиданные волнения и неизвестные прежде радости. Волнения вызывало упорство эгоистических старух, которые занимали с подагрическими мужьями или изнеженными кошками четырех- и пятикомнатные квартиры, но не хотели выделить ни одной комнаты для беженцев и переселенцев. Радостно было, когда удавалось найти помещение. Всегда считавшая себя сдер-

жанной, Эмма с удивлением чувствовала, как в ней росло горячее желание отыскать побольше жилья, появлялась ненависть к бездушным, замкнувшимся в своих квартирах женщинам. А когда она прибегала в управление бургомистра со своими сообщениями и с ней советовались, куда и какие семьи можно вселить, она испытывала такое ощущение, будто сама построила для бездомных эти комнаты.

— Вот благодарна будет вам фрау Хеннекер с тремя ребятами... — сказал ей однажды заведующий жилищным отделом.

И Эмма неожиданно для себя самой предложила помочь женщине перебираться, побежала хлопотать о грузовике и таскала потом на четвертый этаж чужих детей и чужой скарб.

Ее собственная улица приобрела какую-то новизну. Эмма стала замечать бреши в стенах, которые сравнительно легко было заделать, крыши, поддававшиеся починке, пустующие склады, которые можно было перестроить под жилье. Она поняла вдруг, почему не знала узоров своего ковра, — Эмма всегда смотрела на него пустыми глазами.

В жилищном отделе она делилась с заведующим этими мыслями, и он сказал ей однажды, что по ее примеру поручил другим обследователям тоже собирать такие сведения:

— Они помогут нам составить хозяйственный план.

Благодаря стараниям Эммы, в квартале разместили почти три десятка бездомных семейств, и квартал заговорил об этом на все лады.

Раньше Эмма равнодушно здоровалась с соседями, и те отвечали ей такими же равнодушными улыбками. Теперь безразличие к ней исчезло, у нее появились друзья и враги.

— Вы дельная девушка, — сказала ей фрау Пеппер.

— Знаешь ли, сестренка, что тебя зовут коммунисткой? — мрачно сообщил как-то Отто.

Эмма была поражена.

— Почему меня так называли?

— Не знаю. Ты занимаешься, прости меня, несвойственным женщинам делом, вызываешь разговоры...

— Я взрослый человек, — оборвала его Эмма, — и... пусть обо мне говорят, что хотят!

Большой скандал произошел с Найдером. Узнав, с какой целью пришла дочь букиниста, он отказался пустить ее дальше передней.

— Я сейчас же сообщу об этом в магистрат! — вознегодовала Эмма.

Найдер побагровел.

— Хотя бы даже Пику и Ульбрихту! А вашему почтенному отцу передайте, пожалуйста, что мне его глубоко жаль.

И Найдер повернулся, оставив Эмму в передней.

Бигль воспринял это известие без удивления.

— Теперь ты сама видишь, Эмма: под коммунизмом бога-

тые понимают все честное и порядочное, что делается для бедных людей. И это правильно, честное слово, правильно. И тебе, наверно, стыдно, что ты взялась укрывать шкафы этой свиньи.

Эмма покраснела.

— Это отвратительный эгоист,— сказала она.— Его оскорбления я ему не прощу.

— Не разменивайся на личные обиды. Их будет много. Ненависти не надо впустую растрчивать. И помни, что при такой деятельности, как твоя, только десять человек будут враждебны к тебе, а девяносто из ста превратятся в друзей.

В правоте этих слов Эмма убедилась через короткое время, когда по приглашению хозяйственного управления бургомистра занялась новым делом — проверкой положения переселенцев, просивших детскую обувь, штанишки, кастрюли, белье, кровати, пальто. Она обходила с новыми подругами людские жилища, осматривала, выслушивала, записывала и, неожиданно для себя самой, то чувствовала слезы на глазах, то находила, наоборот, резкие слова отказа. Одна женщина написала восемь ходатайств о выдаче шерсти на платье, но имела дома полный гардероб. Эмма с негодованием разругала жадную ханжу, но в те же дни десятки других людей пожимали ей руки с благодарностью за участие и помощь. Ложась усталая в постель, Эмма испытывала уважение к себе, как к мудрому судье.

— Сядь возле меня, дочка,— предложил однажды старик Фельдмайер.

Лицо его морщилось от болей, мучивших его в последние дни, и Эмма знала, что отец заставил Отто, у которого дрожали от неуверенности руки, сделать ему укол атропина. Он сидел в кресле, отложив в сторону очки и книгу, и смотрел на дочь мягко, без раздражения, хотя она была в халате, чего он не любил.

— Я хотел сказать тебе,— начал он медленно, ища слов, что было ему несвойственно,— я хотел сказать, что ты на неправильном, да, неправильном, мне кажется, пути.

— Что ты имеешь в виду, отец?

— Твой неожиданный уход в политику, даже, может быть, в коммунизм...

— Я не коммунистка, отец.

— Нет, нет, не перебивай меня, ты слушай. Я ведь, ты знаешь, передумал очень многое и хотел бы... ты же у меня одна дочь, я хотел бы поделиться, что ли, дать совет.

Необычная для отца неуверенность в подборе слов, сомнение в том, что дочь захочет его слушать, страдания, которые он превозмогал, и волнение в его голосе вызывали в Эмме нежность к отцу. Она взяла его руку со вздутыми синими венами и поцеловала ее.

— Папа, дорогой, не сомневайся, что я постараюсь понять и взвесить все, что ты скажешь. Ты, вероятно, печалишься о

том, что у такого отца, как ты, уродилась легкомысленная дочка, которая не читает ученых книг...

— Ах, нет, нет, девочка, наоборот. Я хотел сказать, что желаю тебе душевного покоя, которого лишен в жизни сам. Человеческому надо прожить свою короткую жизнь, избегая лишних дум и волнений, которые порождаются противоречивыми лозунгами. Их было много, дочка, и много еще будет. Я знаю, ты честная девочка, и тебя потянуло туда, где, как тебе показалось, ты нашла правду. Но она всегда только чудится, девочка. Идеалы, Эммхен, переменчивы, оценка истории гадальна, а старость неотвратима, и я хочу поэтому, чтобы ты жила без душевной борьбы, без того, чтобы искала пути и билась за цели, о которых еще не известно, хороши они или нет.

— Как, неужели, папа, мне уйти в бездумье и безделье? И это сейчас, в эпоху, когда Германия...

— Что сейчас? Что это за особая эпоха? — Нотки неуверенности исчезли в голосе старика. — Каждому поколению кажется, что именно его время намечено судьбой, богом или случаем, чтобы что-то осуществить, чего не сделала вечность. И в каждую эпоху их мир представлен так же ограничен, как в предыдущую и последующую. — Фельдмайер почти выкрикнул эти слова, затем стих и продолжал уже печально: — Во все времена, с тех пор как человек перестал быть обезьяной, он все рвется познать смысл жизни, который остается для него за семью печатями, а текст книги вечности не меняется.

Мешки под глазами старика дернулись от боли.

— Дай мне, Эмма, порошок со стола... Так, теперь немножко воды... Спасибо... Сколько бы мы ни искали, а дойдя до такого вот состояния, как мое, когда приближается... тут-то мы упираемся в неизвестность, которую ни книгам, ни партиям не преодолеть и даже не раскрыть. И понимаешь тогда, что человек — капля в море времени, и ничего не дают раздумья, цели, борьба за них и даже достижение их... Там кто-то стучит, Эмма. Нет? Значит, мне показалось. Слишком обостренный слух. Признак болезни. Так вот, дочка, с битвами или без битв проживешь ты свою жизнь, все равно она со всеми ее стремлениями, падениями и восхождениями покажется тебе перед концом такой же нелепостью, как игра мотыльков, бьющихся о лампу...

Эмме стало не по себе.

— Твой брат, — продолжал отец, — бежит от политики, как дитя от розог. Он запуган ею, а ты... я хочу, чтоб ты, дочка, преодолела политику и стала над ней.

— Я не пойму, папа.

— Каждый человек, Эмма, стремящийся к идеалу и приспособляющийся к нему, представляет жалкое раздвоение личности. Человек истинного интеллекта никогда не падет до того, чтобы следовать лозунгам. Мыслящий человек старается держаться вдалеке от односторонней и упрощающей формулы...

Вспомни, как немецкий олимпиец писал о поэте. Он стоит слишком высоко, чтобы примыкать к какой-нибудь партии... Гёте восклицает устами Тассо:

Свободным быть хочу я в мыслях и твореньях.
Достаточно того, что в действиях меня стесняет мир.

Внемли ему, дочка. Ты — не поэт, но не давай налагать на себя духовные оковы. Люби, рожай, пой, читай, смейся и говори всегда только то, что думаешь, а не внушенное тебе или требуемое от тебя. Не поддавайся людям, которые хотят, чтоб действительность приспособилась к их теориям.

Старик замолчал. Эмма снова взяла его руку и стала гладить ее со всею нежностью, на которую была способна. В ней заговорило раскаяние: как могла она до сих пор оставлять без дочерней ласки этого одинокого и старого человека, своего родного отца? А отец, как бы поняв ее мысли, заговорил о своем прошлом:

— ...Это было там, в Романском кафе, на углу Тауэнтцинштрассе. Теперь этот дом разбомблен, не существует. А тогда, после Гогенцоллернов и до Гитлера, там собирался за мраморными столиками цвет немецкого гения. Я разговаривал о бесконечности с Эйнштейном, спорил о судьбах государств со Шпенглером, беседовал об искусстве с Гауптманом и обменивался мнениями о силе газетного слова с Гарденом и Тухольским... Для тебя, девочка, это неизвестные имена, но это были светочи мысли и свободного пера, и они ценили беседы с твоим отцом, который был только букинистом, а назывался ими «Шопенгауэром».

Старик снова умолк.

На этот раз Эмма не дождалась возобновления разговора. Отец погрузился, вероятно, в воспоминания. Он закрыл глаза. Эмме показалось через некоторое время, что он задремал, и она встала тихо, чтобы не потревожить его сон. Но когда она открыла дверь, старик, очнувшись от забытья, не прервавшего его дум, сказал ей неожиданные слова, заставившие Эмму удивиться и покраснеть:

— Я хочу еще, Эммочка, чтобы ты... устроила свою личную жизнь.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Дядя Иммануэль сиял. В Париже соберется в будущем году «Комитет европейского единства». Договорились! Сближаются нации, не будет войн! Французы спорят теперь с англичанами только о том, создавать ли континентальный парламент или правительство. Германию, если она не станет большевистской, примут в семью наций. Так постепенно осуществится мечта первых

христиан. Недаром папа поддерживает это объединение. Люди устали от раздоров и войн, они начинают понимать, что государство — это земной шар, нация — люди, а религия — любовь к людям. Пройдут еще короткие годы — в одно государство с Европой соединятся и другие континенты.

— Чушь! — вяло отвечает букинист, еще не оправившийся от приступа болезни, но уже обретший свою постоянную желчность. — Эти господа дают еще одно из многих доказательств, что мир твой не способен на новые выдумки. Это идея семивековой давности. Еще Данте полагал примирить монархов, которые носятся с идеями завоеваний, передав их власть всемирному монарху, которому тогда ничего не останется желать и не с кем будет воевать.

— Позволь, позволь! Разве оттого, что кто-то высказал в свое время эту мысль, она становится непригодной? Разве не ясно тебе, — волнуется дядя Иммануэль, — что национальные понятия — это сегодня провинциальные понятия?

— Мне ясно другое, — отвечает букинист. — В провинцию собираются обратить твою собственную страну. И если о человеке сказано, что он полузверь-полуангел, то единое правительство создается не для того, чтобы умерить в нем первого и дать расцвести второму.

Сапожник Пеппер, который приходит в лавку набираться ума и, послушав ученые споры, обсуждает их затем дома со старухой, решает вставить собственное слово:

— Нам, я думаю, ни к чему объединяться с Европой. Мы и так в Европе. Дали бы нам только спокойно жить.

Эмма не в состоянии больше слушать эти бесплодные разговоры. Легковерие дяди, холодный скептический душ, которым окатывает собеседников отец, вечные вздохи лавочников и ремесленников — они больше невыносимы. Неужели и в остальных букинистических лавках, — а их в Берлине, говорят, тысяча, — каждодневно ведутся такие же беспредметные, разъедающие душу разговоры, в которых одни люди, вроде дяди, делаясь обрывками чужой сомнительной мудрости, а другие, как Пеппер или Шнитке, кряхтя обсуждают их?

Отец говорил однажды, что берлинские книжные лавки всегда служили, подобно пивным, клубами, где простые маленькие люди усваивают «интеллектуальный критицизм». Но они не усваивают здесь самого важного: как жить и что делать. Отец приучает их не ограничивать себя никаким мировоззрением или, иначе говоря, ни во что не верить. Все, что он говорит, падает на благодарную почву, потому что эти люди и сами привыкли не верить ни заказчику, ни поставщику сырья, ни правительствам, от которых всю жизнь слышали только обещания. Но разве неверие — это евангелие, по которому можно жить?

В конце прошлого века один берлинский букинист издавал «Газету для не политиков» — нечто вроде корана отрицания, —

и несколько экземпляров газеты, помеченные летними датами 1881 года, бережно хранятся отцом среди других его антикварных ценностей. Эмма просматривала пожелтевшие страницы, на которых утверждалось, что «последователи политики князя Бисмарка, как и сторонники господина Бебеля, видят только одну сторону каждого вопроса и потому не видят ничего. С наблюдательной вышки не участников все на плоскости значительно зримей и все обнаруживается как плоское». Но что дало людям то обстоятельство, что этот книготорговец взбирался на наблюдательную вышку? Они не стали от этого ни лучше, ни умней и только учились бездеятельности и словоблудию. Нет, нет, из этой лавки надо на воздух, на воздух!

Эмма осуществляет свое желание буквально и выходит из дому. Она решает побродить по улицам, но почти у порога сталкивается с «американцем» Шраммом. Он в безукоризненном светло-сером спортивном костюме, ярком галстуке и с подчеркнутым удовольствием снимает, здороваясь, мягкую шляпу. Лицо его изображает широкую улыбку.

— Как я рад видеть вас, фрейлейн! Скучаю, откровенно говоря, в вашей глуши.

Они пошли по направлению к Александерплатц. Шрамм стал жаловаться на отсутствие удобств и развлечений в берлинской жизни.

— В Нью-Йорке, если вы с деньгами, к вашим услугам семь тысяч баров и полторы тысячи кабаре. А здесь некуда пойти.

— И вы все время проводили в барах?

— Нет, зачем? Если я оставался дома, то тоже не скучал. Достаточно было включить приемник, чтобы услышать от Уолтера Уинчелла,— это у нас радиокомментатор такой,— интересные скандальные истории о разных актрисах. А когда мне это надоедало, я мог просматривать комикс — маленькие забавные истории в журналах. Здесь ничего этого нет. Радио тут похоже на сухой оркестр, которого я терпеть не могу.

— Ну, а кроме комиксов вы там что-нибудь читали?

— Бывало, и даже часто. У нас ведь это легче, чем тут. Есть фирма, посылающая на дом книжку, которую воскресная газета назвала самой занимательной за неделю. Это большое удобство. Стоит шестьдесят долларов в год и избавляет от необходимости искать и подбирать книги.

— Я не пойму, господин Шрамм, если у вас жизнь так хороша, весела и удобна, зачем вы возвратились сюда?

— Возвратился? — Шрамм был искренне удивлен. — Я приехал делать дела.

Теперь, в свою очередь, поражена была Эмма:

— Дела? В нашей нише Германии?

— Вот именно. Если они вас, фрейлейн, интересуют,— а вы, мне помнится, высказали желание разбогатеть,— разрешите повезти вас в одно не очень уютное место возле Курфюрстен-

дамма, где на наш столик подадут французское вино и коньячок, и мы будем спокойно и откровенно беседовать.

— Нет, нет, простите, я ведь еду по делу, мне сюда, — сказала Эмма, обрадовавшись, что уже подошли к станции подземки.

— Очень сожалею. В таком случае, рад буду вашему деловому визиту ко мне. Кстати, ваша подруга, фрейлейн Ширлингер, уже включилась в дело, бывает у меня, и я испытал бы удовольствие, если бы вы к ней присоединились.

Так вот почему Марии давно не видать — она занялась какими-то делами!

Из подземки, в которой оказалась поневоле, Эмма вышла на первой же станции — на Фридрихштрассе. Когда-то шумная торговая артерия, эта улица была совершенно разбита и пустынна. Ни одного, буквально ни одного сохранившегося дома не было на улице, и только в подвалах или уцелевших кусочках первых этажей какие-то предприимчивые торговцы открыли магазинчики-конуры. Но что это? Знакомая с детства вывеска «Короля волшебств»! Волнуясь, Эмма вошла в знаменитый некогда дом чудес, где ребенком проводила целые дни и откуда ни за что не хотела уходить.

«Ты же умная девочка, — уговаривала ее мать, — ты видишь, волшебный король хочет спать, он рассердится на тебя, что ты мешаешь ему».

Нынешнее помещение совсем не напоминало прежнего роскошного дворца короля. Он много раз переносил свою резиденцию из разбомбленных домов. Из тысячи волшебств, которыми прежде поражал он воображение, остались теперь только немногие. И все-таки тесное помещение до отказа было набито бедно одетыми людьми всех возрастов. Они с детским любопытством ощупывали и осматривали таинственную шкатулку, то пустую, то наполнявшуюся вещами, то испарявшуюся вообще. Они застывали с раскрытыми ртами, когда, вопреки законам физики и их жизненному опыту, книги и кошельки оставались неподвижными в воздухе или даже подымались вверх. Они лишались дара речи, когда в листках бумаги, ими самими свернутой в тюбики, оказывались вдруг шарики, гвозди и даже футляры от очков. Заколдованными и таившими чудеса оказывались все вещи в помещении, и, когда хозяин фирмы показался из внутренней двери, чтобы сообщить о закрытии зрелища, люди перестали верить своим глазам, ибо у говорившего была только голова и отсутствовало туловище.

— Как в сказке! — сказала очарованная худенькая девушка, выходя с Эммой из помещения.

— Почему в сказке? — Господин в старомодном золотом пенсне и заплатанном костюме вскинул голову. — Это — факты, явь, реальность, а продовольственные карточки и эта мертвая улица — выдумки, фантом, наущение дьявола.

Он исчез в темноте.

— Больной, — сказала девушка. — Впрочем, теперь многие говорят так, что их нельзя понять.

Они пошли вместе к метро.

— Вы в советском секторе живете? — спросила попутчица и, не дожидаясь ответа, продолжала: — А я у французов. Плохо. Угля совсем не дают. Неизвестно, что будем делать зимой. У русских-то вы в этом году уже не мерзли. Почему вы одна? У вас тоже нет возлюбленного? — смутила она Эмму неожиданной переменной темой и, снова не дожидаясь ответа, сказала мрачно: — Хуже всего, что работы нет. Отец был бухгалтером на фабрике электродов, но их привозят из Америки, хозяину некуда было сбывать товар, и он всех рабочих и служащих уволил. Мы продали буфет и мой велосипед, купили машину для меретки, я два месяца училась на ней работать, а заказов нет.

Она замолчала на миг и продолжала:

— Я вам откровенно скажу, хорошо было бы, чтоб во всем Берлине управляли коммунисты и все было бы так, как в России. Там запрещены хозяева, но какой нам, в конце концов, от этого урон? Правда, в России, говорят, мало танцуют фокстрот. Но ведь можно танцевать другие танцы, не правда ли? Зато у русских все имеют работу, и даже, говорят, всюду висят объявления, что нужны рабочие и бухгалтеры. А ведь это самое главное, не правда ли? И еще русские заставляют все население учиться и сдавать экзамены. Но ведь это можно одолеть в конце концов, не правда ли?

Они вошли в метро.

— Знаете что? — предложила девушка. — У меня есть знакомая билетерша в одном варьете, она нас впустит. Хотите?

Домой Эмме, во всяком случае, не хотелось идти. И они поехали в варьете. А новая знакомая продолжала без умолку говорить всю дорогу.

— Если б я жила в вашем секторе, то обязательно выучилась бы русскому языку и стала бы переводчицей. Это ведь хорошая специальность, не правда ли? Французскому мне не имеет смысла учиться, его знают все эльзасцы, все парни, побывавшие во Франции, и вообще он не может дать работы. Знаете, мы так расканваемся, что купили мерехную машину! Если б вместо нее мы приобрели аппарат для починки чулок, я бы зарабатывала целое состояние. У меня бы отбою не было от заказчиц, потому что у всех есть только рваные чулки и ни у кого нет новых. А знаете, какая есть еще специальность? Но я на это не пошла, я чуть не дала ему по морде.

Девушка вдруг замолчала.

— Кому? Что это за специальность?

— Да, видите, американец один предлагал. Сержант. Я познакомилась с ним в том самом варьете, куда мы с вами едем.

Он нашел, что у меня такая фигура, какие нравятся их парням. А у него фотоаппарат, и он тайно изготавливает пакостные открытки. Он продает потом эти открытки товарищам по пятнадцати долларов за альбомчик и деньги отсылает домой. Мне он предлагал по двадцати марок за съемку. Когда я хотела ударить его по носу, он схватил меня за руки, стал успокаивать и сказал, что делает это только из-за необходимости накопить денег в Германии, так как в Америке он будет таким же безработным, как мой отец здесь.

— А я все-таки дала бы ему по морде,— сказала Эмма.

— А, бог с ним. Есть еще такая специальность — войлочные туфли. Один знакомый рабочий доставал, а может быть, крад войлок на фабричке своего хозяина и продавал его нам, а мы с мамой шили из него туфли, домашние такие — знаете? — для зимы. Мы их продавали по двенадцать марок за пару, и они хорошо шли. Но в этом году фабрика начала выпускать другие изделия, и войлока не стало. Нет, надо иметь какую-нибудь твердую профессию,— заключила девушка.

Знакомая билетерша впустила их в зал, но девушкам пришлось весь сеанс простоять, прислонившись к стене, так как не оказалось свободных мест.

Ни в антрактах, ни после окончания программы к девушкам никто не подошел. Американские солдаты пришли сюда со своими немецкими подругами.

— Янки на нас совсем не смотрят,— с досадой сказала девушка.— Можно подумать, что мы — рожи.

— Но разве вы пошли бы с солдатом?

— Что вы! — возмутилась девушка.— За кого вы меня принимаете?

— Так почему же вам досадно, что вами не заинтересовались? Сколько в нас еще странностей, которые надо изживать!

Эмма сказала эти слова и вспомнила, что слышала их от Бигля, но теперь они произвольно пришли ей на ум.

Она рассталась со своей случайной подругой в подzemке и почти в полночь вернулась домой. Из комнаты отца виднелся свет, у брата было темно. «Ну вот и убила время»,— подумала Эмма, раздеваясь. И как только она сказала себе это, в ней вспыхнули горечь и озлобление против самой себя: «Убила! Уничтожать самое ценное и неповторимое, вместо того чтобы каждый день и час использовать для чего-либо разумного и наполняющего душу удовлетворением! Нет, вгрызаться зубами надо во время, задерживая его бег, чтобы ни об одном из дней никогда не пожалеть. Жить, полноценно жить для себя и для людей, действовать, волноваться, стремиться, одолевая и тогда уже не хихикать, а во весь голос смеяться!» И она почувствовала, что в ней укрепляется решение.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Должность секретаря-инспектора, на которую Эмма принята была в районное управление бургомистра, только первые дни пугала ее своей сложностью. Тогда ей казалось, что она взялась за непосильное дело, для которого нужно знать бесконечно много. Универсальность самого бургомистра ее поражала. Она вначале даже не понимала содержания всех разговоров, которые в своем кабинете вел этот человек с утомленным лицом и молодыми глазами. Бургомистр пояснял способы скорейшего возведения крыши над разбомбленным театром, владетель которого бежал в сорок пятом на запад: он говорил по телефону о курсах подготовки студентов в строительный институт, затем выяснял запасы жиров на складах, ездил в трамвайный парк, чтобы ускорить ремонт вагонов. И занимался еще десятками дел. Этот человек знал, казалось, все и не знал только устали. Но постепенно Эмма постигала искусство налаживания жизни и удивлялась уже не кругу вопросов, которыми занимался бургомистр, а ясности, с какой он решал их.

Она докладывала бургомистру ходатайство предпринимателя, просившего сдать ему в аренду песчаный карьер на окраине города для постройки стекольного завода. Бургомистр отвечал отрицательно:

— Это не хрусталь, а оконное стекло, и оно остро нужно теперь всему населению. Нельзя, чтобы его выработка и использование зависели только от частных лиц. Карьеры должен разрабатывать город.

Жители одного дома просили предоставить им участок под огород.

— Это можно бы сделать, — ответил бургомистр, — но рядом находится школа, и детские завтраки в ней очень плохи. Я достану семена, и школа использует участок для улучшения детского питания.

Сорок восемь семейств, пострадавших от бомбежек, но имевших некоторые сбережения, просили разрешения построить домики в расчищенном от руин квартале. Бургомистр собрал этих людей.

— Тратить материалы на хижины — не хозяйственно. Застраивать ими Берлин тоже нельзя. Потомство не простит нам порчу столицы. Соедините ваши средства и силы, стройте большой многоквартирный дом. Это наилучший выход для вас и помощь восстановлению города из праха.

Переселенцы, составлявшие последний контингент безработных Восточного Берлина, жили в особенно тяжелых условиях. Бургомистр решил:

— Десять тысяч судеб не могут быть устроены на десять тысяч ладов. Создадим мастерские, а для не имеющих профессий — специальные школы.

Чувствовалось, что решения, которые принимал бургомистр, он подчинял единой цели и всегда знал, чего хочет.

Эмму, как и других сотрудников, он учил терпеливо и требовательно. Однажды он послал Эмму на руины, где по его инициативе размалывался битый камень, и поручил ей узнать, сколько выработано строительного материала. Эмма добросовестно обошла кварталы, где установлены были камнедробилки, записала цифры и возвратилась с ними к бургомистру.

— А сколько они дадут в ближайшие дни? Почему на Рюбенштрассе сделано в полтора раза меньше кирпича, чем на Циннерштрассе, хотя аппараты одинаковы? Знают ли люди о выработке соседних бригад? Есть ли у них жалобы и что можно для них сделать? — забросал он ее неожиданными вопросами.

Эмма растерялась.

— Вы мне не поручали этого узнавать, господин Гайдауэр, и я не поинтересовалась...

— У коммунистов принято интересоваться всем, — раздельно сказал бургомистр. — Вы, правда, не коммунистка, но честный и мыслящий человек. Вдумайтесь на досуге в это замечание.

В другой раз Эмма докладывала бургомистру, что пятьсот кафелей, доставленных фирмой для облицовки печей в ремонтируемых квартирах, не приняты районным архитектором из-за плохого качества. Она сличала договор с заключением архитектора, переговорила со сведущими людьми, установила виновность фирмы и даже выяснила у юриста возможность взыскания неустойки. Эмма была довольна собой и обстоятельностью своего сообщения. Это не ускользнуло от Гайдауэра.

— Очень хорошо, фрейлейн Фельдмайер. О народных средствах всегда нужно заботиться. Но марками мы печи не выложим. Узнали ли вы, кто может быстро поставить другой кафель, чтобы не задержать ход работ?

Эмма была убита.

— Пожалуйста, помогите в этом вопросе архитектору, — попросил бургомистр, не замечая растерянности своего инспектора, и протянул ей руку, — а за взыскание неустойки спасибо. Деньги малые, но нужно приучить предпринимателей к тому, что обязательства перед народными стройками — святы.

Однажды Эмма обратилась к бургомистру с личной просьбой. Накануне к ней по-соседски пришел Крент, который продал обе свои машины и поступил механиком на народное предприятие. За ним осталась налоговая недоимка. Нельзя ли снять ее, поскольку он перестал быть владельцем гаража? Эмма просила бургомистра приказать налоговому инспектору сделать это.

Гайдауэр нахмурился.

— Нет, фрейлейн Фельдмайер, во-первых, я не сделаю этого в ваших личных интересах. Ни Крент, ни кто-либо другой не должен думать о сотруднике магистрата, что в решении вопро-

сов он руководствуется личным расположением. Во-вторых, эта поблажка была бы нечестной в отношении других налогоплательщиков. Договоримся, фрейлейн Фельдмайер: если вы услышите о несправедливости, обращайтесь ко мне во всякое время без колебаний. Это, если хотите, мой приказ. А просьб об отступлениях от справедливости не передавайте мне и не выслушивайте сами.

Как отличался этот человек от тех, с которыми раньше встречалась Эмма! А беседы, которые раз в неделю по вечерам он вел с молодыми сотрудниками районных учреждений, еще выше поднимали ее уважение к нему. Гайдауэр не скрывал, что ведет эти беседы по поручению партийной организации как пропагандист. И эта пропаганда во многом явилась для Эммы откровением. Экономические понятия, которые казались ей прежде скучными и надуманными, стали теперь почти что наглядными, а сами беседы были так любопытны, что она не замечала усталости и тогда, когда они затягивались за полночь...

Однажды Гайдауэр открыл отдел «Паноптикум» американского иллюстрированного журнала, в котором сообщалось о миллиардерше, сделавшей из золота дверные ручки в своем дворце.

— Ну, это просто чудачество,— заметил один из слушателей.

— Но на стоимость этих ручек нуждающиеся могли бы приобрести себе двадцать тысяч фунтов масла,— сказал Гайдауэр.— Подумайте, терпимы ли общественные условия, при которых возможны подобные чудачества?

— Я сам,— возразил молодой человек,— видел недавно в вечерней газете заметку об испанском герцоге, который израсходовал на свадьбу дочери столько денег, сколько стоят парцеллы двухсот крестьян. Такие случаи, конечно, возмутительны, но они все-таки только шальные причуды единичных богачей.

— Будьте логичны,— сказал Гайдауэр.— Если эти причуды кажутся вам недопустимыми, то почему допустимо, что ежегодные личные расходы семьи Круппа равны бюджету тысяч его рабочих? Почему сознание людей мирится с тем, что под частными охотничьими заповедниками в Англии занято больше земли, чем имеют ее крестьяне? Почему считались в порядке вещей прибыли концерна Флика, на которые можно содержать в бесплатных санаториях треть всех туберкулезных больных Германии? И почему не кажется вам вопиющим тот факт, что все состарившиеся рабочие Рокфеллера получают меньше пособия, чем тратится на личную челядь этой семьи? Нет, друзья, если вы считаете богачей шальными, то должны понять ненормальность самого устройства такого мира, в котором крохотная группа людей имеет шальные миллионы.

Да, логика была на стороне коммуниста.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Мария Ширлингер пришла в туфлях из крокодиловой кожи на высоких каблуках, в новом сиреновом платье из креп-сатена, и на груди у нее красовалась брошь с аквамаринами. Все у нее было новым — шляпка, сумочка, пудреница и затейливый карандаш для губ. Она принесла Эмме плитку шоколада и стеклянную палочку с эссенцией духов, весело сказала, что начинает приобретать жизненные козыри, назвала Шрамма продувной бестией, от которого имеет, однако, свою частицу в прибылях, и, хотя в смехе ее было нечто нервное, смеялась много.

— Что же ты все-таки для него делаешь? — спросила Эмма.

— Это он скажет тебе сам. Во всяком случае, мое занятие легче, чем у носильщика на вокзале ЦОО. В этой роли я случайно видела твоего Вильвицкого.

— Как? Разве он уже здоров?

— По крайней мере, я видела его неделю назад с чужими чемоданами в руках и бляхой на груди. Значит, одной физикой прокормиться невозможно. Господин студент прирабатывает. Ну а я у Шрамма чемоданов не таскаю. Я приезжаю в машине, и поклажу носит за мной шофер.

— Не понимаю.

— Поймешь. И через полгода у меня будет достаточно средств, чтобы купить себе мужа.

— Что ты такое говоришь?

— Я называю вещи своими именами. Читала ты на днях в вечерней газете сообщение о сорокалетней женщине, искавшей через газету спутника жизни и получившей две тысячи четырехста тридцать семь телеграфных и почтовых предложений? В ее объявлении говорилось о пятикомнатной квартире и регулярном получении из Америки двух продовольственных посылок в месяц. Женихи, как видишь, товар, который надо покупать, что, впрочем, я говорила тебе всегда. И я сколочу себе теперь денег на такую покупку. Но не будем задерживаться. Шрамм ждет нас, а он даст тебе больше, чем твой магистрат.

Любопытство Эммы было возбуждено. Она надела свое коричневое шерстяное платье, переделанное из оставшегося от матери, и пошла с Марией к «американцу». В этом доме Шрамма Эмма и раньше случайно бывала несколько раз. Владелец гаража занимал пятикомнатную квартиру во втором этаже углового дома, низ которого почти целиком занят был грузовыми и легковыми автомобилями, ремонтной мастерской, складом частей и шин. Это был один из самых больших гаражей Пренцлауэр Берга, и в квартире владельца царили покой и порядок, свойственные жилищам этого круга людей; тисненные золотом, но никем не читаемые книги за толстым шлифованным стеклом, тяжелые багеты, обрамляющие на стенах портреты предков, горки с хрусталем, ежегодно пополняемые рождественскими подар-

ками таких же степенных семейных знакомых. От этого чинного порядка теперь, с приездом богача «американца», не осталось никакого следа. Гостю отведены были две комнаты, сплошь заваленные чемоданами разных форм и размеров. Горки из-под хрустала спущены были вниз на склад, хрусталь уложен в ящики. На месте портретов папы и мамы Шраммов висела большая карта автомобильных дорог Германии. Всюду валялись коробки из-под сигар, пакеты жевательной резинки, иллюстрированные журналы с яркими обложками, справочники пароходных и авиационных рейсов, бутылки кока-колы, сельтерской и вина.

У Шрамма были гости — американские девушки, которых Эмма не ожидала здесь встретить. И еще меньше ожидала она увидеть зеленые и фиолетовые волосы, каких никогда не видела до сих пор. Американки вообще смутили ее своей необычностью: у обеих блестели красным лаком ногти на пальцах ног, выглядывавших из открытых туфельных носков, обе поражали своей одеждой. На одной из девушек была кофточка, вышитая и разрисованная именами друзей, пожеланиями и даже портретом молодого человека, в котором Эмма узнала молодого американского киноартиста; другая была в зеленом платье, на локтях которого висели миниатюрные туфельки, на спине болтались игрушечные игральные карты, на левом плече — трехсантиметровый цилиндр. На платье было много и других бренчавших и звеневших стеклянных, металлических и пластмассовых побрякушек. Обе девушки сидели в креслах, причем ноги одной покоились на диване, другой — на курительном столике. Они дымили сигаретами и потягивали коктейль, который Шрамм тут же делал в крюшоннице, опорожня в нее жестяные банки ананасного сока и какие-то замысловатые бутылки.

Эмма сначала растерялась при виде непривычных людей и обстановки, но девушки просто и приветливо поздоровались с нею, а Шрамм просил ее чувствовать себя непринужденно, как в Америке, и объяснил ей экстравагантность своих приятельниц в таких тонах, что Эмма испытала к ним даже сочувствие.

— Микки — стенографистка, а Бетти — студентка. У одной не было работы, другой нечем было платить за образование. Им удалось устроиться сюда, в Военную администрацию, и здесь, в Германии, они зарабатывают себе на дальнейшую жизнь в Штатах. Вам, фрейлейн, покажутся, может быть, вычурными их костюмы, но это, к вашему сведению, американский стандарт для девиц из бедноты. Промышленники выпускают такие кофточки и платья, а хозяева, у которых служат продавщицы, стенографистки и секретарши, требуют, чтобы они носили эти вещи для привлечения взглядов клиентов. Богатые женщины ничего этого не носят и заказывают платья у своих портних. А Микки и Бетти бедны, очень бедны, и я пригреваю их, как могу, что хотел бы сделать и для вас. Будьте, девушки, друзьями.

Микки — в разрисованной кофточке — была коренной амери-

канкой и говорила по-немецки очень плохо, подбирая слова. Бетти же, родители которой были натурализовавшимися за океаном немцами, сносно, хотя и с акцентом, заговорила с Эммой о том, как трудно в Америке девушке, не имеющей связей или капиталов.

Шрамм заставил Эмму выпить коньяк, который она заела сыром и прессованным изюмом, затем — коктейль, показавшийся ей очень вкусным, и когда у нее слегка закружилась голова, затеял вместо ожидавшегося делового разговора игру. Он взял толстую нитку и пять яблок, при виде которых американки захлопали в ладоши и бросились помогать ему. Яблоки были подвешены на нитках к люстре, после чего Шрамм, американки и знакомая с игрой Мария, заложив руки за спины, пытались надкусывать болтавшиеся и не поддававшиеся зубам яблоки. Этого не удалось сделать никому, и когда Эмма решила приняться за предназначенное ей яблоко, ей также стало весело оттого, что она никак не могла поймать его ни зубами, ни губами. Посмеявшись, они отвязали и съели свои яблоки, а затем Эмма с удовольствием выпила еще один коктейль, и ей стало казаться, что Шрамм — недурной изобретательный парень.

После игры американки и хозяин дома стали рассказывать заокеанские анекдоты. Они почерпнуты были из иллюстрированных журналов типа тех, что лежали вокруг, и юмор их связан был с деньгами, аферами и прибылями. Бетти рассказала о сыне, которого отец решил женить на старой и безобразной богачке. «Вы действительно хотите сделать это, отец?» — с ужасом спрашивает он. «Не вмешивайся, сынок, не в свои дела», — отвечает отец.

Микки рассказала о человеке, с которого требовали по суду двести долларов в удовлетворение за пощечину, данную им в сердцах истцу:

«Войдите в мое положение, господин судья. Если я уплачу эти деньги, завтра сотня людей использует мою вспыльчивость, подставит свои физиономии, и я буду разорен».

Анекдоты, сопровождавшиеся хохотом, рассказывались долго. Эмма спохватилась, что у нее не сварен еще на завтра суп, и собралась уходить.

— Успеете, — удерживал ее Шрамм.

— Нет, нет, мне надо завтра рано встать, чтобы не опоздать на работу.

— Ужасно, когда молодая девушка не может вволю спать и распоряжаться собой, — вздохнул Шрамм. — Ах, мы совсем и забыли, фрейлейн, что хотели переговорить о способах избавить вас от этой тяжелой необходимости.

Он извинился перед девушками и увел Эмму в соседнюю комнату. Здесь, к удивлению Эммы, речь зашла... о сигаретах. В пачке «Верблюда» или «Честерфильда» их было двадцать штук. Десять пачек стояли на новой родине Шрамма один дол-

лар, а в Германии пятьдесят — шестьдесят марок, то есть в десятки раз дороже. На эти марки, вырученные от продажи долларовой коробки сигарет, агенты Шрамма покупали обручальное кольцо, дюжину чайных серебряных ложек или другие вещи, стоившие в Америке от двадцати до пятидесяти долларов.

— Но это трудоемкая работа, — объяснил Шрамм. — Значительно лучше приобретать фотоаппараты «лейка». Мы расходуем на «лейку» пять-шесть тысяч сигарет, то есть двадцать пять — тридцать долларов, и ввозим ее в Штаты, где она продается по четыреста — пятьсот долларов. Таким же образом я приобретаю бриллианты, платя по шесть тысяч сигарет, или тридцать долларов, за карат. Сигареты поступают ко мне из Америки непрерывно — почтой, пароходами и по воздуху. Тридцать миллионов штук, которые я привез с собой, уже давно разошлись, и отсюда вы можете судить о размерах моих операций. В последнее время мне удалось договориться с нашими крупнейшими табачными фирмами и получить ввиду крупных закупок десятипроцентную скидку. Это я рассматриваю как лишнюю возможность быть великодушным к агентам. Кроме сигарет, я транспортирую сюда из-за океана кофе, сало и шоколад. Поступают они также бесперебойно. За десять фунтов кофе, обходящиеся мне в четыре доллара, я приобретаю мех, стоящий в Штатах сотни долларов. От операций с мехами наш доход почти что стократен. Я говорю «наш», так как в моем предпринятии участвуют заинтересованные лица. Они находятся в Целлендорфе, то есть, как вы понимаете, в том здании на Кронпринцен Аллее, где помещается экономический отдел нашей Военной администрации. Их помощь обеспечивает беспрепятственность оборота товаров. Высокие птицы в генеральских мундирах имеют двадцать процентов дохода, но и маленькие Микки, оформляющие документы на грузы, получают от меня свои паечки, которые позволят этим бедным овечкам возвратиться на родину зажиточными людьми...

— Но... я ведь не служащая американской Военной администрации, я для вас бесполезна, — пробормотала ошеломленная всем услышанным Эмма.

— Милая фрейлейн, — улыбнулся Шрамм, — вся сбытовая деятельность и приобретение ценностей производятся именно немецкой агентурой. Одни — и это преимущественно опытные коммерсанты — сбывают мои товары, другие — и это главным образом дамы и барышни — приобретают вещи, интересующие меня. Дело в том, что скупка серег, колец, собольих палантинов и ценных картин связана с посещением частных квартир, в которых эти вещи находятся. Ваша приятельница, например, уже приобрела для меня десять каратов бриллиантов и рисунок Дюрера. Она действует в домах, которые посещала в качестве массажистки. Обладательницы ценностей нуждаются, естественно, в кофе, жирах и деньгах...

— Я никогда не была массажисткой, и среди моих знакомых никто не имеет мехов и бриллиантов, господин Шрамм.

— О, фрейлейн Фельдмайер, вы просто недооцениваете свои возможности. Я могу вам рекомендовать десятки вариантов, особенно теперь, когда вы находитесь в магистрате. Если бы мы получили, например, документ от транспортного отдела магистрата о том, что груз автомашин, следующих в Лейпциг под такими-то номерами, не подлежит проверке, я расценил бы это выше, чем комиссию за приобретение пяти каратов. Лейпциг, как вам известно, в советской зоне оккупации, по дороге к нему наши собственные документы предъявить невозможно, а вместе с тем, как вы понимаете, это — город меховщиков... Или если, скажем, мы получили бы от торгового инспектора магистрата... Но что с вами, фрейлейн?

Эмма поднялась.

— Вы... вы, господин Шрамм, переоцениваете... мои способности к подлости.

С лица американца сошла улыбка.

— Вы не вникли, вероятно, в мои предложения. Я имел только в виду дать вам возможность стать в течение полугода независимой. Но... я имею для вас и совершенно безопасные варианты, которые...

— Они не подходят мне.

— Как вам угодно. Боюсь только, что когда свойственный вам здравый смысл возвратится, вы пожалеете, что так необдуманно отказались от...

— Я тороплюсь, господин Шрамм. Всего хорошего.

Эмма едва наклонила голову и направилась к двери, не подав хозяину руку. Он преградил ей дорогу.

— Вы вольны в решениях, но предупреждаю вас: за моей спиной — сильные учреждения, и я — не германский гражданин. Если вы вздумаете злоупотребить услышанным, то погубите только немецких женщин и... себя.

В его голосе была угроза.

Эмма хлопнула за собой дверью, чего никогда не делала.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Человек, убивший любовницу, становился в Берлине известен миллионам читателей газет. Фамилию ловкого торговца зубной пастой знали в Германии все. Фото наездницы на почтовых открытках рассылалось по стране. Но не видела Эмма в иллюстрированных журналах портрета человека, который никого не убивал, не был многоженцем, не торговал, не объезжал лошадей, не снимался в кино, но зато изо дня в день занимался во-

допроводом, газом, школами, стройкой жилищ, трамвайными рельсами и больничными койками, то есть помогал людям налаживать жизнь.

На улице, возрастившей Эмму, популярностью пользовались другие люди. Жена страхового агента Шнитке подробно рассказывала о всех фабрикантах Пренцлауэр Берга и даже их семейных делах. Ее дочь — бывшая приятельница дочери букиниста, с годами наскучившая Эмме, — знала имена и цвет волос многих заокеанских киноактрис. Сын Шнитке утомлял знакомых разными подробностями из жизни боксеров. Но никто в этой семье не интересовался человеком, который побеждал не на раундах, а в борьбе с послевоенной нищетой и неустроенностью. И Эмма чувствовала глубокую несправедливость этого положения.

Работая в магистрате, она поняла, что всякое время имеет своих героев. В сорок седьмом — героем дня стал гражданин-созидатель. Гайдауэр был, несомненно, одним из выдающихся героев этого типа.

Из случайных разговоров с несколькими коммунистами — старыми сотрудниками управления бургомистра — Эмма узнала его прошлое. Он пришел в магистрат прямо из мекленбургского концентрационного лагеря, ворота которого раскрыты были в мае сорок пятого советскими войсками, и вместе с освобожденными друзьями сейчас же ушел пешком в Берлин, в свой район. На этой городской окраине он родился, учился, работал на заводах монтером, возглавлял здесь в догитлеровские времена заводской профсоюзный комитет большого предприятия. Здесь жила его семья, тут все знали его и он знал всех. На его глазах район десятки лет застраивался, населялся. И вот теперь район был завален руинами, многие улицы были непроходимыми, и первое, что бросилось в глаза вернувшемуся, были длинные очереди женщин, стоявших с ведрами в руках у колонок. Он понял, что ему не придется отдыхать. Лишь немногие часы провел он с семьей, а утром следующего дня впрягся в работу. И кому же, как не ему, местному рабочему вожаку и борцу против гитлеризма, было стать тут бургомистром! Выбор советских военных властей был безошибочен.

Бургомистр в опустошенном районе, где нет света, воды, транспорта и продовольствия! Бургомистр в районе, где разбиты заводы, школы, больницы и значительная часть жилищ, где казалась безнадежно парализованной всякая жизнь! Эмма понимала, какое колоссальное бремя взвалил тогда на свои плечи этот человек. Тем более колоссальное, что его враги злорадно взирали на этот паралич, не скрывая того, что «чем хуже — тем лучше». У адвоката, которого знала Эмма, у крикуна Зендауэра, у дяди Иммануэля, у всех людей Пренцлауэр Аллее, любивших толковать о политике, наверняка опустили бы в таком положении руки. Особенно когда сотни, тысячи людей приходили к бургомистру, требуя, требуя и требуя...

На заводах, куда бургомистр бросился в поисках сотрудников, он нашел мало своих прежних товарищей. После страшных лет войны из двухтысячного коллектива рабочих, который до фашизма возглавлял Гайдауэр, остались только считанные десятки знакомых лиц. Многие друзья убиты в концлагерях, некоторые перестали быть друзьями, остальные погибли на фронте, находились в плену, разбрелись по стране. У станков стояли бывшие лавочники да молодежь, выросшая под звуки песен о Хорсте Весселе и считавшая поражение Гитлера концом Германии.

Да, то были тяжелые для бургомистра и его партии времена, когда нужны были исполинская воля и организаторский талант, чтобы преодолеть хаос. И может быть, потому так тепло встречает Гайдауэр широкоплечего русского майора, что этот посланец Советской Армии с первых же дней доставлял из запасов победителей хлеб для жителей района, присылал саперов, которые учили портных и бакалейщиц превращать кирпичные Альпы в улицы.

Эмма знала, что не только коммунисты разбирали кирпичи и чинили станки. Это делали тысячи. Но в том и была сила тогда еще небольшой группы людей, что она вызвала к жизни действие масс. И не было ни одной области хозяйства района, его культуры, которые жили без участия бургомистра и его партии.

Встречаясь с работниками районных учреждений, обращаясь к папкам документов и переписке этих двух лет, Эмма узнала, что в мае сорок пятого трубы водопровода были разбиты чуть ли не в тысяче мест. Да, верно, она и Отто ходили тогда за водой к колонке. А Гайдауэр в это время, как видно из бумаг, собирал инженеров, слесарей, торопил изготовление труб на заводе...

Отец страдал в те месяцы от отсутствия электричества, так как не мог углубляться в книги, Найдер неистовствовал и клял победителей, забыв, что без света Берлин был еще при Гитлере, когда прекратилась доставка силезского угля, — а оказывается, в это время военные техники победителей налаживали электростанцию и Гайдауэр посылал рабочих разгружать для нее уголь...

По главным артериям района ходит теперь снова трамвай, а в мае сорок пятого были годны для движения только сотни метров путей из многих километров и все вагоны были повреждены. Люди говорили, что не видеть им трамвая целых десять лет, но Гайдауэр держал тогда пламенные речи перед рабочими ремонтного завода, доставал им сварочные аппараты, сколачивал коммунистическую ячейку трамвайщиков...

Эмма вспомнила, как рычал булочник Зендауэр, у которого заболела в те дни жена и не оказалось больницы, чтобы принять ее. Одни лечебницы и операционные залы были уничтожены бомбами, уцелевшие отделения других больниц были так пере-

полнены, что желудочные язвы приходилось оперировать в родильных домах.

Сегодня забылись эти ужасы: в районе восстановлены все старые больницы, создана новая, и читаемая теперь Эммой переписка о кровельщиках, кроватях для палат и подборе врачей имеет только исторический интерес. Под бумажками — знакомая размашистая подпись.

Сколько ума, нервных сил и душевного напряжения коммунистов вложено, оказывается, в то, чтобы достать белоснежное белье для больничных постелей, кирпич для обновленных зданий и цехов поднявшихся заводов!

О себе Гайдауэр почти никогда не говорил. Во время одной из бесед с молодежью какой-то паренек заметил, что бургомистр совершил, вероятно, немало интересных путешествий и побывал во многих странах, так как хорошо знает множество вещей. Гайдауэр ответил тогда, что никуда не отлучался из родной страны.

— И не жалею об этом,— сказал он.

Во всех случаях, когда слышались жалобы или сомнения в возможности одолеть нужду, он в ответ ссылался на русский пример.

Сила убежденности этого человека постепенно передавалась его сотрудникам. А затем наступили события, которые и Эмму открыли радостной верой в хорошее будущее.

Это было на строительстве домны. Она стояла четыре года разбитой. За колючей проволокой и изгородью, которыми обнесли ее гитлеровцы, видны были с улицы громада повисшей башни, на которой лопнул металлический кожух, широкая пасть отбитого аппарата засыпки, вырванный купол, треснувший остов, державший когда-то махину, кучи ломаного железа и битого кирпича. Восстановленным заводам нужен был металл, его могла дать эта домна, но рабочие очень медленно расчищали площадку и завалы, огнеупорщики не могли приступить к делу.

Гайдауэр взял с собой Эмму в качестве секретаря на собрание большого разношерстного коллектива строителей. Это было через две недели после того, как Эмма начала работать в магистрате. Она волновалась и за Гайдауэра, встреченного многими рабочими хмуро, и за строителей, казавшихся ей то правыми, то неправыми. Один за другим они доказывали, что не могут работать из-за скудости пайка. Конечно, им не хватало жиров и мяса, как недоставало на площадке механизмов, но еще больше не хватало многим воли к труду.

— Дайте нам такой же паек, как горнякам,— сказал один выступающий,— тогда и требуйте с нас работу.

Один из инженеров в нервном тоне пожаловался, что на стройке мало транспорта, лебедок и кранов, рабочие недисциплинированны, ссылаются на неустроенность домашних дел и ему, инженеру, трудно работать в таких условиях.

— Я слышал недавно одного оратора,— сказал какой-то ра-

бочий .— Он обещал нам золотые горы после того, как мы все восстановим. Но до этого времени долго ждать.

Третий рабочий говорил очень язвительно и вызвал аплодисменты острым словцом.

— Наша домна,— сказал он,— находится на пригорке, и бургомистр приехал сюда в автомобиле. Зачем он заправил его бензином до выезда? Пусть бы он пообещал мотору заправить его после прибытия на гору, как это обещают нам.

Эмма заметила в рядах собрания плотного человека, с седыми бачками, который подсаживался то к одной группе строителей, то к другой и что-то шептал им. Она вспомнила, что часто видела этого человека с булочником Зендауэром, и поняла, что он играет на площадке какую-то скверную роль. Но пока она раздумывала, не предупредить ли об этом Гайдауэра, бургомистр уже начал говорить, и начал резко.

— Сравнение с автомобилем кажется остроумным,— сказал он.— Но в нем есть серьезный порок. Человек отличается от машины тем, что он — думающее существо. Чему вы аплодировали? Тому, что вас сравнили с сиденьем, на которое люди опускают свои зады?

Зал притих. Гайдауэр сделал маленькую паузу.

— Нет,— продолжал он,— я пришел сюда, зная, что у вас есть не только желудки, но еще разум и совесть, и буду обращаться к ним.

Указали ли вы на склады и подвалы, где скрыты масло, мясо или хлеб, которые можно было бы вам дополнительно дать? Не указали. Я их тоже не знаю. Значит, не о чем и говорить.

Но можно ли долго питаться так, как мы питаемся сейчас? Нельзя. Значит, надо как можно скорей начать выпуск заводских изделий, чтобы, упрощенно говоря, менять их на продовольствие. Для этого и нужен металл. А что делаете вы? Скверной работой оттягиваете поступление продовольствия для себя и других.

Гайдауэр опять сделал паузу. По залу пробежал шумок.

— Я не верю,— сказал он,— чтоб вы этого не понимали. Рабочие — люди здравого практического ума. Но здесь есть, вероятно, такие, что стремятся лишить вас собственных суждений. Они и привили вам чужой язык. Когда вы рассуждаете об условиях, при которых я вправе или не вправе требовать с вас работу,— вы говорите на чужом языке. Работы вы должны требовать с себя сами. Владелец завода бежал, скрылся, и завод теперь ваш, он народный. Из вашей же среды выйдут директор, все управление, и вы же будете здесь работать. С кем же вы торгуетесь? С самими собой!

— Это правильно,— раздался голос,— но работать, когда желудок пуст...

— Конечно,— перебил Гайдауэр.— Работать нам тяжело, страшно тяжело. Так было с русскими, когда они тридцать лет

назад начали свой гигантский поход в будущее, распределив между собой по осьмушке хлеба.

И он перешел от отрывистых фраз к пламенному рассказу о том, как работали русские в голод и холод и создали себе обилие и тепло. Рассказ слушали внимательно.

— Эх, товарищи! — воскликнул Гайдауэр, и слово это теплой волной пронеслось по залу. — Может быть, через час или два, когда вы вернетесь домой и снова нестерпимо захочется есть, вам покажется невеселым то, что я говорил. «Что, — скажете вы себе, — услышали мы от Гайдауэра, кроме все тех же призывов к труду?» Да, я ничего другого вам не сказал, потому что ничего другого для устройства жизни нет. Мне сорок шесть лет, я давно топчу землю и хорошо знаю, что нет у рабочего класса других путей и нет в природе других волшебных палочек, кроме труда. Только он, кудесник, может нам все принести. В детских сказках есть легендарный добрый дух Рюбецаль: он раскладывает хорошим детям скатерть-самобранку, но взрослым, товарищи, не помогает Рюбецаль, мы должны стелить себе скатерть сами. Через год мы наработаем столько, что увеличим пайки, через два — начнем отменять их, через три — забудем о них, потом и не заметим, как в дом придет радость.

Зал слушал. Но паузой, которую сделал Гайдауэр, воспользовался какой-то демагог, чтобы посеять сомнение.

— Вашими бы устами да мед пить, — раздалось в задних рядах.

И тогда Гайдауэр вскипел.

— Можете ли вы мне не верить? — выкрикнул он. — Можете ли вы сказать: «Гайдауэр фантазер»? Нет, вы не смеете мне не верить, не можете назвать меня фантазером. За меня выступают свидетелями двести миллионов советских людей всех возрастов и профессий. Скажите, есть ли такой суд, найдутся ли такие присяжные, которые не признают этого свидетельства?

Он со страстной силой, из глубины души бросил эти слова. И его вера передалась залу. С лиц исчезли хмурь, отчужденность, в глазах появились тепло и надежда. Ничто не отделяло теперь оратора от зала. А Гайдауэр, сдержав волнение, закончил уже суше и сдержаннее:

— Если враждебные рабочему классу правители некоторых стран не прервут наш труд, снова бросив мир в водоворот войны, мы быстрее, чем многие думают, создадим хорошую жизнь, друзья.

После собрания на строительство было направлено несколько старых коммунистов и молодежная бригада, сколоченная Биглем. Им поручили простое, но главное дело: работать больше всех и лучше всех, чтобы своим рвением зажечь других. Они взяли на себя самые заваленные участки, к которым никто еще не подступался, с шутками съедали свой скромный завтрак, состоя-

зались друг с другом в сноровке, посмеивались, когда кто-нибудь хмурился. Их пример заразил других.

— Ну, ну, попробуем превратиться в коммунистов и посмотрим, что из этого выйдет,— сказал тот самый рабочий, который острил на собрании о заправке автомобиля.

Он старался не уступать этим энергичным людям в труде, а вскоре вровень с ними стали работать десятки. Некоторые сами стали одергивать нытиков, а один рабочий ударил по лицу другого, когда тот отговаривал его от работы. Вокруг них собрался народ. Ударивший объяснил:

— Он все время нашептывал мне: «Глупая голова, зачем стараешься, разве коммунисты уже дали тебе масло?» Мне это надоело.

— Верно,— поддержали другие,— он всех отговаривает от работы.

Это и был знакомый Зендауэра, замеченный Эммой на собрании. После разоблачения он исчез со стройки.

Площадка постепенно расчистилась, старая кладка была сломана, кирпич рассортирован.

Отбирать кирпич учил товарищей Бигль. Он по первому взгляду определял марку и качество материала, угадывал внутренние трещины, степень огнеупорности. Вилли требовал, чтобы каждый кирпич клался в штабели по сортности, и настойчиво проверял добросовестность укладчиков.

— Стой, что ты кладешь? Разве не видишь, что у этого отбита кромка, а ты его в первый класс ставишь!

— Какое тебе дело? — огрызался рабочий.

— Как это «какое»? — свирепел Бигль.— Первый класс должен на горн идти, там жар будет в тысячу градусов. Разве выдержит его отбитый кирпич?

И пристыженный рабочий клал свои кирпичи в другие штабели.

Но находились и такие, что посылали Бигля к дьяволу, к чертовой матери, уснащали свою речь отборными ругательствами. Это были главным образом новички.

Недоучившиеся школьники, выбитые войной из колеи, бывшие солдаты, не имевшие другой профессии, кроме военной, крестьяне и мясники из Силезии, говорившие на особом жаргоне, состоявшем из польских и искалеченных немецких слов, сыновья ремесленников, пошедшие на стройку ради получения рабочих карточек,— их много было здесь.

Им, сроднившимся с мелкими мастерскими, казармами, усадьбами в деревнях, было не по себе на большой стройке завода, который надо было ломать, разбирать и создавать заново. Одни из них снимали рельсы путей, по которым подавались прежде чугун и шлак, другие укладывали новые пути, по которым должны были бежать коппелевские вагонетки с материалами. Новички отрывали и перекладывали подземные магистрали, строили

кузницу, склады для цемента и кирпича, ремонтировали рудную эстакаду, а неподалеку от них другие люди расшивали и клепали чудовищные чугунные колапки и ободы, то забираясь внутрь этих колапков, то обступая их снаружи. Площадка строительства была подобна большому муравейнику, и новички чувствовали себя здесь так же неуверенно, как мальчик из мекленбургской деревни на вокзале Фридрихштрассе.

— Так нельзя,— сказал главному инженеру секретарь группы членов Социалистической единой партии Клест.— Надо объяснить новым людям, что они делают. Им должен быть ясен смысл всех работ.

— Зачем? — пожал инженер плечами.— Рабочему надо знать свои личные операции. Этого достаточно.

— Нет. Личные операции нужно связать с общими, сделать осмысленными.

— Это излишне. Огнеупорщики хорошо знают свое дело, монтажники свое. А вся эта масса чернорабочих... Их дело тяжелое, но немудреное.

— Они делают его с мрачными лицами.

— Ну и что?

— Идея все оживит. Оживит всякое мелкое или трудное дело.

— Я не могу рассеивать сумрак лиц. У меня хватает дел без этого. И поверьте моему опыту. Когда я работал в «Гутехоффнунгсхютте»...

— Этот опыт не годится, господин Пленц.

— Но чего вы хотите от меня? Социалистической единой надо оживлять лица, католик требовал, чтобы пели «О, боже», социал-демократ пытался сорвать работы на эстакаде. Просто чертовщина. Строить так строить, и нечего здесь политику разводить.

— Простите, кто это пытался сорвать работу на эстакаде?

— Какой-то тип. Живет в Далеме, нарочно устроился сюда на работу и приезжал за тридевять земель, чтоб подбивать людей на воровство и саботаж. Я вчера приказал передать его полиции, но мерзавец сбежал.

— Что же все-таки произошло?

— Что произошло? — буркнул инженер.— Свинство произошло, вот что. Мы делаем в рудной эстакаде деревянный настил. Привезли, понимаете, дерево, мы ставили пролеты,— вдруг, оказывается, их растаскивают по домам на дрова. Понимаете вы, что это такое? Где я дерево возьму? Ведь мне сотни метров пролетов делать! Понимаете вы это — сотни метров? Ну, вчера поймали двух воров. Инженер Кренц, который делает эстакаду, справедливо велел передать их полиции, и тогда этот негодяй подбивает группу в двадцать человек бросить работу. Когда Кренц их потом расспросил, оказалось, что этот же тип подбивал их и к воровству. «У вас,— говорил он им,— нечем отапли-

ваться, вам нужно топливо, а не эстакада». Представляете себе, какая сволочь? Некоторые, оказывается, знают его — из Далема, друг Неймана. Понимаете, как они мешают? А тут еще вы с вашими сумрачными лицами.

Инженер был честным техником, но наивным человеком.

— Наша политика,— сказал ему Клест, подчеркнув слово «наша»,— поможет строить. Вы в этом убедитесь.

На всех участках работ члены Социалистической единой партии провели беседы о роли каждого объекта стройки и о ее значении в целом. Старики слушали с холодным любопытством, молодые — с интересом и задавали много вопросов.

Партийцы были монтажниками и огнеупорщиками, среди чернорабочих членов Социалистической единой партии не было. И все-таки на рудном дворе, на литейном, у землекопов появились плакаты, красные полотнища с призывами, большие щиты, на которых коротко и ясно написано было: «Что даст наша стройка немецкому народу».

Для производства бетона брали песок и гравий на берегу речушки из карьера, на который зарился частник — просил сдать ему в аренду. Новички собирались вокруг экскаватора «Везерхютте», наблюдая, как он захватывает своей пастью и бросает в грузовик песок. И сейчас же на карьере появился щит: «Этот хитрый слон создан людьми, которые не глазели, а работали». После этого бездельничать рядом с экскаватором было уже невозможно. На ремонте канализации рабочие однажды утром увидели изготовленный молодежью по заданию Клеста плакат: «Копаться в грязи противно. Быстро и тщательно проверим трубы, чтобы потом не раскапывать их второй раз».

На складах кирпича можно было прочесть такое обращение: «Товарищ! Найдешь ли ты родственника, жившего в Померании и заброшенного войной в Бранденбург?»

Найдешь, если знаешь его имя и фамилию.

Чтоб каменщик нашел нужный кирпич, клади его по маркам и сортам. Это для кирпича — имя и фамилия».

Члены партии монтажники приходили к строителям и держали не длинные, но выразительные речи:

— Прошу внимания. Меня послали к вам, товарищи, те рабочие, что собирают вон там, за забором, металлические колпаки. Это — горн печи, броня шахты, внутреннее оборудование. Вы сами видели — это очень большие, очень сложные, состоящие из многих частей вещи, и мы, клепальщики, усиленно работаем, чтоб собрать и установить их как можно скорей. Мы боимся, чтобы вы от нас не отстали. Не задержите ли вы, боже сохрани, монтаж? Все ли подготовите? Мы очень просим вас, как рабочие рабочих, проверить на вашем участке, по графику ли идет работа.

После этого выступал инженер участка, сообщал о том, как движется дело.

— Мы не подведем. Передайте монтажникам, что приложим все усилия. Так ведь, товарищи?

— Постараемся, конечно, постараемся! — раздавались тогда голоса.

И люди стали ощущать ответственность за свой труд, работали старательней и живей. И работа не была безрадостной, как прежде.

Цеховые инженеры докладывали Пленцу, что представители Социалистической единой партии ускоряют ход стройки.

— Смотрите, — удивлялся старик, — политики, а делают дело!

Он привык за долгую жизнь к тому, что «политики», которые прежде руководили Германией, «только пишут и говорят, ссорятся и ссорят». Теперь оказалось, что новые политики пишут и говорят для большого дела.

Когда цементный склад был отстроен в две недели, кирпичный — в три, кузница — в полтора месяца, старик потирал с удовольствием руки.

— Слушайте, а почему вас здесь так мало? — остановил он однажды Клеста. — Смотрите, как отстают с бетономешалками. Надо бы и туда этих ваших... агитаторов.

О том, как строить домны, и в Эссене и в Берлине написано много книг. Сложилась в Германии целая доменная наука, обогащенная опытом металлургических фирм. Одни только «Ферейнигте Штальверке», имевшие полумиллиардный капитал, издали на слоновой и веленовой бумаге кучи монографий и альбомов, рекламировавших их домны и искусство, с которым они сооружены. «Имперское акционерное общество Герман Геринг» — вторая в стране компания, прибравшая к рукам многие металлзаводы и рудники, — снабжало инженеров готовыми расчетами для сооружения больших и малых домен. «Рейнише Штальверке» и «Гутехофнунгсхютте» в рекламе и инструкциях не отставали от других концернов. Для земельных и бетонных работ, для монтажа и кладки инженер Пленц имел все нужные сведения и рецепты, начиная от норм выработки землекопов на котлованах и кончая монографиями о том, как сушить и испытывать готовую печь. Если кто-нибудь сомневается в растворах бетона... господи, есть для хозяек кулинарные книги, и есть для бетонщиков тома рецептов, содержащие все консистенции из всех составных частей.

Стройка на бывшем заводе Фойгта была для Пленца тем менее сложной, что сохранилось много объектов, например литейная, котельная, рудный двор. Бомба разрушила только собственно домну и кауперы, остальное надо было лишь чистить, переустраивать, подгонять, обновлять. И все-таки стройка была очень тяжелой, ибо не было западных фирм для поставки нужных частей, не было старых подрядчиков, выполняющих заказы, и даже простой инструмент, самые пустяковые вещи нужно было делать тут же на стройке и ломать голову над сотнями мелочей.

А рабочие! Это же наполовину лавочники, никогда не державшие в руках лопат и не видевшие, как месят бетон.

А как на него нажимали, на Пленца, как нажимали! Был утвержден восьмимесячный срок работ, с машиностроительных заводов требовали металл, как будто у Пленца он уже плавился, из каких-то хозяйственных учреждений звонили, приезжали, торопили, требовали. А эти инженеры! Их не было в «Гутехоффнунгсхютте», пришли кто откуда, они не понимали Пленца с полуслова, как он привык. Одни из них ныли по поводу нехваток на стройке и горевали, узнав о поражении либерально-демократической партии на каких-то выборах, другие помогали писать плакаты, как будто этим должен заниматься инженер. Чертовщина! Ну, некоторые плакаты, правда, остроумны и как будто помогают делу. Но все-таки работа у Пленца нервная, неблагодарная! Так он говорит.

Но... старик не может не строить домну, как не может Бигль не класть кирпичи. Характер такой! Другой бы хлопотал о пенсии или сел писать мемуары о «Гутехоффнунгсхютте», а Пленцу не в состоянии видеть домну, которая может дать и не дает металл. Не дает теперь, когда страна стала пустынной! Ужасно нервная работа, ужасно, но бывают моменты, которые вознаграждают его за то, что он взялся за стройку. Недавно, например, пришел к нему какой-то молодой огнеупорщик, сообщил, что его товарищи хотят провести на строительстве без оплаты три воскресенья. Такое Пленцу не встречалось в жизни еще никогда. Работа всегда была для людей только необходимостью, но чтобы они хотели делать что-нибудь безвозмездно... Да, есть молодежь, настроенная подлинно патриотически. Пленцу стыдно было бы сидеть без дела. Кстати, он разговорился с этим огнеупорщиком, тот знал инженера по «Гутехоффнунгсхютте». Они пожали друг другу руки. Симпатичный молодой человек. Не деморализованный войной.

Вскоре этот понравившийся Пленцу молодой человек подал повод для большого рабочего собрания.

Клест посоветовал однажды Биглю:

— Сделайте, парни, в цехах по две доски — черную и красную. Вписывайте на них каждый день мелом, кто особенно хорошо и особенно плохо работает. На видном месте повесьте.

Доски вызвали и хохот, и возмущение, но и одобрение.

— Кто тебя уполномочил? — негодовали те, кто оказался на черной доске.

— Ему больше всех надо!

— Тоже — хозяин выискался!

— Это правильно, его еще никто не уполномочивал, — заметил Клест. — Давайте сделаем это. Созовем общее собрание.

Так Бигль и молодой парень Меркер стали общественными контролерами.

На собрании присутствовали Гайдауэр с Эммой. Но бурго-

мистр не выступал. А Эмма с интересом и волнением слушала речи о малопонятных ей, но важных делах.

— Я переселенец,— выступил пожилой человек.— Семья живет в одной комнатухе. Пять человек. Трое ребят без обуви. Голова полна забот, а от меня здесь хотят, чтоб я душу вкладывал в кирпичи.

— Этот парень тут хуже хозяина,— говорил о Бигле другой рабочий, чья фамилия была на черной доске.— Ходит со щупом, проверяет прямоту кирпичей. Так мы никогда ничего не выстроим.

— Что тут получается, господа? — развел руками плотный маленький человек в посеревшем крахмальном воротничке.— Я сидел раньше в бюро, привык к определенным занятиям, имею сложившиеся привычки. Теперь меня выбросили из конторы, заставляют рыться в мусоре и требуют, чтобы я таскал кирпичи с таким же умением, как делал раньше совсем другие дела. Но я не могу этого, господа. Прямо заявляю, что не могу. И от этого нету пользы. Нас, бывших нацистов, на стройке немало. Не полезней ли будет для дела посадить нас в контору строительства, сделать десятниками, кладовщиками, приемщиками работ? Каждому — свое, господа, каждому — свое!

— А я бы хотел узнать,— начал нервный остроносый человек, явно сдерживая желчность,— очень хотел бы узнать, что делает на строительстве наш уважаемый представитель совета профсоюзов? Это очень похвально, конечно, что он сам хватается за ломы и кирки, чтоб показывать нам пример работы, ликует, что Шмидт набрал за день большой штабель, и закликает Мейера набирать такие же. Но разве в этом задача профсоюзника, господа? Разве без него мало добровольцев-администраторов вроде, например, молодого господина Бигля, флейейн Эстер и других? А что сделал наш уважаемый бетрибсрат — председатель завкома — для защиты наших интересов против дирекции, позвольте спросить?

— Имя Бигля тут много склоняют,— начал широкоплечий рабочий средних лет.— Это хорошо для парня, потому что ругают его именно Кунер, Дизель и Либеритц, которые не хотят понимать, что за стройка идет у нас. Для них одно и то же, что народное предприятие строить, что в частной фирме работать. «Хозяин,— говорил мне Кунер,— не вывешивает на черную доску». Да, правильно. Хозяин просто вышибает за такую работу на улицу. А на народном предприятии хотят в Кунере рабочую совесть пробудить. Не нравится тебе висеть на черной? Так переvedi себя на красную, товарищ!

В зале засмеялись.

Со спокойствием, которое было для Эммы неожиданным, вышел на трибуну Бигль.

— Заготовка кирпича — самое важное дело,— сказал он.— Домна должна быть построена так, чтоб потом многие годы не

приходилось разбирать кладку. А для этого и надо многое. Сегодняшняя сортировка — только начало. Когда приступим к кладке печи, будем сортировать все время. Кирпич, который отберем для лещади, в свою очередь, разложим на разные размеры. Надо толще семидесяти пяти, надо тоньше, надо в точку семьдесят пять. По длине тоже сортировать придется. Иначе и не может быть. Да вам любой инженер, каждый огнеупорщик мои слова подтвердит. Этого только некоторые из тех понимать не хотят, кто пришел сюда из лавок да контор. И чем лучше мы сейчас кирпич отберем, тем меньше придется потом его тесать. Это все так ясно, что не буду об этом больше и говорить.

Теперь еще об одном важном вопросе. Молодежная бригада обследовала склад. На нем нет еще самых нужных инструментов. Нет угольников, чтоб проверять теску, нет ковшей, чтобы делать раствор, нет больших реек. Мы же скоро, товарищи, печь класть начнем, так потребуем, чтоб все заготовлено было заранее. Из-за мелочей могут срываться работы. Это — наша домна, и мы не можем допустить простой.

— Не твоя ли? — раздался чей-то возглас.

— Да, моя, — ответил Бигль, даже не повернувшись на голос. — И я хочу скорей поставить ее на ноги.

— Молодежная бригада дает слово всегда быть на красной доске, — объявил вскочивший на трибуну Меркер. — Вот что я хотел сказать, и этого достаточно.

Молодежь захлопала, и ее поддержали.

— Тут вот выступал бывший наци, — заговорила девушка, — и требовал, чтоб его опять посадили на хороший пост, потому что он не привык к плохому. Так пусть привыкает, господа, пусть привыкает!

Раздался смех, и девушка, неожиданно смутившись, сошла с трибуны, не сказав, видимо, всего, что собиралась.

Затем говорили еще четверо рабочих.

— Это хорошо, что мы собрались и говорим начистоту, — сказал один старик. — Если стройка наша общая, то давайте устраним на ней все непорядки. Вот, например, привозят уголь для транспорта, сваливают его на краю площадки, где даже забора нет, и воруют его все, кому не лень. Просто досада берет. Ведь добывать этот уголь саксонцам не легче, чем нам строить домну. На котлы паровозные я тоже посмотрел, так там накипи миллиметров в двадцать, а то и больше. Это же сколько топлива теряться будет!

Другие тоже сообщили о непорядах. При ломке кладки люди сутками возятся над кусками, которые слились с шихтой, а на площадке валяются старые отбойные молотки. Их можно отремонтировать, пустить в дело, и тогда ломка кладки пошла бы быстрее. Привозимый новый кирпич складывается не на месте, его пришлось перетаскивать, на что зря ушло время. Некоторые бригады составлены неправильно, не учтено, что на

стройке работают и старые каменщики, и люди, никогда не имевшие дела с кирпичом и бетоном.

Потом выступил представитель профсоюзного комитета. Он сказал, что иначе понимает свою задачу, чем рекомендовал ему Грюневиц.

— Против какой дирекции надо рабочих защищать? Предпринимателя на стройке нет, хозяин ее — немецкий народ, и он уже получил в новых условиях все, за что прежде боролись профсоюзы. Разве на стройке работают больше восьми часов? Разве фрейлейн Эстер и другие девушки не получают здесь такую же зарплату, как мужчины? Разве не предоставляются рабочим отпуска и многое другое, чего прежде профсоюзы добивались от хозяев? А раз все это в советской зоне оккупации имеется, то у профсоюза и дирекции интересы не расходятся. Бетрибрат будет еще больше воодушевлять рабочих к труду, чтоб и они и весь народ могли жить по-человечески.

В конце собрания на трибуну взошел русский полковник.

— Я работаю в промышленном отделе Военной администрации. — заговорил он по-немецки.

Все взоры с любопытством устремились на этого невысокого, но ладно скроенного человека. У него было открытое лицо, седоватые волосы и добродушные глаза.

— Я вот три года тому назад побывал в своем родном городе, — начал он. — Название его вы все знаете. Это — Сталинград. Когда-то я там на тракторном заводе работал и имел, конечно, много друзей. Но я их не нашел. И вообще домов не нашел. Люди жили в землянках, палатках, подвалах, в блиндажах. Я видел, знаете, такие лачуги, что просто сердце сжималось. Они из кроватей сделаны были, из фанеры. Один раз натолкнулся на семью, которая в ящиках ночевала. Заглянул как-то в разбитый трамвай — там дети спали.

Ужасно эти люди страдали. Сами понимаете: зимой — под снегом и ветром, летом — под дождем. И у них не было самого необходимого — мебели, плит, тарелок... На улицах все время костры жгли и на них варилась пища...

Полковник замолчал, и могильная тишина воцарилась в помещении. Сталинград... Теперь русский, пожалуй, заговорит о страшной вине находящихся в зале людей, о том, что их страдания — искупление...

Но русский сказал другое.

— Не для того я вам о сталинградцах рассказываю, — продолжал он с прежней простотой, — чтобы напомнить сейчас о вашей вине перед ними, нет, я хочу сказать о ваших обязанностях перед самими собой... Если б сталинградцы плакались, они бы, конечно, не перенесли такой жизни. А выбрались они из беды потому, что не впали в отчаяние. Я вот человек военный, бывал в лазаретах и видел там: кто долго боится раненую ногу с матраца поднять, у того и рана долго не заживает, а кто мускулам

гимнастикой помогает, старается ногу размять,— тот быстрее начинает ходить. Так и сталинградцы сделали. Все — от детей до старушек — площадки чистили, кирпич собирали, а потом стали домики строить.

Ну, теперь, конечно, Сталинград вся страна снабжает. Ото всюду в город грузы текут. Заводы в нем засверкали, здания хорошие, сады. Но тогда именно женщины каменщиками и саперами были. И кого ж они в первых домах разместили? Себя? Нет, не себя. Аптеку, больницу, столовые, почту — без чего всем жить нельзя.

Вы, наверное, поняли, к чему я об этом речь завел? — улыбнувшись, спросил полковник. — Тут вот некоторые из вас говорят: «Не могу дому строить, у меня квартира мала». А сталинградские люди понимали, что без общего и личного не создать. Ну какие же квартиры можно строить без металла, камня и дерева? Вы же — рабочие люди, строители, сами понимаете. Базу надо под личные квартиры подвести, общую базу.

Я понимаю, конечно, переселенца, — продолжал полковник. — Лишился человек обжитого места, лавки, может быть, коров, рабочего дела он не любит — тяжело ему. Я и настроение бывшего нациста понимаю: таскать кирпич — дело для него действительно не привычное. И таких людей среди вас много. Но если их понять можно, то уж слушаться никак нельзя.

Это ведь не потомственные рабочие. Это, скажем прямо, как мы, русские, определяем, — носители мелкобуржуазной стихии. У них и раньше думы были прежде всего о себе, и сейчас для них общее дело второстепенно. Нельзя дать им на рабочий класс влиять. Я к старым рабочим обращаюсь и говорю вам: влияйте на них сами. Научите их на народное предприятие как на святое смотреть. Приучите их видеть в работе главное дело человека.

Я вот тут некоторых товарищей слушал и радовался. Прорывается настоящий немецкий рабочий класс! Они не ныли, а о том говорили, как скорей дому построить, как скорей на ноги встать. Вот это по-русски звучало. Немецким языком, но по-русски. Такие выведут страну из хаоса, определенно выведут! Но вам, товарищи, надо, чтоб все дружно тянули, и это нужно организовать. Вы же — рабочий класс, главная сила, вы весь народ должны за собой повести. В стране у вас много людей хнычет, другие все только спорят, третьи в себя, как улитки, уходят, словом — бродят без компаса в потемках. А вы — люди рабочие, люди ясные, вы знаете, в чем сила и где путь.

Полковник глотнул из стакана воды и продолжал с той же простотой, которая расположила к нему большинство в зале:

— Так вот что я скажу: если рабочий класс — вожак, то вы — в особенности. Вы — строители и металлурги, вы делаете основу основ. И работаете вы не у заводчиков, а у народа. Зна-

чит, вы должны держать голову особенно высоко и всему рабочему классу пример показывать.

Где сейчас какие рабочие работают? Кожевники, скажем,皮щевники, мебельщики в основном в частных фирмах. Ну а зато горняки? Горняки — все свободные люди, все работают только на народ! Металлурги? Тоже в большинстве от эксплуатации избавились, как и вы. Ну как же вам после этого не чувствовать, что вы — самый передовой отряд?

Полковник опять отпил из стакана воды.

— И еще я вот что хочу вам сказать, друзья. По возрасту тут в помещении больше половины мои ровесники. Мы, конечно, не старики, мы еще молодцы и даже стареть не собираемся, но все-таки посмотрим правде в глаза: младших братьев-то рядом с нами нету, все кругом только сыновья. И так на всех заводах, на всех стройках. Средний-то возраст Гитлер выбил. И кто у вас тон в работе задает? Молодежная бригада. А какой вывод отсюда? Такой, что надо, значит, молодежи по месту и честь дать. Учите ее, — у вас опыта больше, — но и ее голосу дайте громко звучать. Если они за кирпич болеют, если умеют в дело душу вложить, так их не только контролерами, их и командирами ставить можно.

Раздались шумные хлопки парней, рассевшихся скопом в первых рядах, и хлопки переросли в общие аплодисменты, вызванные простотой и искренностью речи русского полковника, который сказал нужные слова о смысле деятельности этих людей и особом важном месте, занимаемом ими в народе. Эти слова пробудили рабочую гордость человека, трудового человека, которого еще старая немецкая сказка называла «подпоркой мира». Пришло чувство общности седого русского полковника с немецкими огнеупорщиками, общности по классу, делу, цели. И полковник заговорил словами, которые это чувство еще усилили.

— Теперь позвольте сказать о помощи, которая может понадобиться вам. Если будут серьезные думы и серьезные нужды, шлите вашего директора и бетрибсрата, а то и сами, если уж очень горит, приходите ко мне в отдел. Рабочий с рабочим всегда договорится. Я вот уж тут кое-что записал. Для той кладки, например, что с шихтой спеклась, я вам пришлю подрывников. Нечего силы на нее тратить да ломами ковыряться. Взрывом ее враз разворотим. Попрошу дирекцию составить список инструмента, который нужен будет для кладки. Ведь из заводов, которые машины строят, двести тоже народными стали. Они делают станки, готовятся выпускать тракторы, так уж кирочки да ковши враз смастерят.

Теперь насчет кирпича. Это, конечно, основа всех основ. И самый, как известно, недостающий материал. На развалинах его бери — не хочу, но вот ваша молодежная бригада битым пользоваться не разрешает. И правильно не разрешает. А огне-

упора, да еще первого класса, мало. Значит, придется специалистов просить такой расчет сделать, чтоб побольше бетона в ход пустить. Где только можно, заменить кирпич бетоном. Инженер Пленц, я слышал, человек очень опытный, он это сделать сумеет хорошо.

Так вот,— закончил полковник,— что от себя сделать могу, сделаю. А вы уж поторапливайтесь. Вот монтажники мне доложили, что скоро кожух ставить начнут. У нас в Сталинграде тоже металлургический завод восстанавливали, «Красный Октябрь» называется, так там, я знаю, как кожух установили, так сразу все ярусы класть начали. А неужели вы тут от монтажников отстанете? Не может такого быть. Верно ведь?

Полковнику опять дружно, честно, от души хлопали.

А Эмма уходила с собрания полная новых мыслей. О рабочих, о внутренней силе русских, о том, как будет воссоздаваться страна. Эти мысли были еще беспорядочны, расплывчаты, неясны. И ощущалась какая-то глухая обида. Было такое чувство, словно люди говорили не о строительстве печи для литья металла, а о неполноценности Эммы, ее умного отца, их соседей, всего мира, в котором она до сих пор жила. Бигль — ясный человек, потому что умеет класть кирпичи для домны и может руководить Эммой, которая вдесятеро больше читала и все-таки не обрела ясности. Люди, подобные Биглю, знают что-то такое, чего Эмма не вычитала из книг. И вызволить обитателей Пренцлауэр Аллее из потемок, вывести их с кривых тропинок на прямой путь дано только ясным людям, кладущим кирпич и льющим металл. Звучало это обидно, но на Пренцлауэр Аллее и впрямь только спорили, а домны действительно были основой основ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Эмма читает в постели перед сном.

— К тебе можно? — спрашивает из-за двери отец.

— Да, папа.

Он протягивает ей толстый конверт.

— Что это?

— Письмо. От меня.

Эмма обеспокоенно поднимает глаза.

— Не удивляйся. Я написал о том, что иначе трудно было бы сказать.— Он засмеялся.— Нехорошо, конечно, что перед сном... Ну, все равно.

Он быстро целует ее в лоб и выходит из комнаты.

«Единственная и любимая моя девочка! — читает Эмма.— Я чувствую, что уже недолго остается мне видеть тебя и Отто. Я уйду в Ничто. Этот вопрос — о наличии или отсутствии потусторонней жизни — я для себя так и не разрешил. Разум отка-

зывается признать идею божества и вечности всех миллиардов людей, которые жили, живут и будут жить на земле, а жалкий страх, свойственный смертному перед Неизвестностью, препятствует тому, чтобы сказать это себе в полный голос. Но так или иначе, этот уход в Неведомое мне скоро предстоит.

Я отношусь к нему спокойно. Большинство людей желает себе безболезненной смерти, не сопровождаемой муками, которые так часто предшествуют уходу с земли. Они забывают, однако, что физические мучения облегчают принятие смерти. Это невеселое преимущество даровано судьбой мне. К тому же при физических страданиях мир выглядит хуже, чем он есть, и обидная необходимость расставания с ним теряет большую долю своей горечи.

Я спокойно отношусь к уходу и потому, что он рано или поздно предстоит всем жильцам нашего дома. Это эгоистическая, но утешительная мысль. Я бы, вероятно, страдал в том случае, если бы смерть прихотливо поражала людей по выбору и я бы попал в узкий круг обреченных. Природа позаботилась о том, чтобы такой непереносимой обиды мне не причинять.

Нет у меня и предсмертного беспокойства, связанного с чем-нибудь незавершенным на земле. У русских солдат есть песня о том, что им рано умирать, так как дома ожидают их важные дела. У меня их не остается. В молодости меня обуревало желание многое сказать людям и я мечтал оставить после себя внушительный след. Познавая, я увидел, что все сказано другими.

Иногда меня одолевали сомнения: действительно ли совсем нечего сказать, действительно ли гении дали человечеству столь многое? В такие часы я обретал храбрость и склонен был очень невысоко оценивать пройденный до меня путь. И я имел к этому основания. Я рассуждал так. Старый спор древних материалистов с идеалистами в иной форме ведется и сегодня. Представления милетских философов о воде, как основе основ, сменились оценками электричества и атомного ядра. Ограниченные во времени суждения Платона и Аристотеля, не мыслявших мир без рабства, заменены сейчас идеей уничтожения всякого рода рабства. Что же касается рассуждений греков о самом важном — жизни, любви и смерти, то, чудилось мне, последующие тысячелетия только повторяли их в иной литературной форме... В вечерние часы, после закрытия лавки, я в те годы довольно часто мечтал раскрыть это. Мне казалось тогда, что, вероятно, греки мнили себя пророками только потому, что не знали памятников других эпох, других мест земли, что погибшие культуры унесли с собой собственных Гераклитов и Аристотелей.

Но эти мысли, повторяю, проходили. Дневной свет приносил с собой протрезвление, и я понимал, что оказался бы в смешной позе, если бы выступил с критикой всей истории человеческой мысли, не сказав собственного нового слова. А его-то я и не мог найти. Пусть мизерно было сказанное за три тысячи

лет, но каждая моя мысль была бы только повторением и оказалась бы еще более жалкой...

Так запутался я в хаосе мыслей. Они одолевали меня в такой степени, что я терял сон, впадал в болезненное состояние, именовавшееся когда-то горячкой, и твоя покойная мать не раз, может быть, жалела, что связала свою молодость с человеком, искания которого были так же настойчивы, как и его неудовлетворенное честолюбие. Я мог бы тебе, дочка, добавить, что позже, проследивая историю исканий других умов, я узнавал, что некоторые, как и я, становились жертвами духовного хаоса, часто переступая даже грань, называемую безумием. Я мог бы рассказать тебе... но нет, это отвлекло бы меня далеко в сторону. Скажу лишь, что, в отличие от многих, я сохранил в себе доброосвестность, удержавшую меня от того, чтобы плоды своих противоречивых дум и безумств излить в книге, которая увеличила бы хаос ненужных мыслей.

Жалею ли я теперь о бесследности своей жизни?

Я говорил тебе однажды, что встречался с большими людьми. Общение с ними разжигало во мне честолюбие. Тогда я длинные ночные часы проводил за письменным столом, и, когда в нашей стране воцарились годы нацистского безумия, у меня было что сжигать. Не из боязни перед вандалами предал твой отец огню свои писания. Нет, он понял, что в них не нуждались. Наши шмидты и мейеры запутались в проблемах и устали от них. Они привыкли к тому, что книги не разрешают вопросов, а только заставляют задавать новые. А так как мозг мейеров ленив, идей же накопилось много, к ним стали остывать. Потому и пошли многие за Гитлером и Розенбергом. Да, дочка, философия этих господ явилась для обывателей величайшим удобством по той причине, что исключила все предыдущие. Когда варвары объявили все прошлые идеи мифами и ввели культ крови, нашлось немало наших соотечественников, которые закричали «хайль!». Ничего уже не требовалось читать, ни в чем не надо было разбираться. С точки зрения духовной, это был эрзац куда более подходящий, чем введенные гитлеровцами в области питания. Тогда твой отец увидел, что его стране не дают быть страной поэтов и мыслителей, как ее назвал сказочник полтора-ста лет назад. Зачем же было ему сохранять свои рукописи?..

Но честолюбие покинуло с годами твоего отца и по другой причине. Он познал, как меняется вместе с календарем человеческое восприятие мира. Верное для одного времени будет отвергнуто другим, и отцу редко удастся передать сыну вместе со скарбом и собственную правду. Надолго ли, следовательно, могли бы пережить меня мои писания? А если вспомнить при этом, что обнаружение рукописи еще при жизни восстанавливает против тебя ревнивцев и глупцов, то мне становилось очевидным, что бессмысленно тратить годы на преодоление их враждебности.

Да, я все это осознал и давно внутренне успокоился. И если Шопенгауэра волновало не то, что черви будут поедать его останки, но препарирование, которому станут подвергать его книги досужие профессора, то я себя избавил и от этого беспокойства.

Но есть, девочка, все же Нечто, оставляющее во мне перед уходом грустное и смутное сожаление по поводу бесследности пережитого. Оно не поддается определению и является только чувством, проистекающим, вероятно, из того, что как бы я ни сознавал недостатки мира, все-таки очень к нему привязан... И точно так же, как сожалею я о невозможности оставить тебе и брату сто тысяч марок, скорблю я, что не поведал вам и другим «Историю монах заблуждений».

Шиллеровский Карлос огорчился тем, что в двадцать три года еще ничего не сделал для бессмертия. Во мне страсти давно улеглись, и я объяснил тебе, что не принадлежу к суетным старикам, которые не справились с волнением молодости. Я осознал ненужность славы, и мысль о ней мне чужда. Но историю моих исканий и заблуждений мне следовало оставить потому, что я жил среди людей...

В итоге долгих и беспокойных своих дум я пришел к окончательному выводу, что смысла жизни нет. Тебе и брату — моим наибольшим привязанностям в Оставляемом — я и решил это сказать. Тысячи определений жизни вычитал я у философов и поэтов и, вопреки им, понял для себя, что определение ей никогда не может быть дано, ибо жизнь есть только борьба со смертью.

Я не буду, девочка, вести тебя к этому осознанию через ряды бесконечных ученых имен и пропыленных книг. Воспользуйся готовым плодом исканий отца. И если ты оглянешься вокруг, то найдешь подтверждение его словам в том неустанном возведении различных барьеров против голода, холода и болезней, которые каждый ставит, как может и умеет. Вот этим и заняты все в огромном мирском муравейнике...»

Эмма взволнованно читала каждую строчку. Как и в тот ночной разговор с отцом, ее переполняла жалость к нему. Она почувствовала из письма, как несчастен и одинок был этот человек. Мать всегда жаловалась на отсутствие материальных выгод от его знаний, а его корысть была только в стремлении все как-то по-своему понять... И во внутренней борьбе прошла жизнь... Сомнение в чужих истинах сожительствоvalo в нем с горьким сознанием бессилия найти собственные... Бедный отец!.. Крупная слеза скатилась по лицу Эммы.

А отец писал дальше, что эта роль жизни, как борьбы со смертью, должна быть постигнута его дочерью, поддавшейся призывам Гайдауэров. Они мира не перевернут, ибо не в силах переделать человека.

«Я не хочу, — писал отец, — чтобы ты испытала горечь и разо-

чарование в борьбе... Иди своим путем: делай то, что кажется тебе правильным.

...Ты недавно бросила брату замечание, что нельзя проходить по жизни боком. Мне понравилась, девочка, эта фраза, но вряд ли ты сознавала, что своим острием она обращена против тебя, такой, какой ты стала для людей,— это и есть жизнь боком. Ты, вероятно, никогда не читала известного некогда рассказа Геллерта «Старик», который оканчивается знаменитой фразой: «Он был рожден, жил, имел жену и умер». В этой фразе — вся судьба человека, которого в наше время зовут при этом на митинги. И ты поддалась, девочка, этой пропаганде, приняв зал собрания за собственный дом.

...Вот почему, дорогая, уходя от вас, я хотел бы видеть тебя осознавшей цену светлой борьбы, обратившейся к себе, как к человеку и женщине.

...Тебя любит Гольц. Он дважды и настойчиво просил моей помощи... Я не переоцениваю этого человека. В дни моей молодости еще держалась на сцене старая пьеса Фрейтага «Журналисты», герой которой говорил: «Я могу писать правее, могу левее, могу в любом направлении». Наш знакомый, кажется мне, именно таков. Но он знает цену мнимым истинам и политической суете и создаст тебе собственный дом, в котором ты будешь окружена его заботами. Подумай над этим, моя девочка... С ним, не пожираемым исканиями, тебе будет легче, чем было твоей матери с любящим тебя

Отцом».

...Эмма плакала.

«Папа, милый папа! Что же мне делать, если сердце не принимает твоего завещания? Что делать мне, если в залах собраний я приблизилась к собственной вере? И как не распознал ты, папа, в человеке, которого прочишь мне в мужа, нацистского варвара? Папа, родной папа! Ты прав в одном: многим отцам нашей страны трудно будет передать детям свою мнимую правду».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Собрания сотрудников районных учреждений были особенно многолюдны с тех пор, как их стал посещать русский майор Поликарпов. Это был офицер из лекционного бюро Военной администрации. Немецким языком он владел свободно, даже иностранный акцент у него не слышался, и только сугубая литературная точность речи, лишенной местных оттенков, выдавала в нем чужестранца. Жители Германии говорят по-немецки на сак-

сонский, баварский, гамбургский, берлинский лад, что сказывается не только в произношении, но и в строе речи, и если ни одного из этих оттенков в языке нет, немецкое ухо распознает иностранца, книжным путем овладевшего языком. Майор не делал никаких докладов, а только отвечал на вопросы о своей стране и марксистской теории. Ответы были точны и остроумны и поэтому выслушивались с удовольствием. А вопросы были в большинстве случаев придирчивые, потому что сыновья сапожников и приказчиков, от души голосовавшие за Социалистическую единую партию, все же не могли представить себе, что где-то на свете уже воцарился настоящий социализм.

— Я понимаю вас,— сказал как-то майор,— вам трудно вообразить, что мир может быть иным, чем известный вам с малолетства. Людям свойственно недоверие к новому. Когда изобретатель демонстрировал свой первый паровоз, многие кричали: «Не пойдет! Не пойдет!» Когда машина двинулась и пошла, увеличивая скорость, они стали кричать: «Не остановится! Не остановится!»

В другой раз он сказал по этому же поводу, что людям, привыкшим к заведенному порядку в своих маленьких хозяйствах, всякие серьезные перемены в общественной и государственной жизни кажутся катастрофой — вроде всемирного потопа.

— Я читал,— говорил майор,— об одном крестьянине в Провансе, который, услышав о Парижской коммуне, оставался полчаса немым, а потом пробормотал: «Рабочие... Париж... А Сена? Сена из берегов не вышла?» Так и теперь, хотя Советской стране три десятка лет, вы не можете представить себе, как это так живет людям в государстве, где сосиски поставляет не Ашингер, а государственный колбасный завод, деньги за квартиру вносятся на счет местного Совета, размер заработной платы зависит не от хозяина, а от собственной выработки, а в браках не бывает мезальянсов, ибо нет жениха и невесты, которые принадлежали бы к разным классам.

— Значит, у вас все люди одинаковы? — спрашивали его.

Он объяснял, что не одинаковы. Проводя отпуск в Москве, он не видел в оперном театре даже двух одинаковых платьев на женщинах. Советские люди по-разному любят, разное читают, принадлежат к разным профессиям, по-разному зарабатывают.

Тогда ему говорили, что различие в заработках несправедливо. Он отвечал, что до наступления коммунизма справедливы как раз условия, когда заработок человека определяется его личным трудом.

Он терпеливо рассказывал об открытых для каждого путях к высокому заработку, о предоставленных каждому возможностях получить знания, совершенствовать свой труд.

Неожиданно его перебивали не относившимися к теме вопроса, которые казались ему, вероятно, наивными, и он отвечал не улыбаясь, короткими веселыми словами, вызывавшими

в зале одобрительный смех. Намеренная серьезность его лица должна была подчеркивать в этих случаях смехотворность вопроса.

— Есть ли в России адвокаты? — спрашивал сын того самого юриста, который, выступая против бургомистра, ссылался на Бентама. Этот парень, чтобы получить карточки, поступил недавно на службу.

— Да, — ответил русский. — Есть врачи, дома, водопровод, радиоприемники и адвокаты.

В зале слышался смех. Но тогда поднимался другой парень, тоже невосприимчивый к юмору, и с тем же любопытством спрашивал, может ли при социализме служить в государственном учреждении верующий человек. Русский офицер разъяснял смысл отделения церкви от государства, а потом заключал свое объяснение насмешливой фразой:

— Да, верующий имеет право служить в государственном учреждении, жениться, пить сельтерскую, иметь тещу и самопишущую ручку.

Весь зал уже дружно смеялся.

Офицер подчеркивал таким путем несуразность внушенных антисоветской пропагандой сомнений. Эмме особенно понравилась такая манера разговаривать, когда майор разъяснял вызывавший острый интерес вопрос о личной собственности при социализме. Людей, отцы которых всю жизнь бились за лишнюю полку в лавке или второй станочек для мастерской, вопрос этот волновал больше всего. И разъяснялся он до того просто и ясно, что Эмма удивлялась, как могла она раньше не понимать всего этого. Споры же, возникавшие по поводу слов офицера, показывали Эмме различие в оценке русских порядков детьми бедных и зажиточных обитателей Пренцлауэр Берга.

— Революция объявила собственностью государства землю, недра, леса, воды, фабрики и заводы, — сказал офицер. — Это значит, что я не могу купить Волгу. Никто не оставит мне в наследство замок и пруд с лебедями или форелями. Ни один мой знакомый не имеет собственного охотничьего заповедника, какими во множестве владел у вас Геринг и которые в Англии занимают больше площади, чем пахотные поля британских крестьян. Нет в моей стране и невесты, которая могла бы принести в приданое золотые прииски или автомобильный завод. Мне кажется, однако, что такого рода благами не владеет и девяносто девять процентов жителей всех других стран.

— Конечно, — говорили ему, — но у нас каждый ремесленник, накопив в пятнадцать — двадцать лет денег, может купить участок земли, чтобы построить себе коттедж.

— А у нас, — парировал майор, — не для чего его покупать, так как земля принадлежит государству и выделяется застройщику. Куплю-продажу земли мы считаем столь же невозможной, как торговлю воздухом.

— А дантист может у вас иметь бормашину? — восклицал сын зубного врача с Данцигерштрассе.

— А портниха может иметь швейную машинку? — неслось с другого угла.

Майор улыбался.

— Можно иметь любые вещи, — отвечал он, — служащие для личного пользования, а не для эксплуатации чужого труда.

— Нет, нет! — кричали ему. — Вы точно перечислите, что можно иметь.

Офицер сделал серьезное лицо.

— Советский человек, — говорил он, — может иметь автомобиль и калоши, дачу и зонтик. Все эти блага он может купить, получить и передать по наследству. Не может он купить: городской парк, домну, комбикормовый завод, паровоз. Эти вещи в Советской стране непродажные.

— А есть ли у вас владельцы моторных лодок? — раздался вдруг очередной вопрос.

Майор отвечал.

— Перечислите, пожалуйста, профессии, которые есть при капитализме и отсутствуют при социализме? — снова спросили его.

— С удовольствием, — говорил майор. — У нас отсутствуют заводчики, банкиры, помещики, биржевики, купцы, ростовщики и рантье всех видов, владельцы страховых обществ, фирм по покупке и перепродаже, собственники газет, многоквартирных домов, кинофирм... Но я б не назвал занятия этих лиц профессиями, — это все разные виды паразитизма.

Зал откликнулся на это перечисление одобрительно.

— Это все хорошо и приемлемо! — восклицал сын сапожника Пеппера.

— Не все, — возражал сын владельца радиомастерской. — Если каждый может извлекать доходы только из личного труда, то, значит, ремесленник не вправе иметь подмастерьев. А это, по-моему, несправедливо.

— А можно в Советской стране нанимать шофера для личного автомобиля?

— Можно.

— А можно ли его нанимать с тем, чтобы он возил пассажиров и передавал владельцу автомобиля выручку?

— Нельзя.

— А почему, — раздавался другой голос, — совсем нельзя торговать? Крупный купец, который имеет большие прибыли, — явление, конечно, недемократичное, и ему при социализме не должно быть места. Но если человек перепродает крестьянские продукты, получая только небольшой барыш, то запрещать это несправедливо.

Офицер терпеливо объяснял разницу между трудовым и нетрудовым доходом. Эмма заметила, что его объяснения нрави-

лись сыновьям портных, сапожников, монтеров и чемоданщиков. Несколько же пареньков не выражали одобрения, и один из них — сын владельца конторы марочных коллекций — спросил русского, что же делают со своими деньгами советские люди, чьи способности позволяют им много зарабатывать.

— Им же досадно, — сказал парень, — что нельзя пускать капиталы в рост.

— Это не капиталы, а деньги.

— Значит, их можно только тратить? — разочарованно протянул парень.

— Что чему служит? — отвечал русский. — Деньги для жизни или жизнь для денег?

Зал шумно одобрил его реплику.

С таких вечеров молодежь расходилась, продолжая оживленный разговор и на улице.

— А социализм совсем не страшная вещь, — говорили одни.

— Даже прекрасная, — уточняли другие.

— От социализма в убытке только богачи, — замечали одни.

— А все остальные в выигрыше, — подхватывали другие.

И только некоторые упорно находили, что маленькую прибыль русским следовало все-таки сохранить. На этом особенно настаивал сын владельца марочной конторы, который доказывал справедливость мелкой, как он выражался, «разницы».

— По-моему, вы не поняли принципиального, — заметила ему однажды Эмма и, сообразив, что парень обиделся, добавила: — Но со временем поймете.

У нее самой оставалось еще немало сомнений, навеянных многими газетами и письмом отца. Она стеснялась высказывать их майору на людях и выскользнула за ним однажды, когда он уходил по окончании беседы.

— У меня к вам вопрос, несколько вопросов, — сказала она в замешательстве.

— Отвечу хоть на сто, — добродушно улыбнулся он.

Они пошли вместе. Эмма, сбиваясь, начала говорить о том, что в Советском Союзе еще существует материальное неравенство. В газетах писалось, что ученые, изобретатели и опытные рабочие получают в России большие деньги. Что же это — государство ученых Платона? И разве эти люди не могут составить снова класс богачей?

— Это хорошо, — ласково ответил русский, — что вы немного волнуетесь. Такая заинтересованность радостна. Но... разрешите вам рассказать один эпизод. Я прочитал его недавно в мемуарах одной испанки. К ней приехала гостить ее лондонская подруга, и они вместе зашли в один крестьянский дом. Гостья, не зная испанского, не могла разговаривать с крестьянами, и они приняли ее за немую. В своем невежестве они не знали, что кроме испанского на свете существуют и другие языки... Мне кажется, что, подобно крестьянам испанского медвежьего

угла, многие немцы тоже не могут вообразить себе, что кроме привычного им старого мира есть и другой. Поэтому они и ищут в СССР, как вы выражаетесь, особый класс. Тем советским рабочим или ученым, которые много зарабатывают, не принадлежат ни земля, ни акции предприятий, ни закладные на них. Какой же они составляют класс?

Майор объяснил, что высокооплачиваемые люди имеют больше жизненных удобств.

— Но такими,— добавил он,— Советское государство хочет сделать всех своих граждан. Если бы нам не помешала война и не мешали поджигатели войн, мы бы, вероятно, уже вплотную приблизились к этой цели.

Они свернули на улицу, где жила Эмма.

— У нас, фрейлейн,— закончил майор,— есть люди, зарабатывающие меньше, есть зарабатывающие больше. Но нет таких, которые зарабатывали бы за счет другого... Поэтому социализм и вызывает ненависть иных немецких журналистов. При таком строе, где нельзя эксплуатировать не только труд, но и людскую доверчивость, эти негодяи сидели бы без гонора.

Эмма улыбнулась.

— Как видите, фрейлейн, повод для ваших волнений не серьезен,— заключил русский, прощаясь с нею у ее дверей.

— Разрешите, господин майор, рассчитывать и в дальнейшем на вашу любезность. У меня есть еще много вопросов...

— Я даже прошу вас об этом.

После следующего собрания русский ждал Эмму у выхода. Он поздоровался с нею, как со старой знакомой. Выйдя на улицу, он повернул в противоположную сторону от дома Эммы, показывая, что намерен прогуляться и готов поговорить подробно.

— Ну, выкладывайте,— сказал он, улыбаясь.

— Выложу,— ответила Эмма, радуясь собственной смелости.— Я, видите, ловлю себя на том, что симпатизирую коммунизму.

— Ловите? — удивленно спросил русский.— Непонятно. Зачем же вам самой себя бояться? Хорошей дорогой надо идти смело.

— Надо сначала полностью убедиться, что она хороша. Меня еще смущает многое.

— Расчленим это многое на составные части. Начинайте с сомнения номер один.

— Ладно. Один человек, которого я очень уважаю, убеждает меня в том, что всякая партийность заглушает здравый смысл, что партии однобоки, нетерпимы, не позволяют видеть истину.

И действительно, у вас в стране только одна партия и исключено существование других. Скажите, господин майор, разве вы в душе не согласны с тем, что эта однопартийность неправомерна? Но ответьте честно.

— Отвечу, фрейлейн Фельдмайер. Вашу фамилию, кстати, я узнал от своего друга бургомистра. Но только не взывайте больше к моей честности. Это излишне, так как большевик не может быть двуличен. И простите, если мой ответ будет несколько пространен.

— Ах, пожалуйста.

— Ваш вопрос очень путаный, фрейлейн Фельдмайер. Чувствуется, что к коммунизму вас ведет природная честность, но вам еще многому надо учиться. И прежде всего нужно учиться смотреть на коммунизм собственными глазами, а не сквозь призму направленных против него или мнимо надпартийных статей и речей. Мы именно к такому пробуждению здравого смысла и взываем. Если бы вы собственными глазами смотрели на социалистическую страну, у вас вообще не возник бы этот вопрос. Он искусствен, фрейлейн Фельдмайер. Ну подумайте сами: может ли быть у нас партия наподобие, скажем, английской консервативной, когда ни промышленников, ни помещиков, которых она представляет, у нас в природе нет? Может ли быть у нас, как в ряде других стран, особая крестьянская партия, которая добивалась бы расширения земельных участков и лучших условий аренды, когда коллективные хозяйства получили от государства землю навсегда и бесплатно? У нас невозможны и национальные партии, так как все нации в стране равноправны и ни одной не приходится бороться за свои права. Нужно только отнестись к делу не предвзято, а практически, чтобы понять немыслимость партийной борьбы в социалистическом обществе. У нас ведутся очень жаркие научные и литературные споры, но это не межпартийные споры, которые в едином обществе физически невозможны. Что же касается истины, то она нами, фрейлейн Фельдмайер, давно найдена.

Эмма взметнула глаза.

— Однако, господин майор, вы... не отличаетесь скромностью.

— А вы, фрейлейн Фельдмайер, не обрели ясности. Что понимаете вы под истиной? В вашей стране о ней очень много пишут в книгах и статьях, упоминать об истине кстати и некстати стало хорошим тоном, но остается она для большинства ваших соотечественников дамой абсолютно неизвестной. Иные немцы подобны человеку, который вздумал бы бесконечно разыскивать по адресным столам никогда не существовавшее лицо. А для нас истина — вовсе не таинственная незнакомка. Мы искали и нашли ее не в чьем-либо произвольном воображении и не в туманном космосе, а в реальной жизни человеческого общества, в его истории. Для нас истина — явь. Чтобы увидеть ее, надо только встать на надлежащее место и идти, не сбиваясь, по ориентиру.

— Но какой это ориентир?

— Коммунизм.

— Позвольте, вы уводите в сторону от вопроса. Речь идет об истине для меня.

— Нет, я, наоборот, приближаю вас к разрешению вопроса, потому что истина для вас лично может быть только производной от общей. Вы — единичка из двух миллиардов. Причина краха немарксистских искателей в том и заключается, что этого они как раз не поняли. Не то и не там надо искать, фрейлейн Фельдмайер. Иначе вы бесплодно проплутаете всю жизнь.

Эмма была поражена. Русский несколькими фразами разъяснял столь многое...

Они шли узкой ночной улочкой, на которой лишь тусклые фонари желтили черноту тротуара.

— Давайте выйдем на широкую дорогу, — предложил вдруг майор.

Эмма растерялась.

— Что вы хотите сказать? Мне следует вступить в партию?

Майор удивленно рассмеялся.

— Нет, фрейлейн Фельдмайер. Я имел в виду выйти из переулка. А в партию, — тон его стал серьезным, — рано вам еще, по-моему. Одной честности для партийности мало. Надо борцом быть. Нужно читать, верить, ненавидеть и... действовать. Но это придет, — добавил он уверенно. — В такое время, как наше, искренние люди быстро становятся по эту сторону баррикад. Ведь вас, я знаю, не устроит средняя истина... из трехпроцентной прибыли.

И он засмеялся снова.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Катастрофа разразилась неожиданно, и Эмма никогда не могла узнать ее первого акта. Его действующим лицом был не прежний студент Вильвицкий, с открытыми задумчивыми глазами, а носильщик № 64, в руках которого оказались немецкий фибровый чемодан и другой из черного лака, обитый желтой кожей по углам. Носильщику показался знакомым их владелец, когда небрежным жестом он приказал взять вещи. Это был человек с красивым выхоленным лицом и фигурой спортсмена. Но, несмотря на абсолютно правильные черты этого лица, бесцветные глаза делали его холодным и неприятным. Укладывая в машину вещи этого человека, Вильвицкий медлил, стараясь вспомнить, где он его видел.

— Бывший офицер? — спросил неожиданно хозяин чемоданов.

— Ефрейтор.

— Род службы?

— Связист.

— Года и участки?

Вильвицкий невольно поддался отрывистому тону, каким командиры задают вопросы своим подчиненным.

— Сорок второй — обучение, — ответил он, — сорок третий — Смоленск, сорок четвертый — Витебск, Вильно, потом Восточная Пруссия, тяжелое ранение, отправка в тыл...

— Так, так, так, — засмеялся человек, — знакомые местечки. А чемоданы таскать не опротивело?

— Я студент. Прирабатываю.

Человек на минуту задумался, потом сказал решительно:

— Бросайте ваш приработок к чертовой матери. Снимайте бляху, ефрейтор, и садитесь в машину. Будете связистом при мне. Триста марок в месяц. Столько примерно я тут пробуду.

Сразу по прибытии в Целлендорф на свою квартиру, где его встретили пожилая дама и служанка, неожиданный шеф Вильвицкого дал ему адреса для отсылки лаконичной телеграммы: «Вечеринка в девять. Гюнтер». Это имя ничего не сказало Вильвицкому. Но среди приглашенных оказался знакомый по лавке Фельдмайеров журналист Гольц.

Вечеринка была без дам. Собралось только мужское общество. Стол уставлен был многочисленными бутылками, среди которых преобладали брандвейн, виски и другие крепкие напитки. Кровяная колбаса и кислая капуста на огромной жаровне были единственным предложенным гостям блюдом. Пожилая дама, мать хозяина, удалилась в свою комнату, служанка, взяв жаровню, из кухни больше не выходила, а связист усажен был в комнате рядом со столовой для приема телефонных звонков.

Вильвицкий чувствовал себя утомленным. Утром он выпил только маленькую чашку соевого кофе и съел лепешку из картофельной муки. За день прибыло и ушло шесть поездов, и у него было много клиентов. В кармане было пятнадцать марок — редкий заработок для одного дня, но голод настойчиво давал о себе знать. Хлопоты с созывом гостей на вечеринку прогнали на время усталость, но когда Вильвицкий оказался один в чужом кресле чужой комнаты, она стала брать свое. Чтобы не дать дремоте овладеть собой, он решил читать, но на столе не было ничего, кроме вчерашнего номера «Тагесшпигеля» — издававшейся по американской лицензии скучной газеты, состоявшей из длинных и написанных тяжелым языком антикоммунистических статей. В них упоминались Эпикур, Фихте, Арндт, Ницше и Гладстон, статьи показались Вильвицкому тягучей мешаниной из обрывков отживших философских систем и парламентских речей столетней давности и только усиливали сонливость. Он аккуратно положил газету на место и подошел к книжному шкафу, но нашел неудобным без разрешения раздвигать его стекла и стал рассматривать корешки. Это были очень очень хорошие знакомые «Народ без проранства», «Рейн — река, но не граница», «Германская геополитика», «Завтрашний Восток» — книги, обязательные несколько лет назад почти в каждом немецком доме и лихорадочно жи-

гавшиеся обывателями в мае сорок пятого. В этом доме они остались в шкафу.

Вильвицкий возвратился к письменному столу и стал разглядывать фотографии в рамках. На одной была красивая и дородная дама — несомненно, мать хозяйина в пору ее молодости. На лице ее написаны были спокойствие, уверенность в принадлежности к тем, кто имеет власть и право на обслуживание, привык носить меха и бриллианты. Женщина не позировала перед аппаратом, не делала снисходительного лица, она была такой, как за чайным столом, в семье, на улице, казалась стоящей слишком высоко для того, чтобы в угоду кому-нибудь менять позу, манеры, взгляд. На другой фотографии, обрамленной массивным серебряным квадратом и помещенной на тяжелой подставке старинного серебра с черной эмалью, снят был коротконогий человек в охотничьем костюме, с ружьем в руках и убитым лосем у ног, некрасивый, с грубым лицом и маленькими глазками. «Неужели таким был ее муж?» — подумал Вильвицкий, но тут же различил на фотографии надпись. Она принадлежала знаменитому в Германии помещику и владельцу заповедных лесов графу фон Барниму, датирована была двадцать шестым годом, подарена была, вероятно, отцу нынешнего хозяина дома и являлась, по всем признакам, почетной семейной реликвией. И не успел Вильвицкий сообразить, что ему знакома надписанная на фотографии фамилия Холдриха, как взгляд его упал на другую карточку, изображавшую в офицерской форме, в блеске и мишуре «офицера по национал-социалистскому воспитанию» в дивизии там, на Востоке...

Да, это был майор Гюнтер фон Холдрих, ну конечно же Холдрих, и как только можно было не узнать его сразу же на вокзале!

Вильвицкий опустился в кресло.

Так вот кто он, его наниматель: майор фон Холдрих, гроза солдат и даже офицеров, человек, которого побаивался, как говорили, сам командир дивизии генерал Вестенхауз. Холдрих... Жестокый, решительный, настаивавший на безрассудном сопротивлении во всех случаях и сгубивший множество людей...

Сцена за сценой проносились перед Вильвицким...

Группа солдат. Один из них приглушенно читает другим сброшенную русскими с самолета листовку. Она сообщает, что пять немецких дивизий в котле. Прорваться из него невозможно. Географическая карта на другой стороне листовки показывает плотное кольцо русских войск вокруг осажденных. Окруженный город находится уже в глубоком тылу противника. Бои бесплодны. Сдача — единственный путь сохранения жизни. Кровавое пролитие бесполезно, ибо не изменит ничего...

Неожиданно перед группой вырастает майор Холдрих. Солдат, читавший листовку, немеет. Холдрих медленно отстегивает кобуру. Медленно вынимает маузер. Никто не схватывает

его за руку, хотя все понимают, что сейчас произойдет. Страх парализует людей. Холдрих стреляет солдату в лицо. Солдат падает на Вильвицкого. Офицер, не торопясь, засовывает маузер в футляр. Онемевшие люди продолжают стоять, словно статуи. Холдрих не произносит ни слова. Уходя, он не оборачивается, даже не убыстряет шагов...

Русский обруч сжимает витебскую группировку все плотнее. Он сдавит ее, если она не сдастся. Последние часы. Вверх взмывают, круто взяв сразу курс на запад, юркие «мессершмитты». Бонзы покидают тонущий корабль? Нет, майор Холдрих с товарищами улетел в ставку за помощью. Этот слух пускается среди солдат. А через несколько часов тысячи их сметаются русской артиллерией, снаряды которой бьют без промаха. Заметавшись в ужасе, люди поднимают руки вверх. Генералы капитулируют. Тысячи бредут по Минскому шоссе в плен. Конвой русских невелик. Уже взяты Орша, Борисов, отовсюду ведут пленных или они приходят из лесов сами. Фронт ушел далеко на запад, наступление русских грандиозно.

Вильвицкий рад приближению конца этой страшной бессмыслицы. Но он не может идти, осколки в ногах причиняют нестерпимую боль.

Конвоиры отмахиваются: кто не может быстро идти, пусть добирается до лагеря сам. Колонна уходит. Двенадцать человек остаются. Они сходят с дороги в лес, чтобы собраться с силами, отдохнуть. В лесу то и дело встречаются немецкие солдаты. Группами, в одиночку. Одни ищут плена, другие бегут от него. Вильвицкий смеется над теми, кто хочет пробиваться лесами к своим, продолжать драться.

— Из плена не будет обо мне известий,— говорит ему молодой солдат,— мать сочтет убитым, она этого не вынесет...

Вильвицкий пугается: его мать не вынесет этого тоже. Он дает себя увлечь тем, кто хочет пробираться.

Двадцать шесть суток шли они лесами на запад. Их группа то росла, то таяла. Ноги онемели. Неизвестно, где был фронт, так как встречались солдаты, дивизии которых были разбиты под Минском, под Молодечно. Десятки раз Вильвицкий решал отказаться от бегства, десятки раз поддавался уговорам продолжать путь. Их вышло четырнадцать человек. Это было где-то под Вильно. Вышли случайно: поляки, перед которыми они хотели поднять руки, оказались сторонниками какой-то лондонской ориентации и указали им дорогу в расположение немецких частей...

Сцена вторая... Форты под городом ошметинились пушками и пулеметами. Русских встретит кинжальный огонь, штурм будет стоить им много крови. Солдаты знают, что еще больше прольется немецкой. Они знают также, что эти жертвы бессмысленны. Пал Хайлигенбейль — последняя опора перед городом. Исчез Эрих Кох — гаулейтер области и глава ее обороны. По

всем дорогам стекаются к городу русские армии, а за немецкой спиной — только море да узкая кишка перешейка, ведущая к Данцигу, который, кажется, уже пал. Ловушка...

Холодный апрельский ветер. Он дует с моря. Вильвицкий дрогнет на посту у одного из фортов. Утро хмурое, на душе безысходность. Через несколько дней, а может быть часов, наступит конец. Гибель неотвратима. Думать о предстоящем страшно. Он гонит от себя мысли. Скорей бы конец дежурству, согреться бы, выпить свою чашку рома, заснуть. Или нет, надо сначала написать матери. Это будет, вероятно, последнее письмо... Ветер пронизывает до костей. Такой свирепый дует только здесь, на Балтике, он никогда не рождает отвратительные звуки, предвещающие смерть. Пальцы застывают от металла автомата, словно в декабре.

Вдруг на горизонте появляются две маленькие точки. Они постепенно вырастают. Он всматривается. Это два человека. Зачем они идут с русской стороны? Да, точки все больше принимают очертания фигур. Их увидели уже на всех фортах. В них напряженно вглядываются. Это два русских офицера. В руках одного из них — флажок парламентаря. Они идут медленно, преодолевая ветер. Два смельчака... Радостная надежда закрадывается в сердце. Оно начинает учащенно биться. Может быть, эти двое несут спасение... Они останавливаются у второго форта. Их ведут к командиру. Гарнизоны других фортов замирают в ожидании. Эти двое, передающие русский ультиматум, дарят немцам жизнь...

Через короткое время все форты облетает радостное известие: командир второго форта, считая сопротивление бесполезным, согласился на капитуляцию.

«А мы? А наш?» — не смея надеяться, спрашивают себя солдаты других укреплений.

Парламентареры подходят к форту, где у проволочных заграждений стоит на посту Вильвицкий. Но их предупреждает несущийся наперерез «мерседес», из которого выскакивают четыре офицера.

— Не смей приближаться больше к фортам! — кричит майор фон Холдрих. — Ваша наглость будет стоить вам головы! Мы не ведем переговоров с большевиками! Я расстреляю вас на месте!..

Товарищи Холдриха урезонируют его. Парламентареры держатся спокойно, с сознанием превосходства. Оба капитаны, оба свободно говорят по-немецки.

— наших голов только две, а немецких падет много тысяч, — спокойно говорит русский. — Это невыгодное соотношение, господин майор. Мы знаем, что немцы умеют драться, и наше командование не направило бы нас сюда, будь у вас какие-нибудь шансы на успех.

— Не вам рассуждать о них! — заревел Холдрих.

— Это точно,— ответил русский.— Потому мы и принесли ультиматум, чтоб вы рассудили сами. Для этого дается суточный срок. После этого начнется штурм фортов.

— Солдаты фюрера сумеют себя показать! — подбоченившись, бросает Холдрих.

— Их жены и матери никогда не простят вам страшной бессмыслицы того, что здесь произойдет.

— Это не ваша забота.

— Не препроводите ли вы нас к командующему внешней обороной? — спрашивают русские.

— Я препровожу вас к дьяволу в печку! — снова заревел Холдрих и схватился за кобуру.

Его удержали. Но и другие офицеры заявили русским, что расстреляют их, если они сейчас же не удалятся с территории фортов. Когда они шли назад, Холдрих стрелял им в спину и промахнулся только потому, что ему не дали прицеливаться.

— Это нечестно,— сказали Холдриху.

— Я плюю на ваши надуманные понятия честности,— ответил он.

Вскоре капитулировал сам комендант крепости. Девятого апреля город горел и сотрясился от взрывов. Вильвицкий бежал раненый и потому оказался в числе немногих сотен, вывезенных на утлых суденышках из крохотного порта, павшего через день.

И вот теперь майор Гюнтер фон Холдрих приехал в Берлин с мюнхенским поездом!.. Не измерить зла, которое причинили Вильвицкому и всей Германии этот человек и ему подобные. Друг графа Барнима... Он знал, что делает, губя солдат за дело Гитлера...

Резкий телефонный звонок прервал размышления бывшего ефрейтора. Вильвицкий опомнился и схватил трубку. Некий мистер Джон Грей ломаным немецким языком звал хозяина дома к телефону. Вильвицкий нерешительно зашел в столовую.

— Ага! — обрадовался Холдрих.— Наконец-то!

Из разговора, который велся по-английски, Вильвицкий понял только то, что американец не может приехать на вечеринку и ожидает Холдриха завтра утром в своем бюро.

— Ну а что вы тут делаете? — спросил шеф, кончив разговор.— Постничаете, ефрейтор? Следуйте за мной.

Многие бутылки были уже опорожнены, в комнате стоял табачный дым, глаза людей блестели, но радиоло, голоса и шум не оглушили Вильвицкого. Это не была попойка, какие видел он прежде в офицерских землянках и клубах. Еще основательный кусок кровяной колбасы шипел на жаровне, от которой тянулся к штепселю электрический шнур.

Холдрих налил связисту полный стакан брандвейна.

— Пейте, ефрейтор!

Спирт обжег внутренности.

— Ну, веселее стало? — спросил Холдрих, но, увидев иска-

жившееся лицо Вильвицкого, рассмеялся: — Да вы вроде ба-рышни, которая еще не вошла во вкус. Вот я дам вам виски.

Глаза Вильвицкого приковались к шипевшей колбасе. Холд-рих перехватил этот взгляд. Он ухмыльнулся.

— Вы не выросли, Холдрих.

Голоса на минуту смолкли.

— Вы — у меня в доме, Кретчмар, — последовало после короткой паузы, — и потому я оставляю ваше замечание без ответа. Я вырос, как видите...

— Бросьте, господа! — раздался другой голос. — На мой взгляд, консолидации сил мешает нерешительность наших шефов. Существует еще Союзный Контрольный совет, сохраняется видимое единство управления страной, нет окончательного разрыва, и потому наши сторонники ни в чем не уверены...

— Это неважно, — перебил Холдрих. — Шефы не сообщают мне подробности того, что предпримут. Да и решаться эти дела будут не на нашем континенте. Я имею сведения, что начало разрыву положено. Разве нынешняя ситуация и без того не ясна? Если из восьми тысяч шестисот чиновников западных зон шесть тысяч восемьсот были членами нашей партии, тысяча шестьсот имели в армии ранг выше майора, а сотня принадлежала к СС, то что еще нужно колеблющимся для решительной ставки на определенного коня?

— И все-таки Запад действительно очень медлителен, — услышал Вильвицкий голос, в котором сейчас же узнал Гольца. — События нужно ускорять. Время работает не на нас. Неужели надо ждать, чтоб война началась после того, как сложится огромная армия внутренних врагов, о которой говорил Кретчмар? И она будет состоять не только из рабочих. В таком большом слое немецкого населения, как городские мелкие хозяева, в их семьях я вижу те же следы разброда, который вносят коммунисты в умы. И уж во всяком случае в большинстве этих домов не желают войны. Жадность наших покровителей, делающих страну полем разорительных для нас оборотов, тоже способствует ослаблению антикоммунизма, несмотря на средства и силы, вкладываемые в пропаганду. Так чего же ждать? Ни одна база для флота или авиации не оправдывает времени, которое теперь на нее тратится. Затяжка губительна. Если поставить людей перед лицом войны неожиданно, их можно организовать в армии и заставить стрелять. Но если мы оставляем время на то, чтоб война, как говорил Геббельс, разбушевалась в сердцах, то люди будут не способны стрелять или станут стрелять не в ту сторону. Война должна опуститься на землю с быстротой лондонского тумана. И самое позднее — через год-полтора.

— Вы перепили, Гольц.

— Нет. Слишком трезвы те, кто накапливает бомбы и плац-

дармы, цену которым мы знаем по прошлой войне. Что делают янки для увеличения симпатий к ним? Наводняют страну штанами и часами, озлобляя портных и часовщиков, которыми кишит каждый немецкий квартал! А потом они пришлют свои корабли, чтоб оставить без дела гамбургцев и заставить их бунтовать. Навезут свои машины, чтобы породить армию голодных бездельников и повторить тридцатый год! Умейте предвидеть, Холдрих! Снова появится напряжение тридцатого года, который удалось тогда обратить в тридцать третий, но кто гарантирует, что теперь не появится другая отдушина? Все быдло, как вы выразились, высыпет на улицы и окончательно свернет нам шею. А к ним на других концах шарика прибавятся китайцы, малайцы и прочие негры.

— Не занимайтесь стратегией, Гольц,— нетерпеливо заговорил Холдрих.— Я, может быть, согласен с вами в душе тысячу раз, но вовсе не для того предложил вам сюда явиться. Ваше дело рассказать...

— Мы на товарищеском собрании,— возразил Гольц.— Я волен говорить, что думаю. Достаточно того, что мне приходится писать и говорить вздор во всех других местах. А по поводу хода вербовки доложу вам лично. Списки бывших офицеров, о которых тогда говорилось, составлены по четырем городам советской зоны оккупации. Сорок два процента выразило согласие.

— Только?

— Через год этот процент будет еще меньшим.

— Оставьте своего конька. Когда будет первый сбор?

— Это сейчас опасно.

— Что с парашютистами?

— В будущем году переберутся на запад.

— А операции номер пять?

— Боркгейм как раз работает над взрывом на двух фабриках.

— Предлагаю выпить за успех операции, господа! По полному бокалу!

Забулькало вино.

— Здоровье Боркгейма! — снова предложил Холдрих.

Стаканы стали наполняться опять.

После короткого молчания кто-то тихо зашел:

Подстрели мне, деточка, врага!

Ха-ха, ха-ха!

Принеси мне его правый глаз в передник!

— За упокой души фюрера! — произнес кто-то торжественным тоном.

— За президента Трумэна! — воскликнул другой.

Слышно было, как звенят брелоки, надеваемые на стаканы для того, чтоб их не путали.

Вильвицкий был потрясен всем услышанным. Он затаил ды-

хание, чтобы не пропустить ни звука и не обнаружить своего присутствия. Все, что он слышал, было до такой степени страшно, что казалось невероятным. Но происходившее не было дурным сном, оно было явью, как весь полный неожиданностями сегодняшний день. Его охватил ужас. Ему пришлось услышать вещи, узнав о которых содрогнулись бы все честные люди в Германии. В этом доме происходило чудовищное, а он был один, он был беспомощен, не мог позвать людей с улицы, прокричать на всю Германию «О!».

Он задыхался от сдерживаемого волнения, от своего бессилия. Испарина покрыла его покрасневшее лицо, бренди и виски, выпитые на голодный желудок, мутили его разум. Все раны, из которых три года назад были извлечены осколки, загноились в теле, словно свежие, грудь сдавило, воздуха перестало хватать.

— Сейчас, господа, я распределю между вами полученное от шефов вознаграждение,— услышал он голос Холдриха.

Не сознавая, что делает, а может быть, и сознавая, что делает непоправимое, еще больше захмелев от решимости и далекий от понимания своей слабости, Вильвицкий громко отодвинул кресло и встал в дверях.

Черный лаковый чемодан, обитый по углам желтой кожей, лежал на столе перед Холдрихом. Стаканы были сдвинуты, опрокинутая бутылка залила скатерть. Чемодан был туго набит пачками свежих ассигнаций, которые приковали взоры сидевших вокруг стола людей. Некоторые при виде такого количества денег поднялись со своих мест. Чемодан завораживал их, как зачаровывает змею мелодия.

— А-а-а! — прохрипел Вильвицкий.— Убийцы... Скоты!..

Дальше все произошло молниеносно... Оглушенный ударами по голове, лежал он на полу, и над его поверженным телом шел взволнованный, отрывистый разговор.

— Как он попал сюда? — спрашивали голоса.

— Он увязался за мной,— растерянно объяснил Холдрих.— Это шпион.

— Я знаю этого человека,— узнал Вильвицкий голос Гольца.— Однажды он защищал при мне действия народной полиции. Это саморазоблачившийся агент... Мы, господа, выслежены.

— Плевать! Мы в своем секторе. Я покончу с ним сейчас на месте. Я все объясню Грею. Тело завтра будет забрано в крематорий.

— Боже упаси. Не делайте глупостей, Холдрих. Сейчас же отвезем его в Си-ай-си. Там приведут его в чувство и найдут способы вытянуть из него все.

— Правильно! Именно так! — заговорили другие.

— Я отвезу его на своей машине,— решил Гольц.— Помогите мне связать голубчика, господа. А вам, Холдрих, придется поехать со мной.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Мария Ширлингер исчезла. Уже третьи сутки она не приходила домой и не давала о себе знать. Этого никогда не бывало раньше. Шляпница не знала, что думать и делать. Эмма успокаивала ее как могла, но потом страх стал охватывать и ее. Ей представлялись пьяная американская солдатня, темные руины Западного Берлина, убийства, о которых все чаще в последнее время сообщали газеты.

Шляпница ездила к владельцу парикмахерской, в которой Мария служила, но тот ответил, что фрейлейн Ширлингер уже более двух месяцев не приходила на работу и он растерял некоторых клиентов, предпочитавших делать маникюр именно у нее. Шляпница побывала на вилле госпожи Эмденбах, но последняя велела передать ей, что у своей массажистки, прачки, корсетницы и портнихи она никогда не спрашивала отчета в том, где они пребывают. После этого старая Ширлингер уже не решалась зайти к госпоже фон Эльмансдорф.

Она металась по своей мастерской, бегала к соседкам, в больницы, куда свозят пострадавших от несчастий, с трепетом раскрывала газеты, ища сообщений о найденных трупах, просыпалась в холодном поту от кошмаров, а потом старалась уверить себя, что девочка просто с кем-нибудь уехала...

Да, да, она месяцы уже, оказывается не работала, но у нее водились в последнее время деньги, она сшила себе несколько платьев, была веселей и возбужденней обычного. Всего этого не могло дать повышение оплаты за массаж, как она уверяла... Ужасно, если девочка пошла по плохому пути, но пусть лучше это, чем... Нет, не может она быть такой жестокой, чтоб не давать о себе знать матери, у которой никого больше нет на свете. Будь она жива, будь она здорова, старая шляпница сейчас же получила бы весточку, где бы ее дочь ни была.

На четвертый день страшная неизвестность сменилась страшным событием: к старой Гертруде Ширлингер пришли с обыском. Пораженная шляпница невидящими глазами рассматривала ордер криминальной полиции Берлина и не в состоянии была ничего сообразить.

— Это... это не ошибка, господин комиссар?

Нет, не ошибка. Он уполномочен произвести обыск в шляпной мастерской госпожи Гертруды Ширлингер, в ее квартире, во всех помещениях, в которых жила и которыми пользовалась особа, арестованная за контрабанду, спекуляцию, подрыв немецкой валюты, кабальные сделки и вымогательство ценностей...

— Ошибка! Ошибка! Вы с ума сошли! Марихен жива? Марихен здорова и только арестована? Господи, какое счастье! Садитесь, пожалуйста, садитесь, господин комиссар. Она не приехала записку? Где она находится? Контрабанда, вымогатель-

ство! Ха-ха-ха! Марихен над вами подшутила, или вы шутите со мной.

Шляпница радовалась. Ее дочка была невредимой, а какое-то глупое недоразумение разъяснится сегодня же, через час. Девочку, конечно, спутали с однофамилицей. И Гертруда Ширлингер охотно водила представителя полиции по комнаткам, показывала картонки из-под шляп, поднимала матрацы, открывала стенные шкафы.

Но что это? Чемодана, стоящего сейчас у Марихен под кроватью, в их доме никогда не было.

— Впрочем, это неважно, открывайте, пожалуйста, господин комиссар, открывайте. Замокнут? — Гертруда Ширлингер весело подбирала подходящие ключи. — Подошел? Ну вот видите.

В чемодане — фотоаппараты, коробочка, в которой лежат большие рубиновые серьги, горностаевый палантин, двести пачек сигарет «Верблюды», пакеты бразильского кофе.

Фрау Ширлингер теряется, но к ней быстро возвращается спокойствие. Какое ей дело до содержимого чемодана, если совершенно очевидно, что Мария по доброте своей взяла на хранение чужое имущество!

Комиссар составляет опись. Гертруда Ширлингер охотно подписывается.

Об аресте дочери шляпницы узнал весь квартал. Все недоумевали, но нашлись люди, знавшие о заключенных девушкой сделках. Она побывала в прошлом месяце у содержателя собачьего воспитательного дома господина Мейера и просила продать ей бриллиантовую булавку для галстука. Фрейлейн Ширлингер сообщила, что выходит замуж и хотела бы подарить эту булавку жениху. Господин Мейер был очень удивлен этим визитом. Булавку преподнес ему тридцать четыре года назад при женитьбе теще, но фрейлейн так упрашивала и настаивала, предложила ему такие соблазнительные вещи, как сигареты и сало, что он уступил ее просьбам. Фрау Крент таким же образом лишилась, оказывается, обручального кольца. А жена сапожника Пеппер... Но вы же слышали, господа, что при обыске у шляпницы найдены были рубиновые серьги? И кто же их не видел на фрау Пеппер! Слава богу, она носила их двадцать семь лет! В тяжелые дни они выручали ее, так как их охотно принимали под залог в ломбарде. И это была единственная ценность в семье. Но когда дочка шляпницы предложила за них так много кофе, а старик увидел заморский табак, то они не выдержали искушения. Она еще ругалась со стариком, требовавшим больше табака, в то время как надо было выторговывать именно больше кофе, который является, как известно, самым сытным напитком. От кофе всегда чувствуется бодрость в теле. Ну и сало они тоже получили от дочери шляпницы. В куске было фунта три, и они сейчас жарят на нем картофель. Фрау Пеппер было, конечно, очень-очень жаль серег, но ведь и то правда, что у нее нет доче-

ри, некому было бы их передать, а хранить их для неизвестной невестки, которая может еще оказаться порядочной дрянью, в то время как в комнате запахло настоящим кофе...

Эмма, опустошенная, сидела в своей комнате. Она испытывала шемящую жалость к подруге и сознание собственной вины перед ней; мысли набегали одна на другую, и все были нерадостными. Зачем она не образумила Марию, не отговорила от этого отвратительного пути? Почему, дружа с Марией столько лет, она снисходила к ее слабостям, не была с ней резка, крута, позволяла развиваться болезненной жажде к богатой и легкой жизни? Почему не объясняла, что только труд... Впрочем, «трудом праведным не наживешь палат каменных»,— говорит народная мудрость на всех языках. Мария видела это на примере собственной матери, которая всю жизнь изготовляла шляпы для других, но не имела ни одной приличной для себя. Нет, труд при капитализме не может, конечно, дать безбедной жизни.

Как часто стала она, Эмма, ловить себя на том, что говорит «измами», которых чуралась прежде. Теперь же они незаметно вошли в ее язык, в мысли. То, что казалось ей раньше скучным, постепенно раскрывает перед ней свое содержание.

Стал ли богатым отец, простоявший всю жизнь у прилавка? Нет, на книгах наживаются издатели, владельцы аукционов, спекулянты-антиквары. Все уходит к ним и... Шраммам. Ах, мерзавец, мерзавец! Он говорил, что деньги вовсе не делаются на чужих костях. Они делаются тобой на чужой нужде, чужих грошах и судьбах мотыльков, вроде Марии, летящих на твой дьявольский огонь. Сколько булавок и серег собрал ты, скольких людей ограбил? Тысячу, десять тысяч, пятьдесят?.. Ах, негодяй, негодяй! Ну, теперь ты, слава богу, от тюрьмы не уйдешь: Мария все о тебе расскажет.

Но что делать, что делать? Может быть, обратиться к Гайдауэру, рассказать ему, какая нежная у Марии душа, как мечтала Мария о семье, бедствовала, поддалась уговорам негодяя? С Гайдауэром все власти считаются, по его просьбе Марию могут и выпустить. Но... нет, он ясно сказал ей тогда о Кренте. Душа душой, а Мария помогала обирать людей, наживалась... Русский майор?.. Но как сказать ему о подруге-спекулянтке?..

И Эмма вдруг поняла, что преступления Марии бросают тень и на нее. Она дружила с мародершей, с... агентом американского капиталиста. Дружила, знала обо всем, но не разоблачила ни подругу, ни ее хозяина. О, она, конечно, не испугалась тогда его угроз, они показались ей такими же отвратительными, как он сам, она прошла мимо всей этой истории, как обходят на улице грязную лужу. Но это и было непрестительным. Она не имела права быть безразличной ни к судьбе подруги, ни тем более к тысячам бедняков, которых грабят.

Эмма в волнении шагала по комнате. Эта мужская привычка

появилась у нее со времени войны. В дверь постучали, и на пороге показался Отто.

— Ты слышала приговор?

Эмма испугалась:

— Кому? Какой?

— Гробовщику Шольцу. Сегодня был суд. Пять лет. Адвокату ничего не удалось сделать, так как Шольца судили не за утайку вещей, а за использование безвыходного положения семей умерших.

У Эммы отлегло от сердца. Приговор вынесен не Марии!

— Ну и как ты находишь этот приговор?

Отто пожал плечами.

— Не знаю. Сейчас в лавке был Найдер, он очень возмущался, считает этот суд произволом. Он говорит, что Шольц ведь не воровал вещи, а брал их по соглашению, и за это в прежние времена не судили. Другие, наоборот, одобряют.

— Что говорят они?

— Там все это вырытое серебро фигурировало как вещественное доказательство. Рассказывают, что когда его вкатывали на тележках в зал, публика ахала. Очень уж много было. Ну и действительно, свидетели показывали, что он требовал продовольственные карточки и серебро, а иначе не давал гробов.

— Мерзавец!

— Да, человек, конечно, плохой. Между прочим, там Гольц был, чтобы дать в газету отчет, он забегал из суда ко мне и рассказал, что одним из свидетелей вызывался Вильвицкий, но он не пришел, не указав причин, и оштрафован судом на двадцать марок.

— Бедняжка! Для него это чувствительная сумма. Почему он перестал ходить к тебе?

— Болел все время. У него что-то неладное с легкими. Потом использовал свободные часы для заработков. Насчет твоей Марии никаких новостей?

— Почему, собственно, моей! И откуда я могу их знать?

— Ну, спокойной ночи, Эммхен.

— Спокойной ночи.

«Так вот какова будет судьба Марии! И ее пожалеют только Найдеры, а все другие заклеят. Кофе будет быстро выпит, табак выкурен, и люди поймут, что их ограбили. Марихен, Марихен!»

Необычайная жалость к подруге снова захлестнула Эмму.

Что сделало Марию несчастной? Весь этот отвратительный окружающий мир, за который она должна теперь отвечать!

Разве Мария по природе хищник? Она, делившаяся единственной конфеткой или коробочкой сигарет! Она хотела выпрыгнуть из бедности, приобщиться к тому заманчивому миру, который издевался над ней самим своим существованием. В кино ей показывали анфилады сказочных помещений и платья, на

каждое из которых не хватило бы ее годового заработка. На сцене она видела людей легких, любезных, бездумных, все заботы которых сводятся только к покорению сердец. А в доме у Эмденбах она воочию любовалась праздной жизнью богатых.

Как могла бы она попасть в это царство? Конечно, только за счет других. Иного пути не бывает. Мария убеждалась в этом на примере собственной улицы, где одинаковая окраска домов скрывала глубокие различия в жизни их обитателей.

Однажды в лавке находился Найдер. Эмма слышала из столовой его речи о тех временах, когда никто не выдумывал классовую борьбу.

— Коммунисты,— говорил он,— ищут различия, которых у нас вовсе нет. Ну, скажите, пожалуйста, господин Фельдмайер, разве не имели мы все когда-то одинаковые талончики на скидку в колониальных магазинах? Разве в танцзалах, куда мы молодыми ходили танцевать, рабочие, гимназисты и приказчики не плясали вместе? И разве не все средние люди одинаково ели копченого угря по воскресеньям? А теперь разве мы не все страдаем одинаково?

«Нет, тысячу раз нет! Чтобы пойти в танцзал, Мария стирала ночью единственную шелковую блузочку, а твоя дочь имеет десятки платьев. У Марии каждое развлечение было сопряжено с лишением, а тебе не приходится думать, чем платить за театральный билет. И если ты жрал копченого угря только по воскресеньям, то из-за собственной жадности, а не в силу много равенства людей.

Ты приобрел отель за счет проституток, кормившихся собственным телом. Шольц богател за счет живых, хоронящих мертвых. Старший Шрамм разбогател трудом шоферов, которые не могли добиться даже тарифного договора. И Мария тоже захотела быть богатой за чужой счет...

Вас одинаково развратил уродливый мир. Но она по молодости лет все-таки осталась нравственно чище. Правда, она хотела порхать по жизни, жаждала богатства, чтобы жить, любить и ласкать. А в вас совсем убиты все чувства.

Кем стал ты, Найдер? Невыносимым для собственной жены человеком, который вечно возится со шкафами, то подмазывая их лаком, то меняя температуру комнат, чтобы шкафы не сырели и не коробились; ты стал аккуратным, практичным, угрюмым деспотом в семье и не имеющим друзей вне ее...»

Найдер делается Эмме в этот момент так отвратителен, что она выхватывает из лежащего на столе бювара бумагу и пишет ему короткий ультиматум:

«Прошу в течение двадцати четырех часов забрать находящийся в нашей квартире ваш шкаф. В противном случае...— Что же делать в противном случае? После минутного размышления она добавляет: — ...он будет передан, как бесхозное имущество, в больницу или сиротский дом».

Это письмо, которое отправлено будет завтра утром, немного разрядило ее озлобление. Она подумала, что несправедливо считать, будто испорчены только Найдеры. Бедность тоже искалечила людей... «Разве не жалок сапожник Пеппер? Жизнь без надежд, будущего и иллюзий сделала его раздражительным, беспричинно злобным. Он тоже защищает Шольца, кричит о священной свободе собственности и сделок. А что ему до сделок! Слуга чужих страстей... А страхового агент Шнитке? Медоточивый, с деланной улыбкой, вечно со всеми согласный в споре, одобрительно подхихикивающий всякому говорящему, страдающий от ощущения своей неполноценности и скупой дома до помешательства, так как вечно боится, что в следующем месяце ему никого не удастся застраховать... А вечно молчаливый, нелюдимый, стыдящийся своей бедности и постоянно тоскующий музыкант Чепеле?»

Да, этот мир унизил и сделал духовными калеками миллионы людей. Возвращенная среди них арестантка Мария еще сохранила следы доброты, которую большинство из них — стареющих, не успев вырасти, — утратило бесследно.

Эмма радуется этим своим неожиданным мыслям. Они кажутся ей важными, большими, многое объясняющими. Поделиться бы ими с другом, ясным и прямым, сильным и душевным, — каким должен быть человек. Но у нее нет такого друга. Отец и брат? Нет, все трое в их семье живут собственным миром, любят друг друга, но далеки друг от друга, словно находясь не под одной кровлей, а в разных городах. Вильвицкий? Но он, очевидно, не очень нужен Эмме, и нет в нем той силы, той ясности, какие хочется видеть в друге и человеке. У того должны быть высокий умный лоб, уверенные глаза, спокойные движения, мягкие волосы, добрые морщинки у век во время улыбки и... и Эмма неожиданно пугается: перед ней вырастает лицо бургомистра...

Несколько минут она сидит без движения, не в силах справиться с учащенным биением сердца. Потом встает, поднимает жалюзи, смотрит в ночь, возвращается в другой конец комнаты, останавливается зачем-то у фотографии, на которой ее мать снята с годовалым Отто на руках, и говорит себе отчетливо, вслух, громко:

— Он никогда не должен этого заметить, слышишь? Он годится тебе в отцы, и у него дочь твоего возраста... Ты просто впервые увидела, девушка, настоящего человека и принимаешь его за единственного. Но ты встретишь других... И на этом кончено, Эмма.

Волнения дня и неожиданное открытие не дают приблизиться спокойной усталости. А уже третий час ночи. Эмма приказывает себе ложиться спать. Надо делаться волевой. Гайдауэр сказал как-то, что не нервы должны управлять человеком, а он

ими,— этому надо учиться. Ах, опять Гайдауэр! Ну что ж, учиться у него полезному она может, но и только.

Она выключает свет.

А Мария Ширлингер не пытается в эту ночь овладеть своими нервами. Она мечется на жесткой койке дома предварительного заключения при следственной части, плачет, задыхается от кашля, ломает свои тонкие пальцы, то снимает платье, чтобы окончательно не испортить его, то, ежась от холода, надевает его снова. Перед глазами ее проносятся то мать, то Шрамм, то бриллиантовые изделия, то следователь, который ее допрашивал. Мария думает, как объяснить происхождение тысячи марок, найденных при ее аресте в сумочке.

Потом она устает от метания, от лихорадочной работы мысли, решает завтра все и окончательно рассказать следователю. Затем снова перед нею мелькают мать, булавки для галстуков, американский сержант с коробкой крекера, и она забывает о своем решении. Она плачет, клянет этого неуклюжего дурака Беркеля, у которого рассыпался на улице врученный ему чемодан с сигаретами, из-за чего их обоих тут же и забрали, клянет себя, клянет Шрамма и ломает голову, как опровергать показания Беркеля у следователя... И задыхается Мария в клетке, которую сама себе ставит. Превратится в дряхлую, растерянную старуху шляпница Гертруда Ширлингер. Лишь изредка будет вспоминать свою прежнюю массажистку госпожа Эмденбах, когда пальцы другой покажутся ей менее ловкими, а в шумных барах никто не заметит отсутствия тоненькой девушки с серыми глазами и копной золотых волос, потому что много есть баров, много девушек, много огней, вокруг которых вьются мотыльки. И даже на статистике метро не скажется исчезновение пассажирки, пересекавшей дважды в сутки кварталы Берлина, чтобы уютить животы праздных стареющих женщин.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Секретарь райкома Социалистической единой партии был краток. Вызвав Бигля, Меркера и других партийцев-огнеупорщиков, он сказал только, что стройка — политический экзамен, который должен быть выдержан с честью.

— Надо показать, что освобожденные рабочие — это создающая сила. Надо показать, что они строят быстрее частных фирм. Увидев поднятый завод, люди должны поверить в себя, в свои возможности. Они должны убедиться, что без хозяев дело идет не хуже, а лучше. Понятно, товарищи? Я прошу учесть еще, что о любом вашем промахе сейчас же разнесут вести двадцать вражеских газет. Я прошу учесть, что дома — не только металл, но проверка, которой подвергнет нас население.

На стройке было теперь девять огнеупорщиков-партийцев.

— Мы, конечно, не специалисты по агитации,— ответил за них Бигль,— но будем агитировать кладкой.

Вести ее решено было сразу в три яруса.

— Нельзя сказать, чтоб вы возводили особый гигант,— заметил инженер из магистрата.— В России давно строят вдвое более крупные домны. Но вот темпы работ надо взять такие, чтоб они действительно были гигантскими.

Молодежную бригаду пришлось ликвидировать. Это было тяжело Биглю, но так требовал здравый смысл. В бригаде были и очень опытные парни, как он сам, но преобладали новички. А формировать бригады надо было однородные и расставлять их на легкие и трудные участки, сообразуясь со степенью опыта.

Самые лучшие мастера должны были класть низ печи, другие — выкладывать шахту, третьих подвешивали наверх — к свечам и газоотводу. Из переселенцев же, бывших чиновников и других новых рабочих, созданы были бригады бетонщиков.

Бигль раскрыл в эти дни свой организаторский талант. Он назначен был возглавить бригаду, клавшую лещадь — большую, в десятки метров, площадку над фундаментом печи, служившую основанием горна. В бригаде было шестнадцать человек.

— Смотрите,— показал им Бигль на газетный лист.— Смотрите, что тут о нас говорится.

Несколько рук одновременно потянулось к номеру «Телеграфа».

Это была небольшого формата желчная газетка, выходившая в секторе у англичан. Издавали ее социал-демократы, редактировал Арно Шольц — бойкий и беспринципный публицист-коммерсант.

«Берлинцы,— говорилось в заметке, названной «Коммунистический огород»,— хорошо помнят недавнее заявление Социалистической единой партии о ликвидации безработицы в Восточной Германии. Агитаторы Социалистической единой доказывают преимущества «народных предприятий», которые могут-де дать заработок каждому немцу. На сто тысяч безработных зоны,— уверяют они,— имеются двести тысяч вакансий. Эпизод, разыгравшийся на бывшем заводе Фойгта, дает представление о цене этих заверений.

Сотни людей — металлургов, строителей, подсобных рабочих — были приглашены на площадку завода. Они ломали остатки домны, растаскивали металл и кирпич. Один из старейших заводов берлинской окраины, ливший когда-то металл, разрушен, буквально сровнен с землей. Жители слышали ночами взрывы, завершавшие то, что не доделывал лом. Теперь завода Фойгта нет... Площадка ровна, как целинное поле, и будет засажена брюссельской капустой...»

— Черт знает что такое! — пробормотал Эрмель, не находя слов.

— Вот вы не знаете, смеяться вам или негодовать, — сказал Бигль, — а ведь такая ложь может одурачить немало людей. Конечно, газеты советского сектора завтра же скажут правду о нашем заводе, и все-таки клевета осядет в мозгах. Что может ее опровергнуть? Домна, и только домна!

Да, это было не простое строительство, — огнеупорщики должны были дать бой! Бой врагам за пределами площадки и нытикам в собственной среде. И как готовятся к бою артиллеристы, подвозя припасы и пристреливаясь к врагу, так тщательно подготовилась бригада, заготовив инструмент, проверив транспортеры, растворонасосы и десятки других вещей.

— Материал будет поставляться вам по норме бесперебойно, — заверил огнеупорщиков техник, руководивший подачей.

— Нет, — закричал Эрмель, — давай запас, обеспечивай все время запас! Мы не собираемся смотреть на твои нормы.

Когда Бигль работал в «Гутехоффнунгсхютте», огнеупорщик должен был выкладывать за день 0,15 кубического метра лещади. Фирма «Фейерфесте Цигель» требовала от своих рабочих кладки 0,20 метра в день. Для боя этого было недостаточно.

— Четверть метра! — предложил бригаде Бигль. — Вывесим на доске наше обязательство. Пусть остальные увидят, как надо работать, и возьмут с нас пример.

— Выдержим ли? — неуверенно покачал кто-то головой.

— Я считаю так, — заметил другой огнеупорщик, — вывешивать пока ничего не надо, чтоб не садиться в лужу, а про себя возьмем курс на четверть. Если будет получаться, тогда вывесим. Страховка — всегда страховка.

— Ну, ты, наверное, страховался раньше и на случай смерти и на случай дожития, — засмеялся Лейбниц, пытавшийся некогда уязвить бургомистра сравнением с автомобильной заправкой. — Нет, брат, шепотом войны не ведут. Или — или.

Обязательство было вывешено.

Началось бетонирование. Эту работу вела другая бригада. Новичков научили пускать по желобу густую темно-серую смесь, тут же подхватывать ее лопатами, ровнять по площади и трамбовать широкими тяжелыми молотами.

Но в этом плане произошли изменения.

На площадку въехал грузовик, из кабины которого выскочил русский капитан.

— По приказу полковника Грошева, — бросился он к цеховому инженеру, — привез вам вибраторы. Скачу с ними сюда прямо с завода, из самого Виттенберга. Можете срочно делать электропроводку и пускать их в ход.

— Вот это неожиданный подарок! — просиял инженер.

Трамбовать бетон ручными молотами не пришлось.

Новички, немного волнуясь, чувствуя на себе тревожные взгляды, проникшись торжественной важностью момента, работали, не поднимая друг на друга глаз, прикованных к густевшему слою. Бригадир их, вооружившись молоточком, бил каменевшую на глазах сметану, по звуку определяя, плотен ли бетон.

— Хорош! — кричал Бигль, опытным взглядом завидя на затвердевшей массе серое цементное молоко. Потом, не выдерживая, хватал из рук Ценеля молоточки и сам бил по бетону, проверяя, не оставляют ли удары следов.

Инженер, руководивший работами, поощрительно улыбался.

— Я приемщик, — смущенно оправдывался Бигль. — Мне на этом бетоне кирпич класть.

Но до кладки надо было еще набивать на бетон другую массу — удушливую смесь железняка, смолы, графита и разных порошков, что требовало работы в противогазах и заняло больше двух недель. А затем началась горячая и ловкая, но методическая кладка, которой залюбовались бы и знаток и профан.

«Платца-театер» вмещает три тысячи зрителей. Столько же людей приходят смотреть наездниц в цирке «Палласт». Но не могут демонстрировать истинно дивное искусство художники, замкнутые ободом металлического кожуха доменной печи, в которой нет мест для зрителей, а будет со временем плавиться металл. Впрочем, им самим не до рекламы. А иной обыватель с Пренцлауэр Аллее, прочитав в газете заметку о кладке шамота, удивленно пожмет плечами и скажет:

— Смотри, Гертруда, черт знает о чем стали писать. Газета перестает быть газетой. Вместо отчета о бегах в Карлсхорсте какие-то, как их там называют, кирпичеупорники или что-то вроде того...

Но участники бегов в Карлсхорсте, — хоть и много вчера было заездов и кто-то много сорвал, а кто-то много проиграл, — не восстановят в Германии не только завода, но даже проломанной кухонной двери. Бригада же Бигля возрождала страну. Возрождала искусством, стремлением, волей.

В середине площадки Бигль выложил из кирпичей крест. От креста протянул он в стороны тугие веревочные струны. И по этим струнам начала бригада класть кирпичи. Их укладывали один к одному, стояком, мгновенно зашлифовывая стальными кирочками малейшие неровности, подгоняя кирпич к кирпичу так, что между ними не пролезал и измерительный нож, и все время сверяя линейкой правильность кладки, безупречно ровной, как зеркальный пол в старом дворце Короля чудес.

Клали быстро, дружно, с душой, но к вечеру бригада недополнила три десятка метра.

— Клали слишком даже дружно, — огорченно усмехнулся Бигль. — Надо состязаться внутри самой бригады. Дружба дружбой, а обязательства — врозь.

И началось соревнование по четверкам.

К вечеру следующего дня бригада выполнила свое задание с излишком в один и два десятых метра.

— Гляди, что внизу-то делается! — удивленно покачав головой, сказал Вальден, изучая вечером на доске показатели бригады Бигля за день.

Вальден был тем самым рабочим, который на первом собрании сказал бургомистру о невозможности требовать работу с людей, получающих маленькие пайки.

Рабочие, стоявшие с ним у доски, тоже всматривались в цифры.

— Когда я служил в «Хюттенбауунтернемен», там клали два десятых метра. Помню, мы клали печь одним компаньонам в Штаделе...

— То компаньонам, а эти, видишь, говорят, кладут для себя.

— Тут у нас норма на лещади тоже двадцать соток, а они двадцать пять уложили.

— Да это бы еще проверить надо, — заметил с сомнением чей-то голос.

— Правильно! — подхватил другой. — Давайте, парни, пойдем завтра после работы проверять.

— Да стоит ли? Нам-то, собственно, что?

— Нет, нет, — решительно настаивал человек. — Завтра же ты, Вальден, и я посмотрим, сколько они действительно клали.

Так партиец Штедте создал проверочную бригаду. А когда она убедилась в том, что Бигль со своими людьми выложили сегодня больше вчерашнего, Штедте сказал футеровщикам:

— Неудобно нам, парни, отставать.

— Да, нехорошо получается, — согласился другой. — Кончат раньше нашего...

— И такое впечатление будет, будто у нас квалификация не та. А ведь Бигль что? Бигль в сравнении со мной мальчишка! — сказал Вальден зло.

— Давайте, парни, и мы обязательство возьмем.

Так, постепенно, на строительстве началось соревнование бригад. Фрейлейн Эстер, склонившись над ватманом, который она вымолила в конторе, старательно выводила тушью показатели за день.

— Это хорошо, но скучно, — сказал ей русский капитан, опять приехавший с поручением в контору строительства. — Цифры слов не заменят. У нас на заводах выпускают стенные газеты.

— Как так стенные? — удивилась девушка.

— А так. Вешают на стены в цехах.

Девушка усомнилась.

— Какие журналисты будут писать для цехов? — спросила она.

— Те же, что в них работают, — улыбнулся офицер.

Он рассказал ей о стенных газетах в России, а потом идею выпуска газеты горячо поддержал бетрибсрат.

«Пишите о том, что у вас на сердце!» — обратился профессиональный комитет к коллективу.

В первый номер собрано было девять заметок. Одну из них написал цеховой инженер.

«Огнеупорщики, — говорилось в ней, — кончили кладку лещади и горна, выложив полтораста кубических метров. Их было 32 человека, работавших в две смены, сначала на лещади, потом на горне. Они вырабатывали в смену гораздо больше, чем делали люди на службе у компании «Фейерфесте Цигель», где я прежде служил. К тому же здесь не было шлифовальных станочков и приходилось вручную подшлифовывать при кладке кирпич. Выработка на футеровке свечей тоже превышает, хотя в меньшей мере, прежние нормативы. Давая, по просьбе редакции, настоящую справку, я считаю, что люди, которые из патристических побуждений дают такие примеры, заслуживают общей похвалы».

«Вы просите сказать, что лежит на сердце, — писал двадцатилетний землекоп, — но на сердце у нас, молодых, неважно. Вот недавно многих детей ремесленников, юношей и девушек, имевших среднее образование, отправили учителями в школы, заменив нацистских учителей. Это очень хорошо. Но что делать нам, у которых среднего образования нет? Как мы будем жить и что делать? А теперь еще ходят слухи, что платить будут не повременно, а по хорошей или плохой работе. А какая у нас может быть работа, если нас никто не обучал! Вот огнеупорщики и слесари, что клепали броню, могут зарабатывать хорошо, да еще их хвалить будут, что они возрождают Германию. А разве мы возрождать не хотим? Пусть бы нас обучили и сделали тоже слесарями. Мне эта работа нравится. Я видал, как они сидели на верхотуре и клепали, и если б меня научить, я бы тоже мог. Вот кричат, что они умелые, собрали кожух за 27 дней. И я, может, не хуже работал бы, а вот не приходится.

Говорят, у большевиков в России всех парней учат. А почему полковник, который тут был, не обратил внимания на нас? Пусть внесет предложение в Контрольный совет, чтоб и немецких парней учить. Ведь русские — за рабочих. А то, если всю жизнь землю копать, так лучше на все плюнуть, и на карточки тоже, да пойти спекулировать сигаретами на Александерплатц».

«Редакция показала мне заметку молодого землекопа и просила на нее ответить, — писал Клест. — Делаю это с радостью. Строится, товарищи, сейчас не только наша домна, но возрождаются многие заводы Восточной Германии. Нужда в хороших рабочих очень большая. Знаете, сколько сейчас на одного металлурга свободных вакансий? Сорок четыре! А если хочет себе выбрать работу строитель, то на него падает 97 мест. Единственная «профессия», по которой предложение выше спроса,—

домашняя прислуга. И надобность в умелых людях будет все время расти. Парень-землекоп может поэтому успокоиться: его обязательно будут учить, дорога ему откроется. Когда задум домну, много товарищей останется работать здесь. Затем откроются профессиональные школы. Каждый парень найдет себе дело по душе».

«Я — старый мастер по сборке конструкций,— говорилось в другой заметке.— Служил и у «Рейнметал-Борзиг» и у «Прейс-сиге Хюттен АГ». И хочу теперь сказать, что народные предприятия — это действительно самое честное и полезное, что может вывести нас из нужды.

Пока идут строительные работы, мы подбираем и ремонтируем оборудование. Откуда оно взято? Скажу о том оборудовании, которое монтируют мои люди для воздухоудвки. Паропроводы привезены с разбитого завода в Мекленбурге, паровая турбина — из Саксонии, маслопроводы быстро сделал, по нашей просьбе, берлинский народный завод, конденсатор даром отдал другой такой же завод, а фильтры смастерили мы сами. Конечно, все эти вещи пришлось проверять, подгонять, приспособливать, но, будь они в частных руках, мы бы их вообще не имели. У всех вещей был один господин — промышленный отдел нашего, немецкого, самоуправления зоны. Военная администрация позволила и даже велела ему собрать все нужное для нас. А разве частные фирмы подарили бы что-нибудь одна другой? И где в нынешних условиях можно было бы все это заказать? Когда распоряжается всем оборудованием народ, получается лучше».

Возле первого номера стенной газеты толпились люди. Во втором номере редакция просила извинения,— ей не хватило места для всех поступивших заметок.

А Пленц, которого видели читавшим газету в одиночку, когда было уже темно и он освещал щит карманным фонарем, вызвал бетрибсрата и буркнул ему недовольным тоном:

— Почему эта девчонка возится в конторе со своей затеей? Она ж мешает работать. Тут не издательство. Не издательство, заметьте себе. Пусть ей выделяют комнату, дадут бумагу, краски, то, что нужно для этих дел. Ясно? Чтоб не отвлекала служащих от счетных работ.

А когда бетрибсрат вышел, Пленц, довольный собой, лукаво улыбался. Он не знал, что улыбался и бетрибсрат.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Второе исчезновение за короткое время! О нем Эмма узнала из хроникерских заметок газет. В них глухо сообщалось о заявлении в полицию вдовы ремесленника Вильвицкокого, сын которой, студент факультета естественных наук Берлинского университета, двадцати восьми лет, холостой, пропал из дому и остается в течение восьми дней неразысканным.

— Видел ты это? — волнуясь, показала она Отто заметку.

Они бросились в квартиру пропавшего.

Его мать плакала и ничего не могла им объяснить. Гейнц ушел в тот день из дому почти без завтрака, сказал, что проведет несколько поездов, она ждала, ждала, а его все не было. Она стала тогда беспокоиться, потому что он только недавно встал после болезни и не надел перед уходом пальто, к тому же у него вообще слабые легкие, как и у его покойного отца, которого она в свое время выходила, заставляя пить топленое нутряное сало.

И вот, когда пробило уже двенадцать ночи, она сделала два бутерброда, взяла пальто Гейнца и поехала на вокзал. Пальто старое, штопаное, Гейнц не любил его надевать, но ведь это все-таки лучше, чем ничего, и она подумала, что если Гейнц решил обслужить еще ночные поезда, то бляху он может пристегнуть и к пальто.

Приезжает она на вокзал, глядит — там уже совершенно темно, ни одного носильщика не видно, и ей сказали, что ночных поездов не будет. Она поехала в тревоге домой, надеясь, что Гейнц уже, может быть, возвратился, но как только увидела с улицы темные окна квартиры — у нее прямо занула душа.

Всю ночь она его ждала, все перебирала в уме, где бы он мог находиться, и ничего не надумала, потому что девушки у него не было. Нет, нет, пусть ее не уверяют в обратном, она — мать, она чувствовала бы, будь у Гейнца подружка. Он всегда возвращался в одно и то же время домой, и если собирался куда-нибудь уходить, всегда предупреждал ее, чтобы она, старая, не беспокоилась, если он задержится. Он очень внимательный, ее Гейнц, он и с фронта писал почти каждый день, и таких нежных сыновей трудно найти.

На другой день она опять поехала на вокзал, расспрашивала всех носильщиков, некоторые видели Гейнца, но никто не заметил, когда он ушел. Один парень даже сказал, что сам удивился исчезновению Гейнца, так как обычно они вместе отправлялись домой, им было по пути... И вот восемь суток она его ждет, восемь суток...

Старушка рыдала.

«Неужели и он?» — мелькнуло в уме Эммы, но она тут же решительно отвергла эту мысль: Вильвицкий ни на что плохое не был способен.

Загадкой заинтересовались полиция и криминальный репортер вечерней газеты «Ночной экспресс». Они нашли господина Кляссера, видевшего, как носильщик сел в такси вместе с пассажиром, вещи которого он нес. После того как чемодан был уложен в багажник автомобиля, господин Кляссер хотел подовзвать носильщика, чтобы поднести с вокзальной площади вещи к платформе, но носильщик сам неожиданно сел в машину, и этот момент господину Кляссеру запомнился.

Получив первый слог тяжелой шарады, полиция и репортер,

поспешивший сообщить об этом читателям, на следующий день беседовали с Алоизом Нуккертом — словоохотливым старым шофером гаража господина Ленке, находящегося неподалеку от Гедехтнискирхе. Нуккерт всегда расположен был к обстоятельной беседе и не любил только одного — чтоб его перебывали.

Он рассказал о том, что хозяин уже двадцать лет посылает его к вокзалам за пассажирами дальних поездов. Он ездил раньше на «мерседесе», прекрасной и хорошо отлакированной машине, которую господа, прибывшие с поездами «люкс», всегда предпочитали совсем некомфортабельным «опелям». Спору нет, «опель» — машина, конечно, юркая, выносливая, она при надлежащем уходе может пройти и полтораста тысяч километров, но вида у нее все-таки нет. Что там ни говорите, дешевка всегда останется дешевкой, а «мерседес» будет «мерседесом», и те, кто ездили поездами «Л» и «ФД», пользовались именно его, Нуккерта, услугами. Раньше были еще роскошные специальные поезда «летучий мюнхенец» и «летучий гамбуржец», которые делали по полтораста километров в час. В них ездили крупные купцы, промышленники, вообще деловые люди. Бывало, прибудет какой-нибудь такой из Гамбурга в одиннадцать дня, садится в нуккертовский «мерседес», разъезжает с ним по банкам и фирмам, затем обедает в «Адлоне», а к семи Нуккерт отвозит его назад к поезду, и человек через два часа уже снова у себя в Гамбурге.

И вообще, знает ли господин репортер, который еще довольно молод, сколько было прежде разных типов поездов? Двенадцать! Да, да. Одних только экспрессов было три вида. Когда бы и куда человек ни пожелал уехать, он всегда мог сделать это в тот же день. Удобства были прямо замечательные для человека. Но, надо оговориться, — для денежного. Если бы ему, Нуккерту, самому вздумалось поехать эдаким поездом до Мюнхена, он должен был бы отдать пятинедельный заработок за пять часов пути. Простая публика ни «летучими», ни просто сносными поездами не ездила. Она переполняла третий класс пассажирского.

Шурин Нуккерта вот уже восемнадцать лет служит в статистическом бюро управления железных дорог и говорил ему, что первым классом ездили до войны всего двадцать шесть тысяч человек в год, а третьим — миллион семьсот тысяч. И все эти скорые, сверхскорые и «летучие» существовали для маленькой кучки пассажиров!

И если господин репортер думает, что от этих господ ему, Нуккерту, перепадали хорошие чаевые, что они не требовали с него сдачу, так молодой человек очень и очень ошибается. Сдачки-то они, правда, не просили, но эти господа всегда предусмотрительно держали мелочь в наружных карманах пальто и платили именно столько, сколько полагалось по счетчику...

Воспоминания старика могли длиться еще долгие часы. Инспектор начал вежливо покашливать. Репортер закрыл блокнот и стал смотреть в окно. Старик понял их и нахмурился:

— Я собирался подойти к объяснению того, почему интересующий вас случай остался у меня в памяти, но, конечно, если господа не располагают временем... Я все-таки должен кое-что рассказать, господин инспектор, об условиях работы носильщиков. Мне она хорошо знакома, большинство из них я знаю в лицо и...

— Вы угадали, господин Нуккерт, времени у нас действительно в обрез, и из всех знакомых вам носильщиков нас интересуется только один, которого вы отвезли с прибывшим пассажиром.

— Но именно этого парня я и не знал! — вскричал старик. — Потому-то он мне и бросился в глаза, что был новенький. Это худой, болезненный на вид, с ребячьими глазами парень, который тяжестей таскать не может и, конечно, никогда не таскал их прежде, хоть и был в переделках на русском фронте.

— Откуда вы это знаете?

— Он сообщил об этом пассажиру. Тому это обстоятельство понравилось, почему он и нанял его тут же к себе на службу.

И старый Нуккерт, не упуская малейших подробностей, рассказал о диалоге, происшедшем возле его автомобиля между пассажиром и носильщиком. Он описал наружность красивого господина, но не видел его вещей, уложенных носильщиком в багажник машины. Господин был именно такой, какие только и приезжают из Мюнхена теперь, когда рядовой человек разрешения на поездки не получает, — вполне сытый на вид и хорошо одетый. Подробности костюма? Ну, их старый шофер не запомнил.

Увы, он не мог указать и здания, в которое отвезенные им пассажиры вошли.

— Оно, несомненно, было вот на этой улице, господин инспектор, но я не обратил внимания на дом и подъезд. Если бы вы поручили мне это своевременно! Господин приказал мне остановиться у серого дома направо, и я остановился. Они рассчитались со мной и ушли, я же не выходил из машины. А теперь я вижу, что таких серых домов тут много.

Показания Алоиза Нуккерта, которые газета «Ночной экспресс» озаглавила: «По запутанным следам», мало чем прояснили загадочное происшествие. Наоборот, другие газеты вскоре уверили читателей, что эти показания, дескать, уводят в сторону от настоящих следов. Заинтересовавшаяся делом газета, в которой работал Гольц, направила репортера к матери пропавшего, и вдова в разговоре с ним вспомнила, что сын, накопивший денег, собирался съездить в деревню к крестьянам — купить сала. Газета высказала предположение, что он и застрял

в деревне или был задержан там за недозволенную скупку продуктов.

Тогда репортер молодежной газеты из восточного сектора тоже побывал у старушки, которая решительно такое предложение отвергла. Она действительно уговаривала Гейнца достать в ближайшей деревне фунта два сала, но он на это не соглашался, денег для этого тоже еще было мало — всего двести семьдесят марок, — да и они оставались дома, когда Гейнец исчез.

Несмотря на заявление вдовы, социал-демократическая газета, тоже пожелавшая «помочь» розыскам пропавшего студента, сообщила через несколько дней в телеграмме из Тюрингии, что там действительно задержано в последнее время до тридцати приезжих лиц, скупавших продукты, и личности их выясняются. «Тагесшпигель» поместил в связи с этим статью о спекуляции продовольствием, в которую втянулись, как показывает случай с таинственным господином Вильвицким, и студенты.

Газета Гольца, не соглашаясь с таким обвинением студенчества, выступила в его защиту. Если какой-то господин Вильвицкий был неразборчив в способах добывания средств к жизни, то этот случай, по мнению газеты, нельзя было обобщать. Большинство сегодняшних студентов — бывшие офицеры и солдаты германской армии, а это люди, не имеющие ничего общего со скупкой продуктов, которой занимался Вильвицкий. Он, вероятно, пал жертвой своих же компаньонов по спекуляции.

По прошествии двух дней газета Гольца возвратилась к делу Вильвицкого и высмеяла полицию, «давшую себя одурочить пьяному шоферу». Репортер газеты побывал в гараже господина Ленке, беседовал с ним и с товарищами Алоиза Нуккерта по работе. Нуккерт единодушно охарактеризован всеми, как старый болтун, питающий непреодолимую страсть к крепким напиткам.

«Неудачные Шерлоки Холмсы, — писала газета, — позволили бездельнику-пропойце таскать себя по всем серым домам целой улицы, на которой серы девять десятых зданий, вместо того чтобы искать следы там, где они только и могут быть, — на самом вокзале и среди железнодорожников службы движения. В то время как полиция позволила подозрительному субъекту, действовавшему, может быть, не без умысла, отвести свое внимание в сторону, преступники безнаказанно заматали следы преступления».

Так, в течение одного месяца никому неведомый дотол студент Вильвицкий стал известен всему населению Берлина. Тщетно мать исчезнувшего обивала пороги редакций западной части города, пытаясь защитить честь сына, растолковать ужасное недоразумение. Ее вежливо выслушивали и обещали напечатать опровержение, если она представит доказатель-

ства обратного, то есть укажет, куда и каким путем исчез ее сын.

— Мы охотно пошли бы вам навстречу,— говорили ей,— но поймите, фрау Вильвицкая, что нельзя выступать перед читателями голосовно...

К горю матери прибавился таким образом новый удар. Соседки, забегавшие к ней в первые дни после исчезновения Гейнца для выражения сочувствия, перестали приходить. Знакомые на улице от нее отворачивались. Все они хорошо знали ее, покойного заготовщика и их сына, но... поскольку он, возможно, состоял в шайке, занимавшейся, кажется, и убийствами... И если бы не надежда, что сын все-таки вернется, обезумевшая от несчастья старая женщина наложила бы на себя руки.

— Я отказываюсь что-нибудь понимать,— сказала однажды Эмма, возвратясь вечером от старушки.— Откуда вообще взята вся эта история со спекуляцией и железнодорожниками? Ведь в ней нет ни грана правды.

— Кто его знает!— по обыкновению пожал Отто плечами.— Пенель показал мне заметку в «Дер Таг», и она меня очень смутила.

— Что же там говорилось?

— Говорилось, что не случайно студент Вильвицкий принялся искать средства к жизни именно на вокзале. Почему он стал носильщиком, а не обойщиком, стекольщиком или агентом бюро реклам? Согласись, что этот вопрос действительно следует задать.

— Но исчезни Вильвицкий в роли рекламного агента, журналисты тоже могли бы задаваться вопросом, почему занялся он сбором объявлений, а не столярным ремеслом или подноской вещей. Такие загадки рассчитаны на усиление подозрений, а не на прояснение дела.

— Нет, не говори. Всякие сомнения в такой странной истории естественны.

В то самое время как Эмма вела с братом этот разговор, загадочный Вильвицкий сидел с искаженным от боли и постаревшим лицом в кабинете следователя американской тайной полиции и должен был отвечать почти на такое же «почему», но только исходившее от человека, которому ответ был известен заранее.

Уже на третий день после того, как Гейнец был привезен на эту мрачную виллу и брошен в одно из помещений, служившее раньше винным погребом, следователи очень хорошо знали, что он не был ни агентом чьей-либо разведки, ни доверенным лицом Социалистической единой партии, ни даже ее членом. Они знали все обстоятельства, при которых Вильвицкий попал в дом Холдриха, и последний давно уже был изруган подполковником Греем.

— Вы никчемный барин! — кричал он на бывшего «офицера по национал-социалистскому воспитанию». — На кой черт нужен был вам связист или секретарь? Почему я умею звонить по телефону сам? И как можно было брать в свой дом первого попавшегося болвана с улицы? Когда перестанете вы наконец обманываться и представлять себе каждого бывшего военного вашим человеком? Ведь сами же вы докладываете мне, что даже из офицеров только четыре десятых согласились с нашими планами. Вы беззаботны, как мальчишка, и забываете, что «соплеменников» уже нет. Болтовня ваших людей о наших планах создания западного государства, возрождения армии и прочем все время доставляет нам кучу хлопот. Вы хвастаетесь цифрами ваших людей в нашем аппарате, афишируете связи, разоблачение которых выгодно только нашим противникам, и не понимаете разницы между вашей прежней деятельностью в армии и нынешней, которая должна быть сугубо конспиративной. Мы то и дело попадаем из-за нескромности ваших людей впро-сак, даем обильные материалы для коммунистической прессы.

Ну что делать в данном случае, скажите, пожалуйста? Или вы думаете, что отвлекающая кампания в прессе разрешает вопрос? Выпустить человека нельзя, потому что он слишком многое знает, а убрать его невозможно, так как здесь торчат представители из юридической комиссии сената, в которой находятся соперники и враги министра юстиции. Понятно теперь, что вы наделали, или нет? И назовите мне, пожалуйста, такой месяц, в который бы ваши люди не делали по десятку подобных глупостей, ставящих нас в самое отвратительное положение!

Подполковник Грей действительно чувствовал себя пре-скверно. Он не знал, какой выход предложить генералу для ликвидации этой опасной и неприятной истории. И поэтому не знал, что делать с Вильвицким, и следователь.

— Почему вы стали носильщиком не Силезского вокзала, принимающего поезда из Москвы, а именно вокзала ЦОО, на который прибывает пассажиры из Мюнхена? — спрашивал он Вильвицкого в третий раз за время ареста, полагая, что, может быть, последует распоряжение обвинить Вильвицкого в шпио-наже против Америки.

Выслушав уж знакомый ему ответ и не упуская из виду другой вариант исхода дела, следователь высказывал новую мысль:

— А согласились бы вы, учитывая, что у нас в гостях вы испытываете крайнюю болезненность в пальцевых суставах, вернуться к мамаше, дав обет молчания и получив мзду для немедленного переезда из Берлина в какой-нибудь тихий запад-ный городок?

Вильвицкий не знал, что ответить на этот вопрос.

Если на втором допросе боль родила в нем ненависть, а не-нависть вдохнула силу и он закричал: «Я не буду молчать!»,

то теперь неистовая боль, которой методически подвергали его четыре недели, убила в нем всякую силу, всякую мысль.

Он молчал.

Его увели в камеру.

Сосед Вильвицкого, адвокат-коммунист, лежал на койке. Вильвицкий опустил на свою. Сосед посмотрел на него и ни о чем не спросил.

А на утро следующего дня полицейпрезидиум Берлина располагал вторым слогом шарады, который еще не пролил света на происшествие, но подтвердил правильность следственных действий и открывал перспективы. Проверка телеграмм, отправленных в день исчезновения Вильвицкого через телеграфное отделение улицы, на которую Нуккерт доставил своих пассажиров, дала неожиданный результат: были обнаружены пять телеграмм, отправленных лично Вильвицким. Все телеграммы содержали одинаковый текст: «Вечеринка в девять. Гюнтер».

Увы, торжество инспектора и его благоволение к молодому репортеру газеты «Ночной экспресс» лишили работника полиции сдержанности и дальновидности, которые бы подсказали, что опубликование находки позволит преступникам принять меры к сокрытию следов преступления. К сожалению, хладнокровие изменило розыскному работнику, поспешившему расквитаться с газетой Гольца за насмешки над его способностями. Когда появилось сообщение об отправленных Вильвицким телеграммах, газеты американского сектора Берлина использовали его совершенно неожиданным для инспектора образом: возобновили кампанию против Вильвицкого, который, оказывается, устраивал в день своего исчезновения вечеринку.

«Хорош бедный студент, зарабатывавший на жизнь подноской багажа,— писала одна из газет, взяв слова «студент» и «подноской» в иронические кавычки.— Если только отправителем телеграмм является не однофамилец, а сам пропавший, то теперь уже несомненно, что он был негодяй».

Но в тот момент, когда возмущенный инспектор хотел обратить внимание на то, что Вильвицкого зовут Гейнцем, а вовсе не Гюнтером, который является, вероятно, лицом, нанявшим себе отправителя на службу,— в этот момент ему порекомендовали по телефону не доказывать своей правоты и прекратить освещение хода расследования в печати.

— Это дело,— говорил инспектору приехавший к нему человек,— могло казаться некоторое время только криминальным. Ни в студенческом мире, ни среди служащих вокзала Вильвицкий не был общественным работником, он не входил в какую-либо партию и политических симпатий, по-видимому, не имел. И тем не менее это вовсе не простая уголовщина. Вас, господин инспектор, целый месяц хотят упорно сбить со следа. Разве не кажется вам это странным? Студента, о котором не известно ничего плохого, по некоторым сведениям человека тихого

и скромного, настойчиво стремятся очернить. Не делают ли это для того, чтоб история выглядела спекулятивной или воровской, будучи в действительности куда сложнее? Вот по всем этим причинам, господин инспектор, я просил бы принять в дальнейшем консультацию с моей стороны...

К несчастью, участники собрания, происходившего у Холдриха, были уже предупреждены заметкой репортера «Ночного экспресса». Те пятеро, что получили телеграммы и находились, как инспектору казалось, почти в его руках, сумели сделать контрход, и в газете «Дер Таг» появилась следующая статья, озаглавленная «Странные Наты Пинкертоны»:

«Нашу редакцию посетил вчера господин Гюнтер Фридрих Вильвицкий — бывший судебный советник окружного суда Виттенберга для уголовных дел, занимающий ныне должность юрисконсульта фирмы «Косс и сыновья». В связи с сообщением криминальной полиции Берлина о телеграммах, отправленных якобы пресловутым студентом-носильщиком, господин Вильвицкий сообщил нам, что «обнаруженные» депеши посланы были лично им и содержали приглашение на скромный интимный ужин, за которым вот уже двенадцать лет в один и тот же день каждого года собираются у него приятели со студенческой корпорации. Адресатами телеграмм и гостями хозяина дома были господа: Алоиз Янзен — бывший капитан германской армии, Макс Шребер — бывший председатель уездного суда в Гриммичау, а ныне судебный советник в Баварии, Отто Кретчмар — в прошлом референдарий следственной части и затем германский офицер, доктор Карл Вильгельм Эстер — присяжный поверенный и доктор Каспар Буле — бывший правительственный советник.

Наш сотрудник побывал у поименованных господ, стены кабинетов которых украшены светло-синими шапочками и скрещенными рапирами, а господа Кретчмар и Эстер имеют на лицах шрамы, служащие лишним свидетельством их корпоративного прошлого... Они подтвердили стойкую приверженность традициям корпорации и ежегодные сборы у господина Вильвицкого, происходящие теперь, естественно, без винного обилия, присущего прошлому, и с постоянно редеющим кругом лиц...

Таков, оказывается, «ключ», о котором победоносно сообщили нам берлинские Наты Пинкертоны. Скромные и уважаемые служители Фемиды и Марса приняты им за преступников, а благополучно здравствующий и чтимый всеми сослуживцами юрисконсульт — за исчезнувшего носильщика... Не пора ли магистрату Берлина проверить причину этой странной ошибки криминальной полиции и ее упорного нежелания направить свое внимание на вокзальный мир? Не следует ли и шефу полиции полюбопытствовать, почему некоторые его подчиненные не хотят искать там, где искать надлежало прежде всего?..

Многие берлинцы законно задаются теперь вопросом, случайно ли это поведение полицейских. Может быть, в прояснении истории носильщика кое-кто из них не заинтересован?»

Инспектор негодовал. И действительно, после этого сообщения многие в городе были сбиты с толку. Старый букинист нашел, что полиция потерпела «на редкость скандальное фиаско», и даже Бигль, приходивший по вечерам к Эмме, сказал, что «эта история с Вильвицким пока очень темна».

Но пылу инспектора не суждено было изливаться в полемике с газетой «Дер Таг». Его сдерживало начальство, которое настаивало на молчании.

А между тем полиции стало хорошо известно прошлое любителей корпоративных традиций. Она установила заметное различие в их возрасте и невозможность дружбы со студенческой скамьи между людьми, учившимися в Иене, Гейдельберге и Берлине, то есть трех разных городах. Им стало также ведомо, что советник Вильвицкий именовался Фридрихом, а не Гюнтером. Текст телеграмм, найденных полицией, отпечатан был на портативной машинке «эрика», а судебный советник Вильвицкий пользовался «ундервудом». И стало также известно, что ранним утром того дня, когда появилась статья о Пинкертонах, у подъездов корпорантов побывал один и тот же коричневый «роллс-ройс». И еще многое другое узнали следователи, кроме сцены, происходившей в бывшем винном погребе одной из целлендорфских вилл.

Здесь на специально внесенных креслах сидели в камере Вильвицкого два полных, лысых и румяных человека, оба — в безукоризненных костюмах, оба — сложивши ручки на животе. Это были высокие судьи из большой заокеанской страны, прибывшие в Европу проверить, как осуществляет здесь их юстиция «начала права и справедливости». Этим началам пришельцы из Нового Света должны были обучать немцев, как некогда миссионеры обучали чернокожих христианству. Гости хотели запастись материалом, пригодным для соперничества правящих партий. Напротив прибывших сидел на своей койке человек, бывший им по возрасту примерно сверстником, но представлявший своим видом полный контраст их благообразию. У него были поседевшая шевелюра и вытянутое бледное лицо, на котором особенно выделялись налитые кровью глаза, а его парализованные длинные руки свисали с койки.

— Зачем вы пересекли океан? — возбужденно спрашивал он. — Что вам здесь надо? Устанавливать законность? В таком случае немедленно переведите на мое место негодяев, которые меня сюда засадили, и сделайте все, чтобы мои показания услышал свет. За что я арестован, спрашиваете вы. За то, что на собраниях, в печати, всюду, где можно, я возмущался судьями и прокурорами Мюнхена, Франкфурта и Нюрнберга, оставшимися с гитлеровских времен. Да можно ли вообще назвать аре-

стом то, что со мной произошло? Когда я ночью шел по спавшей Штейнерштрассе,— заметьте себе, что она в советском секторе города,— на меня вдруг сзади накинули мешок. Обычный большой мешок из-под картофеля. Я не успел опомниться, как бандиты натянули его на меня, перевернули затем, словно полено, и бросили в автомобиль.

Как называется такой мешок на вашем языке? Ордером, ордоном, может быть, решением прокурора или суда? А как называется то, что продельвается здесь со мной уже два месяца? Может быть, вы полагаете, что мои руки бездействовали всегда? Нет, с того времени, господа посланцы Фемиды, как между пальцами стали вставлять мне карандаши, связывая их затем на целые сутки с такой силой, что я терял от боли сознание. И это здесь, милостивые государи, не единственный способ утверждения права. Второй заключается в прищепках, которыми пользуются обычно женщины, прикрепляя к веревке для сушки белье, и употребляемых здесь для сдавливания половых органов заключенных. Именно это правовое средство привело к тому, что в прошлом месяце молоденький паренек удавился на полотенце и я получил нового сожителя, который тоже уже не в состоянии ни думать, ни лепетать. Интересен вам случай с пареньком, господа приезжие? Если он кажется вам мало сенсационным, могу добавить, что недели две назад повесились на полотенцах двое жильцов соседней камеры. Впрочем, надзиратель уверял нас, что решающим поводом их поступка явилась просто зубная боль. И я ему верю, так как утром того дня людям выбили молотком зубы...

— Мы осведомлены уже об этих прискорбных фактах,— вздохнул один из посетителей.

— Ах, вы уже осведомлены,— иронически подхватил заключенный.— Полотенце вокруг горла для вас уже малоинтересно, и молоток в качестве метода допроса тоже не звучит новинкой. Ну что ж, господа, в таком случае мне нечем больше поразить ваше воображение. Гестапо тоже не выдумывало большего, а мое личное состояние сейчас не таково, чтобы припоминать для вас все изобретенное Торквемадой.

— Вы напрасно так волнуетесь,— заметил второй посетитель.— Нарушения процессуальных норм в обращении с подсудственными нами решительно порицаются, и можете быть уверены, что для доклада Вашингтону мы факты такого рода отмечаем и...

— Ах, вы их отмечаете! — все более озлобляясь спокойствием посетителей, перебил заключенный.— А мы их переживаем! И притом не имея за собой никакой вины! Знаете, чего от нас всех здесь, как правило, требуют? Подписки об отказе от нашей деятельности, антикоммунистических выступлений или шпионских услуг. Вот чего добиваются от нас прищепками и молотками! Задача этого подвала в том, чтобы выпускать на

свет иуд, а тех, кто все перенесет и себе не изменит,— не выпускать совсем.

— Позвольте, позвольте,— заволновался на этот раз один из румяных,— у американской юстиции могут быть погрешности, но...

— О какой юстиции вы говорите? — закричал заключенный.— В этом здании собрались костоломы и ночные разбойники! Или вы называете это место юстицией потому, что возглавляющий его человек написал книгу «О правах личности в уголовном процессе»? Но тем гаже этот человек! Под его рукой — просто орда громил, а сам он — сочетание Лойолы и Тартюфа: отвратительнейшее из того, что существовало или выдумано на земле!

Заключенный был страшен. Его покрасневшие глаза пылали ненавистью, он тяжело дышал, рот искривился, повисшие руки дергались.

Румяные поднялись.

— Вы... вы действительно... опасный человек,— пробормотал один из них.

— Да-да, опасный для новых фашистов,— закричал он вслед уходившим,— потому что я все вытерплю, все! Пусть новые гитлеровцы увеличат мне порции прищепок, пусть пытаются они меня еще кипятком!

Но румяные его уже не слышали.

Вильвицкому же показался вдруг нелепым этот человек, кричащий в захлопнутую дверь. Вильвицкий засмеялся, потом смех его перешел в хохот, хохот — в истерику. Он упал на койку и задергался.

— Вы не эпилептик? — спросил его утром сосед.

— Нет,— ответил Вильвицкий,— но теперь временами на меня... находит что-то непонятное.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Со времени ареста Марии Ширлингер прошло много времени, но Эмма еще не слышала, чтобы был арестован Шрамм. Эмма недоумевала. Почему полиция медлит? Быть может, она хочет проследить все его связи, которых Мария не могла, конечно, знать? Зайдя однажды вечером к старушке шляпнице, Эмма поделилась с нею этой мыслью.

— Ради бога! — побледнела та.— Молчи, девушка, молчи! Откуда ты вообще знаешь о нем?

— А почему я должна молчать? — удивилась Эмма.

— Я не могу этого сказать. Но умоляю тебя ради всего святого — не произноси больше этого имени в связи с Марией вообще.

Старушка была необычайно возбуждена.

— Покаянись мне, что ты никому о нем не скажешь,— потребовала она.

— Или вы объясните мне, в чем дело, или никакого обещания я не дам.

Плача и волнуясь, старушка рассказала тогда Эмме свою тайну. Как только стало известно об аресте Марии, к шляпнице пришел Шрамм и во все ее посвятил. Он принес ей пять тысяч марок в качестве аванса за молчание Марии на следствии и на суде. Старушка должна была отправиться на свидание с дочерью и предупредить ее, чтобы имя Шрамма не было произнесено. Американец нанял для Марии адвоката, который уже научил ее, как держаться на следствии, и будет защищать ее в суде. Приговорят Марию не больше чем к трем годам заключения, и по выходе из него она получит от Шрамма двадцать тысяч марок — сумму, которую она заработала бы маникюром только за двадцать лет. Вероятно, однако, что через год-два завяжется война, американцы вытеснят с востока Германии русские войска, тогда, конечно, осужденные за спекуляции будут вообще освобождены, и Мария срока не отсидит. Но если даже война запоздает, Мария получит капитал и от всей истории останется только в выигрыше.

— Свое обязательство он подкрепил векселем,— сказала старушка.— В нем приписано, что двадцать тысяч выплачиваются в валюте, которая будет в ходу в день наших расчетов.

— А если... обещание молчать будет нарушено? — спросила Эмма, волнуясь.

— Тогда, сказал он мне, дело окажется связанным с американцем и его заберет к себе от немецкого следователя американский прокурор. Шрамму он даст уехать в Америку, а Мария получит не три года, а десять лет. Вот видишь, девушка, почему ты должна забыть о том, что знаешь... Ты ведь не хочешь погубить нас, правда? Ты же никогда не видела от своей несчастной подруги зла.

Старушка заплакала.

Эмма была в смятении. Весь следующий день она думала над тем, имеет ли право спасти подругу или, наоборот, должна спасти людей от Шрамма.

Гайдауэр заметил ее необычайную рассеянность и озабоченность.

— Что с вами сегодня, фрейлейн Фельдмайер? — мягко спросил он ее, когда она спутала содержание докладываемых бумаг.— Какое сомнение или неприятность вас гнетет? Я не мог бы в чем-нибудь помочь вам?

— Вы угадали,— ответила Эмма, обрадовавшись.— И вы, безусловно, можете мне помочь. Я стою перед необходимостью тяжелого выбора.

— Между чем?

— Долгом по отношению к бывшей подруге, к ее будущему и... общественным.

— Надо сделать себя такой, фрейлейн Фельдмайер, чтоб второй долг стал свят. Но есть ли в данном случае действительно такое страшное противоречие? Может быть, оно только мерещится вам? Истина всегда конкретна, и правильное решение найти легче, зная самый случай. Расскажите мне о нем сегодня после работы. Хорошо?

И Гайдауэр узнал отвратительную историю богача американца, за спиной которого стоит экономический отдел Военной администрации его страны.

— Как видите,— заключила Эмма свой рассказ,— немцы против него бессильны. Если я расскажу о нем полиции, то не причиню ему особого ущерба, но погублю Марию.

Гайдауэр слушал ее рассказ молча, не перебивая ни вопросами, ни замечаниями.

— Выслушайте меня теперь внимательно, Эмма,— сказал он.— Кстати, я много старше вас, время сейчас не служебное, и разрешите обращаться к вам просто по имени. Ваше отношение к «американцу» в прошлом было очень неправильным. Мы, коммунисты, называем такое невмешательство примиренчеством, то есть терпимостью к злу, которая всегда приносит только печальные результаты. Но не удивляйтесь, если я добавлю, что в прежнем вашем отношении к шраммовским делам были еще и элементы барства. Вы, вероятно, сами варите супы и можете полы, но поступили, как известный некогда помещик Греден, подозревавший управляющего в грязной жизни и потому не пускавший его к себе на глаза, все тридцать лет принимая его отчеты письменно. Вы поступили даже хуже графа, ибо о преступлениях Шрамма знали точно... Но больше я вам об этой ошибке ничего не скажу. Вы сами поняли ее, сами себя осудили, а это, Эмма, большое достижение для человека.

Теперь о немецком бессилии. Откуда вы его взяли, Эмма? Там, где правда, там и сила, и ее надо только осознать. И еще надо видеть, в чем она. Если вы пойдете в полицию и потом попытаетесь тягаться со Шраммом в американском суде, то потерпите, вероятнее всего, поражение. «С богатым не судитесь»,— говорит пословица, и она применительно к западу столы верна. Но дело Шрамма, может быть, и будет вами выиграно, если вы затеете его не как жалобщик, а как борец. Выступите, Эмма, как немка, протестующая против разорения народа американцами. И вы увидите, как единодушно поддержат вас массы людей, как свалятся Шраммы, растеряется Военная администрация американцев— и никто уж не посмеет причинить вашей бывшей подруге лишнего горя. Наша сила, Эмма,— очень большая, но она в открытой борьбе, для которой нужны сначала решимость, а потом— стойкость. Если вы чувствуете

их в себе, Шраммы будут раздавлены на вашем пути, как насекомые.

Так случилось, что в органе Социалистической единой партии «Нейес Дейчланд» появилась занимавшая большое место и крупно озаглавленная статья никому не известной девушки Эммы Фельдмайер, разоблачавшая американскую спекулятивную организацию в Берлине. В ней рассказано было о получении табачных изделий, кофе и продуктов по морю и воздуху, о разнице между долларовыми и сигаретными ценами на «лейки», бриллианты и меха, о руководителях с Кронпринцен Аллее, имеющих двадцать процентов дохода, о Микки и Бетти, оформляющих документы на грузы, о рубиновых серьгах фрау Пеппер и булавке господина Мейера, об арестованной маникюрше и подкупе ее матери и, наконец, о предложении, сделанном Шраммом автору статьи, от которого он пытался получить подложные документы.

Статья называла имена и факты, она дышала прямою и обращалась в заключение к немцам с призывом клеймить хищников, слетающих в страну из-за океана, подвергать их общему презрению, сделать их пребывание в Германии непереносимым. Статья говорила, что «в американской Военной администрации чиновник и тайный грабитель оказываются одним и тем же лицом».

Эмма писала эту статью две ночи. Редакция нашла в ней стилистические шероховатости, но страстный тон корреспонденции взволновал. И сразу после напечатания статьи Эмма ощутила всю разницу между жалобщиком и борцом.

Статья вызвала возбуждение среди многих тысяч людей. Из редакции целую неделю подряд присылали на квартиру буккиниста пачки писем, в которых совершенно незнакомые люди, главным образом молодые работницы и парни, приветствовали смелую и благородную девушку Эмму Фельдмайер, от души благодарили ее и предлагали ей свою дружбу. Эмма получила и до двух десятков злобных анонимных писем. Некоторые из них содержали даже угрозы, но бессмысленная ругань людей, являвшихся маленькими немецкими шраммами, только укрепляла сознание правильности и важности ее поступка.

В газеты восточного сектора Берлина поступили и сообщения о нескольких вызванных статьей стихийных митингах в заводских цехах. Собравшиеся требовали гласного суда над грабителями, носящими американское подданство. В квартирах, на улицах, в трамваях говорили о выступлении Эммы, и эти разговоры касались уже не только спекулятивной организации Шрамма, но и скупки за бесценнок немецких предприятий, вывоза из американского сектора Берлина на запад машин и даже целых фабрик,— открыто обсуждалось все, что казалось прежде малонаблюдательным людям единичными фактами или о чем малоуверенные люди не решались до сих пор говорить.

Статья заставила поднять голос против грабежа и наводнения страны жадными пришельцами с чужого континента.

Фактов выплыло слишком много, настроения определялись очень резко, и потому, как предсказывал Гайдауэр, в стане хищников растерялись.

В первые дни после выступления «Нейес Дейчланд» некоторые маленькие газетки Западного Берлина пытались по собственному почину оспаривать статью Эммы. Одна высказывала осторожное сомнение в существовании сапожника Пеппера и его жены, другая — в действительном наличии шраммовского векселя, а третья маловразумительно бормотала о самой Эмме, называя ее чьим-то «агентом». Но фрау Пеппер, глубоко оскорбленная неверием в ее существование, направилась в «Ночной экспресс» и дала там о себе интервью, а к шляпнице Ширлингер явился знакомый ей представитель криминальной полиции, потребовал шраммовский вексель, который растерявшаяся женщина ему и вручила. Снимок с векселя был напечатан. Неуверенные голоса маленьких западных газеток оказались сразу заглушены, и они замолчали, словно невпопад пролаявшие собачки.

Тогда в действие вступили главные силы — «Нейе Цейт», «Тэгесшпигель», «Телеграф» и «Социал-демократ», которые, не упоминая о деле Шрамма, заговорили о тысячах тонн посылаемого немцам из Америки продовольствия, о возможном повышении карточных пайков, о предполагаемом ввозе удобрений для германских полей, о неисчислимых благах, которые «Старый Свет» может получить только от «Нового».

Но эти тяжелые пропагандистские мины не разрывались. В ответ на статьи об удобрениях газеты Социалистической единой партии сообщали, что из пяти тонн угля, за которые Германия получает семьдесят пять долларов, делается тонна азотистых удобрений, которые ввозятся затем в Германию за триста долларов. В ответ на статьи о продовольствии сообщалось, что дары данайцев обходятся на треть дороже средней мировой цены, а забираемая из Германии древесина расценивается на треть дешевле.

И повелись жестокие газетно-эфирные бои, в которых океанские пришельцы и их подпевалы потерпели поражение.

В этой борьбе очень важным было пробуждение многих сапожниц Пеппер и перчаточниц Шмидт. Они задвигались, заговорили, заспорили. Прежде только кряхтевшие и охавшие при обсуждении рыночных дел, они незаметно для себя стали громко говорить о вопросах национальных и социальных. Имя Эммы Фельдмайер через короткое время уступило место именам многих других женщин. Это были врачи, писавшие в газеты о недоступности цен, по каким продают американские спекулянты пенициллин, работницы, которые возмущались поведением иностранными фирмами тарифных договоров, и дру-

гие люди, понявшие, что речь идет о самообороне народа. И уже второстепенным показалось Эмме при таких обстоятельствах сообщение представителя американской администрации об аресте Шрамма, Микки и Бетти и непричастности к их делу чиновников высоких рангов, которые, как передавали в Берлине, были отправлены в Гамбург, чтобы сесть на пароходы.

Маленький человек — это тот, кто безразличен для окружающих; большой человек — это любимый и ненавидимый, — гласит немецкая поговорка. Эмма стала большим человеком на Пренцлауэр Аллее.

Брат арестованного «американца» проклял ее перед распятием. Адвокат, нанятый Шраммом для защиты Марии и научивший ее умолчать о главном преступнике, был исключен из сословия и поставил задачей своей жизни довести Эмму до тюрьмы. Хотя дело Марии никто уже не решился изъять из немецкого суда, приговорившего ее к двум годам тюрьмы, старая шляпница перестала с Эммой здороваться и плакалась соседкам на «букинистическую коммунистку», разорившую ее и дочь. Жена владельца пивной Пешке шепотом передавала посетителям, что фрейлейн Фельдмайер — девушка легкого поведения и связана с русским майором, годящимся ей в отцы. А кое-кто стал даже уверять, что с тех пор, как Эмма работает в магистрате, семья букиниста питается телятиной и гусятиной, что Эмма по ночам приносит с особого склада тюки продовольствия и ей прямо из Мекленбурга шлют копченых угрей.

Да, некоторые на Эмму клеветали, здоровались с ней холодно-вежливо или при встрече отворачивались от нее, но это было совсем нечувствительно в атмосфере общего расположения и доброжелательства. Эмма ощущала ее по искренним улыбкам, по добрым услугам, которые ей стремились оказывать.

— Как справляешься ты, девушка, с работой и хозяйством? — спросила ее однажды фрау Пресс, когда ранним утром они вместе выбивали во дворе коврики. — Вид у тебя, прямо сказать, небравый. Наверное, по ночам стираешь и варишь супы? Знаешь что: приноси ты мне свою кастрюлю, а я буду ставить ее на огонь вместе со своей. Сбережешь на отдых часик-два.

В другой раз Эмма забежала к чулочнице поднять спустившуюся петлю.

— Он совсем драный, ваш чулок, — сказала ей девушка. — Позвольте мне дать вам чулки, к которым я надвязала новые пятки. Они лежат полгода, заказчица за ними не пришла. — Эмма запротестовала. — Какая же вы гордая, — сказала чулочница. — Но такая, как вы, не должна ходить оборванной. Ну, сделайте мне одолжение, возьмите, пожалуйста. А вы принесете мне за это какую-нибудь книжку от отца. Мне очень хочется быть с вами в дружбе.

Музыкант Чепеле столкнулся как-то с Эммой в подъезде.
— Заходите ко мне, фрейлейн Фельдмайер,— сказал он ей тихо.— Я сыграю что-нибудь для вас.

Незнакомый парень прибежал к ней поздним субботним вечером домой.

— Насилу узнал ваш адрес,— сказал он, запыхавшись.— Я из бюро газетных вырезок. Вот в этой пачке,— протянул он ей толстый сверток,— все напечатанное о вашей статье по сегодняшнему дню.

— Кто это прислал? — спросила Эмма.

— Никто. Это я сам подобрал. Мне кажется, вам будет интересно...

Но особенно растрогана была Эмма уличным фотографом, потерявшим на войне левую руку, пожилым человеком в выцветшей шляпе и стареньком пальто, тихо стоявшим обычно возле уличного перекрестка, неподалеку от лавки букиниста. Жил он где-то на другой улице, но неизменно приходил на свое облюбованное место, прижимался к стене углового дома и молча приподнимал шляпу перед жителями чужой ему Пренцлауэр Аллее.

Он знал, из каких подъездов они выходят, кто и чем занимается, в какие часы покидают свои дома, но никогда ни с кем не заговаривал и не смотрел на прохожих заискивающе. Клиентов останавливалось возле него мало, и он рассматривал обычно газету или читал книгу. Часто, прикасаясь рукой к шляпе в момент приближения шагов, фотограф даже не поднимал глаз на прохожих, которых приветствовал таким жестом. Это механическое обязательное приветствие ни на кого не смотревшего человека было подобно электрическому свету, который зажигается в подъемнике, когда в него входят.

Одинокая фигура фотографа и маленький ящичек у его ног примелькались прохожим, стали непременной частью уличного пейзажа, вроде длинной вывески с пенящимся пивом над подъездом Пешке или громадного окорока в витрине госпожи Кранц. И, словно сознавая свою неотделимость от сложившегося на улице порядка вещей, этот странный человек иногда заменял свое присутствие щитом, на котором значилось слово «болен»,— таким способом он просил извинения за нарушение гармонии Пренцлауэр Аллее.

И вот однажды, когда Эмма направлялась на работу, а только что пришедший фотограф устанавливал на своем углу штатив, он вдруг улыбнулся, снял шляпу с головы и сказал:

— Пожалуйста, фрейлейн, очень прошу вас задержаться. Это всего несколько минут. И... ради бога, не беспокойтесь об оплате.

Быть борцом радостно. На душе Эммы было тепло и хорошо. Недоумение во взгляде брата и молчаливая грусть в глазах отца омрачали эту радость только в короткие часы за столом.

Здесь о деле Шрамма никто не говорил, но в воздухе стояло напряжение. Эмма хорошо понимала, что отцу должны быть отвратительны дела «американца» и он не возражал бы против разоблачения их, будь оно сделано Шмидтом или Мейером, а не его дочерью, выступившей как боец. Он писал ей длинное, важное, предсмертное письмо о равнодушии, с которым надо смотреть на поле битв, а она ответила... развязыванием боя.

Прежде старик рассказывал за обедом о купленных и проданных за день книгах, о чудаках покупателей, мечтающих найти в переплетах что-нибудь новое, об уникальных изданиях, которые развеял по Германии разгром помещичьего мира. Он подсмеивался над возросшим спросом на брошюры Социалистической единой партии. Теперь же он съедал свой суп молчаливо или говорил только о парниках дяди Иммануэля, которые русский комендант счел ценным для населения и обеспечил на год углем.

Сам дядя Иммануэль, раздваиваясь между теплицами и объединенной Европой, считал, вероятно, своим долгом христианина вносить мир в распавшуюся семью и неожиданно среди недели приходил к обеду, принося запас овощей. Он подолгу жаловался на людей и нации, отдаляющиеся друг от друга из-за необдуманных суетных дел. Отто же, желавший сказать что-нибудь теплое этим трем людям, которых он любил, не произносил ни слова, так как ничего подходящего не находил.

Эти обеды были тягостны, но что значили они в сравнении с живой работой в магистрате и тем хорошим, что Эмма делала и еще будет делать для людей? Она была оживленной, говорила с посетителями ласково, и сотрудники заметили, что Фельдмайер не сидит больше над бумагами со сжатыми губами, а, наоборот, часто и непринужденно смеется.

— У вас появился друг? — с любопытством спросила однажды машинистка, когда Эмма ей что-то весело диктовала.

— Тысяча, — ответила она задорно и рассмеялась раскати-сто, как это бывало только в детстве.

— У вас хорошее настроение теперь, фрейлейн Фельдмайер, — заметил Гайдауэр. — Это ценно.

— Я обязана этим вам, — сказала Эмма. — Вы говорили тогда на строительстве, что победа дает человеку новые силы, и теперь я это чувствую по себе.

Гайдауэр откинулся на спинку стула.

— Знаете, что еще очень важно, Эмма?

— Да?

— Сохранять эти силы и в то время, когда побед может и не быть. Для подготовки дальнейших.

— Я вас очень хорошо понимаю.

Глаза Гайдауэра улыбались.

— Договариваемся, значит, беречь их и накапливать?

— Обязательно, — ответила Эмма.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Строительство домны подходило к концу. Электрики делали последние проводки, шло испытание газопроводов, площадку заливали асфальтом, бетрибсрат хлопотал о палисадниках вокруг цехов.

«Нейес Дейчланд» печатала портреты Пленца, Эрмеля, Бигля и других активистов стройки, что вызывало большие разговоры среди рабочих и на Пренцлауэр Аллее.

— Видел ты что-нибудь подобное? — спросила фрау Пеппер мужа, кладя перед ним газетный лист. — Узнаешь? Это же сын того красного рабочего с мыловарки. У которого обыск делали, помнишь? Он каменщик, этот парень. Каменщика выставляют на обозрение! Как тебе это нравится, а? И еще тут портрет девицы такого же типа. Можно подумать — она владеет морской яхтой или победила на конкурсе красоты.

Фрау Пеппер не осуждала и не одобряла — она недоумевала. Ей не приходилось в жизни видеть, чтобы каменщика, простого каменщика, так возвеличивали, словно его костюм получил приз на маскараде или ему оставил наследство американский миллионер.

Муж молча, сосредоточенно смотрел на газету и также не находил слов. Он не знал, является ли портрет каменщика в газете попранием прав личности сапожника Пеппера или не является. Потом, не будучи человеком кроткого нрава, неожиданно рассердился на жену:

— Ну а на что яхта? Довольно этих дур с яхтами!

Но если супруги Пепперы растерялись, то у Найдера сейчас же нашлись нужные слова. «Нейес Дейчланд» он не выписывал, читал только «Тагесшпигель» и «Телеграф», но, узнав в своей пивной о «выходке коммунистической газеты», пришел в настоящую ярость:

— Как долго мы будем это терпеть? Вот кого делают именниками! Вот в чьи руки отдают страну! Отец — каторжник, от семьи сторонилась вся улица, сын, когда был мальчишкой, чуть человека не убил, и вот...

Осторожно, не очень уверенно сказал свое слово страховой агент Шнитке:

— Вообще... чувствительно сокращаются дела... Рабочий — это, знаете, устойчиво. Профессия! И заметна, так сказать, мировая тенденция...

Совершенно определенно высказался столяр Кренц:

— Он с головой, этот парень. Ну, вот я жил при Шольце. Сел, скажу прямо, в лопнувшую банку. А этот Бигль стал профессором своего дела и будет еще при новой власти пажем королевы и любимцем короля.

— Вообще, по всему видно, рабочая власть приходит, — заметил содержатель собачьего училища Мейер.

Старый селедочник Брендль, допив кружку, негромко и грустно произнес:

— Мы уходим... а они приходят. Но у меня,— оживился он,— сын пошел на народное предприятие токарем.

Портной Реммеле, чье здоровье не позволяло часто выходить вечерами, а голос был очень тих, и это делало его плохим собеседником, сказал на этот раз длинную речь, и хотя она была путаной, слушатели, вероятно, почувствовали в ней правду, так как не перебили его и ничего ему не возразили:

— Меняется все на свете. Вот уж сколько за мою жизнь переменялось... Раньше кто тут у нас наверху был? Фон Ренц. Он лет сорок назад, когда я еще женихом был, в угловом на Данцигерштрассе жил. Честью мы все считали, что он здесь квартиру снял. На шпагах дрался, пиры давал... Потом, когда он съехал, Фойгт главным человеком стал. Сын его по ошибке однажды у меня костюм заказал, так я от этой чести пьяный ходил. Такой богатый человек и у меня шьет! Да... За Фойгтом Ливенский шел, который обувной магазин имел. Помните, огромный был магазин? Семнадцать служащих держал... Да... А за Ливенским Меретц — продажа детских вещей в рассрочку. Потом уже пониже шли — Штельцы, Зель, Плавинский... Гнутая мебель, нотариус, представитель по баварским чашкам... Потом Врухш — колбаса, Поленц — капуста собственных огородов, Зельц — обновление ковров. Под ними была часовая мастерская, набивка матрацев и Ледель — склейка сломанного фарфора. А внизу был я. Подмастерья и ученика держал... И еще ниже Пушек, потому что он подмастерьев не имел. Под нами — Кнарх... потому что сам был подмастерьем. Подо всеми — Ленц, Шайзель, Трик. Эти на фабрике работали и своего не имели ничего. Последние были люди... И помните, никто из верхнего ряда не сидел тогда в пивной за одним столом с человеком из нижнего? И дочку в верхний ряд трудно было выдать. А те, кто был внизу, рабочие... они не имели приставки. Им говорили «Шульц», а другим говорили: «Господин Шульц». Да... Вот так все время было. Ну а теперь переворачивают... Весь дом... Берут его и переворачивают. Большими такими щипцами... Самый маленький человек оказывается в верхнем этаже. Делается самым лучшим женихом улицы... Да... А которые были в верхних... им тоже скажут: бери, мол, ножницы или что там другое, учись работать... Да... Из России пошло, на весь мир переходит...

Реммеле замолчал, и молчали все. Потом медленно потянулись к кружкам.

...На строительстве газетные листы рассматривали долго и удовлетворенно.

— Не зря я сюда подался,— мечтательно сказал молодой землекоп, которого определили в литейную.

— Теперь получается так,— сказал Лейбнитц.— Сорви на

тотализаторе сто тысяч марок — и на тебя даже не посмотрят. А покажи хорошие руки — и снимут перед тобой шапки. Здорово получается!

Вальден высказался не сразу. Сначала всмотрелся в портрет Бигля, покачал головой, потом решил, что Бигль в натуре совсем не такой красивый и нехорошо показывать его лучше, чем он есть.

— Брови навели ему, волосы зализали, будто артисту, в глаза красоты подпустили... но в целом справедливо. На одной картошке человек сидел, а работал, словно яичницей на сале кормился. И вообще справедливо, что рабочего человека на купол печи поднимают.

Последнее обстоятельство было лестно всем.

— Эй, парни! — обратился после короткого митинга бетрибсрат к группе молодежи, собравшейся в кружок, чтоб по очереди раскурить оказавшуюся у кого-то сигарету. — Кто хочет совершить завтра воскресную прогулку? Я отправляю грузовик в Хейльдсдорф за цветами. Подышите воздухом и подзакусите у крестьян.

Предложение было шумно одобрено.

Бигль решил пригласить с собой на прогулку Эмму, и она сейчас же согласилась.

Как давно не была она за городом, не плескалась в реке, не видела сосен, не слышала запаха сена, не пила молока! Когда в последний раз она дышала настоящим деревенским воздухом? Даже нельзя вспомнить. Во время войны дальние воскресные поездки были невозможны — люди опасались тогда бомбежек, которые могли застать в пути. После войны... не с кем было ездить. Мария предпочитала варьете и бары, а Отто... нет, брат ничего не понимал в запахе полей. В последние годы Эмма, может быть, только три-четыре раза совершала воскресные прогулки. Однажды она ездила с семейством Шнитке кататься на пароходе, но эта поездка, помнится, только утомила ее. Сначала добрались до Шпандау, потом долго ехали трамваем, затем ждали очереди на пароход и, утомленные, возвращались через весь город домой. Другой раз она ездила купаться в Хавеле, дорогой у нее отлетел каблук, после купанья страшно захотелось есть, и она приехала вечером облезлая, голодная, прихрамывая на одну ногу.

Машина была битком набита девушками и парнями. Куда они сядут, когда в обратный рейс будут погружены цветочные ящики, — не знали ни пассажиры, ни шофер. Но эта неизвестность только забавляла их. И ехали через весь город, через три зоны в неведомые места, что было совсем весело. Один жертвовал на эту поездку перочинный нож, за который собирался напоить молоком всю компанию, другой вез с собой какой-то залежалый топор, уверяя, что любой крестьянин накормит за него всю ватагу яичницей, третий собирался выложить крестья-

янину за ячницу печь. Было много смеха, много безмятежности, много теплого, чистого воздуха.

Машина, выехав из советского сектора, промчалась к Ангальтскому вокзалу, понеслась через английский сектор на Шарлоттенбург и свернула оттуда на юг, к Грюневальду. Открытый «додж» американской уличной полиции бросился было за грузовиком, провожал его несколько кварталов, затем свернул в боковую улицу, снова вынырнул, поравнялся с непонятной группой людей, сфотографировал, чем доставил всей компании новый повод для острот, и скрылся затем из виду. Шофер повел машину через Грюневальд, мимо пахучего леса, мимо прекрасных зеркальных озер. «Купаться!» — крикнул кто-то. «Купаться, купаться!» — закричали все и стали барабанить в стекло шоферу, требуя остановить машину. Но когда подъехали к Николасее, оказалось, что из девушек одна только Эмма предусмотрительно надела купальный костюм. И еще оказалось, что Бигль не умеет плавать. Он разделся, поплескался у берега и вышел из воды, предоставляя солнцу обсушить его, хмуро наблюдая, как соперничает Эмма с парнями, быстро загребая руками воду и плывя с ними вровень.

— Как это ты не умеешь плавать? — спросила Эмма, оглядывая его стройную фигуру.

— Негде было научиться, — ответил Бигль.

Когда поехали дальше, он некоторое время хмурился.

Машина шла мимо аккуратно подстриженных и вытянутых линейкой лесочков, в которых, как указывали старые щиты на дороге, ни охотиться, ни даже делать привалы было нельзя.

— Бывшие частные леса, — заметил Бигль.

Меркеру захотелось тогда «на принципиальной основе» сделать привал, но предложение встретило возражение шофера — он не скрывал, что везет два рюкзака, которые собирается набить картошкой, а в лесу картошка, как известно, не растет.

Они проехали чистенькой деревней, затем — разбитой, потом опять уцелевшими и разбитыми, зашли в одну из деревенских гостиниц выпить водянистого пива, и после этого все сразу нестерпимо захотели есть.

Парень, обладавший перочинным ножом, подошел к толстой неулыбающейся хозяйке заведения, носившего вычурное название «Белый олень», и показал ей свою «валюту». Женщина пренебрежительно посмотрела на нож и отправилась за мужем, которому надлежало определить условия сделки.

Он оказался таким же толстым и еще менее приветливым, чем жена. Внимательно осмотрев предлагаемый товар, в котором были и резачок для вскрытия консервных банок, и штопор, и маленькие ножницы, трактирщик перевел взгляд на выжидавшую его приговора компанию, подсчитал про себя ее состав, соразмерил по глазам степень голодности своих контрагентов и предложил за нож по порции овощного салата на человека. Это

была явно низкая цена, но большей была низость толстяка, принесшего им затем в маленьких розетках нарезанные тонко, как бумажный лист, ломтики пареной и даже не посоленной моркови.

— Но ведь таких порций можно положить в рот сразу десять! — возмутился Бигль.

— И здесь же одна морковь! — воскликнул другой.

— А вы что хотели? — нагло ответил толстяк. — Может быть, голландскую спаржу на сливочном масле? Или рагу из курицы? Возвращайтесь в ваш Берлин, подождите до старости, когда восстановят «Адлон», и тогда закажете там все эти вещи.

Из «Белого оленя» вышли еще более голодными, чем были.

— Мерзавец! — коротко выразил Бигль общее суждение. — Сколько выжал он, вероятно, вещей из голодных горожан!

— Ничего, сейчас будет рыбацкая деревенька, там сможем заправиться как следует, — обнадежил шофер.

Но некоторые обитатели деревеньки оказались столь же многоопытными людьми, как и трактирщик. А контрагентов бродило по деревне столько, что компания быстро оценила свою немощность в этой конкуренции. Почти у каждой дверей прислонены были велосипеды, на которых за многие десятки километров приехали сюда чайавшие съестного берлинцы, из дома в дом ходили люди с рюкзаками за плечами. Одни предлагали за рыбу бутылку жидкого мыла, другие — поношенное пальто, третьи — хрустальные вазочки. Плечистый рыжий человек, который принял компанию возле коптильни, был деловит и точен, как нотариус.

— Заводские? — спросил он, не сомневаясь в ответе, и тут же перешел к существу дела: — Для города хотите забрать или только на месте животы набить? Тут накормить могу, а насчет запаса поговорим особо. Что ваш завод делает? Что можно от вас получить? Мне нужны резиновые сапоги. Есть они у вас? Некоторым заводским дают для работы. Рыбак без резиновых сапог что девушка без волос. И еще нужны сети. А рухляди не приносите. Денег тоже. Некуда их девать! Нужен сахар, но его у вас и для себя нет.

— Нам только поесть, — сказала одна из девушек, — только немного поесть.

Рыжий усмехнулся.

— Ну а что вы привезли?

— То-о-пор, — нерешительно раздался чей-то приглушенный голос.

Наступила пауза.

— Идите во двор, — сказал вдруг рыжий, — сейчас к вам выйду.

Он углубился в темень коптильни, а затем вышел наружу с корзинкой копченой рыбы, издававшей пьянящий запах.

— Ешьте, — сказал рыжий, и, когда парни уже поднесли ко

рту первые куски, добавил: — Но я надеюсь на вашу честность. Вы должны мне за это стащить на заводе две пары хороших сапог. Тогда накормлю еще.

И он поощряюще хлопнул Бигля по плечу.

Это было так унижительно, так ужасно, что кровь прилила у Эммы к лицу. Бигль побледнел.

В нем проснулся мальчишка, ударивший когда-то мастера ногой в живот.

— Мародер! — закричал он рыжему. — Как ты смеешь, сволочь, предлагать нам воровать? Мы — рабочие народных предприятий! Вот тебе твоя рыба, вот!

И, схватив корзину, он с силой швырнул ее о стену коптильни.

Рыжий растерянно заморгал глазами, потом попятился, вбежал в коптильню и захлопнул за собой дверь.

Настроение было испорчено. Но оно сейчас же снова поднялось, когда Эмма, взяв неожиданно Бигля под руку, тихо сказала:

— Молодец, Вилли. Так и надо было поступить.

Она первый раз назвала его по имени.

И Биглю стало вдруг необычайно весело. Всю дальнейшую дорогу он смеялся над тем, как моргал рыжий глазами.

На плантацию прибыли к полудню. Это было большое цветочное хозяйство, прежде принадлежавшее богатому помещику, который и сейчас жил на территории своей бывшей усадьбы. В его огромном, двадцатикомнатном доме разместилось восемь семей прежних батраков хозяина. Еще одиннадцать семейств проживали во флигелях. Между этими людьми поделены были двести пятьдесят три гектара пахотной земли и луга. Цветочные плантации, занимавшие большую площадь, делить не стали, они превратились в государственную ферму.

— Эй, мамочки! — обратился шофер к столпившимся женщинам. — Я привез вам замечательных парней. Кто нуждается в мужьях — разбирайте, но только осторожно, чтоб их невесты вас потом за волосы не потаскали. Мои парни могут вам выложить печь, залатать ведра, починить плуг и даже съесть у вас яичницу. Разводите их по комнатам, пока их не расхватали, и сейчас же кормите, если не хотите потом хоронить.

Бигль, Эмма и Меркер попали в семью бывшего помещичьего конюха Фитцке — пожилого и приветливого человека, который был, судя по всему, вожак среди новых крестьян. Жена его, маленькая, быстрая женщина, в пять минут поставила на стол яичницу, огурцы, крынку молока и густо политый сметаной картофельный салат — деликатесы, которые можно было увидеть только за десятки километров от Берлина.

Сколько лет не пил Бигль молока? Он этого не помнил. Эмма тоже не помнила. Молоко давали в Берлине только по детским карточкам.

— Пейте, пожалуйста,— говорила женщина.— Я еще криньку с холода принесу.

И они выпили две криньки, съели яичницу, съели весь салат, в который женщина подлила еще стакан сметаны.

Еды было так много, и это было так непривычно, что, съев, они вдруг забеспокоились.

— А на ужин вы себе что-нибудь оставили? — встревоженно спросил Бигль.

— Ах, конечно,— улыбнулась женщина.

— Есть у нас теперь и ужины, и обеды, и завтраки,— сказал муж.

Он стал рассказывать о своей новой жизни.

Сорок восемь лет жил на свете и не имел никогда ни моргена, а теперь получил тринадцать гектаров... Но вот с лошадьми плохо. По корове есть у всех, а вот десять лошадей разделить нельзя было. С инвентарем такое же дело.

— Как же вы сделали? — спросил Бигль.

— Сначала роздали лошадей тем семьям, в которых мужчины есть, потому что женщины все равно не умели с лошадьми обращаться. А через месяц женщины протестовать начали. И они, надо сказать, правы были. И вот вместо радостей получился у нас скандал. А потом, в начале прошлого года, приехал один коммунист из уезда, собрал нас и говорит: пустите вы, говорит, лошадей и машины в общее пользование. Никому не обидно будет и всем польза. Ну мы так и сделали. Ничего получается. И я теперь называюсь председателем комитета крестьянской взаимопомощи.

—хлопотливое дело? — спросил Меркер.

— Ну, ясно, хлопотливое, да ведь хлопоты-то приятные. При помещике у нас горе было, а теперь — заботы. Это вещи разные.

— Скоро нам, говорят, трактор пришлют, тогда легче будет,— сказала женщина.

— Прокатные пункты создают,— сказал хозяин.— Ходят и такие слухи, что из России тракторы слать будут. А сейчас пока с инвентарем беда. Главное, чинить некому. В десяти семьях мужчин вообще нет.

— Но в общем довольны бывшие батраки?

— Еще бы! Были, конечно, вначале и опасения. Приезжал какой-то тип зимой сорок пятого, ходил из семьи в семью: «Не берите, говорил, землю, судить вас потом за это будут, когда большевики уйдут». Позже еще один приезжал, с бритой головой. Этот говорил, что папа римский раздел земли грабежом назвал, а тех, кто землю возьмет, анафеме предаст. Из-за этих, знаете, слухов четыре семьи у нас сначала заколебались — брать ли землю, ну а сейчас все давно позабыли и о папе и о других наставниках. К тому же у нас ведь здесь католиков нет.

Теперь только бывший хозяин тут иногда еще угрожает, да я на него внимания не обращаю.

— А что он тут делает? — спросил Бигль. — Почему вы его не выпроводили отсюда?

— А зачем выпроваживать? Сын его на войне убит, дочь в Баварии где-то замужем, а он тут с женой в одном из флигелей век доживает. Смирно живет. Прорывает его, правда, иногда. На днях, например, я триер смазывал, чтоб не поржавел до весны, а он подошел ко мне и прошипел: «Смотри, говорит, Фитцке, изменятся когда-нибудь времена...» Ну, я, конечно, посмеялся.

— Глядите, — заметил Бигль, — не наделал бы он вам тут пакостей. За такими надо в оба глаза смотреть.

В комнату постучались. Пришли товарищи по поездке, тоже отобедавшие, довольные и веселые.

— Пошли, друзья, бродить.

— Пошли!

— Но только не забудьте прийти к ужину, — напомнила хозяйка.

— Такое предложение никак нельзя забыть, — засмеялся Бигль.

Взяв друг друга об руку, широкой шеренгой они направились из усадьбы в поле.

— Какие хорошие люди! — сказала фрейлейн Эстер. — Мне прямо стыдно было пить так много молока. А вас поили? — спросила она Эмму и Бигля.

— Еще как!

— Это не трактирщики!

— И не кулаки-мародеры!

— Потому что рабочие люди. Знают, когда сверло в животе сверлит.

— Лучше бы я этот ножичек им подарил, — вспомнил бывший обладатель перочинного.

— Не тревожься. Мы их отблагодарим, — сказал Бигль.

— Чем же это?

— Снова создадим молодежную бригаду. Будем приезжать по воскресеньям инвентарь чинить.

Предложение было сразу подхвачено.

Гуляли долго, прошли, наслаждаясь воздухом полей, много километров.

— Пить хочется, — сказала Эмма, завидя неподалеку деревню.

Они вошли в первый же дом. Хозяин его распрягал во дворе лошадь. Это был уже старый, тяжело ступавший человек.

— Откуда вас так много? — спросил он.

— Хотим, дедушка, выпить у вас бочку воды.

— Ну, если бочку, так не выйдет, — улыбнулся старик. — Лошаденка не довезет!

— А разве у вас нет колодца?
— Не выкопал еще.
— Да, запоздали немножко, дедушка. Это лет сорок назад сделать следовало.

— На старом месте был,— строго сказал старик.— Я переселенец.

Он напоил их.

— Наверное, и хлеба хотите?

— Нет, не хотим. Мы сыты по горло.

— Ну? — удивился старик.— Это теперь редко бывает с городскими.

— А у вас, дедушка, хлеба достаточно?

— Не знаю, как и ответить. Для еды, конечно, достаточно, а для чего другого, можно сказать, мало.

— Как так?

— А так. Я двадцать гектаров имел, а теперь у меня их восемь. Три лошади были, а теперь одна. Ну, как считаете, достаточно?

— Значит, вы недовольны, дедушка?

— Если моя старуха сорок гусей держала, а теперь ни одного не имеет, так этим, конечно, я не могу быть доволен. А тем, что тут, в Бранденбурге, земельную реформу провели и мне, старику переселенцу, под забором ночевать не приходится, этим я, конечно, доволен.

— Трезво рассуждаете,— сказал Бигль.

— А я никогда вина и не пил,— ответил старик.

Парни засмеялись.

— Ну, а как местное население к вам относится? — спросил Меркер.

— Население из людей состоит, а люди на свете разные.

— Значит, есть такие, что плохо относятся?

— Есть такие, что забор вот вокруг двора растащили, а есть такие, что горшки и сковороду принесли.

— Кто же это забор растащил?

— А те, у кого свои самые крепкие.

Парни снова засмеялись.

— И много тут, дедушка, в деревне переселенцев? — спросил Бигль.

— Двенадцать семей. Одни нас за коммунистов считают, потому что нам землю русские оккупационные власти дали, другие думают, что мы против русских снова воевать пойдем, потому что они нашу прежнюю землю полякам отдали. Вот ведь как по-разному болтает народ.

— А как вы сами, дедушка, думаете?

— Я так думаю, что навоевались уж вдосталь. От двоих сыновей только один внучек остался. Хватит за землями гнаться. С этой бы землей справляться — и то хорошо будет.

— И все так думают, что русские правильно говорят: рабо-

тать надо, а не ножи точить. Есть, конечно, и среди нас дурные головы, да только их, к счастью, мало.

На усадьбу возвратились уже к вечеру. Машина стояла во дворе, доверху нагруженная ящиками с растениями.

— Куда же мы теперь денемся? — воскликнула Эмма.

Но вопрос остался без ответа. Все окружили машину и печально смотрели на нее. Ехать сюда было много веселее, чем думать сейчас о том, как возвращаться.

— А далеко отсюда до Берлина? — спросила фрейлейн Эстер.

— Девяносто шесть километров.

— Вот это да!

— Вот это влопались!

— Надо снимать, парни, эти цветы. Не можем же мы из-за них оставаться здесь.

— Бетрибрат устроит скандал.

— А зачем он нас приглашал на прогулку?

В воротах усадьбы появился шофер.

— Все в порядке, детки, — закричал он, — все в порядке!

Оказалось, что на рассвете в Берлин пойдет машина, принадлежащая ферме.

— Там тоже будут цветы, но те вы можете держать на руках.

— Занятная будет картина! — расхохотался Бигль.

— А хозяева подготовили вам на сеновале ночлег.

— Вот это чудно! — обрадовалась Эмма. — Вот это прекрасно. Сено! Настоящее сено!

Крестьяне опять устроили им пиршество. На ужин были яйца, сливочное масло, молоко и повидло из слив.

— Я еле держусь на ногах, — сказала Эмма. — У меня смыкаются глаза.

— И свежий воздух еще... — сказал Бигль.

— Ну, теперь вы заснете как убитые, — засмеялся Фитцке. — А проспать не опасайтесь, я вас своевременно подниму.

— Знайте, товарищ председатель комитета, — сказал, поднимаясь, Бигль, — что вы принимаете нас не последний раз. В следующее воскресенье молодежная бригада народного завода придет к вам машины чинить.

У Фитцке радостно заблестели глаза, он подошел к Биглю и с чувством потряс его руку.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

«Дорогой отец!

Читая прежде в романах о страданиях людей, не умеющих найти друг с другом общий язык, я испытывала часто большую досаду. Мне хотелось вмешиваться в судьбы любящих, которых

разъединял романист, исправлять ход их мыслей, тушить беспричинную ревность, объяснять ложность поступков. Мне больно было за героев, не понимавших того, что видела я, для которой автор раскрывал внутренний мир всех героев. И я удивлялась, как это люди могут друг друга не понимать, когда мне самой все было так ясно.

Теперь я вижу, что и мне не дано заставить своих близких понять себя. В нашей маленькой семье наступил разлад, мы потеряли общий язык и, предотвращая тоскливое молчание, натянуто разговариваем о посторонних вещах. В доме нашем, где всегда было невесело, не хватает теперь только черных муаровых лент... И я бессильна вмешаться в грустный роман, именуемый «Семья букиниста», растолковать его персонажам, как взяться им за руки и улыбнуться, не в силах восстановить в их доме мир...

Если между близкими людьми возникает непонимание, то не вследствие внешних событий, вторгшихся в их отношения. Эти события — только пробные испытания крепости дружбы, силы чувств или единства мыслей. И если их нет, незачем налаживать призрачный мир.

В чувствах и отношениях любовников, супругов, родных и друзей нужна такая же ясность, как в делах. Мне противны ложь и недоговоренность. А давящая атмосфера искусственной общности людей, внутренне совсем разошедшихся, — атмосфера нашего дома — непереносима вовсе.

Этим письмом ясность должна быть внесена.

У тебя не должно оставаться надежды на мое «исправление». Мои поступки и поведение — только первый шаг на пути, с которого я не сойду. Ты, папа, человек, не склонный самообманываться, не делай этого и в отношении собственной дочери. Не может и не будет она жить чужой истиной при наличии своей. Да, папа, она у меня есть, хоть письмо мое, не в пример твоему, пишется, может быть, путано.

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ЖИЗНИ?

Ты пришел к заключению, что все глупо и противно на свете. Так казалось и мне. Война — страшная и нелепая одновременно, нужда, пришедшая после нее, любовь без любви, которую я познала, жадность соседей Найдеров, бедность соседей Пепперов, тоска у соседей Чепеле, скука в домах, пошлость в развлечениях, безысходность в сердцах и оупляющее однообразие в разговорах — тоже заставляли меня считать жизнь бессмыслицей. Но для тебя эта оценка была в выводом из жизни, для меня — поводом к ее изменению. И тогда я почувствовала смысл жизни.

В чем же он? — спросишь ты.

Я не умею сказать это философски. Я сделаю иначе. На полях книги твоего любимого философа ты отчеркнул его рассу-

дение о нелепости жизни. Я поручаю инспектору районного бургомистра ответить ему.

Твой философ писал:

«Жизнь каждого человека — непрерывная смена болей и мук. Бодрейший из оптимистов познает цену «лучшего из миров», если пройдет по больницам и лазаретам, увидит хирургические пытки, посетит тюрьмы, побывает на полях битв, посмотрит на эшафоты, окупнется в мрачные трущобы нищеты и голода».

Не только о бессмыслице, об ужасе жизни надо говорить, прочтя это. Но я — инспектор для поручений районного бургомистра — занимаюсь полгода тем, что облегчаю боли, утоляю голод, вытаскиваю людей из нищеты.

Недавно из отдела здравоохранения к бургомистру прибежали хирурги — в больнице на Бехерштрассе кончается новокаин, у фармацевтов его нет, в городском отделе запас распределен. Я добыла новокаин в русском военном госпитале, где люди пошли мне навстречу. Потом побывала на двух фабриках медикаментов. На одной добилась согласия увеличить выработку, хозяин другой дал список всего, что нужно для производства, и мой товарищ — промышленный инспектор — добудет необходимое в ближайшие дни.

Целый квартал Хелененштрассе был без стекла. Люди мерзли два года, а на носу опять зима. Два дня провела я в городском жилищном отделе, на стекольном заводе и на складах. Мы измеряли, высчитывали, взвешивали более или менее срочные нужды. Наружные рамы будут остеклены полностью, внутреннее — в части домов.

Исхудавшие дети из сиротского дома нуждались в воздухе и улучшенной пище. Я ездила в Вердер, снимала домики, договаривалась с крестьянами о молоке, с огородниками — о ягодах, с отделом снабжения — о костюмчиках для детей, торговалась с купцами о сетках, удочках, гербариях. Ребята очень посвежели, прибавили в весе.

В прошлом месяце радостно покинули подвалы и землянки семьдесят семейств. Они поселились в отстроенном доме на Эгерштрассе. Их праздник был и моим, потому что я торопила кирпичный завод, водила рабочих смотреть кинохронику, чтобы они поглядели, как быстро производят кладку мастера в России, хлопотала о кафеле, электрическом шнуре и вещах, которых не знала раньше сама. Бездомных на учете еще тысячи, и осчастливить надо было самых несчастных. По трущобам мы отбирали их, из трущоб вытаскивали.

Я могла бы рассказать еще о десятках подобных дел, наполняющих дни инспектора. Он преодолевает бессмыслицу и несчастья жизни. И вопрос о смысле собственной жизни для него просто дик...

Кто покачает сейчас головой, пусть пройдет в «помещение хирургических пыток», спросив о действии новокаина. Пусть об-

ратится с вопросом о смысле жизни инспектора к женщинам и детям, преобразившимся из земляных кротов в людей. Пусть поводит ребят, пьющих жадными губами молоко...

Я Шопенгауэра не дочитала. И не стану дочитывать. Я буду наполнять свою жизнь все новым, все большим смыслом.

28/Х

КАК ВОЗДВИГНУТЬ БАРЬЕР ПРОТИВ СМЕРТИ?

Опыт инспектора решительно отвергает поэтому всякие философские или поэтические определения жизни как бесцельной случайности, пустой шутки, глупого факта. В этом определении он видит барство ушедших в себя людей. Жизнь для инспектора — дело очень серьезное.

Ты прав, отец, утверждая, что жизнь уходит у многих только на борьбу с концом. Считанные годы существования таких людей — это мытарства да муки. И барьера при этом не получается...

Но почему, папа, почему?

Именно потому, что барьер-то каждый строит в меру собственных жалких сил. У Найдера он повыше, у Шнитке и Чепеле — не поднялся от земли. И не может одиночка его построить, если только не строит за счет других! Отсюда и муки, отсюда и злорадия, ибо каждый предоставлен себе.

Если делать барьер сообща, он поднимется все выше и выше. И каждому будет за таким барьером спокойно. Это сделали русские. Ты назвал их фантастами, но у них хорошо плодоносит земля, увеличилось количество пищи, выросли города, уменьшилась смертность, болезни.

И если у нас, в Германии, Шнитке и впрямь не живут, а только со смертью борются, то там, в России, определение твое не годится. Жизнь ценна там, ценна и полна.

ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ ПРОГРАММА?

Строить сообща — значит объединяться. Объединением надо руководить. Для этого существует Социалистическая единая партия. Так я понимаю. Она представляется мне единственно знающей, чего хочет, а того, чего хочет она, начала желать и я.

Почему именно коммунисты кажутся мне способными изменить жизнь? Потому что все другие политики в Германии вообще не собираются менять ее. Их программы — это оставление в неприкосновенности всего, от чего я стала задыхаться: бедности, тоски, жадности, злобы и безысходности.

Чего добиваются газеты разных партий — «Тагесшпигель», «Дер Таг», «Социал-демократ», «Телеграф» и другие, продаваемые и в нашей лавке? Преодоления бедности? Об этом в них

нет ни слова. Предотвращения войн? Нет, они натравливают нас, немцев, на Россию и поляков. Сокращения непомерных богатств? Но они выступают за возвращение поместий даже Эмме Геринг. Изживания в людях злобы? Нет, они полны нападков на людей и их взгляды. И выходит, что все горе земли они хотят оставить нетронутым, никакой программы улучшения жизни не имеют за душой. Они никуда не зовут и ничего не дают. Вместо положительного идеала они призывают к борьбе с коммунистами, которые имеют его. В антикоммунизме — вся их программа. Богатым и устроенным нечего, таким образом, предложить бедным и неустроенным.

А у коммунистов есть ясный план. Я читаю Ленина и Сталина, говорила с русскими, из газеты «Теглихе Рундшау» узнала о сделанном в России, слушала много докладов и споров об их теории и делах. И я хорошо теперь знаю, что бедность и зло исчезли в этой стране. Не все я в теории еще понимаю, но в делах мне все по душе. Коммунисты — люди больших-больших дел. Они — единственные, которые могут изменить и меняют мир. Я пойду за коммунистами, и знай это, папа, раз и навсегда.

1/XII

НЕ СТЕСНЯТ ЛИ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ СВОБОДУ МЫСЛИ?

Для тебя, отец, партия, программы и лозунги — «насилие над свободным умом». Но все письмо твое, вся жизнь твоя — опровержение собственных слов. К чему приводит жизнь без мирозерцания, полет мнимо свободного ума? К разброду душевному и хаосу, поражению и тоске. Вся жизнь твоя прошла во внутренней борьбе, и не написанную тобой повесть я б озаглавила «О напрасно растроченном уме».

Что такое мирозерцание? Это прежде всего порядок вместо хаоса, убившего твой ум.

Марксисты идут другой дорогой, чем ты. Они нашли истину для мира, и она определила их собственный путь. Ты ж начал не там, искал не там, кончил не там и говоришь о свободе, не давшей тебе свободы ни от ошибок, ни от груза мертвых мыслей, ни от яда в душе... Бог с ней, с такой «свободой ума», папа, которая делает человека рабом всех заблуждений, накопившихся за тысячи лет.

2/XII

В связи с этим я хочу сказать тебе и о книгах, собранных на твоих полках и поглотивших твою жизнь. Ты был умнее и лучше, папа, чем эти пропыленные тома, укравшие богатства

твоей души... Есть у тебя разные книги, папа. Ни одна, конечно, не давала мне ответа на все вопросы, не разрешала всех проблем, не учила, как поступать всегда. Но есть книги, дающие радости, и есть другие, намеренно отнимающие у человека всякую веселость. Я выскивала такие, которые делали бы меня чище и умней, раскрывали бы новый, неизвестный мне мир. Ты же, папа, сидел у радостей, но не видел их, а выскивал черные мысли всех безрадостных людей, писавших мрачно и злобно. Ты вычитывал только плохое о человеке. Я знала, почему из русских ты хранил только Достоевского, и почему у тебя на полках никогда не было Горького. Я поняла из твоих пометок на полях, как различны бывают читатели... Тебе темно и там, где светло!..

Мое же, папа, миросозерцание светло. Стесняет ли оно? Стесняют только лишь движения в темноте.

6/XII

КАК МНЕ УСТРОИТЬ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ?

Ты хочешь, отец, чтобы я пришла с «улицы» домой, то есть не втягивалась в общественную жизнь на моей родине, укрывалась под мужнину сень и не растрчивала сил в борьбе.

Ты видел из сказанного, что это невозможно. Я бы зачала, папа, и опротивела себе.

Ты говоришь, я стала бы тогда над политикой, в отличие от Отто, который от нее бежит. Разграничение непонятно мне. И «над» и «от» — по-моему, одно и то же.

8/XII

Сегодня, отец, допишу это затянувшееся письмо. Я нарочно сделала в нем подзаголовки, как поступила редакция «Нейес Дейчланд» с моей статьей, чтоб расставить все вопросы на свое место. Впрочем, это нужно было мне еще и потому, что я делаю на этих днях доклад «Задачи молодого немца» и часть вопросов этого письма затрону там.

Этот доклад, отец, предложил мне сделать Бигль. Он будет заслушан в нескольких ячейках Свободной немецкой молодежи. Бигль отрекомендовал меня очень начитанной, и действительно, благодаря нашей лавке, я перечитала много разных книг. Но другой товарищ усомнился, следует ли поручать доклад мне, так как однажды я запуталась на занятии кружка, излагая предисловие «К критике политической экономии» Маркса. А в райкоме сидел в это время один пожилой человек, работающий в городском комитете Социалистической единой пар-

тии, и он спросил, та ли я фрейлейн Фельдмайер, которая писала статью об американцах. Узнав, что та самая, он сказал: «Я уверен, что фрейлейн хорошо сделает доклад, а если будут ошибки, вы сообщите поправите». Понимаешь, как после этого мне нужно было все продумывать? Вот почему я затигивала это письмо. И что я тебе, папа, могу еще ответить, кроме объяснения задач, стоящих сегодня передо мной, как перед всякой молодой немкой?

Но я возвращаюсь к «от» и «над». Замечаешь ли ты, как все более опускается Отто, который наглухо отгородился от жизни? Он ходит по целой неделе небритым, стал пожимать плечами в ответ на самые простые вопросы, и если еще бодрится на людях, то, оставаясь один, тоскует. Я дважды видела, как он выходил из дому и тут же возвращался. Его куда-то тянет, но ему некуда идти. Замкнувшись в себе, он вовсе не нашел покоя. В глазах его, во всей фигуре — недоумение, какая-то прибитость. Однажды утром я совсем растерялась, столкнувшись носом к носу с какой-то уличной девичей, которую он выпускал из дому...

Вот что такое «от». А чем отличается «над»? Регулярным умыванием? Заменой случайного спутника нелюбимым постоянным? Или, может быть, вместо того, чтобы стоять перед окном, наглухо закрывать его? Нет, папа, различие это надуманное. Уход от жизни в «парящую над миром» науку, религию или консервирование евощей всегда будет бегством от самого себя, всегда останется самообманом. Можно с душой работать в лаборатории, но нельзя носить реторту вместо души; можно любить семью, но нельзя забыть, что ее благополучие определяется общим.

Вот что мне надо объяснить сейчас многим молодым немцам и... отцу!

Кстати, папа, тебе только кажется, будто немцы устали от обилия или состязания идей. Идя за Гитлером в возрасте подростков, многие молодые немцы имели только одну фальшивую и злую идею завоевания мира. Собственная усталость представляется мрачным людям усталостью мира, но молодых немцев они не превратят в угрюмых ипохондриков или бездумные существа, которые примирились бы с извечной бедностью и тоской. Примером этому среди тысяч других твоя дочь.

Я скажу также слушателям, что, определив свой путь, я ощутила огромные душевные силы, лежавшие прежде под спудом. Где-то я прочитала замечательную мысль о том, что «великая энергия рождается лишь для великой цели», и эти слова выражают происходящее со мной. Раньше силы мои гасли, едва пробуждаясь, ибо никогда я не знала, нужно ли делать то, что делаю, и правильно ли то, что думаю. Вся энергия уходила на то, чтоб водить пылесосом по коврику, коврик вырос в самоцель и оправдывал мое пребывание в мире... В кон-

це дня я была усталой и коврики не милы были мне, как сама я себе была не мила. Теперь все иначе. Умные, полезные дела днем, беспокойные хлопоты, радости от встреч с людьми, от цуфр, кирпича. Да, и кирпича!

Мы будем строить большой дом на Франкфуртер Аллее. Первый дом без домовладельца. Я ревностно слежу за подвозом кирпича. «Это не просто дом,— сказал нам мой шеф,— это кусок грядущего социализма». И каждая пятитонка с кирпичом позволяет мне видеть завтрашний возрожденный Берлин.

Вечерами у нас беседы о книгах, странах, больших делах. И я поднимаюсь вместе с событиями, которые происходят на моей родине и в мире. Да, поднимаюсь! Раньше я не знала бы, как разобратся в противоположных демаршах, речах, заявлениях разных властей и партий. Я всегда терялась от этой борьбы, слушала, приглядывалась и не находила собственного места. А теперь, когда неумолимо и явственно приближается раздвоение страны, я не раздваиваюсь вместе с нею!

Я стала Личностью. Меня не гнетут сомнения. Во мне — рвение к борьбе. И я не откажусь от себя.

Видишь, папа, как много надо мне сказать в моих аудиториях! Я буду выступать в пяти местах! Перед работницами швейных фабрик, в двух деревнях под городом — среди молодых крестьян, у подмастерьев и у стекольщиков, где, между прочим, плохо со стеклом. Но им, конечно, я не добавлю того, что хочешь слышать ты, — о муже. Гольц мне не нравится. И все.

9/XII

И вообще, папа, я очень прошу тебя забыть об этой теме. Мне тяжело и даже как-то стыдно сознавать, что на меня смотрят, словно на товар, рискующий залежаться, или вишню, которая может испортиться для компота. Я не выйду замуж за твоего Гольца, потому что муж для меня — это совсем не кошелек, не годовой бюджет. Он не нужен мне в качестве «опоры в жизни» при спорах с домовладельцем о квартплате или с клиентом — о цене на заказ. Я не такая слабохарактерная и неумелая, как была, и ты мог заметить, что я не беру теперь для себя деньги из кассы лавки. Из-за «спокойного бюджета» я не войду в спальню с чужим, неприятным человеком и не стану жарить ему кровяную колбасу. Никогда не заговаривай со мной больше об этом «устройстве» моей жизни, так как не устраивают меня в ней именно унижающие заботы такого рода.

P. S. Хочу тебя все-таки успокоить. Я вышла из закрытого комнатного мирка, в котором еще находится, к несчастью, много немецких девушек, тщетно ищущих женихов и покупающих

их среди считанных соседских юношей или на танцевальных вечерах. Я — в гуще людей, и среди них встречу настоящего друга.

Э м м а ».

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

— Уйдем отсюда, здесь кружится голова,— сказал Бигль.

Он чувствовал все нарастающее желание положить руку на талию этой девушки, приблизить свое лицо к ее лицу, погрузить губы в мягкий сгиб ее руки. На таком сгибе у Бигля были синие вены, а у девушки нежные складки, в которые хотелось спрятать лицо.

— Пошли! — поднялся он, испугавшись, что не справится с желанием, которое, казалось ему, навеяно терпкими запахами оранжерей.

— Пошли,— заторопилась тогда и Эмма, смущенная его скрытым волнением, которое она вдруг ощутила.

Они вышли из розария и, минуя широкую гиацинтовую аллею, свернули в галерею стеклянных парников, уходившую далеко в поле.

— Не стоит забираться в беспредельность,— сказала Эмма, завидя скошенную полянку, которая обрамлялась леском.— Ты, вероятно, сегодня очень устал.

— Ну вот еще! Я же привык к работе.

— Скажи, пожалуйста, а где ты научился чинить эти сеялки и плуги? Ты же ведь каменщик.

— Гм... имел дело и с машинами. Клепать, например, умею недурно.

Они шли, мягко ступая по широким гладким тропинкам.

— А знаешь, почему еще здесь особенно приятно гулять? — сказала вдруг Эмма.— Тут не слышно шагов.

— Да,— согласился Бигль.

— Замечаешь ты, что в городе на улице стоит всегда цокот, словно едет кавалерийский полк. Это делают такие вот милые туфельки,— показала Эмма на свои деревянные босоножки,— в которых гулял, вероятно, Иисус Христос. Когда же женщины будут снова носить нормальную обувь?

— Тогда же, когда ее смогут получить парни,— показал Бигль на свои солдатские сапоги.— Ты думаешь, в кавалерийском цокоте не слышна подкованная обувь мужчин?

Они засмеялись.

— Я получил в прошлом месяце ордер на костюм,— сказал Бигль.— Прихожу в магазин, оглядываюсь,— ничего, кроме старушки, которая сидит за прилавком и клеит купоны от карточек. Пошел в другой магазин, там тоже сидит старушка, тоже клеит купоны — и тоже костюмов нет.

— Есть из-под полы.

— Мало ли что есть из-под полы! Старушки умеют оценивать на взгляд покупателя. Мне предложили купить взамен костюма... ну, как бы ты думала, что? Старые плащ-палатки. «Рубашки, говорит, сможете сшить, и ордер при вас останется».

Он засмеялся опять.

— Ужасна все-таки наша нищета,— сказала Эмма грустно.

— Кроме вот этих рук,— ответил Бигль,— ничто из нее не выведет.

— Да, это так.

— Могу тебе сказать, что скоро мы начнем получать из России важные вещи: хлопок для фабрик, тракторы для обработки полей...

— О, если так, это будет большим делом. У русских очень сильная промышленность. Во всяком случае, надо признать — это очень хорошие победители.

— Да. Только мне не нравится это слово. Особенно после того, как слышал его сто раз от брата.

— У тебя разве есть брат? — удивилась Эмма.

— Да, он живет в Лейпциге. Рабочий-меховщик. Я не видел его много лет. У него родился третий ребенок, и мать настояла, чтобы я съездил повидаться с братом на денек, так как ему приехать трудней — он потерял на войне ногу. Это очень недалекий человек. Приобрел костыль, но не приобрел ума. Хорошо красит меха и ничем не украсил жизнь. Нет у него надежд, не нашел никакой цели. Вздыхает, всем недоволен, не может понять того, что творится в стране. Я еле выдержал с Гансом день. Приехал утренним поездом и уехал вечерним.

— Что ж он такое говорил?

— В этом нельзя разобраться. Во всем он винит победителей, даже и в том, что ребенок родился слабым. «Это, говорит, результат нашей нужды, а нужду принес проигрыш войны, ибо, будь она нами выиграна...» — «Значит,— отвечаю я,— русские виноваты в том, что не захотели проиграть войны, да?» Замолкает, а потом опять начинает ныть: «Хозяин обещал мастерам дать к рождеству для детей овчины, а потом сбежал из-за новых порядков на запад, и вот дети остались на зиму без шуб». Слышала? Он откармливал на мясо трех кроликов, а их ночью стащила соседка, у которой муж находится в плену. И опять виноваты в пропаже кроликов победители,— не взяли бы они ефрейтора в плен, он достал бы жене собственных кроликов. С этими же кроликами связана и другая история. Один парень привозил для них капустный лист, скупая его за городом, а потом русские «восстановили какой-то завод», и парень бросил дело с капустным листом и поступил на работу. Теперь победители опять виноваты в тысяче грехов, потому что оставили брата без поставщика листьев для кроликов.

Эмма захохотала.

— Ну, знаешь, твой брат рассуждает, как лавочник из провинции.

— Как лавочник, да. Что же касается провинции, то и живя в ней, можно видеть широкие горизонты. Я поругался с ним. «Для тебя,— я сказал,— русские только победители, для меня — они освободители». На том и простились.

— Помнишь, Вилли, ты спорил с моим отцом, который доказывал, что трудно изменить человека? А он все-таки кое в чем прав. Даже в рабочем классе остаются, как видишь, типичные лавочники.

— Нет, он ни в чем не прав, твой отец. Разве не изменилась ты? И вот тебе лучшее опровержение. Что же касается рабочего человека, то он, если хочешь знать, меняется к лучшему прямо на глазах. Девяносто парней работали без денег по пять-шесть воскресений. Это ты как считаешь, а? А то, что мы домну поставили раньше срока? Нет, у рабочего человека сегодня быстро меняются мысли и нрав.

Бигль понизил голос, словно в поле, которым они шли, могло их слышать чужое ухо, и продолжал:

— Знаешь, как показали себя недавно рабочие на нашей домне? Даже те, что всегда бурчали. У нас попытка саботажа была. Двое мерзавцев собирались ни больше ни меньше... как печь взорвать. Вот тут-то люди...

— Взорвать? — перебила в ужасе Эмма. — Ты говоришь невозможное. Кто и зачем мог бы такое сделать?

— Какой-то Боркгейм. Крутился среди бетонщиков, работал месяц старательно, вводил людей в обман. Несколько раз пытался вызвать аварии, но это считали только случайностями, не придали его поступкам значения. Он, например, однажды, когда приготавлился асфальт, запалил костер прямо у смолы и пека, и если б огонь не был быстро погашен другими, многие бы тут пострадали. В другой раз дружок его открыл на подвесной площадке люк, когда наши возились наверху у купола. Представляешь, что бы осталось от тех, кто в этот люк провалился?.. Ну, а поймали его на деле совсем уже страшном. Особой машинкой он просверливал в кауперах швы... Он хотел, чтоб с началом работы печи газ пробился наружу. Раздался бы взрыв, и все полетело бы в воздух.

— Боже мой! Это же просто ужасно. Для чего это ему, для чего это ему, для чего?

Вилли пожал плечами.

— Враг. Этим все сказано. Чтобы народ возмутился народной стройкой, вот для чего. Но ты бы посмотрела на наших рабочих в то время! Его просто хотели убить. Бросить в домну, которая стояла на сушке и в ней был несгоревший газ. И какие рабочие? Его же товарищи, новички, пришлые люди. Они были лавочниками раньше, крестьянами, брюзжали на стройке, пока не втянулись в работу, а потом, когда выросла домна, смотрели

на нее, удивляясь, гордясь, любясь на дело собственных рук. Человек был разбужен в них — настоящий, хороший. И когда эти люди узнали, что детище их кто-то собрался уничтожить... Такой человеческой ярости я еще не видал!

Бигль вынул из кармана тщательно завернутый окурочок, зажег его, с наслаждением затянулся и сказал:

— Нет, Эмма, мой брат — не пример. Судить надо по тем, кто уже оторвался от кроликов, осознал большие интересы жизни. «Вы еще не составили большинства», — сказала мне мать о нас, рабочих народных заводов. Да, это так. Но зоркость зрения — только у нас, и завтрашний день — за нами. Именно потому, что меняется, решительно меняется человек. Увидишь, что будет через год-два!

— И я так думаю, Вилли, но... не так уж этот процесс быстр. Вот сегодня, пока вы чинили плуги, я раздавала книжки крестьянским ребятам, много с ними беседовала. Тяжелое впечатление, говорю тебе прямо. Ведь это новые крестьяне, их освободили от помещиков, дали им землю, завтрашний день, а что они говорят, о чем мечтают? В каждом доме — расшитые шелком глупые, пошлые изречения. И знаешь, что проповедует эта стенная мораль? «Твой дом — твой храм», «Благословенье — в покое», «Твоя семья — твой мир». Просто затоснило меня от этой морали курятника. А как думаешь, что сказала мне женщина, когда я спросила, не тянет ли ее побывать в городе? «Зачем, — ответила она, — ведь там теперь сахара нет, а мы научились выпаривать сусло сами, а я его варю из свеклы».

— И какой ты из этого делаешь вывод?

— погоди. Я тебе еще расскажу. Я собрала подростков. Четырнадцать мальчиков и девочек средних классов. Они полные незнайки, незнайки до ужаса. Никогда не слышали имен Гейне, Маркса, Пушкина... Понимаешь ты, как она ужасна, замкнутость этого мирка?

— Хорошо понимаю. Рассказывай дальше.

— В каждом доме выписываются две-три газеты, но читают в них только то, что пишется о новых крестьянах, наделенных землей, больше не интересуются ничем. По радио слушают юморески и музыку, выключают приемник, когда раздается речь.

— Какой же ты делаешь вывод?

— Нет, я тебе все доскажу. Ребята, конечно, скучают в этом курятнике. Им хочется книжек, они ездят в уездный город в кино. Девочки смотрят все, до единого, фильмы. Но интересны им только любовные интриги героев. Мальчики тоже не знают, что кино — это средство познания мира. И теперь я скажу тебе самое скверное. Ни у одного из мальчишек нет любимых писателей. Это мальчики, у которых нет героев, нет идеального типа мужчины, нет человека и деятеля, которому они хотели бы подражать. А когда нет живых или книжных героев, мальчик остается в курятнике, как он ему ни скучен. Из пятерых один желал бы

стать сыщиком, второй — купцом, третий — владельцем кондитерской, четвертый — владельцем большого сада и у пятого вообще никаких желаний. Никто не сказал, что он хочет сделаться писателем, исследовать недра земли, стать артистом, изобретать машины, быть трибуном, вести за собой людей.

Эмма замолкла. Бигль на этот раз не спросил о выводе. Потом он заговорил — медленно, как бы думая вслух:

— Иначе пока и не может быть. Крестьянам дан только собственный хлеб. Им надо теперь дать большую идею. Этим мальчикам... им предстоит еще открыть мир. Или, ты думаешь, мне это все не известно? Или, ты полагаешь, я приехал сюда только затем, чтоб плуги чинить? Нет, наши приезды должны просветлять людям головы. Пусть видят они в заводских свою надежду и своих вожаков. Пусть поймут на нашем примере, что мир шире избушки, что общность нужна и дружба, а не только сусло и суперфосфат. Сегодня из города прибыла бригада, завтра придут тракторы, потом привезут и новый кинофильм. Мальчик не хочет открывать миры, говоришь ты? Как же хотеть ему того, о чем он совсем не слышал? Когда же завеса перед ним приоткрывается, когда он узнает, как огромен мир и широк, о, в каждом парне проснется такая энергия!.. Мы — ты, я, Меркер,— закончил вдруг Бигль резко,— должны протянуть этим мальчикам руку, чтобы вывести их из курятников.

Они подошли к опушке леса. Стало свежее, день спадал на глаза. На дереве что-то юркнуло,— они смутно увидели белку.

— Отдохнем,— предложил Бигль.

Он снял свою льняную рабочую куртку и расстелил ее на желтые иглы елок, которыми покрыта была земля. Ночная птица, почувствовав вблизи чужие существа, оповестила о них своих друзей залихватистым вскриком и смокла. Муравьи несли иглы в свое жилище. Мягко падали наземь шишки. Легкий ветерок волновал листву и замирал в ней. Лес был тих и одновременно полон звуков.

Эмма и Бигль долго сидели молча.

— После твоего рассказа,— первым заговорил Вилли,— я еще больше склоняюсь к решению, которое и раньше казалось мне самым правильным.

— Что ты собирался решать?

— Вопрос о ближайшей работе. О пути моем, если хочешь.

Эмма взглянула на него вопросительно.

— Мне предложили стать директором кирпичного завода или пустить мыловаренный. И то и другое нужно как воздух.

— Директором? — удивилась Эмма, но тут же почувствовала, что спокойный, уверенный, упорный и все умеющий Бигль действительно может быть и директором.

— Да. Что ж такого? Рабочих уже давно выдвигают на такие посты. Их же две с половиной тысячи, народных заводов. Ищут опытных, знающих дело людей.

— Но что же ты знаешь о мыловарении?

— Многое. Я работал на таком заводе мальчишкой. Меня очень волнует, что у нас нет мыла. Впрочем, волнует многое. Хотел бы за все взяться, наладить, построить, пустить, но... надо уметь себя сдерживать. Вызвал меня, понимаешь, бургомистр. «Читал, говорит, я твою биографию, хорошо знаем тебя, хотим поручить большое дело. Нельзя, говорит, терпеть, чтобы люди мылись песком и еще всякой дрянью. Надо им вдоволь хорошего мыла дать. Возьмись, говорит, за дело, а я тебе помогу, можешь на меня положиться. Или, сказал, кирпичный завод бери. По этому делу ты специалист особенный. Но если, сказал, тянет тебя в комитет к молодежи, поступай, как хочется. Это также нужнейшее дело».

— И что же ты решил?

— Вернуться в комитет. Вдохновлять молодежь, чтоб и то и другое было вместе — мыло, кирпич, металл и еще тысячи всяких вещей. И чтоб мир для парней был шире их личной квартиры.

— Это ты... правильно решил. Это по мне. Я, кажется, такая же.

Снова громко вскрикнула птица, то ли предупреждая, то ли зовя. Промелькнул и исчез большой, красивый синий жучок. На деревьях все еще не затихала затаенная жизнь, скрытая ветками. Поле покрылось дымкой, и усадьбы стало не видно.

И вдруг Вилли почувствовал огромную радость оттого, что делится сокровенным с девушкой. Черты ее лица были теперь едва различимы. Ее дыхание опять взволновало его.

— Эмма,— сказал он вдруг не своим, глухим голосом,— ты говорила... об идеальном типе мужчины. Он у тебя... есть?

Девушка вздрогнула: от вопроса, от изменившегося голоса Бигля.

— Не знаю,— сказала она растерянно.— Я в этом... не разобралась.— Потом вдруг быстро вскочила.— Идем, Вилли, идем, ведь на усадьбе уже все, вероятно, заснули.— И шутливо прибавила, оправившись от смущения: — Ну, вставайте же, господин директор.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

У букиниста Фельдмайера не было воли к жизни. Считая ее никчемной случайностью, не веря ни в разум человека, ни в способность его побеждать смерть, полный беспокойных и путаных мыслей, смеявшийся только желчно, он не имел никаких душевных сил бороться с недугом, позволил расцвести в себе одним болезням и возбудил другие. Потому Эмме пришлось пережить третье, после Вильвицкого и Марии, исчезновение, против ко-

того бессильны разоблачительные статьи, общественное мнение, усилия медиков и горе родных.

Приближалось рождество 1947 года. Люди бегали в эти дни по городу, чтобы, следуя традиции, одаривать друг друга медными брошками, альбомами для фотографий, гребешками, лентами и прочей незатейливой продукцией ремесленников, изделия которых продавались без карточек и талонов.

Эмма достала для Отто яркий галстук, а для отца — бутылку рейнвейна. Чтобы сервировать праздничный стол, она прибегла к помощи фрау Кранц, покупавшей и менявшей из-под полы продукты. Дав ей восемьдесят марок на фунт сахару, шестьдесят на муку и сорок на молочный порошок, Эмма испекла пирог, украсить который ей помогли четырнадцать изюминок, подаренных фрау Пресс. Она же достала Эмме по карточкам двух карпов, заменивших рождественского гуся, весом и величиной которого женщины прежде похвалялись друг перед другом. Фрау Кранц купила для Эммы на черном рынке и полфунта сала и, хотя эти покупки были очень неприятны девушке, успокоила ее, сказав, что кто не пользуется черным рынком, пусть первый бросит в Эмму камень.

— И так уж твои карпы и огрызок сальца совсем не то, что прежний рождественский стол.

Прежний! Эмма часто слышала от соседней разговоры о старых рождественских днях. Тогда подарками были не оловянные рамочки, а ткани, кольца, платья и мебель. Все люди бегали в рождественские дни по магазинам, в каждой семье были пироги и гусь, купечество делало в эти дни треть годового оборота. Все это так, но не потому ли роскошествовали в праздник, что серы были для «маленьких людей» остальные дни в году? Если вправду, что больше всего гусей поедалось в декабре, то, выходит, совсем мало ели их в одиннадцать остальных месяцев. И туфли Эмме покупались матерью к рождеству, но с тем расчетом, чтобы носила их девочка до следующего. Нет, рождество после войны совсем не сладко, но нечего и преувеличивать, вспоминая прошлое.

Эмма была очень смущена, получив подарок от Гайдауэра, так как ничем не одарила его со своей стороны. Обдумывая, следует ли ей что-нибудь преподнести ему, она решила, что он мог бы расценить такой поступок неправильно, увидеть в нем желание угодить начальству. Затем ей неизвестно было, приняты ли вообще среди коммунистов такие вещи. Конечно, рождество у лютеран не то, что католическое, с религией оно куда меньше связано, но точка зрения шефа все же неизвестна. Эмма решила ничего не дарить начальнику и была очень сконфужена, получив от Гайдауэра перевязанную шелковой ленточкой коробку марципанов. Впрочем, бургомистр совершенно не заметил растерянности Эммы. Две другие женщины-инспекторы, получившие по такой же коробочке конфет, в свою очередь подарили Гайдауэру

трехтомник мемуаров Бебеля и подставку для карандашей. Поэтому конфетная коробка доставила Эмме вместе с удовольствием и досаду...

Отто преподнес сестре пару матовых шелковых чулок. Подарок растрогал ее. Брат мог достать чулки только вместо мужских носков, на которые получил в университете долгожданный ордер. Отец положил на ее ночной столик изящное дамское вечное перо и поздравительную рождественскую открытку, заключенную постскриптумом со словами: «О, как мучает себя человек! Как суетны дела мира!»

Эта приписка выдавала непримиримость старика, но и согласие на последующее молчание... Так или иначе, это все свидетельствовало о расположении и любви к Эмме, а беспокойные рождественские хлопоты тоже имели свою прелесть. В мрачном доме повеселело от елочки, присланной дядей Иммануэлем, а когда он сам пришел с большой аптекарской бутылкой домашнего ликера, лица совсем было просветлели.

Они говорили друг другу: «Прозит!» («На здоровье!»), хвалили Эмму за карпов, которых она так чудесно поджарила без всякого масла. Находили очень вкусным рейнвейн. Избегали политических тостов и пили за возрождение Германии. Эмма предложила шуточный тост «за всегда бритого Отто». Дядя Иммануэль пил за будущую жену племянника.

Когда карпы были съедены, дядя скрылся в переднюю, извлек там что-то из кармана своего пальто и возвратился с новым сюрпризом, который прятал за спиной, требуя угадать, что это такое.

То, что блеснуло затем в его руках, произвело фурор. Две большие коробки сардин, настоящих сардин в масле! Отто, блаженно молчавший весь вечер, обрел дар речи и предложил тост за сардины. Ели этот давно не виданный лакомый деликатес, и приятное насыщение делало людей все добрей друг к другу.

Потом слушали праздничный концерт по радио. Передавали игристую, легкую музыку, за которой последовали тяжелые, торжественные аккорды.

— Это Бах,— сказал отец.

Дядя Иммануэль слушал ритмичный рокот звуков с умиленным лицом, Эмма с удовольствием потягивала ликер.

— Его вдова умерла нищенкой,— сказал вдруг отец, и Эмма не сразу поняла, что это относится к жене Баха,— но... хорошо, когда что-то остается после тебя на целых двести лет...

Это не вязалось с его письмом к дочери. Но Эмма не помнила в этот момент о письме. Ей было хорошо, у нее чуть туманилась голова, и стало досадно, что отец возвращается в такой вечер к своим думам. Лицо его посерело, и молоджавость, приданная было накрахмаленным воротничком, исчезла.

— Слишком много хорошей еды и спирта,— сказал он

вдруг.— Это мне не полезно. Извините, дорогие, но я пойду прилечь — и бражничайте дальше без меня.

Он вынужденно улынулся, со всеми поцеловался и ушел в свою комнату.

Тогда дядя Иммануэль стал тоже собираться. Уже двенадцать!

Рождественское оживление кончилось. Отто хотел помочь Эмме вымыть посуду. Она сделала это сама, а он вытирал тарелки с рассмеившей Эмму тщательностью. Потом она слила оставшееся в консервных коробках масло, убрала праздничную скатерть и выпила с Отто остатки рейнвейна.

— За твоё счастье, сестренка! — сказал он таким голосом, что она почувствовала огромную нежность брата, который считает ее, вероятно, несчастливой.

— За твоё! — ответила она.— Я, честное слово, чувствую себя великолепно, а вот ты страдаешь.

— Это тебе кажется. Мое самочувствие как у всех немцев. Не лучше и не хуже.

— Неправда. Я тоже немка, но счастлива в сравнении с тобой.

— Не будем обо всем этом, сестренка...

Он поцеловал ее в лоб и ушел к себе.

На рассвете Отто встревоженно разбудил Эмму.

— Встань, Эммхен, очень плохо отцу. Надо сходить за врачом, я не хочу оставить его одного.

Эмма бросилась в спальню к отцу. Он сидел в кровати с широко открытыми глазами, глубоко дыша. У него были, видимо, сильные боли.

— Сделай немедленно укол атропина, Отто! — скомандовала она брату и побежала за доктором Штедтом.

Как многие врачи в Берлине, доктор Штедт держался всю жизнь того мнения, что болезни излечиваются словом. Если человек от него не исцелялся, то был, значит, вообще неизлечим. Против кашля есть порошок, против насморка — ментол, против запора — слабительное, и если ни одному из этих испытанных средств болезни не поддавались, то исчезнуть они могли только от бодрого слова самого доктора Штедта.

Это был полный, добродушный и ласковый человек. Его пухлая ручка не способна была к твердым пожатиям, а сам он не умел сказать пациентам неприятную правду. Штедт вносил в дома успокоение своей безмятежностью, улыбкой, шуткой, и многолетнее врачевание убедило его в том, что именно улыбок ждут люди, именно перед ними отступают болезни. Если же это не происходило... Но, господа, должен же человек когда-нибудь умереть. Это искренне печалило доктора Штедта, но тут ничего нельзя было поделать. И он исчезал тогда из квартиры, в которой его шутки уже не проясняли лиц, уступал место гробовщику Шольцу и не отправлял потом в такой дом счета. Пришлют

ему родные умершего гонорар — хорошо, не пришлют — бог с ними. Он не был жадным, и бескорыстие отличало его от большинства коллег.

Дома он был весельчаком и любителем хорошо покушать. Он не имел сбережений, но у него были зато «мерседес», гости по четвергам и постоянное место в оперетке «Метрополь», где он числился театральным врачом, шутил с певицами, наслаждался Кальманом и подпевал мелодиям Легара.

Жизнь так хорошо текла раньше, временами осложняясь только пациентами, которых не спасали ни клизмы, ни валерьяновые капли, но без этого ведь не бывает, и когда в семьях умерших снова кто-нибудь заболел, звали опять доктора Штедта, потому что он старый врач, хороший человек и свой в домах Пренцлауэр Берга.

Все было так долгие годы, пока не изменились после войны организмы, ставшие до того непонятными, что порою не поддавались даже болеутоляющей белладонне и упорствовали против лучших шуточек доктора Штедта.

И он почувствовал себя немножко растерянным. Книжки и терапевтические журналы не могли помочь ему в беде, так как, оторвавшись от них тридцать лет назад, он потерял в науке ориентацию. Книжки полны были теориями, о которых он не слышал, даже многое в терминологии было ему непонятно, и журналы эти навевали грусть, ощущение чего-то упущенного, невозвратимого, обидного. За несколько улиц от него в полуразбитом «Шарите» кто-то растворял особым способом почечные камни, в клиниках России пылливо изучали, как снижать высокое давление крови и уничтожить рак, десятки неизвестных прежде препаратов обогатили мир, а доктор Штедт, уже старый и подслеповатый, лечил по-прежнему лишь шуткой и слабительным. Ах, если б кроме доброй шутки обладал он знаниями! Но... он чувствовал, что бессилён вникнуть в открывшиеся тайны, перешагнув за шестьдесят. Жизнь ушла на «Метрополь», обеды, разговоры. Она разменяна на шутки, а заново учиться... нет, он слишком стар.

Фельдмайера — неверующего скептика, насмешливого циника — Штедт знал давно. И очень хорошо он знал, что, кроме бога, в организме букиниста никто не разберется. Склероз сосудов? Да, но отчего болят и пах и поясница? Анализы ни разу ничего не показали. Селезенка не была увеличенной. Рентгеном в поликлиниках просвечивали печень, не просветив вопроса. Ко всему прибавилось расширение сердца. Все было очень грустно. В свое время профессор Баркш из «Шарите», профессор Гукх из Дрездена, профессор Лаш из института имени Вильгельма осматривали букиниста, держали его в своих клиниках и предлагали подвергнуть исследованию через полгода. Фельдмайер был болен невеселостью, а этого профессора не знали, и букинист был предоставлен шуткам Курта Штедта. Но пациент знал шутки

сам! И очень злые, которые коробили врача-добряка. Однажды, например, насмешливо смотря на исцелителя, Фельдмайер бросил:

— Вы очень тщательно выслушиваете, доктор. Чем больше вы вникаете в мой организм, тем явственнее вам, что вивисекция прояснилась бы все...

В другой раз он сказал:

— Я надул вас, доктор. Ваши ожидания не оправдаются. Мною оставлено завещание с запретом анатомирования. Если вы при моей жизни ничего не знали, то и потом не должны ничего узнать.

Да, Фельдмайер был тяжелым пациентом. Но доктор Штедт, поднятый с постели, добросовестно спешил за перепуганной Эммой. И, появившись в спальне букиниста, он деятельно занялся беладонной, грелкой, распорядился о покое для больного, и без того никем не нарушаемом, и вприснул ему камфару, которая всегда была в его саквояже вместе со шприцем и валерьянкой. И боли к утру ослабели. Зрачки Фельдмайера сузились до нормальных, краснота воспаления в них исчезла, и, приняв по совету доктора Штедта люминал, он уснул, что Эмму успокоило.

Было досадно, что нерабочий рождественский день пришлось провести дома, вместо того чтобы пойти на впервые ставившуюся в Берлине после войны русскую оперу «Евгений Онегин». Еще несколько дней назад Эмма договорилась с другой девушкой-инспектором вместе побывать на этом спектакле, билеты были уже куплены, но неопределенное состояние отца, у которого боли могли возобновиться, заставило остаться дома. Она решила чинить носки Отто, а самого Отто услала к подруге с запиской-извинением.

Расположившись со штопкой возле комнаты отца, дверь которой она полуоткрыла, чтобы сейчас же войти, если он позовет, Эмма включила приемник, приглушив звук, и стала слушать фельетон о рождественском деде. Рассказ был посвящен рыбе, дававшейся дедом по карточкам, и надеждам на обильное одаривание внуков без всяких карточек, которое дед осуществит годика через два-три. Фельетон был написан весело, читался диктором быстро, без нарочитого пафоса, который Эмма не любила, и она слушала «деда» с удовольствием. Потом передавали музыку, юмористические диалоги и новости дня. В последних промелькнуло несколько тревожных заявлений, сделанных какими-то большими баварскими чиновниками против единства Германии под руководством Берлина.

Еще полгода назад Эмма не поняла бы фальши выступлений этих людей, протестовавших против «гегемонии пруссаков», от которых они призывали отделаться. Сегодня она самостоятельно в ней разобралась и возмутилась этой фальшью. Ведь Пруссии сейчас нет! И характеризовалось пруссачество вовсе не происхождением, а политикой. Ни Гитлер, ни Геббельс не были

пруссакими по происхождению, и отвратительнейшее пруссачество — фашистское — имело своей родиной и центром не Берлин, а как раз тот южный немецкий город, из которого идут сейчас призывы к отделению... И не потому ли они возникли, что Восточный Берлин стал центром антипруссачьего движения, которое захватило также ее, Эмму! О, все это шито было белыми нитками.

Возмущенная этими призывами к расчленению страны, чего все очевиднее добивались на Западе, Эмма пропустила ряд других сообщений и вдруг застыла от совершенно неожиданной сенсации. Диктор передавал письмо американскому коменданту Берлина от коменданта русского, просившего об освобождении или объяснении причин ареста жителя советского сектора города студента Гейнца Вильвицкого, который, по неопровержимо точным данным русских властей, находится в заключении у американской политической полиции.

Сообщение было настолько неожиданным, так не вязалось со всем, что в течение двух месяцев говорилось и писалось о Вильвицком, и Эмма оказалась в такой мере к нему неподготовленной, что долго неподвижно сидела с носком в одной руке и иголкой — в другой. И действительно, трудно было быстро прийти в себя. Почти шестьдесят дней все выпускаемые в американском секторе газеты настойчиво требовали расследования дела Вильвицкого, вскрывали ошибки полиции, обвиняли самого Вильвицкого в принадлежности к спекулятивной организации и в темных делах, и вдруг русские, проявившие к делу как бы полную безучастность, объявляют теперь, что исчезновение студента — дело рук самих американцев! Тут было от чего прийти в недоумение!

Эмма с нетерпением дождалась возвращения брата и, едва он перешагнул порог, поспешила передать ему необыкновенную новость. Отто был тоже поражен и не нашел слов, чтобы растолковать происшедшее. И только произнес:

— Вот это номер!

Эмма стала гадать вслух:

— Какую мог Вильвицкий представлять для американцев угрозу? Ведь он был агнцем, и за что было ему попасть под политический арест? И все-таки это факт, иначе русские не стали бы говорить о непреложных данных. Нет, нет, не чувствуй они свою правоту, такого заявления никогда бы не последовало. Что за всем этим скрывается? А может, мы просто не знали Вильвицкого, как не знала его собственная мать, и он вел какую-то тайную работу? Но какую? Если он был коммунистом, то зачем ему было это скрывать? Коммунисты, наоборот, ведут свою пропаганду гласно, широко, громко. Нет, тут положительно ничего нельзя пока понять. Но после праздника в газетах уже будут, вероятно, подробности. Мне прямо трудно дождаться теперь конца рождества.

И хоть назвала Эмма Вильвицкого агнцем, он все же представился ее воображению окруженным какой-то тайной.

В это время проснулся разбуженный громким разговором отец, и Эмма поспешила к нему. Лицо его не кривилось от боли, на губах даже появилась краска, и только почерневшие мешки под глазами свидетельствовали о перенесенных страданиях. Он попросил Эмму поднять ему подушки и принести из лавки купленные накануне книги, которые он хотел перелистать.

— Лучше бы ты постарался опять заснуть, папа.

— Нет, девочка, люминал не может надолго оглушить такого беспокойного человека, как твой отец.

Весь день он чувствовал себя хорошо. Узнав, что от сардин осталось оливковое масло, он попросил дать его в розетке и стал макать в него хлеб.

— Но ведь это может опять повредить тебе, папа.

— Ах, девочка, мои почки никогда не говорили мне, что им по душе и что нет. Твои костяные отвары они принимают беззлобно, а от простых овощных супов начинают вдруг буйствовать. А раз они своенравны, то нельзя их все время задабривать. Отказаться ради них от оливков!.. Почки не стоят такой жертвы.

Эмме казалось, что тяжелый приступ был кратковременным и отец, полежав немного в кровати, после праздников будет опять на ногах. Но к вечеру следующего дня у него стало вдруг колоть в груди. Это не связано было, конечно, с почками. Доктор Штедт знал, что в грудь всегда забирается простуда, он хлопал букиниста по животу, сказав: «Эту-то штуку мы наверняка вытурим, старина», и следующую ночь Эмма меняла отцу рубашки, мокрые от пота, вызванного аспирином.

Но боли в груди прошли не сразу. На следующий день к ним прибавились покалывания в спине, и потребовались еще одни сутки, в течение которых доктор Штедт дважды впрыскивал больному камфару, чтобы боли прошли. Он перешел из кровати в кресло. Глаза его провалились, щеки глубоко впали, а руки стали такими слабыми, что с трудом удерживали чашку подслащенной вишневой воды, принесенной дядей Иммануэлем.

Рождество кончилось, но лавку нельзя было открыть. Положение создалось тяжелое, так как Отто должен был сдавать семестровые экзамены, проводившиеся в лабораториях, а Эмма связана была работой. От отца, пока он был слаб и не оправился, нельзя было отходить. Он ничего не говорил Эмме, но в глазах его читалось, что дочь может наглядно убедиться, как не к лицу женщине связывать себя общественными обязанностями. Он сидел в кресле, обложившись книгами, ни о чем не просил, но и не интересовался тем, что Эмма предпримет. Казалось, он рассчитывал, что обстановка в доме сама собой оторвет дочь от «улицы»...

Эмма нашла было выход: она попросила фрау Пресс и фрау Пеппер приходиться к отцу по очереди. Бигль прислал двух моло-

деньких и отзывчивых девушек из Союза свободной немецкой молодежи, которые с удовольствием готовы были даже вымыть полы и поштопать для фрейлейн Фельдмайер, что Эмму очень растрогало. Но отец, когда в доме появились чужие люди, словно не замечал их присутствия. Он не обращался к ним ни с какими просьбами, не пил подаваемой вишневой воды, и когда Эмма, возвратившись с работы, увидела, что он весь день не притрагивался к пище и не принял лекарств, то поняла, что необходимо уступить этому молчаливому бунту. Будь отец на ногах, она бы не поддалась этой настойчивости, но его беспомощность не позволяла противопоставить неожиданному старческому упрямству собственную волю. Она попросила Гайдауэра освободить ее на несколько дней от работы.

— Я слышал о вашем отце,— сказал ей бургомистр.— Говорят, он очень начитан и... очень невесел.

— И то и другое правда,— усмехнулась Эмма.

— Мне рассказывали, он проповедует, что человек — песчинка в море времени и ему не следует поэтому тратить силы на переустройство мира. Так?

— Почти так.

— Это очень нехорошая философия, которая губит энергию людей еще в зародыше. Печально то, что в нашей сегодняшней Германии, где многие и без того склонны к пассивности, она находит себе благодарную почву.

— Но я, как видите, ей не поддалась.

— Она противна, вероятно, вашей здоровой человеческой природе. Ну что ж, фрейлейн Фельдмайер, ясно, что нельзя бросать больного старика одного. Передайте неотложные дела фрейлейн Штарк, и желаю вам скорее возвратиться на работу.

Но присутствие Эммы дома не помогло. Канун Нового года прошел особенно тревожно. Он был и так скучен, потому что отсутствовали яства, которые были на рождество, а отец снова почувствовал себя плохо. Он прошел в лавку, откуда принес много старых книг, но ночью ощутил вдруг удушье. Эмма распахнула окно, холодный январский воздух ворвался в комнату, а отец продолжал тяжело дышать. Она опять бросилась к доктору Штедту, у которого были новогодние гости, а сам хозяин выглядел несколько навеселе.

— В такую ночь, фрейлейн! В такую ночь!..— забормотал он растерянно, но все-таки, извинившись перед гостями, пошел с Эммой к больному.

При одном виде Фельдмайера он сейчас же распорядился послать в аптеку за кислородной подушкой. Он мало знал, старый доктор, но много видел и не ошибался в случаях, когда обычного кислорода в воздухе человеку уже не хватало.

— Кто из вас тут более мужчина? — обратился он к Эмме и Отто, побледневшему при виде кислородной подушки.— Кажется, вы, фрейлейн? Так вот. Моторы у нас у всех не совер-

шеннее мерседесовских, и заменить их, сохранив коробку, нельзя. Тривиально выражаюсь, но что поделаешь! Да... Кислород должен быть всегда под рукой. Камфару дважды в день. Никаких волнений. Холодный воздух. Завтра загляну.

А через день Фельдмайер, надышавшись кислородом, уже перелистывал вялыми руками извлеченную из сейфа одну из его уникальных ценностей, долго разглаживал и без того спрессованные от времени страницы и о чем-то сосредоточенно думал. Суп свой он съел хотя без аппетита, но полностью, и это Эмму очень обнадежило.

В тот же день газеты принесли наконец ответ американцев на русское заявление о Вильвицком. Этот документ был столь же удивительным для Эммы, как первый. Больше того, он рождал невероятные недоумения и делал вопрос о студенте уже абсолютно загадочным. «Да,— отвечали американцы,— господин Гейнц Вильвицкий действительно находился некоторое время в помещении, занимаемом одним американским учреждением, у которого он искал защиты от преследований с русской стороны. Американские власти не считали в таких условиях возможным сообщать о его местопребывании, которое господин Вильвицкий, по непонятным причинам, не желает делать общеизвестным и сейчас. Американская сторона может только сообщить, что он пребывает в одном из западных городов Германии. Она передает сведения обществу в виде фотокопии собственноручно написанного по этому поводу господином Вильвицким заявления...»

Отто установил с несомненностью, что почерк заявления Вильвицкого был подлинным. Достаточно было взглянуть на любую страницу конспекта Гейнца по истории химии, чтобы простым глазом убедиться в тождестве руки, делавшей эти записи и написавшей для американских газет антирусский документ. Он опубликован был на первых страницах двух десятков проамериканских изданий, которые одновременно поместили резкие передовые статьи. Те же газеты, которые прежде называли студента преступником, говорили о нем теперь как о безвинной жертве «ужасной системы». В заявлении Вильвицкого значилось, что он добровольно, ища убежища от преследований, которым якобы подвергался в восточном секторе города, прибег к помощи американских военных властей и просит общественность не беспокоиться за его судьбу.

Этот документ ошеломил Эмму.

Русский майор, для встречи с которым она специально пошла на занятия кружка, хотя без крайней нужды не выходила из дому, выслушал Эмму спокойно, затем заговорил с необычайной для него резкостью:

— Какие тут могут быть сомнения? В чем? Ваш студент — провокатор. Вы утверждаете, что он честный человек? Но в таком случае безвольный тип, позволивший превратить себя в ору-

дие злейшей провокации. Что толку в честности, которая может отказаться от себя? Что толку в хороших намерениях, которые становятся при виде револьвера дурными? История с этим заявлением может послужить вам хорошим уроком. Если нет идейности, человек может сделаться подлецом. Наше суровое время то и дело ставит честность перед испытанием, и она его не выдерживает, если человек не знает, ради чего должен ее хранить. И только потому, что вы не были еще в гуще настоящей борьбы, не знаете, на что способен враг, только поэтому вы не могли сразу догадаться о фальшивке, хотя бы и написанной знакомой вам рукой.

Да, это было, конечно, так. Студент с голубыми, задумчивыми глазами стал инструментом гнусной провокации. Как можно было этого не понять! Разве гестапо не сделало многих немцев беспринципными? Обыватель может быть вполне порядочен в расчетах с соседями, хранении доверенных секретов и сбережении чужих вещей, но честности его становится недостаточно, когда приходится вступать из-за нее в борьбу. Жена булочника Зендауэра хранила, несмотря на ссоры с мужем, костюм еврея портного Айнайзера, скрывавшегося от гестапо, но на первом же допросе рассказала, в каком городе он скрывается, после чего месяцами плакала и стала усиленно посещать церковь. Да, честность без стойкости — это еще очень небольшое достоинство, а стойкость дается только большой идеей.

В следующие дни западная печать и мюнхенское радио зашумели о «большевистском терроре». Это была неистовая свистопляска передовых статей, фельетонов, беллетристических рассказов, радиодialogов, радиоанкет и просто дикторских импровизаций. Немцы называют такие шумихи проходом барабанов и литавр. Выходившие в советском секторе газеты назвали этот поток вымыслов провокацией. Они требовали, чтоб американцы дали Вильвицкому возможность выступить перед журналистами. Ответа на это требование в западной прессе не последовало. И Эмма не узнала тайн фармацевтической лаборатории, изготовляющей яды...

Вечером того дня, когда радио передало письмо русского коменданта американскому, Гейнц Вильвицкий вызван был из камеры и введен в комнату на втором этаже, где его уже четыре раза допрашивали. Но она имела необычный вид. Вместо следователя здесь сидели с торжественным видом трое других офицеров, вместо прежнего письменного стола стоял длинный, покрытый зеленым сукном, а на месте портрета киноактрисы Бетти Вудворт висело огромное распятие. Оторопевшему Вильвицкому объяснили, что над ним будет сейчас проходить суд.

Суд этот длился ровно двенадцать минут, ушедших на повторение знакомых уже Вильвицкому вопросов. Как показал разговор, вынесенный после четырехминутного совещания, ответы Вильвицкого найдены были не заслуживающими доверия и сви-

детельствовали об упорстве обвиняемого, лишившем военный суд возможности применить к нему снисхождение. За шпионаж, направленный против Соединенных Штатов на оккупированной ими территории, Гейнц Вильвицкий, немец по национальности, двадцати восьми лет, ранее не судившийся, холостой, студент Берлинского университета, приговорен был к смертной казни через расстрел. Приговор подлежал исполнению в течение двенадцати часов с момента утверждения его командующим.

Участники спектакля столь же торжественно удалились из комнаты, как и появились в ней. На несколько минут Гейнц остался в опустевшем помещении наедине с распятием и конвоиром. Он был ошеломлен. Хотелось вопить, но сознание подсказало бессельность даже самых неистовых криков. И так, через несколько часов смерть? За что? Почему? И это вместо освобождения! Десятки мыслей беспорядочно пронеслись в его мозгу.

Он не знал, несчастный, что его тюремщики были сегодня менее властны над его жизнью, чем когда-либо. Он не знал, что нужен был им теперь именно живым, что суд является инсценировкой, какие часто устраиваются в этом здании, и ждет его, Гейнца Вильвицкого, совсем другое...

Через несколько минут председатель суда, проходя через комнату, увидел Вильвицкого и накричал на конвоира:

— Почему приговоренный еще торчит здесь наверху и не отведен в камеру смертников? Впрочем... может быть, это судьба. Ну-ка, Вильвицкий, следуйте за мной!

В своей рабочей комнате председатель объяснил смертнику, что приговор доставляет тяжелые часы и ему самому. Не так легко отправить на тот свет человека в день, когда празднуешь трехлетие своего сынишки. Он понимает, что и у Вильвицкого могли бы быть любящая жена и дети, все радости жизни... Как бы Вильвицкого спасти? Что сделать, чтобы генерал не утвердил приговор и даже, может быть, предоставил Вильвицкому свободу?

Он долго думал, потирал лоб и писал варианты заявления, которое могло бы искупить вину Вильвицкого перед армией Соединенных Штатов. Вильвицкий не понимал смысла этих бумаг, которые ему предлагали подписать, их связи с его жизнью.

— Вы нам принесли зло. Искупите его злом, которое вы нанесете нашим врагам. Тогда первое зло вам простится, а за второе вы будете награждены.

Вильвицкий начинал кое-что понимать. Он отрицательно качал головой. Его увели в одиночную камеру. Это самая темная и сырая из конур винного погреба. Ему давали вареные бобы и кофе на целые сутки. В просверленных дырах толстой двери застыли глаза наблюдателя.

Следующей ночью к нему пришел человек в сутане. Это исповедник. Он мягко положил руку на плечо осужденного. Вильвицкий заплакал, как маленький мальчик.

— Сын мой,— почти плача вместе с ним, говорил потрясенный пастырь,— зачем вам эти муки, зачем умирать в расцвете лет? Напишите все, что предложат офицеры. Если эти бумаги будут с вашей стороны ложью, то я отпускаю вам этот грех, сын мой...

Наутро ему опять принесли суточную порцию бобов. Надзиратель, выдавая тайну начальников, тихо сообщил, что к командиру на доклад вчера еще не ходили. Наверное, сегодня... Не хочет ли Вильвицкий снотворное? Не надо? Ну, как угодно. Он только хотел помочь. С глазу на глаз со смертью непомраченному человеку страшно. Ему говорил об этом приятель, который обслуживал в Чикаго электрический стул.

После рассказа надзирателя с Вильвицким произошел нервный припадок. Он корчился, как в прошлый раз, когда сосед заподозрил у него эпилепсию. Ослабленный, лежал он потом на койке в тяжелом забытии.

Ночью опять приходил исповедник. Долго читал над Вильвицким молитвы. В последний раз советовал ему подписать бумагу. Бог не простит человека, не ценящего жизнь, которую он ему дал. А мать Вильвицкого? Подумал ли неблагодарный сын, что станет со старушкой?

На рассвете, когда Вильвицкий забылся опять, в камере появились председатель суда и четверо солдат. Из груди осужденного вырвался истерический крик. Он отгрыз край стакана, в котором ему подали воду. Исполнители приговора терпеливо ждали.

— Я подпишу! Я подпишу! Ради всего святого!

Написать надо всего несколько строк. Ему продиктовали их. Первые экземпляры не годятся, в них неровен почерк. Председатель суда удовлетворился только шестым экземпляром, написанным уже не дрожащей рукой на глянцево-веленовой бумаге четкой тушью...

После этого Вильвицкий лежал на свежем белье, в удобной постели. Его внимательно лечили врачи, возле него круглосуточно дежурили сменные сиделки. Его поили апельсиновым и ананасным соками, давали куриное мясо, крепкие бульоны и много сладкого. Ему диктовали письмо к матери и доставляли от переполненной счастьем старушки радостные ответы. В одной из записок она подтверждала получение посланных ей Гейнцем кофе, сала и шоколада... Через несколько дней его облекли в костюм из хорошего трико в полоску и повели в госпитальный салон, где сфотографировали для газет и кинохроники.

«По моему виду вы можете догадаться, что мне не плохо»,— значилась подпись под фотографией в газете Гольца. «Я в царстве действительной демократии»,— гласила подпись в другой газете, где Вильвицкий был изображен курящим сигару рядом с дружески положившим ему на колено руку американским пехотным офицером.

Вильвицкого выводили во двор, где снимали заносающим ногу в автомобиль, читающим в лонгшезе американский иллюстрированный журнал и проделывающим еще многое такое, чего люди в январе вовсе не делают.

После появления этих многочисленных снимков Эмма решила, что обманывалась в Вильвицком и его не столько принудили стать подлецом, сколько нашли в нем удобного партнера для сделки. Лишь впоследствии, когда непоправимое несчастье принесло развязку, она поняла, какие душевные терзания перенес этот улыбающийся на фотоснимках безвольный и неудачливый человек.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Как множество молодых людей в Германии, Эмма прежде любила криминальные романы и книжки об убийцах, а к самоубийцам питала особое любопытство. В лавке отца были о самоубийцах не только занимательные романы с раскрашенными обложками, а и исследования, авторы которых числились учеными. Но труды их выглядели странно. Эмма однажды перелистала книгу о самоубийствах одного знаменитого гамбургского статистика и нигде не встретила даже упоминания о таком поводе расставания с жизнью, как голодное существование. Статистик распределял причины самоубийств на группы: «тоска», «нервное расстройство», «неприятности» и «огорчения», забыв, что расстройства и огорчения, в свою очередь, имеют причины. Другой ученый огульно объявил половину самоубийц несчастливymi влюбленными, а четверть — разочарованными в жизни. Что же касается психиатров, то для них все самоубийцы были только людьми с отклонениями от нормальной психики.

Неправильность всех этих ученых утверждений была ясна даже не сидевшей на университетской скамье Эмме. Она видела хроникерские заметки в западных газетах. Одна заметка сообщала о самоотравлении газом пожилой одинокой женщины. Другая рассказывала об утопившейся девушке, забеременевшей от американского солдата и выгнанной из дому безработным отцом. Газета Гольца писала о чахоточном молодом человеке, снятом с дерева в сквере. Юноша не имел ни бумажки с адресом, ни пфеннига в кармане. Четвертая газета писала об одноруком, который бросился под трамвай, оставив в кармане записку о тщетных своих попытках устроиться в дом общественного призрения...

Из справочников Эмма знала, что в странах капитала ежегодно уходят такими путями из жизни десятки тысяч человек.

От тоски и огорчений? Да, но причины их совсем не романтические. В догитлеровской Германии происходило в среднем восемнадцать тысяч самоубийств в год, после захвата наци-

стами власти число самоубийств повысилось до двадцати тысяч, а в последние два военных года стало рекордным в истории страны. Самоубийц оказалось в несколько раз больше числа умирающих от голодной крови. Их стало в двадцать раз больше, чем жертв уголовных преступлений. И эти цифры говорили о неразрывной связи роста самоубийств с обнищанием масс, с горем, принесенным войной.

Среди жителей капиталистических стран, добровольно уходящих из жизни, бывают, однако, и люди, которые не отчаялись в поисках работы, не сломались под влиянием нужды. Они не страдают также от безнадежной любви, неизлечимых болезней или шизофрении.

Мы говорим о человеке, вступившем в поединок с собственной совестью. Страшно оставаться с ней наедине, невыносимо носить ее в себе, нестерпимо есть, спать и дышать, когда человеком сделано страшное зло. Он никогда не оправдает себя, не извинит своего преступления тем, что совершить его принудили обстоятельства. Совесть не знает смягчающих вину обстоятельств. Жизнь для предателя будет невозможной. Невозможны будут для всех, кого предал он, и слезы сожаления о нем. Люди назовут предательский поступок настоящим именем, они произнесут свой приговор, они справедливо не захотят взвешивать ни меры страданий, причиняемых прищепками, ни тех мучительных переживаний, которые испытывал Вильвицкий, когда пил в американском госпитале ананасный сок.

И Гейнц Вильвицкий очень хорошо сознавал это, когда с деньгами в кармане и обеспеченным будущим гейдельбергского студента открыл дверцу самолета, увозившего его с матерью на запад, и прыгнул с высоты в тысячу двести метров.

Получив его предсмертное письмо от немецкой уборщицы американского военного госпиталя, Эмма была сначала ошеломлена. Потом бросилась с ним к Гайдауэру. Потом они вместе ездили к русским офицерам. Потом это письмо (без ряда подробностей) напечатано было в газетах и нанесло страшный удар по гиммлерам из Си-ай-си и геббельсам из Американского информационного центра.

Письмо было написано наспех, тайком и не содержало многих очень нужных подробностей. Вот его первый абзац, фотокопии которого напечатали газеты восточного сектора:

«...Из прессы, прочитанной в салоне госпиталя, я понял, что наделал своей слабостью... Мне грозили смертью, но понимаю, что для меня все равно нет оправдания. Завтра меня увозят в Гейдельберг. На пути я выброшусь. Это решено. Сброшусь над Падерзее — родиной отца. Передайте властям в нашем восточном секторе это письмо, чем я хоть немного испугаю вину перед людьми и богом. Я доверяю письмо женщине, поклявшейся его передать, и молю всевышнего, чтоб оно дошло по назначению...»

В неопубликованной части говорилось:

«Все произошло оттого, что я оказался свидетелем сбора бывших бонз, которые на деньги их нанимателей помогают готовиться к войне с Россией. Собирают своих бывших товарищей по армии, расклеивают листовки на заводах, настраивают на войну разных людей, хотя знают, что люди против войны. Главный Холдрих. Это страшный человек. Помню фамилию Янзена. Очень много ужасного делает Гольц, который у вас бывает. Вы не знаете, что это за человек. Он за войну как можно скорей. К американцам отвозил меня он.

Ради бога, поступите с этим письмом правильно. Не повторяйте моей опрометчивости. У этих людей большие связи, и они идут на все.

Лежа в госпитале, я понял: за четыре года войны никто из нас ничем не помог русским, и если мы повторим эту ошибку нашего народа, он будет предан холдрихами и от него не останется уже совсем ничего. Наш народ должен быть в дружбе с русскими, и только такая дружба спасет нас от войны».

Письмо Вильвицкого было опубликовано в газетах только через несколько дней после доставки по адресу, когда власти получили подтверждение, что в городке Падерзее действительно разбился выпавший из самолета пассажир.

— Он был все-таки благороднейший человек,— сказала Эмма Гайдауэру с дрожью в голосе.

Гайдауэр ответил не сразу. Он затянулся сигаретой, задумался и сказал потом почти то же, что майор Поликарпов:

— Поймите, что не доставь эта женщина его письмо, он навсегда заслуживал бы только проклятия. Раскрытие ужасных преступлений и предотвращение страшных зол он своим поведением поставил в зависимость от случайности. Его трагическим пороком была слабость, а в решимости, проявленной им под конец,— тоже нет никакого героизма. Самоубийство — это «мужество» людей, которые способны только на вспышку, но не на горение. Именно эти люди позволяют обстоятельствам так коверкать свою жизнь, что потом остается только уходить из нее. Или, наоборот, они не умеют смотреть в лицо смерти, после чего им невозможно справиться и с жизнью. Нет, не будем говорить о вашем Вильвицком!

Гайдауэр снова глубоко втянул в себя дым, вмял в пепельницу окурочек; из его глаз исчезло обычное выражение мягкости, и он сказал суровым голосом:

— Воля нужна человеку, Эмма. Воля при ясности цели. Несгибаемость нужна. От гнили надо себя очищать. Человек ни при каких условиях не должен вступать в сделку со своей совестью. И если он будет непреклонен к себе, его никогда не сделают своей игрушкой ни люди, ни обстоятельства.

— А если обстоятельства сильнее нас? — испытующе спросила Эмма.

— Этого не бывает,— ответил Гайдауэр.— В тридцать треть-

ем году мой покойный товарищ был подстрелен гестаповцами в Вейсензее. С пулей в спине он бросился не домой, а на квартиры друзей предупредить, чтобы они не являлись на выслеженное место. Он обжал двоих и свалился у порога третьего. Или вы думаете, он не испытывал боли? Он пре-воз-могал ее! А голодная забастовка, которую проводили в моабитской тюрьме восемнадцать коммунистов еще при Веймарской республике! Четырнадцать дней мы не брали ничего в рот. А голод,— добавил Гайдауэр тихо,— тоже страшная мука... Но если боль искажает лицо, мы не должны давать ей искажать душу.

Сознавая справедливость слов Гайдауэра и дав себе слово быть всегда сильной, Эмма все-таки тяжело переживала трагическую смерть Вильвицкого. С тем большим негодованием отнеслась она к появлению в их доме Гольца, который, услышав о болезни букиниста, приехал его проведать. Если раньше этот человек был ей чужд и неприятен, то теперь она его ненавидела.

Ее предупредили, чтоб при встречах с Гольцем она ничем не выдавала того, что знает о нем, но искусственная непринужденность в обращении с этим человеком требовала усилий и претила ее прямой натуре.

В письме Вильвицкого не все было для следователей новостью. Уже заявление коменданта свидетельствовало об их осведомленности. Настойчивый розыск установил, что из жителей Целлендорфской улицы, носивших имя Гюнтера, он один совершал поездки на запад, которые были тогда не частыми. Показания нацистского подрывника Кретчмара, арестованного при расклейке призывавших к войне листовок, раскрыли место сбора поджигателей войны. Но Кретчмар и арестованный вслед за ним Янзен, признавшись в увозе Вильвицкого, назвали лишь тех пятерых участников собрания, о которых известно было из телеграмм. Увоз Вильвицкого в американский каземат они написали только Холдриху, успевшему уехать в Мюнхен. Упоминание о Гольце в письме самоубийцы открывало поэтому для следствия новые данные. Нужно было разоблачить и обезвредить всю организацию подрывников, готовившую людям неисчислимы бедствия.

То ли Гольц подозревал, что находится под наблюдением, то ли просто опасался быть выданным пойманными участниками банды, но только Эмме показалось, что он утратил свою самоуверенность и бодро-шутливый тон. Он был малоразговорчив и совсем не смеялся.

— Как же ваша газета несла все время такую околесицу о Вильвицком? — спросил его Отто.

— Нас неправильно информировали репортеры,— неохотно ответил Гольц.— Я лично вообще не интересовался этим делом. Мало ли в Берлине криминальных историй и таинственных исчезновений! Вы же знаете, что я политический обозреватель и к освещению вопросов городской жизни не причастен.

Он сказал это спокойно, словно ожидал вопроса и был подготовлен к ответу. И лицо его действительно не выражало ничего, кроме отсутствия любопытства к чужим делам.

Как хотелось Эмме ударить этого убийцу по лицу. Перед ней был один из самых отвратительных людей на земле — провокатор войны! Лицемерный, кровожадный, отравляющий своим существованием воздух.

...Доклад Эммы о задачах молодых немцев в борьбе за мир слушали с интересом и хвалили. Теперь ей предстояло готовиться к новому, под названием «Должно ли это произойти еще раз?». Нужно было рассказать о последствиях гитлеровской войны и о предотвращении новой. Используя пребывание дома для подготовки к докладу, Эмма составила для слушателей убедительные таблицы. На первой из них, написанной тушью, значилось:

100 000 000 ЖЕРТВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В ней потеряли жизнь	В ней потеряли кров и здоровье
14,45 миллиона в боях	29,65 миллиона искалеченных
16,50 миллиона в концлагерях	36,24 миллиона оставшихся без
2,86 миллиона от бомбардировок	крова
<hr/>	<hr/>
33,87 миллиона человек	65,89 миллиона человек

Вторая таблица была составлена Эммой еще нагляднее, но изготовление ее надо было поручить хорошему рисовальщику. Цифры же для нее она подобрала выразительные:

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА СТОИЛА 2310 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

на эту сумму могли быть построены
500 миллионов односемейных коттеджей —
жилье для всего человечества

РАСХОДЫ ОДИНАКОВЫ

Для разрушения
На одну пушку
Один бомбовоз
Танковый отряд
Броненосец

Для созидания
На одну школу
Большую больницу
Рабочий поселок
Завод

Вот что теряет человечество от империализма и его войн! Боже, как хорошо жили бы все на свете, не будь капитализма!

Он уничтожает города ради уничтожения как такового. Гитлеровцы оставляли после себя в России «зоны пустыни», амери-

канцы намеренно истребляли в Германии все крупные людские поселения.

В сорок шестом Эмма ездила на похороны тетки в Дрезден и видела развалины этого красивейшего из городов страны, бесцельно стертого американцами с лица земли перед самым концом войны. Недавно к бургомистру зашел его товарищ из Хальберштадта и рассказал, как в апреле сорок пятого, за день до вступления в городок американских войск, налетели восемь волн их бомбардировщиков, разнесли в прах десять тысяч квартир, погребли под развалинами тысячи человек, хотя в городке не было ни одного гитлеровского солдата и бургомистр готовился вывесить белый флаг. Американское командование знало, что городок отойдет в зону советской оккупации... Таких страшных примеров Эмма собрала для доклада десятки.

Разрушая, капитализм бессилен и не хочет воссоздавать. Где находятся бывшие жильцы двухсот тридцати тысяч разбомбленных гамбургских квартир? В подвалах и землянках. Где живут сто десять тысяч оставшихся без крова семей кельнцев? Тоже в земле, как кроты. Где большинство нюрнбержцев? И они в землянках! Еще ни одной доски не прибито здесь гвоздями к другой, ни один кирпич не уложен в пробитые стены, ни проблеска надежды не вселено в людские сердца. Нет, хозяева гольцев хотят доконать оставшееся!

И эти существа ходят по улицам, управляют машинами, едят, пьют, пишут, печатаются, пользуясь тем, что имеют человеческий облик и платье, скрывающие их принадлежность к чудовищам!

Дяди иммануэли, которые занимаются политикой в книжных лавках, и пепперы, слушающие о ней в пивных, никогда не доискиваются до виновников войн, считая, что «виноваты все» или виновата людская несговорчивость.

Но вот он сидит сейчас, трубадур войны, в спальне отца, говорит как ни в чем не бывало о пустяках и считает себя, вероятно, не дьяволом, а политическим деятелем. Он сообщает о желании уехать в Англию на полгода-годик постоянным корреспондентом газеты, толкует с отцом о медикаментах, поддерживающих работу сердца. Он — не рок, не производное чьей-то несговорчивости, он — механик войны, слуга империализма, его кровавый пес.

И сколько их еще у капитализма на псарне! Разве негодяи из прессы, разыгравшей вокруг дела Вильвицкого трагический фарс, не те же поджигатели бойни? Пусть не все они тайно вербуют бывших офицеров, но все явно вербуют будущих солдат. Среди бела дня! Изо дня в день!

И никто не сажает их в клетки, в каких сидят в зоопарке дикие звери! Им разрешают быть среди людей, смеяться, получать пайки, любить женщин! Это дико и страшно!

Было время, когда убивать своих рабов вовсе не считалось

преступлением. Еще на уроках древней истории у девочки Эммы не укладывалось это в голове. Позже, изучая средневековье, она удивлялась, как заимодавец мог требовать в удовлетворение долга отрезанную руку ответчика. Это считается сегодня дикостью. Почему же не понимают многие, что в нынешнее время нельзя оставлять безнаказанными призывы к хищным войнам, — еще более диким, еще более страшным?

Расклеить листовку, призывающую к войне, — несравнимо более тяжкое преступление, чем выдать фальшивый чек или поджечь собственный дом для получения страховой премии. Жертвы Джека-потрошителя, Синей Бороды или другого профессионального убийцы ничто сравнительно с количеством жертв, пожираемых боем или воздушным налетом. Как же безумен капиталистический мир, в котором пропагандистов войны не сажают за решетки, не изгоняют из городов, не свозят на дальние острова, как это делают с прокаженными!

Пересиливая себя, Эмма вставляет фразы, чтобы поддерживать разговор с Гольцем.

— Почему вы решили уехать в Англию? — спрашивает она.

— Надоел Берлин. Хочу переменить обстановку.

Он вглядывается в Эмму.

— Вы очень похудели. Должно быть, утомляет работа в магистрате?

— Нет, благодарю. Просто, вероятно, не выпалась.

— Бываете вы где-нибудь? В «Скала» новая программа. Не смотрели?

— Нет.

— Может быть, привезти вам билеты?

— К сожалению, мне нельзя оставлять папу одного.

— А Отто?

— Папа предпочитает, чтобы возле него находилась я.

— Нам повысили в редакции гонорарные расценки, — ни с того ни с сего говорит Гольц. — Сейчас уже можно очень прилично жить.

— Это приятно.

— Если я уеду в Англию, мне установят двойной оклад — в шиллингах и в марках.

— Вас можно поздравить.

Реплики Эммы односложны.

— У вас нет еще пролежней? — поворачивается Гольц к буккинисту.

Эмма ссылается на хозяйственные дела и выходит из комнаты. Она возится на кухне, ждет ухода Гольца. Но он продолжает оставаться у отца. Тогда она надевает шляпку и входит в спальню.

— К сожалению, я должна идти в очередь за продуктами. Вероятно, уже не застану вас и вынуждена проститься.

Гольц вскакивает.

— Может быть, подвезти вас?

— Что вы, это же за углом!

Возвратившись, она не застает Гольца.

Отцу все эти дни становилось то лучше, то хуже. Иногда он подолгу всматривался в книги, но Эмма с ужасом заметила, что он застывает над одними и теми же страницами. Она брала тогда книги из его рук, взбивала подушки, и он, словно ждал этого, закрывал глаза. Очевидно, ему становилось утомительно следить за ходом чужих мыслей.

Она повесила на дверях лавки объявление, приглашавшее клиентов приходить для обмена взятых книг с четырех до шести часов дня, но торговли не производила. Она не знала цен, а главное, не хотела собственноручно продавать книги, казавшиеся ей в большинстве ненужными и вредными.

Один упорный клиент, увидя закрытые двери лавки, вошел однажды через двор в квартиру и предложил выгодную покупку, но Эмма от нее отказалась. Ему срочно нужны были деньги, и он продавал, прося только пятьдесят марок, экземпляр первого издания вышедшей в Лейпциге в 1813 году книги знаменитого некогда Аридта.

Это была библиографическая редкость, книга могла быть перепродана любителю за полтораста марок, но Эмма со спокойной душой пренебрегла этой выгодой.

Молодым абонентам, приходившим брать книжки для чтения, Эмма стремилась подбирать хорошие, бодрые романы, но их было досадно мало и в каждом она видела какое-нибудь «но». Из попадавших в лавку новинок тоже нельзя было выбрать ничего, казавшегося Эмме полезным. За два послевоенных года немецкие романисты написали немало мрачных книг о руинах, делясь с читателями своей скорбью. В этих книгах царила растерянность, их авторам было холодно от неуютности на родине, и они считали жизнь конченной, не видя зарождения новой. Многоготовчия в этих романах численно превышали все другие знаки препинания, и после прочтения таких книг становилось не по себе.

В лавке были и сочинения новых писателей, но они рассказывали только о прошлом, о войне, концлагерях и эпизодах подпольной борьбы. Эмма усиленно старалась давать молодежи эти книжки, но многие их брали неохотно, потому что абоненты «устали», как они выражались, от ужасов и теперь хотели читать более веселые книги. Но они еще не появились на книжном рынке.

Тогда у Эммы блеснула замечательная мысль: она побежала в управление бургомистра, позвонила оттуда по телефону в Лейпциг и договорилась с издательством, выпускавшим на немецком языке русских писателей, о присылке в лавку их книг. Этот заказ поглощал почти все наличные деньги в кассе лавки. Но Эмма от своей предприимчивости повеселела.

В тот день, когда принесли извещение о прибытии посылок, с отцом произошло вдруг что-то страшное и небывалое. Сначала он почувствовал во рту вкус крови, быстро улетучившейся от вишневого сока с сельтерской. Минут через пятнадцать он сказал, что ему не хватает воздуха, и лицо его стало покрываться холодным потом. Эмма быстро отвернула ему краник кислородной подушки, потом побежала кипятить воду для грелки, чтобы приложить ее к резко похолодевшим ногам, и кинулась к фрау Пресс, прося ее привести Штедта.

Но врача не оказалось дома, он пришел только к вечеру, а к тому времени непонятные явления прекратились. Отец молча лежал совсем слабый, невероятно худой, но дышал ровно. Когда Штедт приблизился к кровати, Фельдмайер вдруг беспокойно поднялся на подушках и впился заблестевшими глазами в лицо врача, словно ища в нем скрываемую доктором правду.

Штедт велел пригласить на ночь сестру-сиделку, и вернувшийся из лаборатории Отто долго ездил по адресам, пока разыскал старушку, которая потребовала за суточное дежурство сто марок. Но сиделка оказалась необходимой, так как ночью отец то снова покрывался холодным потом и она впрыскивала ему камфару, то начинал бредить, чего с ним никогда раньше не было. Он называл неизвестные имена, просил покойную мать не мешать ему работать, обещал клиенту достать собрание сочинений Уланда, утверждал, что Эмме уже исполнилось пять лет и ей нужно купить велосипедик, сэкономив для этого на чем-нибудь другом.

Наутро он был так слаб, что с трудом ответил на вопрос о его самочувствии.

Пришел доктор Штедт. Эмма увела его в свою комнату и, неожиданно для себя заплакав, спросила, не будет ли он в обиде, если она вызовет к отцу какого-нибудь крупного профессора.

— Что вы, что вы, фрейлейн, это же естественно, — покраснел старый врач и взялся сам привезти известного терапевта. — Но только, фрейлейн, мы сделаем это для собственной совести, потому что этот человек, называемый магом, не умеет колдовать в подобных случаях. Ведь дело уже не в почках...

Когда именитый профессор-сердечник прибыл, Фельдмайер отвечал на его вопросы сначала тихо, почти неслышно, а потом уже только легким покачиванием головы. Профессор с холодной внимательностью выслушал работу сердца больного и по выходе из его спальни с безучастной вежливостью объявил Эмме, что катастрофа может произойти в любую минуту.

— Не исключено, — равнодушно добавил он, — что ваш отец еще и поднимется, однако такая возможность — только надежда, и надо подготовиться к худшему.

Это заключение резануло не только слух, но и сердце. Отец перестал быть больным, он превратился в умирающего. У Эммы

самой не хватило дыхания, и она опустилась перед стоявшим профессором на стул.

Профессор пересчитал приготовленные для него двести марок, спросил, каким путем лучше выбраться отсюда назад в Шарлоттенбург, и уехал, оставив на столе визитную карточку со своим домашним адресом. Аوصь в этом доме снова будет кто-нибудь умирать и родные опять захотят услышать его подтверждение...

Ночь Эмма провела у постели отца вместе с дремавшей старушкой сиделкой. Он уже не бредил, и дыхание было то учащенным, то почти неслышным.

Проснулся он на рассвете, даже не сделал попыток заговорить и знаком попросил у Эммы вишневой воды. Когда она подала ему в чашке бульон, он отрицательно помотал головой. Отто, не пошедший в лабораторию, растерявшийся, как мальчик, от переданных ему Эммой слов профессора, предложил отцу леденец, но тот закрыл в ответ глаза. Потом отец знаками предложил Эмме сесть к нему на кровать и на ее руку положил свою. Она долго сидела, и отец то поглаживал ее руку слабым движением, то неподвижно держал на ней свою руку.

Вдруг он встрепенулся, взволнованно огляделся вокруг, откинул край одеяла и, словно испугавшись постели, в которой находился, сделал плечами, головой и руками движение в сторону кресла. Отто не понял этого движения и бросился неумело поправлять подушки. Отец с ужасом посмотрел на них, еще решительнее подался к краю постели и спустил с нее худые, жилистые ноги. Выбрасывая подбородок в сторону кресла и показывая, что хочет сесть, он нетерпеливо рвался с постели.

Эмму охватил ужас. Она поняла, что отец испугался кровати... В нем заговорил страх смерти.

Его усадили в кресло. Блеск в его глазах исчез, и он постепенно успокоился. Глаза его закрылись. Может быть, он заснул.

Эмма вышла из комнаты и начала усиленно начищать в кухне кастрюли. Ей нужно было что-нибудь делать, двигаться... Но уже через несколько минут за ней прибежала сиделка: отец делает непонятные движения руками.

Эмма бросилась к нему и поняла: он водил указательным пальцем, стараясь что-то написать рукой в воздухе. Напрягая зрение и все свои душевные силы, Эмма хотела во что бы то ни стало прочесть эти буквы, но не разобрала их. Мысль ее работала в этот момент необыкновенно остро и подсказала ей улыбку, которая скрыла ее отчаяние и уверила умирающего, что он понят.

Отец медленно и удовлетворенно закрыл глаза.

Раздался звонок. Окинув Эмму вопрошающим взглядом, дядя Иммануэль трясущимися руками повесил в передней свое пальто и прошел в столовую. Здесь, по-ребячьи всхлипывая, си-

дел Отто. Сиделка, выйдя из спальни, полушепотом спросила Эмму, делать ли отцу очередной укол. Ей никто не ответил.

Дверь спальни стояла открытой, но дядя Иммануэль боялся войти в нее. Он вынул табакерку, поднес к обеим ноздрям щепотку табаку, тихо высморкался, отвернулся от плачущего Отто и стал сосредоточенно поправлять сползшую со стола скатерть. Потом, не в силах совладать с внутренним волнением, он обнял Эмму и поцеловал ее в глаза. За дверью умирал его друг, ближайший родственник, долголетний собеседник, рядом с которым прожита была жизнь.

Вдвоем с Эммой он вошел в спальню, не сразу решившись поднять глаза на кресло. Отец был неподвижен, и по лицу его катилась крупная слеза. Сил для борьбы со смертью у него уже не было.

У Эммы кровь хлынула к сердцу. Ее переполнила безмерная жалость к отцу, и она бросилась к нему, уронив голову ему на колени. Тогда навзрыд заплакал дядя Иммануэль. У отца раскрылись глаза, но когда дядя Иммануэль тоже кинулся к нему, то понял, что глаза эти ничего не видели.

Потом отец тяжело, хрипло задышал. Эмма быстро и с силой прижалась головой к его груди, стараясь передать ему всю силу своей любви и жалости, и замерла, пока не почувствовала вдруг сердцем, что дыхание отца прекратилось и от него исходит внутренний холод.

— Синеют пальцы, — прошептала сиделка и, подойдя, закрыла отцу глаза.

Эмма в ужасе оторвалась от кресла и увидела, что у отца медленно сползает набок голова.

Вцепившись руками в спинку кровати, она, словно зачарованная, не могла отвести глаз от ставшего вдруг чужим и страшным лица отца. Ни одно движение по нему не пробежало, оно медленно синело.

Отец перестал жить.

Букинист Фельдмайер, самый ученый человек улицы, «последний Шопенгауэр», автор ненаписанной истории человеческих заблуждений, больше не существовал.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Эти дни, с чужими людьми и толчеей в доме, с катафалком, венками, завешенным зеркалом, черными открытками и неприютностью, прошли как в тумане. После них остались счета с траурной каймой, ненужные пузырьки лекарств, вмятина в кресле, на котором листал вечерами книги отец, холод, шедший в комнаты из темной лавки, пустота в квартире и в душе.

— Все там будем, — говорила, глядя на молчавшую Эмму, фрау Пеппер.

— Может быть, смерть ему была легче жизни,— робко промолвил Шнитке, имея, вероятно, в виду и безрадостность собственного существования.

Все эти слова, всхлипывания, деловая суетня вокруг мертвого тела проходили мимо сознания Эммы. Она что-то делала, отвечала на вопросы, двигалась, целовала нечто холодное и синее, бывшее ее отцом, но воли, цели и мыслей в этих действиях и словах не было, как не было у Эммы и слез.

Зачем-то появился и чем-то распоряжался Гольц. Он, словно жених, пытался держать Эмму под руку, когда гроб опускали в могилу, и она не вырвала свою руку, он не был ей ненавистен, а только безразличен и чужд, подобно всему вокруг. Потом Гольц встряхивал за плечи Отто, целовал его в щеку, заказывал для могилы памятник, привез и поставил в столовой большую электрическую печь «Солнце», разлившую тепло, держался будущим заботливым членом семьи, говорил что-то Эмме об уютной, спокойной квартирке в Лондоне, и она не замечала этого, не понимала, не возражала. Она жила с выключенным сознанием.

Оцепенение проходило медленно. Но это не было душевным выздоровлением. Она стала отдавать себе отчет в окружающем, люди постепенно перестали быть для нее теньями, но на место прострации пришла шемящая и неотвязная боль.

Все вещи отца, все воспоминания о нем точили ей душу. Его протертая суконная пижама, стоптанные туфли, графин с вишневым соком, который она подливала ему в сельтерскую, по-прежнему мирно тикавшие на его ночном столике старенькие часы с месячным заводом, ключи от сейфа лавки, хранившего ценнейшие из старых книг, тетрадка записей расходов — все вызывало в ней страдание.

Она увидела перенесенную отцом из лавки в спальню книгу Шопенгауэра — «Мир, как воля и представление». Это была самая важная из отцовских ценностей, которую он многие годы тщательно берег. Собственной рукой философа на ней написаны были слова Магомета: «Если б вы знали то, что я знаю, то мало смеялись бы и много плакали».

Мать рассказывала Эмме, что в тысяча девятьсот тридцатом году, когда безработица разъедала Германию, книг никто не покупал и семья голодала, какой-то богатый любитель давал отцу за эту книгу тысячу золотых марок. Жена умоляла мужа отказаться от его ненужной реликвии ради мяса и масла, которых она вдоволь накупила бы на эти деньги, но букинист остался непреклонен и после этого заказал для книги обитый коленкором фанерный футляр.

Услышав это от матери, Эмма сочла тогда поступок отца эгоизмом упрямого книжника, и еще месяц назад она смеялась бы над словами Магомета; сегодня отказ отца от денег ради реликвии не казался ей смешным.

Она упрекала себя в том, что мало заботилась об отце, не была с ним нежна, написала ему резкое письмо, не предвидя боли, причиняемой ему напоминаниями о пустоте, в которую он попал и от которой сам так страдал. Это письмо, перечитанное, вероятно, много раз, она нашла в его ночном столике и предстала себе полные грусти глаза склонившегося над ним отца.

А как отец любил ее, Эмму, бывшую такой неблагодарной дочерью! На каждом шагу встречала она теперь знаки скрытой отцовской нежности, и они причиняли ей мучения. В нижнем ящике его стола она обнаружила сверточек с шерстяной материей, приготовленной, конечно, отцом ко дню ее рождения. В тетрадке расходов значилось: «На подарок Эммхен — 300». За два месяца до этого дня отец помнил о нем, взяв большую для него сумму из кассы, просил кого-то достать шерсть... И еще одна запись расходов вызвала у Эммы спазмы в горле: «На серебрение ложек для Эммхен — 60». Она вспомнила, что подюжины почерневших ложек, часть материнского приданого, где-то лежали уже три десятилетия и, значит, отец отдавал их заново серебрить...

Эмме казалось в эти часы, что не пришлось бы ей переживать раскаяния, вноси она в дом любовь и мир.

Лишь позже, когда жизнь взяла свое, когда восстановилось душевное здоровье, Эмма поняла ошибочность этих представлений. То были не мысли, а большие чувства. Они порождаются ударом, который особенно больно поражает душевный мир мало закаленного человека. Он переоценивает значение навеянных несчастьем чувств и смотрит на вещи другими глазами. И только когда эту слабость человек преодолевает, — в чем помогают ему труд и люди, — начинает снова понимать, что любовь и мир могут прийти только в итоге борьбы и что жизнь всегда сильнее смерти.

Возвращение этого здорового состояния ускорили два человека — Бигль и Гайдауэр. Бигль пришел к Эмме на следующий же день после смерти букиниста, передал ей сочувственное письмо молодежного комитета и готов был оказать ей любую посильную помощь. Но когда Эмма невидящими глазами прочитала его тщательно обдуманное послание, Бигль понял, что помочь восстановлению ее душевных сил он сможет лишь позже.

Через некоторое время он явился к Эмме снова.

— Как твой доклад против войны?

— О чем? Ах, да, о войне... Я пока отложила его, — ответила Эмма.

Бигль исчез, чтобы опять появиться вечером в сопровождении девочки-подростка.

Это было очень миловидное и очень обиженное судьбой создание. Девочка была, как выражались в молодежном комитете, «безбокой». Отец ее, в самом начале войны лишившийся на африканском фронте легкого, чудом выживший, а потом погибший

в конце войны бесславно бeрлинским фольксштурмовцем, был некогда переплетчиком, и старик Фельдмайер имел с ним дела. В дневной бомбежке Берлина июньским днем сорок четвертого, когда вырван был большой кусок длиннейшей Франкфуртер Аллее, переплетчик потерял жену, а его залитую кровью маленькую дочку увезла санитарная машина. Хорошенькая Аннелора выжила, но лишилась двух ребер, стала уродцем и вскоре осталась на свете совершенно одна. Она никуда не хотела уходить из той квартиры на Эннерштрассе, где жила короткое время с отцом после возвращения из больницы, занимая крохотную комнатку при кухне.

Позже в эту квартиру вселился молодежный комитет, и в деятельном обществе ласково относившихся к ней молодых людей девочка почувствовала себя среди своих. На заботы она отвечала заботами, в которые вкладывала всю свою маленькую душу. Приходя из школы, она усиленно наводила в комнатах комитета чистоту, переставляла книги на полках «по росту» и тихо плакала после замечаний о том, что такой порядок не нужен. Она поила заседавших комитетчиков кофе, слушала с широко раскрытыми глазами их речи, и враг, о котором они говорили, хотя и оставался для нее неизвестным, был и ее кровным врагом. Ее баловали, как могли, носили ей сахар, леденцы, платица — кто что имел, а она сберегала дареные леденцы, чтобы затем подавать их на заседаниях к кофе, и с ней ничего не могли поделать.

Когда кто-нибудь из комитетчиков заводил разговор о том, что Аннелору надо бы поместить в сиротский дом, она начинала неистово рыдать, и тогда комитетчики, утешая ее, отказывались от своего намерения.

Вот этого ласкового ребенка-калеку привел Бигль к Эмме, чтобы вывести девушку из ее тяжелого состояния. И он в своем расчете не ошибся. Лаская девочку и стараясь ее развеселить, Эмма сама не заметила, как совершила два поступка: осветила всеми лампами темную лавку, чтобы найти ребенку книжки с картинками, а потом налила девчурке вишневого сока из графина, который еще недавно был неприкосновенным...

Тут Бигль снова напомнил о докладе.

— Эту тему никогда нельзя откладывать. Чем больше наших усилий, тем меньше погублено будет Аннелор. У тебя что-нибудь уже подготовлено?

Тогда Эмма принесла таблицы...

Они стали рассуждать о том, как графически изобразить страдания, причиняемые людям войнами. Вторую таблицу они решили поручить разрисовать Керлю — талантливому парню, под рукой которого она превратится в настоящий обвинительный акт против поджигателей войны.

В это время пришла фрейлейн Штарк — та сама девушка-инспектор, с которой Эмма собиралась на русскую оперу. Она ве-

ла переданные ей Эммой неотложные дела и явилась посетить подругу в несчастье, но, услышав разговор о таблицах, высказала предложение, которое Эмме очень понравилось. Инспекторы здравоохранения сделали большую выставку о послевоенных заболеваниях и путях борьбы с ними. Эту выставку они сейчас возят по фабрикам, а потом поместят в вестибюле своего учреждения. Почему бы не устроить такую же антивоенную выставку?

Бигль сперва задумался: выдержат ли такое предприятие средства комитета? Ведь если делать выставку, так делать по-настоящему, а это стоит дорого. Эмма напомнила, что Гайдауэр — член городского комитета партии и в таком деле, несомненно, поможет.

Потом они пили кофе с повидлом, которое принесла утром по Эмминым карточкам фрау Пресс, и Эмма не опечалилась тем, что Отто отказался выйти к ее друзьям в столовую и пил свой кофе один у себя в комнате. Она ухаживала за Аннелорой, густо мазала робкой девочке повидло на хлеб и даже засмеялась, — впервые в эти тяжелые дни, — когда ребенок, слизнув с хлеба сладкое фруктовое месиво, сосал его во рту, не решаясь проглотить, и зажмурился от наслаждения.

Утром принесли новое извещение о книгах, прибывших наложенным платежом. А вслед за почтальоном пришел Бигль.

— Что ты думаешь делать с лавкой?

Эмма об этом еще не думала.

— Ты-то проживешь на зарплату, а вот как твой брат?

— Он не любит литературы...

— А есть он любит?

— Почему ты так резок?

— Не можешь же ты содержать взрослого здорового человека. И это было бы вредно для него.

— Может быть, ты прав. Но я еще ничего не решила. Вот сейчас пришло извещение на книги... Когда я их заказала, в кассе были деньги, а потом я их, кажется, все истратила на похороны...

— Разве вы получаете книги прямо от издательства?

— Раньше получали только брошюры. Это я в первый раз заказала. Книги советских писателей.

— Вот как! Это придумано здорово. Но что же теперь делать? Надо искать кредит. Я сегодня попытаюсь узнать.

— А почему это тебя так заботит?

— Потому что... товарищи должны заботиться друг о друге.

— Но все-таки ты ничего не узнавай. Я никогда не пользовалась кредитом, не знаю, как это делают, и не хочу этого. Сегодня придет дядя Иммануэль и, конечно, будет говорить о всяких таких вещах. Тысяча марок у него найдется.

Звонок. Пришла фрейлейн Штарк. Она направляется проверить работу мельниц, размалывающих битые кирпичи для полу-

чения строительного материала. Не хочет ли Эмма с нею пройтись?

— Да, пожалуй. Я давно не была на воздухе.

Они идут втроем.

Мельница на Бебенштрассе работает безобразно. До сих пор еще не переработана огромная гряда битого кирпича.

— Вы же мне твердо обещали! — возмущается Эмма.

Работники объясняют, что мельница простояла девять дней из-за поломки и теперь тоже действует с перебоями.

— Это не она, а вы действуете с перебоями, — волнуется Эмма. — Где у вас показатели выработки за вчерашний день? Где механик? Куда он исчез в рабочее время? Может быть, отправился на черный рынок покупать и перепродавать? И ему безразлично, что тысячи детей живут в конурах! Знаете ли вы, что на Бехерштрассе уже в полтора раза превышено месячное задание?

Потом она говорит спокойнее:

— Давайте, товарищи, соберемся завтра вечером и обсудим, что мешает хорошей работе. Позовем и людей с Бехерштрассе — они помогут нам советами.

Фрейлейн Штарк торопится назад в управление. Эмма не знает, что совместное посещение Бебенштрассе не было случайным, что Гайдауэр предложил фрейлейн Штарк «вырвать подругу из тоски».

Вечером пришел дядя Иммануэль.

Смерть букиниста подействовала на него совершенно угнетающе и в короткое время совсем сгорбила. Он потерял не только мужа сестры, хозяина дома, в котором скрашивалось его одиночество, но и друга. Оба читали книги по-своему — один видел только безысходное, другой хотел из них вычитывать несуществующие способы примирять непримиримое. Но оба глотали книги, жили ими. Теперь для дяди Иммануэля дом Фельдмайеров, в котором книжная лавка была темна, опустел. Но пуст для него оказался и свет в целом.

Раньше сразу после Нового года в теплицах Горта сеялись семена огурцов. После смерти Фельдмайера он невидящими глазами посмотрел на своего старого помощника Карла, пришедшего за ключом от кладовой. И огурцы сажали без участия Горта. Он не беспокоился в этом году о том, чтобы их не продул сквозняк, не проверял температуру воды для поливки.

И вообще все рабочие Горта поразились безразличию, с каким старик отнесся к посадке. Они просеивали семена через сита, протравливали сулемой, а хозяин не выходил из квартиры, не интересовался ходом работ.

На Карла произвел тяжелое впечатление разговор с хозяином возле первого парника.

— Надо бы летом землю сменить, — заметил Карл, еще в

юности собиравший вместе с хозяином семена в окрестностях Гааги.— Привезти из деревни дерновой.

— Съезди,— равнодушно ответил Горт.

— Селитры только на две подкормки осталось, я был на складе, там есть селитра. Ордер просят, вы бы съездили за ним.

— Как-нибудь...— ответил хозяин, смотря в сторону и думая о чем-то другом.

У Карла сжалось от этого разговора сердце. Всю жизнь хозяин сам тщательно составлял растворы для подкормок, пробовал разные составы, развешивал селитру, соли, фосфат, вырабатывал наилучшие рецепты...

Тогда Карл сказал самое страшное:

— У Фадке огурцы в этом году хорошо идут. Думает роттердамские в конце марта начать продавать.

Фадке был соседом и старым конкурентом. Но до сих пор в Пренцлауэр Берге огурцы Горта были самыми ранними...

Состязание с Фадке — хитрым овощеводом, прошедшим полжизни в Голландии, всегда было важным спортом для Горта.

И он было оживился:

— В конце марта?

На неделю он снова обрел прежний интерес ко всему. Следил за ростом листков, поливал стеллажи водой, подсыпал дерн, разводил мыло с керосином и опрыскивал раствором стебли, сам обмазывал хлорной известью рамы, чтобы клещик не выпил из растений сок.

Потом как-то утром, заглянув в свою газету «Нейе Цейт», он пробормотал при Карле:

— Экономический совет... Экономический совет... Это даже уже не Экономический совет...

Карл почтительно молчал.

— Слышишь, старик,— сказал ему хозяин глухим голосом,— вместо объединения наций... разъединение нашей нации...

Карл не понял. А у хозяина снова стали невидящие глаза, и он не пошел в парники.

К смерти Фельдмайера прибавился новый удар. Горт был обманут. Обманут теми, кто призывал к единству Европы. Вместо этого они дробили Германию. Злоба и пустота легли на сердце одновременно.

Горт с молодости восхищался голландцами, знал их язык и в недавние годы сильно беспокоился из-за того, что гитлеровские солдаты вызывали в этой стране неприязнь к немцам. Он охотно ездил раньше и во Францию, где бывал почти во всех департаментах, знал многих семеноводов и любил цветущие овощные хозяйства этой страны. Во время войны Горт испытывал двойственные чувства — радовался немецким победам, пугаясь в то же время грабежей и жестокости офицеров Штюльпнагеля.

Когда после войны некоторые публицисты и политики заго-

ворили о Соединенных Штатах Европы, Горту показалось, что они выражают его собственную затаенную мысль. Под Европой он мыслил прежде всего французов и голландцев, с которыми всегда находил общий язык. Но огородник с радостью готов был принять в европейскую компанию и бельгийцев, создавших прекрасные сорта капусты и великолепные города. Он не желал также дурного датчанам, имевшим, кстати, совсем неплохие сорта помидоров. Что касается англичан... ну, конечно, они всегда стремились подрывать немецкое мореходство и другие немецкие дела, но если для Германии падут таможенные барьеры, не будет никаких причин отказывать в европейском обществе и высокоцивилизованной Британии. Господи, как хорошо станет, когда все эти народы будут жить в мире под управлением единого правительства, когда отпадут визы, распри, интриги и нервнующая людей дипломатическая суета.

Так думал и верил Горт, не понимая тех, кто возражал против «европейского единства». Как можно было не соглашаться с такой идеей! С такой глубоко христианской, гуманной, ясной идеей! В ней были, если хотите, даже отголоски трактата о вечном мире Канта. И недаром эта идея сплотила политиков разных государств и партий, недаром заседают вместе вождь ретроградов Черчилль и Спаак — социалистический главарь. Это единство умиляло Горту.

Фадке — владелец крупного хозяйства — охотно соглашался с Гортом в том, что единое правительво было бы полезным и хорошим делом. Он не был энтузиастом, как сам Горт, но находил, что мысль ценна и для Германии особенно важна. У большинства же огородников идеи Горту не вызывали интереса. Он несколько раз пытался рассказывать об «единой Европе» на собраниях, но люди, которые выступали после него, говорили только о нехватке угля для теплиц, об удобрениях, о том, что надо бы помогать друг другу транспортом, выступлений же Горту не одобряли и не порицали, словно их не было.

А коммунисты вели против идей Горту резкую пропаганду. Газета «Нейс Дейтчланд» утверждала, что «единое государство» замыслено Уолл-стритом и нужно ему для того, чтобы настрить Западную Европу против Восточной, развязать войну с социалистической Россией. Черчилля газета называла поджигателем войны, Спаака — наймитом и лакеем империализма, а тех скромных немцев, которые, вроде Горту, стремились к умиротворенной Европе, — вольными или невольными жертвами обмана, помогающими Уолл-стриту превращать немцев в пушечное мясо.

Такая прямолинейность была не в характере Горту. Надо, конечно, сознаться, что коммунистической России места в «объединенной Европе» действительно не отводилось. И Горт считал это естественным. Он никогда не был против восьмичасового рабочего дня и обладал христианской терпимостью к гражданско-

му браку, но политической системы, которая не признает права частной собственности на предприятия, одобрять, конечно, не мог. Такая система была ему просто враждебна. Но, видит бог, Горт совсем не помышлял ни о какой войне против русских и не верил, чтобы «единое государство» создавалось для такой войны.

Что-то было тем не менее в рассуждениях Горта недосказанное. Это со свойственной им прямолинейностью вскрыли коммунисты. Однажды репортер газеты Социалистической единой партии напечатал отчет о собрании огородников, на котором выступал Горт, и очень резко отозвался об его выступлении. Он назвал Иммануэля Горта лицемером. Огородник, возмущенный до глубины души, пошел в редакцию газеты объясняться, и здесь произошел своеобразный разговор.

— Значит, вы потому умалчиваете о России, отключаете Россию от европейских дел, что она далеко? — спросили его.

— Конечно, она далеко.

— А США, на ваш взгляд, расположены к Европе ближе?

Горт растерялся.

— Может быть, дело не в географической, а в социально-политической близости? — спросили его.

— Я имел в виду только европейский дух, дух общности людей с латинской письменностью. Этот дух порожден у народов сходной историей, общими памятниками культуры, восходящими ко временам Греции и Рима...

— Но в таком случае вам следовало сказать, что наиболее далеки этому духу американцы. Так же далеки, как марсиане. Их история никуда не восходит, глуби веков у нее нет, начинается она со вчерашнего дня, древние памятники культуры отсутствуют, а из греков они знают только Цалдариса.

Газета не напечатала опровержения Горта. И сам он, сидя у редактора, не нашел опровержения словам коммуниста. Когда редактор объяснил, что считает лицемерием приписывать «единому государству» мирные цели, ибо оно создается для войны, Горт распроштался. В последующие дни, когда он обдумывал этот разговор, то не мог привести свои мысли и чувства в ясность. Да, конечно, американцы были для Европы чужими, пришельцами, но... создавая европейское государство, они отстаивают европейскую культуру или, скажем, привычный порядок вещей... Нет, нет, это не связано с войной против России, это только мир немцев с французами...

Так ли? Может быть, Горт намеренно что-то недоговаривал себе? Не желал договорить?..

Да, Горт хотел уйти от полной ясности. Слово «лицемер», пущенное репортером, тревожило, но огородник подбадривал себя тем, что никогда не был милитаристом и мало сочувствовал также гитлеровской войне. А единое государство, в которое вошла бы Германия, подняло бы ее прежний престиж самого большого государства Центральной Европы.

Так мыслил еще недавно Горт. А потом в стране стали быстро нарастать события, сначала непонятные, затем все более тревожные. Для руководства хозяйством западных зон образован был отдельный Экономический совет. Горт обеспокоился: почему отрывают от востока страны западных поставщиков; оставляют без стали заводы Берлина, Биттерфельда, Дрездена, вывозят из Рура уголь за пределы страны и не дают его саксонской промышленности? Потом две части страны стали именоваться Бизонией, и это усилило тревогу, потому что не сплывало, а разделяло неотрывные части Германии. Запад страны словно окружили забором... А теперь «Нейе Цейт» пятый день подряд сообщает об усиленных слухах, будто на западе перестанут принимать восточную марку... Что это? Что ж это делается? Во что превратятся марки Горты? Как это у всех на глазах режут на части, словно кочан капусты, страну?..

«Единое европейское государство» потускнело в сознании. На глазах Горты рушилось единое германское государство.

«Ах, Фельдмайер, Фельдмайер! Сколько мудрости, друг мой, было в тебе, не верившем ни в кого и ни во что!..»

Огороднику было тяжело. Страшно тяжело. Стало трудно ходить, трудно вставать с кресла.

Раньше хождение к Фельдмайерам было для него прогулкой. Теперь он приехал трамваем.

Печально смотрел он на своих племянников.

— Ну что ж, дети, надо решать, как вам жить...

Эмма и Отто молчали.

— Ты, мальчик, от книг далек, а кроме того, учишься и не можешь встать за прилавок. Но закрывать лавку,— дядя вздохнул,— я не советую вам. Налаженное дело... И потом... в ней прошла жизнь отца. Да и существовать без нее вам невозможно. У тебя, Отто, будет жена, Эмма тоже обретет спутника и опору жизни... И это пора, дети, пора. Жизнь, она, видите сами, катится под горку незаметно...

Дядя понюхал табак.

— У меня вот теплицы... совсем некому передать. Хоть уничтожь. Вам завещать — без толку. А много вложено труда... Огурцы метровой длины. Таких нет у Фадке... Девять сортов помидоров. Лук такой, что сахар из него делать можно. И все прахом пойдет... Если бы ты, Эмма, согласилась на одно предложение...

— А вы скажите, дядя.

— Я дал бы в «Нейе Цейт» анонс: любящему дело огороднику передал бы свои знания и разделил между тобой и мужем паи.

— Нет, дядя Иммануэль. Я вас очень-очень люблю, но замуж из-за огородов не выйду.

— Ну вот видишь, я это знал... А монастырей теперь нет, да и не завещал бы огорода папистам, если бы и были.

— А вы отдайте, дядя, народу.

— Что?

Горт даже заморгал от удивления глазами.

— А почему нет? Я видела прекрасное цветочное хозяйство, принадлежащее государству, и оно ведется лучше, чем при помещике. Ваши теплицы тоже будут процветать, их даже наверняка расширят.

У дяди Иммануэля выступили на лице красные пятна.

— Не давай мне таких советов,— сказал он, сдерживая волнение.— Я вырастил это своими руками, поняла? Я голландцев перешеголял. Девять собственных сортов брюссельской капусты, спаржа полуметровой длины, огурцы как мед... И ты предлагаешь мне, словно анархисту...

— При чем тут анархизм?

— Я не желаю знать, как это называется.

Доброе лицо дяди Иммануэля сделалось недобрым и чужим.

— Ну, хорошо, дядя, оставим разговор о теплицах. Я хочу вас просить одолжить мне тысячу марок. Я выписала из издательства книги, на почту пришли посылки.

Лицо Горта смягчилось.

— Ты хочешь развернуть дело? Это хорошо. Зачем одолжить? Я тебе их так подарю. У меня наличного капитала немного, я все вкладывал в теплицы, но если им суждено пойти прахом... А тысяча марок! Какой может быть разговор?

— Нет, дядя, это для читателей. Русские книги.

— А...— дядя поджал губы.— Вот чем ты еще занялась...

Он посмотрел на племянницу почти враждебно.

— Деньги я тебе утром пришлю с Магдой,— сказал он холодно и поднялся.— А теперь пройдемте в лавку, посмотрим, что и как.

И вторично со времени смерти отца Эмма зажгла на книжном кладбище все огни.

Они открыли сейф. В нем оказалась облигация старинного займа стоимостью в пятьсот марок — единственный и испарившийся капитал старого бесребреника — и книги, представлявшие, по мнению дяди Иммануэля, значительную ценность. Тут был экземпляр первого издания «Гамбургской драматургии» Лессинга с полустершейся подписью писателя. Тщательно завернут был подаренный в свое время автором отцу сборник рассказов и фельетонов Тухольского — известного некогда публициста, который эмигрировал в Швецию и кончил там жизнь самоубийством. Хранилась и книга стихов неведомого французского автора, замечательная, однако, тем, что была подарена кому-то знаменитым немецким поэтом Фрейлигратом, написавшим на ней несколько строк. Перу другого большого поэта и свободолюбца, Берне, принадлежала фраза из Ювенала: «Тяжело не написать на это сатиру», надписанная им на книге Менцеля. Другое латинское изречение начертано было покинувшим

Германию в гитлеровские дни писателем Томасом Манном на книге, излагавшей биографию Достоевского: «Не бывает гения без примеси безумства».

Всего было двадцать три книги и переплетенные экземпляры старинных газет,— все это букинист покупал и берег три с лишним десятилетия потому, что книги носили следы почитавшихся им «свободных умов».

— Это можно за хорошие деньги продать на аукционах,— сказал дядя Иммануэль.

Но продавать дорогие реликвии отца, которые он собирал и хранил всю жизнь, Эмма считала святотатством. Ей же самой они не нужны, как не нужны они вообще никому на свете... Лучшее им быть у друга и родственника отца.

— Возьмите их, дядя, себе.

На лице Горта появились было радость и удивление. Но они сейчас же исчезли.

— Чтобы сжечь? — недобро усмехнулся он.— Мне их никому будет передать...

Реликвии остались в сейфе.

Они стали смотреть кассовые книги.

Триста девятнадцать абонентов. Они принесли за истекший год по триста двадцать восемь марок и пятьдесят пфеннигов среднемесячного дохода. Это немного, очень немного, но клиенты эти постоянные, многолетние и доход от них устойчивый.

Наличных книг для продажи — на четыре тысячи сто двадцать марок. Среднемесячный доход от торговли за июнь — ноябрь выразился в шестьсот две марки. Вместе с поступлениями от абонентов это девятьсот тридцать. Плата домовладельцу за помещение — сто пятьдесят марок в месяц, налог — сто тридцать четыре. Чистой прибыли — шестьсот сорок шесть марок в месяц.

— Скромно,— говорит дядя Иммануэль,— очень-очень скромно. Если ты, Эмма, не будешь поддерживать этот уровень...

Но Эмма совсем не знает, что именно ей надо поддерживать. Она назначила на завтра собрание на Бебенштрассе. И нужно делать доклады против войны. Все очень неясно.

Уже в первом часу ночи, когда дядя Иммануэль уехал, а Отто, еще более прежнего ушедший в себя, лег спать и Эмма прибирала в лавке, в железную штору тихо постучали.

— Прости, пожалуйста,— заговорила Бигль,— увидел свет и решил ввалиться. Я выход один для тебя надумал.

Эмма невольно тронута была его заботами. Но ответила не то, что хотела:

— Сейчас уже ночь...

— Дело такое, что не терпелось.

Он изложил ей свой план. Скоро в Германии, по примеру России, на заводах и во всех районах городов будут созданы государственные библиотеки и люди станут ими пользоваться

бесплатно. Но пока этого нет, районный молодежный комитет может предложить всем ребятам брать книги для чтения у Эммы Фельдмайер. Лавки Шмидта, Канариуса и Левенштейна тогда лопнут, что будет очень хорошо, так как эти люди — враги социализма — торгуют из-под полы нацистской литературой и дают ребятам только криминальные и сексуальные романы. Лавку же Эммы надо сделать центром распространения социалистических книг. Конечно, Социалистическая единая партия открывает теперь большие книжные магазины, но, во-первых, люди предпочитают платить десять пфеннигов за прочтение книги, чем тратить десять марок на ее покупку, и, во-вторых, в привычной уютной книжной лавочке человек хорошо себя чувствует. И лавка будет маленьким клубом, в котором Эмма станет играть роль пропагандиста. Ну, не прекрасный ли это план?

Да, он, может быть, хорош. Но лавка... опять лавка...

Нет, завтрашнее собрание на Бебенштрассе покажет, что Эмма не рождена для лавки. Ей хочется обследовать, делать доклады, устранять плохое, налаживать, строить, вмешиваться, помогать.

Но чем будет тогда жить Отто? И неужели какой-нибудь алчный лавочник займет место отца, станет скупать, обманывая людей, рукописи и антикварные книги, выдавая, может быть, копии за оригиналы, держать под прилавком «Майн Кампф» и совать молодежи гнуснейшие книги против коммунизма? Нет, это просто невозможно.

Но имеет ли она, Эмма, право продолжать дело отца, жить на доходы от торговли или проката, даже если продавать и распространять она будет только социалистическую литературу? Конечно, некоторые члены Социалистической единой имеют лавки, конторки, станочки, бюро, но... Гайдауэры, которые составляют остов партии, не имеют этого ничего.

Господи, как сложно принять решение! А принять его надо.

Посоветоваться с Гайдауэром или майором Поликарповым? Нет. Нельзя бегать к ним по каждому вопросу, словно нет собственной головы. Эмма уже не маленькая и должна определять свою судьбу сама.

И она ее определяет.

— Борец,— говорит она Биглю,— не должен иметь на ногах груза. В ней, в лавке, нет ничего страшного, но она будет тянуть меня вниз. Заботы о настоящем и подлинном я должна буду сочетать с хлопотами о товаре, абонентах, ценах... Не хочу. Я и без лавки достаточно раздваивалась прежде...

— Ты... уйдешь из нее? — спросил он вдруг с непонятной радостью.

— Да. Уйду. Я подарю свой пай Отто. Пускай женится путем анонса в газетах, как предлагал мне дядя Иммануэль, и возьмет жену, готовую стоять за прилавком. Я поставлю только условия о характере литературы.

— А жить... где тогда будешь?

— Как это где? У себя в комнате. Я занята своим делом и семье брата не буду мешать.

— Конечно, но... может быть... ты бы переехала... ближе к комитету?.. Вместе будем к докладам готовиться, молодежь вербовать, против войны бороться, дома строить... и... вообще.

Глаза Бигля что-то рассматривали на полу, потом быстро, с решимостью отчаяния, поднялись на Эмму и впились в нее. В этом взгляде были одновременно и вопрос и страх перед неизвестностью ответа.

— Я... не знаю,— ответила Эмма, взволнованная этим взглядом, и выпустила из рук штепсель от пылесоса, с шумом упавший на пол...— Я... ничего... не знаю...

Он стоял перед ней в синей блузе Союза свободной немецкой молодежи, высокий, стройный, худой, не видя разбросанных книг, порыжевшего прилавка, не видя растерянности Эммы, которая стала вдруг быстро перебирать пуговицы и без того застегнутого старенького халатика.

И вдруг глаза его изменили свое выражение. Они тянулись к лицу Эммы, ласкали, пели, надвигались...

А ей... некуда было отступить перед этими глазами, потому что иначе она бы упала на прилавок и потому что она не знала, надо ли отступать...

А вечером следующего дня пришел другой жених. Сияя и сдерживая радостное волнение, Гольц приехал сообщить, что согласие из Лондона на его приезд в качестве корреспондента получено.

— Теперь,— торжественно сказал он,— все зависит от тебя. Я же по некоторым причинам заинтересован в быстрейшем отъезде.

Эмма поднялась со стула, распахнула дверь, ведущую из столовой в комнату сидевшего за учебниками Отто, и громко, четко, раздельно дала Гольцу окончательный ответ.

— Вы забыли здесь вашу электрическую печку,— сказала она.

Повернулась, спокойно вышла из комнаты, спокойно затворила за собой дверь.

Через несколько дней Гольц был арестован в восточной части города, и печать западных секторов возобновила по этому поводу кампанию против попраiania прав личности.

Эмма же вела с Отто тяжелый разговор, передавая ему свое решение о лавке. Она советовала брату жениться.

— Ты молчал, когда дядя Иммануэль предлагал мне выйти за икса, от которого требовалось только быть огородником. Ты считал это нормальным, может быть, даже счастьем для меня. И действительно, в наших кругах женятся на теплицах, пекарнях, пивных. Но я соединю свою жизнь только с другом. Тебе же этого не требуется. Тебя устраивает и любовь покупных де-

вухек. Да, да, не красней и не возражай, я это знаю. А если так, то женщина, которая будет еще вести лавку и ухаживать за тобой, должна устроить тебя вдвойне. Во всяком случае, ты хоть не останешься бобылем.

Отто был бледен.

— Не беспокойся обо мне. Поступай, как считаешь нужным. Но... я не хочу, чтобы лавка торговала политической литературой.

— Не хочешь? Но в Германии не будет завтра аполитичной литературы. Или ты, замкнувшись в комнате, не слышал, что запад страны собираются отделить от нас? Или не знаешь, что там все заводы возвращены картелям, а здесь рабочие становятся директорами? Или тебе не известно, что одни силы хотят втянуть нас в войну, а другие сплачиваются против нее? Те немцы, которые кричат сегодня «долой политику», принуждены будут завтра делать политический выбор, и они присоединятся к тем силам, которые борются за сохранение мира. Избегать теперь политики так же невозможно, как бойкотировать воздух и воду.

— Избавь меня, если можешь, от политических лекций,— отвечал Отто.— А пая твоего мне не надо. Мне не требуются от младшей сестры ни подарки, ни политические условия. Кстати, они очень показательны... Американцы запретили ввоз на запад антивоенной литературы, а ты хочешь препятствовать продаже книг, считающих нужным восстановить оружием наше могущество. А чем отличается арест Гольца от ареста Вильвицкого? Справедливостью не пахнет ни то, ни другое. Вот почему мне и противна политика, потому и претит все кругом.

— Ты говоришь несуразные вещи. Тебе претят мои политические условия? Но помнишь ли, что отец, любивший повторять фразу Вольтера: «Я ненавижу твое мнение, но больше ненавижу того, кто запретит тебе его высказать», говорил, что Вольтер не написал бы этой фразы, живи он во времена нацизма. Призывы к войне и истреблению только в сумасшедшем обществе могут именоваться мнением. А что касается гольцев, то грош цена была бы нашей демократии, не умеи она себя защищать. Или ты хочешь, чтоб мы делам гольцев противопоставляли смирение? Но что осталось бы от нас тогда? Что осталось бы от Германии? И если ты заговорил о том, что аресты равно производят обе стороны, то вдумайся в поводы, по которым Снай-си хватает людей, и в причины ареста человека, который совсем не случайно собирался бежать в Англию. Или у тебя не хватает воображения, чтоб представить себе, чем занимался Гольц?

Отто смутился. О делах Гольца он представление имел.

— Ладно, сестренка. Не будем заниматься этими вопросами...

— Но вопросы эти встанут перед тобой, как бы ты ни убежал от них. Пойми, тебе придется сделать выбор в ближайшем же будущем.

— Не будем гадать о будущем. А в настоящем, сестренка, твое решение для меня очень тяжело. Ты единственный родной для меня человек на свете, и я думал... мы будем вместе, а лавка...

Угли его губ опустились, и он отвернулся, чтобы скрыть слезы.

Тогда и Эмма почувствовала в горле легкие спазмы. Она собралась с силами:

— Отто, родной, я же люблю тебя, как и раньше. Но... я боюсь, что когда-нибудь ты... колебанием... роковой ошибкой... сам... сделаешь нашу близость невозможной. Я... предупреждаю тебя, Отто...

Она выбежала из комнаты.

Отто сидел бледный, сжавшийся. Второй раз слышал он предупреждение. Одно сделала сейчас сестра, другое исходило от бывших товарищей.

Это было после бурного университетского собрания по поводу снятия с кафедры профессора Пинца. Маститый физик отказался читать лекции на подготовительном семестре. Семестр создан был еще в сорок шестом, на него набрали людей, посланных профсоюзами и Союзом свободной немецкой молодежи. С ними наскоро проходили гимназическую программу, готовя их ко вступлению в университет. Это были рабочие парни, довольные тем, что станут студентами, веселые, шумные, гордые пребыванием на Унтер-ден-Линден. Они чужды были университетским традициям, громко спорили о политике, сидели ночами над книгами, не имели ни выправки бывших офицеров, ни холодности прежних студентов. Вместо «коллега» эти люди говорили «товарищ», вместо «менза» — «столовка», вместо «аула» — «зал». Они гурьбой ходили в своих синих блузах по коридорам, где чинно вышагивали «основные» студенты — бывшие офицеры и сыновья купцов.

Пинцу категорически отказался приходить в аудиторию новых студентов.

— Воспринимать науку, — сказал он, — могут только люди, которым целые поколения предков культивировали для этого мозг. Рабочему не место там, где сидел Лейбниц.

Это заявление с восторгом принято было частью студентов, враждебно смотревших на «париев», ворвавшихся в стены «их» заведения. Но отдел образования немецкого самоуправления решил иначе. Пинцу прощали, когда он издевательски называл в своих лекциях марксизм предрассудком. Ему прощали портрет кронпринца в домашней гостиной. Теперь, когда стоял выбор между «париями» и Пинцем, «парии» должны были остаться, Пинц должен был уйти.

— Мы не смеем допустить, чтобы ученого преследовали за его взгляды! — с пафосом говорил бывший артиллерист, о котором Отто слышал, что он служил в штабе Роммеля.

— Не допустим! Не допустим! — поддержали оратора с мест.

— Мы не позволим вносить в эти стены политику, — разглагольствовал другой оратор, сын владельца большого комиссионного магазина в американском секторе. — Не для того сменил я меч на реторту...

— Ты не сменил его, — закричали из задних рядов синемлузники, — у тебя его вышибли!

Поднялся шум. Одни стали ругать синемлузников, другие — возмущаться словами студента. И тогда он выпалил фразу, еще более разжегшую страсти.

— Правильно, — сказал он, чуть побледнев, — добровольно я не сложил бы меч. И будь сейчас немецкая армия, я не находился бы здесь.

— Долой! Вон! — закричали десятки голосов, и в поднимающемся топоте потонули неуверенные реплики растерявшихся сторонников оратора.

Когда успокоился шум, на трибуну вышел немолодой студент старшего курса.

— Я был унтер-офицером, — сказал он. — И нас здесь, бывших военных, вероятно, немало. Но мне стыдно за выступавшего сейчас человека, которого я не хочу называть своим товарищем. Только сумасшедший или подлец может сейчас мечтать о войне.

— Я тоже был гитлеровским солдатом, — выступил вслед за ним другой студент. — Но я полагаю, мы должны единодушно осудить человека, который позволил себе здесь с фальшивым пафосом говорить о том, что нам всем теперь ненавистно. Людей, которые осмеливаются призывать нас к войне, надо отсюда гнать.

— Этот человек, — сказал третий студент, — говорил, что не желает терпеть в университете политику. А на деле ему ненавистна только политика новых властей, и он хочет сам внести другую политику — разжигания военных страстей.

— Господа! — начал маленький пожилой человек с бегающими глазками. — Это, конечно, неразумно говорить сейчас о немецкой армии. Но, господа, осуждение прошлого не должно означать одобрения того, что происходит сегодня. Учиться так учиться, и мы должны протестовать против того, что нас увлекают в политику. Разве можно запрещать ученому иметь взгляд на степень восприимчивости индивидуумов к науке? Это же неслыханно, господа. И можно ли нам навязывать взгляды Маркса, как это делает новый профессор истории естественных наук, который, кстати, провел девять лет в заключении и потому вообще отстал от науки и не должен бы преподавать... Я, господа, хочу ознакомить вас с книжкой профессора Ясперса «Идея

университета». Она только что вышла в Гейдельберге. Вот она,—помахал он перед слушателями книжонкой.—Наш крупнейший философ, самый именитый современный германский философ, требует полной бесстрастности преподавания. С кафедры ничего не должно навязываться, ничего. И студенты не должны получать государственную стипендию. Эта книжка завтра появится в продаже, господа. Ее можно будет купить в американском секторе...

— А почему заинтересован предыдущий оратор,— начал молодой студент с большой красивой шевелюрой,— в распространении этой книжонки? Почему она завезена сюда и рекламируется? Не потому ли, что это и есть политика, направленная против здешней политики? И еще я хочу спросить: кто это может равно бесстрастно излагать и Маркса и Ницше? На это, по-моему, способен только лицемер!

— Я слушал Ясперса,— поднялся на кафедру другой студент.— Ему легко проповедовать, чтобы студенты не получали стипендий. Но именно от такого порядка я и удрал из Гейдельберга в Берлин.

В зале засмеялись и зааплодировали.

— Эта теория,— продолжал студент,— так же делает науку собственностью богатых, как и заявление, за которое справедливо прогнали Пинца. Ясперс проповедует еще, чтоб и профессора не занимались политикой, не участвовали в общественной жизни. Поэтому он молчит, когда в Гейдельберге студентам толкуют о вечной вражде «Евразии» к Западу и агитируют за необходимость войны с Россией. К черту, товарищи, этих аполитичных философов, этих политиканов, рядящихся в тогу бесстрастности!

На улице, когда Отто шел с собрания, его догнал бывший штабист Роммеля.

— Вы все молчите, коллега,— сказал он нервно.— Но ведь вы были офицером и... вам придется скоро занять собственную позицию. Там,— кивнул он по другую сторону Бранденбургских ворот,— создадут не только отдельное государство, но и отдельный берлинский университет. Разве ваше место будет тогда с этим... быдлом? Я, как старший по званию и возрасту, предупреждаю вас... надо думать. Если вы захотите что-нибудь узнать, получить советы,— добавил он быстро,— вот вам адрес.

И, сунув в руку Отто бумажку, студент быстро повернул назад.

— Стойте,— растерялся Отто.— Я не хочу... отдельный университет. И при чем тут... звание? Неужели и вы?.. Разве мало вчерашнего опыта? И теперь... опять? После такой горькой науки начинать...

— Вы живете в таком секторе, коллега, где воздух, по-видимому, отнимает у вас рассудительность,— насмешливо перебил студент.— Когда захотите послушать что-нибудь здоровое, вос-

пользуйтесь этим адресом, который советую не затерять и переписать в блокнот.

И он иронически поклонился.

Два предупреждения. Оба требуют выбора. Но он не хочет выбора. Не хо-о-чет!

Отто готов был заплакать, как маленький ребенок.

Но в дверь опять стучит Эмма.

— Мы уходим, Отто, в кино на новый фильм ДЕФА. Если ты проголодаешься, включи электрическую плитку. Картофель уже поджарен, надо только разогреть.

— Кто это... «мы»?

— Я с Биглем. Он зашел за мной.

— А-а...

Эмма закрывает за собой дверь.

Отто снова один. За ним никто не зашел. Он может только сам идти... по адресу, который еще не переписан в блокнот.

— Подождите! — кричит он вдруг Эмме через дверь. — Подождите, я... иду с вами!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

У нее еще есть слабости, у Эммы. Она обрела цель и страстность борца, но в ней подчас воскресает сентиментальность. Она уверена в правоте своего дела, в своих силах, смело идет навстречу будущему, но не избавилась еще от всех внушенных в прежние годы мыслей и чувств.

Она скрывает от Отто, что сама не может примириться с пребыванием в лавке нанятого чужого человека, и выходит на улицу, минуя лавку, через ворота. Проходя мимо окна Пеппера и видя терпеливо ожидающих людей, которым старик латает подметки, она может на минуту усомниться, действительно ли наступят на свете времена, когда у каждого будет обувь по потребности. При чтении романа некогда знаменитого, а теперь растерявшегося писателя, которому нечего сказать, ей может вдруг показаться правым отец, утверждавший, будто все слова — перепев ранее сказанных. Чувствуя пошлость и нарочитую фальшь огулпяющей атмосферы варьете, в которой прежде часто убивала время, она иногда и теперь отправляется в «Скала» посмотреть цеструю программу, почти каждый номер которой вызывает в ней протест или рождает «но». Понимая, что культ кинозвезд призван глушить подлинную культуру, Эмма не прочь тем не менее полистать рекламный журнал, с легкой грустью вспоминая Марию Ширлингер, с которой вообще не нашла б теперь темы для разговора.

Но жизнь продолжает воспитывать Эмму.

Приемная Гайдауэра всегда полна народу. Люди приходят к нему по жилищным, пенсионным, продовольственным, строи-

тельными, промышленным и многим другим делам, и все эти дела проверяют, продвигают и налаживают девушки-инспекторы.

Только недалекий человек мог бы считать, что мелка и не стоит затраты нервов защита прав женщины, вселенной в квартиру купца, который не разрешает ей пользоваться кухней и согревать детям молоко. Только чиновнику-эгоисту было безразлично, что в квартире рабочей семьи крыша пропускает воду. Лишь зловредный, притаившийся враг, сидевший в пенсионной кассе, мог отказать в пенсии калеке-слесарю и дать ее советнику суда, которого гитлеровский министр юстиции в свое время отметил знаком отличия.

Часто Эмма одна не справлялась со всеми делами. В ней не было чиновничьей холодности, позволяющей мешкать с устранением несправедливости. Она приходила к Биглю в молодежный комитет, они создавали проверочные бригады, с которых начала свою новую жизнь сама Эмма.

— Формы борьбы за новое,— говорил Эмме Гайдауэр,— различны. Советским людям пришлось сделать революцию и отстаивать свою новую жизнь вооруженной рукой. Но нам, благодаря поддержке советских людей, борьба за новое во сто крат облегчена. Мы должны строить, разоблачать врагов и привлекать на свою сторону массы. Придет время — они убедятся, что только мы, социалисты, спасем нацию, объединив ее на новой основе.

И Гайдауэр был явно доволен своим инспектором, энергия которого широко привлекала симпатии населения к новой власти. Но, как увидела Эмма, он знал и ее скрытые слабости.

Это произошло после того, как дядя Иммануэль совершил преступление. Вернее, сошел с ума. Нет, именно стал преступником, так как не для чего искать оправданий содеянному, ссылаясь на помутившийся ум. Пусть исследователи выясняют связь между безумством и преступлением, пусть доискиваются или гадают они о том, что поднимает руку человека на страшные дела, а Эмма знала, что разум дяди затемнился не вдруг и не при виде блошиного яда, как бормотала рыдавшая Магда, а был поражен отравой, губившей и другие мозги,— ядом собственности.

Милый, родной с детства, не обижавший и кошек дядя Иммануэль! Любимый Эммой с первых лет ее жизни, когда он носил ребенку золоченые орехи на елку... Принимавший на веру книги и статьи, писавшиеся наемными перьями...

«Ты стал слугой чужих страстей, старый дядя, тебя поймали, как ловят в Балтийском море сельдей и угрей. Ты позволял себя обманывать, дядя, сам сеял обман, запутался и кончил жизнь преступлением. Ты говорил о мире между людьми и мире в сердцах, а сделал людям непомерную гадость, показал, что вовсе ты их не любил. И... ах, дядя, дядя, что ж о тебе сказать?..»

Он выращивал и лелеял замечательные плоды. Его помидоры «перетта» были толсты и круглы, как баварские блюда. Его «датский экспорт» можно было возить в любой край страны, и плоды не гнили, не портились. Дядина «парижская каротель» была первой ранней морковью во всем Восточном Берлине, а толстую, словно огурцы, «шантэнэ» можно было даже не консервировать — так свежа была она целый год. А цветная капуста! О эта цветная капуста! Эмма помнит, как переламывал Горт натуру «гагской», добываясь особой белизны...

Как же могло произойти такое? Как же?..

А произошло немыслимое, невероятное, и оно было явью...

Карл и Магда хорошо помнили то, что предшествовало концу. Старый Горт с каждым днем все мрачнел, разговаривал с ними все меньше и меньше, терял интерес к жизни.

В одном парнике испортилась проводка, рабочий прибежал сказать, что термометр упал до двенадцати градусов. Это было для томатов почти убийством. Горт давал им всегда вдвое больше тепла. Теперь же он усмехнулся.

— Ага! — сказал он злорадно, словно холод в теплице был для него торжеством.

В другой раз Горт поразил Карла, пришедшего толковать о посадке капусты.

Всю жизнь, сколько Карл помнил, теплицы у Горты были все дни в году чем-нибудь заняты. Как только снимались со стеллажей одни овощи, на их место сейчас же сажались другие. Десятки лет испытывал Горт наилучшую очередность культур, заполнял стеллажи то рассадой, то семенами, извлекая по шести урожаев в год. Теперь же хозяин сказал Карлу, что не надо сажать на место огуречной рассады ни цветную капусту, ни даже шпинат.

— А что же? — спросил озадаченный Карл.

— Пусть... отдохнет... земля, — ответил Горт.

Но земля в стеллажах всегда обновлялась. Карл не понял хозяина, не понял, почему же она должна отдыхать.

Горт проводил дни в кресле, глядя на огонь в камине. Однажды Магда объявила, что кончились дрова. Собственно, дрова еще были, она хотела, чтоб старик вышел на огород.

— Пусть... сломают где-нибудь рамы, — сказал ей Горт.

Магда решила, что хозяин сошел с ума. Она притащила охапку дров, пошептала с Карлом и стала тихо всхлипывать вечерами.

Однажды перед заходом солнца Горт вышел на огород. Медленно шел он по тропинкам, останавливаясь возле парников. Когда-то он начал с пятнадцати рам, теперь их было сотни. Он все умножал, строил, расширял дело... И вот теперь, когда его теплицы могут тягаться с лучшими в Вайсензее, они стали ему не нужны, потому что он не мог взять их с собой... Долго смотрел он на стекла, настоящие бемские стекла... Их делала фирма

Швитц «Глазварен ауф Бештеллунг». Он выплачивал за эти стекла каждый год... На некоторых растрескалась замазка. «Надо сказать Карлу. А впрочем... пускай ее трескается...»

Он тяжело ступает, опираясь на палку.

Вот первый парник... Тот, с которого все было начато. Когда-то он был расположен неправильно, без учета того, что дело будет расти. Потом Горт его переносил... Возвращаясь из Голландии, он привозил планы перемещений, не боялся трудов, копал, стеклил... Конкуренты смеялись над ним, уверяя, что ферма будет окончательно готова только ко второму пришествию. А потом он показал им... У него было двенадцать контрактов с лавками. Двенадцать!..

Он подходит к навесу и видит поливной шланг. «Прогнил... Надо бы новые шланги. А впрочем... Нет, ничего не надо, ничего! Чем меньше оставлю после себя, тем лучше. Хорошо бы ничего не оставить! И кому оставлять? Эта девчонка сказала: «Народу, Германии». Где Германия? Она должна была цвести в союзе наций, а вместо того ее рвут на части. Что там, на западе, осталось немецкого? Газеты полны названий американских банков и фирм... Букинист был прав... Прав был дорогой мой Фельдмайер. Они пришли сюда не ради Эвклида... Ринулись на страну, как тля на капусту. Поедая, высасывая... Сначала Экономический совет, потом сборы министров западных земель, теперь — упорные слухи о собственных деньгах. Создают отдельное государство... новый штат... это факт... А здесь? Что здесь? Предприятия, перешедшие в руки народа, постепенно берут верх. Сейчас они выпускают треть продукции, завтра будут выпускать половину, потом всю... Нет, теплицы некому оставлять, некому!»

Народу? О, Горт в жизни слышался этих красивых слов. Теперь с него довольно! Он слышал о народе, благе, пользе, благородстве, справедливости, добре, — все эти слова использовались раньше, как игральные карты. Grosh им цена!

Разве эта девчонка, которой он всю жизнь делал только добро, не ответила ему теперь ударом в сердце, плюнув на его теплицы? А ведь согласилась она на его предложение, каждый шланг снова обрел бы и смысл и цену. Какая-то часть его крови... А теперь... пусто. Все пусто... Коммунистка!.. Разбила остаток дней, разбила все... Карл тоже скоро умрет... И Магда умрет... Пусто, пусто...

Крохотный жучок прыгнул Горту на руку и скрылся. В сердце забрался холод. Земляная блоха! Он хотел было рвануться в кладовую ядов, немедленно взять мышьяк и парижскую зелень, спасти редиску, турнепс, спасти... Но ноги не двигались. В них была страшная тяжесть. Он прислонился к стене навеса. В глазах пошли круги. Где, собственно, кладовая? Зачем спасать турнепс?

И вдруг заколотилось сердце. Нет, не надо спасать.

Он вытянул обе руки, чтоб схватить огород, схватить все теплицы, прижать к сердцу, бежать с ними, не отдавать, вместе исчезнуть. Это его теплицы, его, его!

Прибжавшая Магда отвела его в дом. Он долго сидел перед камином. Сосредоточенно смотрел в огонь. А когда задремавшая Магда проснулась, Горта уже не было. Она бросилась к двери, дверь была заперта.

У Магды забилося сердце от предчувствия, от страшных запахов. Она подняла жалюзи, выпрыгнула в окно. Была темная-темная ночь, и все на участке было мертво. Карл, рабочие, все давно ушли по домам. Горт тоже не отозвался на зов. Она бросилась к парнику, к первому парнику — и отпрянула в ужасе.

Многолетняя прислуга и экономка Горта потом не помнила всех подробностей страшной ночи. Когда именно возвратился Горт на грузовике со Шпрее, в которую он побросал семена, как запирали он ее, Магду, и разбивал стекла на парниках ломом, — ничего этого она не могла толком рассказать.

Когда соседи прибежали в управление бургомистра и Эмма с фрейлейн Штарк сейчас же приехали на огород, его уже не существовало. Стекла теплиц истолчены были в порошок. Участок выглядел так, словно здесь разорвался тяжелый артиллерийский снаряд. Одичавшая от страха Магда гоготала. А в воздухе стоял одуряющий запах мышьяка, сулемы, формалина...

Все было кончено... Старик, сидя у камина, помешивал щипцами догоравшие книги по овощеводству на немецком, голландском и французском языках. Полицейский у входа сдерживал толпу любопытных. Лицо Горта выражало спокойствие, и только взгляд, обращенный на Эмму, был тяжелым, суровым и пристальным.

— Уйди, — коротко сказал он, — уйди сейчас же и навсегда...

Магда, радуясь тому, что Горт заговорил, бросилась к нему с блюдцем повидла.

— Он сутки ничего не ел, — рыдала она.

Неизвестные люди бродили по опустошенному полю, составляя протокол. Зачем-то приехала санитарная карета. Представитель страхового общества недоуменно заговаривал с Эммой, но она плохо понимала о чем.

— Какая сволочь! — сказал какой-то бедно одетый человек. — Ничего не хочет людям оставить.

— Это его право, — неуверенно возразил другой, в новом габардиновом макинтоше.

Потрясение было слишком велико, чтобы Эмма могла сказать что-нибудь здоровое.

Только через несколько дней она пришла в себя. Дядя не был, конечно, сумасшедшим. Недаром какой-то специалист сообщил, что это восьмой на его памяти случай истребления имущества не имеющими наследников людьми. Нет, дядя Иммануэль очень любил только овощи, которые взращивал сам. Он

очень любил разговоры о людях, но не самих людей. Он добр был к единокровным и оказался холодным чужаком для всех, кто с ним не был связан родством... Смерть Фельдмайера, близость собственной смерти, раздробление страны, крах веры в за океанских фальшивых проповедников, одиночество, пустота повлияли, конечно, на его психику. Но если б любовь, о которой он всегда говорил, была действительным свойством его души, он не стянул бы, как выразился Гайдаур, скатерть и блюда со стола, от которого ему приходилось уходить.

— Вы видите,— говорил бургомистр своему инспектору,— сколько себялюбия и безразличия к людям может корениться в мнимых романтиках, верящих в бога, любящих книжки и окапывающих грядки огурцов. Отвлеченные добрые слова ничего не говорят о человеке,— он может творить при этом самые недобрые дела...

Вам жаль одинокого дядю, у которого помутился рассудок,— продолжал бургомистр.— Но пожалейте лучше ребят из сиротских домов, питавшихся его овощами. Жалейте женщин, стоящих за спаржей и помидорами в длинных очередях. Жалейте народные средства, которые уйдут на возрождение теплиц. Вырвите из сердца гнилую жалость, чтобы расчистить место для подлинной... В лице вашего дяди, Эмма, уходит со сцены путаный человек, в котором над всеми понятиями добра и зла господствует звериный собственник.

Через несколько дней Эмма снова бродила с Биглем по крестьянским полям. Воскресные выезды молодежной бригады давно стали постоянными, как и прогулки Эммы с Вилли после работы. Днем теперь уже сильно грело солнце, и Фитцке ходил по усадьбе без пиджака, в подтяжках, накрывая голову широкополой соломенной шляпой. И хотя вечерами бывало все-таки свежо, но прохлада эта тоже была уже весенней. Холодок в лесу поднимался только от талого снега и забивших где-то невидимых ручьев, а елки, которые теперь по вечерам были пахучими, свидетельствовали, что зима на исходе.

— Когда ты переедешь ко мне? — спросил Бигль.

— А это... надо ускорить? — полушутливым вопросом ответила Эмма и добавила: — Мне легко с тобой, Вилли. Но я не знаю, надо ли, чтоб Отто был один. Может быть, наоборот, тебе переехать к нам?

— Нет,— сказал Бигль, вложив в это короткое слово столько отрицания, что оно нанесло Эмме сильную обиду.

— Это почему же? — спросила она, глубоко уязвленная.

— Мне все равно, где жить. Но в вашем доме... нет простоты. В нем еще живет мертвый. Я сел на днях в одно кресло и увидел, как ты смутилась. В ваших комнатах еще витает смерть.

Эмма растерялась.

— А мне это глубоко противно,— добавил Вилли с отвращением.

— Я вынесу все вещи,— пробормотала Эмма, понимая, что говорит не то,— все вещи, которые...

— Не в вещах дело,— перебил Вилли.

— А в чем?

— В настроении, с каким мы на них смотрим. В вашем доме было мертво, еще когда отец жил. Даже вдесятеро мертвее.

— Я... не понимаю тебя.

— Нет, ты меня понимаешь. Атмосфера смерти царила в вашем доме всегда. Мертвы были все слова отца, все его мысли. Он всегда думал о смерти, ждал ее, боялся ее, умирал раньше, чем сердце действительно отказывалось работать. Он накликал на себя смерть и всех окружающих старил раньше времени.

— Что значит... накликать смерть? — пробормотала Эмма, придравшись к слову, потому что к сути слов Вилли придраться было нельзя. Она была поражена их обидной правильностью.

— Да, да, накликать смерть. Я ничего не понимаю в медицине, но я уверен, чувствую, что он сам портил себе сердце, портил кровь, приблизил смерть. Он дал ей забраться в душу и в голову и потому загнулся.

— Вилли! — воскликнула Эмма, больно пораженная его грубым словом.

— Ох, прости! — спохватился Бигль, но тут же стал оправдывать свою резкость. — Да, да, он именно загнулся. Перед тобой витает его тень, ты видела, как он перестал дышать, и все живешь под этим впечатлением. Нельзя, нельзя, Эмма, жить так. Ты свяжи эту смерть с прошлым, свяжи с жизнью отца. Ведь он, наверное, уже утром вставал мрачным, ведь у него никогда не было распрямленных плеч; уже к полудню, когда еще нельзя устать, у него сгибалась спина, сгибалась не от тяжести труда, а от вечно тяжелых мыслей, и так он изо дня в день постепенно сгибался, пока совсем не согнулся или не загнулся, это как хочешь.

Эмма молчала. Из-под ног ее вдруг вспорхнула птица. Она, должно быть, спала, и люди ее вспугнули. Эмма от неожиданности вздрогнула.

— Вот видишь,— объяснил Бигль,— она перелетит на дерево и сейчас же успокоится. А твой отец жил в постоянном страхе. Страхе перед концом. И многие так живут. Вечно в душе боятся. Одни — конца, другие — несчастий, третьи — черного дня. Противно это. Противно и смешно.

— А ты... никогда ничего не боишься? — спросила Эмма.

— Никогда ничего,— просто ответил Вилли, и эта простота была очень убедительной.

Эмма почувствовала, что этому парню непонятны даже чужие страхи, о которых он говорит. И ее вдруг охватила радость, сильная радость оттого, что будет идти в жизни вместе с этим парнем, сама освободится возле него от всяких страхов, от тяжелых мыслей. Она вдруг ощутила, что все безрадостное, что

лежало на ее душе последние годы, было навеянным, внушенным, что бояться на свете действительно нечего.

А он, словно поняв ее мысли, сказал:

— Отчего тебе или мне может быть плохо? Это только у таких людей бывает, у которых всегда одни и те же слова, гримасы... Они сами себя калечат и других вокруг.

— Вилли!.. Ты... В лесу чудно, правда? — воскликнула Эмма звонким голосом.

И Бигль понял, что ей стало сейчас радостно, обнял ее на ходу и поцеловал в ухо, отчего она вскрикнула.

— Всюду чудно,— сказал он.— В нас чудно, в нас!

Обняв, он вел ее между деревьев назад к поляне.

— Знаешь,— сказал он приглушенным голосом, выдавая нечто затаенное,— я в своей жизни никогда не думаю о смерти. Никогда. Заболеть я, конечно, могу, но умереть... Поскольку во мне нет ожидания смерти, я всегда излечусь. Я не верю в смерть. На похоронах твоего отца я понял это. Но почему мое тело должно разрушаться, когда я своими мыслями не помогаю ему в этом? Мысли у меня всегда такие, что тело может только набираться сил. Знаешь, родная,— добавил он шепотом заговорщика,— мне кажется предрассудком такая вот мысль, что я должен буду умереть. И поэтому я, конечно, проживу особенно долго. Может быть, сто двадцать лет, а?

Его голос и глаза были в этот момент так уверенны, искренни и в то же время так ребячьи милы, что Эмма вместо ответа быстро прильнула к этим глазам губами.

Это было, может быть, наивно, то, что сказал Вилли, но это и не было наивно, потому что если в человеке могут быть такие мысли и чувства, если он умеет быть и директором и мальчишкой, если у него все время обновляется выражение глаз, то он действительно проживет два века.

— Родной! — прошептала Эмма, совершенно покоренная этим одновременным проявлением и мальчишества и мужской веры в себя.

Да, он будет жить долго, и она тоже будет жить долго, потому что вера в себя — это сила, которую не легко подточить.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

В конце недели уезжал майор Поликарпов. Он возвращался на родину и давал прощальный ужин немецким друзьям. Эмма, очень жалеющая об его отъезде, вспыхнула от смущения, когда получила его простое дружеское приглашение. Она впервые входила в дом русского офицера. Здесь собрались несколько членов районного комитета Социалистической единой партии, руководительница районной женской организации, Гайдауэр с дочерью и двое русских приятелей хозяина дома.

Стол был уставлен закусками и винами — майор не поспешил на затраты, чтобы угостить своих друзей. Несколько месяцев назад в Советской стране отменены были карточки, введена свободная продажа продуктов, и русский офицерский магазин в Берлине торговал множеством яств с родины.

За столом просидели до глубокой ночи. И ужин был приятен Эмме не только обилием яств, но и тем, что велись важные, полные для нее глубокого смысла разговоры.

— Я покидаю Германию со смешанным чувством, — сказал хозяин дома в ответ на тосты в его честь. — Три года назад я прибыл в нее с армией, не питая симпатий к стране, причинившей моей стране и народу страшное горе. Да, в моих глазах виноват был весь немецкий народ, и я не отказываюсь от этого мнения также сегодня. Он виноват был в рабской покорности в страшные годы Гитлера.

Постепенно людей, которых прежде знал только как вражеских солдат, я увидел в их собственном доме. Увидел, как у многих из них стало пробиваться наружу то человеческое, что раньше в них вытравливали. Они поняли, как мерзко было прежде в их стране и в их душах. Они решили навсегда устранить старое и создать достойное человека будущее. После этого немецкий народ стал моим другом. Но когда я приеду домой, я не смогу не рассказывать, что здесь есть еще немало людей, которые ненавидят новое и будут остервенело отстаивать старое.

Что вам, друзья, пожелать напоследок? Я думаю, что мое и ваше желанье — свалить, побороть этих людей-зверей, чтобы не портили они душу народа, не сбивали с правильного пути, по которому он начал идти.

Дочь Гайдауэра, проведшая все годы гитлеризма и послевоенное время в Советском Союзе, где она получила образование, говорила о чувстве общественного долга.

— Это чувство, — сказала девушка, — преобладает в советских людях, но еще мало ощутимо во многих немцах. Здесь не редкость человек, который целиком поглощен только личным и все оценки производит с точки зрения мелких своих интересов. В великом споре двух миров он пытается остаться нейтральным или примкнуть к той стороне, от которой ждет для себя больше благ.

Я прочитала здесь у одного писателя, что у части моих соратников аполитичные души, а у других — желудки. Писатель не понимает, что в обоих случаях речь идет об изъяде в разумах и сердцах.

Мне больно видеть некоторых подруг моего детства, — продолжала девушка. — У одной из них умер недавно отец — булочник, оставив ей шесть тысяч марок. И Эльза бежит по городу, советуясь, что делать ей с деньгами. То, боясь девальвации, она хочет купить земельный участок, то, наоборот, опасается, что обесценятся участки, и эти волнения поглощают ее целиком.

Другая бывшая моя подруга озабочена только сохранением своей красоты, не понимает меня, когда я стыжу ее за выделку на домашнем станочке оловянных брошек — ненужных вещей, которые она фабрикует из украденного на заводе металла. Я встретила недавно еще одну участницу моих игр — она пышет здоровьем, полна сил, но читает в газетах только хронику преступлений, а все разговоры ее — о карточках и продуктах. Но ведь карточки пройдут, а бездумье останется. По-моему, самое главное, — добавила девушка, — будить, тормозить молодежь, чтобы она поняла зависимость ее личных судеб от будущего страны.

— Но это и делается, — сказал Гайдауэр. — Да, да, — улынулся он, — ты приехала из социалистического мира, и потому тебя здесь многое возмущает, но вскоре ты убедишься, что молодые растения придадут всему полю цвет. Вот встретишься с трудовой молодежью, увидишь, как изменился человек. Твою Эльзу сегодня волнует судьба ее марок, а завтра она тоже втянется в работу и будет волноваться совсем другим. Я рассказывал тебе о фрейлейн Фельдмайер, которая, вероятно, не откажется бывать у нас, а таких девушек уже много тысяч.

— Точно! — подхватил майор Поликарпов. — Вам следует, девушки, подружиться. Но позвольте и мне сказать несколько слов о немецкой молодежи. Ее беда — да, товарищи, беда, а не вина — в том, что ей забили голову тысячами неправд. Об этом позаботились и все время продолжают заботиться мнимые друзья немецкого народа, нахлынувшие из-за океана. Они бьют по социализму из всех орудий, слепят своей пропагандой глаза и глушат уши. Не удивительно, что молодежь сперва в таких условиях терялась. Но, поколебавшись, она начала сравнивать, взвешивать, оценивать и убеждаться. Ее учили жизнь и здравый смысл, а на этих учителей можно положиться, чему хорошим свидетельством является фрейлейн Фельдмайер...

Эмма краснела. Ей было приятно среди этих людей — прямых, умных, деятельных, дружных, но трудно было преодолеть смущение, когда упоминали ее имя.

— Однако, — продолжал майор, — здесь еще много искусственных дискуссий. Чего стоят одни только бесконечные разговоры о призвании женщины, о том, совместима или несовместима ее общественная роль с семейной.

— Эти дискуссии, — заметил другой русский офицер, — дают лживым философам, лекторам, романистам и просто любителям диспутов пищу и поводы для сеяния стольких бесплодных помыслов, что просто жаль молодые головы.

— Германия недаром была родиной тягучей метафизики, — сказал молодой и красивый человек, руководивший отделом пропаганды в районном комитете партии. — Беспредметная философия тут у обывателя в крови, и, пользуясь этим, перед ним выдвигают целый сонм мнимых проблем. Это тоже способ увести его от социализма. Так усложняют простые житейские вещи.

— А вы,— заметил хозяин дома,— должны, наоборот, растолковывать сложные.

— Это верно,— сказал Гайдауэр.— Но из того бесплодного, что намеренно сеется, надо выбрать наиболее вредное и по нему направить первый удар. А сильным злом кажутся мне рассуждения о краткости жизни, которую не стоит-де тратить на переустройство общественных начал. Почитайте «философские» отделы западных газет, посмотрите новеллы и рассказы в журналах, побывайте в лекционных залах, полистайте сотни брошюр, напечатанных за океаном по-немецки и заваливающих книжные киоски,— и вы услышите отголоски этого учения в каждой пивной. А ведь у нас и своих «философов» этого типа хватает.

Вскоре разговор коснулся дальнейшей жизни хозяина дома.

Эмма спросила Поликарпова, какой город является его родиной и что он собирается дома делать.

До сих пор, рассказывая о своей стране, майор никогда не говорил лично о себе, а немцам, и особенно девушкам, было очень любопытно узнать о частной жизни русского офицера. Поликарпов не только охотно ответил на ее вопросы, но начал подробно рассказывать о своей жизни на родине. Ему было, видимо, даже приятно поговорить в дружеской среде. Он рассказал, что родился в Иркутске — главном городе Восточной Сибири, где отец его служил на железной дороге.

— В Сибири? — удивилась Эмма.

— В Сибири,— удовлетворенно подтвердил майор, не замечая удивления Эммы.— Если б вы знали, как в Иркутске хорошо! Какой здоровый морозный безветренный воздух зимой! Какая хрустально-прозрачная вода в Ангаре! А как чудесно бежать на коньках по ангарскому льду к Байкалу! Я здоровяком был, когда жил в Иркутске.

— А затем вы переехали оттуда в другое место?

— Когда окончил университет.

— В Иркутске? — опять удивилась Эмма, с трудом произнося название города.

И на этот раз ее удивление дошло до майора. Он рассмеялся.

— Вы, кажется, еще до сих пор полагаете, что в Сибири обитают только медведи? Увы, милая фрейлейн, ваше удивление — плохой для меня комплимент. Оно означает, что за время моего пребывания я совсем еще недостаточно рассказал о своей стране. Вам, милая Эмма, надо заново учить географию. Да, в Иркутске, название которого вам не дается, есть университет, и ему почти столько же лет, сколько советской власти. Я в нем окончил педагогический факультет.

— И что вы потом делали? — спросила Эмма.

— Много! — снова рассмеялся майор.— Сначала преподавал историю в школе, потом сам помогал творить историю.

Налив себе вина и с явным удовольствием выпив полный стакан, майор продолжал рассказывать о себе. Он руководил лик-

видацией неграмотности в Якутии — среди далекого северного народа, о существовании которого не слышал никто из сидевших за столом немцев, кроме дочки Гайдауэра. Потом он возглавлял отдел народного образования в одном из районов Сибири, был директором Дворца культуры большого уральского завода, в том же заводском поселке редактировал затем газету, с начала войны ушел в армию.

— Как видите, рядовой советский интеллигент, который всю жизнь учит и учится,— с улыбкой заключил он свой рассказ.

— Но откуда вы так хорошо знаете немецкий язык?

— Зачатки узнал в школе, затем изучал язык на факультете и никогда потом не ленился читать со словарем немецкие книги, не пропускал случаев разговаривать по-немецки. В начале войны побывал на курсах, а на протяжении войны допрашивал сотни пленных и перечитал много тысяч трофейных писем, которые посылались солдатам с родины.

Завязался разговор о трудностях изучения чужих языков.

— У русских, вероятно, большие лингвистические способности,— заметила работница женского комитета.— Советские офицеры быстро овладели здесь языком, а американские и английские не знают его.

— Дело не только в способностях,— сказал заведующий отделом пропаганды.— Англичане никогда не стремились изучать чужие языки, считая, что весь мир обязан разговаривать по-английски. Американская же военщина рассматривает свое пребывание в Германии как случай пожить за счет чужого народа, заработать здесь деньги и развлечься с немецкими женщинами. Германия для них — житейский эпизод, прибыльная командировка. Богатый офицер стремится здесь приобрести акции, офицер победнее грузит в Гамбурге одиннадцать ящиков, в которые сложил купленный за бесценок колбасный завод. Им дела нет ни до народа, ни до его языка. А для советского офицера пребывание — укрепление мира, установление дружбы наших народов. Вот почему советские офицеры изучают дух нашей нации, разных слоев населения и, конечно, язык. Они бы не имели иначе возможности ни говорить нам о своей великой стране, ни учить нас тому, как надо устраивать жизнь.

— А где живет сейчас ваша семья? — спросила Эмма майора.

— В Саратове. Про такой город вы тоже не слышали?

— Слышала,— покраснела Эмма.— Это на Волге.

— Совершенно верно. Большой промышленный и университетский город. Жена работает там врачом в госпитале.

— А почему... она не жила здесь с вами? — продолжала расспрашивать Эмма.

— Я очень скучал, но не смел отрывать ее от дела. Не хотел прерывать и нормальные школьные занятия девочек. У меня их две.

— И теперь вы останетесь жить в Саратове?

— Не знаю, — улыбнулся майор. — Еду, конечно, в Саратов, но я человек военный и не сам распоряжаюсь собой.

— И вот не спрашивают о ваших желаниях?

— Спрашивают, — ответил майор, — даже очень спрашивают и дают дело по душе. Его можно иметь и в армии, и на гражданской работе.

— А на гражданской вы сумеете быстро найти работу?

— Эмма, Эмма, — тоном упрека сказал Поликарпов. — Ай-яй-яй! От вас ли слышать такой вопрос? Вы же знаете, что в социалистической стране для каждого сколько угодно возможностей. Единственное, что меня затруднит, — это выбор. Я так соскучился по родине, что готов и преподавать, и редактировать, и делать еще десять дел вместе, и все кажутся мне чудесными.

— И на чем вы все-таки остановитесь?

— У меня будут два консультанта, — засмеялся майор, — отдел кадров и жена.

— Счастливый вы! — сказала Эмма.

— А вы не завидуйте. Вы тоже теперь не несчастенькая.

Они засмеялись.

— Но после жизни в чужой стране вам не сразу, по всей вероятности, легко будет войти в колею. Верно? — спросила гостья из женского комитета.

— Нет, по моему, не верно, — ответил Поликарпов. — Что касается природы других стран, то, живя еще на родине, я, можно сказать, побывал во всех заграницах. Из Сибири я ездил с женой на Кавказ в отпуск и считаю, что сразу тогда объехал множество стран. В Батуми — те же роскошные пальмы, те же ветвистые лавры и тот же терпкий запах магнолий, как на французской Ривьере. С гор и отвесных скал Кавказа люди кажутся еще меньшими точками, чем они виделись мне с Бастая — в вашей «саксонской Швейцарии». Кто побывал на Риге, тот не ахнет и при виде Женевского озера. Когда я смотрел в кинохронике скандинавские фиорды и скалы, казалось, что они мне знакомы с мальчества, перевезены из Забайкалья. А море у Кольберга ревет и шумит, как под Ригой. Но я — хозяин дома, и мне не остается ничего другого, как сказать вам: «Возможно, что это так». Такой ответ повелевает дать книжица, над которой я немало смеялся.

Он зашел в свою рабочую комнату, принес оттуда «Правила хорошего тона». Книга была издана в Лейпциге в 1935 году.

— Слушайте, товарищи, уставную статью из главы, именуемой «Прием гостей»: «Во время обеда следует разговаривать об общих знакомых и пьесах, избегая политических тем. Гость не должен спешить высказывать свое мнение, пока не высказался хозяин дома. Если, однако, их мнения о пьесе или актерах различны, хозяин дома не должен дважды настаивать на собственном, ему следует сказать гостю: «Да, возможно, что это так».

Все расхохотались.

Они прощались с хозяином дома, когда чернота ночи уже посерела.

— Желаю вам, милая Эмма, радостей и побед,— сказал майор, пожимая ей руку, и тихо добавил: — По обе стороны наших границ — много могил. Слишком много, чтобы дать им когда-нибудь увеличиться.

Гайдауэр с дочерью провожали Эмму по пустынным улицам, когда пробивался уже рассвет.

Занимался теплый апрельский день. Хотя нигде не журчали ручьи и не текли воды, в воздухе была весна. Слабый предутренний ветерок не поднимал тяжелой пыли руин, и дышалось легко-легко. А может быть, Эмме хорошо дышалось потому, что шла она с правильными, чистыми людьми и чувство нераздельного единства с ними наполняло ее спокойствием и удовлетворенностью.

Отец видел нелепость жизни в том, что ее венчает смерть. Так казалось умирающему. Но его мерило — не мерило живущего. Для человека, который нашел правдивое дело, нашел путь и избавился от тоски, стремление вперед является не суетою сует, а наполняющей душу радостью.

Такой человек не подчинен судьбе, а сознает силу господства над нею, и это поднимает его до прекрасной взволнованности, называемой счастьем. И никогда все слова о счастье не могли быть сказаны и не могут быть сказаны, потому что Эмма сейчас счастлива по-своему, счастлива по-новому.

Спутники Эммы простились с нею возле лавки, окна которой были закрыты жалюзи. Но едва вошла она под каменный навес ворот, из глубины бросилась ей навстречу чья-то высокая фигура.

— Наконец-то! — воскликнул Бигль. — А я тут с вечера жду! Заходил несколько раз, но когда узнал, что ты не возвращалась, во мне, понимаешь, такое беспокойство росло... Ведь врагов-то у нас хватает... Вдруг, думаю, они мешок на тебя в темноте набросили... Я просто не мог найти себе места... Уф, камень с души свалился! — облегченно вздохнул он.

— Ах, дуралей! — звонко засмеялась Эмма, обрадованная беспокойством парня. — Простоять целую ночь в воротах! Ну, иди же немедленно спать.

— Теперь можно идти, — сказал Бигль, не двигаясь с места.

— Нет, я вижу, что кому-то из нас придется завтра же переехать, потому что нельзя тебе работать днем в комитете, а ночью — вахтером, — сказала Эмма.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Зрелость пришла	6
Оборотень	221

РАССКАЗЫ О РАЗНОМ

Загробная жизнь	252
Шкатулка	263
Встреча со сменщиком	285
Сложный больной	312
Валя	345
Мишкин возраст	355

ДОЧЬ БУКНИСТА. Роман	365
---------------------------------------	-----

Померанцев Владимир Михайлович

ЗРЕЛОСТЬ ПРИШЛА

М., «Советский писатель», 1976, 608 стр. План выпуска 1976 г. № 105. Художник А. К. Г о л ы ц ы н. Редактор В. С. М а к а я н и. Худож. редактор Е. И. Б а л а ш е в а. Техн. редактор И. М. М и н с к а я. Корректор И. Ф. С о л о г у б. Сдано в набор 7/1 1976 г. Подписано к печати 25/V 1976 г. А14007. Бумага 60×90¹/₁₆. № 1. Печ. л. 38. Уч.-изд. л. 41,91. Тираж 100 000 экз. Заказ № 3701. Цена 1 р. 45 к. Издательство «Советский писатель». Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва М-54, Валовая, 28